

Бенедикт Сарнов

СКУКИ НЕ БЫЛО

Бенедикт
САРНОВ

Скуки
не было

*Вторая книга
воспоминаний*







Бенедикт
САРНОВ

*Скуки
не было*

*Вторая книга
воспоминаний*

МОСКВА • АГРАФ • 2005

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
С20

Художник *В. Кортаева*



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

Сарнов, Бенедикт Михайлович.

С20 Скуки не было: Вторая книга воспоминаний / Бенедикт Сарнов. – М. : Аграф, 2006. – 704 с., [32] с. ил. – ISBN 5-7784-0329-1

В этой книге Бенедикт Сарнов, продолжая свою «исповедь сына века», рассказывает о людях, встречи и близость с которыми сыграли важную роль в его жизни, во многом определили его судьбу. Среди них – писатели старшего поколения: Илья Эренбург, Виктор Шкловский, Корней Чуковский, Самуил Маршак, а также – сверстники и старшие товарищи автора: Наум Коржавин, Борис Биргер, Булат Окуджава, Борис Балтер, Александр Галич, Аркадий Белинков.

Особую роль сыграло в жизни автора знакомство с А. Солженицыным, опыт общения с которым был, скорее, отрицательным, но не менее важным для формирования его личности.

Появляются на страницах этой книги и другие яркие фигуры, представляющие художественную жизнь России XX века: Л.Ю. Брик, В.Н. Плучек, Алла Демидова, Игорь Кваша...

Первая книга воспоминаний Б. Сарнова заканчивалась 1953 годом, смертью Сталина. Во второй книге автор доводит свое повествование до наших дней.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 5-7784-0329-1

© Издательство «Аграф», 2006
© Сарнов Б.М., 2006

В работе ль там не без прорух,
Иль в механизме есть подвох,
Но был бы мой свободный дух –
Теперь не дух, я был бы бог..
Когда б не пиль, да не тубо,
Да не тю-тю после бо-бо!..

Иннокентий Анненский

Конечно, жизнь протекает в необратимой временной последовательности, тем не менее, ее углубленное изображение в хронологическом порядке – невозможно... Линейная память бессильна справиться с этой задачей, потому что прошлое перестраивается в душе по вертикалу, а потому требует «вертикальной памяти».

Федор Степун

ОТ АВТОРА

Теперь, когда половина книги уже написана, я подумал, что назвать ее, наверно, надо было бы как-нибудь иначе.

Самым лучшим названием было бы, конечно, – «Былое и думы». Во всяком случае, оно лучше, чем всякое другое, выражало бы жанровую природу этой книги.

Начиная ее, я не предполагал, что будут еще и думы. Собирался лишь ворошить **былое**.

Я совсем не уверен, что эти мои «думы» так уж интересны. Ведь думы (мысли) – это то, что устаревает быстрее, чем что-либо другое. Сохраниться, остаться имеют шанс лишь живые подробности, уходящая (ушедшая) натура.

Но ведь это нам только кажется, что свои книги пишем мы, авторы. На самом деле книга пишет себя САМА. И пишет совсем не так, как задумал ее и хотел бы написать автор.

Люблю я совсем другую прозу, не такую многословную и разбросанную. А пишу – вот так, как пишется. Отчетливо сознаю все недостатки этой рождающейся моей книги, но ничего поделывать с ней (лучше сказать – с собой) не могу.

Книга сама пишет себя так, как хочется ей, а не мне.

МОИ БОГИ, МОИ ПЕДАГОГИ

Умирают мои старики,
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Борис Слуцкий

1

Это название и этот эпиграф вообще-то следовало бы послать не одной этой главе, а по меньшей мере нескольким главам, может быть, даже всей этой книге.

Такое название вполне бы ей подошло, потому что, хоть я еще толком и не знаю, куда меня вывезет кривая, в дальнейшем хотел бы рассказать обо всех, кому в той или иной степени обязан тем, что из меня получилось.

В ранней юности главным моим богом был Маяковский. Всему, что я узнавал и постепенно начинал понимать тогда, научил меня он. Ну а литературные мои вкусы – привязанности, симпатии, влюбленности, отталкивания – те уж точно складывались и формировались под его влиянием.

Так было не со мной одним: это была черта всего нашего поколения. Из всех гигантов Серебряного века разрешенным был только один он, Маяковский, и немудрено, что даже о существовании тех, других, мы узнавали от него, через него.

Помню, таким признанием радостно удивил меня однажды Андрей Синявский.

Году в 89-м или 90-м меня с ним неожиданно свело на каком-то симпозиуме славистов в Цюрихе.

Я сейчас уже не помню, о чем там говорил Андрей, какая была тема его доклада. Помню только, как он вдруг встал (до этого момента он обращался к аудитории сидя) и во весь голос, с огромной, совершенно неожиданной для меня страстью и силой прочел «Левый марш». При небольшом его росточке и не бог весть каких голосовых данных, не говоря уже о кричащем несоответствии всего его облика революционному пафосу этого громкого стихотворения, эффект мог бы быть комическим. Но вот он кинул в замерший зал первые строки:

Раз-во-рачивайтесь в марше,
словесной не место кляузе!
Тише, ораторы! Ваше
слово, товарищ маузер!

И все, кто его слушал, сразу были покорены звучавшей в его голосе силой и страстью. Я тогда даже подумал, что вот, поди ж ты, – никаких внешних данных, ни роста, ни голоса, а ощущение такое, что и сам Маяковский, пожалуй, не прочел бы эти стихи лучше, чем этот маленький седобородый гномик, еле возвышающийся над кафедрой.

Громогласно отчеканив в последний раз – «Левой!.. Левой!.. Левой!..», Андрей сел, и тут же, без перехода, процитировал – из «Хорошо»:

– Розовые лица. Револьвер желт. Моя милиция меня бережет. Жезлом правит, чтоб вправо шел, – нажал он на слово «вправо». И как-то растерянно, словно бы разведя руками – что ж, мол, ничего не поделаешь, – согласился:

– Пойду направо. Очень хорошо.

Смысл этого иронического сближения был очевиден. Великий бунтарь, не признававший над собою никакой, ничьей власти, превратился в законопослушного гражданина, готового не просто подчиняться указке милицейского жезла, но даже и воспевать, прославлять этот указующий жезл.

Это блестящее столкновение двух разнонаправленных цитат, помню, меня тогда восхитило. Но гораздо больше восхи-

тила и даже поразила та нескрываемая влюбленность, с какой он бросал в зал пронизанные революционным пафосом строки «Левого марша».

В перерыве между докладами я сказал ему об этом, не скрыв и своего удивления: в моем представлении (да и не только в моем, конечно) Маяковский даже в юности вряд ли мог быть им так уж любим: ведь его кумиром издавна был Пастернак.

– Ну что ты! – ответил он. – И любил, и люблю. Да ведь и влюбленностью в Пастернака меня заразил тоже он, Маяковский.

Я сразу понял, о чем он. Ведь и меня на Пастернака вывел он, Владимир Владимирович, процитировавший в своей статье «Как делать стихи» его четверостишие, которое он назвал гениальным:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму шекспирову,
Носил я с собою, и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

По этим четырем строчкам (не скрою: то, что не больно щедрый на комплименты Маяковский назвал их гениальными, тоже сыграло тут свою роль) я сразу влюбился в этого неведомого мне Пастернака. И вот оказалось, что и у Андрея это было точно так же. Он тоже полюбил Пастернака «с подачи» Владимира Владимировича. Тут же выяснилось, что и пастернаковские строки эти он тоже – как и я – на всю жизнь запомнил в том, «маяковском» варианте. И тоже – как и я – по сей день считает, что этот «маяковский» вариант лучше, сильнее пастернаковского:

В тот день тебя (без «всю») от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму шекспирову,
Таскал я с собою («таскал», а не «носил») и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Это совпадение залило меня волной радости, и при всей моей с Андреем разности я ощутил с ним что-то вроде кровного

родства, словно бы оказалось, что у нас вдруг отыскался один общий предок.

Да, Маяковский был не только первой моей любовью, но и первым моим учителем. Всякий раз оценивая нового, не знакомого мне прежде поэта, я невольно прикидывал: а как бы к нему отнестся, как бы его оценил Владим Владимыч.

Но когда Маяковский застрелился, мне было три года. Пятнадцатилетний срок, отделявший меня, восемнадцатилетнего, от дня его гибели, казался мне огромным. При том, что еще живы и даже не так уж стары были тогда многие его сверстники (Асеев, Шкловский, Пастернак), Маяковский в моем сознании был ближе к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, чем к ним. А из живых, из тех, кого я мог считать своими старшими современниками, первым моим учителем, первым моим «богом и педагогом» стал Эренбург.

Однажды я написал, что в самой ранней моей юности, еще даже до того как я сделал самые первые, робкие свои шаги в литературе, вокруг меня была пустыня. И в этой пустыне – один, как одинокий зуб в выбитой челюсти, – торчал Эренбург. И именно он научил меня всему, что я знаю. Даже судить Эренбурга, разоблачать Эренбурга, презирать Эренбурга (а по юношескому моему максимализму бывало и такое), тоже научил меня он, Эренбург.

Мысль странноватая. Ведь в пору моей юности еще были живы Зощенко, Платонов, Пастернак, Ахматова... Почему же я выбрал себе именно этот, далеко не самый надежный ориентир?

Ответить можно было бы просто: кто его знает, почему? Так случилось.

Ответ этот был бы правдив. Но – неполон.

2

В школе (8-й класс, 1942-й год, война, эвакуация) я заразил своей влюбленностью в Маяковского троих своих одноклассников. В облике Маяковского нас привлекало всё: и рост, и

бас, и эстрадное остроумие – это его блистательное, как нам тогда казалось, умение одной репликой раздавить, уничтожить противника. Но наибольший восторг вызывал у нас самый ранний, футуристический период жизни великого поэта. Подростки, как известно, склонны к тотальному отрицанию, к нигилизму. Это, если угодно, неизбежная болезнь роста – «детская болезнь левизны».

Пятнадцатилетние гимназисты, описанные Гариным-Михайловским, были влюблены в Писарева, в его антипушкинские статьи. Мы, кстати, ими тоже увлеклись. Нас восхищало остроумие, с которым Писарев разделял под орех самого Пушкина.

Но футуристические скандалы молодого Маяковского заслонили в наших глазах даже и самого Писарева. Особенно нравилась нам блестящая внешняя, театральная форма их веселого юношеского бурления. (Да, именно бурления – иначе тут не скажешь: ведь в слове этом слышится одновременно и «бурлеск», и «Бурлюк».) Мы были в восторге от желтой кофты Маяковского, от его цилиндра, от собачки, нарисованной на щеке невозмутимого Бурлюка.

Вдохновленные всей этой театральностью, помноженной на всеобщее отрицание, мы вчетвером решили организовать нечто подобное футуристическому братству Маяковского, Бурлюка, Хлебникова и Каменского.

Прежде всего надо было придумать для нашего содружества какое-нибудь название. Сперва хотели назваться – как и они – футуристами. Но такое жалкое подражательство было нам не по душе. Мы хотели придумать что-то свое. И придумали.

Надо признать, что придумка наша не слишком далеко ушла от великого оригинала. Мы решили назвать себя «перфектуристами».

В этом был двойной смысл. С одной стороны это была как бы полемика с нашими великими предшественниками, с другой – продолжение их традиций: ведь возвращение из нашего времени назад, в прошлое – это было возвращение к ним, к нашим кумирам.

Но главное тут было не это. Главным для нас во всей этой затее было желание ниспровергать: издеваться, глумиться, крушить, уничтожать, сбрасывать с парохода современности.

Футуристы сбрасывали классиков – Пушкина, Толстого, Достоевского. Мы же метили в современников, в сегодняшних литературных кумиров, казавшихся нам жалкими и ничтожными в сравнении с нашими.

Мы были уверены, что все великое, талантливое, настоящее было создано при жизни Маяковского и его друзей-соратников. Ко всем современным писателям и поэтам мы, опьяненные своим юношеским нигилизмом, относились примерно так, как герой-рассказчик знаменитого лермонтовского стихотворения к юным слушателям своего рассказа о бородинской битве: «Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя. Богатыри – не вы!»

И даже те стихи поэтов-современников, которые искренне нам нравились, вызвали у нас неистребимое желание раскритиковать их в пух и прах, расчехлостить так, чтобы и мокрого места от них не осталось.

Мы издавали свой рукописный «Журнал перфектуристов». Я был его редактором и едва ли не главным автором. Для первого номера я вызвался написать – и написал – разгромную статью о стихотворении Симонова «Жди меня». Это была первая – и, наверно, самая постыдная – моя критическая статья. Сейчас уже не помню во всех подробностях, в каких смертных грехах упрекал я тогда самого знаменитого поэта страны. Но две мои злобные придирки запомнились мне хорошо. Одна – по поводу строк:

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет.

Я высокомерно поучал автора стихотворения, что нельзя сказать по-русски – «писем не придёт». Это неграмотно. Надо было бы написать: «Письма не придут».

Но особенно мощную вспышку критического сарказма, помню, вызвали у меня строки:

Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди...

Где это, интересно знать, увидел автор эти свои желтые дожди? – издевался я. – В каком фантастическом сне они ему привиделись? Не бывает на свете никаких желтых дождей, так же, впрочем, как синих, красных и зеленых...

Я давным-давно уже позабыл этот свой первый критический опус. Но пять лет спустя вдруг – со стыдом – о нем вспомнил. А заставил меня его вспомнить не кто иной, как Илья Григорьевич Эренбург. (Сам он об этом, конечно, не подозревал.)

Это было в один из его приездов в наш институт.

На сей раз он пожелал пообщаться не со всеми студентами, а только с пишущими стихи. В не слишком многочисленную группу наших институтских стихотворцев ухитрился затесаться и я.

Всего, что он тогда говорил, я, конечно, не помню. Но один короткий его монолог обжег меня стыдом и потому запомнился мне хорошо.

– Поэт, – медленно начал он, – принес в редакцию газеты свое новое стихотворение. Теперь вы все хорошо его знаете. Оно называется: «Жди меня». Редактору стихотворение понравилось, и он изъявил готовность сразу же поставить его в номер. Возражение у него вызвала только одна строчка: «Жди, когда наводят грусть желтые дожди». – «Что за декадентщина? – поморщился он. – Где вы видели желтые дожди? Ведь вы прекрасно знаете, что никаких желтых дождей на самом деле не бывает!» И попросил поэта эту строчку заменить. Но поэт был упрям. Он отстоял эту не понравившуюся редактору строку. И вот, – язвительно закончил Эренбург, – благодаря именно вот этим самым, чудом уцелевшим желтым дождям, в этом стихотворении все-таки живет поэзия.

Эта последняя реплика Эренбурга показалась мне нарочитой, даже слегка вызывающей. Сам я вовсе не думал тогда, что стихотворение Симонова стало (или осталось) фактом поэзии только лишь благодаря вот этим самым желтым дождям. Но после этих эренбургских слов мне вдруг открылось всё очарование этой так безжалостно раскритикованной мною когда-то симоновской строчки. В самом деле, подумал я, как это хорошо: «Жди, когда наводят грусть желтые дожди». Сразу встают в памяти желтые осенние листья, желтая размокшая глина бесконечных российских дорог...

В годы моего студенчества едва ли не каждый из тех, с кем меня знакомили, говорил:

– Послушайте! Почему вы так похожи на Эренбурга?

Фотографий юного Эренбурга я тогда не видал. Да и те, кто удивлялся моему сходству с Эренбургом, тоже наверняка их не видели. Похож, стало быть, я был не на молодого, а на старого Эренбурга.

Сходство это – весьма, конечно, относительное – мне придавала тяжеловатая нижняя губа и мешки под глазами. У меня эти мешки были следствием болезни почек, которую я подхватил во время войны, в холодном Серове (северный Урал), куда нас занесло эвакуацией. У Эренбурга же, как я потом узнал, – это была их фамильная, родовая черта: такие же мешки под глазами были и у его дочери Ирины, и, как она говорила, – смолоду.

Как бы то ни было, но это мое, отмечаемое многими, сходство с знаменитым писателем мне льстило. В какой-то мере оно, быть может, даже определило мое особое отношение к нему.

Особенность этого отношения состояла в том, что я относился к нему как к человеку, с которым связан какими-то, чуть ли не родственными, узами. К человеку, тень поступков которого падает и на меня.

Когда Эренбурга при мне хвалили («Молодец Илья! Здорово врезал!»), меня заливала волна радости, словно эта похвала касалась и меня тоже. А когда его упрекали в чем-то нехорошем, мне было за него стыдно, словно за этот его нехороший поступок я нес персональную, личную ответственность.

В общем, как бы строго я его ни судил (а судил я тогда со всем пылом своего юношеского нигилизма «всех учителей своих – от Пушкина до Пастернака»), он оставался для меня СВОИМ. Вроде отца, с которым можно быть в размолвке, но к которому всегда можно обратиться с какой-нибудь просьбой, и он не откажет.

Однажды даже чуть было не обратился.

Но об этом, пожалуй, стоит рассказать подробнее.

* * *

27 февраля 1951 года в «Комсомольской правде» появилась статья Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы».

Поскольку имя этого литератора теперь уже прочно (и, по правде говоря, справедливо) забыто, хочу сказать о нем несколько слов. А заодно (не могу удержаться!) и рассказать один связанный с ним эпизод тогдашнего красочного нашего литературного быта.

Автор «Белой березы» Михаил Бубеннов был самым злостным антисемитом в Союзе писателей. А может быть, даже и во всём СССР. Сравниться с ним в этом качестве мог разве только другой корифей тогдашней официальной литературы – Анатолий Суров, – тоже давно уже и прочно забытый.

И вот однажды они подрались.

Уж не знаю, что они там не поделили. Может быть, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, может быть, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или, еще того либеральнее, – в Израиль.

Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель – стулья, табуретки..

Случилось это в старом писательском доме в Лаврушинском – том самом, который громила булгаковская Маргарита. Увлеченные борьбой супостаты выкатились из этого облицованного мрамором дома прямо на улицу, на потеху большой толпы народа, образовавшей традиционную очередь в Третьяковку. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад.

Сражение это вдохновило Эммануила Казакевича. Вдохновило настолько, что он описал его не прозой, как это можно было бы ожидать, а стихами. И даже облек эту свою поэтическую зарисовку в чеканную форму сонета:

Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним враждой старинною пылал,
За что его не жаловал Фадеев
И А. Сурков не очень одобрял.

Когда же Суров, мрак души развеяв,
На них кидаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.

Певец березы в жопу драматурга
Со злобой, словно в сердце Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.

Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Решает это дело партбюро.

В сочинении этого сонета, во всяком случае в доведении его до совершенства, принял участие сам Твардовский. Именно он, как рассказывали свидетели творческого процесса, подарил Казакевичу замечательную (едва ли не лучшую во всём стихотворении) строчку: «Столовое вонзает серебро».

Так вот, этот самый Бубеннов – человек в то время весьма влиятельный – предпринял новую атаку на литераторов, скрывающих под псевдонимами истинные свои фамилии.

Я сказал «новую», потому что первая такая атака была предпринята тогдашними нашими, как теперь говорят, средствами массовой информации двумя годами раньше: в 1949-м.

Первой жертвой той кампании, а стало быть, первым литератором, псевдоним которого публично раскрыли обозначенной в скобках его «девичьей» фамилией, стал мой добрый знакомый, а впоследствии даже и приятель Нёма Мельников, за что на весь остаток его жизни прилепилось к нему прозвище – «Отец русской скобки».

Статья называлась: «Гнилая повесть “Редакция”».

Запомнилась мне из нее только одна фраза:

Н. Мельников (Мельман) смотрит на советского человека откуда-то сзади, с болезненным любопытством копаясь во всем отсталом и старом.

Дойдя до верхней точки, идеологическая кампания 49-го года постепенно сошла на нет и в конце концов окончательно

угасла. И вот теперь, спустя два года, Михаил Бубеннов решил ее, так сказать, реанимировать. Во всяком случае – кинуть пробный камень.

Статейка его была написана довольно ловко. Я бы даже сказал – осторожно. Для начала автор слегка поглумился над украинским поэтом Е. Бондаренко, который почему-то решил взять себе псевдоним «Бандуренко», изменив в своей фамилии всего только две буквы. Потом – над чувашским поэтом Н. Васянка, который выбрал себе псевдоним «Шаланка». Но это всё – для отвода глаз. Точнее – для соблюдения некоторых приличий. Всерьез отводить глаза читателя от истинной мишени, в которую было направлено жало его художественной сатиры, Бубеннов не собирался. Быстро покончив с Бондаренко-Бандуренко и Васянкой-Шаланкой, он приступил к главной теме своего повествования:

Белорусская поэтесса Ю. Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет. А какая необходимость заставила ее сделать это?.. Молодой московский поэт Лидесстал Л. Лиходеевым, С. Файнберг – С. Северцевым, Н. Рамбах – Н. Гребневым.

Васянку-Шаланку и Эди Огнецвет я не знал. А Лидес-Лиходеев, Сережа Файнберг, ставший Северцевым и Нёма Рамбах, перекрестившийся в Гребнева, – были мои литинститутские однокашники. Насчет этих псевдонимов была у нас в Литинституте даже сочинена (Владиком Бахновым) песенка:

Агранович нынче – Травин,
И обычай наш таков:
Если Мандель стал Коржавин,
Значит Мельман – Мельников!

Тут, пожалуй, не до смеха:
Не узнает сына мать!
И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать!

Распевая эти куплеты, мы смеялись. Но в 51-м было уже не до смеха. И зловещий смысл бубенновской статейки всеми

был понят однозначно: как сигнал к новому погрому. Не вполне ясно было только, что (или кто) за этим стоит – отдельные, хоть и влиятельные, но все же никем не уполномоченные энтузиасты, или – как и в тот раз – все наше великое и могущественное государство, то есть – сам «Хозяин».

Волнующая пауза эта длилась ровно неделю. Шестого марта в «Литературной газете» появился ответ. Он был краток. И назывался скромно: «Об одной заметке».

И малый размер реплики, и скромное ее название призваны были подчеркнуть, что выстрелу «Комсомольской правды» не стоит придавать особого значения. Автор реплики, в сущности, даже не полемизировал с Бубенновым. Он просто высек его. Как мальчишку:

Если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя.

Трудно было найти формулу более обидную, чем эта. Ведь эпитет «молодой» определялся тогда отнюдь не возрастом писателя и даже не его литературным стажем, а прежде всего – и даже исключительно – местом, которое этот писатель занимал в негласной, но хорошо всем известной табели о рангах.

Зачислив Бубеннова в ряды «молодых талантливых писателей», ему как бы указали его место. Прямо дали понять, что он слишком много – не по чину! – на себя берет. И сделал это не кто-нибудь, а второй (после Фадеева) человек в ареопаге литературного начальства – секретарь СП и главный редактор «Литературной газеты», любимец Сталина – К.М. Симонов.

Но те, кто стоял за Бубенновым, тоже были не лыком шиты. И сдаваться они не собирались. К полю боя быстро была подтянута тяжелая артиллерия, и ответный выстрел последовал почти мгновенно. Через два дня, восьмого марта, в той же «Комсомольской правде» появился ответ Симонову, подписанный Михаилом Шолоховым. Я говорю «подписанный»,

поскольку не уверен, что ответ самого Шолохова, живущего, как известно, в Вешенской, можно было организовать так быстро.

Впрочем, не исключая, что Шолохов в это время был в Москве и, в отличие от «Тихого Дона», где насчет его авторства, как известно, имеются большие сомнения, это свое произведение сочинил сам. Но тем, кто подвинул его на эту акцию, нужно было, конечно, не «золотое перо» Шолохова, не божественный его художественный дар. Им нужно было его имя. Именем этим они хотели сказать Симонову, – и не только ему, а всем читателям «Литературной газеты»:

– Наш козырь старше!

Старшинство, подтвержденное той же негласной табелью о рангах, давало Шолохову право разговаривать с Симоновым свысока, с той же мерой снисходительности, с какой тот обращался к Бубеннову. Но он эту меру даже слегка превысил, что проявилось уже в самом названии его статьи.

Называлась она, на первый взгляд, довольно странно: «С опущенным забралом...»

Читателю, вникавшему только в тексты всех этих полемических заметок и не шибко понимающему глубинный их подтекст (если, конечно, допустить, что такие читатели тогда были), – такому читателю было, конечно, невдомек, о каком «опущенном забрале» тут может идти речь. Весь тон и стиль реплики Симонова говорил о том, что выступает он как раз **под открытым забралом**. Всячески подчеркивая это обстоятельство, он даже – не без некоторого кокетства – подписался под этой своей репликой так, как ни разу в жизни – ни до, ни после этого случая – больше не подписывался: **«Константин Симонов (Кирилл Михайлович Симонов)»**.

Не совсем обычная эта подпись как бы говорила: «Вам нравится раскрывать скобки? Что ж, извольте! Вот он я, весь – как на ладони. Как видите, мне нечего скрывать. Я не Иосиф Соломонович, как Василий Гроссман. Я – Кирилл. А вот – тоже взял себе псевдоним, назвался Константином».

Но Шолохов имел в виду не текст, а всем и каждому понятный **подтекст** симоновской реплики. И весьма прозрачно на этот подтекст намекал:

Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь.. Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами. Он опустил забрало и наглухо затянул на подбородке ремни. Потому и не внятна его речь, потому и не найдет она сочувственного отклика среди читателей.

Ответ на этот зловещий вопрос (допрос): «Кого защищает Симонов? Что он защищает?», не нуждался в расшифровке.

Эта фраза в шолоховской заметке тогда хлестнула меня как удар казачьей нагайки.

«Теперь всё это странно, теперь всё это глупо», – как было сказано (по совсем другому поводу) в одном стихотворении Слуцкого. По улицам российских городов маршируют чернорубашечники, по команде вскидывают руки в нацистском приветствии и выкрикивают что-то похожее на «хайль Гитлер». На книжных лотках свободно лежит «Майн кампф». Выходят сотни фашистских газет, в которых – в открытую – прославляют Гитлера, рассуждают о всемирном еврейском заговоре и восторгаются «Протоколами Сионских мудрецов». На каком-то лотке я увидел (и купил) брошюру, озаглавленную простенько и мило: «Жиды». В каком-то из российских городов «вервольфы» по идеологическим мотивам убили несколько человек и, в назидание, отрезали им уши. Судили их «за бытовое преступление»...

Всего этого в теперешней нашей жизни – навалом. И всё это меня, как выражается современная молодежь, – **не колышет**.

То есть «колышет», конечно, но – слабо. Во всяком случае слабое «колыханье» это не идет ни в какое сравнение с той бурей чувств, которую подняла в моей (и не только в моей, конечно) душе та давняя дискуссия о псевдонимах, хотя авторы оскорбивших меня статей – Бубеннов и Шолохов – не то что сакраментальное слово «жиды», но даже вполне корректное – «евреи» – и то не осмеливались выговорить вслух.

В романе Федора Сологуба «Мелкий бес» пятнадцатилетний гимназист Саша Пыльников отправился на загородную прогулку с взрослой барышней Людмилой. Гуляя по лесу, они

спускаются в овраг. Людмила идет впереди. Спускаясь, она чуть-чуть приподняла юбку и...

... открылись маленькие башмачки и чулки телесного цвета. Саша смотрел вниз, чтобы ему не запнуться о корни, и увидел чулки. Ему показалось, что башмаки надеты без чулок.

Стыдливое и страстное чувство поднялось в нем. Он зарделся. Голова закружилась...

Вот такая буря мучительных сексуальных переживаний поднялась в Сашиной душе. А все только потому, что он случайно увидел женскую щиколотку в **чулке телесного цвета**, и ему **показалось**, что эта женская нога – голая.

А недавно в Коктебеле я случайно – сослепу – забрел на дикий пляж, где паслись нудисты. Юные девы медленно прогуливались по пляжу в чем мать родила. Свои «нескромные сокровища», не прикрытые никакими фиговыми листками, они несли гордо, словно напоказ, как топ-модели демонстрируют модные наряды. И – Боже ты мой! – какое разнообразие форм открылось моему взору. И форм, и видов, и размеров, и мастей. До этой минуты я даже и не подозревал, что природа, создавшая все эти прелести, так щедра и изобретательна.

А рядом, в тесной близости ко всем этим сокровищам, бродили парни, некоторые из которых были в возрасте сологубовского Саши Пыльникова. И – хоть бы хны! Не то что волнения или какого-нибудь там сексуального возбуждения, но даже слабых признаков столь естественного в этих обстоятельствах любопытства не обнаружил я на их лицах.

Аналогия эта, конечно, весьма условна. Но бурные сексуальные переживания Саши Пыльникова и бурная моя реакция на статью (даже не статью, а одну лишь только фразу) Шолохова, в которой предмет не назывался, а на него только намекалось, – как показавшаяся Саше голой женская щиколотка только **намекала** на существование таящихся под слегка приподнявшейся юбкой прелестях женского «телесного низа», – две эти – столь разного происхождения – реакции были все-таки меж собой несколько сродни.

Дискуссия о псевдонимах вызвала тогда такой огромный общественный накал, потому что было совершенно очевидно: «пробный шар» Бубеннова и последовавший за ним обмен мнениями – это только крохотная часть айсберга. А что там, под водой, в глубине, – об этом даже и думать было страшно.

А теперь, когда этот айсберг штормом выброшен на берег, и он виден нам весь, целиком, зрелище это не производит на нас никакого впечатления. Притерпелись, привыкли. (Вот так же и современные Саши Пыльниковы равнодушно скользят взглядом по обнаженным прелестям юных своих сверстниц: «Подумаешь! Голую бабу не видал!»)

Ну и, разумеется, не случайно общественный накал этот достиг самого высокого градуса, когда Бубеннова поддержал Шолохов.

Конечно, фраза Шолохова так больно хлестнула меня не только своим смыслом, и даже не только зловещей своей интонацией, но прежде всего и главным образом тем, что произнес (написал) ее именно Шолохов.

Не могу сказать, чтобы я так уж сильно чтил Шолохова.

«Тихий Дон» я любил и – при всем моем юношеском максимализме и нигилизме – ставил высоко.

И не только «Тихий Дон», но даже «Поднятую целину» числил в числе самых любимых своих книг. В «Поднятой целине» огромное впечатление произвела на меня сцена раскулачивания Титка. Впервые понял (не до конца, конечно, только начал понимать), каким кровавым кошмаром была коллективизация.

Да, книги Шолохова я ценил высоко. Но сам Шолохов никогда не был героем моего романа.

Однажды (году в сорок восьмом), держась, как обычно, за руки, шли мы с моей любимой по Тверской и остановились перед портретами писателей, выставленными в витрине книжного магазина – того, что напротив Моссовета. Он и сейчас еще существует, этот магазин, и в витринах его и сейчас можно увидеть портреты писателей. Но теперь это – совсем другие портреты: Высоцкий, Окуджава... А тогда это были – сплошь титулованные, увенчанные всеми мыслимыми и не-

мыслимыми регалиями, члены ЦК (Фадеев), депутаты Верховного Совета (Эренбург)... На самом видном месте там красовался портрет автора (если уж совсем точно – того, кто считался автором) «Тихого Дона».

И вдруг моя спутница сказала:

– Какое ничтожество – Шолохов!

В первую секунду я был этим определением слегка шокирован. Хотел было уже даже что-то возразить. Но тут же понял, что она имеет в виду только внешнее, зрительное впечатление, что эта ее реакция вовсе не распространяется на писателя Шолохова. Это был очень поверхностный, чисто женский взгляд. Но ведь не зря же кем-то было сказано, что после тридцати (а может, после сорока?) лет человек сам отвечает за свое лицо. И не зря автор «Портрета Дориана Грея» сказал, что только очень поверхностный, очень неглубокий человек может не доверять своему первому впечатлению. Он был прав: ведь первое наше впечатление определяет не разум (очень несовершенный, в сущности, инструмент), а весь наш организм, все таящиеся в нем древние, еще звериные инстинкты.

Обо все этом я тогда, конечно, не думал. Но у меня вдруг словно открылись глаза.

Довоенный – молодой, большелобый Шолохов – тоже не шибко был похож на великого писателя. Но ничтожеством во всяком случае не казался. А тут – невзрачное какое-то, мелкое личико, усишки... Я вдруг увидел: в самом деле – ничтожество.

Это впечатление подтвердилось и окончательно укрепилось позже, когда я увидел его вживе: это было несколько лет спустя, на совещании молодых писателей, он там выступал перед нами в маленьком, тесном зале, а я сидел совсем близко, в первом ряду. Вдобавок ко всему оказалось, что он – совсем небольшого росточка. Но главным, конечно, был не малый рост, а именно вот эта убийственная печать ничтожества, лежащая на его заурядном лице, на всем его невзрачном облике.

И тем не менее имя Шолохова под гнусной антисемитской статейкой меня ушибло. Ушибло именно своей весомостью. К носителю этого громкого имени я, как уже было сказано, не

питал особого уважения. Но при всем при том я все еще находился внутри той системы ценностей, согласно которой это имя было козырным тузом. Другого такого козыря во всей той карточной колоде больше не было.

Кто-то, однако, должен же был на эту гнусность ответить!

Но кто?

По тогдашним моим понятиям ответить Шолохову мог только один человек: Эренбург. По официальной (да и не только официальной) табели о рангах до автора «Тихого Дона» он, конечно, не дотягивал. Но громкая слава его военных статей еще не потускнела. К тому же мне крепко врезалась в память одна реплика Эренбурга, брошенная им в первые дни войны на каком-то антифашистском митинге. Он сказал тогда, что выступает здесь, с этой трибуны, как русский писатель и как еврей. Участниками того митинга были многие знаменитые люди. И одни из них тоже клеймили фашизм как русские писатели (Алексей Толстой), а другие – как евреи (Михоэлс). Но только Эренбург соединил в себе обе эти ипостаси. Вернее, только он один так прямо об этом сказал.

Сам Бог велел именно ему ответить на грязную шолоховскую статейку.

Не надеясь, что Эренбург поймет всё это сам, я решил объяснить ему, в чем состоит в этот момент его первейшая нравственная обязанность. Сперва хотел позвонить ему по телефону, но побоявшись, что в устном, да еще телефонном разговоре не сумею быть достаточно убедительным, решил написать ему письмо. В письме этом я не просил, а прямо требовал, чтобы он как следует отхлестал Шолохова. Кажется, даже объяснял ему, в каких именно выражениях он должен это сделать.

Но письмо это, к счастью, не только отправить, но даже и дописать я не успел.

Статька Шолохова, как я уже говорил, появилась на страницах «Комсомольской правды» 8-го марта. А ответ на нее был обнародован даже быстрее, чем на статью Бубеннова, – 10-го марта, то есть через два дня. Под ним стояла подпись того же Симонова.

Ответ был написан в очень решительном тоне. Он, в сущности, завершал дискуссию, о чем автор объявлял с некоторой даже надменностью:

Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя. Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если «Комсомольская правда» вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу.

Прочитав это, я был почти уверен, что на том дело не кончится. Что Симонову непременно кто-нибудь возразит. Быть может, даже тот же Шолохов.

Но ответа не последовало. Последнее слово так и осталось за Симоновым.

Этот симоновский поступок казался тогда отчаянно смелым. И не только казался, но и был. Но эта его смелость не имела ничего общего с тем **безумством храбрых**, которое в годы своей романтической юности воспел Горький.

Не могу утверждать, что, прежде чем ринуться в драку с Шолоховым, Симонов проводил какие-то консультации **наверху**. Но что-то он, безусловно, знал.

Сейчас, после того как опубликованы его дневниковые записи тех далеких лет, мы можем говорить об этом с достаточной долей уверенности:

Когда начали обсуждать роман Ореста Мальцева «Югославская трагедия», Сталин задал вопрос:

— Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии. Зачем это делается? Зачем пишется двойная фамилия? Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии. Человек имеет право писать под тем псевдонимом, который он себе избрал. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Кому это надо? Человека надо писать под той

фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?

Вот и вся моя запись по этому поводу. Добавлю, что Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал, с оттенком непримиримости к происшедшему...

(Константин Симонов. «Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине»)

Обсуждение «Югославской трагедии» Ореста Мальцева происходило в марте 1952 года, то есть – спустя год после дискуссии о псевдонимах. Но реплика Сталина («В прошлом году уже говорили на эту тему») показывает, что его точка зрения на сей счет была и раньше хорошо Симонову известна.

Всё это Симонов, конечно, учел, вступая в спор с Шолоховым. И тем не менее, как я уже сказал, он и в самом деле проявил тогда недоужинную смелость. Ведь те, кто стоял тогда за спиной Бубеннова (и Шолохова), тоже что-то знали, на что-то рассчитывали.

Не может быть никаких сомнений, что истерическая газетная кампания по раскрытию скобок (то есть – тех же псевдонимов) не могла начаться, а тем более принять такой разнузданный и массовый характер без прямого одобрения «Хозяина».

А потом он сам же ее и прекратил.

Это был его стиль, его почерк. Он любил, дождавшись, когда лавина замысленного и развязанного им какого-нибудь очередного кровавого безумия дойдет до высшей точки, выступить, скажем, со статьей «Головокружение от успехов». И весь кошмар происходившего будет отнесен за счет так называемых **перегибов** («Всегда у нас так, – будут почесывать в затылках честные глуповцы, – пошли дурака Богу молиться...»). А ОН – как всегда – в белом смокинге.

Отмена «перегибов», однако, ни в коем случае не указывала на отступление от «генеральной линии». И это прекрасно знали Бубеннов с Шолоховым, равно как и все те, кто стоял за их спинами. Но дальнейшего развития этот сюжет так и не получил, и обращаться за помощью к Эрэнбургу мне тогда, слава Богу, не пришлось.

Вскоре, однако, возник у меня другой повод для такого обращения. И тут я уж не преминул им воспользоваться.

* * *

Был у меня в начале 50-х такой дружок – Володя Файнберг. Он писал стихи. Горячие, искренние, а главное – «под Маяковского». Это последнее обстоятельство тогда очень меня к нему располагало.

Летом 1953-го – недавно умер Сталин и только что был арестован и расстрелян Берия – Володя сочинял очередную свою «маяковскую» лирическую поэму. И каждый день читал мне еще дымящийся, с пылу с жару, только что родившийся очередной ее кусок.

В одном таком очередном куске он занимался самобичеванием по поводу того, что душа его очерствела, стала холодна к чужому горю. Вот проехала, ревя сиреной, карета «Скорой помощи». Значит, у кого-то – беда! (Завидев «Скорую помощь», в не такие уж давние времена, мы, мальчишки и девочки, скрестив два пальца – указательный и безымянный – повторяли: «Чур, не мое горе!») Так вот, проехала, значит, мимо «Скорая помощь», – писал в своей поэме Володя Файнберг, – а он – ничего! И дальше шли темпераментные – в духе Маяковского – саморазоблачения, самобичевания: как смеет он, поэт, быть равнодушным к чужому горю!

Выслушав этот пассаж, я сказал Володе, что все это как-то уж очень отвлеченно. И что же ему, всякий раз, как только услышит он сирену «Скорой помощи», так сразу – бежать куда-то, кому-то (кому?) на помощь... Нет, как-то несерьезно всё это. И вообще, сказал я, поэт, конечно, существо сверхчувствительное. Но эта его сверхчувствительность должна проявляться прежде всего по отношению к разным сотрясениям социального порядка. Болезнь, смерть – это бывало всегда. А писать надо о том, что происходит именно сейчас, в наши дни. Мы сейчас, говорил я Володе, живем на переломе истории. Тут такие события происходят, а ты – про «Скорую помощь».

И вот под влиянием этих моих разговоров Володя родил такие строки:

Пока
 поэты
 тупили перья,
 Пока
 о счастье
 писали поэты, –
 Со Сталиным
 рядом
 работал Берия!
 А ты?
 Ты ведь чувствовал
 это!

Вот это мне понравилось. Берия в данном случае был – знак! Знак того, что не все было благополучно «в датском королевстве». И был тут даже прямой намек на то, что «Дания – тюрьма», как выразился о своей родине, может быть, даже с меньшими основаниями, чем могли бы мы это сказать о нашей, принц Гамлет.

Сейчас я уже не могу точно сказать, было ли для нас – для Володи Файнберга, сочинившего эти строки, и для меня, подтолкнувшего его к их сочинению, – имя «Берия» искренне исповедуемой нами персонификацией мучившего и угнетавшего нас положения вещей «в датском королевстве». Или (скорее всего, наверно, – именно так) это имя просто давало возможность выразить все наши социальные недовольства и тревоги в легальной форме.

Так или иначе, но что-то Володя в этих своих строчках выразил. Какой-то шаг к «рубежу запретной зоны» все-таки сделал. И это мне понравилось.

И тогда Володя сказал, что ему очень бы хотелось показать свои стихи Эренбургу. И спросил, не могу ли я ему в этом помочь. Я мог.

Моя приятельница Лена Зонина – жена моего друга Макса Бременера – работала тогда у Ильи Григорьевича секретарем. И я попросил Лену. И она довольно легко устроила Володе эту встречу с классиком.

Прочитав Володины стихи, классик прежде всего осудил их несамостоятельность. Его в них больше всего раздражило

как раз то, что мне в них нравилось: откровенная, нарочитая, каждой «лесенкой» демонстративно подчеркиваемая приверженность «школе Маяковского».

Свое отношение к этой приверженности Илья Григорьевич выразил коротко и ясно.

– Маяковский, – сказал он, – был трибун. Но у него была трибуна.

Этой блистательной репликой он, как говорится, закрыл тему.

А о нравящихся мне – главных, ключевых, как нам с Володи тогда казалось, – строчках его поэмы («Рядом со Сталиным работал Берия») отозвался так:

– Почему – рядом? Вместе!

Сегодняшний читатель, наверно, даже и не ощутит всей глубины пропасти, лежащей между этими двумя определениями: «рядом» или «вместе» – не всё ли равно?

Но для нас тогда в двух этих, казалось бы, не столь уж различных определениях заключались две разные – и не просто несхожие, а прямо противоположные – исторические концепции. Если угодно, даже – два противостоящих одно другому мировоззрения.

«Рядом» – это значило, что коварный враг, как это уже не раз бывало в истории нашей страны, пробрался в самое сердце партии, сумел втереться в доверие самого ее вождя. И творил свое черное дело. И все плохое, все страшное, что было в нашей жизни, – шло от него. А вождь – как был, так и оставался в ангельски чистых, незапятнанных белых ризах.

«Вместе» – это значило, что обо всех черных делах своего подручного Сталин знал. И не просто знал, а прямо поручал, приказывал ему их творить. Это значило, что Берия был орудием Сталина, послушным исполнителем его воли. Говоря попросту, это значило, что именно он, Сталин, а не какой-то там Берия, и был главным врагом народа.

Хотя к таким откровенным формулировкам я тогда еще был не вполне готов, эта откровенная реплика Эренбурга меня не больно шокировала. Вероятно, до конца в этом себе не признаваясь, я и сам предполагал нечто подобное.

А Лена Зонина, когда я передал ей благодарность Володи и – с его слов – коротко изложил этот его разговор с Ильей Гри-

горьевичем, озабоченно нахмурилась: «Ох, не надо бы ему так откровенничать с каждым...»

Когда я сказал, что Володя не каждый, что я ручаюсь за его порядочность, она ответила, что за порядочность своего подопечного я, может, и могу поручиться, но могу ли с той же уверенностью поручиться, что он эту информацию о своем разговоре с классиком не понесет дальше.

И вообще, добавила она, Илья Григорьевич несет такое чуть ли не в каждом разговоре с совершенно не знакомыми ему людьми, за которых уж и вовсе никто не может поручиться.

В общем, Лена была недовольна своим шефом. А мне это беспечное его поведение, за которое она его журила, как раз понравилось.

Я и до этого часто разговаривал с Леной про ее шефа. И в тех ее рассказах поначалу мне рисовался не очень привлекательный образ.

Вот, например, послал он ее как-то по каким-то своим делам в Гослит. У нее на это задание шефа ушло чуть ли не полдня. «Где вы были?» – раздраженно спросил он, когда к концу своего рабочего дня она наконец появилась. «Как – где? Я ездила в Гослит, вы же знаете», – недоумевая, ответила Лена. И была очень обижена, когда он в ответ, недоверчиво хмыкнув, пожал плечами, словно бы не поверив, что она говорит правду.

– Понимаешь, – жаловалась она мне, – когда ему самому надо по тем же делам съездить в Гослит, он садится в машину. Десять минут – и он уже там. И сразу перед ним распахиваются все двери. Котов (тогдашний директор Гослитиздата) сразу его принимает, в две минуты решает все его дела, и через полчаса он уже дома. Он не понимает, не может понять, что мне, чтобы добраться до Басманной, надо долго мерзнуть на остановке, дожидаясь троллейбуса, а потом часа полтора сидеть в приемной у Котова, ждать, когда наконец тот соизволит меня принять.

Позже – уже в иные годы – нечто похожее, и тоже жалуясь, рассказывала мне об Эренбурге жена Бори Слуцкого Таня.

Таня тогда уже была больна своей неизлечимой болезнью, и ей лучше было жить не в Москве, а где-нибудь за городом.

И вот она позвонила мне и спросила, нельзя ли снять какую-нибудь дачку (комнату с террасой) в том дачном поселке, где, как она знает, уже много лет подряд снимаем дачу мы.

– А зачем это вам? – удивился я. – Ведь ты совсем недавно мне говорила, что вы живете на даче Эренбурга.

– Да, – подтвердила Таня. – Живем. Но это нам не по карману.

– То есть как? – еще больше удивился я. – Не хочешь же ты сказать, что Эренбурги сдают вам дачу за деньги?

– Нет, – сказала Таня. – Никаких денег они с нас, конечно, не берут. Но там ведь у них как поставлено. Как только подъезжает Илья Григорьевич с Любовью Михайловной к даче, в доме гаснет свет. Илья Григорьевич говорит Любовью Михайловне: «Дайте им там, сколько они хотят, но чтобы свет был». Любовь Михайловна дает, и свет загорается. В результате этот человек, который там у них отвечает за то, чтобы свет всегда был, и вообще, чтобы все было в порядке, выстроил себе рядом с эренбурговской свою дачу, побогаче, чем у Эренбургов.

Это, как я уже отметил, мне Таня рассказывала уже в иные, более поздние времена. Но именно вот такой образ капризного, избалованного барина возникал и в рассказах Лены Зониной, когда она, бывало, делилась с моим другом Максом, а заодно и со мной, впечатлениями о какой-нибудь очередной причуде «старика», как она его называла.

«Старика» она, однако, любила, и говорила, что работать с ним – легко. Несмотря на вечную свою скептическую, даже какую-то брезгливую усмешку, а также вопреки всем этим своим причудам избалованного, капризного барина, в общении с ней был он покладист, добродушен, снисходителен.

Ну, с Леной-то оставаться добродушным и снисходительным ему было нетрудно. Лена была отличным работником: четким, деловитым, никогда и ничего не забывающим. Не то что Наташа (Наталья Ивановна) Столярова, сменившая Лену на этом посту.

Про нее шеф рассказывал, добродушно посмеиваясь, что однажды, придя на работу, она обратилась к нему с таким вопросом:

– Илья Григорьевич, напомните мне, пожалуйста: о чем вы просили меня сегодня утром вам напомнить?

Но Илья Григорьевич и к ней был снисходителен, терпел и легко прощал чудовищную ее безалаберность, и обычное-то общение с ней делавшую довольно затруднительным, а уж при исполнении ее секретарских обязанностей, я думаю, совсем невыносимую.

Тут, правда, могло играть роль то обстоятельство, что Наташу он знал девочкой: она была подругой его дочери Ирины, они вместе учились в той французской школе, о которой Ирина написала свою первую книжку. Да и последующую Наташину судьбу он тоже, наверно, учитывал: вернувшись из Франции на родину, она почти сразу угодила в пасть ГУЛАГа, и отрубил там немалый срок. Так что причин для снисходительного отношения к ее слабостям у Ильи Григорьевича было много. Но не каждый стал бы считаться с этими причинами.

Это все – повторяю – я узнал позже, уже в иные времена. Но и раньше, из рассказов Лены Зониной, у меня тоже сложился все-таки скорее обаятельный образ ее шефа. Даже эти барские его повадки, когда она нам о них рассказывала, в ее освещении выглядели, скорее, мило. Что ж, в конце концов, имеет право. Заслужил. Не толкаться же ему наравне со всеми в приемной у директора издательства. Не хватало еще, чтобы Эренбург целый час дожидался, пока какой-то там Котов соизволит дать ему аудиенцию.

Так-то оно так, думал я, выслушивая эти Ленины доводы. Но ведь он – писатель. Как можно быть писателем, отгородившись такой стеной от жизни, которой живут его герои? Позабыв о том, как мерзнут они на трамвайных и автобусных остановках и толкуются в очередях, часами просиживают в приемных у разных мелких начальников, да так и уходят ни с чем, несолоно хлебавши.

Вот поэтому-то так бледны, – думал я, – его романы. Поэтому и образы его постоянных героев такие схематичные, безжизненные: в каждом романе непременно какая-нибудь ткачиха, заливающаяся слезами над страницами «Анны Карениной», и такой же – из романа в роман кочующий – рабочий парень,

заходящийся восторгом от стихов Пастернака. Поглядел бы он на этих ткачих и на этих рабочих парней в натуре!

Все эти свои – как теперь принято выражаться, амбивалентные – ощущения я высказал и Володе Файнбергу, когда он делился со мной своими впечатлениями о встрече с живым Эренбургом. Но Володя от «старика» был в восторге, и, слушая его, я не то чтобы ему позавидовал, но, грешным делом, подумал, что ведь мог бы не только ему, но и себе – через ту же Лену – с легкостью устроить такую же встречу. Может быть, даже мне удалось бы сойтись с Эренбургом поближе, чем это вышло у Файнберга. А поводов для знакомства нашлось бы сколько угодно.

Сейчас я уже не помню, почему, с такой легкостью обратившись к Лене с просьбой устроить встречу с ее шефом Володе Файнбергу, попросить ее устроить такую же встречу и мне тоже я постеснялся. И так с Ильей Григорьевичем тогда и не познакомился.

Познакомился я с ним позже и совсем при других обстоятельствах.

3

В конце 1959 года я стал работать в «Литературной газете».

Меня позвал туда мой старый литинститутский товарищ Юра Бондарев, ставший там членом редколлегии и редактором отдела литературы. А его пригласил сменить на этом посту Михаила Алексея нового главного редактора «Литературки» Сергей Сергеевич Смирнов («Брестская крепость»).

Предшественником Сергея Сергеевича на этом посту был Всеволод Кочетов.

Сегодня, наверно, уже мало кто помнит этого литературного деятеля той эпохи. А тогда это был – человек-символ. Символ сталинистского реванша, знак очередных заморозков, сменивших первые робкие лучи оттепельного солнышка.

До назначения в «Литгазету» он возглавлял ленинградское отделение Союза писателей. Но на очередном отчетно-выборном собрании ленинградцы его с треском провалили. И тут какие-то влиятельные «наследники Сталина» перетащили его в Москву, и даже с повышением. (Должность главного редакто-

ра единственной на всю страну «Литературной газеты» была, конечно, и рангом повыше, а главное – куда важнее, чем должность руководителя областной – хотя бы и ленинградской – писательской организации).

Это новое назначение Кочетова было встречено сразу же сочинившейся кем-то эпиграммой:

Живет в Москве литературный дядя.
Я имени его не назову.
Скажу одно: был праздник в Ленинграде,
Когда его перевели в Москву.

В Ленинграде был праздник, а в Москве – траур. Да и не только в Москве: «Литгазета», как я уже сказал, определяла литературную политику государства на территории всего Советского Союза. А уж какой будет эта политика при Кочетове, стало ясно сразу.

Почти сразу же начались увольнения и уходы «по собственному желанию». В короткий срок газету покинули десятки сотрудников, и в числе первых были, конечно, самые яркие, самые талантливые. Среди тех, кого уволили или вынудили уйти, были и литераторы, имена которых уже кое-что значили тогда в литературе: Анатолий Аграновский, Владимир Огнев, Василий Сухаревич, Анатолий Бочаров, Нина Игнатьева.

Александр Лацис, заведовавший отделом фельетонов, увольняясь, сказал:

– Я подсчитал: я двадцать третий.

На смену ушедшим пришли люди, не умевшие не то что писать, но и просто выправить статью, нуждавшуюся в редакции.

Кочетовский смерч сметал не только рядовых сотрудников. Демонстративно объявили о своем выходе из редколлегии писатели Валентин Овечкин и Всеволод Иванов.

Прощаясь с остающимися сотрудниками, с которыми у него сложились добрые отношения, Овечкин сказал:

– Вам, ребята, я не завидую, а сам я в эту «кочетовку» больше ни ногой.

Все это было, конечно, из рук вон худо. Но еще хуже было другое.

Эту тактику «выжженной земли» Кочетов ведь распространил не только на вверенный ему коллектив. Кочетовские «лучи смерти» действовали не только внутри газеты, но и далеко за ее пределами.

В короткий срок этот «литературный дядя» оттолкнул от газеты всё талантливое, всё живое, что было тогда в нашей литературе, всех лучших тогдашних российских писателей превратил в заклятых ее врагов.

Даже самые законопослушные из тех, кто работал тогда в «Литгазете», сами в душе тоскующие по сталинским порядкам, – и те жаловались:

– Некому заказать статью! Все писатели отказываются с нами сотрудничать!

Первая задача, которую поставил перед собой сменивший Кочетова новый главный редактор, состояла в том, чтобы сбить свою, новую команду. А вторая – куда более сложная – в том, чтобы помирить «Литературную газету» с обиженными ею писателями.

Первым в длинном ряду обиженных был Эренбург.

Его кочетовская «Литгазета» не просто обижала. Она его мордовала, травила, изничтожала. Эренбург для Кочетова был – все равно что Троцкий для Сталина.

При этих обстоятельствах трудно было рассчитывать на то, что Эренбург так уж быстро «оттает», сразу, с первого захода поймет, что теперь, с приходом нового главного редактора, газета станет совсем другой.

В этом его надо было убедить. А убеждать пришлось нам двоим – моему другу Лазарю и мне.

Лазарь был единственным из старой команды, на кого новый главный редактор мог опереться. Быстро это сообразив, ЭсЭс, как мы называли Сергея Сергеевича, сразу назначил его заместителем Бондарева. Бондарев же – это тоже выяснилось сразу – совсем не годился на роль руководителя отдела. И дело тут было отнюдь не в тех свойствах его личности, которые со временем превратили его в одного из главных фюреров нашей писательской черной сотни. Тогда о такой метаморфозе никто из нас не мог даже и помыслить. По взглядам

своим, по своей, так сказать, идейной ориентации Юра тогда был полным нашим единомышленником. Тут у нас была полная гармония. А руководить отделом он не мог совсем по другим причинам.

Он ничего не смыслил в повседневной редакционной работе. Любое дело, которое ему надо было решить, ввергало его в состояние «пьянственного недоумения» (любимое его тогдашнее выражение). «Пьянственного» отнюдь не потому, что у него была тяга к спиртному, а потому, что от всей этой безумной редакционной кухни у него, уже через полчаса после того как он утверждался в своем роскошном редакторском кабинете, начинала кружиться голова.

В общем, вышло так, что Юра Бондарев стал нашей, как теперь говорят, крышей. Своим авторитетом члена редколлегии и большой медведицы пера он порой пробивал на редколлегии самые острые наши материалы. Но «в лавке» стал бывать все реже и реже, иногда даже уходя в довольно длительный творческий отпуск.

А руководителем отдела практически стал Лазарь.

Вот поэтому-то ему и было поручено «навести мосты» с Эренбургом. Что же касается моей кандидатуры, то я, честно говоря, забыл: то ли меня пристегнули к нему волею начальства, то ли он сам решил взять меня с собой, за компанию.

Когда я – недавно – спросил его об этом, он сказал:

– Ты не помнишь, а я прекрасно помню. Я его боялся! Боялся идти к нему один. Просто дрейфил.

И тут же добавил, что остановил свой выбор именно на мне, потому что я – это было ему известно – хорошо знал раннего Эренбурга, и эти мои знания, как ему казалось, в той щекотливой нашей миссии, глядишь, могли бы нам пригодиться.

Так или иначе, отправились мы к Эренбургу (предварительно, разумеется, созвонившись и испросив разрешения на аудиенцию) вдвоем.

Шли вдвоем, а пришли втроем.

Дом, где жил тогда Эренбург, я знал хорошо. Он выходил в тот же – Глинищевский – переулок, куда одной своей стороной выходила наша необъятная Бахрушинка. Так что мы с Эрен-

бургом, можно сказать, были соседи. Иногда я даже встречал его в нашем переулке: он гулял с двумя то ли таксами, то ли пудельками, что не слишком меня удивило. Гораздо больше удивило меня то, что он был в берете. Прохожие на него оборачивались. Думаю, не потому, что узнавали знаменитого писателя, а как раз из-за вот этого самого берета: этот головной убор мужчины тогда в наших краях не носили.

Но в тот день мы с Лазарем подошли к эренбургговскому дому не с переулка, а с Тверской (так она называлась в пору моего детства и так называется сейчас, а тогда она была – улицей Горького). Подошли, и тут, что называется, носом к носу столкнулись с Эмкой Манделем (будущим Коржавиным).

– Что это вы, ребята, гуляете в рабочее время? – радостно удивился он.

Мы объяснили, что отнюдь не гуляем, а совсем наоборот, находимся при исполнении своих служебных обязанностей: по важному заданию редакции идем к Эренбургу.

Он тут же объявил:

– Я с вами!

Лазарь попытался было отбить эту атаку. Сказал, что это не совсем удобно, что мы направляемся к Эренбургу с очень деликатной миссией, что еще не известно, как-то он нас примет, не встретит ли мордой об стол... Говорил и что-то еще в том же духе.

Но Эмка слушать все эти его объяснения и доводы не стал.

– Глупости! – отмахнулся он. – Эренбург очень хорошо меня знает. Он будет мне рад, вот увидите!

В общем, отбиться нам от него не удалось, и мы предстали перед Эренбургом втроем, в компании якобы хорошо ему известного Манделя.

Впрочем, слово «якобы» тут, пожалуй, неуместно. Манделя Илья Григорьевич и в самом деле хорошо знал. Так ни разу и не удосужившись расспросить самого Эмку, когда и при каких обстоятельствах случилось ему познакомиться с Эренбургом, я – позже – прочел об этом в эренбургговских мемуарах. А годы спустя, уже после смерти Ильи Григорьевича, разбирая с Ириной его архив, среди множества подаренных ему книг нашел Эмкину. Дарственная надпись на ней гласила: «Илье Гри-

горьевичу Эренбургу с благодарностью за многое, что он сделал в жизни вообще и лично для меня».

Да, с Эмкой о его знакомстве с Эренбургом я почему-то никогда не говорил. Но с Эренбургом один разговор об Эмке у меня был. И помню я его так ясно, что могу воспроизвести дословно.

Было это спустя года два после того, первого, совместного нашего к нему визита. К тому времени я стал бывать у Ильи Григорьевича хоть и не часто, но постоянно. Постепенно у нас установились – не скажу, чтобы очень близкие, но, во всяком случае, доверительные отношения. И однажды, когда я пришел к нему (на этот раз один) по какому-то мелкому делу, ответив на мои вопросы, он вдруг сам заговорил со мной об Эмке. Вспомнил, как тот впервые объявился у него – то ли в 45-м, то ли в 46-м. И читал стихи. Стихи, в общем, ему понравились. Но все они свидетельствовали о том, что у автора была тогда, как выразился Илья Григорьевич, *du sacha* в голове. Особенно поразило его одно из них. Про Лубянку.

Я сразу понял, какое из Эмкиных стихотворений Илья Григорьевич имел в виду. Я хорошо его знал, помнил наизусть. Чтобы дальнейший наш разговор был понятен, приведу его тут полностью:

Я все на свете видел наизнанку
И путался в московских тупиках.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание Чека.

Оно стояло и на мир смотрело,
Храня свои суровые черты.
О, сколько в нем подписано расстрелов
Во имя человеческой мечты...

И в наших днях, лавирующих, веских,
Петляющих, – где вера нелегка,
Оно осталось полюсом советским –
Готическое здание Чека.

И если с ног прошедшего останки
Меня сшибут, – то на одних руках
Я приползу на красную Лубянку
И отыщу там здание Чека.

– И что вы ему тогда про него сказали? – спросил я.

Эренбург пожал плечами.

– Спросил: «Почему вы решили, что это здание – готическое?»

– И всё? – удивился я.

– И всё. – Он снова пожал плечами. – А что еще я мог тогда ему сказать?

По этому недоуменному пожатию плеч, по выражению его лица я понял, что столь явная и чудовищная слепота автора этого стихотворения не могла, по его мнению, быть ничем иным, как следствием неизреченной его глупости. Выразить же это свое мнение в более прямой и откровенной форме он тогда – по понятным причинам – не решился. А может быть, и просто счел это лишним.

На самом деле, однако, это была не глупость. И дело было отнюдь не только в том, что в голове у моего друга Эмки была тогда, как выразился Илья Григорьевич, *du sacha*, – то есть большая каша.

В основе этой его «глупости» лежало то, что он – уже тогда – понимал, или лучше сказать, чувствовал, что самое страшное для нормальной человеческой психики – это расколотое, раздвоенное сознание. То, что впоследствии Оруэлл в своей знаменитой книге назовет **двоемыслием**.

Много лет спустя, уже в иные времена, он однажды блестяще сформулировал это короткой, экспромтом родившейся в каком-то долгом споре репликой: «Плюрализм в одной голове – это шизофрения». Это была не острота, не просто звонкая фраза или изящный фехтовальный прием. Это был точный медицинский диагноз.

Увы, этот диагноз касался нас всех. У всех у нас – во всяком случае, у большинства из нас – было именно вот такое «шизофреническое», двойное сознание.

Не избежал «плюрализма в одной голове» и сам автор этой блестящей формулы.

Незаурядный ум, а может быть, не ум, а мудрость поэтического дара открыла ему глаза гораздо раньше, чем мне. То, что я смутно чувствовал, о чем лишь догадывался, он не только осознал, но и очень рано сформулировал:

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна...
Звонок урчал... И люди просыпались,
И вскрикивали женщины со сна...
.....

А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник.
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные – кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.

Желание «быть врагом» для человека, которому так ясно открылась истина о происходящем вокруг, было естественным. Никакой иной реакции тут, казалось бы, не могло и быть.

Но автор процитированных стихов не в силах стать на этот путь:

Иначе писать не могу и не стану я.
Но только скажу, что несчастная мать.
А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его поднимать?

Вот он – вопрос вопросов. **Против кого поднимать восстание?** Против единственной в мире страны победившего социализма?

Нет, это невозможно!

И сразу овладевает им сознание своего (нашего общего) гамлетовского бессилия:

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь...

Мы не будем увенчаны,
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Не потому мы не сможем (не захотим) поднять восстание, что мы ничтожнее, трусливее тех, кто сто двадцать лет тому назад вышли на Сенатскую площадь, а совсем по другой причине. Потому что тот мир, против которого надо было бы поднять восстание, не только не враждебен, но даже и не чужд нам.

Нет, он не может, не в силах ощутить себя врагом этого мира, кровинкой которого он привык себя ощущать. И тогда остается только один выход: оправдать всю его несправедливую, кровавую жестокость – приползти «на красную Лубянку, в готическое здание Чека».

Все это – далеко не так внятно, а весьма сумбурно и даже сбивчиво я попытался тогда высказать Эренбургу.

Не знаю, в какой мере это мне удалось.

Заключая свой длинный и маловразумительный монолог, я сказал, что да, конечно, каша в голове у моего друга тогда была. И немалая. Но первопричиной этой самой каши было естественное для нормального, психически здорового человека стремление **убежать от шизофрении**.

Илья Григорьевич, сколько мне помнится, никак на эти мои сбивчивые объяснения не прореагировал. Скорее всего, даже не понял, что я хотел сказать (или не захотел понимать).

А между тем он ведь и сам не чужд был этого двойного сознания, этого плюрализма в одной голове. Он тоже – по-своему – пытался убежать от этой шизофрении. Только другим способом. Прямо сказал в одном из своих стихотворений, что **слепоту зовет находкой**.

Что это, как не такой же самообман, как у юного Мандела с его du sacha в голове? Другая форма того же самообмана.

* * *

Но я, кажется, слишком далеко забежал вперед.

Возвращаюсь назад, в тот день, когда мы явились к нему втроем – Лазарь и я по делу, а случайно встретившийся нам Эмка – просто так, за компанию.

Хоть Эмка и уверял нас, что его появлению в компании с нами Эренбург обрадуется, особой радости по этому поводу Илья Григорьевич не выказал. Но и удивления своего не показал тоже, хотя удивлен таким составом нашей делегации, судя по некоторым признакам, был немало.

Когда мы уже сидели – все трое – напротив него и беседовали, он время от времени как-то странно поглядывал – то на нас, то на Эмку. Видимо, пытался понять, что может быть общего у официальных представителей нелюбимой им «Литературной газеты» с приходившим к нему когда-то нелепым молодым поэтом, сочинявшим и публично читавшим крамольные стихи и лишь недавно вернувшимся из ссылки.

Задать нам вслух этот вопрос, легко прочитывавшийся в его глазах, он так и не решился. Но, как мне показалось, присутствие Эмки не только не помешало успеху нашей деликатной миссии, но, может быть, даже немало ему способствовало. (Во всяком случае, когда мы с Лазарем нанесли Эренбургу следующий, второй наш официальный визит, он встретил нас уже гораздо теплее.)

Усадив нас прямо перед своим письменным столом, за которым сидел, он слегка откинулся в кресле, и тут я отметил, что кресло это было особое, сделанное, как видно, на заказ: из того же светлого дерева, что и стол, и не только вертящееся, но еще и откидывающееся назад, так что, сидя в нем, можно было покачиваться, как в кресле-качалке.

Мог ли я тогда знать, что годы спустя, когда Ирина после смерти отца перевезет весь его кабинет к себе на Красноармейскую, я, бывая у нее чуть ли не ежедневно, частенько буду сидеть в этом кресле, вот так же, как он сейчас, откидываясь назад и слегка покачиваясь. И мог ли я думать, с любопытством оглядывая знаменитые его трубки (их, правда, было не тринадцать, а гораздо меньше), и старинный дуэльный пистолет, и мраморный барельеф какого-то индийского божка, и какие-то причудливые керамические фигурки, стоявшие на книжных полках, – что все эти поразившие мое воображение предметы я буду не только рассматривать вблизи, но и запросто брать в руки. И так же запросто буду брать в руки стоящие на этих полках книги, среди которых обнаружу не только первые издания «Евгения Онегина» и «Горя от ума», но и подаренные хозяину этого кабинета с самыми нежными дарственными надписями томики Цветаевой, Зощенко, Есенина...

Сидя в тот день напротив покачивавшегося в своем кресле Эренбурга, я обо всем этом, конечно, не думал. Но что этот сидящий сейчас напротив меня старый человек во время оно был «на дружеской ноге» с Маяковским, Есениным, Цветаевой и Пастернаком, конечно, знал. И знание это в моем тогдашнем взгляде на него тоже, конечно, участвовало. Не могло не участвовать.

Наверняка это знание участвовало и в том, что, впервые глядя на живого Эренбурга вблизи, я начисто забыл обо всем, что меня в нем раздражало, что мне в нем не нравилось, что я в нем не любил, не принимал и даже осуждал, глядя на него издали. Какую-то роль тут, конечно, играла и смена ракурса – вот эта самая разница между взглядом с расстояния в два шага и взглядом издали. Но главной причиной этой перемены моего отношения к нему было все-таки другое.

Главной причиной того, что, в отличие от Эренбурга, которого я знал издали, Эренбург, сидящий сейчас напротив меня, мне сразу понравился, был, как ни странно, вот этот самый его кабинет с бесполово громоздящимися вокруг вещами самого разного происхождения и самого разного достоинства.

В тот момент я об этом, конечно, не думал, никак этого не осознавал. Но сразу почувствовал. И именно это чувство было

главным – и самым сильным – тогдашним моим впечатлением.

Смысл же этого впечатления состоял примерно в следующем.

В том кабинете были собраны вещи уникальные по своей художественной (да и чисто материальной) ценности. Довольно уже того, что со стен его на нас глядели картины Коро, Шагала, Пикассо, Матисса, Марке, Фалька...

Но вся обстановка этого кабинета, вся царящая в нем атмосфера внятно говорила нам, что ни реальная стоимость этих воистину музейных вещей, ни громкость этих имен не имеет для их обладателя ни малейшей цены. Ценит же он их совсем за другое: за то, что каждая из них связана с каким-то глубоко личным его переживанием, каждая – это какая-то часть его жизни. Яснее ясного тут было видно, что какая-нибудь глиняная свистулька или тряпичная кукла, соседствующая на книжной полке с серебряным пистолетом и мраморным изваянием Будды, дороги ему не меньше, чем этот драгоценный Будда и этот антикварный пистолет. И даже чем изображавший хозяина рисунок Матисса или Пикассо.

В большой гостиной эренбурговской квартиры, минуя которую мы прошли в его кабинет, я обратил внимание на стол и кресла красного дерева, сразу привычно определив: «Александр». (Эту «красную», как тогда говорили, мебель я имел счастье видеть у многих наших соседей по Аэропортовской, и от них же были у меня на слуху эти небрежные – вскользь брошенные тоном знатоков – определения эпох: «Александр», «Павел», «Екатерина».)

В эренбурговском кабинете тоже стояли два-три «красных» стула, и я так же мысленно отметил, что это тоже «Александр». (На один из этих александровских стульев, нимало не смущаясь его благородным происхождением, уселся Эмка, на другом пристроился Лазарь.) Но, в отличие от наших аэропортовских соседей, стремящихся строго блюсти единство ампириного стиля (ни при какой погоде не могла бы у них рядом с «Павлом» или «Александром» оказаться кровать или даже тумбочка из какого-нибудь современного румынского или польского гарнитура), в эренбурговском кабинете эти мебельные аристократы запросто соседствовали с «плебеями».

Эти «плебеи» были, конечно, не совсем плебеями: и стеллажи, и письменный стол, и кресло с откидывающейся спинкой были явно сделаны на заказ. И заказ этот, конечно же, отражал вкус заказчика. Но вкус этот был бесконечно далек от вкусов любителей ампириной мебели. Скорее он выдавал в нем приверженца того конструктивистского стиля, которому молодой Эренбург некогда отдал дань в своей книге «А все-таки она вертится».

Я подумал об этом, когда Илья Григорьевич, увидав, что на троих визитеров стульев не хватает (ожидал-то он двоих!) подошел к стоящей возле книжных полок невысокой лесенке, сделанной из того же светлого дерева, что и стеллажи, – что-то там повернул у нее с исподу (откинул какой-то крючочек), и лесенка разломилась пополам, раскинулась на каких-то невидимых петлях и превратилась в стул, который тут же был предложен мне.

Сиденье этого «стула» было жестким, спинка тоже жесткая и чересчур прямая, так что сидеть на нем было довольно-таки неудобно. Но само превращение лесенки в стул меня восхитило. Эренбург, как мне показалось, тоже относился к этому украшению своего кабинета с особой нежностью. Во всяком случае, проделал он всю эту операцию с явным удовольствием и не без авторского, как мне показалось, тщеславия, так что я даже подумал: уж не сам ли он изобрел эту раскидывающуюся и превращающуюся в стул лесенку.

(Не знаю, часто ли приходилось Илье Григорьевичу демонстрировать своим гостям это хитроумное конструктивное устройство, но я, когда мы собирались у Ирины и сидячих мест не хватало, частенько раскидывал эту лесенку, превращая ее в стул. Даже сам мечтал заказать себе такую же, но мечта, увы, так и осталась мечтою.)

Сейчас я уже не могу точно вспомнить, какие из всех описываемых мною предметов я разглядел именно тогда, а какие при следующих наших посещениях этого кабинета. (Кое-что, может быть, даже и в более поздние времена, когда кабинет располагался уже у Ирины.) Одно могу сказать с достаточной степенью точности: ни Марке, ни Матисс, ни Шагал не были тогда замечены и отмечены мною. Ну, картины и картины.

Я и раньше знал, что Эренбург приятельствовал и даже дружил с многими знаменитыми художниками, и они дарили ему свои шедевры. Нет, в картины я тогда особенно не вглядывался. Зато очень хорошо разглядел застекленную и окантованную фотографию, на которой Эренбург, сидя в каком-то плетеном – видимо, дачном – кресле ласкал вставшую на задние лапы и положившую морду к нему на колени лохматую собаку. (Тоже, конечно, тогда знать не знал и думать не думал, что годы спустя с этой вот самой собакой – рыжей Ириной Чукой – чуть ли не каждый вечер буду гулять по нашей Аэропортовской.)

Мягкая, добрая улыбка, с какой Эренбург на фотографии ласкал тянущуюся к нему собаку, еще больше расположила меня к сидящему напротив живому Эренбургу, которого так близко я видел впервые.

И хотя этот живой Эренбург за все время нашего визита ни разу не одарил нас этой доброй, ласковой улыбкой (такая улыбка у него, видимо, предназначалась только для собак), понравился он мне не меньше, чем Эренбург на фотографии.

Положив руку на лежащую перед ним рукопись (это была только что законченная им первая книга его мемуаров, стало быть, время этого первого нашего визита можно датировать довольно точно: это был апрель или май 1960-го), он говорил:

– Эту книгу я хотел бы напечатать целиком. Кроме одной главы – о Троцком. Глава о Троцком пойдет в архив. Я сам не хочу ее сейчас печатать.

И на наш немой вопрос:

– Я встретился с ним в Вене, в 1909 году. И очень он мне тогда не понравился.

– Чем? – не выдержал кто-то из нас.

– Авторитарностью... Отношением к искусству... Может быть, даже из-за этой встречи я решил тогда отойти от партии, от партийной работы... Я не хочу сейчас печатать эту главу, потому что это мое отрицательное отношение к Троцкому может быть ложно истолковано...

Мы покивали в том смысле, что да, конечно, если сейчас он напечатает эту главу, его отрицательное отношение к Троцкому, конечно же, будет истолковано ложно.

– А вот главу о Бухарине, – продолжал И.Г. – я бы хотел напечатать.

И, глядя на Лазаря (понял, небось, что он – самый ответственный человек в нашей компании), спросил:

– Как вы думаете? Напечатают?

Лазарь, не ожидавший такого вопроса (вернее, не ожидавший, что Эренбург, куда лучше, чем мы – так, во всяком случае, нам тогда казалось – знавший, куда дует политический ветер, станет спрашивать об этом у нас), ответил осторожно.

– Одно во всяком случае для меня ясно, – сказал он. – Решить это может только Хрущев.

– А что, – вмешался Эмка. – Хрущев, наверное, к Бухарину относится хорошо.

– Вы думаете? – повернулся к нему Эренбург.

Эмка подтвердил, что да, он почти уверен, что Хрущев в глубине души симпатизирует Бухарину.

– Ну, мне он это просто говорил, – пожевав губами, сказал Эренбург.

Рсплика эта только подтвердила нашу уверенность, что для него не составит труда как-нибудь при случае выяснить этот вопрос (как и любой другой) непосредственно с самим Хрущевым. Но почему же тогда он интересуется мнением на этот счет таких, мягко говоря, не шибко влиятельных особ, как мы?

Прочитав этот немой вопрос на наших лицах, Эренбург тут же рассказал нам о читательских письмах, которые он получает во множестве. Чуть ли не все они начинаются словами: «Неужели вы не можете сказать Никите Сергеевичу...»

Рассказав это, он раздраженно проворчал:

– Они там думают, что я с Никитой Сергеевичем каждый день чай пью.

Дав нам таким образом понять, что, несмотря на доброе отношение Хрущева к Бухарину, о котором ему известно непосредственно от самого Никиты Сергеевича, он все-таки не уверен, что бухаринскую главу напечатать ему удастся, он заключил:

– Во всяком случае эту книгу, – он сделал ударение на слове «эту», – если не считать главу о Троцком, я писал для печати. А вот вторая книга, над которой я сейчас работаю... С ней бу-

дет сложнее. Из нее, дай Бог, чтобы мне удалось напечатать две трети. А треть пойдет в архив...

Он помолчал, пожевал губами и продолжал, обращаясь, кажется, уже не к нам, а словно бы разговаривая сам с собою:

– С третьей книгой будет еще сложнее. Из нее только треть будет напечатана. А две трети пойдут в архив... Ну, а что касается четвертой и пятой книг, то они, я думаю, целиком пойдут в архив...

«Вот молодчина!» – думал я, слушая его монолог, за точность которого (смысловую, во всяком случае) ручаюсь. «Старик» с каждой минутой нравился мне все больше и больше. «Значит, он все-таки решил на это!» – ликовал я. – «Ну наконец-то!»

Это мое ликование было связано с давним моим убеждением, что рано или поздно именно он, Эренбург, напишет «Былое и думы» XX века. Кто же еще, если не он? Больше никому!

Никто из писателей его поколения не был так приспособлен к осуществлению этого «социального заказа», как он. И биографией, и человеческой своей судьбой, и самой природой его писательского дарования.

Так во всяком случае мне тогда казалось. И именно этим и объяснялось то восторженное состояние, в какое привел меня рассказ Эренбурга о том, как он представляет себе судьбу своих будущих мемуаров. Однако это мое радостное «Вот молодчина!» имело еще и другой, более важный для меня смысл.

Когда в печати впервые промелькнуло упоминание о том, что Эренбург пишет мемуары, я испытал чувство радостного удовлетворения: «Наконец-то!». Уже тогда я подумал, что, быть может, впервые в жизни Эренбург решил отойти от недолговечной злобы дня и начать работать, выражаясь высокопарно, для вечности. Во всяком случае, для будущего.

И вот теперь, этим своим признанием (шутка ли: большая часть того, о чем он собирается писать, заранее предназначена не для печати, а для архива!) он подтверждал: да, он выполнит то, чего я от него ждал, на что втайне надеялся.

Помню, я даже подумал: а где, интересно, будет он хранить этот свой архив? И тут же решил: где-нибудь за границей. Скорее всего – в Париже.

Господи! Как же я был наивен!

Когда после смерти Ильи Григорьевича Ирина стала разбирать его архив, оказалось, что публиковать-то, в сущности, уже нечего.

Он написал не пять книг, как объявил тогда, делаясь с нами своими планами, а – шесть. И все шесть были напечатаны при его жизни. Смерть оборвала его работу над седьмой книгой, в которой, как оказалось, были только три труднопроходимые главы (именно их он, судя по всему, предназначал для архива): глава о Сталине, глава о венгерских событиях 1956 года и глава о евреях.

Твардовский, прочитав эту неоконченную седьмую книгу, сказал, что готов ее опубликовать, но, конечно, – без этих трех глав: для них, мол, время ещё не пришло. Еще до Ирины вдова Ильи Григорьевича Любовь Михайловна отказала Твардовскому, сказав, что без этих глав печатать седьмую книгу не стоит. Когда проблема эта встала перед Ириной, она, прежде чем принять окончательное решение, советовалась со мной. И, разумеется, дала мне прочесть всю рукопись, включая и те главы, которые Твардовский публиковать не решался.

Прочитав всё это, я согласился: да, конечно, Любовь Михайловна была права, без этих трех глав печатать седьмую книгу, конечно, не стоит. Но при этом – в более или менее тактичной форме – дал ей понять, что и с этими крамольными главами, если бы Твардовский решился их напечатать, седьмая книга выглядела бы довольно жалко. А про себя даже подумал, что с ними она, пожалуй, выглядела бы даже более жалко, чем без них: такие были они робкие, беспомощные. Сказать о них, что это была **полуправда**, значило бы сделать автору совершенно им не заслуженный комплимент. Это была даже не четверть правды и даже не одна восьмая. И то обстоятельство, что официальная советская точка зрения продолжала стоять на том, что дважды два – шестьдесят четыре, а Эренбург посмел доказывать, что не шестьдесят четыре, а, скажем, шестнадцать – дела не меняло: ведь читатель (во всяком случае, ЕГО читатель) уже знал, что дважды два четыре!

Что же, выходит, он врал? Просто морочил нам голову, когда говорил, что большая часть того, что он напишет, пойдет в

архив? Или – скажу мягче – слегка кокетничал перед нами, давая понять, что существенная часть задуманной им книги будет содержать некую информацию, о которой нечего даже и думать, что в сколько-нибудь обозримом будущем это может быть напечатано?

Или (самое вероятное предположение) по ходу дела, в процессе писания изменил свои первоначальные планы?

В одном я во всяком случае уверен: говоря нам, что ему удастся опубликовать лишь малую часть того, что он собирается написать, он был искренен.

Вышло иначе.

Отчасти потому, что ему **шло навстречу время**. Ведь первую книгу он закончил еще до того, как Сталина вынесли из Мавзолея. Многое из того, о чем в 1959-м или 60-м нельзя было даже и мечтать, в 1962-м или 63-м стало возможным.

Тут, кстати, не мешает отметить, что немало этому способствовал и он сам, **впервые** прикасаясь ко всякого рода запретным темам и с огромным трудом добиваясь, чтобы они перестали быть запретными. Мемуары Эренбурга не просто вписывались в социальную атмосферу тех лет, приспособляясь к ней. Они самим фактом своего существования **меняли** эту атмосферу, «поднимая планку» общепринятых представлений и «дозволенных» сюжетов и тем. Его критиковали, с ним спорили, его даже одергивали, иногда весьма грубо. Но, как бы то ни было, тема, к которой вчера еще нельзя было даже прикоснуться, становилась предметом спора, обсуждения, пусть даже эти споры и обсуждения, в соответствии с тогдашними советскими нравами, принимали, как правило, вполне дикую форму.

* * *

Первый раз – вживе – я увидел Эренбурга году в 48-м или в 49-м. Он приехал к нам в институт и три вечера подряд рассказывал нам о тайнах писательского ремесла.

Встретили его нельзя сказать, чтобы восторженно: мы ведь были избалованы постоянным общением с живыми классиками, каждую неделю встречались с Фединым, Паустовским.

Но с Эренбургом они все-таки равняться не могли. Он был живой легендой. Война кончилась совсем недавно. А тогда, в

войну, как написал об Эренбурге в одной своей статье Вениамин Каверин, «на весь мир раздавался стук его пишущей машинки».

В общем, его приезд был для нас событием. И слушали его, что называется, разинув рот. Но на исходе третьего вечера произошел такой небольшой казус.

Сказав, что, описывая гибель своего героя, писатель как бы примеряет свою собственную смерть, Эренбург припомнил хрестоматийную историю про Бальзака.

– Однажды к Бальзаку, – рассказывал он, – пришел его приятель. Он увидел писателя сползавшим с кресла. Пульс был слабый и неровный. «Скорее за доктором! – закричал приятель. – Господин Бальзак умирает!» От крика Бальзак очнулся и сказал: «Ты ничего не понимаешь. Только что умер отец Горио...»

И тут в зале засмеялись.

Не стану утверждать, что гоготал весь зал, но это не был смех двух-трех белых ворон. Смеялись многие, могло даже показаться, что все.

Эренбург побелел. У него задрожали губы. Видно было, что этот смех ударил его в самое сердце. Он воспринял его как личное, смертельное оскорбление, ответить на которое можно было только пощечиной. И он ответил.

– Вы смеетесь? – с презрением кинул он в зал. – Значит, вы не писатели!

О, – подумал я тогда. – Он и в самом деле поэт!

В нашем кругу принято было в слегка издевательском тоне говорить, что Эренбург – этот блестящий публицист и довольно посредственный романист – сам считает себя прежде всего поэтом. Впрочем, некоторые признанные наши литинститутские поэты помнили и одобрительно цитировали некоторые эренбурговские стихотворные строчки.

Но подумав, что Эренбург, оказывается, и в самом деле поэт, я имел в виду совсем другое. Уж очень подлинной, искренней, какой-то совсем детской была его обида на тех, кто встретил смехом его рассказ о Бальзаке, едва не отдавшем концы из-за смерти своего героя.

Вот с этого момента я и поверил Эренбургу. Поверил, что он не лжет, не притворяется.

Не стану продолжать рассказ о том первом нашем визите к Эренбургу. Заключая его, отмечу только, что в целом он прошел хорошо. Несмотря на непредвиденное участие Манделя, – на высоком дипломатическом уровне. (Чем другим, но дипломатом наш Эмка точно не был. В Литинституте, где мы с ним учились, про него говорили: «Не ругался б Мандель матом, Мандель был бы дипломатом». Но на самом деле быть дипломатом ему мешала отнюдь не только приверженность к ненормативной лексике.)

Итак, несмотря на участие Манделя, которого (участия) мы так и не смогли избежать, наша с Лазарем дипломатическая миссия увенчалась успехом. В тот день с «Литгазетой» Эренбург не то чтобы помирился, но – примирился. Может быть, и не совсем поверил нам, что теперь, при новом главном редакторе, она станет совсем другой, но, во всяком случае, понял, что мы с Лазарем – не из кочетовской банды.

Позже, когда наши визиты к нему стали хоть и не очень частыми, но уже более или менее регулярными, он стал относиться к нам как к своим лазутчикам во вражеском стане. Боря Слуцкий, который бывал у него часто, однажды – в тоне юмора – передал нам такую эренбурговскую фразу.

– В «Литгазете», – будто бы сказал ему в каком-то разговоре Илья Григорьевич, – у меня есть своя агентура. И на вопрос: «Кто?», ответил:

– Лазарев и Сарнов.

Кстати, только тут я по-настоящему понял, почему Эренбург во время того первого нашего визита, обратился к нам с поразившим нас вопросом: «Как вы думаете, это напечатают?»

Вопрос этот нас тогда поразил, потому что он, Эренбург, по нашим понятиям гораздо лучше, чем мы, должен был знать, где нынче проходит граница между дозволенным и недозволенным. Оказывается, это было не так.

Несмотря на то что и в эти годы он находился в эпицентре всех землетрясений и бурь своего времени, был он в ту пору довольно-таки сильно оторван не только от обыденной, но и от так называемой литературной жизни. Круг людей, с кото-

рыми он общался, был не то чтобы узок, но это был весьма специфический круг: друзья и соратники по движению сторонников мира да несколько постоянно навещавших его писателей. (Александр Константинович Гладков, тот же Боря Слуцкий – раз, два и обчелся.)

Лазарь и я были для него представителями совсем иного мира. Мы были «газетчики». Да еще явившиеся к нему как парламентарии из вражеского стана. Естественно, что наше мнение насчет того, что можно, а что нельзя напечатать, представляло для него совершенно особый интерес.

У него были все основания полагать, что кого другого, но уж его-то «Литгазета» во всяком случае печатать не будет. (Разве что какую-нибудь антизападную заметку по разделу международной политики.) А мы – с ходу – попросили у него какой-нибудь отрывок из только что законченной первой книги его мемуаров.

Немного поколебавшись, такой отрывок он нам все-таки дал. (Сколько мне помнится, это случилось уже при следующем нашем визите.)

Сейчас я уже не помню, какой из напечатанных нами отрывков был первым. Но из трех, которые мы тогда опубликовали, особенно запомнился мне «Киев».

В цензурном отношении он был вполне безобиден, и никаких проблем с его публикацией мы не предвидели.

Так оно и вышло. Цензурных проблем не было. Но хлопот (лично у меня) по ходу прохождения этого отрывка возникло довольно много.

У меня – потому что именно мне было поручено его вести.

Проблемы (лучше все-таки сказать – хлопоты), возникшие у меня в связи с этим поручением, возникли не в какой-нибудь вышестоящей инстанции, как это обычно у нас бывало (по тексту Эренбурга, учитывая все тонкости сложности сложившихся с ним отношений, никто из начальства ни одного замечания высказать не посмел), а в самой низшей: в бюро проверки.

Было тогда в нашей газете такое – весьма, надо сказать, полезное учреждение. (Я говорю «было», потому что сейчас, судя по количеству проскакивающих на газетную полосу «ляпов», в том числе и самых чудовищных, оно давно уже упразднено.)

Две красотки – Лиля и Рита (ее мы звали «Ритатуля»), сидящие в тесной комнатухе рядом с библиотекой, выматывали из нас душу, сурово и скрупулезно выполняя свои обязанности, суть которых состояла в том, чтобы тщательно сверить с печатными источниками все попавшиеся им на глаза факты и цитаты.

К девочкам из бюро проверки каждый из нас, кому приходилось вести тот или иной материал, входил обычно обремененный горой этих самых источников: книг, журналов, газетных подшивок. И этой горы, как правило, не хватало: Лиля или Ритатуля то и дело гоняли нас в библиотеку (для того-то они и сидели рядом с ней) за все новыми и новыми источниками.

Ссылки на источники полагалось давать автору (помечать на специальном экземпляре, откуда он взял тот или иной факт или цитату, четко указывая: том такой-то, страница такая-то). Не все авторы делали это достаточно аккуратно, из-за чего у нас с девушками возникали постоянные свары. Иной раз приходилось их и обманывать, вкручивая им какой-нибудь сомнительный источник. Это было, конечно, бессовестно, но – чего не сделаешь для пользы дела.

Со мной, например, был однажды такой случай.

В какой-то своей статье я очень хотел процитировать строчки из неопубликованного (!!!) стихотворения Пастернака. Само имя Пастернака было тогда неупоминаемо. Да если бы даже и можно было его упоминать – как сверить цитату? Не по самиздатовской же рукописи!

Вышел из положения я так.

Раскрыл какой-то журнал (название и номер которого Лиля – в тот раз это была она – тут же записала на гранках) и, якобы глядя в его страницы, я по памяти читал строку за строкой, время от времени вставляя:

– Нет, тут не запятая, а точка с запятой... А тут тире...

Занятая этими мелкими исправлениями, Лиля в журнал даже не поглядела. Только бегло уточнила:

– А автор-то – кто?

Я небрежно кинул в ответ:

– Твардовский, – самым этим небрежным тоном как бы говоря: стыдно, мол, не знать такие известные строчки классика.

И наутро газета вышла со стихами Пастернака. Вместо имени автора, правда, стояла нередко применявшаяся в подобных случаях классическая фраза: «Хорошо сказал об этом один поэт». Но это обстоятельство ничуть не умаляло моего ликования. Шутка-ли: удалось опубликовать целых восемь строк из неопубликованного стихотворения Пастернака!

Впрочем, сами строки – даже и без имени автора – тоже были не такие уж безобидные:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим, –
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статья,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Ведущий номер заместитель главного редактора (сейчас уже не помню, был это Косолапов или Михмат), почуввав тут что-то подозрительное, тоже, помнится, спросил у меня, кто автор. И я так же небрежно кинул: Твардовский. И – сошло!

Имея за плечами такой опыт, я и думать не думал, что с эренбургским отрывком у меня могут возникнуть какие-то сложности.

Илья Григорьевич, правда, никаких ссылок на источники нам не дал. Но по моим понятиям никаких ссылок тут было и не нужно: ведь это же не статья, а мемуары!

Но у проверщицы Лили было на этот счет другое мнение.

Старательно отчеркнув на полях все факты и цитаты, нуждавшиеся по ее убеждению в тщательной проверке, против каждого из них она поставила обычное: «Том... страница...» – и жирный вопросительный знак.

Вот, например, в самом начале эренбургского отрывка, чуть ли не в первых его строчках, говорилось:

Однажды на улице я увидел В.Г. Короленко. Он шел сутулясь; лицо его поражало добротой и печалью.

Лиля потребовала, чтобы я дал ей источник, который точно удостоверил бы, что осенью 1918 года Короленко был именно в Киеве.

Я чертыхался, чуть ли не матерился. Объяснял, что Эренбург сам отвечает за верность упоминаемых им фактов, что завтра, когда этот эренбургский отрывок появится в газете, он сам СТАНЕТ ИСТОЧНИКОМ, на основании которого историки (и сама она, Лиля, тоже) будут судить о том, где был Короленко в те осенние дни 1918 года.

В ответ на все эти мои резоны Лиля только улыбалась и повторяла, что завтра оно, может быть, будет и так, а сегодня ей нужен источник... том... страница... Всё, что полагается в таких случаях...

Далее, вспоминая о том, как 20 сентября 1941 года он узнал, что по Крещатику движутся немецкие танки, Эренбург приво-дил стихотворные строки:

«Киев, Киев – повторяли провода.
Вызывает горе. Говорит беда...
«Киев, Киев!» – надрывались журавли...

Против них тоже стояло вопрошающее Лилино: «Том? Страница?»

И сколько я ни надрывался, объясняя, что это стихи самого Эренбурга, что он, как автор, имеет право не только цитировать их по памяти, но даже и перевернуть, – ничего не помогало. Та же улыбочка, то же требовательное постукивание карандаша по стеклу, положенному на столешницу ее старенького канцелярского письменного стола, и то же постоянное, непреклошное: ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать, будь добр, дай мне источник... том... страница...

В общем, пришлось мне в тот день звонить Эренбургу раз, наверное, восемь. Мне было ужасно неловко беспокоить его по всем этим пустякам. Я чувствовал – не мог не чувствовать, – что все эти глупости его раздражают. Понимал, что назойливыми своими звонками сильно ему надоел. Но постепенно я стал находить во всем этом и свою хорошую сторону.

Хорошая сторона состояла в том, что от звонка к звонку

Эренбург становился все благодушнее. Он уже не раздражался, а привычно – в тоне юмора – спрашивал:

– Ну, что еще хочет от нас ваше бюро проверки?

Это «от нас» грело мою душу. И дело тут было не в том, что эта формула, объединяющая и как бы даже уравнивающая меня с ним, льстила моему самолюбию. Гораздо важнее тут было другое: признание того факта, что мы с ним заодно, вместе, вдвоем («спина к спине», как было сказано в любимом мною романе Джека Лондона) сражаемся с глухой, не желающей слышать никаких резонов бюрократической системой.

А наутро, когда газета вышла, едва только я пришел на работу, раздался телефонный звонок.

Я сразу узнал голос Натальи Ивановны Столяровой (Наташей я ее тогда еще не называл):

– С вами хочет поговорить Илья Григорьевич.

Я – не то чтобы испугался, но – забеспокоился: а вдруг кто-то из начальства в последний момент выкинул у Эренбурга какой-нибудь не понравившийся абзац? Вот старик сейчас скажет, что он так и знал, что с нашей газетой дела иметь нельзя, и едва забрезживший наш роман тут же и угаснет.

Но голос Ильи Григорьевича источал добродушие и все тот же вчерашний юмор. Разве только чуть прибавилось в этом юморе иронии, даже сарказма.

– Я хочу, – сказал он, – передать привет вашему бюро проверки...

Выяснилось, что, тщательно выверив все факты и цитаты, Лиля не удосужилась проверить, на каком берегу Днепра находится Дарница. А вот тут-то проверка как раз и была нужна, поскольку он, Илья Григорьевич, ошибочно поместил эту самую Дарницу не на левом берегу великой реки, как надо было бы, а на правом.

Мы посмеялись.

Лиле я привет от Эренбурга не передал. (Если бы передал, она бы сказала: «Вот видишь, значит, все-таки надо всё тщательно проверять, а ты надо мной смеялся!» И, разумеется, была бы права.) А на меня от этого утреннего эренбургского звонка повеяло каким-то теплом. Мне показалось, что старик позвонил совсем не для того, чтобы передать свой саркасти-

ческий привет нашему бюро проверки, а скорее для того, чтобы еще раз окунуться в атмосферу нелепой газетной суеты, в которой он жил весь вчерашний день и с которой, видать, ему не хотелось расставаться.

Это на миг связавшее нас чувство фронтового братства, возникшее по такому ничтожному и даже комическому поводу, как ни странно, не только не исчезло, но даже укрепилось.

Постепенно мы стали ощущать «старика» своим боевым соратником. Да и он нас тоже. Сперва, как я уже сказал, – своими лазутчиками во вражеском стане. А когда выяснилось, что стан не вражеский, – своими товарищами по оружию.

Впрочем, этот наш стан хоть и был ему совсем не вражеским, но чувствовать себя там вполне своим он мог только с нами. Он постоянно был с нами как бы в заговоре (как, впрочем, и мы с ним) против нашего начальства, хоть и всячески к нему расположенного, но все-таки не вполне «своего».

Вот, например, такой наш с ним разговор. Один из многих, но – особенно хорошо мне запомнившийся.

Кочетов опубликовал очередной свой бездарный роман, в котором откровенно выступал против хрущевской «оттепели», ратовал за возвращение страны назад, к Сталину. Мы изо всех сил пытались уговорить наше литгазетское начальство выступить с резкой статьей, разоблачающей не только художественное убожество, но и политическую реакционность этого кочетовского изделия.

Но начальство боялось Кочетова больше, чем Хрущева, что свидетельствовало, во-первых, о том, что оппозиция либеральным хрущевским реформам в стране была очень сильна, а во-вторых, о том, что и сам Хрущев двигался по своему либеральному пути зигзагами (как говорят на флоте – галсами). Его постоянно мотало из стороны в сторону, и было довольно-таки трудно угадать, какова будет его реакция на такую статью, если она появится.

Окончательно убедившись, что на начальство нам в этом деле надеяться нельзя, мы (Лазарь и я) решили предпринять самостоятельную «подрывную» акцию. Отправились к Эренбургу, надеясь уговорить его написать статью против Кочетова.

Если бы это нам удалось, начальству нашему деваться было бы некуда: не напечатать статью, подписанную громким именем Эренбурга, наш главный редактор никогда бы не посмел.

Но Эренбург участвовать в этой авантюре отказался. Выслушав нас, он долго молчал, как видно, перебарывая себя.

– Не трогайте меня сейчас, – наконец сказал он. – Я ведь не отсиживаюсь в тылу. Я печатаю мемуары.

Мы поняли, что настаивать было бы жестоко. Да, наверно, и бесполезно.

К сказанному он еще добавил хорошо запомнившуюся мне реплику, смысл которой состоял в том, что даже в случае успеха нашего замысла, разоблачать и даже просто крепко ругнуть Кочетова нам все равно не позволят. Разве что так, слегка, для виду.

– Баю, баю, баюшки, будут нагоняюшки, – усмехнувшись, сказал он.

Разговор, однако, на этом не кончился. Заговорили о Хрущеве. О его непоследовательности, половинчатости. И тут я, наверно, перешел границу дозволенного, назвав первого человека государства то ли недоумком, то ли малограмотным болваном, который и сам толком не знает, чего хочет.

– Вы ошибаетесь, – мягко возразил мне Илья Григорьевич. – у Никиты Сергеевича, конечно, немало недостатков, но это – серьезный политический человек.

Я сразу понял, что сказано это было не «страха ради иудейска», что Эренбург на самом деле считает невежественного и суматошного Хрущева «серьезным политическим человеком».

Но согласиться с этим я не мог.

– Да разве серьезный политический человек устроил бы всю эту истерику по поводу Пауэрса? – горячился я. – Ну, ладно. Истерика – это еще куда ни шло. Это в конце концов вопрос темперамента. Но разве серьезный политический человек сорвал бы из-за этого визит Эйзенхауэра? Разве серьезный политический человек наплевал бы на весь мир, в том числе и на де Голля, который склонялся к мирному решению скандала?

* В мае 1960 года наши ракеты сбили самолет-разведчик У-2, пилотируемый американским летчиком Пауэрсом. Хрущев раздул этот инцидент до масштабов мирового скандала.

Да и сам Эйзенхауэр тоже ведь извинился. Серьезный политический человек, как вы его назвали, не стал бы давать волю своим чувствам...

– Поверьте мне, – повторил Илья Григорьевич. – Это серьезный политический человек. И если он решил устроить всю эту, как вы говорите, истерику, значит, были у него для этого еще и какие-то другие причины, гораздо более важные, чем личная обида.

Кажется, не в этот раз, а в каком-то другом, более позднем разговоре мы вдруг снова вернулись к обсуждению фигуры тогдашнего нашего Главного. Речь зашла о только что сооруженной Берлинской стене. Я называл это хрущевское изобретение варварством, бандитской выходкой и разными другими нехорошими словами.

– Но ведь у него просто не было другого выхода, – сказал Илья Григорьевич. – Ведь если бы он этого не сделал, все население ГДР постепенно переселилось бы в Западную Германию.

Говорил он это с некоторым даже удивлением – словно бы поражаясь, как взрослый и вроде бы разумный человек может не понимать таких простых вещей.

И в этом его удивлении опять звучала все та же, уже знакомая мне формула: при чем тут все эти дурацкие слова – «варварство», «бандитская выходка»... Неприятное, но, увы, необходимое, серьезное политическое решение серьезного политического человека.

Я сказал:

– Ну, хорошо. Если это действительно так, если он и в самом деле серьезный политический человек, неужели никто, вот хоть вы, например, не может ему объяснить, что роман Кочетова направлен прямо против него, против всей его политики?

– А вот это, – улыбнулся Эренбург, – объяснить ему как раз нельзя. Он этого просто не услышит. И уж тем более, если бы говорить ему об этом стал я... Когда я, – да что – я! даже Корнейчук! – несколько раз пытался заводить с ним разговор о литературе, у него сразу появлялось... Вы ведь знаете, у него же на лице всё написано, он не умеет скрывать своих чувств... Так вот, у него сразу появлялось такое выражение: «Ох, обманет!..» Нет, что касается литературы, тут он верит только своим: Софронову... Грибачеву... Тому же Кочетову...

– Своим?! – изумился я. – Да ведь они же его ненавидят!

– Да, – кивнул Эренбург. – Но они ему социально близкие.

Разговор этот, как я уже сказал, происходил на эренбургской даче в Новом Иерусалиме. Отправились мы туда на редакционной машине и провели там чуть ли не полдня. Нас накормили обедом и угостили хорошим французским коньяком. Не был забыт при этом и наш водитель.

Видимо, удовлетворенный оказанным нам приемом, на обратном пути он полюбопытствовал:

– А у кого это мы были?

Лазарь коротко бросил:

– У Эренбурга.

Он, понятное дело, был уверен, что никаких дополнительных объяснений этот его короткий ответ не требует.

Но за первым вопросом тут же последовал второй, совершенно нас ошелоливший:

– А кто это?

С грехом пополам объяснив ему, кто такой Эренбург, мы только молча переглянулись. Но долго еще не могли выйти из шокового состояния, в которое поверг нас этот безмятежный вопрос – такой, казалось бы, естественный в устах совсем молоденького парнишки.

Оставшись одни, мы долго еще обсуждали этот больно задевший нас эпизод.

Я склонен был объяснять случившееся классической ленинской формулой: «Страшно далеки они от народа». Мол, всё, что нам представляется таким важным, широким массам трудящихся – до лампочки.

Лазарь со мной не соглашался. Он считал, что объяснение казуса лежит в сфере биологии, а не социологии: будь, дескать, наш шофер хоть немного постарше, объяснять ему, кто такой Эренбург, нам бы не пришлось. Ну, а уж будь он его, Лазаря, военного поколения, так только рот бы разинул: « Сам Эренбург? Вот это да-а! Думал ли я тогда, в сорок первом, что приведется мне своими глазами его увидеть!»

Несмотря на эти мелкие разногласия, мы оба сошлись на том, что всё это – грустно. Во-первых, потому что, как говорили древние римляне, *sic transit gloria mundi*, а во вторых, по-

тому что ни он, ни я не подозревали, что племя младое, незнакомое, приходящее нам на смену, так далеко от всего, чем жили мы в наши юные годы: ведь с сорок пятого года минуло все-навсего каких-то там жалких пятнадцать лет.

Реплика Эренбурга («Я не отсиживаюсь в тылу, я печатаю мемуары»), помимо того, что она точно отражала не только его жизненную позицию, но и реальное положение дел (он со своими мемуарами и в самом деле был тогда на переднем крае), к тому же еще заключала в себе почти исчерпывающий ответ на вопрос, почему его мемуары так и не стали его *Historia arcana* – до конца правдивой, тайной летописью эпохи.

Мемуары – тихий, спокойный жанр, и пишутся они обычно, когда человек уже отошел от дел. Как говорится, вышел из игры.

Эренбург же, когда писал, а особенно когда начал публиковать свои мемуары, не только оставался «в игре», но и оказался (быть может, помимо своей воли) в этой «игре» главным игроком. Можно даже сказать – капитаном команды.

Он привык всегда быть в самой гуще схватки. Но, пожалуй, никогда еще, даже в самые активные свои годы, не ощущал он с такой остротой, что сражается на передовой, на самом переднем крае.

Даже во время войны.

В 41-м Эренбурга вынесла на этот высокий гребень истории некая историческая реальность. Волею обстоятельств он оказался чуть ли не единственным идеологом страны, вступившей в смертельную схватку с фашизмом,

Но при всем при этом тогда за ним стояла вся огромная сражающаяся держава, со всеми ее армиями, дивизиями, танками, самолетами, а главное, с ее мощнейшим пропагандистским аппаратом. Он был важной – в какой-то момент, быть может, исключительно важной, – но все-таки частью этого официального пропагандистского аппарата.

Сейчас же ситуация была совершенно иная.

Один, с двумя-тремя десятками единомышленников за спиной, он снова стал идеологом: своими мемуарами он не толь-

ко отстаивал определенную, достаточно крамольную тогда систему взглядов, но и формировал новое общественное сознание, к восприятию которого общество, по правде сказать, было тогда еще не больно готово.

То есть общество, может быть, в какой-то степени было к этому и готово. Но на этот раз ему приходилось воздействовать на общественное сознание не вместе с армией единомышленников, не заодно с государственной пропагандистской машиной, а вопреки ей.

Эта задача требовала совершенно иной, новой тактики. И он эту тактику выработал.

Он научился (и раньше, конечно, умел, но только сейчас владел этим искусством в совершенстве) пользоваться сложной системой умолчаний и намеков. Научился хитрить, обманывать, водить за нос не какое-нибудь наше игрушечное литгазетское, а главное, всемогущее, центральное БЮРО ПРОВЕРКИ.

Позже, читая его переписку с Твардовским, его ответы на требования и предложения главного редактора журнала, публикующего его мемуары, я заметил, что частенько он только делал вид, что соглашается, принимает то или иное редакторское замечание. А на деле, чуть-чуть меняя текст, не только не ухудшал, а иной раз даже улучшал его, делал свою мысль острее, сильнее, выразительнее.

Когда верный единомышленник Твардовского, член редколлегии «Нового мира» Валентин Овечкин (А.Т. взял его в редколлегию, надеясь, что он будет ему поддержкой), прочитав верстку очередной порции эренбургских мемуаров, высказал резкое несогласие с некоторыми суждениями автора, Александр Трифонович ответил ему на это: «... учить Эренбурга поздно и невозможно, нужно считаться с таким, каким Бог его зародил».

А я не хотел (не умел) принимать Эренбурга таким, «каким Бог его зародил». Не понимал, что ему стократ важнее высказать вслух хоть самую малую толику запретной правды, чем вылить на бумагу ВСЮ правду, и пусть о ней узнают хоть полвека спустя. Мне хотелось, чтобы он высказывался в своих мемуарах в соответствии с классической судебной клятвой: говорить правду, только правду и всю правду. И чёрт с ними! Пусть не печатают!

Самое интересное тут было то, что такое представление о значении писателя внушил мне не кто иной, как сам Эренбург.

Когда я стал бывать у него чаще и мы разговаривали уже с достаточной степенью откровенности, я в одном таком разговоре слегка коснулся этой темы.

Вообще-то эти разговоры обычно были его монологами. И вопросы, которые он порой мне задавал, как правило, были риторическими. Но иногда, задав такой – по видимости тоже риторический – вопрос, он требовательно смотрел на меня, словно ожидая ответа. И тогда я отвечал.

Так вышло и в этот раз.

В тот день он был мрачнее тучи. Оказалось, что его дурное настроение вызвано письмами читателей. Два из них он мне прочел.

В одном речь шла о том, что в своих мемуарах, вскользь упоминая о своих близких отношениях с неким «Николаем Ивановичем», он ни разу не назвал его фамилии.

«Я-то догадался, – писал автор этого письма, – что вы подразумеваете Николая Ивановича Бухарина. Я хорошо знал этого прекрасного человека. Мне посчастливилось несколько лет работать с ним. Почему же вы, Илья Григорьевич, постеснялись назвать его фамилию? Неужели вы считаете, что еще не настала пора вернуть доброе имя тому, кого Ленин называл любимцем партии?»

Другой читатель с негодованием вцепился в одну его фразу. Рассказывая об антисемитизме, с которым он столкнулся в юности, Илья Григорьевич мимоходом обронил: «Антисемитизма тогда еще стыдились».

«Почему вы прямо не написали, – возмущался этот наивный читатель, – что теперь антисемитизма у нас уже не стыдятся, что этой гнусной болезнью заражены даже многие члены партии...»

Эренбург этими письмами был не столько оскорблен, сколько удивлен. Он был даже растерян.

– Ну кто они, по-вашему, эти люди? – спросил он меня. – Идиоты?

– Ну почему же идиоты, – сказал я. – Раньше ходили легенды, что вы в случае чего всегда можете прямо обратиться к Сталину. А теперь – помните, вы же сами это нам говорили, –

они уверены, что вы с Хрущевым каждый день чай пьете. Вот они и считают, что если вы чего-то там не написали, значит, побоялись.

– Неужели они не понимают, – сказал он, и в голосе его дрогнула обида, – что я работаю на пределе возможного!

Особенно, как я понял из дальнейшего разговора, его задело второе письмо. Во-первых, потому что фраза «антисемитизма тогда еще стыдились» представлялась ему исчерпывающей, не нуждающейся ни в каких дополнительных пояснениях: если «тогда» еще стыдились, значит, сейчас уже не стыдятся. Уж куда яснее! А во-вторых, как оказалось, именно из-за этой фразы в редакции разгорелся настоящий бой. Собственно, даже не из-за всей фразы, а из-за этих вот двух слов: «тогда еще».

Его настойчиво упрасивали их вычеркнуть. («Ведь это же ничего не меняет, Илья Григорьевич!»)

Упрашивал, собственно, только один член редколлегии, еврей, до смерти боявшийся любого прикосновения к этой щекотливой теме. (Тут я слегка поколебался, не мог сразу решить, стоит ли называть этого – ныне уже покойного – литератора. Но поколебавшись, решил все-таки назвать: страна должна знать своих героев. Это был Борис Германович Закс.)

– Шабес-гой наоборот, – презрительно сказал о нем Эренбург.

Увидав недоумение на моем лице (я не знал, что означает это слово), он объяснил, что «шабес-гой» (шабес – суббота, гой – иноверец) – это слуга, специально приглашавшийся на субботу, когда правоверному еврею строжайше запрещено не только исполнять какую-либо работу, но даже отдавать распоряжения прислуге. Нельзя было, например, сказать: «Зажги лампу!» Это уже – грех. Вот для этого и приглашался «шабес-гой», специально натренированный «субботный иноверец», умеющий угадывать все желания своего хозяина.

– Нет, что ни говорите, а они все-таки идиоты, – заключил Эренбург разговор о читателях, предъявлявших к нему непомерные и, по его мнению, совершенно дурацкие требования.

Недавно я прочел такую историю. Ее рассказал Косте Ваншенкину покойный Николай Томашевский, а Костя пересказал ее в своей книге «Писательский клуб».

Однажды в гостях у Вячеслава Шишкова Константин Александрович Федин сказал мечтательно:

– Если бы мне дали *carte blanshe*, какой замечательный роман я бы написал о нашей сегодняшней жизни!

– Нет, Костинька, – сказал Вячеслав Яковлевич. – Не написал бы.

– Это почему же? – возмутился Федин.

– Потому что настоящие-то писатели, – сказал Шишков, – карт-бланшу не просят.

В то время, о котором я рассказываю, я этой истории не знал. Но исходил именно из этого убеждения. И именно на этом убеждении строилось тогдашнее мое отношение к Эренбургу.

Ведь это от него я узнал имя Манделъштама! И может быть, даже от него впервые услышал, как Осип Эмильевич спустил с лестницы молодого поэта, жаловавшегося, что его не печатают.

– А Будду печатали! А Гомера печатали! А Иисуса Христа печатали! – кричал он ему вслед.

Истинный поэт, истинный художник не скован границами возможного, даже верхним его пределом, он не думает о том, где кончается возможное и начинается невозможное: такова его природа.

Внушая мне (и, конечно, не только мне) такое понимание роли писателя в мире, Эренбург тем самым как бы давал понять, что и сам тоже принадлежит к этому особому племени безумцев, неизменно готовых, как сказал Пушкин, «для звуков жизни не щадить». И я верил, что он именно таков. Во всяком случае, «выпечен из того же теста». В отличие, кстати сказать, от того же Федина, к которому я относился тогда с полным уважением, но которому таких требований почему-то не предъявлял. (Потому, наверно, что на своих семинарах он объяснял, как строить сюжет, лепить образ, работать над языком, но ни при какой погоде не взбрело бы ему в голову рассказать нам дурацкую историю про Бальзака, который чуть было не отдал Богу душу из-за того, что умер отец Горио.)

Да, выдавая на гора – книгу за книгой – свои мемуары, Эренбург действительно работал на пределе тогдашних возможностей. Нередко даже с боями и неизбежными потерями он **пере-**

ступал этот последний предел. Но именно потому, что он не мог удержаться от того, чтобы хоть намеком коснуться какой-нибудь запретной темы, не боялся то и дело приближаться к «рубежу запретной зоны», – именно поэтому его намеки часто бывали туманными и маловразумительными, нередко превращались в загадку, которую просто невозможно было разгадать.

Вот, например, рассказывает он такой эпизод, относящийся к началу 50-х годов:

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Т. Мадсону. Ему было тогда семьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте – это может рассмешить студента-первокурсника...» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек», – мне тогда шел седьмой десяток и давно никто меня так не называл.

Боюсь, что даже тогда (теперь-то и говорить нечего!) мало кто из читателей понял, о чем тут речь. Я, во всяком случае, так бы ничего и не понял, если бы не помнил услышанный мною однажды устный рассказ Ильи Григорьевича.

Дело было во время войны в Корее. Таинственный доклад, который Эренбург должен был показать знаменитому датскому микробиологу Т. Мадсону, представлял собой грубо сфабрикованную фальшивку, якобы содержащую доказательства, что американцы ведут в Корее бактериологическую войну. Поскольку обвинения эти не раз повторялись тогда в нашей печати, Эренбург полагал, что достаточно будет сообразительному читателю сопоставить слово «микробиолог» со словами «переведенный с корейского языка», чтобы сразу же догадаться, с какой миссией явился он тогда к Т. Мадсону и почему, попав по вине всучивших ему этот фальшивый документ в дурацкое положение, он едва не сгорел со стыда.

Другой пример.

Вспоминая в своих мемуарах ноябрь 1934 года, он пишет:

... Я проводил вечера со старыми друзьями... Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии Советов будет обсуждаться проект новой конституции. Ноябрь казался маем, и я на все глядел радужно.

Как-то я отправился в «Известия», зашел к Бухарину, на нем лица не было, он едва выговорил: «Несчастье! Убили Кирова»... Все были подавлены — Кирова любили. К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?... Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все приоткрылось, насторожились.

В разговоре (а такой разговор у нас с ним был) он рассказывал об этом совершенно иначе.

Бухарин, едва только они с Эренбургом остались с глазу на глаз, сказал:

– Вы понимаете, что это значит? Ведь теперь ОН может сделать с нами всё, что захочет!

И после паузы добавил:

– И будет прав.

Затем он предложил Эренбургу закрыться в какой-нибудь из редакционных комнат и быстро написать в номер хоть короткий отклик на это чрезвычайное событие.

Эренбург честно пытался выполнить эту просьбу, хотя в голове его был туман, а на душе — смута. Но спустя некоторое время в комнату вошел Бухарин.

– Поезжайте домой, — сказал он. — Не надо вам об этом писать. Это грязное дело.

О том, почему так быстро и так резко изменилась его позиция, что произошло за те полчаса или час, которые отделяют первую бухаринскую реакцию от второй, можно было только гадать.

Но меня интересовал в этом случае Эренбург: что ОН думал обо всем этом в те минуты. И тогда, и потом, в последующие годы, когда для его гимназического товарища события приняли совсем уже крутой оборот.

– А на процессе вы были? — спросил я его, имея в виду, ра-

зумеется, тот процесс, главным фигурантом которого был Николай Иванович.

– Да, – сказал он. – Я не хотел идти. Но мне сказали: «Нет уж. Вы пойдите! Посмотрите на своего дружка». И я пошел...

– Ну?! – впился я в него.

С юных, чуть ли не детских лет загадка больших московских процессов для меня и моих сверстников была одной из главных тем наших сокровенных разговоров. Почему ОНИ признавались в несуществующих преступлениях? Что там с НИМИ делали? Какими дьявольскими способами заставили взвалить на себя чудовищную вину? Пытали? Гипнотизировали?

Поговаривали даже, что на процессе это были не ОНИ, а загримированные, играющие их роли актеры.

Но всё это были догадки, предположения, слухи. А тут – впервые! – передо мной сидел человек, который САМ БЫЛ на том процессе, видел все это своими глазами и – мало того! – хорошо, близко знал одного из главных обвиняемых.

Можете поэтому себе представить, сколько невысказанных вопросов вложил я в это свое «Ну?».

Но хоть я их и не высказал, Эренбург прекрасно меня понял.

После небольшой паузы он сказал:

– Это был не он.

И увидав мое перевернувшееся лицо, тут же поправился:

– Нет, нет. Это, конечно, был он. На этот счет у меня не было ни малейших сомнений. Но – не его темперамент, не его мимика, не его движения... Другой человек...

Давить на него, вытягивать из него еще какие-то подробности я постеснялся. Да и, по правде говоря, мне тогда казалось, что он и так уже сказал достаточно много.

И всё это он рассказал мне – далеко не самому близкому ему человеку – мимоходом, просто потому, что пришлось к слову. А сколько еще неведомых мне, быть может, куда более драгоценных тогдашних своих мыслей и наблюдений он не позволил себе включить в свою «главу о Бухарине», оставив их **за кадром**.

Ну, это ладно. Это еще понятно: главу о Бухарине (хотя никакой «главы», в сущности, не было, – то, что он называл главой, уместилось в две-три странички) он хотел напечатать. Но уж в главе о Троцком, которую он печатать не собирался, ко-

торую заранее предназначал для архива, – тут-то, казалось, он уж мог бы себе позволить быть откровенным до конца, что называется, на всю катушку!

Нет, не позволил.

Мало того. Как выяснилось, он так и не написал эту главу. А то, что написал, тоже пошло не «в архив», а – в печать.

В 13-й главе первой книги своих мемуаров, вспоминая о том, как один товарищ по партии предложил ему поехать из Парижа в Вену, где его, возможно, используют для переброски литературы в Россию, он коротко сообщает:

В Вене я жил у видного социал-демократа Х. – я не называл его имени: боюсь, что беглые впечатления зеленого юноши могут показаться освещенными дальнейшими событиями. Моя работа была несложной: я вклеивал партийную газету в картонные рулоны, а на них наматывал художественные репродукции и отсылал пакеты в Россию. Х. жил с женой в маленькой, очень скромной квартире. Однажды вечером жена Х. сказала, что чая не будет: газ на кухоньке подавался автоматом, в который нужно было бросить монету. Я поспешно побежал и бросил в пасть чудовищу крону. Х. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры. Такие же вердикты я услышал четверть века спустя в некоторых выступлениях на Первом съезде советских писателей. Но в 1934 году мне было сорок три года, я успел кое-что повидать, кое-что понять; а в 1909 году мне было восемнадцать лет, я не умел ни разбираться в исторических событиях, ни устроиться поудобней на скамье подсудимых, хотя именно на ней мне пришлось просидеть почти всю жизнь. Для Х. обожаемые мною поэты были «декадентами», «порождением политической реакции». Он говорил об искусстве как о чем-то второстепенном, подсобном.

Это не отрывок из главы, а – вся глава. Всё, что от нее осталось.

Можно, конечно, предположить, что главу, написанную и первоначально предназначавшуюся им для архива, он по каким-то своим причинам решил уничтожить, оставив от нее

только этот жалкий огрызок. Но я думаю, что никакой главы и не было – только он и был, один этот длинный абзац.

Но даже если это и не так, важно, что и эту «архивную главу» он в конце концов тоже решил напечатать, хотя бы даже и ценой превращения ее в некое подобие ребуса.

Нина Берберова в книге своих мемуаров «Курсив мой» (едва ли не лучшей русской мемуарной книге XX века) приводит такой диалог:

– Но ведь ты же уцелела! – закричала мне с неожиданной силой молодая женщина, приехавшая из Лондона в Париж, племянница погибшей Оли, одна живая из всей огромной семьи. – Для чего-нибудь же ты уцелела?

(В одну десятую доли секунды не мелькнула ли во мне тогда мысль написать эту книгу? Не знаю. Может быть.)

– А что т а м ? – спрашиваю я. – Уцелеет т а м хоть один?

– Непременно уцелеет, чтобы рассказать. Увидишь. Может быть – Пастернак, может быть – Эренбург.

Оказалось, что т а м (то есть у нас, з д е с ь) эту задачу выполнил именно он, Эренбург.

В конце своей книги Берберова говорит об этом прямо:

... Я не могу оторваться от его страниц, для меня его книга значит больше, чем все остальные, за сорок лет. Я знаю, что большинство его читателей судит его. Но я не сужу его. Я благодарна ему. Я благодарю его за каждое его слово.

Но тут же, признавшись, что и она в своей книге говорит не обо всем, что и у нее тоже немало разного рода умолчаний, она замечает:

Я наклоняюсь над книгой... Она лежит под лампой, я ухажу в нее. Я читаю ее, строку за строкой, и замечаю, что в ней столько страниц текста, сколько и умолчаний. Но эта книга не похожа на ту, которую я пишу сейчас.

В ней старый писатель, которого я когда-то знала, рассказывает о себе, о людях и годах. Он тоже любит думать, и тоже, как и я, научился думать поздно. Но какой страшной была его жизнь! И как связан он в своих умолчаниях, и как я свободна в своих!

ПАВЕЛ САВЛОВИЧ

Из Савла он не стал Павлом.
Он Павел Савлович.

*Виктор Шкловский.
Зоо, или Письма не о любви*

Спешит закончить Эренбург
свои анналы,
как Петр – закончить Петербург:
дворцы, каналы.

Он тоже строит на песке
и на болоте...

Борис Слуцкий

Если следовать логике, да и грамматике, слово «тоже» у Слуцкого относится к Петру. Но на самом деле – к нему самому, лет за пятнадцать до того сказавшему о себе:

Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек...

Эренбург строил на том же песке. И не только «свои анналы»: жизнь.

1

Я уже говорил, что задолго до моего личного знакомства с Ильей Григорьевичем, еще с юности, у меня было такое чув-

ство, что я с ним связан какими-то особыми узами. Была, например, ни на чем, в сущности, не основанная уверенность, что если вдруг понадобится обратиться к нему с какой-нибудь важной просьбой (не личного, а общественного характера), МНЕ он не откажет. Именно этим чувством был продиктован мой порыв кинуться к Эренбургу, требуя от него, чтобы он ответил на гнусную шолоховскую статейку о псевдонимах. И позже, уже в иную эпоху, сразу пришедшая в голову мысль именно к нему – первому – обратиться с просьбой подписать письмо в защиту Синявского и Даниэля.

Тут я должен сказать, что эта мысль пришла в голову не только мне. И даже мне – не первому. Первой, сколько мне помнится, была Вика Швейцер. А ездили к Эренбургу с просьбой подписать это письмо Сарра Бабеньшева и Рая Орлова. И он подписал. Правда, не сразу, а выдвинув – в ультимативной форме («иначе не подпишу») требование, чтобы в текст письма была внесена довольно существенная оговорка: «Хоть мы и не одобряем...» Что-то в этом роде*.

Этот его ультиматум дал повод многим моим друзьям показать на него очередную бочку.

Впрочем, почти все они (за редкими исключениями) и раньше относились к Эренбургу прохладно. Некоторые прямо говорили, что недолюбливают его, и это меня не удивляло и даже не сильно задевало. Но отношение к нему Шурика Воронеля, с которым мы однажды заговорили на эту тему (как раз вот в связи с тем письмом в защиту Синявского и Даниэля), меня поразило.

Спасая своего друга Даниэля (с Юликом они были связаны давней и тесной дружбой, именно он меня с ним и познакомил), Шурик готов был обратиться за помощью не то что к

* Написав всё это по памяти, я всё-таки решил себя проверить. Разыскал текст нашего коллективного письма (он опубликован в книге «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля». М., 1989) и сразу нашел там ту, вписанную по настоянию Эренбурга, оговорочную фразу. Привожу ее полностью: «Хотя мы не одобряем тех средств, к которым прибегали эти писатели, публикуя свои произведения за границей, мы не можем согласиться с тем, что в их действиях присутствовал антисоветский умысел, доказательства которого были бы необходимы для столь тяжкого наказания».

Эренбургу, но и к самому дьяволу. Но об Эренбурге при этом он отзывался крайне враждебно. Я бы даже сказал, с какой-то неистовой злобой.

Когда я попытался доискаться до причин этой его повышенной злобности, он угрюмо сказал:

– Никогда не забуду, как я плакал, читая одну его статью.

Я не понял. Все тогдашние статьи Эренбурга я тоже, конечно, читал. Но мне было решительно невдомек, над чем там можно было плакать.

– Я плакал, – объяснил Шурик, – потому что всё, что я думал и чувствовал тогда, было в противоречии с тем, что думали и чувствовали все мои друзья. И учителя. И родители. Ну, на друзей и учителей, положим, мне было наплевать. Родителям подростки, вы знаете, тоже не больно стремятся верить. Но Эренбург!.. Я читал его статью и в отчаянии думал: «Что же я за урод такой! Вот даже Эренбург и тот думает не так, как я!» Ему-то я верил, не мог не верить!.. И вот этих моих детских слёз я вашему Эренбургу никогда не прощу!

Я не спросил тогда у Шурика, какая статья Эренбурга вызвала у него эти яростные слезы. Не спросил, потому что такую реакцию могла вызвать едва ли не любая его статья. Ведь почти в каждой он защищал официальную советскую идеологию. И защищал не казенным, суконным советским языком, а по-своему, по-эренбурговски: темпераментно, даже страстно, а главное – очень лично. Приводя доводы и соображения, которые заражали своей неопровержимой убедительностью.

Помню, например, его статью, появившуюся в самый пик борьбы за российские приоритеты в науке, – когда «французскую» булочку переименовали в «московскую» и все мы повторяли только что родившуюся остроту: «Россия – родина слонов».

Эренбург, включившись в эту кампанию (статья, кажется, называлась «Некто Бидо»), не стал упираться на то, что Россия – родина таблицы Менделеева, радиотелеграфа (Попов, а не Маркони), парового двигателя (Ползунов, а не Уатт). Не стал особенно упираться и на то, что Ломоносов «одновременно и даже несколько раньше», чем Лавуазье, открыл закон сохранения материи.

Небрежно отмахнувшись от всех этих навязших в зубах примеров, он сказал, что во всяком случае уж никто не посме-

ет оспорить приоритет России в другом, в главном: это мы, наш народ, русские рабочие и крестьяне в октябре 17-го года первыми указали человечеству путь к новой жизни, к новому, справедливому мироустройству.

Перебирая в памяти те давние его статьи и вспоминая тогдашние свои о них впечатления, я заглянул в одну эренбургскую книжечку. Его публицистические статьи печатались тогда не только в газетах, но и собирались в такие вот небольшие сборники и распространялись по стране и по миру, как выразился однажды Маяковский, «летучим дождем брошюр».

Раскрыв ее наугад, я сразу наткнулся на еще одну его реплику (помимо той, которую только что вспоминал):

Меня пригласили в Цюрихе в гости... В гостинной оказалось человек двадцать, среди них мэр города. Один из гостей, одетый как сноб, скужающим голосом мне сказал: «Вы утверждаете, что наши газеты пишут неправду о вашей стране? Не думаю... Я, например, читал статью о том, что у вас поезда часто опаздывают. У нас этого не бывает. Если у вас поезда тоже не опаздывают, почему бы вам не написать об этом в цюрихской газете?» Я ответил: «Проблемы железнодорожного транспорта не моя тема. Но я хочу вам сказать, что один русский поезд пришел вовремя — поезд в Берлин, только благодаря этому вы остались живы и невредимы».

Эту статью Эренбурга я, конечно, читал и тогда, в 50-м. Может быть, даже дважды: сперва в газете, а потом в книжке. Из множества его статей, которые он публиковал в то время, я, наверное, не пропустил ни одной. Но сейчас, перечитывая ее, я так и не смог вспомнить, как реагировал на этот пассаж тогда, в то время.

Хотя – подумаешь тоже, бином Ньютона! Восторгался, наверное, ловкостью его ответа. Ответ ведь и в самом деле был ловкий. А кроме того, это ведь была чистая правда: не разгроми мы Гитлера, не приди наш поезд (тот самый наш «бронепоезд», который стоял у нас «на запасном пути») вовремя в Берлин, этому швейцарскому снобу и в самом деле пришлось бы несладко.

Нет, этот эренбургский пассаж меня тогда, наверно, не возмутил. Да и сейчас, по правде говоря, тоже не больно возмущает.

В общем, в отличие от Шурика Воронеля, читая эренбургские статьи, я не плакал.

Я старше Шурика на несколько лет и, наверное, еще и поэтому воспринимал некоторые коробившие меня эренбургские пассажи с известной долей цинизма. Во всяком случае, с пониманием, где там у него, как сказано у Бабеля, «кончается полиция и начинается Бенья».

Говоря проще, я лучше различал границу, отделяющую то, что Эренбург говорил, потому что ТАК НАДО, потому что без этого никак нельзя было обойтись, от того, что он говорил ОТ СЕБЯ – искренне, от души, от самого сердца.

Но вся штука в том, что толика правды и искренности, присутствовавшая в каждой тогдашней статье Эренбурга, призвана была прикрывать главную, большую, тотальную ложь. И чем больше было в тех его статьях этой правды и искренности, чем ослепительнее сверкали в них блески подлинных, выношенных, на самом деле умных и благородных его мыслей, чем выше подымался он к верхнему пределу дозволенного (а иногда даже и слегка переступал этот предел), тем лучше выполнял он назначенную ему роль, о которой позже так зло сказал (написал) Солженицын:

Жданов с платным аппаратом,
Шагинян, Сурков, Горбатов,
Главный фокусник – Илья...
Мог таким бы стать и я.

«Главный фокусник» – казалось бы, злее не скажешь. Но сам он однажды сказал о себе еще злее.

Когда-то, в молодости (в первом своем романе – «Хулио Хуренито») Эренбург определил себя так: «Пакоствник с идейными задумчивыми глазами».

Это была озорная ирония.

Но в те времена, о которых я сейчас вспоминаю, роль его, улы, была именно такой. И чем более честными и правдивы-

ми выглядели его «идейные задумчивые глаза», тем явственнее проступала назначенная ему гениальным сценаристом роль пакостника.

Сознавал ли сам Эренбург (или по крайней мере чувствовал ли) всю двусмысленность той своей роли?

Не знаю. Не думаю.

Вот какую историю рассказал мне однажды Семен Израилевич Липкин.

Его и Василия Семеновича Гроссмана пригласил как-то к себе на дачу Каверин. Предполагалось, что будет и Эренбург.

Но Эренбург в тот день не приехал. Не помню, то ли он заранее предупредил, что не сможет быть, то ли они ждали его какое-то время, а потом, так и не дождавшись, сели за стол.

На столе была водочка, какая-то закуска. (Василий Семенович, кстати говоря, любил выпить.) В общем, вечер и без Эренбурга прошел неплохо.

А Эренбург приехал на другой день. И вчерашнее застолье повторилось.

Но стол теперь уже был другой. Вместо водки – дорогой французский коньяк. И закуска другая, побогаче.

Разница между вчерашним застольем и сегодняшним была так наглядна, что сразу стало ясно, кто тут главный гость, а кто – гости, так сказать, второго разряда.

Гроссман этой разницей был сильно уязвлен и даже не стал скрывать своего раздражения. Но это свое раздражение он почему-то вылил не на хозяина дома, а на Эренбурга.

Он стал его задирать.

Началось с того, что он довольно язвительно поинтересовался, какие такие важные государственные дела помешали Илье Григорьевичу присоединиться к их компании, а им – уже вчера – отведать французского коньяку.

Эренбург подтвердил, что да, действительно, у него вчера была важная встреча, которую он никак не мог отменить. По ходу дела выяснилось, что встреча была с каким-то приехавшим в Москву иностранцем, одним из тех «борцов за мир», с которыми Эренбург был в постоянном контакте – как один из лидеров этого так называемого «движения сторонников мира».

Гроссман – в той же язвительной манере – выразил недоумение по поводу того, что «из-за такой ерунды» (словцо, возможно, было сказано более крепкое) Илья Григорьевич отказался от приятного вечера с друзьями.

– Борьбу за мир вы считаете ерундой? – спросил Эренбург. И тут Гроссмана прорвало.

Он произнес яростный монолог, смысл которого был в том, что эта так называемая борьба за мир – не просто ерунда, а ерунда вредная. Что всё это – ложь и обман, не более чем камуфляж, прикрытие агрессивной сталинской внешней политики. Что Сталин и наше родимое государство (даже и сейчас, когда «ус уже откинул хвост») играют в современном мире примерно ту же роль, какую перед Второй мировой войной играли Гитлер и фашистская Германия. И что между этими двумя режимами, в сущности, нет большой разницы.

– Да? И кто же, в таком случае, по-вашему, я? – спросил Эренбург.

– А вы, – Гроссман уже не мог остановиться, – фашистский писака!

Услышав это, я просто обомлел. Такого оскорбления Эренбург снести, конечно, не мог.

В связи с этим я вспомнил один свой разговор с ним.

Совсем было уже собрался сразу его здесь изложить, как вдруг сообразил, что изложение это потребует довольно длинного отступления.

Каждая история имеет свою предысторию. Но эта без предыстории будет совсем уже не понятна. Так что – пардон.

Читатель, я думаю, уже привык прощать мне эти постоянные мои «вероятия в сторону», – авось простит и эту, несмотря на то что она грозит разрастись в отдельную, самостоятельную историю.

Впрочем, история эта и сама по себе не лишена интереса. Да и важна для понимания некоторых особенностей хрущевской оттепели.

Летом 1961 года я опубликовал в двух номерах «Литературной газеты» большую (по газетным масштабам даже огромную) статью – «Если забыть о часовой стрелке».

Главными ее персонажами были Евтушенко и Вознесенский, проходившие тогда пик своей молодой славы. На их вечера в зале Чайковского, в Политехническом, а потом и в Лужниках ломались толпы. Не обходилось без нарядов конной милиции. В отделе юмора «Литературной газеты» (с этого начиналась моя статья) появилось сообщение: «Не присылать пародии на Е. Евтушенко и А. Вознесенского. Материал отработан полностью».

Смысл моей статьи (если коротко) состоял в том, что основой этого грандиозного успеха (сопоставимого, пожалуй, только со скандальным успехом выступлений Маяковского и Есенина) были фальшь и убожество советской поэзии предшествующего периода – та, как выразился Коля Глазков, «долматусовская ошань», в которую, как в черную дыру, провалились все гении русского Серебряного века.

Высказал я эту нехитрую мысль, разумеется, не с такой прямотой, с какой сделал это сейчас, но всё же – достаточно ясно. Евтушенко и Вознесенский, – говорил я, – могут претендовать на роль больших поэтов, истинных властителей дум, только если «забыть о часовой стрелке», то есть о том, что в русской поэзии XX века, помимо вот этой самой «долматусовской ошани», были Блок, Маяковский, Есенин, Ахматова, Пастернак, Цветаева...

Тут надо сказать, что Евтушенко и Вознесенского критика в то время не жаловала. Некоторые статьи о них напоминали модные в те времена фельетоны о тунеядцах и стилигах. И хотя в первых же строках моей статьи (даже не в первых ее строках, а в небольшой презрительной сноске) я резко от них отмежевался, заметив, что, прочитав такой «разбор», невольно испытываешь непреодолимое и естественное желание защитить не шибко нравящегося тебе поэта, мне было ясно, что многие мои читатели сразу же присоединят мой голос к этому общему хору. Чтобы этого избежать или хоть как-то себя от

этого обезопасить, я постарался на всем протяжении статьи расставить (для тех, кто понимает) некоторые опознавательные знаки. Строчкам Вознесенского я противопоставлял строки Хлебникова и Цветаевой, в другом случае, поскольку имя Пастернака было тогда еще не упоминаемо, цитировал Тициана Табидзе в переводе Пастернака («Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут -// Меня, и жизни ход сопровождает их...»). В общем, изо всех сил старался, чтобы читатель понял, ЧТО я имею в виду, говоря о забытой «часовой стрелке».

Как вы сейчас увидите, все эти ухищрения не шибко мне помогли.

Месяца два спустя после появления моей статьи тогдашний шеф нашего отдела Феликс Кузнецов отправился в командировку – если не ошибаюсь, в Калугу. Оттуда пришло душераздирающее читательское письмо, суть которого состояла в том, что из местного педагогического института уволили, исключив предварительно из партии, несколько профессоров – только за то, что они читали студентам стихи Евтушенко и Вознесенского.

Оттепель была тогда в самом разгаре, и Феликс поэтому еще был либералом. Он очень любил такие читательские письма. Прямо-таки обожал появиться в какой-нибудь глубинке этаким Зевсом-громовержцем и восстановить справедливость, попанную местными мракобесами или дураками.

Незадолго до его поездки в Калугу был такой случай.

Позвонил мне Корней Иванович Чуковский (меня он знал лучше, чем других сотрудников тогдашней «Литгазеты») и попросил помочь в одном деликатном деле. Некто Мирон Петровский, милый, интеллигентный, одаренный молодой человек, работающий над монографией о нем (Чуковском), попал в беду. Он живет в Киеве. Киев – не Москва, хрущевская оттепель тамошней жизни почти не коснулась. Не исключено поэтому, что Мирону грозят неприятности очень даже серьезные. Могут и посадить...

История, как выяснилось, была такая.

В Киевской (республиканской) молодежной газете появилась статья, в которой пять-шесть молодых людей, в числе которых был и подопечный Корнея Ивановича, обвинялись в

разных политических грехах. Все обвинения – полная ерунда, разнузданная фантазия бойкого журналиста. Статья между тем была воспринята как **руководство к действию**. (Так уж было принято в те времена.) Всех упоминавшихся в ней ребят мгновенно исключили из комсомола, выкинули из институтов, где они учились, уволили с работ, где они работали. Короче говоря – перекрыли им кислород. Ожидались и другие, гораздо более крутые меры. Даже если обойдется и без ареста, мальчику переломают спинной хребет, навсегда закроют ему дорогу в литературу. А мальчик – талантливый. Надо его спасти.

Мало на что надеясь, я поплелся с этой информацией к главному редактору. Но тот, вопреки моим ожиданиям, отнесся к моему лепету благожелательно. (Как потом выяснилось, Корней Иванович позвонил не только мне, но и в ЦК, и Главному с той же просьбой уже звонили оттуда.)

Дело завертелось.

Явился ко мне Мирон, принесся злополучный «клеветон». Статья была солидная – два газетных подвала. Называлась она лихо: «Конец литературной забегаловки». Картина, жирными мазками нарисованная ее автором, была ужасна. Некие растленные молодые люди вместо того, чтобы учиться или работать, отдавая все свои силы строительству коммунистического общества, собирались в каком-то гнусном притоне, читали стихи Пастернака, танцевали, раздевшись догола, вели (очевидно, между собой) антисоветскую пропаганду, а некоторые из них, самые растленные, сговаривались даже, тайно перейдя государственную границу, сбежать на Запад.

– Скажите, Мирон, что тут клевета, а что – правда? – спросил я.

Мирон честно признался, что он и его друзья действительно собирались и читали друг другу стихи Пастернака. Все остальное – полная чепуха. Голые не танцевали, антисоветской пропагандой не занимались, границу переходить тем более не сговаривались. Да и какая у них там, в Киеве, граница?

Ехать в Киев – разбираться с тамошними головоотяпами, – как вы уже, конечно, догадались, вызвался тот же Феликс Кузнецов.

Приехав, он явился в редакцию газеты, опубликовавшей

статью о конце литературной забегаловки, и поинтересовался, уверены ли ее сотрудники в достоверности изложенных в ней фактов.

Сотрудники в ответ промямлили что-то невразумительное.

Тогда Феликс напрямую спросил у них, откуда они добыли весь этот сенсационный материал. И тут газетчики признались, что добывать, а тем более проверять, им ничего не пришлось, поскольку статья поступила к ним в готовом виде прямо и непосредственно из Комитета Государственной Безопасности.

В былые времена даже самый ответственный корреспондент «Литературной газеты», услышав такое, сразу наложил бы в штаны. Но был, как я уже говорил, самый разгар оттепели. А кроме того, прибыв в качестве корреспондента столичной газеты с ревизией материала, появившегося в газете провинциальной, Феликс был уверен, что его козырь старше. Короче, он не испугался, а прямехонько отправился в тот самый зловещий Комитет. Разыскал там людей, заваривших всю эту кашу, и ласково, по-отечески стал их журить. Ребята, дескать, что же это вы делаете? Ведь все ваши обвинения – чистая клевета!

– Как это то есть клевета? – возмутились сотрудники Комитета. И выложили на стол свои доказательства.

– Знаем, знаем, как вы добываете эти свои доказательства, – усмехнулся Феликс, который, напоминая, тогда еще был либералом.

Это предположение оскорбило их до глубины души. И, как выяснилось, они, в общем-то, были правы. Их методы с методами их предшественников и в самом деле не имели ничего общего. Предъявленные ими доказательства они вовсе не выколачивали из своих «клиентов» какими-нибудь недозволёнными, строжайше запрещёнными способами ведения следствия. Все факты, изложенные в статье «Конец литературной забегаловки», как выяснилось, действительно имели место. С одной только, как это им представлялось, совершенно не существенной поправкой.

На самом деле, оказывается, была в Киеве не одна «литературная забегаловка», а – три! Посетители одной (в их числе и был наш Мирон) собирались и читали стихи Пастернака. Дру-

гие юноши и девушки, раздевшись догола, танцевали друг с другом под магнитофонную музыку при мягком свете торшера. А трети – вели разные политические дискуссии, иногда, наверно, и впрямь поговаривая о том, что хорошо было бы покинуть любезное отечество.

Само собой, участники всех этих – довольно разных, как видим, – молодежных собраний, понятия не имели друг о друге.

– Как же вы могли, – искренне изумился либерал-Феликс, – свалить их всех в одну кучу?

– А мы обобщили, – объяснили ему сотрудники Комитета. Как коллеги – коллеге. И выразили даже при этом некоторое недоумение: мол, ему ли, журналисту, не знать, что такое художественное обобщение.

Нечто похожее произошло и в Калуге.

Вернувшись оттуда (разумеется, победителем), Феликс, запершись со мной в своем начальственном кабинете, рассказал.

Приехал он в Калугу, явился в институт, где произошло вышеописанное ЧП, и сразу – в партком. Что? Как? Почему? В парткоме ему подтвердили: да, действительно, исключили из партии троих. Ну а потом, естественно, их уволили: не могут же оставаться на идеологической работе люди, исключенные из железных рядов за серьезные идеологические проступки. А проступки-то какие? Ну, разные. Но главный, самый большой идеологический грех проштрафившихся преподавателей, как выяснилось, действительно состоял в том, что они пропагандировали упадочные, идейно ущербные стихи Евтушенко и Вознесенского.

– Неопубликованные, что ли, стихи? – спросил Феликс.

– Почему неопубликованные? Опубликованные.

– За границей?

– Почему за границей? У нас.

– То есть вы хотите сказать, что исключили из партии этих трех преподавателей только за то, что они читали студентам стихи советских поэтов, опубликованные в советской печати? – надавил Феликс.

Но члены парткома не смутились и давлению этому не поддались, безмятежно сообщили, что их хата с краю, поскольку компромат на этих профессоров пришел из ГБ.

Вдохновленный своим киевским опытом, Феликс прямоком отправился в местное отделение ГБ и задал сотрудникам, состряпавшим это дело, тот же вопрос: «Вы что, мужики? Совсем у вас, видно, крыша поехала! Какая же это идеологическая диверсия? Это ведь наши, советские поэты!»

– И тут, представляешь, – рассказывает мне Феликс с какой-то нехорошей, глумливой ухмылкой, – достает ихний главный из ящика стола газету, сует мне ее под нос и говорит: «Да? Советские, значит? А вот почитайте, что ваша родная «Литгазета» про них пишет!» Разворачиваю я эту газету, и вижу, что там, – ТВОЯ СТАТЬЯ!

Тут надо сказать, что у нас с Феликсом, хоть он и был тогда либералом, все-таки случались кое-какие идеологические разногласия. То он норовил ни к селу ни к городу всадить в какую-нибудь мою статью «цитатку из Хруща», то, наоборот, высадить из нее какую-нибудь цитату: Ахматовой или Цветаевой. И всякий раз при этом объяснял: «Старик, верь моему чутью. В литературе ты, может быть, понимаешь лучше, чем я. Но в политике, поверь, я смыслю больше».

За эту политическую сервильность и изворотливость мы либерала Феликса слегка презирали, хоть и старались ему это не показывать. Но что-то он, наверно, все-таки чувствовал, и поэтому, рассказывая мне о том, как Калужская гэбуха прикрывала свое свинство моей статьей, он не скрывал испытываемого им чувства глубокого удовлетворения. Его искренне радовала открывшаяся вдруг возможность макнуть меня в то же дерьмо, в которое по долгу службы так часто приходилось погружаться ему. Показать, что это дерьмо – наше общее, что никуда нам от него не деться, что все мы одним миром мазаны, поскольку, как любил он повторять, оправдывая разные более или менее сомнительные свои поступки, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

Всё это, разумеется, осталось в подтексте, так сказать, за кадром. А «в кадре» – мы дружно посмеялись над идиотизмом тулобых калужских гэбешников, и тем дело и кончилось.

Хотя – нет, не кончилось.

Вторая часть моей статьи, главным фигурантом которой

был Андрей Вознесенский (с Евтушенко я разделался в первой ее части), начиналась так:

XX век отучил нас удивляться. Полимеры входят в быт. Нас окружают ткани и меха, по своим качествам не уступающие настоящим. Вероятно, если завтра мы прочтем в газетах, что учеными осуществлен синтез белка, нам это тоже не покажется нереальным.

Существует и «синтетическая», искусственная поэзия.

Ее не следует недооценивать... Хотя она и представляет собой имитацию, но эта имитация в наш век может быть доведена до потрясающего технического совершенства. Многие даже не почувствуют разницы между произведением, «синтезированным» талантливо и искусно, хотя и без всякой затраты живой крови, и живым детищем, рожденным в муках...

Когда я сочинял этот абзац, мне, конечно, не могло прийти в голову, что и он тоже может стать оружием в руках цензора или редактора, не пускающего стихи Вознесенского в печать. Но вскоре (тоже, наверно, месяца через два или три после появления моей статьи) к нам в редакцию заглянул Андрей и с грустью и обидой поведал мне, что В. Карпова (тогдашний главный редактор издательства «Советский писатель») «бодает» его новую книгу, ссылаясь – как и те калужские гэбешники – на мою статью.

– Раньше, – рассказывал он, – она в поте лица старалась отыскать у меня разные идеологические грехи, а теперь ей и искать-то нечего. Это, говорит, синтетическая поэзия, – и всё. Так что она может сказать тебе спасибо, ты сильно облегчил ей ее трудную работу.

Не могу сказать, чтобы слушать это было мне приятно.

С новой книгой Андрея, правда, все обошлось.

Хитроумная Карпова и в самом деле пыталась «забодать» ее моими руками. Прочитав мою статью, она тут же отправила мне рукопись его «Треугольной груши» на внутреннюю рецензию. Ход, как ей, вероятно, казалось, был беспроегрышный: не стану же я, только что разгромив поэта Вознесенского публично, – в закрытой, «внутренней» рецензии хвалить те самые (или такие же) его стихи, которые так резко критиковал.

Но я вышел из положения просто, начав свою внутреннюю рецензию так:

Совсем недавно я опубликовал большую статью, в которой подверг резкой критике стихи Андрея Вознесенского. В этой статье я пытался определить место поэта Вознесенского в русской поэзии XX века.

Сейчас передо мной стоит неизмеримо более скромная задача: определить место, которое займет новая книга Вознесенского в ежегодной поэтической продукции издательства «Советский писатель».

После такого вступления я уже спокойно мог написать самую что ни на есть положительную внутреннюю рецензию на «Треугольную грушу». И «Груша» эта довольно скоро вышла в свет. Так что на поэтическую судьбу Вознесенского (равно как и на поэтическую судьбу Евтушенко) та моя статья никакого отрицательного воздействия не оказала.

Но все эти события (и калужский инцидент, и капкан, расставленный мне хитроумной Карповой, и мой ответный финт на ее ловушку) имели место быть, как я уже сказал, месяца через два-три после появления моей статьи. А главный, настоящий скандал вокруг нее разразился гораздо раньше.

Чуть было не написал: буквально на следующий день после ее появления на страницах газеты. Но на самом деле – еще раньше.

Статья эта, как я уже говорил, печаталась в двух номерах: первая ее часть в одном номере, а окончание должно было появиться в следующем.

Но в следующем номере оно не появилось, потому что в промежутке между этими двумя номерами как раз и разразился скандал.

Раздался звонок из ЦК – от «дяди Мити», как все мы тогда называли курировавшего нас и литрами пившего из нас кровь Д.А. Поликарпова – того самого, которому Сталин некогда сказал свою знаменитую фразу: «В настоящий момент у меня нет для тебя других писателей: хочешь работать – работай с этими».

«Дядя Митя» был человек неординарный. Когда он умирал (от рака), он сказал жене, что если умрет после 15-го числа, пусть она – так и быть! – возьмет «кремлевку» (полагающийся ему кремлевский паек) за этот месяц. А если он отдаст концы до 15-го, чтобы ни в коем случае не смела его брать: обманывать партию он ей не разрешил.

В то время, я думаю, уже не много осталось цековских чиновников, которые проявляли бы такую суровую щепетильность в своих отношениях с «партийной кормушкой».

Но неординарность, я бы даже сказал уникальность, «дяди Мити» проявлялась не только в этом.

В отличие от подавляющего большинства тогдашних партийных бонз, он был идейным. Он был последышем тех «неистовых ревнителей», которые исполняли свои партийные обязанности, как выразился однажды Маяковский, «не по службе, а по душе».

Нам (не только нам, а всем, кого «дядя Митя» курировал, за кем следил своим бдительным оком) от этого было только хуже.

Но к нам, к «Литгазете», он относился с особой, повышенной бдительностью.

– Вашу газету, – сказал он однажды Михаилу Матвеевичу Кузнецову, который был у нас тогда заместителем главного редактора, – я читаю с карандашом в руке.

Именно вот так, с карандашом в руке, наверно, прочел он и мою несчастную статью. То есть – первую ее часть.

О том, что происходило в промежутке между публикацией первой и второй частей моей статьи (вторая ее часть, хоть и с опозданием, тоже была напечатана), я еще расскажу. А пока – о скандале, разразившемся после появления первой ее части.

Главного редактора газеты вызвали в ЦК – «на ковер», как это тогда называлось. Грубую ошибку газеты предлагалось немедленно исправить, а политически вредную статью дезавуировать.

Выполнить эту роль – загодя, еще до того как решился вопрос о публикации второй части, – поручили Александру Львовичу Дымшицу, всегда готовому к услугам такого рода. За эту готовность его прозвали «Председателем еврейской секции Союза русского народа». И ходила тогда о нем такая эпитафия:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.
Там Дымшиц на коротких ножках –
Погрома жаждущий еврей.

Как видите, репутация у Александра Львовича в то время была уже вполне определенная.

Отдел литературы «Литературной газеты» был расположен на шестом этаже большого литгазетского здания. Но наши кабинеты располагались только по одну – правую – сторону коридора. А напротив, на левой его стороне располагалась редакция газеты «Литература и жизнь» – «Лижи», как все ее называли. Дымшиц работал в «Лижи» – он был там заместителем главного редактора. И мы постоянно сталкивались с ним в нашем длинном коридоре.

Идя мне навстречу, он, бывало, еще издали протягивал вперед свою коротенькую ручку и с какой-то особенной, подчеркнутой настойчивостью пожимал протянутую в ответ мою. Когда я выразил кому-то свое удивление по этому поводу (мы ведь, в сущности, были едва знакомы, к тому же встречались ежедневно, так что вполне можно было ограничиться и простым кивком), мне – со смехом – было отвечено, что в Ленинграде, откуда Александр Львович недавно перебрался в Москву, ему уже давно никто руки не подает, поэтому, мол, он и рад каждому представившемуся случаю обменяться с кем-нибудь рукопожатием.

И вот настал и мой час не подать ему руки.

В тот день, когда появилась его статья, изобличающая меня во всех смертных грехах, мы, как обычно, столкнулись с ним в коридоре, и он, как обычно – нет, даже не как обычно, а с особой, более чем обычно подчеркнутой доброжелательностью протянул мне свою коротенькую ручку (дело, мол, делом, но на наших личных отношениях это никак не должно отразиться), я сделал вид, что этой протянутой руки не заметил и с высоко поднятой головой прошел мимо.

Это был, наверно, не самый лучший поступок в моей жизни. Ведь раньше я с ним здоровался. А статьи, которые он – во множестве – писал раньше, наверняка были не лучше той, героем которой стал я.

Но мне тогда казалось, что эта его статья была какой-то уж особенно гадкой, что на этот раз Александр Львович далеко превзошел все прежние свои непотребства.

Сейчас, вспоминая об этом, я не зря написал «казалось». Подумал, что это, быть может, и в самом деле мне только показалось. Знаете, как это бывает, – одно дело, когда бьют по чужой заднице, и совсем другое, когда – по твоей.

На всякий случай я решил себя проверить: отыскал ту старую статью Дымшица и перечитал ее.

Перечитывая, вспомнил, что особенно меня тогда возмутило ее заглавие: «Надо доругаться!» Мало того, что подлец Дымшиц больно хлестнул меня фразой моего любимого Маяковского, – это ведь была не простая фраза, а последняя реплика предсмертного письма Владимира Владимировича, обращенная к ненавидимому мною Ермилову. Выходило, что я – заодно с подлецом Ермиловым, а он, Дымшиц, – с Маяковским.

Но заглавие – это только цветочки.

Опуская пронизывающую всю его статью фальшивую советскую риторику («Мы – в походе. И мы обязаны оберегать ритм нашего исторического марша»), я приведу здесь только один, особенно тогда возмутивший меня абзац, почти сплошь состоящий из перечня имен поэтов, якобы активно работавших и создававших свои шедевры в то самое время, о котором я писал, как о времени застоя и упадка. На самом деле, уверял Дымшиц своего (и моего) читателя, и тогда, в мрачные годы культа личности, советская поэзия была на очередном историческом подъеме:

Не хочется прибегать к перечням, чтобы опровергать ими Б. Сарнова. Но трудно обойтись без них. Самое беглое обращение к литературной хронике послевоенных лет разбивает в пух и прах странные домыслы критика. Разве «цельнометаллического» героя воспевали тогда наши старейшие мастера – Н. Тихонов, Н. Асеев, А. Прокофьев, И. Сельвинский, В. Луговской, В. Инбер, С. Маршак, М. Исаковский, С. Ципачев, М. Светлов, А. Сурков? Разве не в ту пору были созданы Александром Твардовским его «послевоенные стихи» и возник у поэта широкий замысел «За далью – даль»? Разве блистатель-

ная книга Константина Симонова «Друзья и враги» не представила нам большой духовной красоты и силы революционного лирического героя? Разве не писали в то время и не создавали прекрасных произведений М. Алигер и Я. Смеляков, С. Кирсанов и Н. Рыленков, С. Смирнов и В. Рождественский, Е. Долматовский и О. Берггольц, Н. Заболоцкий и Л. Ошанин, С. Наровчатов и А. Софронов, П. Антокольский и С. Васильев, В. Шефнер и Н. Ушаков? Разве не в ту пору читатели накрепко полюбили поэзию Н. Грибачева, С. Орлова, М. Дудина, М. Луконина, А. Межирова? Разве не именно тогда так ярко засветилась (рано погашенная смертью) деятельность С. Гудзенко, А. Недогонова, П. Комарова?.. Наконец, разве можно «забыть» об огромных успехах поэтов братских народов – украинских, белорусских и многих, многих других? Ведь «забыть» о них – это как раз и значит забыть про «часовую стрелку».

Ложь этого длинного перечня состояла даже не в том, что на «семь пар чистых» у Александра Львовича тут пришлось семьдесят семь «пар нечистых». И даже не в том, что «чистые» и «нечистые» выступали у него в одной паре (Заболоцкий – в паре с Ошаниным, Антокольский – с Сергеем Васильевым, Наровчатов – с Софроновым). Особая подлость этого благостного списка заключалась в том, что в то время Анатолий Софронов воспевал казачий «ременный батожок»:

«Принимай-ка, мой дружок,
Сей реманный батожок...
Если надо – он задушит,
Если надо – засечет...»
.....
Бей, реманный батожок,
По сусалам, по глазам,
По зубам и по усам,
Бей по морде деревянной!
Что попортишь – не беда,
Бей, родимый, бей, реманный,
Заплетенный в три ряда...»
Мой товарищ, мой дружок,
Бей, реманный батожок!

И не только воспевал, но и, размахивая этим «ременным батожком», нещадно лупил им (вместе с Сергеем Васильевым, автором знаменитой поэмы «Без кого на Руси жить хорошо») «безродных космополитов». А Павел Григорьевич Антокольский, выступающий у Дымшица в паре с автором той юдофобской поэмы, как раз и был тогда вот этим самым «безродным космополитом», и получал вот этим самым «ременным батожком» – и «по сусалам, и по глазам», и по прочим чувствительным местам.

В том дымшицевом списке не было, конечно, ни Ахматовой, ни Пастернака, ни даже на десять лет выброшенного из советской поэзии Мартынова (после статьи Веры Инбер «Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов!»). Но кое-какие громкие имена там все-таки были, и читателя, не вникшего в существо спора, список этот мог, пожалуй, и обмануть.

Но читателю, более или менее ясно представлявшему, какая реальность стояла за каждым таким именем, запудрить мозги было все-таки трудно.

Вот, например, Тихонов. Первыми своими стихотворными сборниками («Орда» и «Брага») сразу поставивший себя в ряд с самыми знаменитыми тогдашними русскими поэтами (помните у Багрицкого? «А в походной сумке – спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак») в 40-х и 50-х превратился в безликого, жалкого и убогого графомана.

В то самое время, о котором я сейчас вспоминаю, был у меня разговор на эту тему с Николаем Николаевичем Асеевым.

Я выразил изумление по поводу того, что этот поэт, начавший так талантливо и ярко, начисто утратил не только какие-либо признаки поэтического дара, но даже и остатки простого умения более или менее грамотно укладывать слова в стихотворные строки.

Причина этой катастрофы была мне более или менее ясна. Но Николай Николаевич пролил на эту загадку дополнительный свет, рассказав мне такую историю.

Сидели как-то они с Тихоновым в ложе во время какого-то торжественного собрания. Возможно даже, это было на первом писательском съезде. Сидели и разговаривали о чем-то, как казалось Асееву, одинаково важном и интересном для обоих.

– И вот я замечаю, – рассказывал Николай Николаевич, – что он меня не слушает. Покраснел весь, напрягся...

Оказалось, что с трибуны зачитывали список лиц, предлагавшихся в президиум высокого собрания. И Тихонова в этот момент больше всего на свете интересовало: будет или не будет сейчас упомянута и его фамилия. Ясное дело, что тут уж ему было не до Асеева и не до какого-то отвлеченного их разговора о каких-то там высоких материях.

Рассказав эту историю, Николай Николаевич махнул рукой и – заключил:

– Тут я понял: говно!

А о себе Николай Николаевич рассказал, как орал на него и топал ногами Щербáков, распекая за «политически вредное» стихотворение «Надежда».

Стихотворение было такое:

Насилье родит насилье,
и ложь умножает ложь.
Когда вас берут за горло –
естественно взяться за нож.
Но нож называть святыней
и, вглядываясь в лезвие,
начать находить отныне
лишь в нем отраженье свое, –
нет, этого я не сумею,
и этого я не смогу:
от ярости онемею,
но яростью не солгу!
У всех увлеченных боем
надежда живет в любом:
мы руки от крови отмоем
и грязь с лица отскребем...

Стихотворение это, – рассказывал Николай Николаевич, – написалось у него в 41-м, под впечатлением жуткой картины, которой он сам был свидетелем. После разгрома немцев под Москвой он с Фадеевым отправился в прифронтовую зону, в места, только что освобожденные от врага. И там в одной из освобожденных деревень он увидел местных деревенских ре-

бятишек, которые лихо скатывались с обрыва на обледеневших немецких трупах – как на салазках.

Макабрическое зрелище это привело старого поэта (впрочем, он был тогда не таким уж и старым) в ужас, и своими мыслями по этому поводу он поделился с Фадеевым. Фадеев на него наорал, обозвал абстрактным гуманистом и жалким интеллигентиком, не способным разделить чувство священной ненависти к врагу, которым охвачен весь советский народ, включая малых детей. В ответ на эту фадеевскую отповедь Асеев и написал тот стишок, прочитав который его вызвал «на ковер» всеильный секретарь ЦК ВКП(б).

Щербаков школил его как классный наставник проштрафившегося гимназиста. А ведь Асеев был – классик, лауреат самой первой, только что учрежденной незадолго до войны Сталинской премии.

Да что Асеев (классик там или не классик, а все-таки – чужой), если даже **своему в доску** Алексею Суркову вlepили большого партийного дрозда за его недостаточно оптимистичную «Землянку». Ну, а Заболоцкий, Смеляков и Ольга Берггольц – так они в те незабвенные времена, когда «читатели накрепко полюбили поэзию Н. Грибачева», – и вовсе пребывали в **местах отдаленных**.

Все это (и еще многое другое) А.Л. Дымшиц знал, конечно, не хуже меня. Но, как любил говорить в таких случаях мой друг Иосиф Самойлович Шкловский, – поганому виду немає стыду.

Нет, пожалуй, я все-таки не зря не подал тогда ему руки. И не зря решил, что той своей статьей он побил все тогдашние – даже свои собственные – рекорды подлости и наглой, беззастенчивой лжи.

Тут, кстати, надо сказать, что так думал тогда не я один.

Помню Булата, выступавшего в тот день на летучке. Брезгливо держа в руках газетный лист со статьей Дымшица («как юный князь изящен»), он говорил:

– Вынув сегодня из почтового ящика газету и заглянув в нее, я сперва решил, что это какое-то недоразумение. Что вместо нашей газеты мне по ошибке сунули «Лжи»...

И все – даже не слишком близкие – мои литературные знакомые (и даже полузнакомые), с кем мне тогда доводилось встречаться, сразу заговаривали со мной об этой дымшицевой

статье, спешили выразить свое сочувствие и солидарность, и – в один голос – повторяли:

– Не понимаю, что случилось с Дымшицем! Я помню его по Германии. Он так замечательно вел себя там в тогдашней своей должности!

Сразу после капитуляции Германии майор Дымшиц был назначен ответственным за немецкую культуру. В составе советских оккупационных войск он был чем-то вроде министра. Он организовывал какие-то пайки голодавшим немецким писателям, актерам, художникам. Роль его в послевоенной Германии была огромной. Сам он, смеясь, говорил, что был тогда в должности Геббельса. (Он, конечно, говорил, – анти-Геббельса.) О майоре Дымшице, который стал тогда их спасителем, много лет спустя с придыханием вспоминали потом Эрнст Буш и Елена Вайгель – блистательная актриса, вдова Брехта.

Такова была легенда, сомневаться в истинности которой у меня не было никаких оснований. И поэтому, когда все, кто заговаривал со мной на эту тему, в один голос повторяли: «Не понимаю, что стало с Дымшицем!», я только кивал и разводил руками.

Помню, и Константин Михайлович Симонов, к которому я приезжал тогда по каким-то литгазетским делам, тоже произнес эту сакраментальную фразу: «Не понимаю, что стало с Дымшицем! Он так хорошо вел себя в Германии!»

И только один Эренбург, когда я, в ответ на какие-то его брезгливые слова о Дымшице повторил, как попугай, эту расхожую формулу, отреагировал иначе.

– Да помню я, – сказал он, – прекрасно помню, как он вел себя в Германии. Анна Зегерс хотела пойти к нему по каким-то своим делам, а я сказал ей: «Зачем ты к нему пойдешь? Ты что, фашистов в своей жизни мало видела?»

И надо было видеть брезгливое выражение его лица, когда он произносил эту уничтожающую реплику.

В то время антифашистов у нас было великое множество. Были даже профессиональные антифашисты – писатели, журналисты, политические комментаторы, превратившие борьбу

с фашизмом чуть ли не в профессию, во всяком случае, в главное свое занятие. Но это всё были антифашисты, так сказать, узкого профиля. Они боролись только с германским фашизмом, разоблачали исключительно немецких нацистов и неонацистов. (Один такой писатель даже проник в самое логово врага, поехал в Германию, познакомился там с одним довольно видным – разумеется, в прошлом – деятелем гитлеровского рейха, подружился с ним и принял приглашение на некоторое время у него поселиться. А поселившись и основательно попользовавшись его гостеприимством, написал потом книгу, разоблачающую своего хлебосольного хозяина.)

Эренбургу, конечно, тоже случалось (и не раз) клеймить и разоблачать немецких неонацистов. Но он при этом никогда не забывал, что фашистом может быть не только немец, носивший в недавнем прошлом мундир обергруппенфюрера, но и свой брат, соотечественник (в том числе и еврей), носивший мундир майора советской армии.

В отличие от многих, а может быть, даже и от всех своих коллег (увы, увы, они были все-таки коллегами), он был настоящим антифашистом – «не по службе, а по душе».

– Как это? – слышу я недоверчивую и даже язвительную, а может быть, даже и негодующую реплику читателя. – Настоящий антифашист на службе у фашистского режима?

Что верно – то верно. Сталинский, да и послесталинский советский режим с полным основанием можно назвать фашистским. Мы это понимали уже и тогда: недаром же глумливо именовали профессиональных разоблачителей немецких неонацистов – антифашистами узкого профиля.

В том, что Эренбург верой и правдой служил этому режиму, у меня тоже (уже тогда) не было ни малейших сомнений. Даже не просто служил, а **состоял на службе**: получал задания, выполнял кое-какие щекотливые поручения, в исполнении которых потом отчитывался перед группенфюрерами различного ранга, а порой и перед самим фюрером.

Как же, зная и понимая все это, решился я назвать его настоящим антифашистом?

Был у меня однажды разговор на эту тему с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

Познакомился я с ней уже после смерти Ильи Григорьевича, хотя и вскоре после его смерти.

Знакомясь, испытал, конечно, некоторый трепет: не только знал, КТО ОНА, но уже читал (в самиздатской рукописи, конечно) первую книгу ее воспоминаний.

Не скрою, однако, что при более тесном общении она показала мне довольно вздорной старухой. И это мое впечатление сложилось задолго до того, как в том же самиздате получила распространение ее ВТОРАЯ КНИГА, вызвавшая множество резких критических откликов, самый страстный и негодующий из которых (он принадлежал В. Каверину) заключался фразой, подобной удару хлыста: «Тень, знай свое место!»

До этой вдруг разразившейся бури тогда было еще не близко. Но один вроде бы совсем пустяковый случай открыл мне, что Надежда Яковлевна не только бывает пристрастной в освещении излагаемых ею фактов (странно было бы, если бы это было не так), но и весьма вольно может обращаться и с самими фактами.

Позвонил я ей как-то – скорее из вежливости, чем по делу: поздравить с днем рождения Осипа Эмильевича. Но ограничивать разговор несколькими вежливыми фразами показалось мне неудобно и, чтобы создать видимость острой заинтересованности в более длительной беседе, я задал ей вопрос, в ответе на который, в сущности, не нуждался.

– Надежда Яковлевна, – непринужденно начал я. – Вот, кстати, давно уже собирался у вас спросить... У Осипа Эмильевича в его статье «Девятнадцатый век» напечатано (речь, разумеется, шла об американском издании, других у нас тогда не было) – «Европеизировать, гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом...». По смыслу тут, конечно, должно быть не «теологическим», а – «телеологическим»...

Всё это я ей выложил как бы в форме вопроса. Как почтительный ученик, хоть и уверенный в том, что решил задачку

правильно, но все-таки не решающийся считать это решение окончательным без санкции учителя.

На самом деле, как я уже сказал, в ее ответе я не нуждался, но на всякий случай приготовил какие-то аргументы в защиту своей версии и уже совсем было собрался все эти аргументы ей выложить. Но Н.Я. не дала мне договорить.

– Очень может быть, – прервала она меня на полуслове. – Все свои статьи Оська диктовал мне. А я тогда, конечно, понятия не имела, с чем ее едят, эту самую телеологию, и чем она отличается от теологии...

Всё это было сказано вполне добродушно. И вдруг – словно какая-то муха ее укусила. Внезапно тон ее резко изменился, стал недоброжелательным:

– А впрочем – нет. Конечно, «теология»... Да, да... Я совершенно в этом уверена. Именно «теология»...

– Почему? – удивился я не столько самому этому неожиданному утверждению, сколько внезапной перемене тона.

– А потому, – совсем уже неприязненно, даже как-то зло ответила она, – что у Осипа Эмильевича было другое отношение к теологии. Не такое, как у вас...

Этой внезапной вспышкой неприязни я, по правде сказать, был слегка обескуражен и сперва не мог придумать для нее никакого другого объяснения, кроме того, которое целиком укладывалось в уже известную читателю формулу «вздорная старуха». Но потом все-таки я нашел и другое объяснение, более разумное. И даже не одно, а целых два.

Первое проистекало из того, что, как мне было известно, Надежда Яковлевна в ту пору ударилась в православие. Со слов моего друга Левы Левицкого я знал, что у нее постоянно собираются на свои религиозные радения наши новообращенные христиане. Об этом Лёве с изумлением и некоторой даже оторопью рассказывал Александр Константинович Гладков.

Заглянул он как-то к Надежде Яковлевне, а там – целый клир: сидят и вдохновенно, с упоением поют псалмы.

– И притом, – смущенно добавил он, – извините, Лёва, – одни евреи.

Надежда Яковлевна вполне могла – и не без некоторых к тому оснований – предположить, что к этой ее игре в правосла-

вие я отношусь с достаточной долей иронии. Отсюда, быть может, и этот ее никак мною не спровоцированный выпад насчет того, что Осип Эмильевич относился к теологии совсем не так, как я.

Но скорее всего, за этой внезапной вспышкой неприязни стояло другое.

Как раз в то самое время я написал свой, своё – не знаю, как назвать, ну, скажем, эссе (когда мы не знаем, как определить жанр какого-нибудь сочинения, всегда приходит на помощь это спасительное слово) – «Заложник вечности. Случай Мандельштама». Книгой этот мой первый опыт писания «в стол» стал четверть века спустя. А тогда я решался давать его на прочтение только самым близким друзьям.

Боря Слуцкий, прочитав, спросил:

– А вы показывали это вдовствующей императрице?

И узнав, что не показывал, молча кивнул: понимаю, мол.

Он, вероятно, решил, что я опасюсь ее неудовольствия, критики, может быть, даже обиды. Такие опасения, конечно, могли иметь место. Впоследствии я не раз имел возможность убедиться, что для автора книги, или статьи, или даже воспоминаний о писателе или поэте не может быть ничего ужаснее реакции вдовы. А тут – не просто вдова, а вдовствующая императрица!

Но на самом деле я не рискнул показать свой опус Надежде Яковлевне совсем по другой причине: просто постеснялся. К ней ведь ходили на поклон разные подпольные исследователи, занимавшиеся Мандельштамом годами и сделавшие эти свои занятия главным делом жизни. А я к Мандельштаму обратился довольно случайно: меня интересовал не столько Мандельштам сам по себе, сколько «Мандельштам и Сталин», – вечный русский сюжет: «Поэт и Царь». Так что нечего было мне, дилетанту, с моим суконным рылом соваться в этот калашный ряд.

Надо было бы, конечно, предупредить друзей, чтобы никто из них – тех, что бывали у Надежды Яковлевны, – не проболтался, что такое сочинение существует. Но эта простая мысль мне в голову не пришла. И не предупрежденный мною простодушный Фазиль однажды прямо спросил ее:

– Как? Разве Бен не давал вам читать свою рукопись?

Узнал я об этом от Фазилия. Сама Надежда Яковлевна, разу-

меется, и виду не подала, что знает о существовании моего «Случая Мандельштама». Но, конечно, обиделась. И, в общем, была права.

Тут надо сказать, что ни эта короткая перестрелка вокруг теологии и телеологии, ни другие такие же мелкие эпизоды, укрепившие в моем сознании образ «вздорной старухи», ни в малейшей степени не поколебали моего пиетета по отношению к ней. Пиетет этот (глупое слово, но другого не подберу) основывался не столько даже на том, что она была «вдовствующая императрица» – вдова злодейски замученного гениального поэта, сколько на знании той жизни, которую она прожила. Если попытаться как-то суммировать это мое отношение к ней, оно, пожалуй, сведется к убеждению, что, прожив такую жизнь, она **имеет право** быть не только «вздорной», то есть капризной, раздраженной, обидно несправедливой, но и вообще – **какой угодно**. Какой ей заблагорассудится.

Это мое убеждение, быть может, сложилось – помимо всего прочего, еще и под влиянием коротенького рассказа, услышанного мною однажды от Любови Михайловны Эренбург – вдовы Ильи Григорьевича.

Любовь Михайловна и Надежда Яковлевна дружили чуть ли не с детства. Во всяком случае, с ранней юности.

– Я знала, – рассказывала Любовь Михайловна, – что Ося влюблен в Надю, что у них всё уже давно сговорено. Но Надя томилась в Киеве, а он болтался то в Москве, то в Питере, и делать решительный шаг не спешил.

И вот, страдая за подругу, Любовь Михайловна однажды не выдержала и сказала ему:

– Ося, по-моему, вам надо поехать в Киев за Надей и привезти ее сюда.

Осип Эмильевич послушался. Поехал, и привёз.

– А совсем недавно, – закончила свой рассказ Любовь Михайловна, – вспомнив про это, я сказала Наде: «Ты должна проклинать меня. Ведь это я обрекла тебя на эту твою ужасную, кошмарную жизнь!»

– И что она вам на это сказала? – спросил я.

– Она сказала: «За всю жизнь у меня не было ни одного дня, когда я пожалела бы об этом».

А теперь, после этого затянувшегося вступления, наконец – к тому нашему разговору об Эренбурге.

Начался он не с Эренбурга, а с Маяковского. Эренбург там возник совершенно неожиданно и, как мне сперва показалось, совершенно случайно.

Почему мы в тот раз заговорили о Маяковском, признать-ся, уже не помню. Помню только, как она отреагировала на мое, как мне казалось, бесспорное и даже вполне банальное утверждение, что Маяковский – фигура трагическая.

– Маяковский? Трагическая? – недоуменно и даже как-то пренебрежительно сказала она. – А в чем его трагедия? В том, что застрелился, что ли?

– Не в том, что застрелился, – ответил я, – а в том, **из-за че-**го застрелился.

И рассказал такую историю.

В начале 60-х в писательском Доме творчества – Малеевке – я познакомился и довольно близко сошелся с Иосифом Ильичом Юзовским.

Тогда ходила по рукам еще не опубликованная повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и мы оба – одновременно – ее прочли. На мой вопрос, какое впечатление произвела на него эта вещь, Юзовский сказал, что очень сильное. И вдруг добавил:

– Но ведь это нельзя!

– Что нельзя? – удивился я.

– Она против социализма, – объяснил он. – А это нельзя.

Сперва я даже не понял: как – нельзя? Почему нельзя? Нельзя, потому что – не пропустят, не напечатают? Потому что писать в таком духе – дело заведомо безнадежное?

Оказалось, однако, что Юзовский имел в виду совсем другое. Он искренне полагал, что писать вещи, направленные против социализма, нельзя по более важным, отнюдь не внешним причинам. Что тут должен действовать гораздо более мощный, сугубо внутренний запрет.

Поясняя эту свою мысль, он рассказал мне такую историю.

В 1927-м году, когда Маяковский опубликовал свою поэму «Хорошо!», он, Юзовский, жил в Ростове. Был он тогда моло-

дой (очень молодой) критик, но местная газета его статьи охотно печатала. Никакого культа Маяковского тогда еще не было и в помине, и без особых сложностей он опубликовал в той же ростовской газете о новой поэме Маяковского очень резкую статью. Статья была просто разгромная, даже издательская. Достаточно сказать, что называлась она – «Картонная поэма». Во время космополитической кампании, в которой Юзовский шел первым номером, главным злодеем, эту статью ему, разумеется, припомнили. Она стала едва ли не главным пунктом вменявшихся ему в вину преступлений: пигмей поднял руку на гиганта!

Гигант, однако, не считал для себя унижительным, приехав в Ростов, встретиться с осмелившимся поднять на него руку «пигмеем». Более того, он сам разыскал его, зазвал в какой-то шаман, что-то там такое заказал и сурово потребовал объяснений.

Юзовский хоть и был тогда очень молод и, естественно, глядел на Маяковского снизу вверх (не только метафорически, но и буквально: он и в самом деле был очень маленького роста), отречься от своей статьи не стал.

Сбивчиво, но очень взволнованно, убежденно он заговорил о том, какая страшная жизнь вокруг и как она непохожа на ту, какую изобразил Маяковский в своей поэме. Вчера, – говорил он, – стреляли в секретаря крайкома. В округе, по лесам бродят вооруженные банды. На улицах города валяются трупы. Люди пухнут от голодухи. А у вас? «Сыры не засижены... Цены снижены...» Какие сыры? Где вы их видели, эти сыры? «Землю попашет, попишет стихи...» Где это, интересно знать, вы увидели этих ваших опереточных крестьян?!

Маяковский слушал, не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:

– Значит, так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма... Ну, а если нет... Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь...

Надежда Яковлевна выслушала мой рассказ не без интереса, но ее отношения к Маяковскому и его трагедии он, похоже, не изменил.

– Понимаете, – попытался я пояснить свою мысль. – Он был игрок. И всё поставил на эту лошадь. А когда понял, что никакому социализму – во всяком случае, такому, о котором он мечтал, – у нас не светит...

– Это, пожалуй, верно, – согласилась она. – Но это еще не дает нам основания считать его трагической фигурой.

И тут, к величайшему моему изумлению, добавила:

– Вот кто действительно трагическая фигура, так это – Эренбург.

Громадная фигура Маяковского и гораздо более скромная Эренбурга были для меня настолько несопоставимы, что ее заявление меня просто ошеломило. Ошеломило настолько, что всё, что она говорила потом, продолжая и развивая свою мысль, осталось для меня – как в тумане.

Хорошо запомнилась мне только одна ее фраза.

– Эренбург, – сказала она, – наводил мосты. А это самое трудное.

Какие именно мосты наводил Эренбург и почему это самое трудное, я понять еще мог. А вот, почему она считает, что Эренбург – фигура трагическая, тогда так и не понял. Понял позже, когда, читая в очередной раз книгу ее воспоминаний (уже книгу, а не рукопись), прочел:

Беспомощный, как все, он всё же пытался что-то делать для людей... Толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе – хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал своё дело, а дело это трудное и неблагодарное.

Я тоже был на тех похоронах и, читая воспоминания Надежды Яковлевны, – задним числом – оценил точность ее наблюдения. Да, это была антифашистская толпа: точнее не скажешь.

Но в тот момент, когда я глядел на ту толпу, эта простая мысль мне в голову не пришла. По разным причинам. Но, быть может, еще и потому, что первое, что бросилось мне в глаза, когда я приблизился к той толпе, был мой друг Эмка с огромным венком, который он держал перед собой обеими ру-

ками. На траурной ленте, украшавшей венки, было начертано: «ОТ ЦК КПСС».

Я давно уже привык к мысли, что иные реалии нашей советской действительности могут затмить наивабсурднейший из всех театров абсурда. Но ничего более фантастического, чем фигура Манделя с этим венком, я в своей жизни не видел.

Да, это был истинный театр абсурда. И несмотря на всю неуместность такой реакции в такой момент, увидав Манделя с этим венком как попавшим к нему венком от ЦК КПСС, я рассмеялся.

Даже сейчас, вспоминая эту картину, я не могу удержаться от смеха.

Но сейчас она представилась мне не только комичной, и не только абсурдной, но в чем-то и символической.

И «диссидент» Мандель с перевернутым лицом, и вся антифашистская (по меткому слову Надежды Яковлевны) толпа людей, пришедших на его похороны, – всё это было Эренбургом заслужено.

Но и этот венок от ЦК КПСС, так нелепо выглядевший в этой толпе, да еще в руках у Манделя, тоже был тут удивительно уместен. Абсурдность этой ситуации как бы высветила на миг истинную роль Эренбурга, истинное его место в нашей жизни. (Вот так же надпись «Устрицы» на вагоне, в котором привезли мертвого Чехова, оказалась символической тем, кто пришел хоронить Антона Павловича.)

Да, «вздорная старуха» была права. Роль антифашиста в фашистской стране не могла не быть трагической.

Вернусь, однако, к живому Эренбургу. К тому ужасному моменту его жизни, когда Гроссман в лицо назвал его фашистским писакой. И к моему разговору с ним об Александре Львовиче Дымшице, про которого он сказал Анне Зегерс: «Ты что, мало фашистов видела в своей жизни?»

Допущение, что майор советской армии может быть фашистом, его, стало быть, не шокировало. Констатация этого факта, судя по его тону и выражению лица, представлялась ему даже вполне банальной. Но тут фашистом – «фашистским писакой» – назвали его самого!

Одно дело – назвать фашистом нерукопожатного подлеца Дымшица, игравшего в Германии роль советского Геббельса, и совсем другое – его, Эренбурга!

И назвал-то его так не кто-нибудь, а Гроссман, высоко ценимый им Василий Гроссман, вместе с которым он создавал свою антифашистскую «Черную книгу».

– Неужели он так прямо и сказал? – не веря, спросил я Липкина.

– Так и сказал, – подтвердил Семен Израилевич.

– И что же Эренбург? – спросил я. – Как он на это отреагировал?

– Плохо... Очень плохо, – сказал Семен Израилевич. – Он побледнел, у него задрожали губы... Казалось, он вот-вот расплачется...

Продолжения липкинского рассказа я не помню, а выдумывать не хочу. Помню только, что в этом его рассказе как-то так выходило, что Эренбург, в сущности, и не мог ничего ответить на ужасную фразу Гроссмана. Не мог, потому что понимал: Гроссман прав. Не настолько же был он наивен, чтобы этого не знать!

В самом деле, трудно представить, чтобы Эренбург – с его вечной скептической усмешкой на губах, Эренбург, которого называли «Ильей-пророком», – наконец, Эренбург, в молодости написавший «Хулио Хуренито», – чтобы этот Эренбург не сознавал, не понимал того, что уже так ясно было видно тогда Василию Семеновичу.

И тем не менее он этого не понимал.

И смертельно обиделся он тогда на Гроссмана, быть может, не столько даже за себя, сколько «за державу». Не то, что его назвали «фашистским писакой», было для него ужаснее всего в том яростном гроссмановском монологе, а то, что Сталина Гроссман посмел уподобить Гитлеру, а Советский Союз приравнять к фашистской Германии.

Многое, конечно, он понимал. Но к таким обобщениям был не готов. И совсем не потому, что был глупее – или, скажу мягче, – наивнее Гроссмана.

Причина этой его слепоты была другая.

В тот же вечер, когда я услышал от Эренбурга приведенную

выше его фразу о Дымщице, был у меня с ним еще один хорошо мне запомнившийся разговор.

Возник он в связи с той же злополучной моей статьей, из-за которой разразился скандал, завершившийся статьей Дымщица.

Статья эта, как я уже говорил, – на мою беду – печаталась в двух номерах: первая ее часть в одном номере, а окончание должно было появиться в следующем.

Но в следующем номере оно не появилось, потому что в промежутке между этими двумя номерами как раз и разразился скандал.

И прежде всего встал вопрос: что делать со второй частью?

Не напечатать ее было нельзя. То есть можно, конечно. У нас все можно. Но – нежелательно, поскольку в конце первой части было сказано: «Окончание в следующем номере».

В следующем номере окончание все-таки не появилось. Оно появилось через номер. А в промежутке мне крутили руки. Применяя, впрочем, политику то кнута, то пряника. То давая понять, что «будет хуже», то – давая на чувства: нельзя быть эгоистом, думать только о себе, надо спасти любимую газету: если «дядя Митя» рассерчает еще больше, разгонят не только весь наш отдел, но могут снять и главного: вы что же, хотите, чтобы газета опять попала в лапы Кочетова и его банды?

Все это происходило на специально созданной по этому случаю редколлегии.

Замечания членов редколлегии, как выразился один мой знакомый поэт, как артиллерийские снаряды, никогда не попадают в одну точку. Один требовал, чтобы я не упоминал Цветаеву. Другой – чтобы что-то смягчил, говоря о Вознесенском. Третий – чтобы, напротив, ужесточил мои претензии к Евтушенко. Четвертый, чтобы непременно упомянул Твардовского (хотя это было в той статье – ни к селу, ни к городу). А один из членов редколлегии – Леонтьев (Борис Леонтьевич, кажется: в отчестве не уверен, но в имени не сомневаюсь, потому что помню, что мы между собой называли его «Блеонтьев»), курировавший в газете самый политизированный, а потому самый гнусный – международный отдел, произнес примерно такую речь:

– Все, о чем мы здесь сейчас говорим, в сущности, не имеет никакого значения. Представьте себе, что в наш отдел поступила статья, автор которой придерживался бы взглядов Милокова. А мы просили бы его убрать все цитаты из Милокова. Что бы это изменило? Да ничего! Ведь концепция милоковская все равно бы осталась... Товарищ Сарнов (кивок в мою сторону) придерживается взглядов Эренбурга. Вся концепция его статьи – насквозь эренбурговская. И поэтому, какие бы купюры мы ни уговорили его сделать, суть дела от этого не изменится...

В общем, он клонил к тому, что окончания статьи печатать ни в коем случае нельзя.

В конце концов решили все-таки печатать, изрядно меня пощипав. Но рассказываю я все это не из-за себя, а из-за Эренбурга.

Слушая этот монолог «Блеонтьева», я подумал, что непременно надо будет при случае рассказать о нем Илье Григорьевичу: позабавить старика.

Вообще-то мне даже казалось, что сравнение с Милоковым должно ему польстить. Но Илья Григорьевич, когда я всё это ему изложил (в «тоне юмора», конечно), отреагировал на мой рассказ совершенно для меня неожиданно.

Сравнение с Милоковым не только не польстило ему, но даже и не позабавило: оно его оскорбило.

– Ну пусть только он мне попадетсЯ, – побелев от гнева, несколько раз повторил он. – Я ему руки не подам. Милоков, скажу, вам руки не подаст!

Не помню, дрожали ли у него при этом губы, но видно было, что сравнением с Милоковым он был оскорблен до глубины души. Быть может, даже не меньше, чем репликой Гроссмана, назвавшего его фашистским писакой.

Объяснение с Гроссманом – это в конце концов была интимная, домашняя ссора. Спор, так сказать, славян между собою. К тому же он, может быть, догадывался, что в гроссмановской озлобленности немалую роль сыграл французский коньяк – не в смысле количества выпитого, а в том смысле, что Гроссману с Липкиным подали простую водку, а его, главного гостя, потчевали по другому разряду.

А «Блеонтьев» был – лицо официальное, с которым он

встречался (о чем я даже и не подозревал) в разных официальных присутственных местах. И оскорбление он ему нанес в официальной обстановке – на заседании редколлегии «Литературной газеты», в присутствии главного редактора и разных других официальных лиц.

Всё это я понимал. И тем не менее эта его задетость, эта искренняя его обида на реплику «Блеонтьева» меня прямо-таки потрясла.

Кто он, в конце концов, такой – этот «Блеонтьев»? Такой же фашист, как Дымшиц. Может быть, даже хуже Дымшица.

По моим тогдашним представлениям эта – не первая и не последняя – стрела из стана врагов должна была вызвать у него что-то вроде насмешливого удовлетворения.

А тут я вдруг понял, почувствовал, что «Блеонтьев» вовсе не был для него врагом. И обиделся он на его реплику именно потому, что «Блеонтьев» – хорош там он или плох, фашист или не фашист – был для него свой. А вот Милоков, с которым «Блеонтьев» поставил его рядом, – вот он-то как раз и был из стана врагов.

Конечно, он знал цену всем этим «блеонтьевым» и «дымшицам». Но он был с ними в одном лагере, в одной команде. А Милоков – настоящую цену которому он тоже, наверно, знал, – был из другой команды, другого, враждебного лагеря. И обвинить его в единомыслии, в идейном родстве с Милоковым, значило обвинить его в предательстве.

Рассказывали (скорее всего, это легенда – одна из многих, связанных с его именем), что когда клеймили космополитов, Шолохов спросил у Эренбурга, какой родины он патриот.

И Эренбург будто бы ответил:

– Я патриот той родины, которую предал казак Власов.

Находчивый этот ответ, помню, мне нравился. И даже казался не только достойным, но и исчерпывающе правильным. (О сложной роли и драматической судьбе генерала Власова, который, кстати, вовсе не был казаком, я тогда не задумывался.)

Но разговор о Милокове у нас был не в 49-м, а в начале 60-х. Время было уже другое. И я был искренне изумлен, что для Эренбурга мир по-прежнему – как для Симонова в известных его стихах из цикла «Друзья и враги» – «неделим на черных, смуглых, желтых, а лишь на красных – нас, и белых их».

Милоков был белым. А «Блеонтьев» с Дымшицем, какие бы они там ни были, – красные.

Он искренне гордился тем, что «лучшие люди планеты», цвет интеллектуальной элиты всего человечества – Пикассо, Жолио-Кюри и другие именитые его коллеги по «борьбе за мир» – с нами, в нашем «лагере мира и демократии». И по старой советской (еще досоветской, большевистской) формуле – «кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть», – все иные-прочие (включая беднягу Милокова) были в стане врагов. Или – предателей.

Предателем в его глазах был не только генерал Власов (за что, по совести говоря, трудно его осуждать), но и Виктор Кравченко, знаменитый невозвращенец 40-х годов, издавший книгу «Я выбрал свободу», в которой чуть ли не впервые во весь голос была сказана правда о сталинских лагерях.

С 24 января по 22 марта 1949 года в Париже слушалось на весь мир прогремевшее «Дело Кравченко». Прокоммунистический еженедельник «Леттр Франсэз» обвинил Кравченко в клевете. Кравченко тотчас же привлек эту французскую газету к суду. Газета вызвала на процесс около сорока свидетелей, среди которых были люди весьма почтенные: тот же Жолио-Кюри, Хьюлетт Джонсон, Веркор, д'Астье де ля Вижери.

Со стороны Кравченко свидетелями выступили чудом уцелевшие и оказавшиеся на Западе узники сталинских лагерей.

Когда я читал стенограмму этого процесса (в далеко не полном виде она дошла до меня, конечно, лишь целую эпоху спустя), едва ли не самое сильное впечатление произвели на меня свидетельские показания Хьюлетта Джонсона (настоятеля Кентерберийского собора и, как и Жолио-Кюри, коллеги Эранбурга по движению сторонников мира).

Он рассказал, что был в Советском Союзе несколько раз. Два раза встречался со Сталиным, который произвел на него впечатление доброго и обаятельного человека. В одну из своих поездок по стране, когда он летел на самолете в какую-то советскую глубинку, он – сам, лично – обнаружил какую-то неполадку в моторе (по первому своему, светскому образованию

он был инженер) и сообщил об этом экипажу. Пришлось совершить вынужденную посадку.

Они сели в каком-то захолустном колхозе, где их приняли с чисто русским гостеприимством. Пока летчики с местными умельцами чинили самолет, колхозники пригласили иностранных гостей на импровизированный вечер самодеятельности, на котором колхозные девочки-пионерки прелестно танцевали и пели английские песни на английском языке. Все это, разумеется, никак не могло быть подстроено, поскольку это была совершенно не запланированная вынужденная посадка, а неисправность в моторе первым заметил он сам.

То, что наши умельцы (не те, что помогали ремонтировать самолет, а те, что придумали и реализовали всю эту грандиозную липу) сумели запудрить мозги и навесить лапшу на уши наивному настоятелю Кетерберийского собора, меня не удивило. И не такие простые задачи им приходилось решать.

Но Эренбург-то знал, что все, о чем рассказал в своей книге Виктор Кравченко, – правда.

Едва только забрезжили самые первые робкие лучи хрущевской оттепели, он – едва ли не первым! – заговорил об этом, за что ему тут же и вlepили хорошую плюху. (Нечего было забегать вперед, партия лучше знает, какую правду, в какой исторический момент и в какой дозировке надлежит открыть народу.)

А весной 1963 года, уже на закате той самой хрущевской оттепели, за тот же грех Эренбургу был нанесен удар такой мощи, от которого, как тогда казалось, ему уже не оправиться.

Это был какой-то очередной (а может быть, даже и внеочередной) пленум ЦК по идеологии. Доклад на нем делал Л.Ф. Ильичев, игравший при Хрущеве ту роль, которая при Сталине принадлежала Жданову. И весь этот длиннющий доклад – целиком, от начала и до конца – был посвящен Эренбургу.

У всех, кто тогда прочел – или хотя бы бегло проглядел – этот доклад, возникала – не могла не возникнуть! – полная уверенность, что на этот раз с Эренбургом наконец решили покончить.

На знаменитой выставке в Манеже, где Хрущев орал на молодых художников: «Пидарасы!», Эренбург, вдохновленный новыми «оттепельными» нравами, пытался спорить с Первым, защищая от него своего любимого Фалька.

Вероятно, в этом споре он слегка перешел границы дозволенного, и Хрущев обиделся. Холуи это почуяли и – то ли их спустили с цепи, то ли они сами обрадовались, что Илью можно кончать.

В общем, в том докладе Ильичев припомнил ему всё.

И «белогвардейские», контрреволюционные стихи 17-го года «Молитва о России». И «Курбова». И «Лазика Ройтшванца». Даже то, что он восхвалял Сталина. («Мы тоже это делали, но мы верили. А ты, блядь, оказывается не верил!») Ну и, наконец, мемуары, в которых он «извратил и оболгал» всю славную историю советского государства.

Я тогда все еще работал в «Литературной газете». Роль моя, правда, в это время там была уже весьма неопределенная. Можно даже сказать – странная.

Оттепель медленно умирала, начались заморозки, и из дела литературы мне пришлось уйти. (Делать там мне больше было нечего.) Но тогдашний главный редактор «Литгазеты» – Валерий Алексеевич Косолапов – расставаться со мною не хотел. И определил мне не совсем понятную должность «Спецкора при секретариате». Вообще-то должность эта имела вполне ясные очертания. В ней состоял, например, Лёня Лиходеев, роль которого заключалась в том, чтобы время от времени публиковать в газете какой-нибудь свой фельетон. Другие спецкоры выезжали в командировки по каким-нибудь острым читательским письмам, и написанные ими очерки или репортажи тоже, как говорится, «выходили на полосу».

Я же ни в какие командировки не ездил и никаких статей не писал, поскольку у них «выйти на полосу» в то время не было ни малейшего шанса.

Должность моя поэтому была чистой воды синекурой.

У меня был свой небольшой кабинет (теперь уже на четвертом этаже, а не на шестом, где располагался отдел литературы), для которого я – из чистого озорства – заказал такую табличку:

Б.М. САРНОВ
Приемные дни – вторник и пятница

Но и в эти дни я на работе тоже появлялся далеко не всегда, потому что делать там мне было решительно нечего.

Однажды, столкнувшись со мною в коридоре, Артур Сергеевич Тертерян (в то время уже зам. главного), с самым серьезным видом и лишь еле заметными искорками смеха в умных своих армянских глазах, попенял мне:

– Бенедикт Михайлович, вчера был вторник, и мы с Валерием Алексеевичем хотели записаться к вам на прием. Но вас – не было.

Мы посмеялись и разошлись.

В другой раз в газету заглянул уже довольно давно ушедший от нас в «Вопросы литературы» Лазарь. (Его, как мы тогда меж собой это называли, «схарчил» дядя Митя.) И мы стояли в том же коридоре втроем – с тем же Тертеряном. И Лазарь, кивнув в мою сторону, спросил:

– Долго вы еще будете держать этого бездельника?

С той же невозмутимой серьезностью, с какой он говорил о своем неосуществившемся желании записаться ко мне на прием, Артур Сергеевич ответил:

– Если перестанет выступать на летучках, можем поставить вопрос о персональном окладе.

На летучках я выступал каждую неделю и говорил там – обо всем и обо всех – всё, что думал. По принципу – «все равно в этом доме не бывать»: я ведь прекрасно понимал, что такое странное мое положение в газете не может длиться вечно, и рано или поздно (скорее рано, чем поздно) мне придется написать заявление об уходе.

Ну а когда грянул гром и молния ударила в Эренбурга, я сразу понял, что пробил и мой последний час.

Правда, одна очень славная женщина, бывшая тогда у нас парторгом, дала мне понять, что если я слегка покаюсь, все, может быть, еще и обойдется. Собственно, мне даже и каяться-то особенно не пришлось бы. Надо было только признать ошибочность «эренбургской концепции» развития советской литературы, в которой меня обвинял «Блеонтьев».

Ошибочность же эта заключалась в том, что я (подлаивая Эренбургу, как они считали) в числе самых выдающихся русских поэтов XX века – рядом с Маяковским и Есениным – неизменно ставил Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Гумилева, Волошина.

На доброжелательный намек славной женщины-парторга я гордо ответил:

– Это вы, члены партии, обязаны колебаться вместе с генеральной линией, а я могу себе позволить не делать этого.

В общем, судьба моя была решена.

И вот в это самое время новый наш главный – Александр Борисович Чаковский (он в это время уже сменил чем-то проштрафившегося Косолапова) решил объяснить коллективу, что, собственно, происходит.

Нас всех собрали в огромном редакторском кабинете – том самом, где каждую неделю я выступал на летучках, – и Александр Борисович стал излагать нам свое видение ситуации.

Надо отдать ему справедливость: особенно он Эренбурга не топтал. Порой даже казалось, что он говорит о нем сочувственно. Примерно так, как взрослый, умудренный жизнью человек – о наивном несмышленье-подростке. При этом он как-то особенно подчеркнуто обращался ко мне (я сидел в первом ряду), как если бы я был на этом собрании его, Эренбурга, личным представителем.

– Представьте, – говорил он, – на дворе 1937-й год. Эренбург сидит в Париже...

– В Мадриде, – громко сказал я из своего первого ряда.

– Ну в Мадриде, какая разница, – отмахнулся он.

Раздался смех: среди слушателей было немало людей, понимавших, что разница между сидением в 1937 году в Париже или в осажденном франкистами Мадриде была все-таки довольно существенная.

– В Париже или в Мадриде – это в данном случае совершенно не важно, – повторил Александр Борисович, строго оглядев присутствующих.

Смех увял.

– И вот приезжает Илья Григорьевич из Парижа... Ну хорошо, из Мадрида (поклон в мою сторону) на побывку в Москву.

И спрашивает: что слышно? Какие новости? И со всех сторон ему шепчут в уши: взяли такого-то... И такого-то... И такого-то... Только об этом и разговоров... И никто ведь не говорит ему, что в это время на Урале задули новую домну. А в Кронштадте со стапелей спустили новый мощный линкор. И поневоле создается у него такая абберрация. Вот такая ложная, искаженная картина тогдашней жизни нашего народа...

Пересказывая сейчас эту замечательную речь Александра Борисовича, я вспомнил название одной программной статьи иных, еще более поздних времен. Посвящена она была двум главным тогдашним возмутителям спокойствия – Солженицыну и Сахарову. А называлась так: «Продавшийся и простака».

Продавшимся был объявлен Солженицын, а Сахарову (на тот момент) уготована была роль простака.

Так вот, пользуясь этой более поздней терминологией, я могу сказать, что Эренбург в той речи Александра Борисовича Чаковского изображался не продавшимся, а – простаком. И слушая его замечательную речь, я мгновенно усек, что дела Эренбурга не так уж плохи. Что раньше или позже – его простят. И вернут в команду на ту же, давно ему назначенную уникальную роль. Потому что, хоть и было некогда сказано, что у нас незаменимых нет, – он, Эренбург, незаменим. Другого такого они не найдут.

Природа его незаменимости состояла, конечно, и в его огромных международных связях, и в его – действительно незаурядном – публицистическом даре, и в его славе «антифашиста №1». Но более всего, как ни дико это звучит, в его искренности. Да, он знал, что Виктор Кравченко в своей книге написал правду. А его друзья и соратники по борьбе за мир (Жолио-Кюри, Хьюлет Джонсон, Вюрмсер, Веркор) то ли лгали, то ли по недомыслию плели ерунду. Но при всем при том он совершенно искренне считал Кравченко предателем. Как-то там, в его душе, всё это уживалось.

Вопреки злому определению Солженицына, «фокусником» он не был.

Было это в один из наших приездов на казенной литгазетской машине к нему на дачу, в Новый Иерусалим. Было в ту пору, когда ездили мы к нему вдвоем, всегда в одном и том же составе: я и Лазарь. И вот сидим мы с Лазарем на террасе эренбургской дачи. Гостеприимный хозяин, как обычно, угощает нас французским коньяком. Я, как обычно, только пригубливаю (французский коньяк не шибко меня занимает), а Лазарь глядит на меня волком, потому что из-за того, что моя рюмка полна, ему тоже не подливают.

Не помню, зачем мы тогда приехали к Эренбургу и о чем говорили. Но то, что произошло в разгаре этой беседы, запомнилось мне хорошо.

Вдруг на террасе появился кто-то из домашних Ильи Григорьевича и тихо шепнул ему что-то на ухо. Он встал, извинился перед нами и вышел. За стеклами террасы я увидел группу каких-то странных людей: черноусых, низкорослых, худо одетых. Собственно, ничего такого уж особенно странного в них не было. Станным было их появление здесь, на этой даче. Как-то не сочетался весь их облик с Эренбургом, с его трубкой, с этой террасой, с французским коньяком. Сочетался разве что с цветочными грядками и клумбами, окружавшими террасу: я знал, что Эренбург был страстным цветоводом. «Может быть, садовники?» – мелькнула мысль. Нет, и на садовников они были не похожи.

Эренбург увел этих странных гостей куда-то в глубь дома.

Ждать нам его пришлось довольно долго. Во всяком случае, французского коньяка в бутылке за время его отсутствия сильно поубавилось. (Воспользовавшись тем, что мы остались одни, Лазарь не только успел попенять мне на мое нетоварищеское поведение, но и слегка наверстать упущенное.)

Наконец Илья Григорьевич вернулся, уселся на свое место и рассказал нам такую историю.

Странные люди, посетившие его, были – таты. Таты – это такая народность. Живут они на Кавказе. Этническое их происхождение туманно. Говорят на своем, татском языке, близком к персидскому.

У нас, на Кавказе, их очень мало: всего-навсего 20–25 тысяч. Исповедуют они по преимуществу ислам – в шиитском его варианте. Но есть среди них и христиане-монофиситы. И есть какая-то горстка иудеев, то есть исповедующих иудаизм.

Эти, с которыми он сейчас беседовал, как раз и были иудеями. А явились они к нему по такому поводу.

Там у них, в местной – районной, кажется, – газете появилась заметка, ответ на вопрос читателя: правда ли, что иудеи на свою еврейскую пасху употребляют с мацой кровь христианских младенцев. Ну, вы ведь сами газетчики, хорошо знаете, как фабрикуются такие читательские письма.

– Но ведь не может быть, – вытаращили мы глаза, – чтобы они в этой своей газете ответили на такой вопрос положительно?

Нет, так прямо ответить на такой вопрос они все-таки не посмели. Ответили уклончиво. Да, действительно был, дескать, в древние времена у евреев такой обычай. Но в нашей советской действительности это, конечно, маловероятно. Тем более, что все сознательные советские граждане давно уже распрощались со всеми своими религиозными предрассудками. В том числе, разумеется, и с этим.

Этот ответ вызвал, конечно, у верующих (да, наверно, и не только верующих) татов сильное негодование. Самые грамотные из них написали в газету возмущенное письмо: нет, дескать, не только при советской власти не употребляем кровь с мацой, но и раньше никогда не употребляли. Даже в самой далекой древности не было у нас такого зверского обычая.

Газета (не помню сейчас, какая: кажется дело было в Дербенте) этого письма, разумеется, не напечатала.

Тогда они потребовали, чтобы в газете появилось хотя бы совсем краткое – в несколько строк – опровержение: в таком-то ответе на такой-то вопрос читателя была, мол, допущена ошибка.

Но газета даже и такое короткое опровержение печатать отказалась. И тогда таты иудейского вероисповедания отправили в Москву вот эту свою депутацию, добиваться правды.

Первым делом депутаты, конечно, явились в ЦК. Добились приема у какого-то мелкого функционера: инструктора, наверно. Тот выслушал их и заверил, что всё будет в порядке, ошиб-

ка безусловно будет исправлена: они могут спокойно возвращаться домой, в полной уверенности, что поручение, данное им единове́рцами, они выполнили.

Будь эти таты людьми более цивилизованными, они, наверное, так бы и поступили. Но то ли их восточный менталитет сыграл тут свою роль, то ли их советский опыт помешал им поверить в сладкие обещания цекистского чиновника, а только этим его советом они пренебрегли.

Дальнейшие их действия, о которых рассказал нам Илья Григорьевич, напомнили мне повсдение индусов из романа Уилки Коллинза «Лунный камень». Они – как призраки – появлялись перед зданием ЦК, постоянным своим присутствием давая понять тому партийному функционеру, что не уедут из Москвы до тех пор, пока им не покажут их районную – или какую-нибудь другую, более высокого ранга – газету, в которой черным по белому будет напечатано, что никогда – ни теперь, ни до революции, ни в самые древние времена их единове́рцы не употребляли с мазой кровь христианских младенцев.

В конце концов взбешенный инструктор ЦК уже в более резких тонах порекомендовал им возвращаться в свой Дербент и даже чуть ли не пообещал отправить их домой с милицией, поскольку так долго жить в Москве без прописки не полагается.

И вот тогда-то они и пришли к Эренбургу.

Я не знаю, как и чем закончилась эта история. Помню только, что, завершив свой рассказ, Илья Григорьевич недовольно пробурчал что-то насчет того, какими только делами не приходится ему заниматься. Но при всем при том нам было совершенно ясно, что дело этих татов теперь в надежных руках. Раз уж он согласился взять эту их игру на себя (а он безусловно согласился), можно было не сомневаться, что так или иначе, но он своего добьется: древний грязный навет с маленького народа будет снят.

Несколько лет спустя мы с моим другом Вале́й Петрухиным, о котором я когда-нибудь, Бог даст, еще расскажу, и с нашими женами пересекли на Валином «Жигуленке» весь Кавказ. Побывали, конечно, и в Дагестане. В Махач-Кале нас встретил мой коллега – дагестанский (кумыкский) писатель Магомет-Султан Яхъяев, книгу которого я в свое время «пере-

пер на язык родных осин» – не с кумыкского, конечно, а с подстрочника (этот сюжет тоже заслуживает отдельного рассказа). На все время нашего пребывания в Дагестане Магомет-Султан стал нашим гидом и, надо сказать, очень помог нам хоть немного сориентироваться в этом пестром, многоцветном уголке вселенной. Хотя по-настоящему сориентироваться нам там, конечно, не удалось: это было просто физически невозможно.

Вот идем мы с Магометом-Султаном по какой-нибудь махакалинской улочке, и Магомет-Султан говорит:

– Обратите внимание, вот идет даргинец.

Мы палимся на даргинца, пытаюсь понять, чем он отличается от нашего Магомета-Султана. Спустя несколько шагов Магомет-Султан сталкивается и знакомит нас со своим приятелем, который оказывается аварцем. Потом появляется еще какой-то его знакомый – лезгин. И все они кажутся нам на одно лицо. А Магомету-Султану стоит кинуть лишь беглый взгляд на очередного прохожего, чтобы сразу определить, к какому из сорока народов, населяющих Дагестан, тот принадлежит.

Шли мы однажды вшестером – мы с Валей, наши жены и Магомет-Султан со своей женой Умой – и забрели в какой-то подвальчик, где продавались разнообразные меховые изделия. Наши жены решили купить себе по бараньей шапке – что-то вроде папахи.

Валина жена Оля выбрала себе папаху по вкусу, спросила сколько она стоит. Цена оказалась сходная, всего-навсего четвертак – 25 рублей.

Пришел черед моей жене выбирать себе папаху. Выбрала, приценилась. Хозяин подвальчика – черноусый смуглый дагестанец – то ли кумык, то ли лезгин, то ли аварец, то ли даргинец – поди пойми, кто он такой! – назвал цену: тридцать пять рублей.

– А почему та стоила двадцать пять рублей, – удивилась моя жена, – а эта тридцать пять?

– Потому что йета – йета, а йета – йета, – ответил дагестанец.

Ответ был не слишком вразумительный, но папаху жене понравилась, и я безропотно выложил за нес тридцать пять целковых, после чего мы все дружно выкатились из подвальчика на улицу.

– Я все-таки не поняла, – сказала моя жена. – А кто-нибудь из вас понял, почему моя шапка стоила на десять рублей дороже?

– Он же тебе объяснил, этот еврей, – сказал Магомет-Султан.

Тут уже пришел черед удивиться мне.

– Постой! – сказал я. – Какой еврей?

– Ну, этот, у которого мы были. Хозяин этой лавки.

Забыв о разнице цен на бараньи шапки, мы переключились на эту тему. Спрашивать, каким образом Магомет-Султан узнал в хозяйне меховой лавки еврея, было бесполезно: узнал – и все. Так же, как узнавал в даргинце даргинца, в аварце аварца, а в лезгине лезгина. Но о горских евреях они с Умой нам кое-что все-таки рассказали.

Я, правда, так и не понял: горские евреи и таты – это один народ или все-таки разные? Получалось, что скорее разные. Но что было совершенно несомненно для наших дагестанских друзей, так это то, что у меня с этими горскими евреями нет ничего общего, кроме названия. Нас – меня и моих соплеменников – Магомет-Султан и Ума называли «европейские евреи» и почитали совсем другой нацией.

Так ничего толком и не поняв, я решил: ладно, приеду в Москву – разберусь. Но приехав в Москву, начисто забыл про это свое намерение, как, впрочем, и про самое существование каких-то неведомых мне горских евреев.

Вспомнил только, что несколькими годами раньше я уже задался этим вопросом.

Было это году в 72-м или в 73-м. Мы провожали в аэропорту «Шереметьево» кого-то из наших друзей – то ли Воронелей, то ли Манделя. Проводы были тяжелые, мы не сомневались, что никогда в жизни больше не увидимся. Поэтому после того, как отъезжавшие прошли уже все паспортные и таможенные процедуры и скрылись с наших глаз, мы стояли и ждали, когда они появятся наверху, за стеклом, чтобы в последний раз махнуть им рукой. А там, за тем стеклом, стояла, тоже, видать, отъезжающая на свою историческую родину, большая семья вот этих самых горских евреев. Черноусые мужчины в кепках-аэродромах, женщины в платочках и дети – мал-мала меньше.

– Ну что? – глядя на них, сказал я жене, все эти годы упрямо уговаривавшей меня признать себя евреем и присоеди-

ниться к уезжающим в Израиль. – Ты в самом деле считаешь, что у меня с этими людьми есть что-то общее?

И даже моя упрямая жена вынуждена была признать, что да, действительно, найти что-нибудь общее у меня с этими людьми – трудноовато.

Я не думаю, конечно, чтобы Эренбург чувствовал, что у него есть что-то общее с теми татами, делом которых он считал себя обязанным заняться. Может быть даже он не счел для себя возможным отказаться от этого дела не как еврей, а как русский интеллигент. Как Короленко, защищавший от обвинений в ритуальном убийстве не только еврея Бейлиса, но и крестьян-вотяков.

Может, оно и так. Но ОНИ-ТО – эти самые таты – не случайно пришли именно к нему. Пришли именно как к «еврейскому печальнику», как назвал его в одном своем стихотворении Слуцкий. И он не отмахнулся от этой своей миссии, от этой своей роли. (В отличие от Б.Л. Пастернака, который не то что с татами, но и с «европейскими евреями» не хотел иметь ничего общего.)

Уже одно это начисто снимает с Эренбурга обвинение в беспринципности и сервиллизме. А между тем была по крайней мере еще одна область, где он ни разу не изменил себе.

5

Эренбург редко прибегал к классическим стихотворным формам. Но среди его последних стихотворений есть одно, написанное в чеканной форме классического сонета. Оно так и называется: «Сонет».

Это его поэтическое – в сущности, даже не поэтическое, а жизненное – кредо:

Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок –
Разодранное мясо Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.

Я всё забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века –
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны – в этот век ракет,
И непреложны – ими светит свет.
Всё нарушал. Искусства не нарушу.

Это правда. Не нарушил.

Во втором томе эренбургских мемуаров я прочел его рассказ о том, как в июле 41-го, в Переделкине, в чьей-то пустующей даче, под вой немецких самолетов и грохот зениток вдвоем с Борисом Лапиным, мужем Ирины, он читал русский перевод романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Наутро Лапин должен был уехать под Киев, откуда не вернулся. И они читали всю ночь напролет, передавая друг другу прочитанную страницу машинописи.

Прочел я об этом в самом начале 60-х, а незадолго до того сам читал этот роман Хемингуэя примерно таким же способом.

Это было незадолго до моего ухода из «Пионера» в «Литгазету», стало быть – в 59-м.

Среди множества никому не известных, как правило, начинающих авторов заглянул ко мне однажды симпатичный толстый увалень, лет, как мне показалось, двадцати. (На самом деле ему было больше: он сообщил, что только что окончил Институт востоковедения.) Держался он как профессионал. Рассказал, что только что закончил большой роман, который будет печататься в таком-то издательстве. (Кажется, даже показал верстку.) Делился новыми своими литературными планами. (Закончив один роман, он тут же засел за другой).

Пока он плел мне все это, я читал принесенный им коротенький рассказик и тоскливо думал: «Бог ты мой! Какой роман! Да ведь он двух слов связать не умеет. Как говорил в таких случаях мой друг Поженян – ни складу, ни ладу, поцелуй кошку в трамвае.

В общем, никаких литературных перспектив для этого милого парня я в том прочитанном мною его рассказе не углядел. (Забегая слегка вперед, должен признать, что ошибся: это был будущий Юлиан Семенов.)

Он легко и свободно болтал о своих литературных симпатиях и вкусах, сыпал именами знаменитых западных писателей. Мелькали там и Олдингтон, и Хаксли, и Скотт Фицджеральд, и Дос Пасос. Несколько раз промелькнуло, конечно, и имя папы-Хэма.

Слушал я все это вполуха. Но вдруг сделал стойку.

– Я только что прочел «По ком звонит колокол», – небрежно сказал он.

Я задрожал.

О романе этом я только слышал (от друзей, читавших его по-английски). О том, что уже существует русский его перевод, я, кажется, даже не подозревал. А он вроде сказал, что прочел его по-русски.

В общем, слово за слово, выяснилось, что у него есть машинопись русского перевода этого романа, и он – ну конечно, что за вопрос! – может дать мне его почитать. К сожалению, ненадолго. На неделю? О’кей, на неделю. Но это – максимальный срок.

К этому нашему разговору с интересом прислушивалась моя коллега Джана Манучарова, и когда будущий Юлиан Семенов нас покинул, мы с ней быстро договорились, что если всё это не окажется пустым трёпом, читать «По ком звонит колокол» мы с ней будем, конечно, вместе.

Будущий Юлиан Семенов трепачом не был. На другой же день он принес нам толстенную папку с хемингуэвским романом, и, оставшись после работы в редакции, мы с Джаной приступили к чтению. Точь-в-точь как Эренбург с Лапиным: передавая друг другу очередную прочитанную страницу.

Но очень скоро выяснилось, что так у нас дело не пойдет. Джану дома ждал муж и любимый пёс: скотч-терьер Томка. Меня – ревновавшая меня к Джане (как, впрочем, ко всей женской половине человечества) жена.

И тут остроумная Джана нашла гениальный выход. Давай, сказала она, скинемся и отдадим рукопись машинистке. За неделю она его нам перестукает. Нет? Ну, значит, надо найти двух машинисток.

Так мы и сделали. Машинистка (или машинистки) сделали четыре закладки, и сумма расходов, таким образом, была разложена на четверых: я приобщил к нашей авантюре моего дру-

га Володю Корнилова (он тоже тогда бредил Хемингуэем), четвертого компаньона нашла Джана.

Вот так вышло, что я стал счастливым обладателем собственной рукописи не напечатанного у нас знаменитого хемингуэевского романа.

Под впечатлением некоторого сходства этого сюжета с эренбургским я рассказал всю эту историю Илье Григорьевичу. Поводом, а также движущей силой моего рассказа был тот замечательный факт, что вот, оказывается, уже в сорок первом этот роман был переведен на язык наших родных осин, а читать его сегодня, даже тем, кому это посчастливилось, приходится, как и двадцать лет назад, тем же способом: передавая из рук в руки каждую прочитанную страничку.

Рассказывал я ему все это, и вдруг – осекся.

Заминка эта и даже некоторая неловкость, вдруг смявшая мою пылкую речь, была вызвана тем, что в памяти моей вдруг вспыхнула сцена из этого, недавно прочитанного мною хемингуэевского романа, одним из персонажей которой был не кто иной, как он сам, – тот, кому я сейчас изливаю свои восторги. И изображен он был в этой сцене – стараюсь выбрать самые мягкие выражения – в высшей степени нелицеприятно.

– Карков, – окликнул его человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка. – Слыхали приятную новость?

Карков подошел к нему, и он сказал:

– Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов.

– Это верно? – спросил Карков.

– Абсолютно верно, – сказал человек, у которого были мешки под глазами. – Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая.. Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом для «Известий». Для меня это была одна из величайших минут этой вой-

ны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут *la Pasionaria*.

— Запишите это, — сказал Карков. — Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите...

Его собеседник постоял еще несколько минут на месте, держа стакан водки в руках, весь поглощенный красотой того, что видели его глаза, под которыми набрякли такие тяжелые мешки; потом он вышел из комнаты и пошел к себе.

Сейчас, когда я переписывал эту коротенькую сценку из книги, изданной в 1982 году, мне показалось, что в том, рукописном варианте, который я читал в 1959-м, Эренбург (а в том, что это именно он, не может быть никаких сомнений) был изображен еще нелицеприятнее. Помнится, в том его описании упоминалась даже перхоть, которой были обсыпаны плечи его пиджака.

Но даже если это у меня явления так называемой ложной памяти, даже если этот портрет Эренбурга и не был слегка причесан и приглажен позднейшей редактурой, нельзя не признать, что и в этом печатном варианте выглядит Илья Григорьевич не самым лучшим образом. И дело, конечно, не в тяжелых мешках под глазами, и не в голосе его — таком, словно он хронически страдал несварением желудка. Даже и не в перхоти, если она там и была.

Гораздо обиднее тут то, что рассказанная им новость, по всей видимости, — полная лабуда. Во всяком случае, на фоне тех жестоких и страшных событий, которые читатель романа перед этим уже пережил вместе с его героями, она не может глядеться иначе как лабуда, способная ввести в заблуждение разве что читателей «Известий», для которых он напишет свою статью. А он, верящий в эту лабуду и вдохновляющийся ею, выглядит — и это в лучшем случае — прекраснодушным мудаком. Что, кстати сказать, подчеркивается иронической репликой Каркова (Кольцова): «Запишите это... Не тратьте на меня целые абзацы».

В общем, у меня были все основания предполагать, что Эренбург наверняка обиделся на Хемингуэя за этот явно карикатурный и даже издевательский его портрет. Не мог не обидеться! Да и то сказать: тут было на что обижаться.

Смяв свой восторженный монолог, я не сомневался, что увижу на его лице хотя бы мимолетный след этой давней обиды. Но ничего такого я на нем не увидел. А увидел только расстроганность и нежность, вызванную то ли воспоминанием о том, как они вдвоем с Лапиным читали под грохот зениток тот хемингуэевский роман, то ли еще какими-то, другими, может быть, еще более ранними воспоминаниями. И в голосе его, когда он произнес несколько слов о Хемингуэе (он называл его «Хемингвей», – может быть, даже «Гемингвей», – ударяя на первый слог и произнося английское «дабл-ю», как русское «в») слышалась только влюбленность.

Я, конечно, не рискну утверждать, что его художественные склонности, привязанности и вкусы оставались неизменными. Но неизменной оставалась его верность этим своим привязанностям. И привязанность к тем, к кому он был привязан, любовь к тем, кого любил, всегда была для него выше личных обид и меняющихся личных отношений. (Так было не только с Хемингуэем, но и с Цветаевой, и с Пастернаком, и с Гроссманом – со многими.)

Один из появившихся в печати откликов на вышедший в свет первый том мемуаров Эренбурга был написан моим коллегой, а в то время даже и приятелем Эмилем Кардиным.

Эмиль был критиком отнюдь не официозным. Напротив: «левым», как это тогда у нас называлось. Можно даже сказать – крайне левым: чуть ли не после каждого его выступления в печати обрушивалась на него суровая партийная выволочка. (Писал он обычно на темы скорее общественные, чем литературные: о разного рода исторических штампах и фальсификациях; о том, например, что гвардейцев-панфиловцев было двадцать восемь, а больше; о том, что никакого залпа «Авроры» в октябре 17-го года на самом деле не было: был не залп, а одиночный, да к тому же еще холостой выстрел.)

Отклик Кардина на первый том эренбургских мемуаров

был, разумеется, вполне хвалебным: учитывая политическую ориентацию Эмиля, он и не мог быть иным. Но по канонам советской критики в самом положительном и даже восторженном отзыве на рецензируемую книгу полагалось непременно отметить и ее недостатки. И Эмиль не нашел ничего лучшего, как упрекнуть Эренбурга за то, что он якобы преувеличил роль и значение в истории российской поэзии таких «поэтов-модернистов», как Осип Мандельштам и Максимилиан Волошин.

Встретив как-то Эмиля на улице вскоре после появления этой статьи, я его спросил, не сошел ли он с ума. На что он отреагировал такой раздраженной фразой:

– Ну не люблю я их. Не люблю! Понимаешь? Не обязан же я любить всех ваших кумиров!

Раздражение его я истолковал однозначно: наверняка я был не первым и далеко не единственным, выразившим ему свое удивление и неодобрение по этому поводу. О том же говорило и невольно вырвавшееся у него словечко «ваших» вместо «твоих». (Мы с Эмилем, разумеется, были на ты.)

И случилось так, что чуть ли не в тот же день посетил я Илью Григорьевича. И чуть ли не на пороге он встретил меня вопросом:

– Скажите: кто такой Кардин?

Ага, подумал я, значит, до него уже дошло. И торопливо стал защищать – ну, не защищать, но во всяком случае, по мере сил оправдывать Эмиля.

Смысл моего невнятного и сбивчивого монолога сводился к тому, что Эмиль сделал это не по злему умыслу, а по глупости.

– Но вы ведь читали эту статью? – раздраженно прервал И.Г. мои разглагольствования. – Он там называет Мандельштама и Волошина модернистами. А вы ведь знаете, что У НИХ это псевдоним. «Модернист» – это у них значит «реабилитированный».

– Да нет, Илья Григорьевич, – еще горячее вступился я за Кардина. – Поверьте, в данном случае это совсем не так. И ОНИ со своими псевдонимами тут совершенно ни при чем. Кардин к НИМ не имеет никакого отношения. Это НАШ человек. Уверяю вас! А модернистами он их назвал просто, ну... по невежеству...

Я говорил еще довольно долго. Но смягчить Эренбурга мне не удалось.

А когда я исчерпал все свои аргументы, он, пожевав по обыкновению губами, сказал:

– Нет, все-таки вы не убедили меня, что этот ваш Келдин...

Это у него была такая манера: если человек, о котором шла речь, был ему почему-либо неприятен, он нарочно искажал его фамилию: так он несколько раз, поминая в разговорах со мной В.А. Косолапова, назвал его Косолапиным.

– ...не убедили меня, что этот ваш Келдин человек добропорядочный... Порядочный человек не стал бы кидать камень в убитого, замученного поэта, даже если этот поэт ему и не нравится. А человеку, которому не нравится Мандельштам...

До этого он говорил спокойно, вроде как даже благодушно. Но тут голос его дрогнул, и закончил он вдруг неожиданно жестко и даже зло:

– Человеку, который не понимает, кто такой Мандельштам, вообще нечего делать в литературе!

И тут я снова увидел перед собой того Эренбурга, который бросил в зал, в лица не к месту засмеявшихся студентов Литинститута:

– Вы смеетесь? Значит, вы не писатели!..

Я уже говорил, что когда я делал самые первые свои шаги в литературе, кругом была пустыня, в которой, как одинокий зуб в выбитой челюсти, торчал один Эренбург. И всему, что я тогда понял и усвоил (усвоил на всю жизнь), научил меня он.

Главным из этих усвоенных мною его уроков, было его отношение к искусству.

Когда на той редколлегии, где мне крутили руки, уговаривая «для пользы дела» изувечить мою «крамольную» статью, и «Блеонтъев» сказал, что свою концепцию развития советской поэзии я заимствовал у Эренбурга, я подумал: «Вот болван!»

Это и в самом деле была глупость.

Ведь никакой концепции развития советской поэзии – ни заимствованной у Эренбурга, ни своей собственной – у меня тогда не было.

Все было очень просто.

Книги (романы, повести, стихи, поэмы), которые мне нравились, которые я любил, ОНИ называли ущербными, упадочными, идейно порочными. А от книг (романов, повестей, стихов, поэм), которые У НИХ считались высшими художественными достижениями, меня тошнило.

Какая же это концепция?

Но в высшем смысле «Блеонтьев» был прав.

Ведь это правда, что никто иной, как Эренбург сформировал мое понимание самой природы художественного творчества. И сделал он это в тот самый день, когда рассказал нам, студентам, про Бальзака, который чуть не умер, описывая смерть папаши Горио. Возвращаясь сейчас мысленно в то время, в тот наш небольшой актовый зал, я вдруг вспомнил, как был тогда рад и горд, что не засмеялся вместе со всеми.

Но главным для меня в том эренбургском рассказе стало даже не то, как близко к сердцу принял писатель смерть своего героя.

Больше всего поразило меня тогда то, что эта смерть никогда прежде не существовавшего, им самим выдуманного героя для него, его творца, его создателя оказалась – это прямо вытекало из того эренбургского рассказа – **полной неожиданностью**.

Это отмеченное Эренбургом свойство истинного художника так навсегда для меня и осталось главным признаком, главной приметой подлинного «творчества и чудотворства».

Тут, правда, немалую роль сыграл другой мой учитель.

БЕДНЫЙ ЛЁН

Лён, если бы он имел голос, кричал при обработке. Его дергают из земли, взяв за голову. С корнем. Сеют его густо, чтобы угнетал себя и рос чахлым и не ветвистым. Лён нуждается в угнетении. Его дергают. Стелят на полях (в одних местах) или мочат в ямах и речках. Речки, в которых моют лён, – проклятые – в них нет уже рыбы. Потом лён мнут и треплют...

Бедный лён.

Виктор Шкловский

1

Виктор Борисович Шкловский и был этим «другим» (на самом деле главным) моим учителем.

О том, как и почему я выбрал его себе в учителя (он, может быть, об этом и не подозревал), я еще расскажу. А начну – с другого, более позднего воспоминания.

Шли мы однажды (было это, наверно, в середине 60-х) втроем – я с женой и наш друг Аркадий Белинков – по нашей улице и столкнулись – прямо носом к носу – с Серафимой Густавовной, женой Виктора Борисовича Шкловского.

Аркадий со Шкловскими находился тогда в состоянии войны. Он в то время писал (кажется, даже уже заканчивал) свою книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». В книге этой крепко доставалось и Виктору Борисовичу, который как раз в это время составил сборник Олеси «Ни дня без строчки», предупредив его своим восторженным предисловием.

Впрочем, дело было не только в этом сборнике.

Аркадий считал, что Виктор Борисович являет собой не менее яркий пример «сдачи и гибели советского интеллигента», чем Юрий Карлович. Но о книге «Ни дня без строчки» он говорил тогда с особенной яростью. А роль Шкловского в создании и прославлении этой книги, которую сам он ни в грош не ставил, считал особенно постыдной еще и потому, что Шкловский, по глубокому его убеждению, занялся ею по соображениям отнюдь не литературным, а сугубо семейным. Серафима Густавовна, носившая фамилию своего второго мужа – Нарбута, в первом браке была замужем за Олешей. А потом женой Юрия Карловича стала ее сестра Ольга. В общем, Серафима Густавовна надавила на слабохарактерного Виктора Борисовича, и тот поддался, принял участие в этом, как говорил Аркадий, семейном подряде.

К Виктору Борисовичу Аркадий – по старой памяти – еще питал какие-то нежные чувства, хотя и осложненные раздраженным пафосом разоблачительства. Но Серафиму Густавовну он просто ненавидел, искренне считая ее злостное влияние хоть и не главной, но далеко не последней причиной «сдачи и гибели» бывшего своего кумира и учителя.

О наших (моей и жены) отношениях с Серафимой Густавовной я когда-нибудь еще расскажу: они тоже не были простыми. Но у нас дипломатические отношения прерваны не были. Немудрено поэтому, что, наткнувшись на нее, идучи втроем с Аркадием, мы испытали некоторое замешательство.

Не сговариваясь, мы быстро предприняли такой маневр.

Вежливо раскланявшись с Серафимой Густавовной, я быстро взял Аркадия под руку и слегка его попридержал, в то время как жена, заслонив нас с Аркадием грудью, затеяла с нею какой-то оживленный разговор.

О чем они там говорили, я не знаю, но внешне все это – пока! – выглядело вполне прилично.

Жена с Серафимой Густавовной, весело о чем-то щебеча, шли перед нами. А мы с Аркадием – рука об руку – плелись сзади. При этом я изо всех сил старался идти как можно медленнее, чтобы сохранять между этими двумя нашими парами некоторую дистанцию: хорошо зная Аркадия, я опасался (и не

без оснований), что даже минимальное сокращение этой дистанции приведет к неминуемому скандалу.

Итак, я изо всех сил замедлял наши шаги. И Аркадий мне подчинялся.

Но не такой он был человек, чтобы не воспользоваться блестящими возможностями, которые сулила ему эта неожиданная встреча.

– Скажите, дорогой Бен! – замедлив шаги, он повысил голос. – Не приходило ли вам в голову сравнить первое издание книги Шкловского «Заметки о прозе русских классиков», которое еще не было посвящено Симке Нарбут, со вторым изданием той же книги, которое Виктор Борисович уже посвятил Симке Нарбут?

Вопрос этот был задан так громко и так отчетливо, что Се-рафима Густавовна, идущая перед нами рука об руку с моей женой, не могла его не слышать.

Я готов был провалиться сквозь землю.

Аркадий между тем требовательно ждал моего ответа.

Я пробормотал что-то в том духе, что нет, сравнивать эти два издания под этим углом зрения мне в голову не пришло.

– Напрасно! – так же громко продолжал Аркадий. – Если бы вы проделали более или менее тщательный сравнительный анализ этих двух изданий, вы бы увидели, что второе издание, которое Виктор Борисович посвятил Симке Нарбут, просто разительно отличается от первого, которое он еще не посвятил Симке Нарбут. И отличается отнюдь не в лучшую сторону...

В полном смятении я понес какую-то чушь, вроде того, что не заметил не только разницы между двумя изданиями этой книги, но не слишком хорошо помню и саму книгу. Не уверен даже, что я ее читал.

А между тем книгу эту я не только читал, но и любил. И даже писал о ней.

Первое ее издание вышло в 1953 году. Второе – в 1955-м. А моя статья о ней появилась в журнале в 1958-м. (В январском номере журнала «Вопросы литературы».)

Вообще-то статья была не о ней, не об этой книге. Во всяком случае, не только о ней.

Называлась она «Что такое сюжет?» и напечатана была под рубрикой «Теория литературы».

Книге Шкловского была посвящена лишь треть, а может быть, даже и четверть моей статьи. И смысл ее был в том, что именно Шкловский, только он один предложил истинную, единственно верную теорию сюжета.

Сейчас – задним числом – я даже не понимаю, как это мне удалось.

Первое издание книги Шкловского, как я уже сказал, вышло в свет в 1953 году. И встречено оно было гробовым молчанием. (За пять лет появилась только одна, довольно кислая – даже не просто кислая, а по существу разоблачительная – рецензия Евгении Книпович.)

По молодости и крайней моей тогдашней неосведомленности мне это обстоятельство представлялось всего лишь обидной несправедливостью. Замечательная книга Шкловского, думал я, осталась незамеченной просто потому, что никто ее не понял. А вот я понял и сейчас открою всем на нее глаза.

Я искренне полагал, что раз уж книга Шкловского вышла в свет, да еще двумя изданиями, значит этот старый греховодник (в 49-м его объявляли отцом и учителем всех космополитов) уже прощен. Если не реабилитирован, то во всяком случае амнистирован.

Позже, когда я сблизился (не смею сказать – подружился) с Виктором Борисовичем, он рассказал мне, что рукопись этой его книги Лесючевский, возглавлявший тогда издательство «Советский писатель», посылал на рецензирование **шестьдесят два раза!**

По существовавшим тогда правилам, чтобы принять книгу к изданию – включить ее, как это там у них называлось, в план предподготовки, – необходимы были две положительные (внутренние) рецензии.

Отправив рукопись на рецензирование двум самым злобным из своих церберов, Лесючевский, вопреки ожиданиям, получил от них положительные отзывы. Тогда он послал ее на отзыв двум другим рецензентам, славящимся еще большей злобностью и кондовой ортодоксальностью. Но и те тоже написали, что книгу можно печатать. То же произошло со следу-

ющей, и следующей, и следующей парой, – со всеми следующими парами. В конце концов рецензий набралось, как я уже сказал, шестьдесят две, и все они, в общем, были положительные.

Но Лесючевский не сдался, и хоть и поклялся Виктору Борисовичу, что шестьдесят вторая рецензия будет последней, отправил все-таки его рукопись еще одному, шестьдесят третьему рецензенту.

Этот шестьдесят третий позвонил злосчастному автору и сообщил, что вот, мол, получил только что рукопись вашей книги. Не волнуйтесь, все будет в порядке, отзыв напишу самый благожелательный.

И тут Виктор Борисович проделал такой номер.

Позвонил Лесючевскому и говорит:

– Николай Васильевич! До меня дошел слух, что вы снова послали мою рукопись на рецензию. Ну, не важно кто сказал... Один человек... А я ему говорю: «Не может этого быть!.. Николай Васильевич дал мне слово, что больше посылать ее на рецензию никому не будет. Не могу себе представить, чтобы он оказался таким мерзавцем, каким вы его изображаете!»

Лесючевский в ответ залопотал, что да, да, конечно, это ошибка. И даже не ошибка, а возмутительная клевета. Он обещал, что шестьдесят вторая рецензия будет последней, и это свое обещание выполнит.

Деваться после этого разговора ему уже было некуда, и книга Виктора Борисовича была наконец включена в план редподготовки. Ну а дальше дело шло – нельзя сказать, чтобы как по маслу, но все-таки уже без особых мытарств. Не иначе как Лесючевский заручился соизволением какого-то еще более высокого начальства выпустить эту книгу в свет. (Сам все-таки вряд ли бы решился.)

Кто такой Лесючевский, в то время было уже хорошо известно. О его связи с «органами», о которой раньше знали очень немногие и если и говорили о ней, то шепотом, теперь заговорили вслух, широко и даже публично. На волне эйфории, вызванной XX съездом, в издательстве, которым он руководил, некоторые горячие головы попытались даже устроить ему персональное дело и исключить из партии за то, что в 37-м по его доносам были арестованы Николай Заблоцкий, Борис

Корнилов и Павел Васильев. (Заболоцкий чудом уцелел, а Корнилов и Васильев были расстреляны.)

Из затеи этой, правда, ничего не вышло. На партийном собрании, где разбиралось это персональное дело, Лесючевский сказал, что никакие это были не доносы, а официальные рецензии. Инициатива их написания исходила не от него, а от «органов». К нему обратились оттуда как к эксперту, и он честно написал всё, что думал, в соответствии с представлениями и партийными установками того времени.

– Прочитайте, – сказал он, – что писали тогда об этих поэтах в открытой партийной печати, сравните это с моими рецензиями, написанными по заказу Лубянки, и вы увидите, что мои политические формулировки были куда более сдержанными и мягкими, чем те, которые печатала, скажем, «Правда».

Так оно, наверное, и было.

Сути дела это, конечно, не меняло. Но, как бы то ни было, Лесючевский, слегка покачнувшись, на своем посту не только удержался, но даже еще более укрепился. Связь с «органами» в конце концов пошла ему даже на пользу: зная про эту его, конечно же, не прекратившуюся связь, к его мнениям теперь прислушивались с особым трепетом.

Некоторые скептики, правда, считали, что чин его ТАМ не больно высок.

Об этом, помню, мне говорил Илья Львович Фейнберг, известный наш пушкинист, с которым я познакомился в переделкинском Доме творчества.

Нас с ним как-то сразу потянуло друг к другу. Илья Львович любил поговорить, а во мне он нашел не только ретивого собеседника, но и благодарного слушателя.

Во время одной такой нашей длительной прогулки по переделкинским аллеям он вдруг, попросив прощения, прервал свой очередной, как всегда интереснейший, рассказ и сказал, что вынужден ненадолго отлучиться. А вернувшись, произнес такую хорошо запомнившуюся мне фразу:

– Хочу подчеркнуть, что отлучка моя свидетельствует не столько о слабости моего мочевого пузыря, сколько о непрерывности нашего общения.

Общение наше и впрямь было непрерывным, и в ходе этого

самого непрерывного общения Илья Львович однажды и сказал мне, что чин у Лесючевского ТАМ, по его мнению, не так велик, как это принято думать:

– Майор... Ну, разве что подполковник... – сказал он. – То ли дело Евгения Федоровна! Вот она – наверняка генерал. Однажды я заглянул к нему в кабинет и увидел, как он стоял перед ней по струнке.

Евгения Федоровна, которую Илья Львович так уверенно произвел в генералы, – это была Книпович.

Мы довольно часто сталкивались с ней на тех же переделькинских дорожках. Илья Львович при этом чопорно с ней раскланивался. Она в ответ холодно кивала. Я тоже делал какое-то вежливое телодвижение в ее сторону и, не останавливаясь, мы проходили мимо.

В моих глазах это была самая что ни на есть обыкновенная партийная сука – из тех ортодоксальных советских критикесс, про которых мы пели на наших литгазетских капустниках. В той разухабистой песенке (сочинил ее, конечно, Зяма Паперный) поминались три сестры. Первая была – «Зойка Кедрина», позже прославившаяся в роли общественного обвинителя на процессе Синявского и Даниэля. О ней в песне говорилось, что она «этой муки стерпеть не могла» и –

В услужение, в заведение
На бульвар в Литгазету пошла.

Вторая по фамилии не называлась, упоминалось только ее отчество:

А еще сестра – Казимировна
Всем известна ее красота
Только ночь придет, на панель идет
И прохожему шепчет: «да-да».

Тут имелась в виду Тамара Казимировна Трифонова. Женским шармом она действительно отмечена не была, но в человеческом смысле была дама вполне достойная и в компанию этих трех партийных сук попала скорее случайно.

Куплет, относящийся к третьей сестре, почему-то отпечатался в моей памяти гораздо отчетливее, чем предыдущие:

А еще сестра – Берта Брайнина,
Федин Костинька фрайер у ней.
Так заведено, что про Федина
Ей писать для скончания дней.

Вот одной из таких «сестер» представлялась мне и Евгения Федоровна Книпович. Даже внешне она – так мне казалось – не больно отличается от некрасивой, сухопарой, долговязой «Казимировны».

Каково же было мое изумление, когда кто-то мне шепнул, что Евгения Федоровна – та самая Е.Ф. Книпович, имя которой часто встречается в дневниках, записных книжках и письмах Блока.

Вот – только одна из этих его записей (1 февраля 1918 г.):

Вчера (31 января). Евгения Федоровна. Черный агат. Шея. Духи... Тихо слушать. Стриндберг, Ибсен, Григорьев.
Женщина, может быть, тоже может пройти фаустовский путь. – Честность к жизни.

Итог «фаустовского пути», который прошла Евгения Федоровна Книпович, был подведен эпиграммой, сочиненной и повторявшейся в то самое время, когда мы с Ильей Львовичем встречали ее на переделкинских аллеях:

О, как судьба твоя жестока!
Какой восход, какой закат...
В начале жизни – губы Блока,
В конце – анисимовский зад.

Иван Иванович Анисимов в то время был директором Института мировой литературы, где подвизалась Евгения Федоровна. И намек на то, что она лизоблюдствовала перед этим своим непосредственным начальством, нимало меня не удивил.

Но вот оказывается, что ко всему этому она была еще и ге-

нералом, перед которым вытягивался в струнку такой заслуженный человек, как Лесючевский. (А может быть – кто знает! – и тот же Иван Иванович Анисимов тоже: поди пойми, какая там у них тайная субординация и кто к чьему заду прикладывается губами.)

На фигуре Евгении Федоровны я остановился так подробно, потому что именно она была автором той единственной – кисло-сладкой – рецензии на книгу Шкловского «Заметки о прозе русских классиков», появившейся за пять лет, прошедших со времени выхода в свет ее первого издания.

Суть этой рецензии была в том, что книга Шкловского была бы еще более или менее приемлема, если бы являла собой простое собрание заметок и наблюдений автора, иногда интересных, а порой даже и верных. «Но, – говорилось там, – на живое и многоцветное собрание заметок в книге, как железная сеть, брошена некая общая «теория сюжета».

Слова «теория сюжета» были даже взяты автором рецензии в кавычки, чтобы лишний раз подчеркнуть, что теория эта – не настоящая, мнимая. Так сказать, псевдотеория. Со Шкловским, – утверждала Евгения Федоровна, – еще можно соглашаться в частных определениях сюжета того или иного произведения. Но с его общим пониманием сюжета согласиться никак нельзя:

Общее положение, которое годится, скажем, для Гоголя, но никак не годится для Герцена, которое объясняет образ Пугачева, но никак не объясняет образ капитана Миронова, теряет свой «генеральный» характер.

Так, во вступлении к книге автор убедительно полемизирует с «теорией прототипов», показывая, например, всю несостоятельность претензий Т. Кузьминской быть прототипом Наташи Ростовой... Но как быть, например, с «Прологом» Чернышевского?..

Нет смысла искать прототипов героев «Хождения по мукам» или «Тихого Дона», но разве хуже стали «Чапаев» или «Как закалялась сталь» от того, что прототипы их главных героев известны?

(Е. Книпович. Книга о русской прозе. «Литературная газета», 30 января 1954 года)

Знал бы я тогда, что Евгения Федоровна Книпович – **генерал**, или даже, не подозревая о ее генеральском чине, владел бы в полной мере той **знаковой системой**, какую являла собой тогдашняя советская печать, я бы, конечно, сообразил, что все эти рассуждения – не более, чем **сигнал**.

Это была своего рода шифровка, указание сверху, означающее, что Шкловский прощен лишь настолько, чтобы разрешить ему выпустить в свет книгу своих мелких заметок и наблюдений, иногда верных, иногда спорных, но, в общем, более или менее допустимых. Но в ареопаг **теоретиков** – зубров и бизонов советского литературоведения – он допущен быть не может.

Ссылка на «Пролог» Чернышевского, «Чапаева» Фурманова и «Как закалялась сталь» Николая Островского совсем уже прямо давала понять (конечно, для тех, кто понимал этот код, этот шифр, эту знаковую систему), что Шкловский – **не наш**.

Все это было мне тогда невдомек, и я – по простоте душевной – решил, что неведомая мне Е. Книпович просто-напросто не поняла всю глубину и универсальность предложенной Виктором Борисовичем концепции сюжета. И надобно ей (а также и всем другим, кто не понял) это разъяснить. Чем я – со всем пылом своей влюбленности в Шкловского и в его теорию – и занялся.

Статья моя – как ни удивительно – была напечатана даже без особых потерь. Но самым удивительным тут было не столько даже то, что мне позволили водрузить монумент Виктора Борисовича на совсем не подобающий ему по официальной табели о рангах пьедестал, сколько то, что мне разрешили при этом возразить – и довольно решительно – генералу.

Отчасти это, конечно, было связано с тем, что между 1954-м годом, когда в «Литгазете» была напечатана рецензия Е. Книпович и 58-м, когда в «Вопросах литературы» появилась моя статья, был год 1956-й. XX съезд слегка поколебал устои, и уже не ко всем шифрованным сигналам сверху прислушивались с прежним трепетом.

Но главная причина этой моей удачи заключалась в том, что главным редактором «Вопросов литературы» в то время был Александр Григорьевич Дементьев.

На этой своей должности он не задержался: спустя год работал уже в «Новом мире» – первым замом у Твардовского. Не знаю, как это у них там считалось – понижением или повышением. Скорее, все-таки повышением. Во всяком случае, эта новая его должность для тех, кто его туда назначил, была гораздо более важной, чем предыдущая: при Твардовском он был не просто замом, а – комиссаром.

По литературной тогдашней табели о рангах Твардовский был маршал. Дементьев – еле-еле полковник. Да и по партийной иерархии Твардовский был несопоставимо выше своего зама: в то время, кажется, уже кандидат в члены ЦК.

Но всё это ровным счетом ничего не значило. Он был «Чапаевым», а Дементьева к нему назначили «Фурмановым». И «Фурманов», в соответствии с этим своим назначением, должен был держать неуправляемого «Чапаева» в ежовых партийных рукавицах, направлять, а порой и поправлять его. И даже воспитывать.

План был хорош, многократно проверен и испытан – не только в тандеме Чапаев-Фурманов, но и во множестве других таких же коллизий. Но на этот раз он с треском провалился. В случае с Твардовским и Дементьевым вышло нечто похожее на то, что произошло с еврейским мальчиком из анекдота, которого, чтобы с раннего детства отучить от еврейского акцента, отдали на воспитание к сельскому священнику. Приехавших за ним год спустя родственников батюшка встретил фразой, произнесенной нараспев, по-бердичевски: «Ви уже за Яше-ей?»

Проще говоря, не Дементьев перевоспитал Твардовского, а Твардовский Дементьева.

Конечно, огромную роль тут сыграло мощное обаяние Александра Трифоновича, влияние его ума, таланта, веры в значение того дела, которое они вместе делали.

Но и до того как Александр Григорьевич попал под влияние Твардовского, он тоже был не прост. В чем я как раз и убедился, когда при его попустительстве – и даже поддержке – печатал в «Вопросах литературы» ту свою статью.

Редактировал он меня сам.

Уже в этом заключалась некоторая странность. Главный ре-

дактор этим обычно не занимается. Одобрив принятую статью в целом, выскажет несколько руководящих замечаний, а собственно редактурой занимается тот рядовой сотрудник журнала, которому – по должности – этим заниматься надлежит.

В иных случаях, конечно, бывало иначе. Вот, например, Эренбургу, когда в «Новом мире» печатались его мемуары, конкретные редакторские замечания высказывал сам Твардовский. А когда к нему приехала однажды заведовавшая редакцией Наталья Бианки с просьбой не задерживать номер и пойти на какие-то мелкие цензурные уступки, Илья Григорьевич недовольно пробурчал: «В следующий раз они мне, наверно, курьера пришлют!» Но ведь то был Эренбург! А тут – молодой, никому не известный автор – и вдруг его редактирует сам главный редактор...

Чтобы объяснить, чем было вызвано это особое внимание Александра Григорьевича к моей персоне, мне придется опять отклониться от прямой линии повествования. Вернее, не отклониться, а вернуться назад, в год 1953-й.

Напечатав в панферовском «Октябре» первую свою большую статью и собрав с нее, как я уже рассказывал, довольно обильный урожай (поездка в Крым, рецензия Благого в «Литературной газете»), я попытался развить свой успех. Договорившись с заведующей редакцией критики и литературоведения, которой высшее начальство дало указание продолжать со мной работу (то есть воспитывать меня и растить, как молодого, подающего надежды критика), я сочинил большую статью о современной тогдашней поэзии.

Статья называлась – «Сердце с правдой вдвоем». Название это мне очень нравилось. Во-первых, оно было «хорошего происхождения»: из любимого моего Маяковского. Но главное было даже не это. Оно, как мне тогда казалось, с исчерпывающей прямоотой и точностью выражало то, что я этой своей статьей хотел сказать. А хотел я сказать, что стихи, идущие не от сердца, неизбежно превращаются в набор пустых, трескучих фраз. Настоящая поэзия немыслима без этих двух, тесно между собой связанных, непосредственно друг от друга зависящих свойств: искренности и правды.

Статья моя состояла из трех глав. В первой рассматрива-

лась та самая «долматусовская ошань», о которой я уже упоминал в связи с более поздней моей статьей – «Если забыть о часовой стрелке». Ее героями были именно вот эти самые Долматовский с Ошаниным плюс еще какие-то тогдашние поэты, создавшие безликого, железобетонного, «цельнометаллического», плакатного лирического героя. Этот лирический герой, как и подобало лирическому герою, говорил о себе, употребляя личное местоимение первого лица и единственного числа («Я»). Но в то же время он ухитрялся при этом говорить не только о себе и от себя, а как бы от имени всех советских людей, своих сограждан, – в крайнем случае от имени всех своих сверстников:

Всем скептикам, всем циникам отпетым
На зависть жизнью я живу такой,
Что все во мне лучится чистым светом
И весело играет под рукой...

Прохлада институтских аудиторий:
Здесь я учусь, здесь учатся друзья.
Дворцы здоровья высятся у моря –
Здесь я лечусь, здесь отдыхаю я.

Героями второй главы той моей статьи были поэты несколько иного типа (Степан Щипачев, Сергей Смирнов, еще кто-то: кажется, Ваншенкин). Там я доказывал, что лирический герой этих поэтов по сути своей – такой же железобетонный, «цельнометаллический», плакатный. Но он – притворяется живым. Какими-то бытовыми подробностями, детальками, шуточками-прибауточками (это – Сергей Смирнов) упомянутые авторы стараются «утеплить» образ этого своего плакатного героя, придать ему черты какой-никакой конкретности.

В общем, всю тогдашнюю поэзию я этой своей статьей, в сущности, перечеркивал.

Унылая дама, возглавлявшая в редакции «Октября» отдел критики (фамилия ее была Гусева, и она – и внешне и по самой сути своей – была самая что ни на есть настоящая гусыня), которая по указанию высокого начальства должна была со мной работать, вместо того чтобы прямо сказать, что такая

статья не имеет никаких шансов быть напечатанной, долго морочила мне голову насчет того, что я должен найти и противопоставить всем этим своим отрицательным героям некий положительный идеал. А тут как раз появились первые главы поэмы Твардовского «За далью – даль». И вот, идя навстречу пожеланиям (лучше сказать – требованиям) опекавшей меня Гусыни, я написал третью главу, героем которой стал Твардовский. Озаглавил я ее ленинской фразой: «Не начало ли поворота?», и искренне надеялся, что этот лучик робкого оптимизма спасет мое безнадежное сочинение, откроет ему дорогу в печать.

Гусыня всячески меня обнадеживала, намекая, что статья уже почти совсем созрела и она вот-вот положит ее на стол своему шефу (редактору отдела). Но тут в журнале произошла какая-то пертурбация, в результате которой новым членом редколлегии стал Степан Петрович Щипачев. Он, правда, по должности курировал не критику, а поэзию, но Гусыня сказала, что не может не показать мою статью прежде всего ему: ведь статья – о поэзии, так кому же, как не члену редколлегии, курирующему поэзию, решать ее судьбу.

Узнав, что мою статью отдали на прочтение одному из главных моих отрицательных героев, я совсем было уже поставил на ней крест. Но тут случилось неожиданное. В один прекрасный день раздался в нашей коммуналке телефонный звонок: к телефону звали меня, и звонил не кто иной, как сам, лично, Степан Петрович Щипачев.

Боже ты мой! Чего только он мне тогда ни наговорил! Всех его комплиментов я не запомнил, но одну его фразу помню дословно. «Вы мне открыли глаза, – сказал он. – Прочитав вашу статью, я понял, что такое поэзия».

Можете себе представить?

До сих пор не знаю, какой процент искренности был в этой его фразе, и был ли он там вообще. Может быть, старик слегка кокетничал, давая понять, что хоть он и лицо заинтересованное, но препятствовать появлению моей статьи на страницах журнала ни в коем случае не станет.

С кокетством такого рода я тогда уже столкнулся однажды. Примерно такую же статью (на ту же тему и с теми же идея-

ми), только гораздо более короткую, я показал своему литинститутскому товарищу Володе Огневу, который работал тогда в «Литературной газете», а тот дал ее прочесть Симонову. Ка-Эм принял меня глубокой ночью (это тогда был у него такой стиль). Разговаривая со мной, он встал, прошелся по своему огромному кабинету и сказал:

– Больше всего мне хотелось бы ответить на эту вашу статью стихами.

Статью, однако, в своей газете не напечатал.

Но Степан Петрович, – так во всяком случае я тогда думал, – был человек простодушный, и его реакция на мою статью оказалась мне искренней. Хотя на самом деле таким уж простецом он, конечно, не был.

Рассказывали, например, такую историю.

Пришел он будто бы в «Новый мир» к Твардовскому со своей только что написанной поэмой о Павлике Морозове. Твардовский, прочитав это его сочинение, заперся с ним в своем кабинете и выдал там ему, что называется, на полную катушку. Не о художественных просчетах и слабостях поэмы шла там у них тогда речь, а о самом существе дела. О том, что безнравственно воспевать «подвиг» малолетки, выдавшего органам ГПУ и обрекшего таким образом на гибель родного отца.

Степан Петрович будто бы соглашался, даже плакал, бил себя кулаком в грудь, говорил, что бес попутал и клялся, что никогда, ни за что, ни за какие коврижки печатать эту дрянную поэму не станет. Он трижды облобызал Александра Трифоновича, сердечно благодаря его за то, что тот открыл ему глаза и спас его от позора. А поэму забрал и тут же отнес ее в «Знамя», где она в скорости и была напечатана. И даже получила Сталинскую премию.

Конечно, эта байка вполне могла быть и чьей-то злой выдумкой. Но какую-то крупицу реальности (во всяком случае реальности его характера) она, я думаю, все-таки отражает.

Но как бы то ни было, ко мне Степан Петрович отнесся хорошо. И не только в том телефонном разговоре, но и потом неоднократно меня привечал, ласкал, а при случае и помогал, поддерживал.

Злополучная статья моя, однако, напечатана так и не была.

И даже сейчас я не думаю, что появлению ее на журнальных страницах воспрепятствовал именно он, Степан Петрович. (Разве что не слишком бурно ее защищал.)

Причин для того, чтобы ее забодать, было много.

Строго говоря, она по тем временам изначально была непроходима, и если бы ее вдруг напечатали, это было бы истинное чудо. Но тем не менее чудо это вполне могло случиться, если бы не то, что одно такое чудо как раз в то самое время уже произошло. С другой статьей, другого автора, но – на ту же самую тему.

Я имею в виду статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», появившуюся в «Новом мире» в 12-м номере 1953 года. Появление этой статьи было подобно взрыву атомной бомбы. Она сразу попала в обойму главных тогдашних идеологических жупелов («Теркин на том свете» Твардовского, «Гости» Леонида Зорина). Ее полоскали в печати, клеймили на всех литературных собраниях. Эпитет «похабная» по отношению к ней в устах тогдашних ревнителей чистоты партийной линии был едва ли не самым мягким.

Окунаясь в пучину этого литературного скандала (а как в него можно было не окунаться, если девятый его вал накрыл тогда нас всех с головой), я кусал себе локти. Меня терзала злая зависть к Померанцеву. Подумать только! Ведь если бы эта красноногая моя Гусыня вместо того, чтобы так долго мариновать мою статью, сразу положила ее на стол Панферову, а Панферов оказался таким же смельчаком, как Твардовский, – не кто иной, как я, а не какой-то там Померанцев, был бы тем Иваном Ивановичем Добчинским, который первый сказал «э». В крайнем случае, мы с ним вместе, одновременно (как Добчинский и Бобчинский) сказали бы это самое «э», и я тоже был бы сейчас в самом эпицентре этого землетрясения – рядом с Померанцевым, Твардовским и Зориним.

О том, что в этой катавасии, попади я в нее, мне вполне могли бы переломать спинной хребет, я тогда не думал. Понимал, конечно, что зуботычины, полученные жертвами тех идеологических проработок, не так уж безобидны. Но все это представлялось мне полной чепухой в сравнении с возможностью прославиться, стать знаменитым. Я тогда еще не знал,

что быть знаменитым некрасиво, как не знал и того, что Лёня Зорин, с которым я подружусь сорок лет спустя, за эту свою тогдашнюю знаменитость расплатился потоком крови, вдруг хлынувшей из горла, четырьмя месяцами между жизнью и смертью и тремя годами, проведенными в больницах, меняя одну больничную койку на другую. А ведь Лёня был – богатырь, спортсмен, футболист, не чета мне с моим нефритом.

Всё это я узнал – повторяю – сорок лет спустя, когда мы с Лёней стали друзьями. Это было уже время потерь: одни друзья уже ушли «в никуда», другие – по слову того же Галича – «в князья». Но и среди тех немногих, что остались вблизи, кое с кем мне уже не о чем было разговаривать: начались размолвки, ссоры, разрывы отношений, казавшихся нерушимыми. (Об этом мне в свой час еще придется рассказать.) Но в это грустное время потерь были и приобретения. И одним из самых ценных для меня таких приобретений стали тесные отношения с Леонидом Зориным, с которым не случайно мы сблизились именно в эти годы...

Возвращаюсь, однако, назад, в год 1953-й.

Итак, статья моя с красивым названием «Сердце с правдой вдвоем» напечатана так и не была и знаменитым меня не сделала. Но какую-то роль в моей жизни она все-таки сыграла.

Как раз в это самое время в Москве проходило очередное (третье) всесоюзное совещание молодых писателей, и я стал его участником. Сейчас я уже не помню, как и почему это случилось. Скорее всего меня туда сунули какие-то мои покровители из Союза писателей. Членом Союза я тогда, понятное дело, не был. Но в Дом на Воровского заглядывал, пожалуй, не реже, чем в годы моего студенчества в институт. Во-первых, как я уже рассказывал, после окончания института, не желая расставаться с комсомолом, я встал на комсомольский учет не где-нибудь, а именно там, в Союзе писателей. А во-вторых, была там у них, в Союзе, такая «Комиссия по теории и литературной критике», которая пестовала молодых критиков. Как там она нас пестовала я, честно сказать, уже не помню. Помню только, что подкидывали нам иногда какую-нибудь халтуру. Какую-нибудь графоманскую рукопись, которую надо было

срочно отрецензировать. Платили за это не щедро, но, как говорится, всякое даяние – благо, а поскольку на штатную работу я тогда, как ни старался, устроиться не мог, каждая такая халтура становилась для меня неожиданным и исключительно ценным подарком судьбы.

Кстати, с одной такой халтурой вышла у меня довольно забавная история, о которой не могу тут не рассказать. (Другой повод вряд ли представится, а история не только забавная, но и довольно ярко отражающая тогдашние литературные нравы.) Связана она со Вторым съездом советских писателей.

Первый – учредительный – писательский съезд был, как известно, в 1934 году. И на нем, как полагается, был принят устав, согласно которому – «высшим руководящим органом Союза советских писателей СССР является Всесоюзный съезд советских писателей, созываемый один раз в три года». Но – устав уставом, а жизнь, как говорил Остап Бендер, диктует свои суровые законы. И вышло так, что следующий, Второй съезд собрался не через три, а через двадцать лет после первого. Отцу народов все эти годы, видно, было не до писательских съездов, он был занят более важными делами. Но в 1953-м отец народов умер, и писатели решили наконец (лучше поздно, чем никогда) собраться на свой второй съезд.

И вот в это самое время позвонил мне нещедрый мой работодатель из той самой Комиссии по критике и сказал:

– Хочешь заработать кучу денег?

Я сказал, что, конечно, хочу. Цифра, которую он мне назвал, меня ошеломила: две тысячи рублей. Конечно, дореформенных – тех, что шесть лет спустя превратились в двести. Но для меня эта сумма тогда была весьма и весьма значительной.

Чтобы заработать эти деньги, мне предстояло войти в бригаду, готовящую для съезда доклад о поэзии. Делать этот доклад было поручено маститому азербайджанскому поэту Самеду Вургуну. Бригада же должна была помочь классику – как бы подготовить ему материалы для доклада. На самом деле, конечно, мы (а было нас, не помню, трое или четверо) этот доклад написали целиком – от начала и до конца. Не знаю, как обстояло дело с текстами моих коллег, но в раздел доклада, написанный мною, докладчик не внес никаких изменений. Моему тек-

сту разве только придали чуть более казенный вид, переписав некоторые особенно вольные фразы и выражения суконным канцелярским языком. Это, разумеется, тоже проделал не сам докладчик. Его роль свелась к тому, что он этот «свой» доклад, как теперь говорят, **озвучил**, то есть, поминутно спотыкаясь и делая разные причудливые ударения, прочел с трибуны.

Мой раздел был посвящен недостаткам современной поэзии. Тема эта была близка моему сердцу, и я не пощадил никого из тогдашних корифеев, выбрав для демонстрации самые жалкие и убогие их строфы. Все эти примеры, как ни странно, в докладе остались. Но при этом мне было указано, что, перечисляя грехи современной поэзии, я начисто забыл о самом страшном грехе: формализме.

Примеров серости, шаблонности поэтической формы и бедности мысли у меня было хоть отбавляй. С этим никаких трудностей не возникало. С формализмом же дело обстояло не так просто. Со времен знаменитой правдинской статьи «Сумбур вместо музыки» никто из поэтов в ту сторону даже и не глядел.

Но я не растерялся. Взял первую попавшуюся книгу стихов Семёна Кирсанова и тут же нашел там ярчайший пример самого что ни на есть матёрого формализма:

У реки Кубань,
Где коней купань,
Где дудел чабан
 в дуду,
Где в хлеву кабан, –
У реки Кубань
Я по злакам комбайн
 веду.

С легким сердцем я вставил в свой раздел доклада этот стишок и припечатал его соответствующими фразами о бессмысленной звуковой игре, подменяющей... и т. д. и т. п.

Совість моя при этом была чиста: кто скажет, что «коней купань» и «в хлеву кабан» – не формализм, пусть первый бросит в меня камень.

Камень, однако, бросили. Не в меня, конечно, а в невинно-

го, как новорожденный младенец, Самеда Вургуна. И бросил этот – весьма, надо сказать, увесистый камешек – не кто иной, как сам Кирсанов.

Выступая в прениях, он ехидно поблагодарил докладчика за внимание к его работе. Но заметил при этом, что раскритикованные Самедом формалистические стихи были написаны им – Кирсановым – в 1933-м году. И тогда же были и опубликованы. И что критиковать их, вообще-то, следовало бы не на втором, а на первом съезде писателей, который, как известно, происходил ровно двадцать лет тому назад. Целых двадцать лет ждали мы этого съезда. Целых двадцать не встречались друг с другом и не обсуждали нашу работу с такой высокой трибуны. И вот наконец дождались...

Кирсанов был мастером эстрадного жанра. (Как-никак, ученик Маяковского.) Несколько минут (мне показалось, что минут десять, не меньше) он полоскал несчастного Самеда и веселил зал. Зал радостно отвечал ему смехом и аплодисментами.

Самед сидел в президиуме – красный как рак.

А истинный виновник этого скандального происшествия сидел на галёрке и смеялся вместе со всеми. И хотя смеялся скорее над собою, над собственной своей промашкой, никаких угрызений совести он при этом не испытывал.

Вернусь, однако, к Третьему всесоюзному совещанию молодых писателей.

Открылось оно в Доме культуры «Правды», где перед нами с отеческим напутствием выступил сам Шолохов. А потом мы, как это практиковалось еще у нас в институте, разобрались по семинарам: поэты – с поэтами, прозаики – с прозаиками, критики с критиками.

Семинаром критиков руководил Александр Григорьевич Дементьев, и именно ему я отдал тоненькую папочку с едва ли не полным собранием тогдашних моих сочинений. В папочке были вырезки главных и лучших тогдашних моих статей (в основном из «Пионера») и – так и не напечатанная статья «Сердце с правдой вдвоем». Именно она-то, я думаю, и побудила Александра Григорьевича обратить на мою персону пристальное и, как впоследствии выяснилось, благосклонное внимание.

Сперва никакой благосклонностью, как мне тогда показалось, там и не пахло. «Пионерские» мои вырезки А.Г. слегка похвалил, а на бедную мою статью обрушил весь богатый арсенал тогдашней партийной фразеологии. Но чем-то она его, видать, зацепила. Сейчас, задним числом, могу даже с уверенностью сказать, что мое отвращение к «долматовской ошани» и железобетонному «цельнометаллическому» герою тогдашней советской лирики было ему близко. В сущности, он этого даже и не скрывал. Но при этом – «мягко, но жестко» – дал мне понять, что тут – «рубеж запретной зоны» и соваться туда – ни мне, ни другим молодым критикам, слушавшим ту его установочную речь, – нельзя.

Собственно, весь смысл той его речи целиком и полностью исчерпывался одним этим словом: НЕЛЬЗЯ. Он даже не особенно старался объяснить, почему, собственно, нельзя. Нельзя – и всё тут.

Это было особенно заметно, когда от личных наблюдений и соображений он переходил к общим, вот этим самым установочным. Вообще-то держался он с нами просто, по-товарищески. И речь его была сочной, изобилующей меткими народными словечками. Словам помогала живая мимика, не лишенный своеобразного обаяния выразительный жест. Но когда он переходил к общим теоретическим установкам и партийным поучениям, – куда только все это девалось! Лицо его сразу становилось не улыбочивым, суровым, каменным. А жест – учительским, фальшиво-пафосным.

– Не в игрушки играем! Народу служим! – восклицал он, назидательно воздев указательный палец и слегка как бы даже грозя нам этим пальцем.

В общем, ничего хорошего от этого всесоюзного совещания и этого нашего семинара я для себя не ждал. И, как оказалось, был не прав.

Именно вот с той поры, с того самого семинара Александр Григорьевич меня заметил и стал привечать. То и дело он норовил заказать мне какую-нибудь статейку. Один раз даже заказал большую – монографическую – главу о Николае Асееве для готовящегося тогда четвертого тома «Истории русской советской литературы». Он охотно написал мне рекомендацию в Союз писателей, когда я попросил его об этом...

Поступление в те времена в Союз писателей и сбор необходимых для этой цели рекомендаций – тема особая, и на ней, пожалуй, есть смысл слегка задержаться.

Мы стояли втроем в нашем литгазетском коридоре: молодой, совсем юный Андриюша Вознесенский, Боря Слуцкий и я. Я только что познакомил Бориса с Андреем, – делая вид, что понимаю историческую значимость момента, церемонно представил их друг другу, – и Борис, еще не маститый, но уже привычно ощущающий себя мэтром, не без удовольствия выказывал Андрею свое благорасположение.

– В Союз документы уже подали? – осведомился он в обычном своем начальственном стиле. (Один наш общий знакомый, передразнивая эту его манеру, всякий раз цитировал знаменитую реплику Остапа Бендера: «В каком полку служили?»)

Андрей ответил, что находится в процессе. Вот только завершит сбор всех необходимых для этой процедуры бумаг и сразу подаст.

Борис сказал:

– Я охотно дам вам рекомендацию.

– Нет-нет, спасибо, не надо, – неожиданноотреагировал Андрей. – Две рекомендации от «своих» у меня уже есть, а третью я возьму у Грибачева.

Надо было знать Бориса, чтобы в полной мере ощутить, какой пощечиной был для него этот ответ.

Он обожал покровительствовать молодым поэтам. Сколько големов он породил на свет! (Куняева, Передреева... Последнего даже не без моего участия.) Но тут был случай особый.

Борис был человек глубоко партийный. Не в смысле коммунистической партийности (хотя и в этом смысле тоже), а в своей приверженности авангарду, так называемой «левой» поэтике. Однажды он с важностью сказал мне:

– Вчера я был у Митурича, и – можете себе представить? – оказалось, что за тридцать лет я бы первый футурист, который его посетил.

Фраза показалась мне забавной, и яотреагировал на нее юмористически:

– А вы разве футурист, Боря?

Но Борис этого моего юмористического тона не принял: к своему футуризму он относился вполне серьезно. Вот и сейчас, предлагая Андрею дать ему рекомендацию, он, помимо радости, что может оказать покровительство молодому талантливому поэту, испытывал еще и другую, стократ более сильную радость от сознания, что, быть может, впервые в жизни ему, последнему оставшемуся в живых футуристу, представился случай рекомендовать в Союз писателей своего брата-футуриста.

И вдруг – такой пассаж.

Борис побагровел. Да и у меня было такое чувство, словно я невольно оказался свидетелем полученной им не моральной, а самой что ни на есть натуральной, физической пощечины.

Простодушно-циничный ответ Андрея был, конечно, верхом бестактности. Да и сама его готовность взять рекомендацию у одного из самых выдающихся тогдашних литературных негодяев была проявлением какой-то особой, я бы сказал, предельной небрежливости.

Хотя был один случай, свидетельствующий о том, что эта его небрежливость какой-то предел все-таки имела.

Когда хоронили Пастернака, он сунул в гроб (сам об этом рассказывал) свою только что вышедшую книжечку, **предварительно вырвав из нее страницу со стихотворением, которое посвятил Корнелию Зелинскому.** (Все знали, что Корнелий как-то уж особенно мерзко выступал на том шабаше ведьм, где распинали Бориса Леонидовича.)

Такой вот жест.

Но небрежливость Андрея Вознесенского, как и всей той плеяды его литературных собратьев, – это совсем другая, особая тема. А вот что касается его отказа от рекомендации Слуцкого – отказа, простодушно объясненного тем, что у него уже есть две рекомендации «от своих», – тут я не судил бы его слишком строго.

Дело в том, что этот «тактический ход» он изобрел не сам. **Нас так учили.**

Конечно, не обязательно было быть в той школе первым учеником. Но совсем не принимать во внимание ее уроки было трудно. Разве что совсем не играть в ту игру – вообще не вступать в тот «ихний» Союз писателей, из которого только что исключили Пастернака. Что, кстати сказать, многие и делали, за что честь им и хвала.

Когда наш старый друг Володя Корнилов сообщил нам, что тоже хочет стать членом Союза (я в то время был этим самым членом уже больше года), моя жена сказала ему:

– Как? Ты хочешь вступить в Союз писателей, из которого исключили Пастернака?

Импульсивный Володя немедленно побежал в Союз и забрал свои документы. А я, когда жена рассказала мне об этом своем «подвиге», чуть не убил ее. «А как же я? – орал я. – Почему ты сказала это ему, а не мне? Ведь когда я подавал документы, Пастернак был еще жив, и вступать в эту затравившую его организацию было еще постыднее!»

На это жена, естественно, ничего ответить мне не могла. Но поведение женщины, как известно, не подчиняется законам логики.

В конце концов, слегка поостыв, Володя все-таки тоже, как и я, стал членом Союза писателей, и состоял в нем до тех пор, пока его оттуда не исключили – как в свое время Пастернака, и за те же грехи.

Вернись, однако, к себе.

Когда я надумал вступить в Союз писателей, старшие товарищи, уже прошедшие этот путь и хорошо знающие всю эту кухню, тоже внушали мне, что правила есть правила, и их – хочешь, не хочешь, а надо соблюдать.

– От кого у тебя рекомендации? – спрашивали они.

– Одну мне дал Маршак, – самодовольно отвечал я. – А дружю Шкловский.

Мне казалось: чего уж лучше! Лучше просто не бывает!

Но знающие кухню старшие товарищи морщились.

– Маршак это хорошо, – признавали они. – Да, Маршак – это прекрасно... Шкловский... Ну что ж, Шкловский тоже неплохо... Но третьим обязательно должен быть кто-нибудь ихний.

– Может быть, у Грибачева попросить? – злобно огрызнулся я. – Или у Софронова?

Старшие товарищи, стыдливо тупя взоры, отвечали, что нет, конечно, – ни к Грибачеву, ни к Софронову они мне обращаться не советуют. И вообще, не о том речь, чтобы третьим рекомендателем был кто-нибудь из тех, кого Хрущев назвал «автоматчиками». Но это должен быть человек если и не «ихний», то, во всяком случае, не совсем «им» чужой.

Такой человек, который был бы «им» не совсем чужой, и к которому мне тем не менее, как теперь принято говорить, «не запахло» было обратиться, в поле моего зрения был только один: Александр Григорьевич Дементьев.

К нему я и обратился.

Вспоминая сейчас всё это, я отыскал в дальнем ящике стола все три рекомендации. Это были оригиналы. В Союз я тогда сдал машинописные копии, а оригиналы оставил себе. На память. Ну и, конечно, из уважения к автографам, оставленным рукой классиков.

Рукой классика от начала до конца была написана только рекомендация Маршака. Старик, как видно, пишущей машинки не признавал, а может быть, даже и не умел ею пользоваться.

Написал он свою рекомендацию обстоятельно, перечислив чуть ли не все тогдашние мои работы, список которых я ему дал. Особенно подробно там говорилось о моей первой книжечке, героем которой был Алексей Иванович Пантелеев, которого Самуил Яковлевич любил.

Все комплименты, высказанные классиком по моему адресу, я опускаю. (Да никаких особых комплиментов там и не было.) Отмечу только, что, рекомендуя принять меня в Союз писателей, С.Я. напирал главным образом на то, что все мои статьи «свидетельствуют о равнодушии к судьбам нашей литературы и написаны хорошим, живым языком».

Рекомендация Шкловского была совсем в другом роде.

Начать с того, что Виктора Борисовича я ни о чем не просил. Однажды он сам заговорил о том, что мне надо бы вступить в Союз. И тут же, не откладывая дела в долгий ящик, усадил меня за машинку и быстро начал диктовать:

В приемную комиссию Московского отделения

Союза писателей СССР.

От Виктора Шкловского.

Дорогие товарищи!

Рекомендую в члены Союза писателей Сарнова Бенедикта Михайловича. За работами его я слежу около десяти лет...

Тут я попытался было сказать, что это не правда: дело происходило в 1959-м году, а познакомился я с Виктором Борисо-

вичем в 1955-м, то есть «следил» он за моими работами (если считать, что следил) не десять лет, а всего-навсего четыре года. Но Виктор Борисович, отмахнувшись от этой моей фактической справки, продолжал диктовать:

... его книжка о Л. Пантелееве, вышедшая сейчас в Детгизе, читается сразу, взята и история жизни писателя, показан рост писателя и закономерности его стиля. К сожалению, книга сокращена. Но я думаю, что она и в таком виде предствяляет новость в нашей критике.

Рассказ Сарнова, напечатанный в «Пионере», любопытен тем, что в нем есть неожиданный поворот сюжета, и то, что первоначально кажется побочной темой, становится главной...

Когда я принес Виктору Борисовичу тот свой рассказ («Как я учился музыке»), он выхватил его у меня из рук и прочел единым духом, листая страницы с пулеметной скоростью. Сперва я даже на него обиделся: мне показалось, что он его не читает, а только бегло проглядывает. Но потом, в разговоре выяснилось, что не проглядывал, а читал. И многое запомнил: отдельные фразы в том разговоре даже цитировал. Просто у него была такая уникальная способность видеть всю страницу книги или рукописи сразу. Слово там, в глазах, у него был спрятан маленький фотоаппаратик, которым он мгновенно фотографировал страницу за страницей.

Мне, конечно, было приятно, что, диктуя мне текст рекомендации, он вспомнил и про рассказ. Но я не был уверен, что упоминать тут о нем уместно: в Союз ведь я вступал как критик, – при чем же тут рассказ?

К тому же я видел достоинства своего рассказа вовсе не в неожиданном повороте сюжета. Да и сам этот комплимент, как мне казалось, был весьма сомнителен: он явно отдавал формализмом, что вряд ли могло прийтись по душе заседающим в приемной комисси зубрам соцреализма.

Спорить, однако, не приходилось.

Виктор Борисович продолжал диктовать, а я продолжал выстукивать диктуемый им текст на машинке:

Я думаю, что у нас есть все основания, не задерживаясь, принять Сарнова в Союз.

В этом «не задерживаясь» был весь Шкловский – его бурный, вулканический темперамент.

Выхватив из машинки допечатанный мною листок, он быстро сфотографировал его своими спрятанными в глазах фотоаппаратиками, взял ручку и приписал:

Это человек, произведения которого имеют самостоятельное художественное значение, настоящий литератор со своей дорогой в будущее.

Когда я выразил сомнение: не чересчур ли это? – он сказал «Так надо!» И добавил, что вписал эту фразу не для комплимента, а чтобы живым, рукописным своим почерком «авторизовать», как он выразился, мертвый машинописный текст.

Машинописный (продиктованный им и напечатанный мною) его текст был не менее, а может быть, даже более живым, чем эта последняя, рукописная фраза, в чем я, надеюсь, вы сами только что убедились. Отчасти для того я его здесь и привел, чтобы вы почувствовали, ощутили этот неповторимый, взрывной «шкловский» темперамент. Но еще, конечно, и для того, чтобы было понятно, почему мне тогда казалось, что этих двух рекомендаций (Шкловского и Маршака) более чем достаточно, и нет никакой необходимости обращаться еще и к Дементьеву.

Мне казалось, что Александр Григорьевич, узнав имена этих двух моих рекомендателей, сам будет удивлен. И наверняка спросит меня, зачем при таких козырях мне нужна еще и третья. И что я ему тогда отвечу? Не признаваться же, что его рекомендация понадобилась мне, потому что он как бы немножко «ихний».

Но объяснять ему это мне не пришлось. Он сам прекрасно все понял. И смысл моего обращения к нему, и стоящую перед ним задачу.

Ни слова не было в его рекомендации ни о талантливости рекомендуемого, ни о самостоятельном художественном зна-

чении его произведений, ни даже о том, что они написаны хорошим, живым языком.

Зато там было другое:

Работы Б. Сарнова отличаются основательным знанием предмета... Такие сложные вопросы литературоведения, как проблема метода и мировоззрения писателя, проблема преемственности и новаторства в творчестве Маяковского решаются критиком с правильных теоретических позиций...

Все работы Б. Сарнова проникнуты горячей любовью к советской литературе, ясным пониманием особенностей советской литературы и искусства, как искусства социалистического реализма.

А.Г. прекрасно понял, что он, как теперь говорят, моя «крыша». И честно прикрыл самые слабые, самые уязвимые мои места.

Ведь и не напечатанная, но хорошо ему известная моя статья «Сердце с правдой вдвоем» и напечатанная позже (и недаром вызвавшая скандал) «Если забыть о часовой стрелке» давали все основания упрекать меня как раз в том, что мои работы проникнуты отнюдь не горячей любовью, а скорее горячей ненавистью если и не ко всей советской литературе, то во всяком случае к той ее части, которая выступает под флагом «искусства социалистического реализма».

Но особенно умилила меня фраза А.Г. насчет того, что проблема мировоззрения писателя решается мною «с правильных теоретических позиций».

Ведь именно в эту проблему уперлись все его редакторские претензии к моей статье «Что такое сюжет?». Именно на то, чтобы выправить (или хотя бы пригасить, замаскировать) мое «неправильное» понимание этой проблемы, была нацелена вся его скрупулезная, последовательная, упрямая редактура.

Только ради этого он и возился со мною сам, не рискуя передоверить эту тонкую работу не только кому-нибудь из рядовых сотрудников своего журнала, но даже кому-нибудь из членов его редколлегии.

Тут мне придется чуть подробнее рассказать о том, в чем я видел главный смысл той своей статьи. Ради чего, собственно, ее написал.

Моя главная, душевная мысль состояла в том, что писатель, принимаясь за работу, еще и сам не знает, какова будет его концепция действительности. Что концепция эта постепенно открывается ему по мере того, как рождается, выстраивается, вырисовывается, возникает из тумана, становится все более рельефно видимым поначалу неясно различаемый им «сквозь магический кристалл» сюжет его будущего произведения.

А ведут автора по этому пути (если он, конечно, настоящий художник) – его герои, которые то и дело выкидывают какие-нибудь фокусы, которых он, автор, от них даже и не ожидал. «Какую штуку удрала моя Татьяна!» – искренне недоумевал Пушкин, когда его героиня вдруг – неожиданно для него! – вышла за генерала. А вот что написал Л.Н. Толстой Н.Н. Страхову 26 апреля 1876 года:

Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять и совершенно неожиданно для меня, но несомненно Вронский стал стреляться.

Эти признания – и Пушкина, и Толстого, и многих других великих и не великих художников – ничуть не казались мне кокетством. И даже слова – «неожиданно для меня», – произвольно вырвавшиеся у обоих, не были для меня метафорой: я понимал их буквально. И не сомневался, что неожиданности такого рода как раз и являются главной приметой подлинного творчества, что они-то как раз и отличают художника от нехудожника.

Помню, как раз в это время я прочел в какой-то автобиографической заметке К. Федина, что родители его мечтали, чтобы он стал чертежником. Прочел – и усмехнулся: вот ты и стал чертежником, родители твои могут спать спокойно в своих могилах. Я имел при этом в виду, что Константин Александрович, приступая к очередному своему роману, тщательно вычер-

чивает его план. И никуда потом не отступает от этого плана. Уж у него, думал я, никакой его герой и никакая героиня не посмеет совершить что-нибудь для него неожиданное. А если и попытается, он быстро сделает им укорот: шаг в сторону от заранее расчерченного плана будет рассматриваться как побег. («Конвой открывает огонь без предупреждения!»)

Да, в конечном счете оказывается, что сюжет – это предлагаемая автором концепция действительности. Но выясняется это, когда книга (роман, повесть) уже написана. А в процессе творчества сюжет – это зонд, щуп, инструмент, посредством которого художник познает, постигает некоторые закономерности исследуемой им реальности.

Я вовсе не считал (даже не подозревал), что эта любимая моя мысль несет в себе какую-то крамолу. Ведь нечто похожее утверждали даже великие бородачи – Маркс и Энгельс. Энгельс прямо написал в одном своем письме, что реализм настоящего художника проявляется «даже невзирая на взгляды автора». И приводил при этом в пример Бальзака, который «принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков».

А почему «принужден»? Кто, собственно, его принуждал?

Принуждал (это уже была моя собственная мысль, так сказать, продолжающая и развивающая мысль Энгельса) тот самый мощный художественный инстинкт (чем талантливее художник, тем этот его инстинкт мощнее), который заставил Пушкина подчиниться своеволию Татьяны, а Толстого – своеволию вышедшего из-под его авторского повиновения Вронского.

Подчиняя свою авторскую волю воле вышедшего из его повиновения, взбунтовавшегося героя, художник и выстраивает окончательный – незапланированный – вариант своего сюжета.

Рассуждая таким образом, я не вполне понимал, чего, собственно, хочет от меня Александр Григорьевич? Чего он ко мне цепляется? Ведь все у меня правильно. С самых что ни на есть марксистских позиций!

А не понимал я, что одно дело – Бальзак, и совсем другое – наш советский писатель, которому партия прямо и определенно указывает, какова она на сегодняшний момент эта самая концепция действительности, которую ему надлежит выразить.

Так прямо А.Г. это, конечно, мне не говорил. Не мог сказать. Но всюду вписывал фразу, заканчивающуюся словами: «...где главную роль играет мировоззрение художника».

Ну а какое у советского писателя должно быть мировоззрение – это было ясно. Это не обсуждалось. Самое передовое. То есть то, которое предписывалось ему последними партийными решениями и документами. Там ясно и четко сказано, где лежит истина... И нечего умничать. Бери эту готовую концепцию и – оформляй. Чем талантливее оформишь, тем лучше.

Я никак не мог взять в толк, почему то, что теоретически верно для классиков, оказывается вдруг неверным для наших дней. Теория – если она верна – должна быть универсальна.

А у А. Г. его верная теория низводила роль художника до роли оформителя готовых идей (в крайнем случае – своих собственных, а лучше всего – спущенных сверху и на данный момент считающихся последним словом марксистско-ленинского мировоззрения).

Но что-то Александру Григорьевичу в моих крамольных суждениях, как видно, нравилось. Во всяком случае, он не настаивал на том, чтобы я заменил их другими, не переписывал и не вычеркивал, а только лишь дополнял, слегка корректировал.

Вставлял, например, такие осторожные, оговорочные фразы:

Речь идет не об интуитивном, бессознательном процессе; здесь раскрываются связи мировоззрения и художественного познания.

Завершая свою статью, я позволил себе слегка выйти за пределы теории и уже напрямую перекинул мостик от Бальзака и Маркса с Энгельсом к современной советской литературе, довольно откровенно давая понять, чем она меня не устраивает:

Мы привыкли говорить, что литература отозвалась, откликнулась на те или иные события нашей жизни. Мы даже перестали замечать, какая невольная ирония звучит в этих словах – «отозвалась», «откликнулась». Мы словно забыли о том, что искусству дано постигать такие стороны действительности, кото-

рые еще не стали явными, очевидными, что оно не просто «откликается» на известные всем процессы.

Маркс говорил, что Бальзак был творцом тех прообразов-типов, которые при Луи-Филиппе находились в зародышевом состоянии. А достигли развития уже впоследствии, при Наполеоне Третьем.

Подметив зарождение нового явления, когда в жизни оно еще не было очевидным, Бальзак раскрыл сущность этого нового явления посредством сюжета, заставив его обнаружиться в развернутых, законченных характерах, иначе говоря, дал в своих произведениях такую картину действительности, многие черты которой стали ясны лишь впоследствии.

Понимание работы над сюжетом только как процесса воплощения уже познанных закономерностей действительности граничит с низведением роли писателя к роли просто иллюстратора известных положений... Мы забыли о том, что художник в своих произведениях мыслит образами, а не облакает мысль в образную форму. Мыслить образами — это, собственно, и значит мыслить сюжетно.

За эту концовку своей статьи я очень боялся. Понимал, что уши мои тут не просто торчат, а прямо-таки выпирают из-под теоретической академической шапочки-ермолки. Не сомневался, что А.Г. непременно сделает тут стойку, и готовился к генеральному сражению. (Заранее выстроив оборонительные укрепления из рассуждений Маркса о Бальзаке.)

Но сражения не последовало.

Слегка покряхтев, А.Г. не тронул всю эту мою «крамолу», не вычеркнул из этого моего пассажа ни одного слова, ограничившись только тем, что в предпоследнюю мою фразу вписал несколько «уточняющих» слов.

После его редакции она стала выглядеть так:

Помня о той решающей роли, которую мировоззрение писателя играет в художественном творчестве, не следует забывать и о том, что художник в своих произведениях мыслит образами, а не облакает мысль в образную форму.

Это был классический образец самой либеральной советской редакции: «С одной стороны, нельзя не признаться, с другой – нельзя не сознаться».

Не могу сказать, чтобы такой результат вполне меня устроил. Но делать было нечего. Тем более, что хоть и с некоторыми потерями, но главную – крамольную – свою мысль я все-таки протащил.

3

К тому времени, когда в «Вопросах литературы» редактировалась и печаталась эта моя статья, у меня с Виктором Борисовичем установились – не скажу близкие, но уже довольно тесные отношения. Во всяком случае, встречались мы чуть ли не ежедневно.

Начала нашего знакомства я уже не помню. Вернее, не помню всех обстоятельств и подробностей первого моего к нему визита. Но дату его установить легко – по надписи, которую в тот день он сделал на подаренной мне своей книге «О Маяковском». Слово «подаренной», впрочем, тут не годится, поскольку книгу эту – одну из самых тогда моих любимых – я купил в букинистическом магазине и притащил ее к Виктору Борисовичу, чтобы он мне ее надписал.

Вот эта надпись, в которой очень живо (как и во всех других, сделанных им на подаренных мне книгах) выразился его характер. Выразился даже в полном отсутствии каких бы то ни было знаков препинания:

Эту книгу напечатали в десять дней я ее очень люблю
она не договорена
В. Шкловский Б. Сарнову на память
Лето 1955 года.

Итак, это было летом 1955-го.

Стало быть, второй мой визит к нему (он-то уж запомнился мне хорошо) имел место в декабре того же года. Самое позднее – в январе следующего, 1956-го.

Тут, впрочем, следовало бы употребить другое местоиме-

ние: не «мой», а – «наш». Потому что в тот раз отправились мы к Виктору Борисовичу вдвоем с Володей Файнбергом, который, как и я, был в ту пору без памяти влюблен в Маяковского, а уж через него – и в Шкловского.

Отправились мы к нему тогда в Шереметьевку, где он жил со своей новой женой – той самой «Симкой Нарбут». В старой его квартире в Лаврушенском осталась прежняя его семья – жена Василиса Георгиевна, дочь Варя и внук Никита, а он переселился к Серафиме Густавовне, у которой, сколько мне помнится, была какая-то жалкая комнатуха в коммуналке. Кооперативный писательский дом около метро «Аэропорт», в котором потом поселились Шкловские (а несколько лет спустя и я с женой и маленьким сыном), тогда еще даже не начал строиться, и Союз писателей временно предоставил «молодоженам» дачу в Шереметьевке. Дача была зимняя, и Шкловские жили там круглый год.

И вот в один прекрасный день мы с Володей Файнбергом туда отправились.

Зима в тот год была крутая. Крепкий мороз ужесточился сильным ветром, можно даже сказать – пургой. И в эту пургу мы долго блуждали по поселку, спрашивая у редких прохожих, не знают ли они, где тут дача Шкловского.

Никто не знал.

Наконец каким-то чудом мы набрали на слегка поддатого щупленького работягу, который на наш вопрос, заданный уже без малейшей надежды на положительный результат, вдруг ответил утвердительно:

– Шклоцкого? Как не знать!.. Значит, так... Сейчас свернете направо, потом пойдете прямо, пока не упретесь в трансформаторную будку, там свернете налево, пройдете метров триста, опять возьмете налево, не совсем налево, а так, примерно, наискосок... Тут вам идти минут так примерно семь... Потом опять возьмете чуток направо... Ну, а там уж у кого-нибудь спросите, где, мол, дача Шклоцкого. Дачу Шклоцкого – как не знать! Ее тут у нас каждая собака знает...

После этих разъяснений мы совсем уже потеряли всякую надежду разыскать дачу Виктора Борисовича. Но опять-таки каким-то чудом – ничем иным как чудом я это объяснить не могу – мы все-таки к ней вышли.

Когда продрогшие до костей, с сосульками вместо бровей, явились мы пред светлые очи совсем не ждавших нас хозяев, все наши страдания были вознаграждены сторицей. Виктор Борисович – да и Серафима Густавовна, кажется, тоже – обрадовались нам, как самым дорогим гостям. По-видимому, в этом своем захолустье они порядком скучали, и любой такой неожиданный визит был им в радость. А тут еще вдобавок эта жуткая пурга, и долгие наши хождения по поселку в поисках дачи «Шклоцкого», превратившие будничным наш визит чуть ли не в подвиг.

В общем, проявленной нами и столь наглядно продемонстрированной преданностью и любовью Виктор Борисович был искренне растроган.

Отпаивая нас горячим чаем, он то и дело повторял:

– Ну, молодцы!.. Ну, какие молодцы!.. Ты только погляди на них, Симочка! Какие трогательные дети!..

Разомлев от тепла (и в буквальном и в переносном смысле) этого приема, мы с Файнбергом сразу почувствовали себя у Шкловских так, словно и впрямь были им чуть ли не родными детьми.

Но в тот вечер я, конечно, знать не знал и думать не думал, что спустя каких-нибудь три или четыре года мы с женой будем являться к Шкловским – вот на эту самую их дачу – каждый Божий день, и, завидев нас еще издали, Виктор Борисович будет радостно возглашать:

– Сима! Дети пришли!

И вот так, день за днем, мы будем проводить у «Шклоцких» все наши летние вечера.

Эта его вдруг возникшая привязанность к нам питалась, конечно, самыми разными причинами. Во-первых, конечно, его одиночеством (со старой семьей он тогда был все еще в ссоре). Немалую роль играла и моя влюбленность в него, которую я не мог (да и не хотел) скрыть. Но главным, наверно, было все-таки то, что мы вдруг – нежданно-негаданно – стали соседями.

Дача, которую Союз писателей предоставил оказавшемуся бездомным Виктору Борисовичу, входила в дачный поселок «Литературной газеты». В этом поселке было, наверно, пятнадцать или двадцать таких дач. Зимой они почти все пустовали.

А на летние месяцы их распределяли между штатными сотрудниками «Литературки», каковым в конце 1959 года стал и я.

Бесплатная дача эта (строго говоря, она не была бесплатной, но плата была чисто символическая) пришлась нам по душе. И не только потому, что она обходилась нам не в пример дешевле, чем прежние наши дачи, которые мы снимали у частных. Здесь – в Шереметьевке, в этом поселке «Литгазеты» – сразу сбилась у нас своя компания. И жить нам тут было куда веселее, чем на прежних наших дачах, которые мы снимали, как водится, «по Казанке», то есть по казанской железнодорожной ветке, считавшейся самой «сухой» (сосновые леса), а потому самой здоровой «для ребенка».

Да и сама эта литгазетская дача нравилась нам гораздо больше тех, в которых мы, бывало, куковали в «Кратове» или на «Сорок втором километре».

Помню, заглянул к нам туда – то ли в «Кратово», то ли на «Сорок второй километр» – мой дядька (брат отца), приехавший ненадолго в Москву из Запорожья. Чуть ли не весь день просидел он на нашей террасе, не снимая пальто. За стеклами моросил не прекращавшийся все лето гнусный московский дождичек. И кутаясь в свое пальто, дядька время от времени иронически хмыкал:

– И вот за это вы им еще и платите?

По тону этого вопроса и выражению его лица было совершенно ясно, что сам он не только не заплатил бы за все эти прелести ни гроша, но и не согласился наслаждаться ими, даже если бы ему за это еще приплатили.

Казенная шереметьевская наша дача была – по тем временам и тогдашним нашим представлениям – вполне комфортабельная. Это был небольшой трехкомнатный коттедж, с нормальной кухней, с паровым отоплением. (В подвале был котел, который я приспособился – и даже полюбил – топить. Топился он – вперемежку – дровами и углем: дрова шли на растопку, а потом засыпался уголь). Весь этот комфорт давал нам возможность затягивать дачный сезон до самой глубокой осени, что являлось для нас (главным образом для моей жены, влюбленной в природу и свежий воздух) дополнительным преимуществом.

Доставалась нам – мне и моему семейству – конечно, не вся дача, а только ее треть. Вся дача, целиком, согласно табели о рангах, могла достаться только члену редколлегии. Мне же – по моему скромному положению в газете – полагалась только одна (правда, самая большая из трех) комната и примыкающая к ней застекленная терраса. В комнате располагались «бабушки» – моя мама и теща – с внуком (нашим пятилетним сыном), а на террасе – мы с женой.

Было, конечно, тесно. А на террасе порой – ночами – и зверски холодно.

Но нам было хорошо.

Как я уже сказал, сразу сбилась там у нас своя компания. Любители волейбола чуть ли не до темна пропадали на волейбольной площадке. Оттуда постоянно доносились дикие крики и вопли. Играли со страстью. Темпераментный Серго Ломинадзе, пропустив мяч, в отчаянии кидался на землю и яростно грыз траву. (Я в волейбол не играл: во-первых, был за пределами плохим игроком, а во-вторых – не люблю командных игр, где каждым своим промахом сажаешь в галошу не только себя, но и всю свою команду. Поэтому я волейболу предпочитал бадминтон.)

Грибники ходили в лес – за грибами, за ягодами. И все мы – по утрам – на речку, купаться.

Душой компании, естественно, стал Булат.

Вообще-то он мало был приспособлен для этой роли. Коллективных игр (да и вообще коллектива) не любил. Был нелюдим, даже замкнут. Но стоило ему взять в руки гитару...

Первые, самые ранние свои песни Булат спел нам здесь, в Шереметьевке. И все мы (а были мы очень и очень разные) сразу и навсегда в них влюбились.

Оказался, правда, там, среди нас, один меломан, попробовавший было сказать, что в музыкальном отношении мелодии Булатовых песен довольно бедны, да и вообще гитара – это, в сущности, низкий жанр в сравнении с Моцартом или Гайдном. Но встречено это его заявление было таким бурным негодованием, что ему сразу же пришлось дать задний ход. А другой любитель классической музыки, сразу же ставший одним из самых преданных Булатовых поклонников, совсем

уничтожил в наших глазах этого меломана, высказавшись о нем так:

– Он думает, что у него в груди рояль, а у него там – стиральная машина.

Вот так мы там и жили: утром – река, днем – волейбол (для меня – бадминтон), а вечерами – песни Булата или посиделки у Шкловских.

Когда пришлось мне распротиться с «Литературной газетой» (о том, как и почему это произошло, я уже писал), необходимость этого расставания уже не больно меня тяготила: отношения мои с газетой к тому времени полностью себя исчерпали. А вот с дачей расставаться было жаль. Поэтому после моего гордого заявления, что, будучи беспартийным, я не обязан колебаться вместе с линией партии, заявления об уходе я сразу не подал: взял тайм-аут, чтобы, дождавшись ежегодного распределения дач, получить право наслаждаться еще одним – последним – шереметьевским дачным сезоном.

Этот мой тайм-аут сильно обеспокоил тогдашнего зама главного редактора – Барабаша.

История появления этого персонажа в «Литературной газете» заслуживает того, чтобы слегка на ней задержаться.

Юрий Яковлевич Барабаш был молодой критик (молодой – и по возрасту, и по официальной табели о рангах), обративший на себя внимание довольно гнусной рецензией (кажется, в «Известиях») на повесть Григория Бакланова «Пядь земли».

Не так воевали, не так думали, не так чувствовали наши люди на той великой войне, – поучал автора «Пяди земли», всю войну провоевавшего на передовой, этот желторотый юнец, военное детство которого (в сорок первом ему было десять лет) прошло в оккупации.

Гадостей об этой повести Бакланова в то время писали немало. Навесили на нее все ярлыки, которыми тогда клеймили каждую правдивую книгу о войне. («Ремаркизм», «окопная правда».) Но гнусная рецензия Барабаша, как видно, особенно больно задела Гришу. Недаром совсем уже недавно, печатая в «Знамени» отрывки из своих мемуаров, он вспомнил этого своего критика:

Молодой критик Барабаш, переживший войну и оккупацию на Украине в нежном возрасте, именно разгромнейшей статьей об этой моей повести сделал первый заметный шаг в карьерные выси. Он писал, что воевали мы не так и совсем не о том думали солдаты на фронте: ему это лучше было знать. Карьера в Харькове или Киеве была тогда еще не карьера, заветное — в Москве. Его статью напечатала правительственная газета «Известия», выдержки из нее украшали суперобложку французского издания «Пяди земли»: хорошая получилась реклама. А Барабаш перебрался в Москву, рос быстро: зам. Редактора «Литературной газеты», зам. Зав. Отделом ЦК (как звучно оно пролаивалось: замзав!), уже и черную машину «Волгу» подавали под него..

Есть у меня странная привычка: иногда я мысленно переодеваю людей, так легче представить человека в других обстоятельствах. Глянув как-то на Барабаша, на светлые его, негустые волосы, лоб белый, особенной белизны, глаза голубоватые, холодные, я мысленно примерил на него эсэсовскую фуражку и поразился...

Этим своим «переодеванием» молодого советского критика в форму эсэсовца Гриша, конечно, вышел — и довольно далеко — за рамки, как теперь принято говорить, политкорректности. Но портрет — что говорить! — и впрямь получился выразительный, а главное — похожий.

Делая сейчас эту выписку из Гришиных мемуаров и дойдя до слов о черной «Волге», которую «под него уже подавали», я вдруг вспомнил.

Понадобилось мне однажды поехать куда-то по каким-то редакционным делам. Я позвонил, вызвал машину. Поехал, вернулся. И тут мне говорят:

— Ну, брат, тут из-за тебя такой скандал разразился... Только ты уехал, вызывает машину Барабаш: ему, вишь, тоже куда-то ехать понадобилось. И подают ему серую «Волгу». Он: «Что такое? Почему серую? Почему не черную?» Ему говорят: «На черной только что уехал Сарнов». — «Как Сарнов? Почему Сарнов? С какой это стати Сарнову черную “Волгу”?»

Посмеялись.

Я, признаться, грешным делом, даже и не знал, что в черной «Волге» ездить считается почетнее, чем в серой.

Когда я работал в «Пионере», у нас (у редакции) сперва была своя машина. Пользовались ею все, кому надо было куда-нибудь поехать. Но, как оказалось, числилась она за главным редактором. А выяснилось это потому, что как раз в это самое время Хрущев, возвращавший нашу страну к «ленинским нормам», распорядился отобрать у всех чиновников персональные машины. И теперь, если кому-то из нас надо было куда-то поехать, машину мы вызывали из общего «правдинского» гаража. И приходила уже не наша машина с нашим любимым водителем, а – любая, какая попадется. И никто не замечал, какая это машина – черная, серая, белая или коричневая.

Однажды, правда, когда мне понадобилось куда-то поехать, мне подали не «Волгу», а – «Зим». (В «Зимах» тогда – во всяком случае, еще совсем недавно – у нас разъезжали только министры). Событие это вызвало у моих коллег бурную юмористическую реакцию. Кто-то из них даже сочинил эпиграмму, которой потом еще долго меня донимали:

Бенедикт садится в «Зим».
В «Зиме» он неотразим.

Но никому из нас даже в самом страшном сне не могло бы присниться, чтобы главный редактор нашего «Пионера», милейшая наша Наталья Владимировна, выразила хоть тень недовольства по поводу того, что ей для ее нужд подали затрапезную серую «Волгу», а рядовому сотруднику – блестящий новеньким лаком роскошный черный «Зим».

Вернемся, однако, к Барабашу.

Скоре после того как в «Известиях» появилась его рецензия на баклановскую «Пядь земли», любимый наш Михмат (Михаил Матвеевич Кузнецов, тогдашний зам. главного редактора нашей газеты) то ли по легкомыслию, то ли по чьему-то наущению (сверху, конечно) предложил нам взять Барабаша литсотрудником к «братишкам». («Братишками» мы называли

ребят из отдела литературы народов СССР, который официально именовался отделом братских литератур.)

Эту Михматову идею мы дружно высмеяли, спросив его, не сошел ли он часом с ума, – и она сама собой как-то рассосалась. А некоторое время спустя этот самый Барабаш был спущен нам сверху в качестве заместителя главного редактора, то есть на место как раз вот этого самого Михмата, которого в конце концов «схарчил» ненавидевший его дядя Митя.

Там, наверху, Барабашу явно кто-то ворожил. Об этом красноречиво свидетельствует вся дальнейшая его карьера: после «Литературки» – инструктор, а потом и замзав отделом ЦК, потом – директор Института истории искусств, потом – директор ИМЛИ (Института мировой литературы Академии наук СССР), где не удержался только потому, что академики забаллотировали его, не выбрали членкором, а директором академического института мог быть только членкор. Этот конфуз не помешал ворожившим ему начальникам определить его на должность заместителя министра (культуры, конечно).

Сейчас Юрий Яковлевич давно уже не у дел. Пишет и время от времени печатает в «Вопросах литературы» статьи о Гоголе (говорят, недурные), а вспоминая прошлое, жалуется: зачем лучшие годы жизни убил на всю эту пустую, бессмысленную карьерную суету.

Но в те времена, о которых я сейчас вспоминаю, такие здравые мысли ему в голову, как видно, еще не приходили.

Появление на должности заместителя главного редактора глубоко неуважаемого нами молодого критика, которого мы не желали видеть у себя даже в роли литсотрудника, естественно, симпатий к нему у нас не прибавило.

Но почти все мои друзья и коллеги свою неприязнь к новому начальству не афишировали. А я – афишировал.

Поскольку мне все равно (и давно уже) нечего было терять, я не отказывал себе в удовольствии на каждой летучке тем или иным способом уколоть, ущипнуть Юрия Яковлевича. Сейчас, задним числом (прошло с тех пор ни мало ни много – сорок лет) я думаю, что, по совести говоря, бывал тогда к нему не всегда справедлив. Но – что было, то было.

Этих своих тогдашних колкостей я сейчас, конечно, уже не помню. Но одна вдруг вспомнилась с такой ясностью, словно это было вчера.

Кто-то из выступавших на летучке сокрушался, что в КЛЭ (Краткой литературной энциклопедии), которая тогда выходила, в томе на букву «Б» нет Барабаша. Какая, дескать, досада! Какая несправедливость! Я в ответ сказал, что это, конечно, ужасно. Но на фоне других огрехов этого тома отсутствие в нем Барабаша выглядит, быть может, не таким уж большим несчастьем. Куда больше удивило и огорчило меня отсутствие в нем, например, Бердяева.

В общем, что говорить: были, были у Юрия Яковлевича причины торопить меня с подачей заявления об уходе.

Прождав неделю-другую и так от меня этого заявления и не дождавшись, он не выдержал: пригласил меня в свой кабинет и напрямую спросил:

– Б.М., я хотел бы знать, каковы ваши планы?

– Планы, Юрий Яковлевич, у меня такие, – сказал я. – В июне собираюсь уйти в отпуск, а из отпуска в газету уже не вернусь.

– Вы это твердо решили?

– Да, твердо.

– Но почему бы тогда, – осторожно начал он, – вам уже сейчас не написать заявление – и об отпуске, и об уходе? Вы ведь понимаете, что подыскать на ваше место другого работника мне будет нелегко, и я хотел бы...

И тут я откровенно сказал ему, что, получив только что по распределению на лето свою «дачу», считал неприличным сразу подать заявление об уходе. Будут, мол, обиды: не всех работающих удалось полностью удовлетворить, а тут Сарнов, который в газете уже не работает, как ни в чем не бывало получает свою дачу.

Барабаш сразу понял, что это не отговорка, не какой-то там ловкий ход (потянуть время, чтобы история с моим отказом покаяться постепенно забылась).

Видно было, что у него прямо камень с души свалился, когда он узнал настоящую причину взятого мною тайм-аута.

– Ну что вы, Б.М., – облегченно сказал он. – Кто же усомнится в том, что вы имеете право на эту дачу. Вы так много сде-

лали для газеты... У вас действительно нет никаких других причин, чтобы тянуть с заявлением?

– Никаких, – подтвердил я.

И тут же, к вящей радости Барабаша, торопливо подвинувшего ко мне чистый лист белой бумаги, написал все, что от меня требовалось.

С тем мы и расстались, как сказано в одном рассказе Зощенко, довольные друг другом.

На следующий день, однако, оказалось, что этот наш разговор имел продолжение.

Вечером, приехавшая после рабочего дня на дачу Зоя Крахмальникова (она тогда тоже работала в «Литгазете») рассказала:

– Сегодня у нас был такой цирк... Представляешь, неожиданно, среди бела дня, вызывают нас всех в кабинет Главного.

– Как это – всех? Весь отдел?

– Да нет, всех! Всех сотрудников. Весь коллектив... Ну, мы собрались. Ждем: к чему бы это?.. За столом главного – Барабаш в своей «антисемитке». («Антисемиткой» Зоя называла вышитую украинскую рубашку Юрия Яковлевича.) Он подождал пока мы рассядемся и сказал: «Дача остается за Сарновым».

– Ну? А дальше что было? – спросил я.

– А ничего. Оглядел нас своими оловянными глазами и говорит: «У меня всё».

Итак, дача осталась за мной. И все это – последнее мое – шеремельевское лето мы с женой все вечера проводили у Шкловских, со Шкловскими.

* * *

– Я за вас не боюсь, – сказал мне как-то в один из таких наших вечеров Виктор Борисович. – Время, конечно, плохое... Что говорить, скверное время. Но ведь все времена плохие. Для литературы не бывает хороших времен. Назовите мне хоть одного писателя, который жил в хорошее время... А-а, не можете?.. Вот то-то и оно!

Я и в то время был уже большим спорщиком. Но с Виктором Борисовичем в споры, как правило, не вступал: слушал его, разинув рот, чуть не каждое его слово принимая как откровение. Но тут – вдруг завелся. Стал чуть ли не орать, что

нет! Неправда! Того, что сейчас творится с литературой у нас, не было никогда! Ни в одну эпоху! Никогда литератору, особенно молодому, начинающему, входящему в литературу, не было так плохо, как у нас!

Я даже рассказал подходящий к случаю анекдот.

В бане моются два еврея. Один начинает стонать:

– Ой, мне плохо!

Второй откликается:

– Э... Кому теперь хорошо!

– Мне плохо! Мне плохо! – все отчаяннее твердит первый.

Голос его становится все слабее и наконец смолкает.

Слегка обеспокоенный первый подходит к нему и видит, что тот отдал Богу душу.

– Ах, вам так плохо? – обескураженно говорит он, – а я думал, что вам так плохо.

Разницу между первым и вторым «так» можно было передать только интонацией, что я и сделал. И заключил:

– Понимаете, Виктор Борисович, разницу?

– Ваши жалобы, – ответил Шкловский со своей неповторимой «улыбкой Будды», – напоминают рассуждения девицы, которая боится выходить замуж: «Вам, небось, хорошо, маменька! Вас-то выдали за папеньку! А мне за чужого мужика идти!»

– Да нет же! – орал я. – Поймите! Тут совсем другое... Вам тоже было плохо, я знаю. Но вам дали родиться! Вы успели стать Шкловским! А нам не дают даже вылупиться из яйца!

Вряд ли я тогда смог его переубедить. Ведь эта его реплика про девицу, завидующую маменьке, что она вышла не за чужого мужика, а за папеньку, была не случайной обмолвкой и не остротой, родившейся в полемическом запале.

Это была концепция.

Он искренне полагал, что для писателя не бывает плохих и хороших времен. Писателю всегда плохо. Больше того: ему **должно быть плохо**.

Сравнивая (еще в 20-е годы, в своей книге «Третья фабрика») писателя с льном на стлище, он имел в виду именно это. Да, да, прямо так и написал, что угнетение идет литературе на пользу. Для того чтобы талант писателя по-настоящему раскрылся и окреп, его надо «мять и трепать».

Это свое рассуждение про «бедный лён» он тогда закончил так:

Из жизни Пушкина только пуля Дантеса не была нужна поэту. Но страх и угнетение нужны.

Когда я спорил с Виктором Борисовичем, доказывая, что мне и моим сверстникам не в пример хуже, чем было ему, – я имел в виду главным образом то, что нам не дают (не позволяют) выражать свои мысли (вернее, мысли, казавшиеся нам своими) – **своими словами**.

Над Сельвинским, который готов был довольствоваться жалкой ролью оформителя сталинских идей, я смеялся. Но это было – потом, много лет спустя. А тогда, делая самые первые свои шаги в литературе, я страдал только от того, что редакторы терзают, калечат, уродуют, нивелируют, приводят к общему знаменателю **мой стиль**. (Правильнее, конечно, было бы сказать – **то, что я считал своим стилем**.)

Споря с Виктором Борисовичем и тупо повторяя, что ему **дали родиться**, а мне (нам) не дают, я имел в виду прежде всего и главным образом то, что он успел утвердить свое право быть Шкловским (с этими своими причудливыми ассоциациями, с этими своими короткими фразами, каждая из которых начиналась с красной строки, с абзаца) именно вот в этой сфере **чистого стиля**.

Смешно, не правда ли?

Но – если вдуматься – так ли уж это смешно? Даже наивная реплика Сельвинского, над которой я глумился («Вы сформулируйте вашу мысль, товарищ Сталин, а я выражу ее своими словами»), в сущности, не так смешна, как трагична.

Несчастный литератор пытается отстоять, не сдать свой последний плацдарм. Сохранить свое право оставаться собой если не на глобальном, мировоззренческом (где уж там!), так хотя бы на клеточном, на молекулярном уровне.

Вообще-то есть, наверно, некий глубокий смысл в том, что посягательство на этот молекулярный, клеточный уровень для художника даже больнее, мучительнее, чем стремление власти взять под контроль его мировоззрение (идеологию). И власть

проявила просто поразительное понимание существа дела, не оставив советским писателям и этот их последний плацдарм. (Это было, конечно, не понимание, а инстинкт. Бешеный инстинкт власти, такой же мощный, как инстинкт самосохранения или инстинкт продолжения рода.)

К этой теме я, наверно, еще не раз буду возвращаться. А сейчас – назад, в Шереметьевку, на дачу Шкловских, к тому нашему разговору, в котором он сравнил меня с девицей, которую в отличие от «маменьки» выдают замуж не за «папеньку», а – «за чужого мужика».

Разговор этот имел продолжение. И – не одно.

Кажется, в тот же вечер (а может быть, в другой, сейчас уже не вспомню) Виктор Борисович спросил меня, что я пишу или собираюсь написать. Я сказал, что главный редактор «Дня поэзии» (это был Смеляков) предложил мне написать, о ком хочу. Дал мне, так сказать, карт-бланш. Я сказал ему, что хочу написать об Ахматовой. (Тогда после долгого перерыва вышла ее маленькая зелененькая книжка, которую она называла «лягушкой».) Ярослав Васильевич на это мое предложение отреагировал без энтузиазма. Хмуро буркнул:

– Ну, пишите.

Когда я рассказал об этом Виктору Борисовичу, он вздохнул:

– Ведь не напечатают.

Я согласился, что да, конечно, скорее всего не напечатают. А когда он сказал в ответ, что не понимает, зачем тратить время и силы на заведомо обреченное предприятие, стал доказывать, что наше дело – барахтаться, пытаться сделать всё, что в наших силах, не думая о том, каков будет результат.

Спокойно выслушав мои доводы (сейчас я изложил их значительно короче, чем в том своем монологе), он сказал – все с той же хорошо мне знакомой, ласковой и печальной «улыбкой Будды»:

– Понимаете... Когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости.

Это была все та же концепция. И родилась (сложилась) она у него, конечно, не от хорошей жизни.

Примерно в то же время, о котором я сейчас вспоминаю, году этак что-нибудь в 60-м или 61-м, случилось мне быть свидетелем такого эпизода.

Дело было на каком-то вечере поэзии – одном из тех многолюдных сборищ, где выступали совсем молодые тогда Евтушенко и Вознесенский и куда многочисленным их поклонникам приходилось прорываться сквозь кордоны и оцепления конной милиции.

Если память мне не изменяет, в тот раз это происходило в Политехническом.

Уж не знаю, как и почему, на сцене, за столом президиума вместе с выступавшими на том вечере поэтами оказался Виктор Борисович.

Громовым своим «голосом Дантона» (так писали о нем во время его поездки по Франции французские газеты: «Человек с голосом Дантона») он проорал в зал несколько не очень понятных собравшимся фраз и прочел какое-то – сейчас уже мне не вспомнить, какое именно, – стихотворение Мандельштама.

Ему довольно прохладно похлопали: все жаждали выступлений своих кумиров, и Шкловский (да, пожалуй, и Мандельштам тоже) в той аудитории мало кого интересовал. Но вслед за ним к микрофону вышла юная, прелестная Белла Ахмадулина. Промяукав что-то высокопарное и тоже не слишком понятное, она вдруг обернулась к президиуму и, обращаясь прямо к Виктору Борисовичу, с пафосом произнесла:

– Я еще не родилась, а вы – вы все! – уже предали друг друга!

Пафос этого ее разоблачения был, конечно, нацелен во всех «отцов», во всех писателей и поэтов старшего поколения, которых за тем столом тоже сидело немало. Но прозвучало это так, как будто имела она в виду именно Шкловского. Прежде всего и главным образом – его одного.

И так оно, наверно, и было.

Осенью 1958 года, когда разразилось «землетрясение», вызванное присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку, Виктор Борисович был в Ялте.

Услыхав по радио радостную весть (это было еще «до зем-

летрясения», до самого первого его толчка), он и живший в том же ялтинском Доме творчества Илья Сельвинский решили поздравить товарища, удостоившегося самой высокой, какая только есть в мире, литературной награды.

У Шкловского с Пастернаком отношения были давние, еще с ранних футуристических, а потом и лефовских времен. А Сельвинский числил Бориса Леонидовича в ряду главных своих поэтических кумиров. В написанном во время войны стихотворном своем признании в любви к России так прямо и написал:

Люблю великий русский стих,
Еще не понятый однако,
И всех учителей своих –
От Пушкина до Пастернака.

Поделившись друг с другом радостной вестью, они вдвоем отправились на почту и отбили Борису Леонидовичу телеграмму, в которой от души поздравляли его с заслуженной высокой наградой.

А наутро разразилось «землетрясение».

Пришли газеты, из которых они узнали, что литературная общественность, а с нею и весь советский народ гневно осуждают отщепенца, продавшего свое перо империалистам.

Выяснилось, таким образом, что вся рота шагает в ногу, и только один прапорщик (в данном случае – два прапорщика) шагают не в ногу.

Допущенную роковую ошибку надо было срочно исправлять.

А как?

Шкловский и Сельвинский не придумали ничего лучшего, как побежать в местную, ялтинскую «Курортную газету» и опубликовать там «Письмо в редакцию», в котором спешно присоединяли свои голоса к голосам товарищей, дружно клеймящих предателя, пробравшегося в их стройные ряды.

Участие Виктора Борисовича в той развязанной начальством идеологической кампании, как будто тем и ограничилось. Чего нельзя сказать о втором участнике этой постыдной эска-

пады. Вернувшись из Ялты в Москву, он продолжал клеймить Пастернака – то в прозе, то в стихах. И даже когда кампания давно уже пошла на убыль, опубликовал в «Огоньке» обращенное к Борису Леонидовичу стихотворение, начинавшееся строкой: «А вы, поэт, ласкаемый врагом!..»

Этот его подвиг был отмечен блистательной эпиграммой, истинной жемчужиной тогдашнего нашего «интеллигентского фольклора».

Тексту ее предшествовали два эпитафия:

... всех учителей моих –
От Пушкина до Пастернака!
(Из старых стихов И.С.)

Человечье упустил я счастье:
Не забил ни одного гвоздя.
(Из новых стихов И.С.)

А сама эпиграмма звучала так:

Всё позади – и слава, и опала,
Остались зависть и тупая злость...
Когда толпа учителя распяла,
Пришли и Вы – забить свой первый гвоздь.

Назвав этот текст произведением «интеллигентского фольклора», я слегка погрешил против истины. Фольклором ведь мы именуем обычно произведения, автор которых остался неизвестным. Что же касается автора этого маленького шедевра, то им был человек хорошо мне известный – добрый мой приятель Миша (Михаил Львович) Левин. К стыду моих коллег, не литератор, а – ученый, физик.

Вернусь, однако, к Виктору Борисовичу.

Его участие в антипастернаковской кампании, как я уже сказал, ограничилось только тем постыдным письмом в редакцию «Курортной газеты». Да и было оно, в сущности, вынужденным. (Так, во всяком случае, ему это представлялось: «Когда мы уступаем дорогу автобусу...») Но даже и это, не самое активное соучастие во всенародной травле несчастного поэта, наверняка время от времени томило его угрызениями совести.

Как-то во время одной из наших вечерних дачных посиделок зашла у нас – сейчас уж не помню, в какой связи, – речь о Пастернаке.

И Виктор Борисович вдруг задумчиво сказал:

– Да, с Борей мы поступили нехорошо. Неправильно.

– Виктор Борисович! Почему вы говорите «мы»? – удивилась моя жена.

Ее удивление было искренним, я бы даже сказал – простодушным: про тот его ялтинский подвиг она ничего не знала.

Поскольку она нечаянно, сама о том не подозревая, наступила ему на «любимую мозоль», я сразу понял, что эта невольная допущенная ею неловкость даром нам не пройдет.

Но реакция Виктора Борисовича оказалась совершенно непредсказуемой.

– Я никогда не был внутренним эмигрантом! – вдруг заревел он своим «голосом Дантона».

Ничего не понимающая моя жена испуганно молчала. Испуганно молчала и Сима (Серафима Густавовна). Она была бледна и, как мне показалось, напугана этим внезапным взрывом даже больше, чем непосредственная его виновница: наверно, лучше, чем мы с женой, знала, каков ее Витя в гневе, и боялась, как бы его гнев не обрушился и на нее.

Я тоже на некоторое время лишился дара речи. Но, улучив момент, все-таки прорвался сквозь Дантонов рёв Виктора Борисовича первой пришедшей мне на ум умиротворяющей фразой.

– Успокойтесь, Виктор Борисович, – сказал я. – Мы знаем, что вы никогда не были внутренним эмигрантом. Вы были внешним.

Эта незатейливая шутка неожиданно его отрезвила: что-то, а юмор он чувствовал хорошо.

В общем, он постепенно остыл, и вечер закончился вполне мирно.

А вот другой такой же конфликт, вспыхнувший по сходному поводу, растянулся на несколько недель и едва не кончился полным разрывом наших отношений.

Виновником разразившегося скандала на этот раз был я. И, как это ни смешно, спровоцировал скандал точь-в-точь как в тот раз моя жена – по неведению.

Началось с того, что я и двое моих друзей-соавторов (Лазарь Лазарев и Стасик Рассадин) решили в очередной раз написать пародию на Шкловского. Я говорю – в очередной раз, потому что одна пародия на Виктора Борисовича у нас уже была написана. Эта была – вторая.

Писать пародии на Шкловского – одно удовольствие. Его художественный почерк, сам характер его причудливого, скачущего, ассоциативного мышления, всё это – клад для пародиста.

В общем, сказано – сделано: сочинили.

Называлась она – «Письма не о кино»:

Раньше я думал, что зимой холодно, а летом жарко.

Многие и теперь продолжают думать так же.

Им кажется, что яблоки все еще падают сверху вниз, как во времена Ньютона.

Так вот об Эйнштейне.

Эйзенштейн был гений.

Сашко Довженко тоже был гений. Кроме того, он был моим другом.

Сашко снял ленту «Земля».

Друг моей юности Абрам Ром снял ленту «Гранатовый браслет».

Феллини такую ленту не снял бы. Его ленты поставлены, но не осуществлены.

В них эксцентризм работает, как эксцентрик на распределительном вилу дизеля.

Но я пишу эти письма не о кино. Я пишу о климате.

«Климат» слово греческое. Кажется, так. Надо посмотреть в словаре иностранных слов.

«Дворник» слово русское, хотя в моей молодости дворниками были татары. Это слово означает «человек с метлой». Метла – протез дворника. Она продолжает его руку, и сама продолжается в ней. В ее черенке локализуется его сила. Сила меняет психологию. Психология меняет климат.

Ну и так далее.

Пародия – как пародия. Не хуже и не лучше многих других. Но чего-то в ней не хватало. Какой-то изюминки.

И тут я вспомнил, что когда-то, давным-давно, занимаясь в спецхране Ленинской библиотеки Эренбургом, в каком-то эмигрантском журнале прочел крохотную статейку Шкловского, которая совершенно неожиданно, без всякой связи с предыдущим текстом, завершалась фразой: «Роману Яacobсону – привет!»

А может быть, это была и не статейка, а напечатанное в журнале письмо: Шкловский тогда декларировал смешение этих жанров как некий художественный принцип, рожденный причудливыми обстоятельствами, в которых литератору приходилось в то время жить и работать:

Дорогой Рома!

Надя вышла замуж.

Пишу тебе об этом в журнале, хотя и небольшом, оттого, что жизнь уплотнена.

Если бы я захотел написать любовное письмо, то должен был бы сперва продать его издателю и взять аванс.

Это из «Письма к Роману Яacobсону», которое Шкловский напечатал в эренбургском журнале «Вещь». Этот журнал я и читал тогда в спецхране, и мне мнилось, что фраза «Роману Яacobсону – привет!» – из того же журнала. Но сейчас, когда я захотел это проверить, оказалось, что там ее нет: видно, что-то перепутал.

Как бы то ни было, эта запомнившаяся мне с тех спецхрановских времен и восхитившая меня фраза безусловно принадлежала Шкловскому. И Шкловскому именно тех времен, когда он был не внутренним эмигрантом, а внешним.

Фраза была лихая, озорная, а главное – очень «шкловская». И я подумал, что она как нельзя лучше годится для того, чтобы стать той изюминкой, в которой так нуждалась не вполне получившаяся наша пародия. Я поделился этой нехитрой идеей с друзьями-соавторами, она им понравилась, и, не мудрствуя лукаво, мы приписали к нашей пародии еще одну, вот эту строку: «Роману Яacobсону – привет!».

Благодаря этой фразе пародия – так нам, во всяком случае, тогда казалось – обрела окончательный блеск, и мы напечатали ее в «Литературной газете».

Шкловские в это время были в Ялте.

У меня сохранилось письмо, которое Виктор Борисович тогда прислал мне (вернее, не мне, а нам, всему нашему семейству) оттуда.

Дорогой Бен.

Привет из Ялты от Симы и от меня Вам, Славе, Феликсу.

В Ялте дождь шел с 27-го по 16 мая... Вероятно 16 дней.

Кроме того я падал с лестницы. *(Длинными косыми линиями изображен дождь и нарисована лестница, с которой кувырком летит маленький лысый человечек. Для ясности рисунок сопровождается пояснительными обозначениями: «Дождь», «Лестница». А человечек обозначен инициалами «ВШ», то есть «Виктор Шкловский».)*

Сейчас уже четыре часа солнце.

16 едем в Коктебель горной дорогой.

(На рисунке — ломаная линия, изображающая горную дорогу, а на ней — маленький автомобильчик, на который справа указывает стрелка с надписью: «Едем». Ниже — не такая ломаная, лишь слегка волнистая линия, под которой — надпись: «Море».)

В Коктебеле будет Карадаг и солнце.

(Такая же ломаная линия, изображающая Карадаг, в центре — солнце, по одну сторону которого одна человеческая фигурка с надписью «Сима», а по другую — другая, с надписью «Я!». Внизу — прямая линия с надписью: «Море».)

Что с Вашей статьей и круговращением сфер.

Пишите!!!

Здесь Каплер с Каплершей.

Здесь Ермолинский, Оксман и т.п.

Нордик приходит редко мы его кормим, но он худ и печален. Стоит на лестнице и просит подаяния. Но ест из осторожности не всё, что дают — предпочитает умереть с голоду. *(Очень недурно, уже не наподобие детского рисунка, а совсем реалистично изображен пёс Нордик).*

Я ем всё подряд и мне даже ничего.

Пьем кофе.

Виктор Шкловский.

14 мая 1964 года.

Я привел тут это письмо отчасти для того, чтобы показать, какими тесными – почти родственными – были тогда наши отношения. Но – лишь отчасти. А главным образом потому, что очень виден в нем тогдашний Виктор Борисович – живой, озорной, нестареющий, благодушный, доброжелательный, постоянно интересующийся моими жалкими тогдашними литературными успехами («Что с вашей статьей?..»).

Как видите, даже дальность расстояния, пролеглишего между нами, не мешала продолжавшемуся постоянному нашему общению. Ну а как только Виктор Борисович и Сима вернулись (уже не из Ялты, а из Коктебеля) в Москву, в тот же вечер мы были у них.

Вечер прошел, как говорится, в теплой, дружественной обстановке.

Я показал Виктору Борисовичу «Литгазету» с нашей пародией. Читать ее (Бог уберет!) он не стал, только глянул на шарж, которым она была проиллюстрирована. Когда я спросил, понравился ли ему рисунок, он сказал:

– Нет!

И тут же объяснил, почему он ему не понравился:

– У меня иначе шея прикреплена к плечам. Я сильный человек. Когда Боря Эйхенбаум въезжал в новую квартиру, я завязал узлом кочергу. А не так давно, когда Боря умер, на поминках, я эту кочергу развязал.

Засиделись мы в тот вечер, как водится, допоздна и расстались довольные друг другом, в самом что ни на есть лучшем расположении духа.

А наутро разразился скандал.

И какой!

Чуть ли не на рассвете меня разбудил какой-то особенно пронзительный телефонный звонок.

Звонил Шкловский.

Я сразу узнал его «голос Дантона». Но понять, о чем он, не смог – ни сразу (спросонья), ни потом, когда сна у меня уже не было ни в одном глазу.

Это был какой-то дикий нечленораздельный рёв.

Мне удалось – и то далеко не сразу – разобрать только слово «Якобсон». Потом опять – долго – из трубки неслось что-то

нечленораздельное. А потом я – на этот раз вполне отчетливо – услышал такую фразу:

– Как сказал Блок Чуковскому, не лезьте своими грязными одесскими лапами в нашу петербургскую боль!

Это было так ужасно, что я, не дослушав, бросил трубку.

Этой фразой он словно хлестнул меня хлыстом по лицу. Такого оскорбления – даже от Шкловского – снести я не мог. Всё, – подумал я. – Что бы там ни было, никакие отношения с ним для меня теперь невозможны.

А главное – я ничего не понимал.

Не может же быть, чтобы он обиделся на нашу пародию!

Во-первых, ничего обидного, как мне казалось, в ней нет. Во-вторых, на пародии вообще не принято обижаться. А в третьих, как я уже говорил, с чувством юмора у Виктора Борисовича всегда все было в порядке.

Всё это было так странно, даже, я бы сказал, дико, а главное, необъяснимо, что я рассказал о скандале нескольким друзьям. Все они отнеслись к моему рассказу примерно одинаково: «Не обращай внимания! Старик просто спятил!» И только один из них – Костя Богатырев – открыл мне глаза.

– Ну и болван же ты! – сказал он, выслушав мою горестную историю. – Ты что, в самом деле ничего не знал?

Костя был сыном Петра Григорьевича Богатырева, старого опоязовца, близкого друга и Шкловского, и Якобсона. Роман Осипович знал Костю чуть ли не с пеленок и, приезжая в Москву, всякий раз с ним встречался. Встретился и в этот свой приезд. И рассказал ему то, о чем Костя тут же поведал мне. Так что историю эту я узнал, можно сказать, из первых рук.

Именно в это самое время, перед самым своим отъездом в Ялту, Виктор Борисович решил помириться с приехавшим в Москву Якобсоном, отношения с которым к тому времени у него уже совсем разладились. Он послал ему несколько своих книг с дружескими, отчасти даже покаянными, дарственными надписями. Роман Осипович, – так рассказал мне Костя, – все эти надписи перечеркнул, а книги вернул.

Впоследствии я узнал, что дело было не совсем так.

Послал Шкловский Якобсону, как оказалось, не несколько

своих книг, а только одну, последнюю: вышедшую как раз в то время большую книгу о Толстом. А надпись на ней была такая:

Ромка, ты меня не понял, нам надо объясниться, прости меня. Здесь очень жарко и коньяк, я путаюсь. Витя.

Якобсон отослал книгу обратно, написав поперек надписи бывшего друга:

Советую тебе никогда не путаться, даже за коньяком.

И что-то еще добавил, напоминая о причинах ссоры.

Ничего этого я, как уже было сказано, не знал, но о том, каковы были причины их ссоры, как мне тогда казалось, догадывался.

Я знал, что Виктор Борисович в многочисленных своих статьях и книгах не раз отрекался и от «Опояза», и от формализма, уверяя советскую общественность, что давно и далеко ушел от этих заблуждений и грехов своей молодости. («Когда мы уступаем дорогу автобусу...»)

Это я знал очень хорошо. Но не думал, что его размолвка с Якобсоном так глубока. А главное – не знал некоторых весьма важных подробностей.

Он не только отрекался от Якобсона, не только отмежевывался от его формалистических идей и концепций, но время от времени еще и пощипывал его, уличая в разного рода заблуждениях. А главное – даже не упомянул его в своих мемуарах (Виктор Шкловский. Жили-были. Воспоминания. Мемуарные записи. Повести о времени: с конца XIX в. по 1962 г. М., 1964). То есть, в сущности, вычеркнул его из своей жизни, из истории «Опояза», из своей литературоведческой юности.

Никаким «уступанием дороги автобусу» этот его поступок объяснить было невозможно. И очевидная его неприглядность вызвала не только недоумение, но и нескрываемое негодование даже у ближайших друзей Виктора Борисовича.

Вот, например, что писал ему по этому поводу высоко его ценивший и высоко им ценимый Юлиан Григорьевич Оксман:

Перелистываю второе издание «Жили-были». Раньше я дергался, проглядывая те страницы, которые «потерялись» в

издательстве. Сейчас ахнул, убедившись, что ты «забыл» и о Романе. А как же можно вспоминать об Опоязе, забыв Романа? Это ведь именно то, что называется фальсификацией истории. Еще так недавно ты с таким блеском по этому поводу громил Зелинского. И впал в то же самое прегрешение, забыв, что перед историей ты отвечаешь гораздо больше, чем другие твои современники. Мне недавно рассказывали, что Роман совершил в августе триумфальную поездку по Грузии, где его принимали самые высокие начальники. На приеме в Академии (или Университете) его спросили, почему Шкловский исключил его из Опояза. На это он ответил, что герольды не всегда хорошо знают своих господ, особенно если меняют их слишком часто. Конечно, это принято было как чистый хамеж, и успеха он не имел. Тебя любят больше, чем Яacobсона (и сам ты — много больше его), но это не освобождает от ответственности за страницы об Опоязе. Их надо доделывать, хотя бы для потомства, которого мы не увидим.

Шкловский ответил на это письмом, после которого его отношения с Оксманом прервались на три года:

Роман на меня нападает. Я не могу дать ему бой с открытым перечислением того, что нас разделяет. Не то время. Я принужден работать молча. Он цитирует меня («отношение материалов, а не материал»), не называя и тем приписывая себе в 1966 году то, что было точно теми же словами сказано в 1919.

Ко всем прочим обидам, стало быть, прибавилась еще и эта: обида за свой, «забытый» бывшим другом, научный приоритет.

Вот в какое сложное сплетение «взаимных болей, бед и обид» я нечаянно влез своими «грязными одесскими лапами».

Знал бы я тогда хоть малую часть того, что знаю теперь, — хотя бы только то, что потом рассказал мне Костя, — разве пришло бы мне в голову вставлять в нашу пародию этот злополучный, как мне казалось, вполне невинный, а на самом деле так больно задевший его «привет Роману Яacobсону»?

Про то, что он не трижды, как святой Петр, а многожды от-

рекался не только от ранних – ослепительных – своих теорий, но и от бывших друзей и соратников, я, конечно, знал. Но я – как бы это сказать – выносил это за скобки.

Какое право имел я судить, а тем более осуждать его?

Не только себе, но и другим я решительно отказывал в этом праве.

Как можно было осуждать за недостаток стойкости человека, который еще до моего рождения, сорок лет тому назад открыто, во всеулышание объявил, что **сдается**?

Так прямо и написал в последнем письме своей книги «Зоо, или письма не о любви». В отличие от всех предыдущих это письмо было адресован во ВЦИК СССР. И вот что там говорилось:

Я поднимаю руку и сдаюсь.

Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке вычищенные черной ваксой, синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку...

На мне брюки со складкой. Она образовалась тогда, когда меня раздавило в лепешку.

Не повторяйте одной старой Эрзерумской истории; при взятии этой крепости, друг мой Зданевич ехал по дороге.

По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех у них сабельные удары пришлись на правую руку и в голову.

Друг мой спросил:

– Почему у всех них удар пришелся в руку и голову?

Ему ответили:

– Очень просто, аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку.

Вот так.

Какие требования можно предъявлять к человеку, который сам сказал о себе, что его «раздавило в лепешку»?

Никто и не предъявлял.

Сказав, что никто и не предъявлял, я, конечно, имел в виду тех, кто любил Виктора Борисовича, – его друзей, учеников, поклонников.

Но и это не совсем так.

Был среди них (его друзей, учеников и поклонников) один, который не только не прощал ему ничего, но и постоянно напоминал ему обо всех его прегрешениях – колол, щипал, топтал, вытирал об него ноги, не упуская малейшего повода, чтобы укусить, а часто даже и не искал никакого повода, просто так, ни с того ни с сего вонзал в него свое жало.

Этим самым непримиримым врагом Шкловского, самым злым, постоянно кусавшим его оводом был любимый ученик Виктора Борисовича – Аркадий Викторович Белинков.

Совсем недавно один из нынешних газетных борзописцев, принадлежащий к поколению уже не «детей» (как юная Белла), а скорее «внуков», размышляя об опубликованных недавно протоколах допросов арестованного в 44-м году Аркадия Викторовича, написал (и напечатал) буквально следующее:

От протоколов допросов пахнет сенсацией: обилие Шкловского в беседах со следователем наводит на мысль, что Шкловский на Белинкова в 1944 году и стукнул, о чем Белинков догадался и потому посвятил Шкловскому некоторое количество ненависти в романе о Юрии Олеше «Сдача и гибель советского интеллигента», на что Шкловский ответил тоже ненавистью.

*(Михаил Золотонос. Пиня из Жмеринки.
«Московские новости», 11–17 ноября 2003)*

Автор дает понять, что эта его версия – только догадка. Так сказать, рабочая гипотеза.

Вообще-то, за такие гипотезы в приличном обществе сразу бьют по морде. Но – что правда, то правда: ярость, с какой Аркадий постоянно нападал на своего учителя, и в самом деле наводит на мысль о какой-то особой, потаенной, сугубо личной причине для этой неиссякающей страсти.

Золотонос, конечно, тут мало что понял. Можно даже сказать – не понял ничего. Думаю, что и книгу Белинкова об Олеше он не читал: если бы читал, вряд ли бы назвал ее романом. Но статья его не о книге, а о протоколах допросов.

Да, имя Шкловского действительно в тех допросах упоминается часто. Но как было следователям не интересоваться пер-

соной учителя арестованного антисоветчика, который к тому же даже и после его ареста пытался заступиться за своего прощтрафившегося ученика?

Чистая ложь – то, что Шкловский отвечал на эти выпады Аркадия «тоже с ненавистью».

Да и те чувства, которые автор книги про Юрия Олешу постоянно выливает на Виктора Борисовича, в понятие «ненависть» тоже не больно укладываются.

Если даже это была и ненависть, – то ненависть совершенно особого рода.

Сложные, запуганные отношения, разобраться в которых и тем, кто близко знал обоих, не так-то просто. Однако – попробую.

4

Когда в 1946-м году, прямо со школьной скамьи, я пришел в Литературный институт, старые литинститутцы, задирая нос перед такими желторотыми юнцами, как я, с гордостью перечисляли всех, кто в разное время учился в их «лицее». Громко назывались имена Константина Симонова, Маргариты Алигер. И шепотом – другие имена, тогда нам ничего не говорившие.

Из тех, о ком говорили шепотом, особенно мне запомнилось имя Аркадия Белинкова. О нем рассказывали, что он написал книгу, которую назвал так: «Черновик чувств. Антисоветский роман». Роман этот он довольно широко читал в кругу не очень близких знакомых. Последствия не замедлили сказаться. Ходили слухи, что Белинков расстрелян. (А на что еще, собственно, мог рассчитывать человек, который сам назвал сочиненный им роман антисоветским, если за сравнительно невинный анекдот в те годы свободно можно было схлопотать «десятку».)

Впоследствии выяснилось, что приговор был несопоставимо более мягкий: 8 лет лагеря. Но там, в лагере, он был осужден еще раз – на 25 лет...

И вот он – жив. Реабилитирован. (Впрочем, нет – кажется, пока еще только амнистирован.) Живет в Москве. И даже опубликовал книгу – говорят, замечательную – о Тынянове.

Книгу я прочел, и она действительно оказалась замечательной. А потом до меня стали доходить разного рода устные рассказы о Белинкове. В основном от общих знакомых: Виктора Борисовича Шкловского и Серафимы Густавовны Нарбут. (Белинков одно время жил у них на даче в Шереметьевке.)

В рассказах этих он представлял совсем не таким, каким рисовало его мое воображение. В них возникал образ человека жеманного, манерного, кокетливого и – отчаянного лгуна.

В том же духе изобразил мне как-то Белинкова (впрочем, без всякого осуждения, скорее с симпатией, пронизанной добродушным юмором) мой друг Эма Мандель. В одной компании ему передали рассказ Аркадия о том, как следователь пытал его, вымогая признание. Пытка была такая: следователь якобы опускал ноги подследственного в кастрюлю с кипящей водой. Кастрюля стояла на примусе, который следователю приходилось время от времени подкачивать. Соль рассказа состояла в том, что примус работал очень плохо, следователя это злило, а душу подследственного переполняло злорадным весельем: вот, даже орудия пытки (примус) и те у них никуда не годятся...

Выслушав эту историю, Мандель, который и сам провел одиннадцать месяцев во внутренней тюрьме Лубянки, выразил сомнение в ее правдоподобии. И вот однажды на улице к нему подошел Белинков и, церемонно раскланявшись, сказал:

– До меня дошли слухи, что вы защищали от меня сталинских палачей. Вас будто бы привели в негодование мои рассказы, бросающие тень на их светлый образ...

– Нет, – слегка растерявшись, ответил Мандель. – Я никого не защищал. Я только усомнился в достоверности вашей истории про примус.

– А-а, стало быть, сталинских палачей вы не защищали? – с удовлетворением констатировал Белинков.

– Нет, сталинских палачей не защищал, – решительно подтвердил Мандель.

– Тогда другое дело.

Вполне удовлетворенный этим объяснением, Белинков, так же церемонно раскланявшись, удалился.

Таких анекдотов о Белинкове я слышал множество. И хотя

у меня не было никаких оснований им не верить, я все-таки думал, что на самом деле он совсем не таков, каким его обычно изображают. Очень уж не соответствовал этот образ моим представлениям о человеке, отважившемся не только сочинить, но и читать вслух «антисоветский роман».

Однако когда я познакомился с Аркадием и в особенности когда сошелся с ним поближе, я убедился, что все эти юмористические истории довольно точно передают характер этого необыкновенного, причудливого, экстравагантного человека.

Он был миниатюрен, изящен. Внешне (узкое лицо, гладко зачесанные набок темные волосы, очки в тонкой оправе) слегка напоминал Грибоедова. Очень любил изысканные, архаические речевые обороты. Один из самых любимых: «Полноте, голубчик!» Никто из моих сверстников и даже те из моих знакомых, которым я годился в сыновья, таких выражений не употребляли. Всё это наводило на мысль, что Аркадий стилизует себя – и внешний облик, и манеры, и речь – под старого русского интеллигента. Но это не было чистым актерством. То ли облик этот пришелся ему точно впору, оказался самой подходящей одеждой для его душевного склада, то ли маска, как говорят в таких случаях, прочно приросла к лицу.

Однажды у нас зашла речь о довольно близком к нему человеке, которого многие тогда считали стукачом. Незадолго до того был обыск у одного видного литературоведа, который якобы рассказывал потом, что обыскивавшие подходили к его книжным полкам и безошибочно точным жестом снимали с них именно те книги, которые на протяжении последних месяцев брал у литературоведа почитать тот самый человек, которого многие и раньше подозревали (а теперь эти подозрения укрепились) в стукачестве.

Аркадий по этому поводу сказал:

– Вы, люди цивилизные, очень падки на такие обвинения. С лёгкостью необыкновенной так сразу и припечатываете: «стучак!» А мы, старые лагерники, на сей счёт весьма щепетильны. Я бы не советовал вам, голубчик, повторять этот слух. По крайней мере до тех пор, пока он не получит совершенно точных и неопровержимых подтверждений.

Я согласился, что называть человека стукачом, основываясь на слухах, возмутительно.

Прошло несколько дней, и Аркадий вернулся к этой теме.

– Вы помните, голубчик, давеча мы с вами говорили о Таком-то, что он, дескать, тайный агент охраны. Так вот, сведения эти, как ни грустно, полностью подтвердились.

– Да что вы?

– Увы, друг мой. С совершенной точностью. Однако же не скрою от вас, что я вовсе не намерен на этом основании отказывать ему от дома.

– Вот как? И приятельствовать с ним по-прежнему будете? – спросил я, невольно впадая в свойственную Аркадию изысканную манеру речи.

– А почему бы и нет? Бояться мне, слава Богу, уже нечего. Я своё заплатил сполна. А что до его нравственных качеств, так они меня, по правде говоря, мало заботят.

– То есть как? – изумился я.

– А вот так. Человек он занятный. Притом у него множество достоинств.

– Например?

– Например, бескорыстная любовь к литературе.

– А как эта бескорыстная любовь, – уже слегка раздражаясь, сказал я, – сочетается у него с отнюдь не бескорыстной службой в Третьем отделении?

– Ах, полноте, голубчик! Разве Гончаров не был цензором? Ведь это же Россия!

Продолжать спор я не стал, тем более что он тут же переключился на другую тему.

– Я что-то сегодня совсем скверно себя чувствую. Вы не проводите меня до дому? Боюсь, один я нынче просто не дойду.

Жил он тогда неподалеку от меня – на Красноармейской. Мы двинулись в путь. Шел он очень медленно, поминутно останавливаясь и картинно изображая, что ему не хватает воздуха. Я не сомневался, что ему действительно худо: уже тогда я знал, что человек он очень больной. Но незадолго до того наш общий знакомый Юра Тимофеев, знавший Аркадия с детства, рассказал мне, что в Доме творчества в Переделкине у Аркадия был тяжелейший сердечный приступ. Юра привёл к нему

по случаю оказавшегося в том же Доме известного кардиолога, давнего своего знакомого. Отвечая на расспросы профессора, Аркадий сообщил ему, что тяжелая сердечная болезнь, которой он страдает (ревмокардит), приобретена им в лагере и является результатом пыток и издевательств сталинско-бериевских палачей.

– Зачем он морочил ему голову? – удивлялся Юра. – Кто-кто, но я-то ведь прекрасно знаю, что ревмокардит у него с раннего детства!

Может быть, ощущение, что Аркадию не так уж худо, как он старается это изобразить, возникло у меня под влиянием этого рассказа.

Как бы то ни было, хоть и гораздо медленнее, чем мне бы хотелось, но мы все-таки дошли до его дома и остановились под окнами, намереваясь распрощаться и разойтись. Но тут вдруг распахнулось окно и нас облили, как мне сперва показалось, водой.

– Вот чёрт! – довольно беззлобно пробормотал я. Но, принявшись, убедился, что то была отнюдь не вода. Не могло быть ни малейших сомнений, что кто-то из соседей Аркадия просто-напросто сблевал на нас сверху. Тут уж я «чёртом» не ограничился, произвольно прибегнув к более сильным выражениям.

– Дорогой Бен, – попытался утихомирить меня Аркадий. – Я не советовал бы вам так откровенно намекать на ваши интимные отношения с матушкой этого хама. Чего доброго, он еще решит, что вы и впрямь ее дефлорировали.

Это тонкое рассуждение меня не остановило. Я прибегнул к еще более сильным выражениям. На что услышал знакомое:

– Полноте, голубчик! Это же Россия!

На другой день я заглянул к нему, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он лежал на кушетке в позе умирающего. На моё приветствие ответил слабым движением руки. Вид у него при этом был совсем не болезненный: на щеках играл румянец, глаза блестели.

– Выглядите вы отлично! – бодро сказал я, ничуть при этом не покривив душой.

– Да, – слабым голосом ответил он. – Как раз незадолго до вашего визита я написал об этом небольшой рассказ. Благово-

лите взглянуть... Он совсем коротенький... Лежит прямо на машинке...

На машинке лежал листок бумаги.

– Да, это он, – подтвердил Аркадий, проследив за моим взглядом. – Сделайте милость, прочтите!

Взяв в руки листок и не обнаружив на нем никакого текста, я перевернул его. На обороте было написано следующее:

– Как хорошо вы сегодня выглядите, – сказал Виктор Борисович Шкловский, навестив Сергея Михайловича Эйзенштейна.

– Да, с нами, сердечниками, это бывает, – ответил Сергей Михайлович, отвернувшись к стене и умер.

– Впрочем, – сказал Аркадий, – не будем сегодня говорить о смерти. У меня нынче день ангела. Приходите вечером. Будут... – И он перечислил несколько человек из числа наших общих знакомых, упомянув и того, кто отличался бескорыстной любовью к литературе, состоя одновременно нештатным сотрудником КГБ.

«И как это не надоест всегда притворяться, вечно играть какую-то роль, постоянно думать о том, чтобы не выйти из образа!.. – с раздражением думал я. – Опять это вечное вранье!.. У него, видите ли, сегодня день ангела!.. Ну какой у тебя, к чёртовой матери, ангел! Крестили тебя, что ли? В 1921-м году это было как-то уже не в обычае. Тем более в еврейских интеллигентных семьях...»

Я уже предвкушал унылый, тоскливый вечер. Что-то вроде известной картины: Белинский у постели больного Некрасова.

Каково же было моё изумление, когда, явившись на эти именины, я застал шумное застолье. Комната была набита битком. Дым стоял коромыслом. Аркадий смеялся, острил, ораторствовал, пил шампанское, самозабвенно танцевал твист.

Всё это продолжалось до глубокой ночи.

«Вот и верь после этого, что он болен! Актёр, фанфарон, феерический глун!» – уже совсем не сдерживая своего раздражения, думал я.

Впоследствии я готов был сгореть со стыда, вспоминая эти

свои мысли. Потому что в прочитанном мною в то утро «рассказе» Аркадия про Сергея Михайловича Эйзенштейна, как оказалось, не было и тени кокетства. Это была всего лишь спокойная констатация медицинского факта, истинность которого Аркадий довольно скоро неопровержимо подтвердил собственной смертью.

Он умер именно так, как предсказал в этом своём «рассказе», успев перед смертью совершить свой последний головокружительный прыжок: по какой-то не очень надёжной характеристике из группкома литераторов уехал с женой туристом в Югославию и, нырнув таким образом под железный занавес, махнул оттуда через океан в Америку.

Но это уже совсем другая история – куда более интересная, чем то, что я сейчас вспомнил и рассказал. А вспомнил и решил записать всё рассказанное выше я потому, что в тот вечер, когда я глядел на вдохновенно пляшущего Аркадия и злился, предвестие истины всё-таки коснулось меня.

«Нет, – подумал я тогда. – Он не лгун. Он – художник».

А недавно один дотошный человек каким-то чудом проник в архивы КГБ, разыскал и опубликовал протоколы допросов Аркадия. (Тех самых, на которые ссылался Золотоносов.) Протоколов таких сейчас опубликовано уже множество, и, казалось бы, еще одна стопка пожелтевших архивных документов, извлеченная из кагебешных закровов, ничем и никого уже не сможет удивить. И тем не менее, читая их, не перестаешь изумляться.

– Вы признаете, что изготовленные вами материалы являются антисоветскими? – спрашивает следователь.

По-разному отвечали последственные на такие вопросы. Кто пытался уйти в глухую несознанку. Кто начинал вилить, доказывая, что вовсе не имел в виду нанести ущерб любимой советской власти. Аркадий отвечает ясно и определённо:

– Да, признаю.

– С тех пор вы изменили свои антисоветские взгляды и убеждения? – следует новый вопрос. Это, в сущности, спасательный круг, кинутый утопающему. Ну как не ухватиться за него, не ответить: «Да, конечно... Это старые, давно преодоленные мною заблуждения... Сейчас я уже думаю иначе...»

Аркадий отвечает:

– Нет, не изменил.

И вот я, давно уже давший себе зарок никогда и ничему больше в жизни не удивляться, читаю эти его ответы, за которые ему и намотали там, в лагере, новый – двадцатипятилетний – срок, и не могу понять: откуда в этом хрупком, дышащем на ладан, изнеженном, жеманном человеке, – откуда в нем эта упорная, яростная, непобедимая сила сопротивления, эта способность не сломаться, даже не согнуться под страшным давлением чудовищной репрессивной машины, ломавшей и сгибавшей и не таких, как он?

Ну что тут ответишь...

Такой был человек. Такой характер.

Сравнительно недавно попались мне на глаза опубликованные в одном нашем толстом журнале странички из его архива. Читая их, я словно услышал живой голос Аркадия.

Сразу всплыл в памяти один наш разговор.

Прочитав в рукописи самый ранний вариант его книги об Олеше, я сказал ему, что все-таки он несправедлив к своему герою. Что ни говори, Олеша все-таки жертва, а не палач. И та яростная нетерпимость, то жгучее презрение, с которым он говорит об этом «сдавшемся интеллигенте», мягко говоря, не вполне оправданны.

– В конце концов, все ваши мысли останутся при вас, – убеждал я его. – Но можно ведь высказать их в более парламентских выражениях.

– Не-ет! – пропел он с каким-то почти садистским сладострастием. – Я хочу глуми-и-иться!

В этих прочитанных мною недавно страничках из его архива он тоже глумился:

Меня просят простить Эйзенштейна за гений, Алексея Дикого, сыгравшего Сталина после возвращения из тюрьмы (лагеря, заключения), за то, что у него не было другого выхода, Виктора Шкловского за его прошлые заслуги и особенности характера, Илью Эренбурга за статьи в «Красной звезде» во время войны, Алексея Толстого, написавшего «Хлеб», пьесы об Иване Грозном и много других преступных произведений, за брызжащий соком истинно русский талант, простить Юрия Олешу за его метафоры и несчастья.

Мне советуют это друзья, люди, которых я люблю, которым нравится то, что я пишу, с которыми мы не расходимся в самых главных вопросах истории, социологии, географии, искусства, политики...

Я внимательно прислушиваюсь к мнению своих друзей и готов послушаться доброго совета.

Простим гениального Эйзенштейна, прекрасных актеров и писателей – Виктора Шкловского, Илью Эренбурга, Алексея Толстого и Юрия Олешу. Простим всех и не забудем самих себя. Простим и станем от этого еще возвышеннее и чище.

Только зачем всё это? Ну, простим. Ну, станем возвышеннее и чище. Но будет ли это научно? Я ведь писал о том, что они негодяи и предатели, не потому, что вот лично у меня Алексей Толстой отобрал рубль. Наоборот, когда меня арестовали, он даже пытался помочь мне, чего старательно избегали другие, объясняя многое сложностью международного положения. Я пишу о том, что они негодяи, именно потому, что это научно, а для науки мы готовы на всё. И вот для науки я заявляю, что дело не в прощении, о котором меня все просят, в том числе и беззащитные женщины, немощные старики и малые дети, а в том, что без науки нельзя объяснить причины падения и гибели русской интеллигенции.

(Аркадий Белинков. Из архива. Страницы 60-х годов, не вошедшие в книгу, или Ответ критикам годов девяностых. «Знамя», № 2, 2000)

Читая это, я словно бы слышал эхо тех давних наших разговоров и споров.

Тогда я защищал Олешу. Советовал заменить Олешу Эренбургом: он, как мне казалось, больше подходил на ту роль, которую Аркадий назначил Олеше. Да, Олеша тоже старался служить режиму. Но у него ведь в конечном счете из этого ничего не вышло. Не могло выйти. А у Эренбурга – вышло.

Но Аркадий и слышать не хотел этих моих советов. Ему нужен был именно Олеша.

Однажды у меня был разговор на эту тему с Маршаком. (Когда-нибудь я, быть может, расскажу об этом подробнее.)

Самуил Яковлевич спросил, читал ли я книгу Белинкова об Олеше. Речь, разумеется, шла о рукописи.

Я ответил, что да, читал.

– Ну? И что вы о ней думаете?

Я начал что-то мямлить насчет того, что Аркадий к Олеше слишком суров, что такого яростного глумления бедный Юрий Карлович не заслуживает.

– Голубчик! – быстро прервал меня Маршак. – Ну при чем тут Олеша? Ведь это же Герцен!

Он был прав, конечно. Менее всего книга Аркадия задумывалась как портрет (пусть сатирический) Юрия Карловича Олеси. Это был не портрет, а памфлет. Темой и сюжетом памфлета была – «Сдача и гибель советского интеллигента». А сдавшихся и погибших советских интеллигентов и помимо Олеси было – пруд пруди.

Но вся штука в том, что для того, чтобы сарказм его достиг герценовской силы и герценовского блеска, Аркадию был нужен именно Олеша.

Есть такой рассказ у Чапека. Называется он – «Рекорд». Парень, стоявший на берегу небольшой речки увидел, что на другом её берегу взрослый мужик нещадно лупит мальчишку, воровавшего в его саду черешни. Он крикнул ему: «Оставь мальчишку в покое, Пудил!» А тот в ответ: «А тебе что за дело, бродяга!», и продолжал лупцевать несчастного пацана. Герой рассказа этого скупердяя Пудила и раньше терпеть не мог. А тут – совсем взъярился: «Пудил! Отпусти мальчишку, слышишь?» Пудил подумал: «Что он может мне сделать?» И огрызнулся: «Пошел ты к такой-то матери, дубина!» И тогда тот, доведенный уже до белого каления, схватил тяжелый булыжник, кинул его в Пудила и сломал ему плечо.

Пострадавший обратился в полицию. Он требовал, чтобы его обидчика наказали. Но полицейский вахмистр, занявшийся разбирательством этого, казалось бы, совсем простого дела, подошел к нему с совершенно неожиданной стороны. Он взвесил камень (вещественное доказательство), замерил расстояние, которое этот камень, брошенный обвиняемым, преодолел, и пришел к выводу, что арестованный «членовредитель», сам того не подозревая, побил мировой рекорд по толканию ядра.

Судья, которому дело было доложено, как и вахмистр, ока-

зался пылким спортивным болельщиком. За парня взялись, требовали, чтобы он повторил свой рекорд. Был проделан один «следственный эксперимент», другой, третий. Но как они с ним ни бились, ничего не получалось. Вторично достичь того же результата незадачливый рекордсмен так и не смог. И только твердил:

– Зазря не смогу. А вот если вы снова поставите на том берегу Пудила, обязательно попаду. Очень уж я на него зол.

Примерно так же обстояло дело и с Аркадием Викторовичем Белинковым.

Чтобы сарказм его достиг герценовской силы, ему надо было, чтобы перед ним в качестве натуры поставили не кого-нибудь, а именно Олешу.

А еще лучше – Шкловского.

Над этой жертвой своего сарказма он глумится с каким-то особенным сладострастием:

Один некогда замечательный писатель (будем условно называть его «учитель танцев Раздватрис в новых условиях»), великий и горький грешник русской литературы, каждая новая книга которого зачеркивала каждую старую его книгу, улыбающийся человек, повисший между ложью и полуправдой, понимающе покачивал головой...

Пили чай. Обменивались жизненным и литературным опытом. Шутили...

– В годы культа, – рассказывал улыбающийся человек, – бывали случаи, когда в издательстве заставляли писать, что Россия родина слонов. Ну, вы же понимаете, – это не дискуссионно. Такие вещи не обсуждаются. Одиссей не выбирал, приставать или не приставать к острову Кирки. Многие писали: «Россия родина слонов». А я почти без подготовки возмутился. Я сломал стул... Я заявил. «Вы ничего не понимаете. Россия родина мамонтов!»

Не может быть никаких сомнений, что этот «учитель танцев Раздватрис в новых условиях», «великий и горький грешник русской литературы», «улыбающийся человек, повисший между ложью и правдой...» – не кто иной, как Виктор Борисович Шклов-

ский. («Одиссей не выбирал, приставать или не приставать к острову Кирки» – это именно он, Шкловский, – его, особенный, только ему присущий способ мышления, и его, уже хорошо нам знакомая концепция: «Когда мы уступаем дорогу автобусу...»)

Но почему все-таки в качестве мишени Аркадию нужен был именно Шкловский? В сдавшихся и погибших интеллигентах, как я уже сказал, недостатка не было: выбирай любого.

Почему же, в таком случае, в качестве мишени для самых острых и ядовитых своих сатирических стрел он постоянно выбирал именно его?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, мне придется опять припасть к тому же источнику: художественной литературе. Ведь она – эта самая художественная литература – главным образом для того нам и нужна, чтобы с ее помощью разбираться в самых запутанных и сложных психологических коллизиях, самых загадочных тайнах и вывертах человеческой души.

В знаменитом в пору моего детства (ныне, наверно, уже забытом) романе Этель Войнич «Овод» главный герой этого романа, талантливый памфлетист Феличе Риварес, подписывающий свои язвительные фельетоны псевдонимом «Овод», с неизменной страстью жалит своим сатирическим пером церковников – священнослужителей всех рангов, от рядового какого-нибудь прелата до самого папы. Но особую его ярость почему-то вызывает самый достойный из них, у простого народа пользующийся репутацией чуть ли не святого – кардинал Монтанелли.

Жизнь Ривареса – трудна и опасна. А для любящей его женщины – совсем уж невыносима. И она умоляет его бросить всё и уехать с ней «из этой ужасной страны, от этих людей, от политики». Уедем, говорит она, и будем счастливы.

Риварес отвечает, что это для него невозможно: здесь, в Италии, у него есть дело и товарищи.

И тогда – звериным чутьем любящей женщины она проникает в самую глубокую тайну его сердца:

– И еще кто-то, кого ты любишь больше, чем меня! – крикнула она с отчаянием...

— Тише, — сказал он. — Ты взволнована и воображаешь то, чего нет на самом деле.

— Ты думаешь, что я говорю о синьоре Белле? Меня не так легко обмануть. С нею ты говоришь только о политике. Ты так же мало любишь ее, как и меня. Ты думаешь только о кардинале.

Овод вздрогнул.

— О кардинале? — Повторил он машинально.

— Да, о кардинале Монтанелли... Разве я не видела твоего лица, когда проезжала его коляска? Ты был белый, как этот платок. Да и теперь ты дрожишь, как лист, как только я упомянула его имя.

— Ты не знаешь, о чем говоришь. Я ненавижу кардинала. Он мой злейший враг...

— Враг или нет, но ты любишь его больше, чем кого-либо на свете. Посмотри мне в лицо и скажи, что это неправда, если можешь...

— Это правда, — сказал он.

Те, кто читал — и еще помнит — эту старую книгу, вероятно, отметят, что положенную в ее основу психологическую коллизию я тут изобразил несколько упрощенно. Достаточно сказать, что кардинал Монтанелли был родным отцом Овода, о чем тот сперва не знал, а когда узнал — это стало для него глубочайшей душевной травмой. («Я верил в вас, как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь».)

Виктор Борисович отцом Аркадия не был. (Разве что — духовным его отцом.) И никогда ему — во всяком случае, ему лично — не лгал.

Но Аркадий любил его сыновней любовью. И чем сильнее была эта его любовь, тем исступленнее он на него нападал.

5

А сейчас я хочу объяснить, почему начал эту главу рассказом о сцене, которую разыграл наш друг Аркадий, когда, гуляя с ним близ нашего дома, мы столкнулись с женой Виктора Борисовича — Серафимой Густавовной. Видит Бог, сделал я это не ради одного только эстрадного эффекта.

Совет Аркадия я не выполнил: делать сравнительный текстологический анализ первого издания «Заметок о прозе русских классиков», которое еще не было посвящено «Симке Нарбут», со вторым, на титуле которого это посвящение уже красовалось, – так и не стал. Но наблюдая жизнь Виктора Борисовича и Серафимы Густавовны вблизи, не раз имел случай убедиться, что Аркадий имел-таки весьма серьезные основания считать, что «Симка Нарбут», как он упрямо ее называл, действительно оказывала не вполне благотворное влияние на жизненную, а стало быть, и литературную позицию Виктора Борисовича.

С некоторых пор я получил возможность наблюдать эту их жизнь вблизи не только в Шереметьевке, но и в Москве. Вскоре мы и тут со Шкловскими стали соседями, и вечерние наши посиделки перестали быть сезонными – стали постоянными.

Случилось это в 1962 году, когда мы с женой и маленьким сыном въехали в новый кооперативный дом на Аэропортовской, выросший неподалеку от дома, где жили Шкловские.

Когда кооперативный дом на Аэропортовской еще только строился, мы, будущие его обитатели, то и дело приходили полюбоваться, как идет стройка, и уходили счастливые, увидав, что дом вырос еще на пол-этажа. Не только мы с женой и сыном, почти все будущие жители этого дома до того ютились по коммуналкам, и грядущее вселение в отдельную квартиру представлялось нам немислимим счастьем.

Но когда я въехал в этот наш дом, в новую – первую мою отдельную – квартиру, сразу же обнаружилось, что двери в ней открываются очень туго. Так просто не откроешь. А двери, которые открывались сравнительно легко, – те не закрывались. То есть закрывались, конечно, если приложить силу, но тогда уж их было не открыть.

Много было и других недоделок.

Но я искренне полагал, что все это нормально. О том, чтобы строители исправили эти недоделки сами – по доброй воле или по приказу своего начальства – я, конечно, и не помышлял. Такая дурацкая мысль мне даже в голову не приходила. Нашел каких-то рабочих, привел их в новую свою квартиру, показал им все, что требовало вмешательства их золотых рук.

Работяги ходили за мной, смотрели, щупали все «недоделки», хмыкали, качали головами. И высказывались так:

– Да-а, не по-советски сделано... Не по-советски... Рази ж это работа? Да за такую работу этим работничкам руки и ноги перебить...

Я-то как раз не сомневался, что сделано всё это было как раз по-советски. Но объяснять им это не стал и не сказал даже, что от них жду как раз не советской, а настоящей, добротной работы. Говорить я им этого не стал, потому что уже понял (увидел), что работать они умеют.

А когда работа была закончена, я выставил пару-другую бутылочку и мы с ними выпили за мое новоселье. И тут у них развязались языки, и они мне признались:

– Хозяин! Да ведь это мы ж здесь и работали. Наша ведь это работа. Наши все недоделки-то...

Так выяснилось, что они не хуже, чем я, знали, в чем состоит разница между работой «по-советски» и работой «по-капиталистически», то есть – за живые деньги.

Не следует думать, однако, что все эти досадные мелочи, о которых я теперь вспоминаю, меня огорчали.

Ничуть!

Все эти мелкие неудобства и неурядицы воспринимались нами тогда как те соринки в ключевой воде, о которых Лев Николаевич Толстой говорил, что от них эта вода кажется только еще чище и слаще.

Да и сейчас, когда я вспоминаю те блаженные дни, в памяти сразу встают совсем другие подробности. Скорее милые, хотя – тоже смешные. Вспоминается, например, как наш семилетний сын в первый день заблудился в новых наших трех комнатах и, заплакав, объявил, что не хочет жить в этой огромной пустой квартире. Хочет назад, домой, на Беговую, в нашу восемнадцатиметровую комнату, где его детская кроватка была втиснута между нашей тахтой и почти не открывающимся из-за нее стенным шкафом. Во всяком случае, спать один в своей, отныне только для него одной предназначенной комнате он отказался наотрез. Кончилось все это тем, что первую нашу ночь в новой квартире все мы, втроем, провели, забившись в одну комнату.

Не только нашему семилетнему сыну, но даже жене моей на первых порах казалось, что три комнаты на троих – слишком уж большая роскошь: вполне хватило бы и двух. Вон даже Шкловские – не чета нам! – и те довольствуются двухкомнатной квартирой.

Шкловские, кстати, как они потом нам рассказали, вступая в свой писательский кооператив, тоже подали заявление на трехкомнатную квартиру. Но трехкомнатную им не дали. (По тогдашним нормам на двоих трехкомнатная не полагалась.) Так и прожил Виктор Борисович до самого смертного часа в этой своей двухкомнатной, где ему было все-таки тесновато: книги, книги, всегда, где бы ни жил, он обрастал невероятным количеством книг. Это была уже третья его библиотека.

В одной своей статье («О пользе личных библиотек и о пользе собрания книг в первых изданиях в частности») он написал:

Если от книг становится тесно и некуда поставить кровать, то лучше заменить кровать раскладушкой.

Вернусь, однако, назад: в новую нашу, уже не совсем пустую, но все-таки еще пустоватую квартиру.

Никаких новоселий мы не устраивали. Просто приходили друзья – поглядеть на новую роскошную нашу жизнь. Помню реплику Жени Винокурова: оглядев еще почти пустые наши комнаты (пустые – они казались совсем огромными), он сказал: – Я человек не завистливый. Но организм – реагирует.

Шкловских мы позвали на «осмотр объекта», когда уже слегка обставились.

Был приобретен какой-то дешевый польский гарнитур. И поскольку гарнитур этот был спальный (две легкие кровати, два шкафа – платяной и бельевой – и туалетный столик с высоким стоячим зеркалом, который мы с женой – возможно, неправильно – называли красивым французским словом «трюмо»), всю эту польскую рухлядь мы разместили в одной комнате – той, которая как раз и числилась у нас спальней.

Сима, оглядев это безобразие, сказала, что всё это никуда не годится.

Один шкаф сразу же был выдворен в комнату сына. Другой

убран в дальний угол, где все его уродство не так бросалось в глаза. А трюмо Сима распорядилась выставить в коридор, что тут же и было проделано.

Мы с женой радостно двигали мебель, послушно подчиняясь всем указаниям Симы. Но это последнее её распоряжение показалось мне несколько странным. По моим тогдашним представлениям это трюмо было – самой красивой вещью в нашей квартире. И вдруг ее – в коридор!

Виктор Борисович, как видно, заметив тень недоумения, а может, даже и легкого недовольства на моем лице, сказал:

– Слушайте Симочку. Она прирожденный дизайнер.

И тут же объяснил мне этот ее нестандартный дизайнерский замысел. Коридор в нашей квартире был длинный, тогда еще совсем пустой – этакая уродливая кишка во всю длину квартиры – и трюмо, по замыслу Симы, должно было хоть как-то скрадывать это его уродство.

Сказав в заключение, что сам он предпочел бы расположить по стенам коридора полки с книгами (я – тоже, что впоследствии и было сделано), он дал понять, что все эти сегодняшние перемещения мебели – весьма приблизительны: в будущем нас ждет еще множество других, самых разнообразных дизайнерских экспериментов. Может быть, при участии и под руководством той же Серафимы Густавовны.

А закончил так:

– Не спешите обживать квартиру. Когда квартира уже совсем готова – человек умирает.

Когда вся эта мебельная суета была закончена и мы наконец сели за стол, обсуждение проблем дизайна продолжилось. И тут Виктор Борисович снова повторил свой первоначальный тезис:

– Не спорьте с Симочкой. Иногда я тоже пытаюсь с ней спорить, но в конечном счете всегда оказывается, что она была права.

Эта его реплика напомнила мне восхитивший меня когда-то (вычитал в чьих-то мемуарах) диалог Маяковского с Асеевым.

– Колечка! – сказал однажды другу и соратнику Владимир Владимирович. – Никогда не спорьте с Лиличкой.

– Почему? – вскинулся соратник.
– Потому что Лиличка гораздо умнее вас.
– Ну уж!
– Да. И Лиличка всегда права.
– А если Лиличка скажет, что этот шкаф стоит на потолке?
– Согласитесь, что он действительно стоит на потолке.
– Ну, знаете, Володичка, – возмутился Асеев, – это уже рабство.

– Да? – парировал Маяковский. – А если взглянуть на это с точки зрения нижних соседей?

Владимир Владимирович, как мы знаем, считал, что Лиличка всегда права отнюдь не только в тех случаях, когда речь шла о местоположении какого-нибудь шкафа.

Но ведь любовь Маяковского к Лиле – случай совсем особый, можно сказать – уникальный, единственный в своем роде.

Иное дело – Виктор Борисович и Сима.

Оба они были тогда уже не молоды. Да и связал свою жизнь Виктор Борисович с Симой, насколько я могу судить, не по страстной любви – едва ли даже не случайно.

Я слышал, что он и не собирался уходить к ней от первой своей жены – Василисы Георгиевны. Короткий роман его с Симой скорее всего кончился бы так, как обычно кончаются такие временные связи. Но однажды он явился от нее очень поздно, а может быть, и вовсе наутро, и Василиса Георгиевна вместе с дочерью Варей просто не пустили его домой. Выкинули на лестницу какие-то его вещички и захлопнули перед ним дверь. Ну, а тут уж разыграл его взрывной темперамент, и домой он больше уже не вернулся.

Не поручусь, что всё это было именно так, может быть, даже и совсем не так: слышал я эту версию не от него. Но что я знаю совершенно точно, так это то, что разводиться с Василисой Георгиевной ему смертельно не хотелось.

Развод должен был состояться спустя уже несколько лет после его ухода от семьи.

Я хорошо помню этот день.

Перед тем как ехать в суд (дело было летом, в Шереметьевке) Виктор Борисович сказал мне, что процедура будет отнюдь не формальная и достаточно для него мучительная. Ва-

силися Георгиевна согласия на развод не дает. Говорит, что для нее важно то, что она – «жена Шкловского». Это – ее статус, ее социальное положение. Кем она будет, лишившись этого своего статуса? Он ее понимает. Во всяком случае, эти ее резоны можно понять.

– Но если это вас так мучает, – сказал я, – стоит ли разводиться? На черта вам нужна эта формальность?

Он сказал, что идет на это только ради Симочки.

– Неужели это для нее так важно? – по молодой своей дурасти ляпнул я.

Он объяснил, что да, конечно, важно. Уже столько лет фактически она его жена, а из-за того, что брак их не оформлен юридически, они не могут вдвоем поехать за границу. Да и не только за границу: даже здесь, на родине, не могут поселиться в одном номере в гостинице. Нет, тут ничего не скажешь. Симочка, конечно, права.

Справедливости ради надо сказать, что тут она и в самом деле была права.

Но беда в том, что Виктор Борисович привык считать, что «Симочка, конечно, права» и во многих других случаях, когда эта ее правота была более чем сомнительна.

Вот, например, однажды Серафима Густавовна завела с нами разговор о том, как они волновались перед семидесятилетием Виктора Борисовича: дадут ему к этой юбилейной дате орден или не дадут?

Говорила она об этом так, что не возникало ни малейших сомнений: если бы не дали, это было бы настоящим ударом не только для нее, но и для него тоже.

Я изумленно взглянул на Виктора Борисовича.

Мне показалось, что он этим постыдным Симочкиным признанием был слегка сконфужен. Сама-то она, конечно, могла и не считать эти свои волнения постыдными. Но чтобы он, Шкловский, волновался из-за того, дадут или не дадут ему «они» эту железку?!

Я был уверен, что этим «высоким правительственным наградам» давно уже никто не придает никакого значения.

В 39-м, увидав на улице человека с орденом Ленина на гру-

ди, мы, мальчишки, бежали за ним толпой, гадая, кого именно из героев, имена которых мы знали наперечет, посчастливилось нам встретить: Ляпидевского? Леваневского? Мазурука? Водопьянова?

В 60-е, о которых я сейчас вспоминаю, носителей даже самых высоких государственных орденов были уже тьмы, и тьмы, и тьмы.

В это время уже у всех на слуху были сразу ставшие знаменитыми строки Слуцкого:

Орденов теперь никто не носит,
Планки носят только дураки...

В это самое время моя теща – учительница – получила за выслугу лет тот самый орден Трудового Красного Знамени, которого с таким волнением (дадут? Не дадут?) ждал к своему семидесятилетию Виктор Борисович. И как же мы все потешались над бедной нашей Анной Макаровной, которая с истовой серьезностью отнеслась к «высокой правительственной награде», которой была удостоена.

Помню, еще в сороковых – сразу после победы – зашла у нас, молодых, речь о том, сколько развелось нынче орденосцев и как девальвировались поэтому ордена, к которым с таким пиететом мы относились когда-то. Кто-то сказал, что надобно ведь учитывать и то, что самые героические подвиги в годы войны стали явлением массовым. А мой отец, прислушавшийся к нашему разговору, юмористически вздохнул:

– Вообще-то, по справедливости, надо было бы наградить орденом каждого, кто жил при советской власти. Заслужили...

Вспоминаю еще один поразивший меня тогда (возвращаюсь опять в 60-е) случай.

В «Известиях» было напечатано письмо группы передовых рабочих. В сущности, это был донос «передовиков» на четверых своих товарищей, которые были награждены медалями («За доблестный труд», кажется, или еще что-то в этом роде), но не отнеслись к этой высокой правительственной награде с должным уважением. Не соизволили даже явиться куда надо, чтобы свои медали получить.

За этим «Письмом в редакцию» вскоре последовали другие, дружно осуждавшие незадачливых медаленосцев. И наконец месяца через два сюжет завершился традиционной рубрикой: «По следам наших выступлений», из которой мы узнали, что двое работяг (из четверых) признали свою вину и покаялись, а двое были этих наград торжественно лишены. Так, значит, и не уговорили их взять эти злополучные медали.

Не знаю, насколько необходимо было тут это длинное отступление, но мне хотелось как можно нагляднее объяснить сегодняшнему читателю, почему все-таки так поразил меня взволнованный рассказ «Симки Нарбут» о том, как они с Виктором Борисовичем волновались: дадут ему орден к семидесятилетию или не дадут?

Однако это мое отступление (коли уж я его затеял) было бы неполным, если бы я не добавил ко всему сказанному, что Шкловский в моих глазах был – не чета даже и самому Пастернаку. Ведь это же был Шкловский! Тот самый Шкловский, который выдвинул идею «Гамбургского счета», – предложил свою, истинную табель о рангах, согласно которой «Серафимовича и Вересаева нет, они не доезжают до города... Булгаков у ковра. Бабель – легковес. А Горький – сомнителен (часто не в форме).

Чего стоил (мог стоять!) в сравнении с этим Гамбургским счетом любой «ихний» орден!

Кстати, насчет слова «ихний», которое тоже не случайно тут из меня выскочило: вспомнился вдруг рассказ Серафимы Густавовны об объявлении, увиденном ею в витрине какой-то одесской лавчонки в 18-м или 19-м году: «Магазин будет открыт в 10 часов по-ихнему».

Соль рассказа заключалась в том, что каждая новая власть, занимая город, прежде всего меняла, устанавливала **свое** время. И бедные обыватели в этих, что ни день менявшихся, временах совсем запутались. Ну, а «по-ихнему», конечно, означало – «по-советскому», «по-большевицкому» времени.

По отношению к своей веселой одесской юности Сима чувство юмора, как видите, сохранила. Но во всем остальном давно уже жила «по-ихнему». И вот, оказывается, что и он, Виктор Борисович, тоже уже готов напрочь забыть, выкинуть из головы свой «Гамбургский счет» – и жить «по-ихнему».

Нечто подобное нет-нет да и мелькало в некоторых его репликах и раньше.

Однажды, встретив его на нашей Аэропортовской и задав обычный в таких случаях вопрос: «Как дела?», в ответ услышал:

– Был в Италии. Еду во Францию. В Германии переводится моя новая книга. В Гослите готовится к выходу мой трехтомник... В общем, я от бабушки ушел!..

Поговорив еще немного о том, как славно складываются наконец после многолетних мытарств его дела, мы расстались.

Я пошел дальше и, пройдя еще несколько шагов, встретил Бориса Слуцкого.

– Что пишете? Против кого? Как романы и адюльтеры? – обрушил он на меня весь джентльменский набор обычных своих вопросов.

Не имея в запасе никаких интересных сведений о чьих-либо романах и адюльтерах, я рассказал, что только что встретил Шкловского, который известил меня, что был в Италии, едет во Францию и вообще «от бабушки ушел».

Выслушав мое сообщение, Слуцкий сказал:

– Боюсь, он плохо представляет себе характер этой бабушки.

На самом деле насчет характера «этой бабушки» у Виктора Борисовича никаких иллюзий, конечно, не было. Но он был упоен тем, что наша «Софья Власьевна», кажется, возвращает ему наконец то место в официальной советской табели о рангах, которого он заслуживает.

Это я понимал и ничуть за это его не осуждал.

Но одно дело – волноваться, выйдет или не выйдет наконец его трехтомник в Гослите, или даже – выпустят или не выпустят его с Симой в Италию, и совсем другое – тревожиться из-за того, попадет или не попадет он в список орденосцев...

Не знаю, все или не все эти мои мысли и чувства отразились тогда на моем лице. Но кое-какие, видимо, отразились. Потому что Виктор Борисович в ответ на этот мой невысказанный вопрос («Как? Неужели и вы тоже волновались из-за того, дадут или не дадут вам эту жестянку?») все же отреагировал. И счел нужным внести в правдивый Симин рассказ некоторые коррективы.

– Понимаете, история такая... Орден, конечно, ерунда... Но если не дадут, все начнут шушукаться: что такое? Почему не дали?.. Ну вот...

И вдруг на миг сверкнула его озорная насмешливая улыбка. Как молния предвещает гром, так эта усмешка у Шкловского предвещала какое-нибудь «шкловское» mot. И mot последовало:

– Ведь оценки нам ставят не за успехи, а за поведение.

* * *

Главная претензия Аркадия к «Симке Нарбут» – я бы даже выразился сильнее, главная причина его ненависти к ней, – состояла в том, что она хотела жить хорошо. Даже не просто хорошо, а очень хорошо. Так, как – уже открыто, не таясь, а даже слегка бравируя этим, – жили в то время представители того советского «нового класса», о котором (как раз тогда, в то самое время) написал свою знаменитую книгу Милован Джилас.

Но книга Джиласа «Новый класс» была подпольной, «самиздатовской» (правильнее даже было бы сказать – «тамиздатовской»), а критические упоминания о существовании этого советского «нового класса» – во всяком случае, об отдельных «омещанившихся», обуржуазившихся его представителях, – каким-то чудом проникали и на страницы легальной советской печати.

Помню, многие мои друзья и приятели с восторгом цитировали тогда строки Ярослава Смелякова из недавно появившейся его поэмы «Строгая любовь»:

В гостях у нынешних друзей
хожу натертыми полами,
не отвергаю скатертей,
не возмущаюсь зеркалами.

Но я встречал в иных домах
под сенью вывески советской
такой чиновничий размах,
такой бонтон великосветский,

такой мещанский разворот,
такую бешеную хватку,

что даже оторопь берет,
хоть я неробкого десятка.

В передних, темных и больших,
на вешалках, прибитых крепко,
среди бобровых шапок их
мне некуда пристроить кепку.

Прогнув блистательный паркет,
давя всей тяжестью сознание,
огромный высится буфет –
кумир дворянского собрания.

Благодарю весьма за честь,
но в этом доме отчего-то
я не могу ни пить, ни есть,
ни слушать светских анекдотов.

В устах Смелякова, ностальгирующего по своим родным тридцатым, по своей нишей, пролетарской, комсомольской юности, всё это звучало более чем естественно. Но нечто в том же духе я постоянно слышал и от Аркадия – от этого сноба, этого рафинированного эстета, создателя загадочной «теории необарокко», юность которого протекала среди изысканных экслибрисов, старинных книжных раритетов и стихов «раннего Сюпервьеля».

Однажды пришел встревоженный.

– Белинков сказал, что я похож на раннего Сюпервьеля.

Такого поэта он не знал, что было ударом по его эрудиции. Предприняли расследование. Выяснилось, что из Сюпервьеля на русский язык переведено два стихотворения в антологии Бенедикта Лившица. Выяснилось также, что Белинков французского не знает. Слуцкий успокоился. На Сюпервьеля он не был похож.

*(Давид Самойлов. Перебирая наши даты.
М., 2000. С. 153–154)*

И вот этот литературный пижон, этот рафинированный сноб и эстет, возвращенный на стихах никому кроме него не ведомого «раннего Сюпервьеля», представьте, отвергал «Соба-

чье сердце» Булгакова. Во всяком случае, с нескрываемым раздражением говорил о герое этой повести профессоре Преображенском, ухитрившемся сохранить в революционной Москве свой оазис старого, буржуазного быта. Он ни в малейшей степени не сочувствовал отчаянному возгласу этого булгаковского персонажа: «Пропал Калабуховский дом!» По его, Аркадия, искреннему убеждению, этому «Калабуховскому дому» с его галошницей и швейцаром в парадном подъезде и надлежало пропасть, сгинуть, сгореть в очистительном огне революции. Да и сам профессор Преображенский в его глазах не слишком далеко ушел от ненавистных ему «толстяков». Во всяком случае – от тех (вроде учителя танцев Раздватриса), кто этих «толстяков» обслуживает, получая за службу все, так прельщающие их, жизненные блага.

Аркадий любил революцию. Искренне желал, чтобы в ее огне сгорели и «толстяки», и обслуживавшие толстяков «Раздватрисы». И если что и нравилось ему в той булгаковской повести, так только мелькнувшая в ней тень сановного заступника профессора Преображенского – этот символ уже начинавшегося в те булгаковские времена ненавистного Аркадию термидора.

Впрочем, дело было не только в его любви к революции и ненависти к термидору.

Аркадию было присуще гордое сознание своей причастности к сословию русских интеллигентов-разночинцев.

Каждый, кто, по его мнению, слишком хорошо устроился в этой новой советской жизни с ее великосветским бонтоном и нуворишеским буржуазным разворотом, был у него на подозрении.

Свою главную книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» он начинает так:

Я пришел домой и увидел из двери нашей комнаты приколотую записку. Вот что там было написано:

«Аркадий. Я опять ничего не успела. Сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба полкило, если есть – обдирный, макароны одну пачку, мыло хоз. один кус., соль одна пачка. Я работала целый день и опять ничего не успела. На тумбочке 80 к. Должна быть сдача. Пожалуйста, не потеряй. Целую, Наташа. Извини,

что отрываю тебя, но ведь надо же как-то жить. Обязательно возьми авоську. Целую, Наташа».

Я взял авоську, восемьдесят копеек и пошел в магазин.

Через час я вернулся... Медленно вытащил из авоськи полкило хлеба, коробку макарон, кусок хозяйственного мыла, пачку соли, положил на тумбочку двенадцать копеек сдачи и сел за письменный стол.

— Книги Юрия Олеши, — писал я, — точны как маленькие макеты нашей истории...

— Но ведь надо же как-то жить, писать... — думал я...

Все это, наверно, так и было. Во всяком случае, записка его жены Наташи, которую он тут приводит, — невыдуманная. Настоящая, подлинная.

Но зачем именно вот так надо было начинать книгу о «сдаче и гибели» советского интеллигента?

Ну, во-первых, наверно, для того, чтобы сразу дать понять читателю, что книга, которую тот раскрыл, — не историко-литературная, вообще — не литературоведческая. Какая-то другая.

Но только ли для этого понадобилось ему сразу, с первой страницы ввести в свою книгу образ ее автора, «лирического героя»? Об этом, наверно, можно было бы еще порассуждать. Но здесь, сейчас я хочу отметить только одно: вот этот кусок хозяйственного мыла, эту пачку макарон, эти 80 копеек и 12 копеек сдачи.

Это было его знамя, его платформа, его кредо, его жизненная позиция:

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее...

Но «Симку Нарбут» он ненавидел не за то, что она хотела (и сумела) устроить свою жизнь иначе. (В конце концов — это ее дело, пожалуйста!)

Ненавидел он ее потому, что всей кожей чувствовал (не раз прямо мне об этом говорил), что она, «Симка», презирает эту

его «честную бедность», его неспособность вписаться в ту жизнь, которую она считает нормальной. Ненавидел не саму даже эту несчастную «Симку», а вот эту ее перевернутую шкалу всех жизненных ценностей. Ну и, конечно, то, что эту свою перевернутую шкалу она пыталась навязать (и как он, Аркадий, думал, весьма в этом преуспела) Виктору Борисовичу.

На этот счет у меня и тогда (а сейчас – тем более) были большие сомнения.

Основывались они на разных моих впечатлениях, в основном на рассказах Виктора Борисовича и Симы, которые вспоминать и пересказывать здесь я не буду. Но одну историю, ставшую одной из наших «аэропортовских» легенд, все-таки расскажу.

Когда Шкловские вселялись в свой новый дом, к которому позже в нашем микрорайоне прилепилось наименование «старый писательский», им там, как я уже говорил, досталась сравнительно небольшая двухкомнатная квартира. Многим же другим новоселам в том «старом писательском» достались трехкомнатные и даже четырехкомнатные.

Среди них были литераторы разного достатка. Но владельцы четырехкомнатных, как правило, были люди богатые, и свой новый быт они устраивали с размахом. Обставляли квартиры красным деревом и карельской березой. Вешали какие-то грандиозные антикварные люстры.

Хорошо помню юмористический рассказ Симы об одном из этих «хозяев жизни», которому посчастливилось стать обладателем немыслимой красоты и ценности голубого хрустального шара. Шар этот надлежало прикрепить к потолку самой большой, центральной комнаты его новой квартиры. Для этой цели был вызван «искусствовед Юра»: искусствовед он был настоящий, окончил искусствоведческое отделение филфака МГУ. Но поскольку эфемерная эта профессия должным образом прокормить его не могла, Юра овладел профессией электромонтера, на какую-то должность и устроился в нашем ЖСК «Московский писатель».

И вот стоит этот искусствовед Юра на стремянке, а хозяин квартиры осторожно, дрожащими руками вручает ему тот драгоценный шар из голубого хрусталя. Юра так же осторожно,

как ребенка, принимает у него – из рук в руки – эту драгоценность, и... О, ужас!.. Каким-то непостижимым образом шар выскальзывает у него из рук, падает на пол и разлетается вдребезги.

Немая сцена.

И в наступившей жуткой тишине со стремянки раздается голос искусствоведа:

– Ну? Что еще будем делать?

Надо отдать Симе должное, историю эту она рассказала, живо ощущая – и сумев передать – не только драматическую, но и комическую ее основу. Но в то же время чувствовалось: окажись она сама в положении владельца разбившегося голубого хрустального шара, нашему искусствоведу Юре не поздоровилось бы.

Имя этого несчастного владельца в том Симином рассказе не упоминалось. Не упоминались, сколько мне помнится, и другие имена счастливых обладателей четырехкомнатных квартир. Ясно было только одно: каждый из них, говоря словами Зоценко, был «кавалер и у власти», и каждый был одержим стремлением хоть в чем-то превзойти соперника.

В угаре этого «соцсоревнования» Виктору Борисовичу досталась особая роль. То один, то другой богатый новосел норовил зазвать его к себе в гости. (Человек «с раньшего времени», повидал кое-что на своем веку, кто еще, если не он, может оценить истинный вкус.)

И вот, будучи назван к кому-то из этих «кавалеров и у власти», Виктор Борисович оглядел всю представшую пред его взором антикварную роскошь и с неизменной своей улыбкой произнес:

– А вы не боитесь, что придут красные?

Это знаменитое «шкловское» тот было вполне в духе постоянных воплей моего друга Аркадия о свершившемся – и торжествующем – в нашей стране термидоре. (Хотя, по сравнению со сталинщиной и даже брежневщиной, настоящий термидор был бы для нас истинным счастьем.)

Нет, втянуть Виктора Борисовича в буржуазное болото, вписать его в этот великосветский бонтон, заразить этим азартом нуворишеского домостроительства Симе не удалось. (Даже если предположить, что она этого и хотела.) Даже свой

вкус «прирожденного дизайнера» она в полной мере проявить не смогла: весь дизайн их двухкомнатной квартиры, все ее внутреннее убранство было целиком подчинено вкусам Виктора Борисовича. Вернее, даже не вкусам, а старым, давно сложившимся его рабочим привычкам.

В давней статье, написанной для сборника «Как мы пишем», он так рассказывал о технологии своего писательского труда:

Начинаю я работу с чтения... Читаю я много... Делаю цветные закладки или закладки разной ширины. На закладках, на случай, если они выпадут, хорошо бы делать, а я не делаю, обозначение страницы. Потом просматриваю закладки. Делаю отметки. Машинистка, та самая, которая печатает статью сейчас, перепечатывает куски, с обозначением страницы. Эти куски, их бывает очень много, я развешиваю по стенам комнаты. К сожалению, комната у меня маленькая, и мне тесно...

Очень важно понять цитату, повернуть ее, связать с другими.

Висят куски на стенке долго. Я группирую их, вешаю рядом, потом появляются соединительные переходы, написанные очень коротко. Потом я пишу на листах бумаги конспект глав довольно подробный и раскладываю соединенные куски по папкам.

(«Как мы пишем». А., 1930. С. 212)

Теперь у него была уже не маленькая комната, а хоть и небольшая, но – квартира, в которой был у него даже отдельный рабочий кабинет. Так что развешивать цитаты по стенам необходимости уже не было. Но своим привычкам он не изменил.

При самом беглом взгляде на тьму книг, в окружении которых жил Виктор Борисович, сразу бросалось в глаза, что в каждой – буквально в каждой из них – множество бумажных закладок. Книг было – несколько тысяч (это я сразу определил своим опытным взглядом библиомана). Закладок, стало быть, – десятки тысяч!

Это было, пожалуй, самое сильное мое впечатление от первого посещения квартиры Шкловских.

Вторым, не менее сильным, был стол в его кабинете.

Стол этот был обеденный – огромный, рассчитанный не менее, чем на двадцать кувертов. Но у Шкловского он стоял в кабинете и, следовательно, был превращен в рабочий. Был он всегда в раздвинутом виде и занимал собою – буквально! – весь кабинет. Такой вот был дизайн.

Всякий раз, глядя на огромную рабочую поверхность этого стола, я исходил мучительной завистью. Но не могло быть даже и речи о том, чтобы моя жена позволила мне втащить в мой кабинет такую махину. А вот Сима Виктору Борисовичу – позволила.

Попробовала бы она это ему не позволить!

Да, со столом у Виктора Борисовича все было в порядке. Хуже обстояло дело с тем, ЧТО он писал теперь за этим своим столом. А ведь главная, куда более страшная претензия Аркадия к Серафиме Густавовне состояла в том, что ее желание жить хорошо было едва ли не основной причиной измены Виктора Борисовича самому себе. Именно под гнетом этого ее желания, полагал Аркадий, изменились его концепции, взгляды, вкусы, эстетические оценки. Именно она вынудила Виктора Борисовича коренным образом изменить всю прежнюю свою шкалу ценностей. Именно ее зловещее влияние определило весь нынешний его, новый, перевернутый Гамбургский счет.

Какая-то – и даже немалая – толика правды в этих его рассуждениях, увы, была.

В 1959 году вышла в свет большая новая книга Виктора Борисовича «Художественная проза. Размышления и разборы». На титульном листе красовалось посвящение: «Жене моей Серафиме Нарбут. Спасибо тебе, товарищ мой, за твою работу».

Второе издание «Заметок о прозе русских классиков», вышедшее четыремя годами ранее, тоже, как мы уже знаем, было посвящено «Симке Нарбут». Но то посвящение выглядело гораздо скромнее: «Посвящаю эту книгу моей жене С.Г. Нарбут».

До официального развода с Василисой Георгиевной надо было еще дожить, и Сима, наверно, потребовала, чтобы Виктор Борисович таким вот образом объявил на весь свет, что она ему – не любовница, а самая что ни на есть законная жена. Хоть и без штампика в паспорте.

Но за четыре года, прошедшие от второго издания «Заметок о прозе русских классиков» до «Размышлений и разборов», аппетиты у Симы, как видно, выросли. Ей уже мало было называться просто женой, понадобилось, чтобы ее назвали товарищем по работе. Отсюда уже было недалеко до соавтора. А там, глядишь, уже можно было потребовать, чтобы золотая рыбка ослепительного таланта Виктора Борисовича была у нее на посылках.

В общем, что говорить! Аркадий, полагавший, что во всех идейных эволюциях Виктора Борисовича повинна именно она, злокозненная «Симка Нарбут», получил большой козырь.

Я хорошо помню разговоры, которые велись во время прохождения «Размышлений и разборов» через возникавшие на пути этой книги все новые и новые цензурные рогатки.

На эту книгу в семье Шкловских возлагались большие надежды. Она должна была коренным образом изменить – и изменила! – положение Виктора Борисовича в официальной литературной табели о рангах.

В один отнюдь не прекрасный день Виктор Борисович на постоянный мой вопрос «Как дела с книгой?» ответил, что дела – дрянь: от него требуют, чтобы он написал главу о социалистическом реализме. Не несколько каких-нибудь там отписочных фраз, как это было в «Заметках» («Изучение русской классической литературы поможет нам быстрее двигать вперед литературу социалистического реализма, кровно связанную с русской классической литературой, поможет еще активнее влиять на мировое художественное развитие»), а целую теоретическую главу.

Положение было, как любил говорить Горький, «какаче не придумаешь». (В Сорренто по соседству с Горьким жила итальянская дама по фамилии «Какаче», и фамилия эта часто мелькала в юмористических репликах Алексея Максимовича.)

Но вскоре Виктор Борисович повеселел. В глазах его все чаще стали мелькать озорные «шкловские» огоньки. И однажды – в очередном разговоре на эту постоянную тогда тему («Как дела с книгой?») – с торжеством объявил, что все в порядке: он ИХ перехитрил. Написал эту требовавшуюся от него главу о соцреализме.

Как? Каким образом?

А очень просто.

Он построил свою теорию соцреализма на Хемингуэе!

Да, да, представьте, – на Хемингуэе. Ну, не только на Хемингуэе, конечно. Он столкнул Хемингуэя с Шолоховым. Понимаете? Ну вот!.. В общем, прочтете – увидите.

Он был очень собой доволен: выкрутился, перехитрил «их», нашел выход из, казалось бы, безвыходного положения. И цена компромисса была вроде не такая большая. Да и о Хемингуэе он как будто ничего уж такого особенно плохого не написал...

И в самом деле: в главе «Размышлений и разборов», которая называется «Хемингуэй в его поисках от юности до старости» тон размышлений Шкловского о великом американце вполне почтительный, даже как будто сочувственный. Временами в нем слышится даже восхищение:

Великан с головой пророка, воин Хемингуэй...

Вон как!

Но этот великан с головой пророка, этот воин –

... ходит по миру, как зверь по клетке с сетчатыми, но прозрачными, очень упругими и непреодолимыми стенами.

Можно бросаться на стену, но она мягко отбрасывает.

Человек отделен от мира непреодолимой прозрачной и призрачной сеткой.

Не призрачны только невзгоды, дождь, под которым можно сжаться. Остаются только редкие вспышки храбрости и сознание, разрезанное на ломти.

Стена, которая «мягко отбрасывает» и «сознание, разрезанное на ломти» – это все-таки слишком туманно. Нет, пожалуй, **этим** «они» не удовлетворятся.

Приходится говорить яснее:

Все вытеснено заменителями, даже поцелуи в романах и рассказах Хемингуэя – не поцелуи, а следы от губной помады, которые остаются около уха и на воротничках мужчин.

Жизнь показана не в причинной связи явлений и не в сходстве явлений, а только по смежности явлений. Как кровь, вылившаяся из сосудов инфильтратами, остается в организме, пока не придет смерть или выздоровление, так и рассказы Хемингуэя перебиваются иногда несвязными записями о прошлом, отрывками воспоминаний об огорчениях, опасностях и дальних дорогах.

Человек настолько одинок, что даже раздроблен; он потерял себя.

Раздробленному и потерявшему себя Хемингуэю противопоставляются шолоховские Аксинья и Григорий Мелехов, толстовский Хаджи-Мурат. Им тоже плохо, но они – не раздроблены и себя не потеряли.

Но при чем тут все-таки социалистический реализм?

Гнусное словосочетание выговаривается с трудом. Да и как, к чему его тут присобачить? Не к Хаджи-Мурату ведь?

Вот мелькнула – ни к селу, ни к городу – строчка Маяковского. Мелькнул – тоже коротким упоминанием – «Броненосец “Потемкин”» Эйзенштейна... Нет, этим не отделаешься. Этого «им» тоже будет недостаточно... И, очертя голову, он кидается в омут:

В раздробленном, не забывающем о своих границах, мятущемся и бесперспективном мире живут многие писатели за рубежом.

Иногда они вырываются из этого мира, но ехать надо далеко – в Африку, в море или на войну, остающуюся чужой, но в ней шум смерти заглушает шум внутренней неполадки...

Мир дается скрипом раздавленной души. Регистрирующий аппарат – сознание – познает не окружающее, а шум внутренних неполадок.

Вот почему так настойчиво советские писатели говорят о социалистическом реализме, о познании своего близкого, но положенного на карту всего мира, о литературе, направленной на будущее, учитывающей дорогу человеческих усилий, знающей не тщетность труда.

Всё это, конечно, очень нехорошо. Но нельзя же было допустить, чтобы тысячестраничная рукопись, в которую было

вложено столько труда, – так и осталась рукописью, не стала книгой. Когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости...

Но хуже было другое.

Гамбургский счет был забыт и отвергнут Виктором Борисовичем не только в текстах, предназначавшихся им для печатного станка. Этот старый его Гамбургский счет трещал по всем швам и рушился день ото дня – и в его размышлениях наедине с собой, и в не предназначавшихся для широкой огласки случайных разговорах.

Однажды он спросил у меня, знаю ли я стихи Межирова. Да, я, конечно, знал. Последовал вопрос: и что же я о них думаю? Я сказал, что Межиров, конечно, талантлив, но... В общем, добавил в бочку меда маленькую – чайную – ложку критического дегтя.

Виктор Борисович слушал меня не очень внимательно. И, не дослушав, сказал:

– Это великий поэт...

Так, – подумал я. Приехали. Вересаев, значит, не доезжает до города, Булгаков у ковра, Горький сомнителен, а Межиров – великий поэт... Ну-ну...

Однако чем объясняется эта его – явно завышенная – оценка подsunутых ему кем-то стихов Саши Межирова, я, кажется, знал. Во всяком случае – догадывался.

* * *

19 сентября 1961 года «Литературная газета» напечатала стихотворение Евтушенко «Бабий Яр».

Я поднимался по лестнице с четвертого – к себе, на шестой этаж. Навстречу мне спускался Лёня Лиходеев (он тоже тогда работал в «Литературной газете»). Увидав меня, он остановился и произнес:

– Ну?

Короткое междометие это означало многое. И в недавно (летом этого года) напечатанной статье («Если забыть о “часовой стрелке”»), и в разговорах с друзьями я тогда весьма кисло высказывался и о поэтических достоинствах евтушенковских стихов,

и об общественном поведении их автора, в котором неизменно видел откровенный расчет на то, чтобы и политическую невинность соблюсти и политический капитал приобрести. Лиходеевское «Ну?» в этом контексте означало примерно следующее:

– Ну? Что ты сейчас скажешь? По-прежнему будешь доказывать, что к «пожарной охране», как говорил Остап Бендер (то есть к поэзии), это отношения не имеет? Или все-таки оценишь наконец, если не само стихотворение, так хоть гражданский поступок поэта?

Истолковав таким образом это его лаконичное «Ну?», я начал бормотать что-то в своем обычном духе, доказывая, что и напечатанный сегодня «Бабий Яр», и «Наследники Сталина», и многие другие публицистические стихи Евтушенко, восхищающие многих своей смелостью, не в силах изменить моего, уже давно определившегося отношения к этому поэту.

Спокойно выслушав мой сбивчивый и не очень внятный монолог, Лёня ухмыльнулся все той же своей сардонической ухмылкой и сказал:

– Что бы ты ни говорил, ребе, но сегодня он таки положил двенадцать миллионов евреев в свой жилетный карман.

В тот же день я имел случай убедиться, что это были не пустые слова.

Вечером мы с женой были у Шкловских, у которых в тот день собралась тьма гостей. Ждали каких-то поляков. Но поляки все не появлялись. И Виктор Борисович, устав от шума и долгого бесплодного ожидания, раза два даже прилег вздремнуть: у него была такая удивительная способность, он мог вдруг прилечь на диванчик и минут пятнадцать сладко поспать, после чего поднимался – свеженький, как огурчик, и, как ни в чем не бывало, продолжал разговор с того самого места, на котором тот был прерван.

Вот так и сейчас. Проснувшись, он громко объявил:

– Каждый – сам себе поляк!

И решительно направился к накрытому столу, давая тем самым понять, что никаких поляков он больше ждать не намерен.

А тут как раз появились и поляки. (Это была очень милая супружеская пара – известные польские литературоведы Фе-

децкие.) И уже за столом, под звон ножей и вилок, с новой силой вспыхнул спор о только что напечатанном в «Литгазете» евтушенковском «Бабьем Яре».

Собственно, никакого спора даже и не было. Все в один голос славили Евтушенко, его талант, его гражданское мужество. Один из гостей (это был Лев Исаевич Славин) в запале даже назвал Женю великим поэтом. Кто-то напомнил, что только один русский поэт – Маяковский – так резко высказался в стихах на эту жгучую тему. И вот теперь это сделал Евтушенко. За все время существования русской поэзии только два поэта громко, на всю страну, заклеили антисемитизм – это гнусное, позорное явление нашей жизни. И говорить об этом благородном поступке поэта с такой скептической гримасой, как это делаю я, – просто кощунственно. Обоих ораторов пылко поддержала Серафима Густавовна.

В общем, я оказался не то что в меньшинстве, а в полном одиночестве.

Тут надо сказать, что в вечных тогдашних спорах на эту тему я почти всегда оставался в одиночестве. Но вскоре положение изменилось, и уже довольно скоро из уст в уста передавалась сочиненная кем-то ироническая считалочка:

Ты Евгений, я Евгений.
Ты – не гений, я – не гений.
Ты – говно, и я – говно.
Ты – недавно, я – давно.

Произносилось это обращение к новому «не гению» как бы от лица Евгения Долматовского – одного из той троицы сервильных поэтов, которую Коля Глазков некогда заклеил презрительной кличкой «Долматовская ошань». (Поговаривали, что будто бы сам Долматовский эту считалочку и сочинил.)

Времена, когда появится этот злой стишок, были уже не за горами. Но до них еще надо было дожить. А пока что я был один, как перст, и с нетерпением ждал, что скажет Виктор Борисович. Не может же он присоединиться к этому тупому, ничего не понимающему в поэзии большинству!

Ждали, что скажет Шкловский, и другие участники спора. И дождались.

– Понимаете, – начал он, как всегда начинал такие свои речи. – История такая... Точно определить, чем отличаются настоящие стихи от ненастоящих, невозможно... Сарнов знает... Но он забыл, что любовь и проституция в основе своей имеют нечто общее...

Это неожиданное заявление было встречено дружным смехом. Мало кто понял, что именно старик хотел этим сказать. Поняли только одно: когда мужчина и женщина оказываются в постели, происходит между ними одно и то же, независимо от того, привела их в эту постель любовь или деньги. Что же касается существа спора, то все, наверно, решили, что Виктор Борисович стал на сторону большинства, а меня решительно осудил.

Услышав его насмешливое «Сарнов знает», я сперва и сам так подумал. Но последовавшая за этой репликой фраза о проституции и любви довольно ясно дала понять, что он занял, так сказать, среднюю позицию. Найденная им формула в общем была скорее примирительной, так сказать дипломатической: надо было ухитриться сказать так, чтобы никого из гостей не обидеть. И он с этой задачей справился.

На самом деле, однако, эта счастливо найденная им формула несла в себе совсем другой, гораздо более глубокий – и важный для него – смысл.

6

Эренбург, вспоминая в своих мемуарах о том, что Шкловский назвал его «Павлом Савловичем», говорит, что прозвище это он действительно заслужил. Заслужил тем, что едва ли не в каждой новой своей книге «отмежевывался» от самого себя.

О самом же Викторе Борисовиче он говорит так:

В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными – с такими он, видимо, родился... Мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете.

Это значит, что сам Виктор Борисович, как и он, Эренбург, тоже был «Павлом Савловичем».

В «Письме к Роману Якобсону», напечатанном в 1922 году в эренбургском журнале «Вещь», сославшись на известный библейский сюжет, он написал, что у него и его друзей случилось –

... не так, как в толстой книге, которую мой отец читал справа налево, моя мать читала слева направо, а я совсем не читаю.

Эту старую толстую книгу ему не обязательно было читать: вечная библейская грусть жила в его печальных глазах, «с которыми он родился».

Знаменитые слова Шкловского о «Павле Савловиче» я взял эпиграфом к своей книге «Случай Эренбурга» (которая, кстати сказать, выросла из посвященной Эренбургу главы этих воспоминаний). Но привел я их там не полностью, обобрав цитату на полуслове. Полностью она выглядит так:

Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает «Звериное тепло».

Вторую половину фразы (про «Звериное тепло») я от своего эпиграфа отрезал – во-первых, потому что пришлось бы объяснять, что в этом контексте это самое «Звериное тепло» означает. Но главным образом потому, что формуле Шкловского я придавал совершенно иной, свой смысл, представив дело таким образом, что Эренбург был «Павлом Савловичем», потому что, поделив всех наших писателей на «русских» и «советских», его мы могли бы с полным основанием отнести и к тем, и к другим.

Шкловский же имел в виду совсем не это: превращение «антисоветского» или – во всяком случае – «асоветского» Эренбурга, написавшего «Хулио Хуренито» и «Жизнь и гибель Николая Курбова», в советского, сочинившего «День второй» и «Падение Парижа», было здесь ни при чем.

Мне казалось, что, отрубив от фразы Шкловского «Звериное тепло», я расширил смысл приведенной цитаты.

На самом деле я его сузил.

«Звериное тепло» – это название сборника стихов Эренбурга, выпущенного в 1922 году берлинским издательством «Геликон». Стихи были о любви. Например, вот такие:

Средь мотоциклетовых цикад
Слышу древних баобабов запах.
Впрочем, не такая ли тоска
Обкарнала страусов на шляпы?
Можно вылить бочки сулемы,
Зебу превратить в автомобили,
Но кому же нужно, чтобы мы
Так доисторически любили.

Чтобы губы – бешеный лоскут,
Створки раковин, живое мясо,
Захватив помадную тоску,
Задыхались напоястями засух...

Чтобы пред одной, и то не той,
Ни в какие радости не веря,
Изойти берложной теплотой
Насмерть ошарашенного зверя.

Незадолго до того, в том же 1922 году, в том же «Геликоне» вышла книга Эренбурга «А все-таки она вертится...», в которой он присягал на верность новой, урбанистической, машинной эстетике XX века. И вот – еще и года не прошло, а он уже готов проклясть этот новый век, эту машинную цивилизацию с ее автомобилями и мотоциклами, чтобы восславить «звериное тепло» вечной, неумирающей, «доисторической» любви.

Вот, стало быть, что имел в виду Виктор Борисович, сказав о нем, что «из Савла он не стал Павлом».

И тут надо признать, что он – как в воду глядел.

Этому своему мироощущению Эренбург не изменил и тогда, когда был возведен в ранг классика советской литературы.

В одном из поздних, вполне советских его романов (кажется, в «Буре») об одной из юных его героинь, в тот день ставшей женщиной, сказано, что «только сегодня она узнала, для чего живут люди».



В годы моего студенчества едва ли не каждый из тех, с кем меня знакомили, говорил: «Послушайте! Почему вы так похожи на Эренбурга?»»



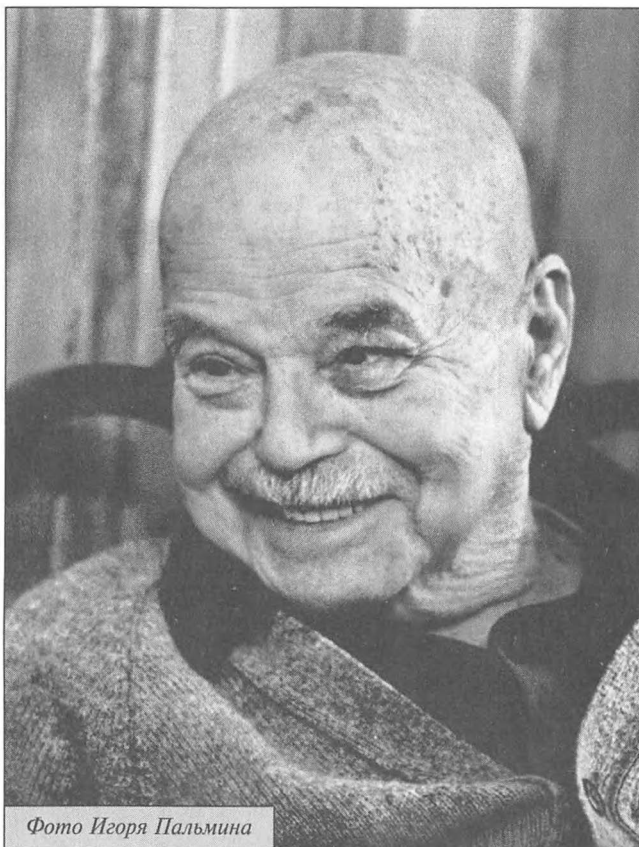
Увидев впервые эту фотографию, я подумал, что такая улыбка у **Эренбурга** предназначена только для собак. И дальнейшие, более близкие отношения с Ильей Григорьевичем как будто подтвердили это первое мое впечатление.

Борис Слуцкий и его жена **Таня**. Они дружили с **Эренбургом**, и однажды он даже предложил им жить у него на даче.



Выступление на вечере **Эренбурга** в Доме-музее **М. Цветаевой**.



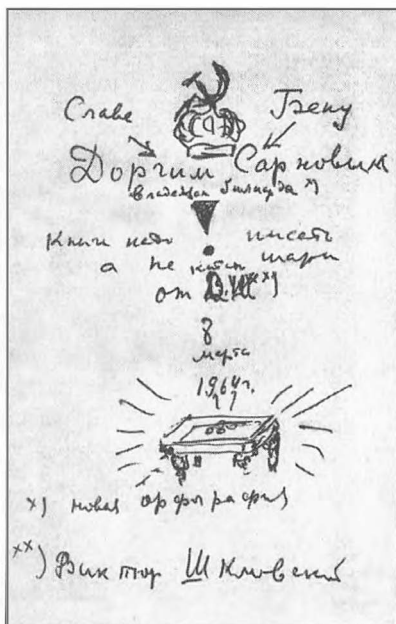
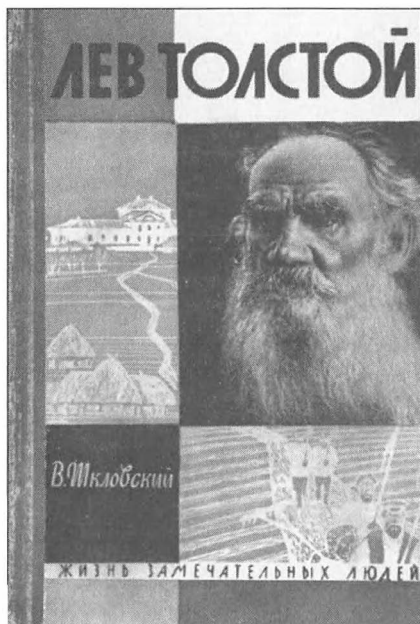


Виктор Борисович Шкловский:

«Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости».



Моя статья о Шкловском — как это ни удивительно — была напечатана. И даже без особых потерь. Отчасти это, конечно, было связано с тем, что XX съезд уже слегка поколебал устои партийной ортодоксии. Но главная причина этой моей удачи заключалась в том, что главным редактором «Вопросов литературы» в то время был **Александр Григорьевич Дементьев**.



Во время очередного нашего вечернего чаепития Виктор Борисович торжественно вручил мне только что вышедшую свою книгу о Толстом, сделав на ней длинную и витиеватую дарственную надпись. Что-то, конечно, по случаю такого события тогда было выпито, и домой от Шкловских мы с женой вернулись уже далеко за полночь. А рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Виктор Борисович: «Ну как? Вы прочли мою книгу?»

В книге было — ни мало ни много — восемьсот страниц.



Фото Игоря Пальмина

У Виктора Борисовича была удивительная способность: во время шумного застолья, неизменно сопровождавшегося какой-нибудь бурной дискуссией, он мог вдруг прилечь на диванчик и минут пятнадцать сладко поспать, после чего поднимался — свеженький как огурчик — и как ни в чем не бывало продолжал разговор с того самого места, на котором он был прерван.

Дорогой Дед.

Привет из Ялты от Сима и от
Мен, Вов, Саше, Феликсу.

В Ялте дождем с 20 по 13 мес
— больше мес. Вероятно 16 дней.
Кроме того я падаю с лестницы



Сима Саша и
и Саша и с
Мен

Сейчас уже остаются все course.
16 в едем в Кокемелем



Курсы не даром. В Кокемелем
будет Канада и едем



Этот «привет из Ялты» от Виктора Борисовича Шкловского я привожу здесь не а чтобы показать, какой запас веселья, остроумия и озорства сохранил этот челов

Это с Вами споров и кру-
воращении спор

Тяжелее!!!

Здесь Канон с Канонами,

Здесь Ермолинские, Оксана и т.п.

Морские методы редко им в

Коронах, но они худ и негра



спом на не стуж

и все еще

подойду

но если из отпаривания не

всё, то дано - бедность

умеренно с водой

и если всё под бед и мне дан

ниже.

Тяжелее

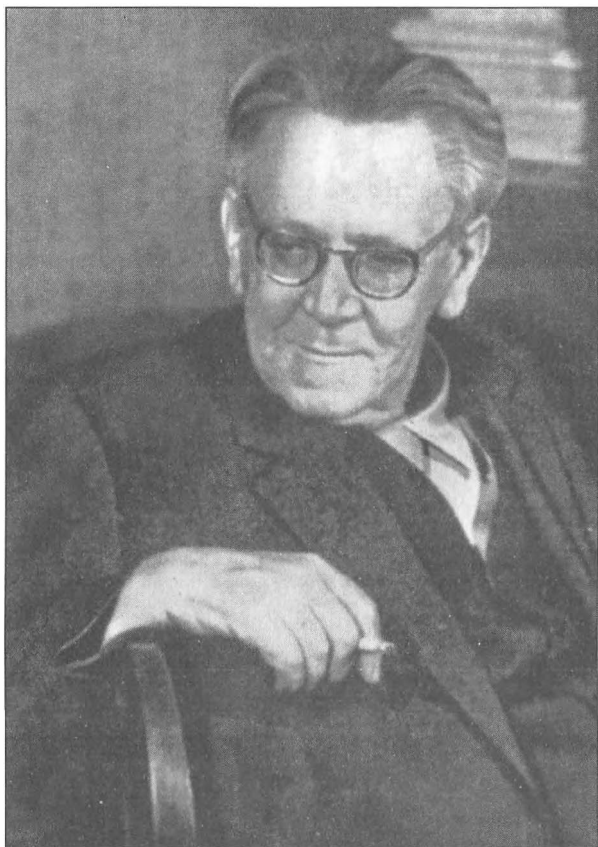
Виктор Канон

14 мая 1964 года

Прощаю, но если дано -

так надо со 16.

ого, чтобы похвастаться тем, как хорошо он относился ко мне и моему семейству,
юей душе до глубокой старости.



Однажды **Самуил Яковлевич Маршак** сказал **Валентину Берестову**: «Наша беда, голубчик, что мы с вами люди способные».

С. МАРШАК 

СОЧИНЕНИЯ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ 

ИЗБРАННЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

*Дорогому
Генедикту Михайловичу -
на память о наших
поэтических пирах, продолжавшихся
с утра до вечера -
С. Маршак.
13/II 1962.*

Этих «поэтических пиров и бесед» у нас было немало. И едва ли не каждый «пир», длившийся с утра до вечера, завершался вот таким подарком, благо книг у Самуила Яковлевича выходило тогда много.

С. Маршак
ВОСПИТАНИЕ
СЛОВОМ

Статьи
Заметки
Воспоминания

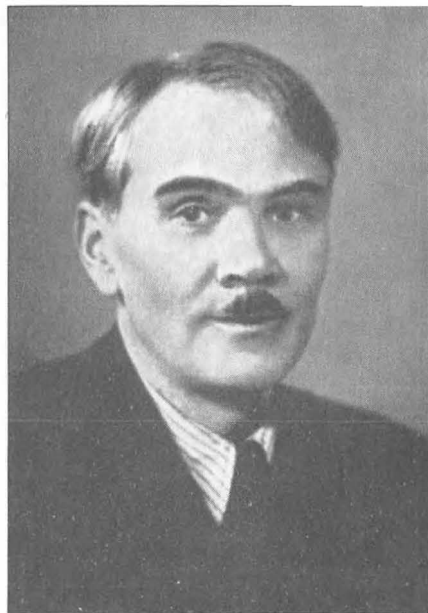
*Дорогому
Генедикту Михайловичу -
на память о наших
поэтических пирах
и беседах -
с искренней любовью
С. Маршак.
10-V-1962.*

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва 1961



Женя Винокуров:

«В квартире Маршака комнат много. Одних своих посетителей он пускает не дальше передней, других удостоивает приглашением в гостиную, третьих зовет в кабинет. Кое-кому удастся заглянуть и в более дальние комнаты. Но сколько у него там за этими дальними комнатами еще более дальних, куда он и самых избранных не пускает, — вот этого не знает никто...»



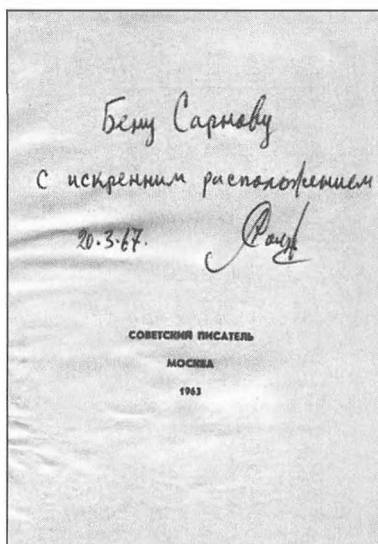
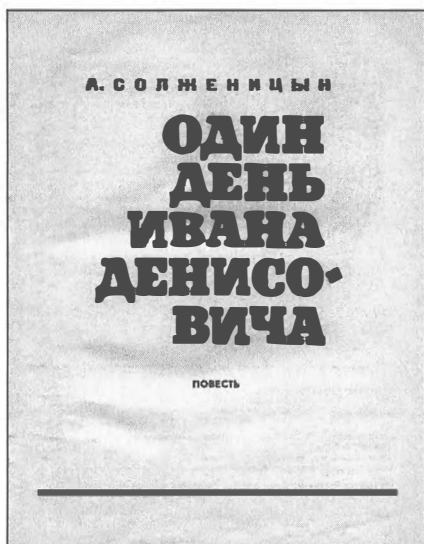
Мне случалось бывать в разных комнатах этой «квартиры». Но в ту, самую дальнюю ее «комнату», о которой рассказал **Алексей Иванович Пантелеев**, Самуил Яковлевич меня не приглашал никогда.

Семен Израилевич Липкин сказал мне однажды, что не переводил бы он Турсунзаде и других орденоносных графоманов, — не было бы у него ни «Джангара», ни «Махабхараты», ни «Манаса», ни Навои, ни Фирдоуси...

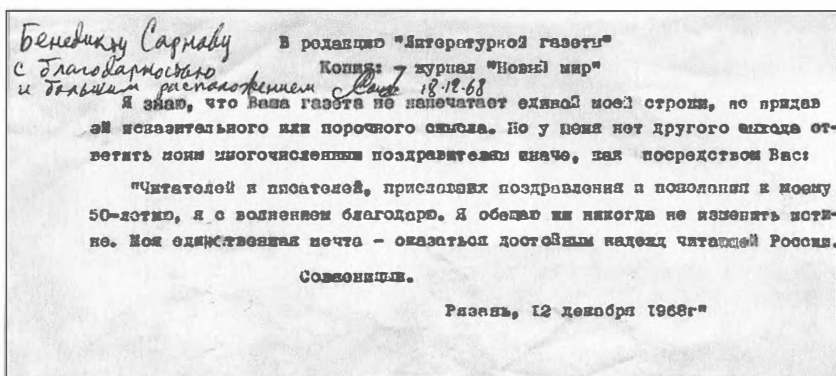


Вот так же и Маршак. Не сочинял бы он свои стишки про оказавшихся под судом продавцов посудного отдела ГУМА, не возложил бы свой траурный венок на гроб Жданова, — не было бы ни четырех Сталинских премий, ни последней, самой престижной в СССР Ленинской. И не был бы он «Маршак Советского Союза».





Начало нашего знакомства, наверно, можно датировать январем, самое позднее – февралем 1967 года. Во всяком случае, на подаренном мне Александром Исаевичем отдельном – «совписовском» – издании «Одного дня Ивана Денисовича» стоит дата: 20.3.67.



Такие послания он рассылал многим. Но в уголке каждому писал что-то свое – в зависимости от степени своего «расположения» к адресату.



Дорогим друзьям
— с любовью
и признательностью
Наталья Сафаркичаня

Март 1974

Эту фотографию с дарственной надписью мне передала Наталья Ивановна Столярова после ареста и «выдворения» Солженицына из страны и незадолго до отъезда вслед за ним его семьи.

Надпись, конечно, не была адресована мне персонально. Но она свидетельствует, что во всяком случае в глазах Натальи Ивановны я входил тогда в круг друзей Александра Исаевича.



Отец моей жены – Петр Иванович – был человек, мягко говоря, неординарный. Попросту говоря – шальной. Будущая моя жена только еще должна была – со дня на день – явиться на свет, а он уже разрезвонил всем своим друзьям-приятелям, что у него родился сын, которого назвали Слава. И когда вместо сына родилась дочь, деваться ему было уже некуда.



Вот так она и осталась на всю жизнь Славой. Не Станиславой, ни Святославой, не Брониславой, а просто Славой. Славой Петровной.

Какой советский писатель посмел бы написать такую фразу? Советские люди, как известно, жили для того, чтобы целиком, без остатка отдать себя борьбе за строительство нового, прекрасного мира. Чтобы в конце жизни «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», как выразился на этот счет другой, настоящий советский классик.

Советский писатель или поэт, если даже случалось ему коснуться щекотливой темы интимной близости мужчины и женщины, говорил об этом словно бы извиняясь, оправдываясь. (Помню стихотворную строчку одного молодого поэта: «Разве, когда ты голая, ты перестаешь быть комсомолкой?»)

Для Эренбурга же приведенная мною фраза («для чего живут люди») была – почти мировоззрением.

В его романе «Москва слезам не верит» омерзительный юнец Луи, прыщавый девственник, со страхом думает об интимной близости с девушкой, которая ему нравится: он боится, что у него ничего не получится, и она будет над ним смеяться. Примерно так оно и выходит, и автор как будто даже сочувствует этому незадачливому подростку. Но спустя несколько страниц мы вновь встречаемся с ним на страницах романа:

Прошло всего три месяца с неудачного посещения Симоны, но Луи успел многое испытать. Он не был больше наивным подростком. Насмешливо вспоминал он: волновался!.. А к чему?.. Все это очень просто... Как машина: раз-два...

Почти не преувеличивая, можно сказать, что все персонажи эренбургских романов делятся на тех, кто, впервые испытав близость с любимым (или любимой), узнает, «для чего живут люди» («Земля плыла», как говорят об этом герои Хемингуэя), – и на тех, для кого «все это очень просто... как машина: раз-два».

И точно так же делит он всех людей по их отношению к искусству: на тех, кто способен понять, что Бальзак был близок к смерти, когда умирал его герой, и – тех, кто знают (или думают, что знают), «Как сделан “Дон Кихот”», и «Как сделана “Шинель”», и «Как делать стихи».

При этом, однако, он очень хорошо знает, что человек, на-

писавший программную статью «Как делать стихи», может быть настоящим – и даже великим – поэтом:

При одной из первых встреч он повел меня в номер московских «меблирашек» и там прочел незадолго до этого написанного «Человека». Я глядел на гнусные обои и улыбался: я видел голенища, которые становятся арфами.

(И. Эренбург. Книга для взрослых)

Шкловский, начавший свой путь литератора и ученого статьями «Как сделан “Дон Кихот”» и «Искусство как прием», тоже мог, глядя на гнусные обои, видеть голенища, которые становятся арфами.

Он тоже был «Павлом Савловичем», и поэтому его измена формализму не была изменой себе.

А фраза его о том, что проституция и любовь в основе своей имеют нечто общее, означала вот что.

Однажды в каком-то нашем разговоре я процитировал знаменитое пушкинское: «Беда стране, где раб и льстец...»

Я даже помню, когда и как это было.

Только что по Москве прошел слух о фантастическом «прыжке» Аркадия: о том, что он – уже в Америке. Виктор Борисович, оказывается, ничего про это не слышал. Я рассказал ему всё, что знал.

Выслушав меня, он вздохнул:

– Ну вот... Теперь он будет там говорить, что мы плохие... Но ведь все и так знают, что мы плохие... Мы и сами знаем, что мы плохие...

И вот на это я и ответил – сам не могу толком объяснить почему – пушкинской цитатой:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупив очи долу.

Он вскинулся, как ударенный током:

– Кто это?

Я сказал:

– Пушкин.

Он вздохнул:

– Ну, это – гений...

Не знаю, что он хотел этим сказать. Может быть, что так думать и чувствовать имеет право только гений? Не знаю. Но в интонации, с какой были сказаны эти слова, как мне показалось, прозвучало и это.

– Откуда это? – спросил он.

Я снял с полки томик Пушкина, нашел стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»), и мы вдвоем, чуть не стукаясь лбами, склонились над раскрытой книгой.

Прочли первую строфу:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Стишки, по правде говоря, были – так себе. Поэт, как сказал Мандельштам, ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться, потому что поэзия – это сознание своей правоты. А Пушкин – оправдывался. И как-то жалко выглядели эти его оправдания. Не верилось, что все это он говорит искренне, «языком сердца».

Дальше было – еще хуже:

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами,
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

Как же – не льстец? Самый настоящий льстец! Даже не верится, что это Пушкин.

Но в следующих строфах вдруг зазвучала личная нота:

Текла в изгнании жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он жизнь мою,
И я ль, в сердечном умиленьи,
Ему хвалы не воспою?

В искренность этого «сердечного умиленья» верится не слишком. Но эти строки – уже не пустые. Тут веришь, по крайней мере, что сочинял их поэт – «в надежде славы и добра»: человеческой душе свойственно надеяться на лучшее.

Затем он как бы продолжает оправдываться. Но теперь эти его оправдания уже звучат иначе:

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав.
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет, презирай народ,
Глуши природы голос нежный.
Он скажет: просвещенья плод –
Разврат и некий дух мятежный!

Тут уж не может быть сомнений: это презрение Пушкина к нарисованному им образу «лукавого льстеца» – искренно. Одушевленный этим презрением, он разгорается «всё боле, боле», и вот тут, вдруг, быть может, неожиданно для него самого, и является на свет эта заключающая стихотворение строфа.

Это уже – совсем другой голос. Воистину – «божественный глагол», голос правды, гения, голос пророка:

Беда стране, где раб и льстец...

– Да, это гений, – снова вздохнул Виктор Борисович, когда стихотворение было дочитано до конца.

Но его мозг, постоянно рождающий все новые и новые ослепительные концепции и теории, тут же, наверно, навел его на мысль, что в этом частном – пушкинском – случае проявился некий общий закон. Что поэт – как женщина, о которой тот же Пушкин сказал:

... восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле –
И делишь, наконец, мой пламень поневоле!

В том споре о евтушенковском «Бабьем Яре» он не мог, да, наверно, и не хотел быть со мною – против всех. Но и отрицать, что толкнуло Женю на создание «Бабьего Яра» не искреннее чувство, а холодный расчет, он тоже не стал. Ну и что же? Пусть так. Одно другому не противоречит. Начал – по расчету, а закончил – «по любви». Сарнов тоже знает, что такое порой случается. Даже с гениями.

Женю Евтушенко он гением, конечно, не считал. Но масштаб его поэтического дарования и его место в русской поэзии XX века явно преувеличивал.

Отсюда и эта, сперва озадачивавшая меня, его реплика про Межирова («Это великий поэт»).

Точкой отсчета тут был – тот же Евтушенко.

Когда Эренбург был в Италии, все его там расспрашивали про Евтушенко. И однажды – в разговоре с каким-то итальянским то ли поэтом, то ли славистом – он рассердился:

– Да что вы всё про Евтушенко, да про Евтушенко! У нас – десять таких поэтов, как Евтушенко!

– О! Десять Этусенко! – изумился итальянец. – Великая страна!

Поддавшись этому всеобщему – мировому – безумию, Виктор Борисович исходил из того, что Евтушенко – значительный, крупный, может быть, даже большой поэт. И вдруг, прочитав Межирова, убедился, что тот – лучше, крепче, ярче, чем Евтушенко. Стало быть, этот неведомый ему прежде Межиров, которого он только что прочел, – поэт великий.

Конечно, его реплика насчет проституции и любви, которые в основе своей имеют нечто общее, была рождена желанием смягчить остроту спора, найти изящное компромиссное решение, которое устроило бы всех – и тех, кто был в восторге от Евтушенко, и упрямого, непримиримого Сарнова, стоявшего на том, что поэтическая публицистика этого их всеобщего кумира все-таки ближе к проституции, чем к любви. Но в то

же время это была – концепция, целью которой (как и многих других его концепций) было – самооправдание.

Михаил Михайлович Зощенко о некоторых сочинениях своих литературных собратьев, бывало, говорил:

– Ну, это диктант.

Эта его классическая фраза родилась в начале 30-х, когда еще сохранялись иллюзии, что писать «диктанты» – удел сдавшихся, сумевших наступить на горло собственной песне. Их можно было презирать, им можно было сочувствовать, но сохранялась надежда, что есть еще и другой путь. Но в последующие годы (а после знаменитого постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой уже окончательно) выяснилось, что никакого другого пути нет: никаких «сочинений на вольную тему» больше не будет: отныне и навсегда общим уделом всех советских писателей остается диктант. Только диктант – и ничего другого.

Виктор Борисович это понял раньше других. И принял – как неизбежность. («Когда мы уступаем дорогу автобусу...») Но при этом он все-таки надеялся, что в пределах, в жестких рамках этого диктанта можно будет все-таки оставаться творцом, художником. Даже Пушкину приходилось сочинять диктанты. И это не помешало ему стать (остаться) Пушкиным.

Пушкин, правда, был гений. На то, чтобы в полной мере реализовать свою гениальность, Виктор Борисович давно уже не рассчитывал. (Какое там!) Но он еще надеялся, что в пределах заданного им всем диктанта ему все-таки удастся остаться самим собой. Остаться Шкловским.

И тут надо сказать, что до некоторой степени это ему удалось.

Однажды я шел по нашей Красноармейской улице и встретил Виктора Борисовича.

Остановились.

Он (с ним только так это обычно и бывало) начал с полуфразы, словно продолжая вчера – или несколько дней назад – завязавшийся разговор:

– Ну вот... История такая. Пишу книгу о Толстом. Концепция: Толстой – неудачник.

– Толстой? Неудачник?! – изумился я.

– Конечно, неудачник. Всю жизнь любил простых деревенских баб, а женился на барышне... Был гениальным писателем и отрицал искусство... Основал религию, к которой сам не принадлежал... Неудачник!

Постояв еще немного, мы разошлись – каждый в свою сторону.

О чем думал, расставаясь со мной Виктор Борисович, я не знаю. Ая, естественно, все проворачивал в своем мозгу эту его оригинальную идею. Это надо же – такое придумать: Толстой – неудачник!

В его изложении, однако, это выглядело убедительно.

Года два спустя во время очередного нашего вечернего чаепития Виктор Борисович торжественно вручил мне только что вышедшую свою книгу о Толстом, сделав на ней длинную и витиеватую дарственную надпись. Текст был украшен рисунками. В центре листа был изображен бильярд, от которого во все стороны расходились солнечные лучи. Подпись под этим рисунком гласила: «Книги надо писать, а не шары гонять». Само же слово «бильярд», которое там тоже упоминалось, было написано с одним «л». Эту свою ошибку Виктор Борисович заметил сам, но исправлять ее не стал, а, пометив слово звездочкой, внизу страницы сделал к нему сноску: «Новая орфография».

Он не скрывал, что доволен и вышедшей книгой, и собой. Пропел даже по этому случаю «караимский гимн».

«Караимский гимн» – это была старая его шутка. Однажды он рассказал нам, что Айвазовский, оказывается, был караимом. И все крымские караимы были чрезвычайно горды тем, что тут, у них, в Феодосии, живет такой знаменитый их соплеменник. Плодом этой их национальной гордости будто бы и был вот этот самый «караимский гимн», который в исполнении Шкловского звучал так:

Ай-ва-зов-ский,
Та-на-на-на-най!

И вот сейчас, взвешивая на ладони тяжелый том своего «Толстого», он пропел:

Ай да Витя,
Та-на-на-на-най!

Что-то, конечно, по случаю такого события тогда было выпито, и домой от Шкловских мы с женой вернулись уже далеко за полночь. А рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Виктор Борисович:

– Ну как? Вы прочли мою книгу?

В книге было – ни мало ни много – восемьсот страниц.

Да хоть бы даже и вполовину меньше. Как я мог бы успеть прочесть ее за одну ночь?

Я, конечно, решил, что он шутит.

Но это была не шутка. Сам он, вручи ему на ночь кто-нибудь свою новую книгу, наверняка к утру прочел бы ее.

Так, кстати, было с одной моей подаренной ему книгой. У меня даже сохранилось письмо, в котором он мне об этом сообщает:

Дорогой Бен!

Звонил к Вам, но не дозвонился.

Сообщаю, Вы написали очень хорошую книгу. Я прочел ее за ночь.

Хороша глава о Маршаке (хотя ей не хватает иронии).

Большой человек тоже заслуживает иронии. Я это опять понял, читая автобиографию Чаплина.

Хорош Гайдар. Спасибо за гусей и лебедей.

Они вместе со мной Вам кланяются.

Вы талантливы, и Вы должны развивать строгое к себе отношение.

Виктор Шкловский.

Апрель, кажется 26. Год 1966.

Видит Бог, не для того, чтобы похвастаться отпущенными мне комплиментами, привел я здесь это письмо. Совсем не в комплиментах тут дело, а в том, чем они сопровождаются: «...не хватает иронии. Большой человек тоже заслуживает иронии», «...вы должны развивать строгое к себе отношение».

Но главное тут даже и не это, а то, что он прочел мою книгу за ночь.

Он прочел ее за ночь не потому, что она была так уж хороша (в этом я и тогда не был уверен, а уж теперь – тем более), а потому, что любую новую книгу, попавшую ему в руки, он проглатывал сразу. Ему просто-напросто не терпелось дочитать мою книгу до конца – так же, как не терпелось, прочитав, сразу же позвонить мне и сказать все, что он о ней думает, а не дозвонившись – вот так же, сразу, пока не остыл, сесть и написать то, что не удалось сказать по телефону.

Хоть и не в ту же ночь, а чуть позже, книгу Виктора Борисовича о Толстом я, конечно, прочел. (Потом даже написал о ней.) Никаких следов той мимоходом высказанной им концепции я в ней не обнаружил. Хотя следы эти там, конечно же, были. Во всяком случае, его убеждение, что Лев Николаевич – неудачник, было искренним.

В этой концепции тоже был элемент самооправдания: вот и он, Виктор Борисович, тоже (совсем как Лев Николаевич со своим учением) – основал школу, целое направление в науке, «к которому сам не принадлежал». Неудачник!

Но ведь все мы, «братья-писатели», – неудачники. Такая уж это профессия. Счастливчиков среди нас быть не может. Если сам Толстой – великий из великих – и тот оказался неудачником, на что можем рассчитывать мы, грешные!

Прав, прав был Гейне, сравнивший поэта с моллюском, который рождает жемчужину только тогда, когда в его раковину попадает песчинка, причиняющая ему рану и боль.

* * *

В последний раз я встретил Виктора Борисовича незадолго до его смерти. Он медленно брел по двору нашего «старого писательского», опираясь на плечо внука – Никиты.

Даже не опираясь, а налегая на него всем телом и еле волоча ноги.

– Что делаете? – спросил он.

Я ответил, что пишу книгу для Детгиза.

– Какая книга? О чем?

Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, я ответил коротко:
– Наполовину теоретическая, наполовину занимательная.
– Ну, авось какая-нибудь половина пройдет, – усмехнулся он.
(Не прошла ни одна.)

Усмешка была прежняя, «шкловская». И в глазах, старческих, слезящихся, мелькнула так хорошо знакомая мне, неугасающая «шкловская» ирония.

Стоять ему было, наверно, даже еще труднее, чем передвигаться. Но было это, как он тут же мне объяснил, не от дряхлости, а потому, что когда-то пуля угодила ему в крестец, и вот теперь эта давняя рана дала о себе знать.

Я легко поверил, что ноги не слушаются его не из-за старости, хотя было ему без малого 92 года. Поверил безоговорчно, потому что, несмотря ни на что, это была не «тень Шкловского», не «то, что осталось от Шкловского», как говорят обычно о таких глубоких стариках, а самый что ни на есть настоящий, доподлинный, живой Шкловский.

И все-таки...

Есть такой анекдот.

В музее под стеклом два древних черепа.

– Что это? – спрашивает посетитель.

Экскурсовод отвечает:

– Череп императора Нерона.

– А почему два?

– Тот, что слева, – череп Нерона до пожара Рима. А справа – после пожара.

Так вот. После того как Виктор Борисович написал свое публичное «Заявление во ВЦИК СССР», в котором объявил, что сдается, он прожил новую, долгую и сложную жизнь, в которой – каким-то чудом – сумел остаться живым не только физически, но и в том значении, какое придал этому слову в своем знаменитом стихотворении Пастернак. («И должен ни единой долькой / Не отступаться от лица, / Но быть живым, живым и только, / Живым и только до конца».)

Вот небольшой отрывок из последней книги Виктора Борисовича, вышедшей за год до его смерти:

Художественное построение сложно, оно имеет множество родителей.

Причем законные дети рождаются тем же способом, что и незаконные...

Надо говорить о Гоголе...

Он умер в тот период, когда сжигал в камине черновики продолжения «Мертвых душ».

Он думал, что они могут воскреснуть.

Ему поставили в Москве памятник.

Но памятник сняли.

Увезли — правда, недалеко.

В тот дом, где жил и умер новоявленный Гамлет...

Памятник Гоголю по-прежнему помещен великолепно.

Сфинксы не были памятниками каким-либо героям.

Мы не знаем, кого они изображают.

Памятники были и в виде столбов...

Из одной только этой короткой цитаты видно, что от первых своих шагов в литературе до последнего своего часа он «ни единой долькой не отступился от лица».

Но что ни говори, а тот Шкловский, каким он был до своего «Заявления во ВЦИК», — это другой Шкловский. Не тот, которого я знал. Шкловский — до пожара Рима.

Он уверял, что «страх и угнетение нужны», что они не только не мешают, но даже помогают писателю стать самим собой. Что писатель — как лён, которого чем сильнее дергают, мнут и треплют, тем больше это идет ему на пользу. Вот и его самого — в точном соответствии с этой его программой — и дергали, и трепали, и мяли.

О том, что из этого вышло, мы теперь знаем.

Бедный лён!

КВАРТИРА МАРШАКА

Квартира тиха, как бумага –
Пустая, без всяких затей, –
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей...

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть...

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

О. Мандельштам

– Если ночлега нигде не найдем,
Может быть, купишь какой-нибудь дом?..

– Купишь! – Отец отвечает вздыхая:
– Ты не в Чикаго, моя дорогая.

С. Маршак

1

Всякий раз, когда мне случалось жить в переделкинском Доме творчества, я навещал Корнея Ивановича.

Однажды, когда я заглянул к нему, его как раз снаряжали для прогулки. Он стоял в передней, уже почти совсем одетый, а вокруг него суетились женщины – одна укутывала ему шею

шарфом, другая надевала рукавицы. А он стоял – высоченный, улыбающийся. И принимал все эти их заботы как должное, само собой разумеющееся.

Когда сборы были совсем уже завершены и мы с ним вышли на улицу, я сказал:

– Вы прямо как солнце, вокруг которого все вращается.

– Да, – согласился он, – А ведь я никогда к этому не стремился. Это вышло как-то само собой. А вот Самуил Яковлевич, который всегда так этого хотел, живет в этой своей мрачной, холодной квартире, один как сыч, с этой жуткой Розалией... И как только он ее терпит...

Я знал, что отношения у Чуковского с Маршаком непростые. О том, как ревниво они друг к другу относятся, приходилось тогда слышать на каждом шагу. Помнил я и знаменитую эпиграмму, сочиненную Елизаветой Тараховской:

Провожая на вокзал,
Маршак Чуковского лобзал.
А приехав на вокзал,
«Ну и сволочь!» – он сказал.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной.

Но в этой реплике Корнея Ивановича я не углядел и тени какого-нибудь скрытого, тайного недоброжелательства. Ничего, кроме самого искреннего сочувствия.

И хотя в то время я уже постоянно бывал у Самуила Яковлевича на Чкаловской, реплика Чуковского заставила меня совсем по-новому взглянуть и на его действительно мрачноватую и не шибко уютную квартиру, и на весь его, в самом деле, не больно хорошо устроенный быт.

На одном из подаренных мне томов выходившего тогда четырехтомного собрания его сочинений, Самуил Яковлевич написал:

На память о нашем поэтическом утре, продолжавшемся до вечера.

Таких утр, продолжавшихся до самого вечера, у нас было много.

Читали стихи (читал, как правило, он – иногда свои, чаще чужие), разговаривали (говорил главным образом тоже он).

Иногда на пороге возникала его домоправительница – та самая «жуткая», как назвал ее Чуковский, Розалия Ивановна.

– Самуил Яковлевич, – начинала она, – вам давно уже пора...

Но он не давал ей закончить.

– Уходите! Вы нам мешаете! – кричал он. – Принесите нам чаю и немедленно уходите!

Однажды, когда я к нему пришел – на этот раз не утром, а во второй половине дня, – у него сидел Виктор Боков и, наяривая на балалайке, пел частушки.

Встретившая меня Розалия Ивановна, скорбно поджав губы и неодобрительно покачав головой, пожаловалась:

– С самого утра песни играют.

Было видно, что это пиршество духа и в самом деле длится уже много часов. Раскрасневшийся, взмокший от вдохновения и усердия Виктор вспоминал все новые и новые частушки, а ненасытный Маршак требовал еще и еще.

Наслаждение оба испытывали неизъяснимое.

А потом Самуил Яковлевич стал сам вспоминать разные старые частушки, Бог знает, с какого времени застрявшие в его памяти.

Каждая из них чем-нибудь особенно его восхищала.

Одна – безыскусной внутренней рифмой:

Милый шарфик поносил,
Полушалок попросил.
Мне не жалко полушалка,
Жалко мало поносил.

Другая – слитностью содержания частушки с ее разухабистым плясовым ритмом. Ее С.Я. как-то особенно четко проскандировал.

По-шла пля-сать
В коротенькой коф-те,
Засучила рукава
По самые лок-ти.

А третью – такую же – даже спел:

Пошла пля-сать,
Только пол хрустит,
Наше дело молодое –
Нас и Бог простит.

Четвертая восхитила его своей крепкой сделанностью:

Все платки я перносила,
Только шаль осталася,
Всех парней я перлюбила,
Одна шваль осталася.

Пятая пленила пластикой, картинностью, слитностью музыкального и зрительного образа:

Перед мальчиками
Пройду пальчиками,
Перед старыми людьми
Пройду белыми грудьми.

Шестая – изяществом и точностью выраженного в ней «внутреннего жеста»:

Куда, милый мой, идешь?
Дорогая – в гости.
Милый мой, возьми меня!
Дорогая – после...

Боков уже давно простился и ушел со своей балалайкой, а Самуил Яковлевич долго еще не мог успокоиться. Вспоминал всё новые и новые частушки, восхищался их виртуозностью, говорил о том, какая это сокровищница словесной, ритмической, образной, изобразительной и всякой иной гибкости и выразительности русского стиха.

Покончив с частушками, перекинулся на городской, «мещанский» романс («Маруся отравилась...»), демонстрируя и смакуя таящуюся в разных его поворотах неведомую мне прежде, неизъяснимую прелесть.

Тут же, по прямой ассоциации со своими размышлениями о емкости и выразительном лаконизме народной русской частушки, он вспомнил восхитившее его четверостишие только что ушедшего Бокова:

На снегу сидит снегирь,
На груди зарю неся.
– Как зовут, земля?
– Сибирь.
– Я хочу домой!
– Нельзя.

И долго говорил о том, как ценно в Бокове то, что его самородный талант опирается на прочную основу давней народной традиции и что без этой основы кажущиеся такими яркими стихи многих современных молодых поэтов похожи на часы, у которых отсутствует часовая стрелка. Часы тикают, ходят, и минутная стрелка в положенный ей час совершает свое круговое движения по циферблату. Но как по таким часам узнаешь, который час?

В общем, и это наше поэтическое «утро» затянулось до глубокого вечера.

Многочисленные попытки Розалии Ивановны вмешаться и прекратить это безобразие пресекались жестоко и неумолимо. Впрочем, удивить ее было трудно: всю безнадежность этих своих попыток она и сама прекрасно понимала.

Как-то раз, явившись к Самуилу Яковлевичу (по его настоятельному требованию, конечно, иначе это не бывало) я застал его в постели.

Оказалось, что у него – воспаление легких. Уже пятое или даже шестое в этом году. Мои попытки отложить визит до его выздоровления были решительно пресечены, и день прошел как обычно, с той только разницей, что принимал он меня в постели и в ночной сорочке.

По поводу этой ночной сорочки он, к слову, сообщил мне, что Александр Трифонович Твардовский, когда увидел его в этом одеянии, чуть не умер от смеха. Сообщил он мне это сугубо между нами, чуть ли не взяв с меня слово, что я никому

про это faux pas Трифоныча не разболтаю. В детстве я тоже спал в ночной сорочке. Но, разумеется, и не подозревал, что приверженность к этому детскому ночному одеянию может сохраниться у взрослого и даже весьма пожилого мужчины. Однако виду не подавал и тоже – вместе с Самуилом Яковлевичем – посмеивался над неистребимой крестьянской «дикостью» Александра Трифоновича.

Все попытки Розалии Яковлевны прекратить или хотя бы сократить наше общение пресекались так же жестоко, как это бывало, когда Маршак был здоров и принимал меня не в постели, а в кабинете. Во время одной из этих ее попыток выяснилось, что утром температура у него была выше тридцати восьми градусов.

Когда она в очередной раз была изгнана криком: «Уходите немедленно! Вы мешаете нам работать!», я сказал:

– Самуил Яковлевич, ведь она права. При такой температуре...

– Да, – сказал он, – у меня жар...

Я мысленно отметил этот старинный оборот: в *моей* Москве давно уже так не говорили, – говорили: «Высокая температура».

– У меня, действительно, жар, – продолжал он, – но это пустяки, я к этому привык...

– Вы бы хоть курили поменьше, – сказал я.

Он согласился, что это верно, курить надо бы поменьше. И тут же, докурив папиросу, зажег новую. Со вкусом затянувшись, сказал:

– Эту квартиру, весь этот свой образ жизни я называю «Трест по уничтожению Маршака». Во главе этого треста, конечно, стою я сам. Но понимаете, какое дело, голубчик! Мне семьдесят четыре года. Сколько проживу – столько проживу. А менять себя мне уже поздно...

Я сказал, что лечиться все-таки надо, на что он ответил репликой, которую, как я понял, придумал уже давно, может быть, даже нарочно для того, чтобы отвечать ею на такие вот нравоучительные сентенции:

– Чтобы лечиться, нужно иметь железное здоровье.

Все мои впечатления о его образе жизни, включая этот раз-

говор, – всё это было до того, как я услышал ту реплику Корнея Ивановича. Так что ничего нового К.И. той своей репликой мне не сообщил. И все-таки, как уже было сказано, та его реплика заставила меня чуть внимательнее взглянуться в обстановку, окружающую Самуила Яковлевича, – в повседневный его быт.

Вот хотя бы эта его квартира на Чкаловской.

Квартира вроде нормальная: большая, удобная, в хорошем доме. Район, правда, так себе: напротив Курского вокзала. По Садовой – беспрерывный поток машин, в том числе и грузовиков: шум, грохот. И никакой зелени вокруг. А моя жена все время твердит мне, что зелень – это очень важно, в особенности, если учесть, каким воздухом мы все дышим в этой нашей загазованной столице.

Но о каком воздухе можно говорить применительно к этой маршаковской квартире, если вся она прокурена насквозь, и запах табака, пропитавший каждый кубический сантиметр ее пространства, не выветрится уже никакими сквозняками, сколько ни старайся.

Дело, однако, было не в прокуренности, и не в близости к Курскому вокзалу.

Главное, на что я обратил свое внимание, когда после той реплики Корнея Ивановича совсем по-новому взглянул на квартиру Маршака, была вдруг поразившая меня ее безликость. На всех других писательских квартирах, виденных мною (я имею в виду квартиры стариков, сверстников Самуила Яковлевича) лежал резкий отпечаток индивидуальности их обитателей. О том, какое впечатление произвели на меня квартиры Эренбурга и Шкловского, я уже писал. Что же касается переделкинского дома Чуковского, то он уже при жизни Корнея Ивановича гляделся как музей: что ни шаг, то – готовый экспонат: вот хозяин дома, запечатленный кистью Репина, а вот – «Чуковский в новой шляпе», нарисованный карандашом Маяковского, а вот – картина Добужинского, тоже как-то связанная с личностью Корнея Ивановича или с какой-то его книгой.

Квартира Маршака не только такой яркой, сразу бросающейся в глаза, но и вообще какой бы то ни было индивидуальности была лишена начисто.

В его кабинете только письменный стол, вечно заваленный рукописями, гранками, книгами, напоминал о том, что хозяин этого кабинета – писатель. Все остальное – застекленные шведские книжные шкафы, потертый кожаный диван, глубокое черное – тоже кожаное – кресло вполне могло принадлежать врачу или – не очень преуспевающему, средней руки – адвокату.

Ни один предмет в этом кабинете не отражал индивидуальности Маршака, его особенности, его непохожести на любого другого российского интеллигента, бытовые вкусы которого сформировались в еще дореволюционные времена. Разве только – не совсем обычная пепельница: маленький серебряный ящичек, крышечка которого никогда не закрывала его плотно, потому что он вечно доверху был набит окурками.

Почему же я раньше не замечал этой унылой безликости его кабинета? Почему не поразила она меня сразу, почему ни разу мне не пришло в голову сравнить этот маршаковский рабочий кабинет – к явной его невыгоде – с кабинетами Эренбурга, Шкловского, Чуковского?

А очень просто. Потому что это отсутствие индивидуальности в окружающих его вещах, предметах его домашнего обихода было заслонено ярчайшей индивидуальностью самой его фигуры. Его поведения. Его манеры жить. Его бешеным темпераментом. Вот этим самым непрерывно действующим «трестом по уничтожению Маршака». Его способностью забыть о завтраке, обеде, ужине, о пятом или шестом за этот год воспаления легких, о том, что у него «жар», и о том, что он принимает вызванного им визитера в ночной сорочке, – забыть обо всем на свете, кроме стихов, частушек, находящихся в работе рукописях и ждущих его не вычитанных корректур.

Дочь Эренбурга Ирина не зря хотела сохранить кабинет Ильи Григорьевича: в его кабинете даже и сейчас, когда он давно уже сменил свой адрес, да и Ирины, которая перевезла его к себе, давно уже нет на свете, всё еще живет бывший его владелец: живет в картинах, книгах, фотографиях, любимых вещах. Лидия Корнеевна Чуковская не зря так печалилась, что дом умершего Корнея Ивановича хотят разорить, и дочь ее Люша не зря так долго боролась за сохранение этого дома:

сколько лет прошло, а в нем все еще жив дух его старого хозяина.

Квартира Маршака после смерти Самуила Яковлевича не прожила и дня. Она умерла вместе с ним.

Невольно, может быть, совсем об этом не думая, это ощущение очень точно выразил в своих воспоминаниях о Маршаке, написанных вскоре после смерти Самуила Яковлевича, Алексей Иванович Пантелеев:

... Подумать только, что все это — и стол, и диван, и шкафы, и кресло, и милая маршаковская пепельница-ящичек — все это и сегодня, сейчас вот, сию минуту стоит в его кабинете на улице Чкалова. А как все это пусто, безжизненно, мертво. И как, небось, тихо, холодно и тихо там сейчас.

Начиная эту главу, я и думать не думал, что так много места в ней займет это «лирическое отступление» о квартире С.Я. Маршака на Чкаловской. Ведь задумывая ее и называя так, как назвал, я имел в виду совсем не эту — реальную, вещественную, материальную «квартиру Маршака», а — совсем другую.

2

Женя Винокуров, с которым в Литинституте мы сидели за одной партой, стал ходить со своими стихами к Маршаку еще в наши студенческие годы. Узнав, что я тоже стал частым гостем у Самуила Яковлевича, он однажды сказал мне:

— Должен тебя предупредить, что в квартире Маршака комнат много.

— К чему ты это мне говоришь? — удивился я.

— К тому, — объяснил он, — чтобы ты не преувеличивал степень своей близости с ним. Одних своих постоянных посетителей он пускает не дальше передней, других достаивает приглашением в гостиную, третьих зовет в кабинет. Кое-кому удастся заглянуть и в более дальние комнаты. Таких, как ты понимаешь, — немного. Это уже — особо избранные...

Тут Женя сделал многозначительную паузу, давая понять, что сам он, безусловно, входит в число этих избранных.

– Но, – продолжил он, – это тоже ничего не значит. Сколько у него там за этими дальними комнатами еще более дальних, куда он и самых избранных не пускает, а может быть, даже и сам не так уж часто туда заглядывает, – вот этого не знает никто...

Эта винокуровская метафора в какой-то мере была, конечно, и гиперболой. Но я готов признать, что вряд ли мне довелось заглянуть во все «комнаты» той маршаковской «квартиры». Не поручусь, что мне пришлось побывать даже во всех «комнатах», в которых случалось погостить Жене. Но – что правда, то правда, – «комнаты», в которые С.Я. пускал не всех, в той его «квартире» действительно были. И даже тем, кому случалось бывать в его квартире часто, доступ в эти дальние комнаты открывался не сразу.

О тех, кого к нему пускали не дальше передней, ничего сказать не могу. С такими его посетителями я даже не сталкивался и о том, как он там в этой передней с ними обходился, не знаю.

В гостиной я тоже не задержался, – минув ее, сразу попал в «кабинет». (Почему так получилось, объясню позже). Но о том, что в этой его гостиной происходило и кого он там принимал, рассказать могу: несколько раз случилось и мне тоже побывать в его парадной приемной. (О том, как и почему это вышло, я тоже еще расскажу.)

Там обитал официальный Маршак – «Маршак Советского Союза», как гласила подпись под шаржем Кукрыниксов, где С.Я. был изображен в форме маршала. Это была игра на звуковой близости слов: «Маршак» и «маршал». Но не будь Маршак и в самом деле маршалом по официальной тогдашней советской табели о рангах (во всяком случае – маршалом одного из «родов войск»: детской литературы), Кукрыниксы вряд ли осмелились бы – даже в шутку – присвоить ему маршальское звание.

Сюда, в эту парадную «залу», к нему приходили газетчики – из «Известий», из «Литературки», а нередко даже и из самой «Правды». Просили дать что-нибудь «в номер». И он почти никогда не отказывал. Быстро сочинял какой-нибудь стишок – вроде, например, такого:

В Московском ГУМе был отдел
И звался он посудным.
Но после многих грязных дел
Он сделался подсудным.

Это – на уголовную тему. А бывало и на политическую:

Давно ль, давно ль
Петух де Голль
Стал перелетной птицей...

Или – еще того хлеще:

Теперь Титó
Совсем не то,
Он изменился не на шутку:
Он был Иосиф Броз Титó,
А стал Иосиф Брозтитутка.

О моральном уровне этих стишков я не говорю. Но в них есть какая-то игра, какая-то версификационная ловкость.

А случалось, что даже и это чисто профессиональное маршаковское умение ему изменяло.

Вот, например, когда умер Жданов, он напечатал в «Литературной газете» такой панегирик дорогому покойнику:

Он посвятил себя отчизне,
Её свободе с юных дней,
И не одну, а десять жизней
В трудах и битвах отдал ей.

Унылая безликость этих вялых строк яснее ясного говорит о том, как смертельно не хотелось ему участвовать в официальных государственных похоронах этого литературного палача. Но – не смог отказаться.

То есть – что значит «не смог»? В его положении уже нельзя, невозможно, немислимо было отказаться от выполнения этого «социального заказа».

Сейчас я уже довольно ясно представляю себе, как создавалось это его официальное положение.

Начиналось, наверно, как-нибудь так же, как в той истории про Мандельштама, которую «в тоне юмора» рассказал в своем «Алмазном венце» Валентин Катаев:

Я пришел к щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в Главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи.

При слове «агитстихи» щелкунчик поморщился, но все же согласился, и мы отправились в дом бывшего страхового общества «Россия» и там предстали перед Крупской...

Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих-батраков за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге. Надо написать на эту тему разоблачительную агитку...

Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда принято было говорить, к выполнению социального заказа.

Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора.

— Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков, — бодро начал я и предложил щелкунчику продолжить, но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел:

— Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы!..

Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся...

Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музыки, потом снова начинал ходить взад-вперед.

Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш.

Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что «...есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе, как вол...»

Он призадумался.

Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно зависла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем все это окончится.

И вдруг щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложноклассический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмутив брови, как и подобало великому баснописцу:

— Кулак Пахом, чтоб не платить налога... — Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно: — *Наложницу* себе завел!

Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится.

На этом и кончилось покушение щелкунчика включиться в агитпозеию Главполитпросвета.

Уже переписав эту замечательную историю, я вдруг, так сказать, задним числом, сообразил, почему именно она мне тут припомнилась. Ведь Маршак – точь-в-точь как некогда Мандельштам, – почувствовал, что «спасти» заказанную ему халтуру может только игра. В данном случае – игра слов. И инстинктивно пошел тем же – мандельштамовским – путем. (У Мандельштама – игра на словах «налог» и «наложница», у Маршака – на словах «посудный» и «подсудный».)

Но у Мандельштама из его попытки «включиться в агитпозеию Главполитпросвета» ничего не получилось, а у Маршака – получилось.

Помню, однажды при мне Самуил Яковлевич сказал Вале Берестову:

– Главная наша беда в том, мы с вами люди способные.

И с усмешкой добавил:

– Способный, это ведь значит – способный на многое.

Оказавшись (в отличие от Мандельштама, который, как он сам о себе говорил, мастером не был) человеком способным, Маршак постепенно втянулся в эту игру. А когда хватился, было уже поздно: выйти из нее было уже невозможно.

Да и так ли уж хотел он из нее выходить?

Тут ведь немалую роль играло еще одно – довольно важное – обстоятельство.

Семен Израилевич Липкин однажды рассказал мне, как мучался он над переводом путевых очерков Мирзо Турсун-заде. Собственно, переводом это назвать было трудно. Никакого текста у Мирзо не было. Он рассказывал Липкину о своем путешествии по Индии устно, а тот из этих устных его рассказов должен был слепить нечто удобоваримое.

И вот рассказывает он о посещении жалкой, убогой хижины какого-то индийского бедняка. Липкину нужны какие-то реалии, детали. Он допытывается:

– Ну, а из чего он ел свою убогую еду. Из какой-нибудь чашки? Плошки? Какая она была? Глиняная? Или, может быть, деревянная?

А Мирзо в ответ твердит одно:

– Бэдний человек... Совсем бэдни... Нищий...

Я спросил:

– Семен Израилевич, а зачем вам надо было его переводить? Мало разве вам было «Махабхараты», «Манаса», «Джангара»?

Я знал, что свою работу над народными эпосами и классиками персидской поэзии Семен Израилевич любил, относился к ней отнюдь не как к халтуре. И вот – счастливое, редкое в те времена сочетание – любимая работа, эти десятки тысяч переведенных строк сделали его обеспеченным, даже богатым, а значит – независимым. На чёрта ему при этом еще какой-то Турсун-заде?

Я думал, он ответит, что с Мирзо у него сложились такие отношения, что отказаться перевести его он уже не может. Но, посмотрев на меня как на идиота, он сказал:

– А потому, что без *того* не было бы *этого*.

Не переводил бы он Турсун-заде и других орденосных графоманов, не было бы у него ни «Джангара», ни «Махабхараты», ни «Манаса», ни Навои, ни Фирдоуси...

Вот так же и Маршак.

Не сочинял бы он эти свои стишки про оказавшихся под судом продавцов посудного отдела ГУМА, не возложил бы свой траурный венок на гроб Жданова, – не было бы ни четырех Сталинских премий, ни последней, самой престижной в СССР Ленинской. И не был бы он «Маршак Советского Союза».

Как я уже сказал, в парадной приемной его «квартиры» мне тоже случилось несколько раз побывать. Об этом, как и обещал, я еще расскажу. Но сначала надо объяснить, как и почему получилось, что в «квартиру» Маршака я попал, минуя не только прихожую, но и эту парадную гостиную: сразу оказался в «кабинете».

Если бы впервые я заявился к Самуилу Яковлевичу с официальным визитом от «Литературной газеты», где я тогда работал, наверно, и меня тоже прежде, чем пригласить в кабинет, какое-то время помуржили бы в прихожей, а потом и в парадной гостиной.

Но я пришел к нему не от газеты, а – от себя.

В 1959 году вышла первая моя маленькая книжечка: «Л. Пантелеев. Критико-биографический очерк».

«Республика Шкид» была одной из любимых книг моего детства. А пантелеевские рассказы «Часы» и «Пакет» принадлежали к числу самых любимых. Поэтому, когда в списке классиков советской детской литературы, об одном из которых мне было предложено написать небольшой критико-биографический очерк, я увидел фамилию Пантелеева, я сразу решил, что писать буду не о Паустовском, не о Катаеве, и не о Кассиле (очерк о Гайдаре, о котором мне тоже было что сказать, был уже кому-то заказан), а именно о нем, о Пантелееве, – в то время, увы, уже почти забытом: к стыду своему, я даже не знал, что один из соавторов легендарной «Республики Шкид» еще жив.

Книжечка была написана и вышла в свет, – как водится, сильно пострадав от вмешательства редакторского красного карандаша. Но это была – первая моя книжка!

Самому мне это в голову вряд ли пришло бы, но друзья и доброжелатели уговорили меня послать один экземпляр Маршаку, а другой – Чуковскому. Я слегка посопротивлялся (как-то стыдно было посылать классикам и корифеям мой жалкий «первый блин», который, как и полагается первому блину, вышел комом), но в конце концов все-таки послал. Корнею Ивановичу просто по почте, а Самуилу Яковлевичу с какой-то okazji: боюсь соврать, но, если память не изменяет, передать ему эту мою книжечку вызвалась Лидия Корнеевна.

Отправляя Чуковскому и Маршаку этот свой «первый блин», я ничего не ждал и решительно ни на что не рассчитывал. Это был, как уверяли меня друзья, просто – жест вежливости.

Но у стариков были на этот счет свои понятия.

От Корнея Ивановича очень быстро пришло довольно обстоятельное письмо, в котором комплименты, совсем мною не заслуженные, перемежались несколькими меткими критическими замечаниями, свидетельствующими о том, что письмо его было не просто актом старомодной вежливости, что книжечку мою он действительно прочел.

Позже, когда я уже был знаком с Корнеем Ивановичем очно и даже не раз уже прогуливался с ним по переделкинским улочкам и переулкам, во время одной из таких прогулок он вдруг сказал мне:

– Между прочим, всё забываю вам сказать: здорово вы в своей книжке щелкнули по носу эту старую дуру Крупскую!

С Крупской я там действительно слегка полемизировал, но в тоне, как это тогда полагалось, вполне почтительном. Полемика эта была такой робкой и бледной (тут поусердствовал и редактор), что ее даже – без микроскопа – трудно было и заметить.

Но у Корнея Ивановича на Крупскую был зуб, и даже такая жалкая тень полемики с боевой подругой и соратницей Ильича доставила ему неизъяснимое удовольствие.

Чтобы не остаться в долгу, я в свою очередь тоже сделал Корнею Ивановичу комплимент. Вспомнил, как он в давней, еще дореволюционной статье написал:

Как же надо было оторваться от родной почвы, совсем уже перестать чувствовать дух родного языка, чтобы изобресть такое уродливое слово, как «отзовизм».

Брякнув этот свой комплимент, я тут же пожалел об этом. Ведь это уродливое слово изобрел не кто иной, как сам Ленин, и мое бестактное напоминание об этом его глумлении над «священным писанием», каковым являлось тогда каждое слово вождя мирового пролетариата, вполне могло показаться Корнею Ивановичу даже и провокацией. Во всяком случае, не могло, как мне казалось, его не напугать.

Но он в ответ озорно подмигнул мне и – не без самодовольства – произнес:

– А что? Лихо это было?

Я обрадованно подтвердил: еще как лихо!

Радостно мне было, конечно, и от того, что своим знанием той старой его статьи я доставил ему истинное удовольствие. Но еще больше обрадовало меня это озорное, заговорщицкое его подмигивание: ведь это значило, что он меня принял, что я для него – «свой». И этот наш короткий диалог тоже вдруг обрел некий особый смысл: это было – как пароль и отзыв.

Вот так же «своим» я сразу оказался и для Самуила Яковлевича.

В отличие от Корнея Ивановича он никаких писем мне писать не стал. Просто позвонил и потребовал (именно потребовал!), чтобы я к нему приехал.

Я приехал, и сразу, при первой же встрече, почувствовал, что мне оказана, может быть, не высшая (если верить Жене Винокурову, далеко еще не высшая), но все-таки несомненная и вполне определенная **степень доверия**.

Не знаю, то ли Лидия Корнеевна что-то ему про меня рассказала, то ли моя книжка о Пантелееве стала для него моей визитной карточкой, – а может быть, даже и сыграла роль некоего рекомендательного письма: Алексея Ивановича он искренне любил, а в книжке моей любовь автора к герою безусловно ощущалась. Да и выдающаяся роль, которую он, Маршак, сыграл в писательской судьбе моего героя, там тоже была освещена совсем не скупю.

В общем, вышло так, что сразу, с первого дня знакомства, Маршак предстал передо мной в затрапезном, домашнем своем виде. А официальный Маршак – «Маршак Советского Союза» – явился мне позже. Да и было это, наверно, раза два, не больше.

* * *

Первый раз это вышло так.

В одно из наших «поэтических утр, продолжавшихся до вечера», он вдруг спросил:

– Вы будете послезавтра на пленуме?

Я знал, что на послезавтра в Союзе писателей назначено какое-то торжественное бдение. Пленум правления так называемого Большого Союза. Но мне так непривычно было слышать это слово («пленум») из уст Маршака, что я даже не сразу сообразил, о чем он. А сообразив, сказал, что да, скорее всего, буду. Я ведь тогда еще работал в «Литгазете» и не сомневался, что наше литгазетское начальство непременно потребует, чтобы я там присутствовал. Может быть, даже придется и заполнить информацией об этом ихнем бдении сколько-нибудь (сколько скажут) газетных строк.

– Если будете, подойдите там ко мне, голубчик.

Я сказал, что да, конечно, если буду, обязательно к нему пойду.

Прощаясь и по обыкновению троекратно со мной расцеловавшись (он всегда так со мною прощался: когда-то я думал, что это знак особого ко мне его благоволения, но потом выяснилось, что так он прощается со всеми своими посетителями), – так вот, по обыкновению троекратно облобызав меня на прощание, он снова напомнил:

– Так не забудьте, пожалуйста, голубчик. Непременно подойдите ко мне послезавтра. Обещаете?

Я пообещал.

В день открытия пленума, войдя в большой зал ЦДЛ, я сразу вспомнил об этом своем обещании и огляделся, ища глазами Маршака. Зал был уже почти полон, во всяком случае, все первые ряды были уже заняты. Но Маршака среди сидящих там я не обнаружил.

Отыскав для себя свободное место где-то в четырнадцатом или пятнадцатом ряду, я уселся и стал ждать. Зал быстро заполнялся, с минуты на минуту уже должно было начаться действие, а Маршака все не было.

И вот он наконец появился.

Своей зрелищностью это «явление Маршака народу» превосходило все известные мне театральные эффекты. Даже знаменитый выход Сильвы Вареску в оперетте Кальмана по сравнению с ним являл собою довольно жалкое зрелище.

Впрочем, на выход Сильвы Вареску этот его «выход» был совсем не похож. Он был исполнен в совершенно ином роде.

Два человека вели его под руки. Сзади толпилась свита. Он шел еле передвигая ноги, всем видом своим изображая крайнюю степень немощи. (У себя дома, даже когда лежал в постели с воспалением легких, он выглядел не в пример бодрее.)

Вся эта зондер-команда остановилась где-то около третьего ряда. Возникла небольшая суета, – кто-то встал, кто-то пересел подальше, уступая место ему и его свите. Поэтому некоторое время я со своего места видел его стоящим. Он близоруко озирался по сторонам, явно ища кого-то глазами. Я, конечно, решил, что меня.

Делать было нечего, надо было выполнять данное обещание, что сделать было не так-то просто: свита окружала его плотным кольцом. Но я все-таки протиснулся к нему и, подойдя вплотную, гаркнул, как младший офицер представляющий-ся генералу:

– Здравствуйте, Самуил Яковлевич!

– А-а, – сказал он, как мне показалось, не вполне меня узнав, – здравствуйте, здравствуйте, голубчик.

Сказано это было не могу сказать, чтобы неприветливо, но как-то непривычно сухо. Во всяком случае, у себя дома он встречал меня иначе.

Я был обескуражен. Ведь он сам просил меня, чтобы я непременно к нему подошел! Причем – дважды. И весьма настойчиво.

Обиженный, можно даже сказать оскорбленный этим его холодным приемом, я, потоптавшись около него минуты две, сказал:

– Ну, я, пожалуй, пойду.

– Да, да, идите, голубчик, – ответил он, – но при этом положил руку мне на плечо и слегка меня как бы попридержал.

Постояв так еще минуту, я осторожно высвободил свое плечо из-под его руки и отбыл на свое место.

На сцене тем временем за огромным столом президиума возникла, неведомо как и откуда явившаяся, одинокая фигура Федина. (Занятый своей обидой на Маршака самый момент его возникновения я как-то упустил, отчего в этом внезапном его появлении мне померещилось что-то потустороннее.)

Федин был худ, сидел как-то нахохлившись. Весь его облик,

да еще огромность стола, за которым он восседал на этой пустой и потому тоже кажущейся огромной сцене, – вся эта мизансцена словно нарочно была придумана для того, чтобы подчеркнуть прозвище, которым члены СП наградили тогда зицпредседателя своего Союза: «Чучело орла».

Впрочем, гораздо больше, чем на орла – и даже чем на его чучело, – он в этот момент был похож на другую птицу. Я живо представил себе, как он сейчас откроет рот и прокаркает оперным басом: «Я здешний ворон!»

Нечто подобное и произошло.

Прокаркав свою короткую вступительную речь, «Комиссар Собственной Безопасности» (таково было второе прозвище нашего зицпредседателя) исчез так же незаметно, как появился – словно растворился в воздухе. И на сцену в полном составе выкатилась, как выразился в иные, более поздние времена Солженицын, – «нечетная дюжина секретариата».

Обедня (или, если быть более точным, заутреня) пошла своим ходом: утверждение регламента, выборы мандатной и счетной комиссии и всё прочее, что полагалось в таких случаях. Но я за ходом всего этого действия почти не следил (хотя следить за ним мне – по должности – полагалось). Не следил отчасти из-за полного отсутствия интереса к происходящему (всегда ведь – одно и то же), но главным образом из-за того, что все мысли мои были заняты загадочным поведением Маршака.

Зачем он так настойчиво просил меня подойти к нему? Почему был так сух и официален? А если, допустим, напрочь забыл, зачем просил меня, чтобы я непременно к нему подошел, почему положил руку мне на плечо и некоторое время не отпускал меня, не давал уйти? Ожидал он чего-то, что ли? Чего-то такого, что должно было произойти, но почему-то не произошло?

Потом, так сказать, задним числом я сообразил, в чем состоял его умысел.

Тут мне невольно вспомнилась одна реплика моего друга Гриши Поженяна. Однажды он пригласил меня и Лазаря в «Арагви». Мы спрашивали: зачем? С какой радости? Дата какая-то или что? Или вдруг крупный гонорар где-то отхватил? На все эти наши недоумевающие вопросы он отвечал: «Да нет,

ничего такого. Просто хочу сделать вам хорошо». Вот и С.Я. тоже просил меня подойти к нему на том пленуме, потому что хотел «сделать мне хорошо».

Он заранее знал, что когда появится в зале со всей этой своей свитой – в ослепительно ярких лучах всей официальной, государственной своей славы, – это станет неким событием. Все увидят и возьмут на заметку, кто там стоял рядом с самим Маршаком и кому положил он на плечо свою ласкающую руку. И ему хотелось, чтобы в лучах этой его государственной ласки на миг высветился и я. Глядишь, это принесет мне какую-нибудь пользу. Повысит мой кредит в глазах начальства, которое – уж это он знал! – всё видит, всё замечает, всё мотает на ус.

В другой раз я увидел этого официального Маршака, когда мне пришлось самому привести к Самуилу Яковлевичу и познакомиться с ним посетителя, место которому было именно тут, в этой его парадной приемной.

Это было в тот короткий период моей «литгазетской» службы, когда наш отдел литературы пребывал в состоянии довольно длительного безначалия. Главный редактор – В.А. Косолапов – питая к нам некоторую слабость и желая сохранить наш замечательный коллектив, предоставил нам даже возможность самим найти себе начальника – руководителя отдела. (О том, как и почему из этого ничего не вышло, я уже вспоминал.) И вот в один прекрасный день Валерий Алексеевич позвал меня к себе в кабинет и официально предложил временно (ну конечно, временно) взять руководство отделом на себя. Деваться мне было некуда, и я согласился.

Так я (к счастью, ненадолго) стал начальником.

И тут, сразу же, разыгрался эпизод, надолго сохранившийся в анналах той старой «Литгазеты», – в сокровищнице тогдашних наших устных преданий.

В первый же день моего начальствования явился ко мне секретарь парткома по кличке «Маленький». Кличку эту он получил по причине малого роста, но, быть может, и не только поэтому: во всяком случае, она как-то удивительно хорошо к нему пристала.

Это был довольно пожилой (лет под шестьдесят), невзрачный, седоватый человек в очках. И внешность его, и повед-

ки, да и должность, которую он занимал (под его началом было бюро проверки и вся наша литгазетская библиотека, большинству книг которой полагалось находиться в спецхране) не оставляли сомнений в прочных служебных его связях с нашими славными органами.

До моего выдвижения в начальники мы с ним просто кивали друг другу, встречаясь в коридоре. И были, разумеется, «на вы». А тут, явившись в мой большой начальственный (на заре моей литгазетской деятельности в нем сидел Бондарев) кабинет, он с ходу перешел «на ты».

– У меня, – начал он, – к тебе серьезный разговор.

Я сообразил, что это новая моя, хоть и временная, но все-таки начальственная должность как бы сама собой предполагает такое доверительно-партийное обращение, и тотчас принял заданный им тон:

– Слушаю тебя.

– Положение у тебя тяжелое, – продолжил он.

Я кивнул, пребывая в уверенности, что за этим последует набор обычных партийных банальностей: надо, мол, взяться, мобилизоваться, включиться... В общем, всё, что у них там полагается говорить в подобных случаях.

Но тут – совершенно для меня неожиданно – разговор принял другое, сугубо конкретное направление.

– Так вот, учти, – вдруг сказал он. – На хромой лошади ты далеко не уедешь.

Тут я сразу сбился с официального партийного тона:

– А кто это – хромая лошадь? Что вы... Что ты этим хочешь сказать?

– А то, – объяснил он, – что у тебя в отделе один коммунист, и тот Непомнящий!

С этой точки зрения я на трудности, ожидающие меня на моем новом поприще, признаться, не глядел.

У меня и в мыслях никогда не было, что качество работы нашего отдела хоть в какой-то степени зависит от количества и качества имеющей в нем быть партийной прослойки. Но «Маленький» – похоже, не только по своей партийной должности, а вполне искренне – именно из этого исходил в своем понимании стоящих передо мною проблем.

Тут же, кстати, и выяснилось, почему Валою Непомнящего, единственного оставшегося теперь в нашем отделе члена партии, «Маленький» назвал хромой лошадю.

Оказывается, за несколько дней до моего назначения на начальственную должность Косолапов отправился то ли в Тулу, то ли в Калугу, где проходило какое-то очередное показушное мероприятие Союза писателей РСФСР. Какая-то выездная сессия или выездной ихний пленум, что ли. В эту командировку он взял с собой Валою Непомнящего. Там, на месте, выяснилось, что мероприятие закончится раньше, чем предполагалось, в связи с чем надо было информацию о нем срочно, не дожидаясь их возвращения, дать в номер. Валерий Алексеевич сам лично эту информашку написал и отправил с нею в Москву Вальку. А тот, вернувшись в родной город, не заезжая в редакцию, отправился домой. В общем, информация, ради которой городился весь этот огород, в номер не попала, что вызвало какие-то обиды у руководства СП РСФСР, с которым у нашей «Литгазеты» отношения и без того были напряженные.

Пустяковый случай этот давным-давно всеми позабылся. А прозвище «Хромая лошадь» к бедному Вальке прилепилось на долгие годы.

Чем кончился тот мой разговор с «Маленьким», я сейчас уже не помню. Наверно, я пообещал ему учесть и преодолеть все трудности, ожидающие меня из-за слабой партийной прослойки возглавляемого мною коллектива.

В роли руководителя отдела я продержался недолго: месяца, наверно, три, не больше.

Так и не дождавшись, что мы сами подберем себе начальника, Косолапов пригласил на эту должность Евгения Ивановича Осетрова, работавшего замом главного в слегка конкурирующей с нами газете «Литература и жизнь». («Лижи», как мы ее называли). Всех, кто работал в этом малоуважаемом сервильном органе, мы слегка презирали. Во-первых, за «направление». (А какое у них могло быть направление: «Кормимся, ваше сиятельство!»). Ну а кроме того – за профнепригодность: «Лижи» была газетка довольно-таки малограмотная.

В общем, приход на должность руководителя нашего отдела Евгения Ивановича Осетрова я воспринял как полный крах

нашего и без того уже вполне безнадежного дела, и совсем было уже собрался вернуться с шестого этажа на свой четвертый, к своей непыльной должности «спецкора при секретариате».

Но тут меня снова позвал Косолапов и – в тоне просьбы, а не приказа – попросил еще какое-то время из отдела не уходить, чтобы, как он выразился, «помочь Евгению Ивановичу войти в курс».

Так мы с Евгением Ивановичем стали работать вместе.

Работать с ним мне было легко: ведь я теперь уже ни за что не отвечал. Вводил его «в курс».

Но никакого курса, собственно, уже не было. Во всяком случае, оказывать какое-то влияние на литературную политику газеты я уже не пытался – да и не смог бы, даже если бы очень постарался.

С деловыми качествами Евгения Ивановича я столкнулся сразу, на первой же планерке. Накануне редколлегия забодала – по причине какой-то обнаруженной в ней крамолы – большую обзорную статью. В номере образовалась огромная дыра, которую необходимо было чем-то заполнить. Евгений Иванович тут же заверил редколлегию, что никаких поводов для беспокойства нет. Требуемую статью он напишет сам. Срочно. Прямо в номер. Когда сдаст? Завтра утром.

Когда планерка кончилась и мы с ним остались вдвоем, я не скрыл, что изумлен отчаянной храбростью, с какой он лег на эту амбразуру.

– Ну, знаете, – сказал я, – вы просто герой. Меньше, чем за полсуток написать два подвала! Да как же вы это успеете?

– А я очень быстро пишу, – безмятежно ответил он.

И в самом деле: к утру статья – два газетных подвала! – была готова. И, как и предполагалось, появилась в текущем номере.

Проглядев ее, я понял, что сочинить такую статью и впрямь можно было быстро. Дело это не требовало ни малейшего умственного напряжения.

Написана она была так:

«За минувший год очень слабо проявили себя поэты...» Далее следовал длинный – чуть ли не на целую колонку – перечень фамилий.

Затем:

«Несколько успешнее работали... «– И новый список поэтов – знаменитых и незнаменитых, широко и не очень широко известных.

Другой, новый вариант:

«Особенно ярко и талантливо потрудились на ниве отечественной поэзии...» – и опять внушительный список имен.

И так – всю дорогу, все два подвала.

Не могу сказать, чтобы этот простой и незатейливый способ сочинения литературно-критических статей – проблемных, обзорных, всяких – был мне так-таки совсем уж незнаком. Но с таким откровенным **обнажением приема** я столкнулся впервые. И трогательная наивность этого обнажения меня как-то даже умилила.

Так обстояло дело с профессиональными качествами Евгения Ивановича. В остальном же он оказался человеком довольно занятым. А кое-чем даже довольно сильно меня удивил.

Однажды, заглянув в мой маленький кабинетик, он как-то таинственно поманил меня пальцем. Провел в большой – бывший бондаревский, а недавно еще мой – кабинет. Усадил напротив себя. Плотно прикрыл дверь в «предбанник», где сидела наша секретарша Инна Ивановна. На всякий случай еще раз проверил, насколько тщательно она закрыта, и – тихо, вполголоса, словно сообщая мне важную государственную тайну, начал:

– Я вчера был на вечере Евтушенко...

– Да? – без особого интересаотреагировал я.

Он слегка понизил голос:

– Впечатление огромное...

И, наклонившись к самому моему уху:

– Я подумал, что этот человек мог бы возглавить временное правительство.

– Бог с вами, Евгений Иванович, – в полном обалдении пробормотал я. – Какое временное правительство? У нас, слава Богу, есть правительство. Постоянное...

Но он в ответ только приложил палец к губам, давая мне понять, что сказал всё, что хотел, и добавлять к сказанному больше ничего не намерен.

Тут надо отметить, что человек он был мне вполне чужой – по всем линиям. И откровенничать с ним, да еще на политические темы, я не собирался. Но и от него никаких таких откровенностей, естественно, ждать не мог.

Тут можно было заподозрить некое прощупывание. Провокацию даже. Но я чувствовал, что он искренен. Делится тем, что его действительно волнует.

Спустя какое-то время случился у нас второй – такой же неожиданный для меня – разговор на эту деликатную тему.

Я бездельничал. Работа была такая же непьющая, как в должности спецкора. Ни за какой помощью ко мне Евгений Иванович не обращался. Я даже на планерки ходить с ним перестал.

Но однажды он, приоткрыв дверь моей комнатухи, вот так же таинственно поманил меня в свой кабинет. Я ждал каких-то новых откровенностей, и на первых порах эти мои ожидания как будто подтверждались. Точь-в-точь так же, как в тот раз, когда он поделился со мной своими мыслями про Евтушенко, он тщательно проверил, достаточно ли прочно закрыта дверь, приложил палец к губам и, понизив голос, словно опять доверяя мне какой-то важный секрет, сказал:

– У меня к вам просьба. Познакомьте меня с Маршаком.

Я сказал, что да, конечно, нет проблем, ничего не может быть легче. Позвонил Самуилу Яковлевичу. Он в то время отдыхал в Барвихе: по официальному, а скорее полуофициальному своему статусу («Маршак Советского Союза») он и лечился в Кремлевке, и отдыхал в санаториях так называемого «Четвертого управления».

Узнав, что я хочу его навестить, он искренне обрадовался. И против знакомства с моим новым начальством тоже не возражал. Соскучился, видно, по привычным ежедневным, много часовым московским разговорам. А в Барвихе, с кем ему было их вести? Не с номенклатурными же партийными функционерами, вроде Поликарпова. (Позже я прочитал в «Рабочих тетрадях» Твардовского, что там, в Барвихе, можно было встретить кое-кого и поинтереснее Поликарпова, – например, Поскребышева. Вот бы с кем поговорить! Но Поскребышев, про-

шедший суровую сталинскую школу, как я узнал из тех же «Рабочих тетрадей», ни к каким разговорам, а тем более на интересующие его собеседников темы, не был склонен: при малейшей попытке разговаривать его, сразу замыкался, уходил в себя, как улитка.)

В общем, сговорился я с Самуилом Яковлевичем на какой-то назначенный им день и час. Евгений Иванович вызвал редакционную машину (ту самую черную «Волгу», на которой любил ездить Барабаш) – и мы поехали.

Шофёр нам попался хоть и пожилой, но какой-то недотепистый. А может, просто никогда в такие места не ездивший. Так или иначе, но в самый ответственный момент он зазевался и пропустил нужный поворот. Казалось бы, дело нехитрое: развернуться, проехать немного назад и исправить свою ошибку. Но – не тут-то было! Трасса была правительственная, и до разворота нам пришлось ехать довольно долго. Километров, наверно, двадцать, а то и больше. И на протяжении всех этих двадцати километров наш водитель нещадно материл всех, кто ездит по этой правительственной трассе.

Нет, по правде говоря, не всех, а – одного. Вернее – одну.

Накал его негодования, в основе своей имеющий ясно выраженную социальную направленность (классовая ненависть к «слугам народа»), был стократ усилен тем обстоятельством, что этой правительственной трассой наравне с мужчинами пользовалась женщина. Как он говорил – баба.

А «баба» в тех высоких сферах у нас была только одна: Фурцева. (В ту пору она была членом Президиума ЦК, по-старому – членом Политбюро.) И не могло быть ни малейших сомнений, что матеря некую «бабу», из-за которой мы вынуждены совершать столь далекий и долгий объезд, наш водитель имел в виду именно ее.

Тут надо сказать, что слово «баба» у него мелькнуло только раз-другой. А потом у него нашлись для Екатерины Алексеевны совсем другие, гораздо более крепкие выражения. Чаще других повторяющиеся в его речевом потоке слова «блядь» и «поблядушка» были там из числа самых невинных.

Он просто заходился от священного гражданского негодования, вызванного столь очевидным и наглядным отражением

установившегося в нашей «рабоче-крестьянской» стране социального неравенства. Но весь его гнев почему-то уперся только в эту одну точку: в то, что вот, сколько мы уже проехали, едем и едем, а знака для разворота всё нет и нет, – и всё это только потому, что по этой ёбаной правительственной трассе шманается, чтобы «торговать пиздой», эта «ёбаная в рот пиздорванка»... Предоставляю читателю самому продолжить перечень подходящих к случаю народных фразеологизмов, – сколько бы их вам ни припомнилось, могу поручиться, что в том яростном монологе нашего водителя ни один из них не был забыт.

Долго ли, коротко длился этот наш путь (нам показалось, что бесконечно долго), но до разворота все-таки доехали, развернулись, нашли поворот на Барвиху и благополучно добрались до Маршака.

С.Я. встретил нас радушно и был, как мне сперва показалось, таким же, каким бывал, когда мы являлись к нему вдвоем с Валею Берестовым, с которым, кстати, именно у него мы впервые встретились и сразу подружились, или с Эмкой и Стасиком Рассадиным, которых я к нему привел и с ним познакомил.

И говорил он Евгению Ивановичу то же, что нам, – иногда слово в слово.

Но при всем при том – это был совсем другой Маршак. Не тот, которого знали мы, побывавшие в других, «задних» комнатах его необъятной «квартиры», а не только в парадной ее «зале».

Вот, например, он повторил любимую свою мысль о часовой и минутной стрелке, – о том, что по одной минутной, без часовой, даже если часы ходят правильно, невозможно узнать, который час.

В том контексте, в котором он говорил об этом мне, это означало, что правильно понять и точно оценить «новаторство» современных молодых поэтов – Евтушенко, Вознесенского, Сосноры – невозможно, не зная утаенных от сегодняшнего читателя Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Цветаеву.

Сейчас же его можно было понять так, словно речь идет о том, что молодые не должны отрывать от вековой традиции

классического, пушкинского стиха, что именно он, этот пушкинский стих, и есть – та самая «часовая стрелка».

Однажды он сказал мне:

– Между нами говоря, голубчик, Маяковский – это байстрюк. А законное дитя все-таки Твардовский.

Я, конечно, с ним не согласился. Но сама по себе эта его мысль не больно меня шокировала, поскольку перед этим он не раз повторял, что любимые его поэты, самые любимые, самые ему близкие – Хлебников и Блейк.

Сейчас же, когда он сказал, что Твардовский – законный наследник великой русской поэтической традиции, это прозвучало так, словно он просто повторил тогдашнюю официозную банальность, согласно которой флагами современной советской поэзии полагалось считать Твардовского, Исаковского и Алексея Суркова.

Кстати, Исаковского он и нам тоже хвалил, ценил его не сильный, но чистый поэтический голос. Но мог при этом, понизив голос, хитровато улыбаясь, сказать про знаменитую его, любимую народом песню «Летят перелетные птицы...»:

– Между нами говоря, голубчик, ведь это – знаете что?

И с искорками веселого смеха в глазах:

– Это – песня домашнего гуся!

А про Ираклия Андроникова, устные рассказы которого я обожал, он сказал мне однажды:

– Ираклий – натура в высшей степени артистическая. Я очень его люблю. Ведь он – мой ученик. Но между нами говоря...

И понизив голос, наклонившись к самому моему уху:

– Между нами говоря, голубчик, ведь это же – вакуум!

В «парадной зале», где он принимал меня с Евгением Ивановичем, он мог повторить (и повторял) все свои – хорошо мне знакомые – суждения и оценки. Но вот этих «между нами говоря, голубчик» и этих веселых смешливых искорок иронии в его глазах там не было.

Евгений Иванович тем не менее визитом нашим был доволен безмерно.

Прощаясь, Самуил Яковлевич троекратно с ним расцеловался, как он делал это всегда, прощаясь со мной, с Валей Бе-

рестовым, с Эмкой, и это слегка укололо меня ревностью: вон оно, оказывается, что! Значит, это он со всеми так, а не только с нами!

Но мимолетное это ревнивое чувство быстро улетучилось, и уезжали мы с Евгением Ивановичем от Маршака в отличном настроении: я – от сознания выполненного долга, он – радуясь, что как будто сумел понравиться классику, произвести на него благоприятное впечатление.

Обратно мы ехали уже без всяких приключений. Водитель наш молчал, мы тоже. Он развез нас по домам. Сперва высадил Евгения Ивановича, потом меня. Но даже, «когда начальство ушло», то есть оставшись со мной наедине, к обсуждению правительственной трассы и тех, кто по ней ездит, больше не возвращался.

А наутро Евгений Иванович снова заглянул в мой крошечный кабинетик и таинственно поманил меня пальцем. Как и в прошлые разы, сперва внимательно поглядев, достаточно ли плотно прикрыта дверь, усадил меня в кресло, сам уселся напротив.

По простоте душевной я ждал, что он станет говорить о том, какое впечатление произвел на него Маршак. Благодарить меня за удачный визит. Может быть, расспрашивать, как я думаю, не ударил ли он лицом в грязь перед классиком. Но, как выяснилось, волновало его совсем другое.

– Вы знаете, – с ходу начал он. – У меня из головы не идет вчерашний шофёр.

– Да, – согласился я. – Палитра у него богатая.

– Нет, вы не смейтесь! Я всю ночь не мог уснуть. Положение очень серьезное.

Догадавшись наконец, о чем он, я попытался его успокоить.

– Да будет вам, Евгений Иваныч! Нашли тоже, из-за чего не спать ночь...

– Нет-нет, – не успокаивался он. – Вы недооцениваете значения этого факта. Это сигнал. Симптом. Народ потерял всякое уважение к власти. Поверьте мне, это кончится плохо...

Он долго еще что-то говорил на эту тему. Я слушал не слишком внимательно, искренне считая всё это блажью, до тех пор, пока у него не вырвалось:

– Надо что-то делать... Пока еще не поздно, пока есть время, что-то надо делать!

– Бог с вами! – изумился я. – Что же мы тут можем сделать?

Он в некотором замешательстве замолчал, как видно, сообразив, что и так уже сказал слишком много. Но кое-что я уже понял.

Понял, сопоставив этот разговор с предыдущим – про Евтушенко. Вот, значит, о чем он думал, когда говорил, что тот может возглавить временное правительство. О ненадежности, непрочности нашей родной советской власти. О том, что ситуация чревата переменами. А может быть, даже... Да, да, может быть, даже и о том, что есть силы, способные форсировать, ускорить этот процесс.

Конечно, это могло отражать антихрущевские настроения – намек на локальный дворцовый переворот (что, как мы знаем, вскоре и произошло). Но при чем тут тогда Евтушенко и разговор о временном правительстве?

Нет, речь безусловно шла о смене ВСЕЙ ВЛАСТИ. О смене ВСЕЙ СИСТЕМЫ.

И это говорил мне – беспартийному – член КПСС! Мало того – состоящий в номенклатуре ЦК.

Теперь я уже не сомневался, что разговор этот не случаен и что отражает он отнюдь не личные настроения впечатлительного Евгения Ивановича, а выношенные, не раз уже высказывавшиеся настроения (мнения) некоего КРУГА, к которому Евгений Иванович Осетров принадлежал. Ну а каков он был этот его круг, я представлял себе совершенно ясно.

У меня и раньше не было ни малейших сомнений в том, что помимо КПСС Евгений Иванович состоит еще и в другой – так называемой РУССКОЙ ПАРТИИ. А теперь, после этого разговора, мелькнула мысль, что в ТОЙ партийной номенклатуре он – кто знает? – занимает, может быть, куда более высокую должность, чем в официальной, цековской.

Так, может быть, и знакомство с Маршаком понадобилось ему совсем не по литгазетским, служебным его делам, а совсем с иной, тайной – и более важной – целью?

Уж не собираются ли они предложить Самуилу Яковлевичу в каком-то там своем «теневом кабинете» портфель, скажем, министра культуры? (Как некогда это, кажется, было с академиком Гарле, которому какие-то заговорщики предназначали

портфель министра иностранных дел.) Это было бы очень даже неглупо. Помимо всего прочего, сняло бы с них подозрения в неофашистской природе той власти, которую они готовят на смену родной нашей советской.

Это последнее мое предположение было, конечно, чистым бредом. Да и высказал я его (самому себе), так сказать, «в тоне юмора», как этакую саркастическую небывальщину.

Но насчет принадлежности Евгения Ивановича к «русской партии» и роли, которую он там играл, я, кажется, не ошибся.

Совсем недавно попалась мне в руки книга (увесистый том, 600 с лишним страниц), которая так прямо и называется: «Русская партия. Движение русских националистов в СССР 1953–1985.

Заглянув в именной указатель, я сразу обнаружил там Е.И. Осетрова и, раскрыв обозначенные там страницы, узнал, к какому именно отряду этого «движения» он принадлежал. Автор этой книги (Николай Митрохин) уверенно причислил Евгения Ивановича к генерации новых русских националистов, отличающихся от «красных» патриотов-антисемитов (Шолохова, Бубеннова, Софронова) большей политической определенностью и откровенностью своих националистических взглядов.

В списке, в который тут попал мой Евгений Иванович, я нашел людей известных, многие из которых были не только давними моими знакомыми, но и однокашниками по Литинституту: Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Владимир Бушин, Михаил Годенко, Егор Исаев, Игорь Кобзев, Михаил Лобанов, Алексей Марков, Владимир Солоухин, Иван Стаднюк, Иван Шевцов... Называю только самых известных.

Е.И. Осетров в этом списке оказался между двумя едва ли не самыми одиозными фигурами – Алексеем Марковым (между собой мы – не без иронии – называли его «Марков Второй») и Владимиром Солоухиным.

А несколькими страницами ниже Евгений Иванович обозначен уже как «активист движения русских националистов», и сказано о нем там следующее:

Е. Осетров был одним из немногих русских националистов, кто позиционировал себя в этом качестве четко и открыто.

Даже в подготовленной КГБ справке о настроениях в писательской среде он сам характеризует себя как «славянофила».
(*Николай Митрохин. Русская партия. М., 2003. С. 162*)

А листая эту замечательную книгу дальше, я вскоре обнаружил в ней и фамилию Маршака. Правда, уже в несколько ином контексте:

О, Родина, и боль моя и грусть,
Гляди, опять без тени благородства
Сжигает всё, чем ты дышала, Русь,
Слепое сионистское уродство.
.....
Я в их глазах пустыню узнаю,
Тоску тысячелетних фараонов,
Я ненавижу их, как смерть свою,
Идущую вне рамок и законов.
Они, они, трибуны полоня,
На языке картавом и кургузом,
Рассорили с украинцем меня,
С грузином пылким, с тихим белорусом.
Я весь, от шляпы и до башмака,
В руках у них, я ими аттестован
Бездарность Самуила Маршака
Превозносить над гением Толстого.

Стихотворение это сочинил челябинский поэт В. Сорокин. Сочинил в 1963 году, то есть как раз тогда, когда Евгений Иванович попросил меня познакомить его с Самуилом Яковлевичем. (Пять лет спустя этот В. Сорокин жил уже в Москве и занимал пост главного редактора издательства «Современник».)

Вряд ли он знал, что Самуил Маршак в юности увлекался идеями сионизма и писал сионистские стихи. (В эту самую дальнюю свою «комнату» С.Я. ни разу не пустил даже меня. Об этих его юношеских, а может быть, и потом не вовсе исчезнувших настроениях я узнал уже после его смерти.)

Скорее всего, Сорокин стрелял, что называется, наугад, на скидку: слово «сионист», как за пятнадцать лет до того слово

«космополит», было тогда эвфемизмом, замещающим обозначение «лица еврейской национальности».

Знал ли Евгений Иванович эти стихи?

Не исключаю, что и не знал. Но о таких настроениях своих коллег и однопартийцев не знать, разумеется, не мог. В своем кругу они не стеснялись.

Так что по поводу желания Е.И. Осетрова познакомиться с С.Я. Маршаком можно высказать два предположения.

Либо Евгений Иванович принадлежал к другому, более либеральному крылу «русской партии», нежели его коллега В. Сорокин, либо он хотел поблизи посмотреть на «внутреннего врага», поглядеть, так сказать, ему в глаза.

После этого нашего визита к Маршаку мне – да и Евгению Ивановичу тоже – работать в «Литературной газете» оставалось уже недолго, так что пути наши вскоре разошлись. Позже я не раз встречался с ним в редакции журнала «Вопросы литературы», где мне иногда случалось печататься и куда партия (думаю, что обе: и КПСС – и та, другая) бросила его на должность заместителя главного редактора. Но о Маршаке мы с ним никогда больше не говорили.

Имело ли продолжение это их при мне и не без моего участия завязавшееся знакомство? Случилось ли Евгению Ивановичу еще хоть раз побывать в «квартире» Маршака? И пустил ли его – хоть однажды – Самуил Яковлевич дальше своей парадной гостиной?

Этого я не знаю.

3

О том, какие разговоры велись в других комнатах «квартиры Маршака», более или менее удаленных от его парадной гостиной, я кое-что уже рассказал. Но – далеко не всё. Да и то немного, о чем упомянул, тоже нуждается в некоторых разъяснениях, а иногда и в расшифровке.

Взять хоть насмешливую его реплику о песне Исаковского «Летят перелетные птицы...». По тем временам она была совсем не безобидной. Назвать эту любимую народом песню «Песней домашнего гуся» – это по тем временам было даже ри-

скованнее, чем позволить себе какой-нибудь откровенный выпад против «Софьи Власьевны», как все мы тогда меж собой именовали осточертевшую нам советскую власть.

Отношение С.Я. к «Софье Власьевне» было вполне однозначным. Это не обсуждалось, но – подразумевалось как нечто безусловное. Однажды, правда, он высказался на эту тему впрямую.

Это было в день смерти Тамары Григорьевны Габбе. Или на другой день после известия о ее смерти, сейчас уже не помню. Помню только, что говорить в тот день он мог только о ней.

Тамара Григорьевна была последней его любовью. И весь вечер он говорил о том, какая это была замечательная женщина: умная, талантливая, обаятельная. Каким изящным, грациозным было ее художественное дарование. Каким тонким было ее чувство стиля, каким безукоризненным ее литературный вкус. И тут – в этом его панегирическом монологе – вдруг мелькнуло:

– Вы знаете, голубчик, и в политике она была гораздо умнее меня. У меня порой еще бывали кое-какие иллюзии. У нее – никаких. Никогда.

В те времена такой свободный разговор о священных коровах социализма уже не был чем-то из ряда вон выходящим, даже меж людьми не очень близкими. Не только о Сталине, но даже о Ленине или Марксе то и дело можно было услышать анекдот – вроде, например, такого:

– Мама, кто такой Карл Маркс?

– Экономист.

– Как тетя Рая?

– Ты сошел с ума! Тетя Рая – старший экономист.

Или – еще того похлеще:

– Мама, Маркс был ученый?

– Был бы ученый, сперва попробовал бы на собаках.

Но С.Я. и тут переходил «границы дозволенного».

Вот, например, такой случай.

Пришел я к нему однажды – и вижу: лежит у него на столе удивительно мне знакомая толстая папка. И тут же оказалось, что не только папка, но и содержимое ее было мне хорошо знакомо. Заметив задержавшийся на ней мой любопытный взгляд, С.Я. сказал:

– Это рукопись книги некоего Аркадия Белинкова. Вы с ним знакомы?

Я сказал, что да, конечно, знаком.

– И рукопись, наверно, читали?

Я подтвердил, что да, конечно, читал.

– Ну, и что вы о ней думаете?

Вопросом этим я был, признаться, несколько смущен.

Рукопись книги Аркадия об Олеше я читал не раз, и на разных этапах, и мы с Аркадием, как я уже упоминал, много о ней спорили.

По мысли Аркадия, эта его книга должна была стать одной из трех частей задуманной им трилогии.

Героем первого тома по этому его замыслу должен был стать писатель честный, но не входящий в конфронтацию с режимом, лояльный. Таким в его представлении был Тынянов. Героем второй – писатель сдавшийся, пошедший на службу, старающийся услужить, вписаться в законопослушную советскую литературу. Эта роль предназначалась Олеше. Героем третьего тома (так им, увы, и не написанного) должен был стать писатель, сумевший остаться самим собой, выстоять в жестком противостоянии с тоталитарным режимом. (На эту роль Аркадий прочил то Ахматову, то как раз в то время упавшего на нас, «как огонь с неба», Солженицына.)

Прочитав рукописный вариант уже написанного им вчерне второго тома («Сдача и гибель советского интеллигента»), я сказал Аркадию, что Олеша на эту предназначенную ему роль совершенно не годится. Он, может быть, и хотел вписаться в официальную советскую литературу, но – не смог. Ничего у него из этого не вышло. Вы, говорил я, Олешу клеймите, разоблачаете, а он заслуживает скорее жалости: сломленный человек, раздавленный молотом тоталитаризма. И не случайно ведь, что, в отличие от многих других своих собратьев по перу – Катаева, Федина, Эренбурга, – он так и не смог вписаться в официозную советскую литературу, найти там свое место.

Я знал, что в последнее время Аркадий, отчаявшись эту книгу напечатать, стал давать ее читать не только друзьям-приятелям из числа своих сверстников, но и писателям старшего поколения. В том числе ближайшим друзьям покойного

Юрия Карловича: Льву Славину, Виктору Борисовичу Шкловскому.

Вот, стало быть, теперь эта рукопись дошла и до Маршака.

Ответить на прямой вопрос Самуила Яковлевича («Ну, и что вы про нее думаете?») мне было нелегко, потому что «продавать» Аркадия (то есть выносить на всеобщее обсуждение паши с ним вечные споры) мне не хотелось. Но и не сказать о своем неоднозначном отношении к этому Аркадиеву сочинению я тоже не мог. Поэтому я стал что-то мямлить: да, мол, книга, конечно, очень талантливая, но к несчастному Олеше автор все-таки несправедлив...

– Голубчик, при чем тут Олеша? – вдруг прервал меня С.Я.

Выхватив из папки, чуть ли не наугад, несколько листков, он, захлебываясь, стал читать:

Андрей Петрович Бабичев, обладающий колбасой, трубами и громадной бесконтрольной властью, плетет на ветвь, полную цветов и листьев... Не потому, что он администратор или техник, не любящий поэзию, но потому, что он не любит ТАКУЮ поэзию. Эти люди любят совсем другую: хрустальные люстры и сливочные торты... Они требуют колонн, памятников, фонтанов, красивых (лучше полных) женщин, станций метро из сплошного мрамора, победителей на коне, сытной еды и глубокого уважения. Им нужно, чтобы все было как в лучших домах, чтобы было солидно, прочно, богато и хорошо поставлено на великое историческое прошлое. Ну, как в доброе старое время. Они отбрасывают современников эпохе — предшественнице революции. Пройдет несколько лет, и они не на живот а на смерть начнут тяжелую, изнурительную борьбу за бороду, зипун и охабень. Пройдет несколько лет, и этот герой, эта машина, этот мерзавец, перерожденец, термидорианец, предатель, убийца создаст ситуацию и идеал, которые разовьют лучшие идеи концепции и в более полном и усовершенствованном виде станут называться «культом личности» — ничтожными словами, лишь краешком сопровождающимися с невиданным в истории мира уничтожением людей, идей, чести, нравственности, жизни на земле...

Воспользовавшись тем, что Самуилу Яковлевичу не хватило дыхания, я попытался вставить несколько слов в том смысле, что да, конечно, пишет Аркадий прекрасно, но я, мол, имел в виду совсем другое...

Но С.Я. не дал мне себя прервать.

– Дальше, дальше, слушайте дальше, голубчик!..

И, перелистнув страницу, он продолжил чтение Аркадиева текста:

Бесхитростное соединение любви к родине с доброй традицией казалось необыкновенно привлекательным и выглядело так: «Но вот и пехота и рабочие батальоны прошли, стих оркестр, а сердце сильнее забилося.

– Тра-тра-та-та-та... – Это наш старый, знакомый кавалерийский сигнал «Рысь!» Неужели появившаяся у Исторического музея конница перейдет в рысь?

Перешла, и глаза впиваются в прекрасных коней, в отличную посадку комсостава.

На рысях же проходит и артиллерия в конных запряжках: первая батарея на рыжих. «Неужели вторая пройдет на вороных? Так и есть. А третья – на гнедых? Быть не может!» – думаю я. И радостно становится, что русские военные традиции сохранены... И хочется снять шляпу не только перед знаменами, заслуженными в боях, но и перед рабочими и техниками, превратившими мою родину из кабальной – в могучую, гордую, независимую от заграницы страну...»

Так пишет вернувшийся на родину патриот сначала своей монархической, потом своей социалистической родины, сначала императорский военный агент, потом советский член Союза писателей товарищ граф Алексей Алексеевич Игнатьев...

Я хорошо помнил эту цитату из книги А.А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю», блестяще иллюстрирующую любимую Аркадиеву мысль о перерождении, о термидоре (слово «термидор» было в яростных монологах Аркадия чуть не каждым вторым), и, вероятно, мимикой как-то на нее прореагировал, потому что С.Я. тут же предостерегающе поднял руку, давая понять, что и тут еще не позволит мне себя остановить.

Рысью прошли рыжие, — захлебываясь, продолжал он, — потом воронные, гнедые. Пронесся автомобиль Андрея Петровича Бабичева.

А за восемьдесят лет до него на одной из важнейших страниц русской литературы пронесся другой транспорт.

Это была незабываемая птица-тройка.

Она неслась, оставляя за собой все народы и государства.

Она безудержно и неотвратно стремилась в будущее.

Тройка была заложена в бричку, а в бричку заложен Павел Иванович Чичиков.

Можно предположить, что тройка неслась так быстро, что исследователи просто не успели заметить это решающее обстоятельство.

Оно все еще ждет своего внимательного исследователя...

Но мы ведь знаем, что тройка летела не сама, а везла именно Павла Ивановича Чичикова.

Когда приехали, Павел Иванович вылез из брички и огляделся по сторонам. Глаз у него был опытный, нос острый, а ум быстрый.

— Ничего, — сказал Павел Иванович, окинув опытным взглядом, — ничего-о. И добавил: — То есть в том именно смысле, что ничего особенного не изменилось. — И повел налево-направо носом острым и чутким. — Дороги не в пример лучше стали. Особенно стратегические. И жандарм будто крупнее из себя нынче, — отметил он. — А как по части мертвых? — с быстротой молнии пронеслась мысль в его мозгу. — Больше их против Венгерской, тьфу, прости Господи, Турецкой 1828—1829 гг. кампании? Или после прошлогоднего недороду-то и других целительных забот и мероприятий? — Оценив прибыль целительных забот и мероприятий, Павел Иванович понял, что не ошибся дорогой, и велел Селифану распрягать...

Переведя дыхание и уложив вынутые страницы назад, в папку, С.Я. заключил:

— Вот... А вы — про то, что Олешу несправедливо обидели... Какой Олеша?.. При чем тут Олеша?.. Голубчик! В е д ь э т о ж е Г е р ц е н!

Я был приятно поражен тем, что мой друг Аркадий был воз-

несен на такой высокий пьедестал. Но, по правде сказать, гораздо больше, чем такая высокая оценка литературных достоинств его сочинения, поразило меня то, что С.Я. не скрыл, что полностью разделяет не только идеи только что прочитанного отрывка, но и весь его накал, весь его саркастический пафос.

Нет, отношение С.Я. к тому, что Аркадий именовал переждением и термидором, меня не удивило. Я знал, что оно – это отношение – иным быть и не могло.

Удивила меня его солидарность с глумливым тоном Аркадия по отношению к гоголевской птице-тройке. Ведь что ни говори, а эта тройка – кто бы там в ней ни сидел – символ самой России! А глумиться над Россией – это было не в его, не в маршавском духе.

Но разве не то же глумление, что в ядовитых словах Аркадия про «победоносную борьбу за бороду, зипун и охабень», слышится и в насмешливой реплике С.Я. о «песне домашнего гуся»?

Тут надо еще помнить, какая погода стояла тогда на дворе.

Это было время, когда еще недавно вменяемая всем нам в обязанность необходимость поминутно заявлять о своей вере в идеалы коммунизма уже окончательно сменилась другой. Взамен этого теперь надо было застенчиво признаваться в своей любви к Родине, в невозможности жить без нее, вдали от нее.

И вдруг – такая злая насмешка над этим священным для каждого – уже даже не советского, а просто русского человека – правом сказать вслух, что не нужен ему ни берег турецкий, ни Африка, ни даже никакой Париж или Лондон, а нужна одна только его любимая Россия.

Помню, как раз в это самое время чуть ли не впервые в жизни на две недели отправился в давно чаемую им, но ранее недостижимую для него заграничную поездку – во Францию, в Париж – один мой любимый писатель. И не успел он вернуться, как тут же в «Известиях» появилась его статья – что-то вроде путевых заметок, где подробно, с большим нажимом говорилось о том, как едва только «за холмом» скрылась родная земля, он с мучительной нежностью испытал тоску по ней. И не раз еще повторял он на протяжении всей этой – не такой

уж и большой – газетной статьи, как неудобно ему было в той холодной чужой загранице, как тосковал он там по Москве, по Тарусе, по любимой своей Мещере.

Своим удивлением по этому поводу – не скрою, слегка даже раздраженным, – я поделился с Самуилом Яковлевичем, который – я знал – этого любимого мною писателя тоже высоко чтит.

– Ну да, – насмешливо кивнул он. – Всю жизнь просидел в тюрьме, на пять минут его выпустили на волю, и он сразу затосковал по любимой камере.

Но эта рожденная Маршаком ироническая фраза – «Песня домашнего гуся» – в его устах несла в себе еще и другой, пожалуй, даже более глубокий смысл.

Поэтическая формула Исаковского – «Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна» – помимо всего прочего, отталкивала его еще тем, что он воспринял ее – и не без некоторых к тому оснований – как декларацию некоего культурного, духовного изоляционизма.

Русскую литературу он любил не просто сыновней, но какой-то безоглядной, пристрастной, я бы даже сказал, ревнивой любовью.

Однажды он спросил меня, как я думаю: соизмеримы ли «Анна Каренина» и «Мадам Бовари»? Можно ли поставить их рядом? Я сказал, что у меня нет права отвечать на этот вопрос: чтобы ответить на него честно, надо прочесть «Мадам Бовари» по-французски. Но для меня, лично для меня несомненно: гениальный роман Толстого на голову выше флоберовского шедевра. Хотя и «Мадам Бовари», наверно, тоже великая книга.

– Вот и для меня тоже, голубчик, – сказал он. – Если б вы знали, сколько я спорил об этом с Алексеем Максимовичем, который упрямо стоял на том, что такого писателя, как Флобер, у нас, русских, пока нет.

В другой раз он спросил:

– Кто для вас выше: Гофман или Гоголь?

Тут я уже не стал говорить, что для чистоты эксперимента надо бы прочесть Гофмана по-немецки, а сразу, без всяких экивоков ответил, что и вопроса такого для меня быть не может: конечно, Гоголь.

Он прямо просиял от этого моего ответа. И снова вспомнил бесконечные свои споры с Горьким: тот и Гофмана ставил выше родного нашего Николая Васильевича.

Что говорить, русская литература была не только его любовью, она была смыслом всего его существования.

Но в то же время он не мыслил, не мог представить себе свою жизнь без Шекспира, Милтона, Бернса, Блейка, Вордсворта, Шелли, Китса, Браунинга, Теннисона, Киплинга, Элиота, Эдварда Лира, Милна... Все они (и не только они, конечно) были такой же органичной и неотъемлемой частью его внутреннего мира, как Гоголь, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Тютчев. И не потому, что он их переводил. Он именно потому-то их и переводил – старался сделать достоянием русской поэзии, русского слова, – что они были частью того мира, в котором он жил и **которым жил**.

Чтобы было более или менее ясно, какой смысл я вкладываю в эти слова, приведу небольшой отрывок из одного коротенького письма:

Вчера позвонил мне Маршак и просил, если я не занят и если есть у меня к тому охота, прийти к нему. Я пришел. В прихожей произошла сцена с обниманиями и поцелуями... Потом Маршак бегал вокруг меня, не давая мне даже сесть в кресло, рассказывал о Риме и Париже, жаловался на свою усталость. Маршак говорил о Риме очень хорошо. Потом перешел разговор на Данта. Маршак научился уже говорить немного по-итальянски, и мы сидели до 3 ч. ночи и читали Данта, оба восторгаясь.

(Д. Хармс — Н.И. Колубакиной. 24 сентября 1933 года)

Меня, подымаясь к таким вершинам, он с собою не брал (потому я и решил подкрепить свои воспоминания живым, непосредственным свидетельством Хармса). Но кое-что об этой стороне его жизни я тоже могу вспомнить.

Однажды он вдруг – уже не помню, что толкнуло его на эти неожиданные признания, – рассказал мне о своей размолвке с Горьким.

Кто-то передал ему, что Алексей Максимович сильно им недоволен. «Маршак, – будто бы сказал он, – который был мне так близок, совсем свихнулся. Занимается бог знает чем... Переводит Блейка!»

Что именно Горький имел против Блейка, я не понял. Если память мне не изменяет, увлечение Блейком он воспринял как обращение С.Я. к религии, к мистицизму.

Я спросил:

– А вы не пробовали с ним объясниться?

Он вздохнул:

– Не вышло... Может быть, надо было попытаться. Но я очень тогда на это обиделся. Не за себя, конечно, – за Блейка... Вы ведь знаете, чем был для меня Блейк!

Я проямлил что-то в том смысле, что да, конечно, знаю. Но он, как видно, почувствовал, что знаю недостаточно. И тут его словно прорвало. Он стал читать Блейка. Сперва по-английски:

– Tiger, tiger...

Но, как видно, сообразив, что на языке оригинала его любимый поэт доходит до меня туго, перешел на русский.

Высоким своим, глуховатым и в то же время остававшимся при этом удивительно звонким голосом он читал:

– Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чаши,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?..

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?..

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?..

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь

И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?

К стыду своему этих стихов Блейка я тогда не знал. Может быть, поэтому, а может быть, потому, что впервые услышать их мне посчастливилось в «авторском исполнении», впечатление, которое они на меня тогда произвели, было... Я даже не знаю, с чем его сравнить... Это было – как внезапно влетевшая в тесную душную комнату шаровая молния...

Особенно, помню, меня поразила смелость, с которой поэт, родившийся в середине XVII века, сравнивал Творца с мастером, стоящим у пылающего горна и сжимающим в руках клещи. Потрясающая конкретность изображения этого «трудового процесса» («свил твои тугие жилы и почувствовал меж рук сердца первый тяжкий стук»), да и само это слово «мастер» – вся эта лексика и эти образы напомнили мне моего любимого Маяковского, которого С.Я. называл байстриюком.

И едва опомнившись от впечатления, произведенного на меня его чтением, я высказал сожаление, что ему так и не удалось объясниться на эту тему с Горьким. Если бы тот услышал из уст Маршака одно только это стихотворение, подумал я, он, конечно, сразу изменил бы свое предвзятое отношение к Блейку, а может быть, даже и разделил бы это увлечение Маршака великим английским поэтом.

– Я очень тогда на него обиделся, – повторил С.Я.

И рассказал, что помимо переданного ему раздраженного суждения Алексея Максимовича о Блейке, те же доброхоты доложили ему, что Горький жаловался им на его черную неблагодарность. «Маршак, – будто бы сказал он, – который был для меня все равно что сыном, совсем меня забыл. Не звонит, не приходит...»

– Услышав это, – продолжил он свой рассказ, – я сразу кинулся ему звонить, добиваться встречи. Но мне весьма сухо было сказано, что Алексей Максимович принять меня не сможет... Ну, и тут я уж совсем обиделся... Теперь уже не за Блейка, а за себя. Особенно возмутило меня это его лицемерие: жалуются, что я его забыл, а сам не хочет меня видеть!.. И только много лет спустя, уже после его смерти, я понял, что это не он,

а кое-кто другой не хотел, чтобы мы увиделись... Он был изолирован... Полностью изолирован, голубчик...

Возвращаясь к впечатлению, произведенному на меня тогда Блейком, я должен сказать, что, пожалуй, больше, чем самим Блейком, я был потрясен той мощью, с какой Маршак сумел передать громовые раскаты блейковского голоса. Это мое потрясение было особенно сильным еще и потому, что переводы Маршака (за исключением с детства любимых «Королева Британии тяжело больна...» и «Послушайте сказку минувших времен о доблестном принце по имени Джон...») я считал несколько анемичными. Его переводу 66-го шекспировского сонета решительно предпочитал перевод Пастернака (однажды даже об этом написал), а переводу баллады про «Джона Ячменное Зерно» – с самой ранней юности пленивший меня перевод Багрицкого.

Маршаковским переводам шекспировских сонетов и «Джона Ячменное Зерно», как мне казалось, мешала чрезмерная его приверженность «классическому стиху». Вернее, даже не стиху, а той классической эстетике, сущность которой он сам выразил с той же классической ясностью:

Полные жаркого чувства,
Статуи холодны.
От пламени стены искусства
Коробиться не должны.

Как стены античного храма –
Души и материи сплав –
Пушкинской лирики мрамор
Строен и величав.

Я полагал, что и в переводах, да и в собственных его лирических стихах, ему как раз недоставало того огня, в котором «коробились» строчки Багрицкого, Цветаевой и «байстрюка» Маяковского.

Его перевод блейковского «Тигра» открыл мне, что и та страсть, от которой «коробятся стены искусства», и яркость красок, и не сдерживаемый, не тронутый холодком темперамент, и поэтическая мощь, так пленявшая меня в стихах трех названных выше поэтов, – что всё это и ему тоже могло быть присуще.

Но, собственно, почему **могло быть?**

Это **было** ему присуще. И в самой высокой степени.

Маяковский любил повторять, словно пробуя на вкус, нравящиеся ему стихотворные строки. Среди самых любимых были строчки из «Цирка» Маршака:

По проволоке дама
Идет, как телеграмма.

У меня нет сомнений, что эти строки покорили Маяковского не только своей поэтической энергией и техническим совершенством. Он любил в них очень живое, очень конкретное воплощение столь дорогих ему принципов «левой» поэтики.

В этой книге я уже приводил однажды (совсем в другой связи и по другому поводу) отрывок из письма Маяковского одному начинающему поэту, в котором он так определял их:

Истертые вещи вечного поэтического обихода, оживленные новыми, близкими нам определениями, выявлены через современность.

Старый поэт, определяя автобус, скажет:

«Автобус, тяжелый как ночь».

Новый говорит:

«(Ночь) грузная, как автобус».

Старый скажет:

«мелочь (деньга) как звезды (сияла, что ли)».

Новый говорит:

«Звезд мелочь», определяя неведомую звезду через знаковую серебряную монету...

*(Владимир Маяковский. Полное собр. соч., т. 12.
М., 1959. С. 173)*

Буквально теми же словами можно охарактеризовать эти нравившиеся Маяковскому строчки Маршака:

Старый поэт сказал бы:

«Телеграмма бежит по проволоке, как циркач...»

Новый говорит:

«По проволоке дама идет, как телеграмма».

Потому что телеграмма для него привычнее, обиходнее, чем циркач-канатоходец.

Я мог бы вспомнить немало и других строк из детских стихов Маршака, о которых Маяковский мог бы вот так же удовлетворенно сказать: «Хорошо, по-лефовски!» Но главное, конечно, не то, что «по-лефовски», а то, что – «хорошо».

В полдень, устав от игры и жары,
Твистер, набегавшись вволю,
Гонит кием костяные шары
По бильярдному полю.

В этих строчках нет решительно ничего такого уж особенно «лефовского». Но сам Маяковский (кстати сказать, в отличие от Маршака, любивший «гонять костяные шары по бильярдному полю»), вряд ли мог бы представить процесс игры на бильярде с большей энергией и выразительностью.

Конечно, Маршак (во всяком случае, поздний Маршак – Маршак, которого я знал) был – то, что на современном литературном жаргоне называется – «антимодернист». (На этом, кстати, они сошлись с ярым антимодернистом Коржавиным.)

Я мог бы припомнить множество откровенно антимодернистских высказываний Самуила Яковлевича. Вот, например, однажды он с явным одобрением вспомнил, как Пастернак (Пастернак!!!) сказал ему про «Петербург» Андрея Белого: «Мы отняли у читателя поэзию, – теперь мы отнимаем у него прозу».

Но при всем при этом я мог бы написать вполне убедительную статью под названием «Маршак – модернист», или: «Модернист-Маршак».

Не так давно я читал (в «Вопросах литературы») интервью с поэтом Генрихом Сапгиром (это было незадолго до его смерти). Отвечая на вопрос: что главное – эстетически – объединило его и его друзей, поэтов и художников, в группу единомышленников, он сказал:

У нас до сих пор не понимают, что такое «примитивизм» в литературе. В живописи давно поняли, а в литературе нет.

«Примитивизм» у нас не признают как полноценное течение. А ведь был Глазков...

Это очень верное замечание. С той только поправкой, что до Глазкова был Хлебников, а потом обзриуты: Хармс, Олейников, молодой Забалоцкий.

И был Маршак.

В своей книжке о Маршаке (в той ее главе, которая называется «Детский почерк») я писал о «примитивизме» (не пользуясь, правда, этим термином) как об одном из коренных свойств поэтики Маршака. Я там говорил, что детские стихи, поэмы и сказки Маршака хорошо было бы иллюстрировать рисунками детей.

Вот, например:

Плывет пароход
По зеленым волнам,
Плывет пароход
Из Америки к нам...

Так и видишь рисунок, на котором нарисованы крупно – детскими каракулями – бурные волны и огромный – во весь лист – пароход.

«Мистер Твистер» сейчас пренебрежительно называют плакатом. Да, конечно, это плакат. Но ведь плакат – это и есть «примитивизм».

Говоря о близости поэтики раннего – детского – Маршака поэтике Маяковского, я мог бы сослаться на появление в его «Почте» Бориса Житкова – реального человека, конкретного его тогдашнего коллегу и приятеля. Точь-в-точь, как у Маяковского, у которого в его стихи входят «Лиля, Ося и собака Щеник», и «сосед Бальшин», и домработница «Аннушка».

Но поскольку я все-таки пишу не статью, а воспоминания, вспомню лучше, как он говорил (постоянно, постоянно!) о своей любви к Хлебникову, с каким искренним восхищением читал любимые им строчки Хармса:

Наклоняли, наклоняли,
Наклоняли самовар,

Но оттуда выбивался
Только пар, пар, пар.

Наклоняли самовар
Будто шкаф, шкаф, шкаф,
Но оттуда выходило
Только кап, кап, кап.

А уж кто у нас больший модернист и авангардист, чем Хармс?

Да и строфу-другую «байстрюка» Маяковского он тоже при случае мог прочесть, выбрав из него что-нибудь особенно любимое. Читал, правда, – словно нарочно убирая «лесенку», подчеркивая чеканный ритм классического размера:

Мой стих трудом громаду лет прорвет
и явится весомо, грубо, зримо,
как в наши дни вошел водопровод,
сработанный еще рабами Рима.

Читал точно так же, как читал – тоже случалось – Державина:

И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселенна будет чтить...

Или Иннокентия Анненского:

И грубо лишенная мира,
Которого столько ждала,
Опять по тюрьме своей лира,
Дрожа и шатаясь, пошла...

Но при этом, читая Маяковского, он – так же, голосом – словно пробуя их на вкус, выделял в его строчках слова, которых, конечно же, не могло быть ни у какого Державина, и ни у какого Анненского: «трудом», «громаду», «прорвет», «грубо», «водопровод», «сработанный», – словно подчеркивая, что и в этом строго организованном классическом ритме бывший футурист остается собой – неповторимым, ни на кого не похо-

жим Маяковским. И в каждом этом «маяковском» слове была для него – это чувствовалось! – своя музыка.

Но если так, откуда, из каких глубин сознания (или подсознания) вырвалось у него по отношению к безусловно любимому и почитаемому им Маяковскому это пренебрежительное, чуть ли даже не презрительное – «байстриук»?

Маршак любил (и умел) пошутить.

Нет, лучше, пожалуй, тут выразиться иначе: он любил сказать *mot*.

Как я уже признался, излагая свой разговор с С.Я. о Флоренции, французского языка я не знаю. Но это французское выражение, переводящееся на русский как «острота», помню с детства. Оно пришло ко мне из «Войны и мира». Есть там у Льва Николаевича такой персонаж – русский дипломат Билибин, который время от времени произносит какое-нибудь *un mot*. Но перед тем как его произнести, он собирает складки морщин на лбу, как говорит Толстой, «подбирает кожу», а произнеся, в знак удовольствия, эти свои складки распускает. На протяжении романа – всех его четьрех томов – этот мелкий штрих, характеризующий манеру Билибина острить, повторяется постоянно. (Это вообще один из любимых приемов Льва Николаевича: вот так же, всякий раз, когда появляется на страницах его романа «маленькая княгиня» – жена князя Андрея, упоминается ее слегка коротковатая, с чуть чернеющимися усиками, верхняя губка, которая придавала ее улыбке какую-то особенную прелесть.)

Так вот, у Самуила Яковлевича была такая же, всякий раз повторяющаяся, манера произносить остроту, как у толстовского Билибина. То есть, конечно, не такая же, совсем другая, – но такая же определенная, ярко выраженная.

Собираясь сказать *mot*, он всякий раз понижал голос, и в этом новом, изменившемся голосе его уже слышался предшествующий остроте, словно бы предвкушаемый им смех. А в глазах загорались веселые искорки.

Вот так он однажды сказал при мне Вале Берестову про его домашний адрес («Второй Зачатьевский переулок»):

– Вы знаете, голубчик, какое слово в названии вашего переулка – самое неприличное?

И, «распуская кожу», объяснил:

– Второй!

Свою реплику насчет того, что Маяковский («между нами говоря, голубчик») – байстрюк, он точно так же, «по-билибински», предварил изменением голоса и блеснувшими в глазах смешинками.

В каждой шутке, как известно, заключена толика правды, иногда – немалая. И что-то, конечно, в этой его реплике было и от реального его отношения к Маяковскому (и Твардовскому).

И все-таки это было *un mot*. Так же, впрочем, как и реплика про «домашнего гуся». И как реплика про Ираклия Андроникова («...между нами говоря, голубчик, это же вакуум»).

Одно такое его *un mot* стало для меня источником довольно неприятного казуса, разрешившегося лишь спустя четверть века.

Однажды в каком-то нашем разговоре, вот в этой самой «билибинской» своей манере С.Я. сказал, что Ваншенкин и Винокуров – это, в сущности, один поэт. У них ведь и фамилия одна и та же: Ваншенкин – это измененное «Вайншенкер». В переводе на русский – «Винокуров».

Женя Винокуров, когда я пересказал ему эту остроту старика, отнесся к ней довольно добродушно. (Как видно, услышал ее уже не в первый раз.)

– Бог с ним, с Маршаком, – сказал он. – Гораздо хуже то, что и Лесючевский тоже рассматривает меня и Ваншенкина как одного поэта.

Лесючевский был тогда директором (точнее – председателем Правления) издательства «Советский писатель».

В ответ на мой немой вопрос Женя пояснил:

– Недавно говорю я ему, что давно пора бы уже выпустить новую мою книгу. А он мне: «Ну, знаете, вы с Ваншенкиным не можете на нас обижаться. В прошлом году мы выпустили книгу Ваншенкина. И в позапрошлом. Да и три года назад тоже, мне помнится, вышла у нас книга Ваншенкина. Нет-нет! Кто другой, но вы с Ваншенкиным никак не можете на нас обижаться!»

Поводов для юмора тут было, конечно, предостаточно. Но меня довольно сильно раздражало, что этих двух одновременно входивших в литературу и поначалу в чем-то действитель-

но схожих поэтов постоянно выносят за одни скобки. Раздражало то, что никто почему-то не видел, не хотел видеть, как далеко уже разошлись их пути.

И вот, написав – по газетным масштабам довольно большую – статью о Винокурове, я посвятил этой теме отдельный абзац, в котором говорил, как далеко ушел этот поэт от ранних своих бытовых стихов в совершенно иную область, так сказать, философской лирики. В полемическом задоре эту свою мысль я высказал так, что Ваншенкину она вполне могла показаться обидной. Обижать я его совсем не хотел, но как-то там у меня выходило, что вот, мол, Винокуров от ранних своих бытовых стихов ушел далеко вперед, а Ваншенкин как был приземленным бытовиком, так им и остался.

Это меня несколько тревожило, и пока статья проходила всеми обычными газетными этапами (машинка, гранки, контрольная полоса), я все время мысленно отмечал, что надо будет мне к этому абзацу еще вернуться, слегка его откорректировать.

И тут, представьте, открывается дверь, и в мой служебный кабинет – легок на помине – входит Костя Ваншенкин.

Увидав на моем столе гранки (или уже контрольную полосу) этой самой прямо его касающейся статьи, начинает не без интереса ее читать. А я, не дожидаясь, пока он доберется до злополучного абзаца, возьми да и скажи:

– Да, кстати, Костя, прочти внимательно вот это место. Я все думаю, не покажется ли это тебе обидным.

Костя прочел и сказал, что да, конечно, хотел я того или не хотел, но читается этот мой пассаж как безусловно обидный для его поэтической репутации выпад.

– Ну, если так, – сказал я, – мы его сейчас вычеркнем.

И с маху, одним размашистым росчерком пера, вычеркнул.

Удовлетворенный Костя ушел. А минут двадцать спустя заглянул в мой кабинет один мой коллега, взял со стола те же гранки, быстро пробежал их глазами и, увидав вычеркнутый абзац, схватился за голову.

– Зачем ты это сделал? – изумился он.

Я объяснил.

– Ты с ума сошел! – зашелся он. И стал горячо мне доказывать, что, вычеркнув этот абзац, я безнадежно испортил всю

статью, вынул из нее самую суть. Что весь смысл статьи, ее нерв, ее болевая точка – как раз вот в этом абзаце, прямо утверждающем, что Винокуров – не Ваншенкин, что это – очень разные, совсем не похожие друг на друга поэты.

Поддавшись этому бешеному напору, я восстановил вычеркнутый абзац, подумав, что до конца дня еще успею как-то смягчить его. Но – не успел. Замотался, забыл.

В общем, наутро в газете статья вышла в том самом виде, в каком ее читал Костя и который показался ему обидным.

В тот же вечер, встретив Костю у входа в ЦДЛ, я кинулся к нему, чтобы объясниться. Но он слушать меня не стал. Отвернулся. И с той минуты **на протяжении двадцати пяти лет он не подавал мне руки**. А у меня на протяжении этих двадцати пяти лет так ни разу и не хватило духу хоть попытаться сломать этот лед – подойти к нему, попробовать объясниться. И лишь четверть века спустя, когда в первый раз приехал в Москву из долгой своей эмиграции Коржавин и, принимая его в свои объятия, мы с Костей оказались за одним столом, я нашел в себе силы сказать ему:

– Костя! Я давно хотел тебе сказать, что в той истории я кругом перед тобой виноват. Если можешь, прости меня.

И «дюк его простил».

Самуил Яковлевич Маршак в этой истории, разумеется, совершенно не повинен. Но завязкой этого сюжета как-никак была все-таки его острота.

А из-за другой его остроты, другого его *un mot* меня однажды даже вызвали на дуэль.

Да, да, я не шучу. Это был самый что ни на есть настоящий вызов, и избежать смертельного поединка мне удалось только потому, что приглашала меня к барьеру – точь-в-точь, как в чеховском водевиле – дама.

Но об этом стоит рассказать подробнее.

4

Валя Берестов, с которым, как я уже говорил, мы познакомились и подружились у Маршака, был наделен многими дарованиями. Одним из самых ярких среди них был – дар устного

рассказа. Он был не просто блестящий рассказчик, каким был, например, Константин Георгиевич Паустовский или Камил Икрамов. Этот его дар был сродни дару Ираклия Андроникова. Он совершенно бесподобно – не хуже самого Ираклия – умел воспроизводить голос и манеру Алексея Николаевича Толстого, которого хорошо знал. Или того же Самуила Яковлевича. И точь-в-точь как эстрадные выступления Ираклия эти его устные рассказы были именно рассказами в самом точном смысле этого слова – каждый со своим сюжетом, с точной, изысканной композицией, с завязкой, кульминацией и развязкой.

До сих пор звучат у меня в ушах переданные его голосом реплики А.Н. Толстого, обращенные к немецкому режиссеру Эрвину Пискатору, которого переводчица, убежденная, что «в доме Толстых говорят по-немецки», на целый день оставила в этом доме без своих услуг.

– Ту-ся! – высоким, почти женским голосом обращается А.Н. к жене за обеденным столом. – Что это такое?!

– Это суп, Алёшенька. – отвечает жена. – Очень хороший перловый суп.

– Значит, вопрос ставится так, – реагирует на это объяснение классик. – Или я писатель и работаю в литературе, или я ем эти сопли!

И – повернувшись к Пискатору:

– Эссен зи битте! Дас ист айне гутте зуппе...

Объясняя немцу, почему его дача окружена высоким забором, он пытается ему втолковать:

– Пишу роман. О Петре Первом. Петрус Примус... Творчество – акт интимный, а мальчишки глазеют.

Немецких слов для объяснения всех этих деликатных ситуаций ему не хватает, и он поневоле переходит на русский. Чертыхается, негодует. И наконец не выдерживает:

– Ему скушно! Мне тошно! Где эта чёртова переводчица?!.. Я кончился! Я иссяк! Я больше не могу!

И тут немецкий гость на чистейшем русском языке спокойно произносит:

– Если вам трудно объясняться по-немецки, мы можем говорить по-русски.

Немая сцена.

Реплика Маршака, ставшая поводом для вызова меня на дуэль, была из такого же устного рассказа Вали Берестова. То есть реплика эта была – подлинная. Я почти уверен, что сам слышал ее из уст Самуила Яковлевича. «Почти» – потому что, хоть рассказ Вали создавался при мне, на моих глазах, и лепился из материала, знакомого мне не понаслышке, став рассказом, он совершенно заслонил от меня тот реальный эпизод, которому я был свидетелем и который лег в его основу. Так что я теперь уже не могу с полной уверенностью сказать, какая реплика в том рассказе была действительно Самуилом Яковлевичем произнесена, а какая явилась плодом Валькиного художественного вымысла.

Насколько я знаю, Валя не делал попыток этот свой устный рассказ записать. Поэтому сейчас я постараюсь хоть бледную тень его сохранить для потомства. Увы, это будет именно тень. Но – все-таки...

Завязкой рассказа стало маленькое подношение Вали Самуилу Яковлевичу.

Явившись к нему с очередным визитом, он принес ему новую, только что вышедшую книжку молодой Беллы Ахмадулиной.

Самуил Яковлевич благодарит и жадно впивается в книжку.

Жадно, но – не спеша.

Раскрыть ее он не торопится. Сперва, любовно поглаживая, подносит ее к лицу, прямо к глазам, и долго вглядывается в обложку. Медленно вчитывается в заглавие:

– «Струна»... Какое славное название... от него так и веет свежестью... Я предвижу, голубчик, что вы сделали мне чудесный подарок...

Насладившись обложкой, раскрывает книжку и так же внимательно вглядывается в портрет юной Беллы:

– Прелестное молодое лицо... И какое необычное... Сразу видно, что это лицо поэта... Спасибо, голубчик, порадовали старика!.. Ну что ж, почитаем?

И, раскрыв книжку, начинает читать:

О, еще с тобой случится
Всё – и молодость твоя.

Когда спросишь: «Кто стучится?» –
Я отвечу: «Это я!»

Это я! Ах, поскорее
Выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
Плечи бедные твои...

Ах, да вовсе не за этим
Я пришла сюда одна.
Это я – ты не заметил.
Это я, а не она.

– Очень музыкально, – одобряет он. – Куда ведет, пока не понимаю, но есть музыка. А это уже много, голубчик. И как свободно, ненатужно звучат у нее эти «О!» и «Ах!»... В наш век, пожалуй, только у Есенина это поэтическое «Ах!» звучало так естественно! Вы помните, конечно?

И он с наслаждением вспоминает:

Ах, и я эти страны знаю –
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть...

Не отказав себе в удовольствии дочитать стихотворение Есенина до конца, он возвращается к Ахмадулиной.

– Ну что ж, пойдём дальше?

О, мне б его уверенность на миг
И фамильярность с тайной простотою!
Но нет, я этой милости не стою:
Пускай прольется мимо рук моих...

– Гм... А вот это уже как-то манерно. Вам не кажется?.. Этакая ломака... А?.. И, обратите внимание, тут и это ее любимое «О» звучит уже неестественно. Я бы даже сказал, нарочито... Ну, это ничего... Не расстраивайтесь, голубчик. Это от молодости. Это пройдет... Пойдем дальше! Я уверен, что дальше будет лучше!

И, перелистнув несколько страниц, он читает:

И снова, как огни мартенов,
огни грозы над головой...
Так кто же победил: Мартынов?
иль Лермонтов в дуэли той?

– А вот тут я что-то совсем не понял, голубчик. К чему они здесь, эти мартены?

– Это сравнение, Самуил Яковлевич. Во время дуэли там – помните? – началась гроза. Вот она и сравнивает вспышки молнии с огнями мартенов...

– Да, да, гроза... Я помню... Но какое-то странное сравнение... искусственное... Вам не кажется, голубчик?.. Ну ладно, пойдем дальше...

Продолжает читать:

А Пушкин пил вино, смеялся,
Дела его прекрасно шли...

– Послушайте, это же ухарь-купец, а не Пушкин... «Дела его прекрасно шли...» Прямо купчик какой-то... Вы не согласны?..
Читает дальше:

И поводила все плечами,
и улыбалась Натали...

– Поводила плечами? – в голосе его появляется тот призывок смеха, который обычно предшествует у него остроте. – Да это цыганка какая-то, а не Наталья Николаевна...

И, накупившись, он опять возвращается к началу стихотворения:

И снова, как огни мартенов...

– Далась ей эти огни мартенов...

И вдруг, чуть не плача:

– Голубчик, неужели вы не чувствуете? ЕЙ НЕ ЖАЛКО ЛЕРМОНТОВА!.. Он был такой молодой!.. Вы представьте се-

бе, сколько бы еще он сумел сделать, если бы не эта ужасная дуэль!..

Закрывает книжку, смотрит на ее обложку.

– «Струна»... И название какое-то претенциозное... По правде говоря, безвкусное ведь название...

Смотрит на портрет, на прелестное лицо юной Беллы.

– И лицо... Какое-то, знаете, незначительное... Что-то даже есть в нем несимпатичное... Да, да, определенно неприятное лицо...

И решительным жестом он возвращает поднесенный ему подарок дарителю:

– Нет, голубчик, не буду я читать эту книжку... Читайте ее сами.

Это, так сказать, завязка.

Собственно, даже не завязка, а – экспозиция. Или, лучше сказать, предыстория моего сюжета. А истинной завязкой его надо считать рецензию на книгу стихов Беллы Ахмадулиной «Уроки музыки», которую я написал и напечатал в 1970 году, в 12-й книжке «Нового мира».

Белла была тогда кумиром всей нашей передовой (называлось это другим словом: «прогрессивной») интеллигенции. Некоторые энтузиасты даже ставили ее рядом с Ахматовой. Поэтому рецензия моя – весьма, надо сказать, нелицеприятная – в самом прогрессивном нашем журнале проходила туго. Прогрессивные редакторши крутили мне руки, требуя, чтобы все свои упреки поэтессе я обложил ватой, то есть – комплиментами и всякого рода уверениями в несомненности ее божественного поэтического дара.

В результате рецензия вышла гораздо более мягкой и даже комплиментарной, чем мне бы хотелось.

Но это мне не помогло.

Даже друзья, в числе которых были и близкие, меня за нее осуждали. Зачем, дескать, бить по своим. А люди более от меня далекие – те и вовсе (это до меня доходило) говорили: «Если уж у него такой критический зуд, изничтожил бы всю эту сволочь: Грибачева, Софронова... А он, как нарочно, выбирает для своих нападок самых ярких, самых талантливых: сперва Евтушенко и Вознесенского, а теперь вот – Беллочку...»

Даже целую эпоху спустя (в 1987-м), когда я включил эту дав-

ную статейку в новую свою книгу (она вышла через двадцать лет после предыдущей), прогрессивные (и в высшей степени доброжелательные по отношению ко мне) внутренние рецензенты упрямо и красноречиво уговаривали меня этого не делать. И заботились они не столько о Белле, сколько обо мне, о моей (а не ее) репутации. Они искренне полагали, что эта статья меня роняет.

Пересказывать содержание той моей статьи я сейчас, разумеется, не буду. Приведу из нее только маленькую цитату.

Вспоминая злополучное четверостишие, в котором фамилия убийцы Лермонтова рифмовалась с «огнями мартенов», я писал:

Искусственность этой рифмы, я помню, очень раздражала покойного С.Я. Маршака. Раздражала как улика, свидетельствующая о незатронутости поэта темой стихотворения:

— Голубчик, неужели вы не чувствуете? Ей не жалко Лермонтова!!!

Белла обиделась, конечно, не только на это замечание. (Были там и другие, гораздо более обидные, о некоторых из них я, наверно, еще скажу.) Но поводом для ответа она выбрала именно его.

Случай представился не скоро: аж целых семь лет спустя. В 1977 году в Тбилиси вышел солидный (страниц семьсот) ее том. Как раз в это время один ленинградский литератор опубликовал заметки о своем путешествии по Кавказу. И там, в этих своих путевых очерках, он, между прочим, заметил, что в Грузии его особенно поразил культ двух женщин: первая – царица Тамар, а вторая – Белла Ахмадулина.

Если судить по увесистому тому Беллы, изданному в Тбилиси, эта реплика ленинградского писателя не была ни метафорой, ни гиперболой. Будучи предметом обожания пылких грузин, на территории этой республики (и, соответственно, этого тома) Белла могла позволить себе всё, что бы ей ни заблагорассудилось.

А заблагорассудилось ей там опубликовать такое письмо:

Критику Б.С.

Глубокоуважаемый Б.С.!

Вы оказали мне честь, упомянув меня в статье, общего значения которой я, по роду моих склонностей и занятий, не могу оценить в должной мере. Ваша память обо мне тем более для меня почетна и лестна, что я не имею привычки и страсти к публикациям, и внимание критики для меня чрезвычайная редкость.

Я совершенно согласен с Вами в отрицательной оценке слабого и вульгарного стихотворения, некстати поминающего имени Пушкина и Лермонтова. Единственное, что может оправдать меня перед Вами, это то, что указанное стихотворение, писанное в давнишней и непривлекательно-невежественной молодости автора, сознательно не включено в разбираемую Вами книгу. Так что огорчение Ваше — заслуга не моей, а Вашей энергии. Но все это для меня ровно ничего не значит.

Важно лишь то, что Вы в Вашей статье прямо и точно говорите, что мне «не жалко Лермонтова».

Я полагал, что Вы сами примете меры для наказания человека, в котором Вы предполагаете злодейское сочувствие убийцам Лермонтова. Не только такое обвинение, но даже такое подозрение заслуживает немедленного и решительного разбирательства.

Я настоятельно прошу Вас безотлагательно сообщить мне, каким образом могу я получить от Вас удовлетворение моей чести и совести.

Любые Ваши условия, кроме перевода бумаги, буду считать для себя подходящими.

Примите уверения и прочая...

*(Белла Ахмадулина. Сны о Грузии.
Тбилиси, 1977. С. 523—524)*

Не совсем было ясно, от чьего имени написано это дышащее презрительной иронией послание. Тот факт, что автор говорит о себе в мужском роде, заставлял предположить, что пишет все это не поэтесса Белла Ахмадулина, а какой-то ее герой. С другой стороны, стихотворение, которое автор письма вроде признает своим, было написано не безымянным героем по-

этессы, а ею самой. Таким образом, кто является автором этого письма, – вернее, кого надлежит считать его автором, – не вполне ясно. Но кто такой этот самый «критик Б.С.», к которому послание обращено, сомнений не вызывало.

Итак, я получил «короткий вызов, иль картель», сочиненный по всем правилам дуэльного кодекса.

Дуэль, как вы понимаете, не состоялась. В книге («Бремя таланта» М., 1987), куда ту давнюю свою статью об Ахмадулиной – и даже в несколько расширенном виде – я все-таки включил, я сделал несколько неуклюжую попытку извиниться перед оскорбленной мною поэтессой. Написал, что не только в «злодейском сочувствии убийцам поэта», но даже в постыдном равнодушии к его гибели ее не подозревал. Объявлял инцидент чистейшим недоразумением, вину за которое брал целиком на себя: я, мол, наверно, крайне сбивчиво и невнятно выразил суть своих претензий. Надо было прямо написать, что я ничуть не сомневался, что ей, конечно же, **жалко Лермонтова**. А хотел я, мол, сказать всего лишь, что данное, конкретное стихотворение, данные, конкретные его строки родились не из острого, внезапно пронзившего душу автора стихотворения чувства жалости к безвременно погибшему гению, а из каких-то других ее чувств и душевных движений, если таковые имели место.

Но если быть совсем честным, надо признать, что эти мои извинения были чистейшей воды лицемерием. На самом деле оснований обижаться на меня у Беллы было более чем достаточно. И самым обидным для нее в той моей рецензии была вовсе не злополучная реплика Маршака. Самым обидным там был финал моей статьи, последний, заключающий ее абзац.

Это была цитата из Л.Н. Толстого, из «Анны Карениной»:

Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно.

В своей статье я этого, конечно, не написал (этого еще не хватало!), но за этой толстовской цитатой, за этой его метафорой для меня стояли не персонажи «Анны Карениной» – художник Михайлов и Вронский, а совершенно реальные, конкретные фигуры. За образом человека, который уселся перед влюбленным, чтобы на его глазах ласкать свою восковую куклу, мне виделась не одна Белла: таких имитаторов влюбленности и помимо нее было тогда немало. Но в образе влюбленного, которому глядеть на эту игру было «и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно», мне представлялся только один человек: Самуил Яковлевич Маршак.

Людей, искренне и страстно влюбленных в поэзию, я знал немало. Но второго такого, как Маршак, среди них не было.

Для него поэзия была в полном смысле этого слова воздухом, которым он дышал, и оставаясь без которого, тотчас начинал задыхаться.

Алексей Иванович Паителеев, который дружил с Самуилом Яковлевичем на протяжении четырех десятилетий (несмотря на разницу в возрасте, составляющую ни много ни мало – двадцать лет, они были «на ты») рассказывал мне, что после сумасшедшего рабочего дня, наполненного делами, встречами, телефонными разговорами, а иногда после многочасовой каторжной работы над рукописью, когда пепельница переполнена окурками до красн, а от табачного дыма в комнате уже нельзя дышать, С.Я. вдруг откидывался в кресле, закрыв глаза, с наслаждением потягивался и говорил:

– Ну что? Окунемся?

И они «окунались» в стихи. Часами читали друг другу – Пушкина, Тютчева, Бунина, Хлебникова, Блока, Некрасова... Или – пели: иногда частушки, иногда какую-нибудь старинную поморскую песню, которой Маршака научил Борис Викторович Шергин.

Я от С.Я. этого слова («окунемся») не слышал ни разу. Но «окунались» мы с ним в поэзию всякий раз, когда мне – одному или с друзьями (Валей Берестовым, Эмкой Манделем) – приходилось у него бывать, глубоко и надолго.

Продолжалось это часами. Читали все – кто что любит, кто что вспомнит. И особенную радость, особое наслаждение, я бы

даже сказал, истинное счастье светилось в глазах Маршака, когда у кого-нибудь из нас вдруг вспыхивали в памяти какие-нибудь и его – самые любимые – строки. Когда вдруг происходило такое внезапное совпадение, скрещение избирательных (а любовь всегда избирательна) любовью и нежных привязанностей.

Не могу забыть его лицо, размякшее от наплыва чувств, когда Валя вдруг прочел:

Вечер. Зеленая детская
С низким ее потолком.
Скучная книга немецкая.
Няня в очках и с чулком.
Желтый, в дешевом издании,
Будто я вижу роман...
Даже прочел бы название,
Если б не этот туман.

Эти строчки Иннокентия Анненского наверняка были из числа самых его любимых. Но было тут и что-то еще, помимо совпадения «любвей».

– Если б не этот туман... – вздохнул он. И прямо физически ощутимо было, как силится он сквозь «этот туман» минувших десятилетий разглядеть какую-то важную деталь, какую-то ускользающую, не дающую себя увидеть подробность своего, его собственного детства.

Совсем другое – озорное, лихое, веселое – было у него лицо, когда он читал своего любимого Хлебникова:

Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове.
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!..
.....
Не зубами скрипеть
Ночью долгою,
Буду плыть, буду петь
Доном-Волгою!

И снова – другим я вижу его лицо. Такое же веселое, но не озорное, а смешливое. Вижу знакомые смешинки в глазах, слышу, как его глуховатый, всегда слегка задыхающийся голос постепенно наливается, прямо набухает смехом:

Vis-à-vis с моим окном
Два окна виднеются.
Вижу я, в окне одном
Что-то часто бреются.

Каждый день все тот же вид –
Бреют, бреют, бреются.
Прямо мочи нет – тошнит,
Что за дрянь там деется?

Я предался весь мечтам:
Может быть, имеется
Там цырюльня? Ибо там
Что-то часто бреются.

И от Фильки моего
Я узнал: имеется
Там цырюльня. Оттого
Там так часто бреются.

В этом паливающимся смехом голосе, помимо обычного голосового сигнала, возвещающего, что сейчас последует некое *mot*, на этот раз было еще и предвкушение какого-то сюрприза. И предвкушение это нас не обмануло.

Сюрприз состоял в том, что прочитанные строки являли собой неизвестное, никогда не печатавшееся, но несомненно подлинное стихотворение Козьмы Пруткова, какими-то сложными путями дошедшее до Самуила Яковлевича от кого-то из потомков одного из создателей бессмертного Козьмы.

Даже из этих трех вспомнившихся мне примеров (а вспомнить я мог бы еще десятки) видно, какими разными, несхожими, даже далекими друг от друга были все эти – с наслаждением читавшиеся и с наслаждением слушавшиеся им стихи.

Казалось, ну ничего, решительно ничего не было между ними общего – кроме, разве, вот этого испытываемого им при их

чтении, ни с чем не сравнимого, прямо-таки физического наслаждения.

Общее, однако, было. И этим общим было то, что безошибочно отличало их от бесконечно раздражавших его муляжей, восковых – или каких-либо иных – имитаций, подделок. Объединяла все эти – такие разные (сентиментальные и патетические, комические и трагические) стихотворные строки – ИХ ПОДЛИННОСТЬ.

Я уже рассказывал, как однажды он – при мне – сказал Вале Берестову:

– Главная наша с вами беда, голубчик, что мы – люди способные!

Мысль, казалось бы, странная: худо ли быть способным?

Поскольку в голосе С.Я., когда он произносил эту реплику, отчетливо слышалось хорошо нам знакомое «бюлибинское» предвкушение остроты, понять ее можно было именно как остроту: люди способные, мол, они – способны на многое. Вот, например, я, Маршак, как человек способный с легкостью могу сочинить какую-нибудь ерунду, вроде того, что в Московском ГУМе был отдел и звался он посудным, но после многих грязных дел – сделался подсудным.

Такой смысл в этой его реплике тоже, конечно, был. Но был и другой, более глубокий: поскольку к этой своей мысли он возвращался постоянно, этот – второй и главный ее смысл – я уяснил хорошо.

Суть дела состояла в том, что способности, по мысли Маршака, – это качество, иногда сопутствующее истинному поэтическому дару, но отнюдь с ним не связанное. Если угодно, даже ему противостоящее. Во всяком случае, не помогающее ему проявиться, а скорее – мешающее.

Он любил повторять, что ловкие и даже виртуозные аллитерации – например, знаменитая бальмонтовская «Чуждый чарам черный чёлн...», или восхищавшая многих (когда-то и меня тоже) асеевская: «Кони по Литейному дальше летят...» – во все не свидетельство истинного поэтического дара. Чтобы сочинить такое – достаточно быть человеком способным.

Впрочем, заговаривая на эту тему, он менее всего склонен

был нападать на создателей этих аллитераций. Главной мишенью его нападков были – те, кто ими восхищался. В них он видел самую ненавистную ему породу любителей стихов: не читателей, а – **ценителей**. Читатель погружается в стихи, наслаждается (попутно) их музыкой, но главное – то, что он заражается тем чувством, которое испытал и передал ему, аккумулируя его в своих стихотворных строчках, поэт. Ценитель тоже наслаждается, но – по-своему. Он получает удовольствие от того, «как сделаны» стихи. И главный источник его наслаждения – то, что он способен оценить, «как это сделано». То есть удовольствие его зиждется на том, что он **доволен собой**, своим умением понимать стихи, разбираться в них.

Говоря о таких «ценителях», С.Я. не отказывал себе в удовольствии всякий раз, помяная их, процитировать своего любимого Бернса:

Так евнух знает свой гарем,
Не зная наслажденья.

Ну и конечно, более всего раздражали Маршака, нередко приводя его в настоящую ярость, именно те слагатели стихов, всё так называемое мастерство (лучше сказать – умение) которых направлено на то, чтобы добиться восхищения таких вот «евнухов».

– Но разве повторяя пушкинское «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой», – неосторожно сказал я однажды, – мы не восхищаемся тем, **как это сделано?**

– Нет, голубчик, – покачал он головой. – Эти строки приобщают нас к тому наслаждению, которое испытывал Пушкин, участвуя в таких вот дружеских попойках. Если хотите, вызывают у нас желание самим поучаствовать в них, тоже отведать этого пушкинского пунша, полюбоваться его голубым пламенем... Ну а уж потом можно и задуматься над тем, каким способом поэт добился того, чтобы мы разделили с ним его наслаждение, испытали то, что испытывал он... Кто-то, наверно, скажет, что добился он этого своим мастерством. Я же лично думаю, что эта знаменитая пушкинская аллитерация родилась произвольно, бессознательно... Родилась именно потому,

что в момент создания тех строк он услышал вот это шипенье пенистых бокалов и ощутил вкус пунша на своих губах...

В одном из разговоров на эту вечную тему (есть ли ясная граница между «вдохновением», то есть образом или аллитерацией, рожденными интуитивно, и – мастерством?), желая ему «подыграть», я вспомнил недавно прочитанную мною статью А. Горнфельда «Художественное слово и научная цифра». Автор этой статьи весьма остроумно разоблачил «научные» попытки Андрея Белого препарировать «инструментовку» стиха в единстве с его содержанием – например, у Блока. Он (Белый) подсчитал, сколько раз у Блока встречается сочетание фонем «РДТ» – и вот какой сделал из этого подсчета вывод:

РДТ выражает собою прорыв самосознания Блока к духовному центру чрез застывшие льдины страстей; в РДТ форма Блока запечатлела трагедию своего содержания: трагедию отречения, Трагедию Трезвости.

Прочитав это глубокомысленное рассуждение, Горнфельд дал волю своей иронии:

Вот что, при желании сварить щи из топора, можно выжать из нескольких Т, нескольких Р и нескольких Д; вот как легко при посредстве сих заманчивых звуков переходить от Трезвости к Трактирной стойке и обратно, отождествляя их в словесной Трескотне, тоже выдаваемой за Трагедию.

(А.Г. Горнфельд. Боевые отклики на мирные темы. Л., 1924. С. 131)

– Да все это, конечно, чепуха, – сказал Маршак, отсмеявшись. – Что касается Андрея Белого и этой его «глоссолялии», – всё это, конечно, чушь... Но вы знаете, я ведь тоже однажды занялся подсчетом одних и тех же фонем... У Пушкина... Вы помните, конечно, эти строки...

И он прочел:

О, как милее ты, смиренница моя,
О, как мучительней тобою счастлив я,

Когда, склоняясь на долгие моления,
Ты предаешься мне, нежна, без упоенья,
Стыдливо холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему...

Еще бы я их не знал! Но что же можно было тут подсчитывать?
Угадав мое удивление, Маршак продолжал:

– Да, да, представьте... Подсчитал, сколько раз встречается в
этих шести строчках «Л» и «М». Получилось – девять «Л» и де-
сять «М»... Это, конечно, не могло быть простой случайностью...

Я в изумлении молчал: неужели Маршак тоже – как Андрей
Белый, которого так блистательно высмеял Горнфельд, – счи-
тает, что Пушкин обдуманно «инструментовал» свой стих вот
этими нарочно подобранными фонемами?

– И знаете, голубчик, – продолжал Маршак, – к какому вы-
воду я пришел?.. Все дело тут в слове «милый», «милее»... Об-
ратите внимание, ведь именно с него начинается весь этот от-
рывок: «О, как милее ты, смиренница моя...» Слово это было –
одним из самых любимых у Пушкина... Вспомните!

И мы вдвоем, наперебой, стали вспоминать:

И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил...

Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела...

Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов..

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать...

... И наведем поля пустые,
Леса недавно столь густые,
И берег, милый для меня...

Тут же, между прочим, выяснилось, что и во всех этих (и множестве других, которые мы тогда вспомнили) примерах слово «милый» тоже потянуло за собой близкие по звучанию: «лепетаньем», «умела», «могилой», «мысленно»... – всё те же «М» и «Л».

Это наблюдение Маршака и некоторые из этих тогдашних его примеров я нашел потом в его статье «О звучании слова». (В его книге «Воспитание словом», на подаренном мне экземпляре которой, присланном из Ялты, он написал: «Дорогому Бенедикту Михайловичу – на память о наших поэтических пирах и беседах...») Но когда я ее читал, мне показалось, что говорил он ярче, чем написал. И, пожалуй, убедительнее. Может быть, тогда на меня действовало обаяние его живого голоса и ощущение импровизации, прямо на моих глазах рождающейся мысли, всегда выгодно отличающейся от написанного, а тем более печатного текста. А может быть, тут сказалась просто сила, яркость первого впечатления.

Но другое его наблюдение из той статьи показалось мне таким замечательным, что я не могу удержаться, чтобы не привести его здесь. Уж очень яркий свет бросает оно на эти тогдашние наши разговоры:

Читая «Графа Нулина», известные и опытные актеры так мало обращали внимания на совершенно явную и очевидную неслучайность повторения звука «л» в лирическом отступлении поэмы.

То «л», – то мягкое, звучное «ль», то более твердое и глухое «л» – как бы врывается в стих вместе с долгожданным колокольчиком, о котором говорится в поэме.

Казалось, снег идти хотел...
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальний
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!

Вот ближе, ближе... Сердце бьется...
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Это, несомненно, тот самый колокольчик, которого поэт так нетерпеливо ждал в уединении, в ссылке, в своей «ветхой лачужке».

Громко, залиvisto звенит колокольчик в строке, где мягкое «л» повторяется трижды:

Как сильно колокольчик дальный...

И совсем слабо, глухо, как-то отдаленно звучат последние «л» в заключительной строчке лирического отступления:

Слабей... и смолкнул за горой.

*(С. Мафшак. Воспитание словом.
М., 1961. С. 145–46)*

Пушкин – главная и неизменная его поэтическая любовь – пленял его именно вот этой естественностью, этой интуитивно, непроизвольно рождающейся и потому неуловимой, незаметной, но так магически действующей на наш слух «инструментовкой» своей поэтической речи.

Но как же тогда Хлебников?

Хлебников, с его причудливым словотворчеством («О, расмейся засмеяльно, смех усмейных смеячей...»), с его зауемью («Бобэоби пелись губы, взэоми пелись взоры, пизэо пелись брови...»), с его палиндромами («Кони, топот, инок, но не речь, а черен он...»).

Как уживалась в его сознании любовь к этому чуду естественности – Пушкину – с такой же искренней и нежной любовью к искусному и так далеко ушедшему от пушкинской ясности и прозрачности речетворцу Хлебникову?

5

Кинув Вале Берестову эту свою загадочную реплику («Наша беда, голубчик, что мы с вами люди способные») и тут же разъ-

яснив ее (способности – отнюдь не свойство поэтического дара, скорее – нечто ему противоположное, мешающее ему проявиться), он добавил, что люди, наделенные поэтическим талантом и в то же время способные, встречаются довольно часто; люди способные, но лишенные поэтического дара – еще чаще; а вот поэты, дар которых не замутнен, не искажен способностями, – поэтическая одаренность, явленная нам, так сказать, в чистом виде, без всяких чужеродных примесей, – встречается чрезвычайно редко. И именно вот таким чудом, – закончил он, – был Хлебников. И, подумав, добавил, что таким же, наверно, был и Блейк. Он, как и Хлебников, жил только поэзией, только внутренней, духовной жизнью.

Вот, например, была с ним (Хлебниковым, а не Блейком) такая история.

Во время одного из его скитаний какие-то доброжелатели поселили его в маленькой районной больничке – в дежурке, куда почти никто никогда не заходил. И он там целыми днями сидел и писал. Иногда забегала какая-нибудь медсестра, брала, что ей было нужно из медикаментов, и убегала. Хлебников не обращал на это внимания: сидел, писал. Но потом фельдшер той больницы приспособил эту дежурку для своих любовных свиданий с медсестрами. На странного чудака, сидящего в углу и поглощенного каким-то своим делом, они научились не обращать внимания: сразу видно было, что ему не до них. И они постепенно привыкли заниматься там своими любовными играми, не считаясь с присутствием постороннего человека. Как далеко заходили они в этих своих развлечениях, Маршак не уточнял. Но по голосу рассказчика, по самой тональности его рассказа можно было понять, что заходили довольно далеко. А Хлебников, как ни в чем не бывало, по-прежнему продолжал покрывать своими каракулями клочки бумаги. А потом они у него пропадали, он их терял. Но ему гораздо важнее было написать, чем сохранить написанное.

После этого разговора про Хлебникова я стал лучше понимать природу отношения С.Я. к моему другу Эмке.

К Маршаку Эмку привел я, предварительно много разных разностей про него порассказав Самуилу Яковлевичу. Так что к встрече с этим чудом природы С.Я. в какой-то мере был го-

тов. Но такой бурной химической реакции, какая в результате этой встречи произошла, я не ожидал. Они буквально влюбились друг в друга, и я – и в тот день первого знакомства, и во все последующие наши встречи втроем – сразу был оттеснен на второй план.

Отчасти это случилось потому, что мои встречи и беседы с Маршаком – даже когда приходил к нему не один, а, скажем, с Валей Берестовым или тогдашним моим дружкой и соавтором Стасиком Рассадиным, были беседами учителя с учениками. Мы все смотрели ему в рот, слушали его, как правило, поддакивали, иногда – очень редко – задавали вопросы, в которых он мог услышать тень сомнения в безусловной его правоте. Но всё это не выходило за рамки раз навсегда твердо установившихся отношений учителя с учениками.

Эмка в своих отношениях с С.Я. сразу взял другой тон. Он говорил с ним как равный с равным. И Маршак этот нахальный тон сразу принял. Вероятно, потому, что сразу почувствовал в этом новом своем госте полного своего единомышленника.

Я уже говорил, что мне тогда показалось, что сошлись они на нелюбви к модернизму. Я б даже сказал – ко всей поэзии Серебряного века. (Исключение делалось для Блока и Ахматовой.) Но после того разговора о Хлебникове я понял, что сразу проявившаяся влюбленность С.Я. в моего друга Эмку имела совсем другую, гораздо более прочную основу.

Помню, однажды был у меня забавный разговор на эту тему с Борей Слуцким. Борис – в соответствии с традициями своего учителя Маяковского – и в самом облике своем, и в манере одеваться, и даже в манере чтения – всячески подчеркивал свою непринадлежность к поэтическому и даже – шире – к писательскому цеху. У него на сей случай была даже припасена такая словесная формула:

– Я, – любил он повторять, – в отличие от всех вас никогда не жалею о отсутствии денег. А денег мне всегда хватает, потому что зарабатываю я как писатель, а живу как читатель.

И вот однажды я заговорил с Борисом о том, что поэт – это, что ни говори, все-таки – особое существо, не похожее на простого смертного. Развивая эту тему, я сказал, что видел на своем веку не так уж мало настоящих поэтов, но самое сильное

впечатление в этом смысле на меня произвел еврейский поэт Самуил Галкин. При общении с ним сразу чувствовалось, что он – из той редкой человеческой породы, о которой Блок сказал:

Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, –
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

Борис выслушал меня и, как это часто у него бывало, – так, что сразу и не поймешь, серьезно он говорит или издевается, возразил:

– Ну почему! В плане общей поцоватости Мандель, я думаю, и сму тоже даст два очка вперед.

Насчет «поцоватости» (я, москвич, в отличие от харьковчанина Бориса, сказал бы – «мудаковатости») – это, конечно, был юмор. Но – что правда, то правда! – из толпы людей обыкновенных (тех, кого Борис называл читателями) Мандель выделялся даже резче, чем Пастернак.

Когда я увидел его впервые (это было еще до его ареста), он ходил в длинной шинели (это, впрочем, тогда, в 45-м, никого не удивляло) и в красноармейском, «буденновском» шлеме (это в 45-м выглядело уже довольно экстравагантно). А на ногах у него были валенки. Валенки эти сильно поизносились; во всяком случае, подметки их были совсем худые. Поэтому, уже не доверяя прохудившимся подметкам, он продвинул каждый валенок вперед, превратив в подметку переднюю часть голенища. Ну а потом, по мере того как и голенище тоже изнашивалось, он продвигал валенок все дальше и дальше вперед, превращая в подметку уже следующую, еще не успевшую прохудиться часть голенища.

И в более поздние, уже сравнительно благополучные времена, уже став членом Союза писателей, одевался он в высшей степени оригинально. Не потому, что стремился к оригинальности, а потому, что никогда ничего себе не покупал: носил то, что ему дарили. Однажды явился ко мне в каком-то странном черном полушубке из искусственного меха. Довольно-таки плотная, я бы даже сказал, полноватая фигура его в этом

странном одеянии стала совсем уже шарообразной. Оказалось, что полушубок этот ему достался от Маршаков: то ли от Элика (сына Самуила Яковлевича), то ли от внука С.Я. – Саши. Оглядев его («А ну, поворотись-ка, сынку!»), я решительно высказался в том смысле, что ему этот полушубок носить ни в коем случае нельзя, поскольку он придает его облику не просто карикатурный, а какой-то совсем уже нарочитый, прямо-таки клоунский вид.

– Все будут думать, что ты сбежал то ли из цирка, то ли из психушки, – сказал я. – Но дело даже не в этом: никто ведь не поверит, что ты так вырядился случайно: решат, что это какой-то особый, извращенный вид франтовства.

– А-а, – махнул он рукой, – мне и так уже разные люди говорят, что я играю свой образ.

На самом деле никого он, конечно, не играл. Да и сыграть такой образ не всякому актеру было бы под силу.

Один, впрочем, попытался.

Когда на сцене Театра имени Станиславского шла Эмкина пьеса «Однажды в двадцатом», главную роль – старого профессора, историка, которого своим учителем считали и красный комиссар, и белый офицер из интеллигентов, и предводитель банды анархистов (тоже деклассированный интеллигент), – блистательно играл Евгений Леонов. Играл он его откровенно «под Коржавина», используя некоторое свое с ним сходство. И когда после финальной сцены они вдвоем выходили кланяться, зал умирал от хохота.

Это, как я уже сказал, было время относительного его материального благополучия. И ходил он уже не в шинели и валенках. А герой его пьесы (действие-то ее происходило «однажды в двадцатом») был одет примерно так, как сам Мандель одевался в те давние свои литинститутские годы. Но эта разница была совершенно не заметна: и в самом парадном своем костюме, в каком он выходил на сцену кланяться, Эмка выглядел таким же безытным бомжом, как и его герой, деклассированный профессор.

Однажды сидели мы с заглянувшим ко мне на огонек Женей Винокуровым. О чем-то увлеченно разговаривали. Поминутно звонил телефон, я поневоле отвлекался от темы и сюжета

нашей беседы, Женю это раздражало, и поэтому я старался каждый новый телефонный разговор сводить к двум-трем коротким извиняющимся фразам. Но одним из звонивших оказался Эмка, и ситуация, по поводу которой он мне звонил, была настолько экстраординарна, что разговор с ним сильно затянулся. Женька недоумевал: что это за такой важный разговор, который у меня нет силы прервать? Особенно изумляли – я видел это по его лицу – слова, которые мне в том разговоре приходилось произносить: «ЗИЛ», «Ока», «Саратов»... Когда важный разговор с Эмкой мне наконец удалось закончить, Женька не смог удержаться от вопроса:

– Кто это?

Я сказал:

– Мандель... Понимаешь, какая штука, он покупает холодильник...

Женька прямо задохнулся от хохота:

– Что?.. Мандель?.. Мандель покупает холодильник?!

А отсмеявшись, он вдруг погрузнел. И я его понял. Мандель, покупающий холодильник, – это и в самом деле был некий символ, обозначивший конец великой эпохи, торжество презренной прозы над поэзией. Последний «дервиш-урус», последний потомок Хлебникова становился добропорядочным членом общества, неотличимым от всех нас, простых смертных.

Забегая вперед, должен, однако, сказать, что собственный холодильник Манделя не изменил – как не изменил его членский билет Союза писателей и диплом об окончании Литературного института, которого он в конце концов – через четырнадцать, кажется, лет после поступления на первый курс – все-таки был удостоен.

Да что холодильник, диплом и членская книжка Союза писателей, если даже тюрьма и ссылка не научили нашего Эмку уму-разуму – не укоротили его язык.

Не могу удержаться, чтобы не проиллюстрировать это последнее обстоятельство хоть одной из великого множества вспомнившихся мне сейчас историй.

Станислав (для всех нас – Стасик) Рассадин был самым молодым в нашей компании. Сейчас эта разница уже почти неза-

метна, а тогда она казалась огромной. С легкой руки Бори Балтера – самого старшего из нас – мы прозвали Стасика «Малолеткой». Он принял это прозвище с радостным хохотом: ирония, заключавшаяся в нем, не подчеркивала, а скорее смягчала разницу в возрасте между ним и нами.

Разница эта, впрочем, его ничуть не тяготила. Он легко и быстро сходилась «на ты» с людьми, годившимися ему в отцы. Познакомившись с Марком Галлаем, сразу стал – как и мы все – называть его не Марком Лазаревичем, а запросто – Марком. Слегка шокированный Марк попытался деликатно намекнуть ему на несообразность такого обращения, несколько раз подчеркнуто назвав его Станиславом Борисовичем. Но Стасик, не поняв намека, отреагировал легко и непринужденно:

– Ну что вы, Марк! Зовите меня просто Стасик.

Но это все было позже. А на первых порах Стасик глядел на всех нас снизу вверх. Не потому, что мы были старше, а лишь по той единственной причине, что только что минувшую легендарную эпоху все мы застали взрослыми людьми, а он тогда был еще ребенком. Рассказы наши о том, как оно там – тогда! – бывало, он слушал, раскрыв рот. Особенно, когда говорить начинал Эмка.

Как я уже не раз упоминал, так называла в те времена нашего друга Манделя вся литературная – да и не только литературная – Москва. Немудрено, что так же – сразу, как только я их познакомил, – стал его называть и Стасик. В отличие от Марка Галлая, Эмку это Стасиково амикошонство нисколько не шокировало: он и сам не признавал никакой другой субординации, кроме субординации таланта. Ну а уж эту субординацию Стасик чувствовал прекрасно. Он обладал счастливым даром: умел влюбляться в талант. И в Эмку влюбился сразу. И на всю жизнь.

Но Эмка, помимо несомненной своей поэтической одаренности и яркой человеческой незаурядности, обладал еще одним качеством, отличавшим его от нас. Он гораздо раньше, чем все мы, понял природу сталинщины. Мудрено ли, что во всем, что касалось оценки самых разных обстоятельств только что завершившейся «сталинской эпохи», Эмка был для Стасика самым высшим, непререкаемым авторитетом. И его речам он внимал, разинув рот уже не метафорически, а – буквально.

И вот однажды мы втроем – Эмка, Стасик и я – решили пойти в ресторан.

Ресторан назывался – «Нарва». Это был заштатный, плохонький ресторанчик на Самотеке, рядом с «Литгазетой», где мы со Стасиком тогда работали. Когда отвратная еда литгазетовского буфета становилась нам совсем уж неведомой, мы, бывало, зааживали пообедать в «Нарву». Так что посещение этого злчного места событием для нас не было. Хотя – как сказать! Ведь в этот раз мы решили пойти туда не для того, чтобы наскоро пообедать, а чтобы – **посидеть**. А такое в тогдашней нашей жизни случалось нечасто. Может быть, именно поэтому у нас (во всяком случае – у меня) насчет вечернего времяпрепровождения в ресторане (пусть даже таком затрапезном как наша «Нарва») существовало множество предрассудков. Главным из них было убеждение, что под каждым ресторанным столиком находится звукозаписывающее устройство. (После смерти Сталина прошло уже семь лет, но души наши, заледеневшие в сталинской «полярной преисподней», только еще начинали оттаивать.)

Но Эмка – человек не от мира сего. Стасик – несмышлениш-малолетка. Поэтому роль ответственного за политическую сторону предстоящего мероприятия взял на себя я.

– Только вот что, ребята, – сказал я. – Уж пожалуйста: что-бы никаких разговоров на политические темы. Вы меня поняли?

Друзья заверили меня, что да, конечно, поняли, и клятвенно пообещали, что никаких политических разговоров в ресторане вести не будут. Но это была, как выражаются герои Дюма, клятва игрока. Не успели мы выпить по первой рюмке, как разговор – я даже и не заметил, как это произошло, – соскользнул на убийство Кирова.

На эту скользкую тему говорить тогда уже не стеснялись: дело ведь происходило уже после знаменитого закрытого доклада Хрущева, где на причастность Сталина к роковому убийству было намекнуто довольно-таки прозрачно. Не стеснялись даже повторять пущенную кем-то и сразу ставшую популярной частушку:

Эх, огурчики,
Помидорчики!
Сталин Кирова убил
В коридорчике.

Но – не в ресторане же!

Впрочем, сама тема эта – при всех моих страхах – даже и в ресторане не показалась мне особо опасной. Сталина нам как бы уже отдали, так что с ним можно было не церемониться. Но со Сталина разговор быстро перекинулся на второе действующее лицо давнишней драмы.

– А вот Киров? – спросил любознательный Стасик. – Говорят, он был хороший человек. Это правда?

Вопрос, понятное дело, был обращен к Эмке. А выражение Эмкиного лица не оставляло ни малейших сомнений насчет того, каким будет его ответ.

– Да, это правда, – быстро перехватил я инициативу. – Он был очень хороший человек.

Но Эмка не склонен был считать тему исчерпанной.

– Как тебе сказать... – начал он.

– Эма! – глядя на него в упор, я металлическим голосом повторил: – Киров. Был. Очень. Хороший. Человек.

Такой реакции с моей стороны Эмка явно не ожидал. На лице его отразилась сложная гамма чувств: сперва недоумение, потом яростное желание ринуться в спор. Но тут ему, кажется, показалось, что он уловил тайный смысл моего загадочно-го высказывания.

– Да, конечно, – вдруг согласился он. – В этой банде...

Как это ни смешно, но Эмка тоже – как и мы со Стасиком и нашим другом, соавтором и начальником Лазарем Лазаревым, – работал тогда в «Литературной газете». Он, правда, в отличие от нас троих не был штатным сотрудником газеты: он отвечал на письма читателей. Но на этой своей должности был утвержден (вместе с двумя другими внештатниками, выполнявшими те же обязанности, – Борисом Балтером и Владимиром Максимовым) редколлегией. Будущий редактор «Континента» Володя Максимов и будущий автор повести «До сви-

дания, мальчишки!» Боря Балтер появлялись в газете, как подобает внештатникам, примерно раз в неделю, чтобы принести очередную порцию своих ответов и забрать следующую. А Эмка ходил в редакцию каждый день как на работу: читал нам вслух самые удачные свои ответы графоманам, которые он писал крупными детскими каракулями на отдельных клочках бумаги, а потом подклеивал эти клочки друг к другу, так что каждое его послание превращалось в этакую длинную бумажную простыню.

Среди наших внештатников, отвечавших на письма (а их за время моей работы в «ЛГ» поменялось немало) были всякие: квалифицированные – и не очень, добросовестные и откровенные халтурщики. Но второго такого, как Мандель, мне встретить не удалось. И дело тут было совсем не в том, что он был умнее и талантливее других (хотя и это тоже сразу бросалось в глаза). Главное его отличие от всех – даже самых незаурядных – его коллег состояло в том, что каждый его ответ был, что называется, штучным изделием. Ни в одном своем письме он ни разу не повторил мысль (я уж не говорю – словесную формулу), уже промелькнувшую в его ответе другому адресату. И опять-таки дело тут был не в изобилии имевшихся у него в запасе мыслей и не в какой-нибудь особой его эрудиции. Просто за каждым письмом, на которое ему предстояло ответить, он видел определенного, конкретного человека. И отвечал именно ему.

Один из его ответов так меня восхитил, что я даже воспользовался им, придумывая (годы спустя) название для одной своей книжечки.

История была такая.

Однажды вдвоем с Галей Корниловой (первой женой моего друга Володи Корнилова) мы нанесли визит Ахматовой. Благодаря Володе, которого Анна Андреевна привечала, Галя была к ней вхожа, поэтому визит наш был не совсем официальным.

Анна Андреевна дивным, виолончельным своим голосом прочла нам десятка полтора стихотворений, и примерно столько же мы унесли с собой в машинописном виде. (В машинописном-то машинописном, но каждое стихотворение было

на отдельном листке, на котором красовалась ее подпись, начинавшаяся знаменитым перечеркнутым поперечной чертой маленьким «а». Для редакции я эти стихи собственноручно перепечатал. А листки с ахматовской подписью оставил себе, и, несмотря на то что я всегда инстинктивно следовал заповеди Пастернака («Не надо заводить архива...»), они каким-то чудом у меня сохранились. Так же, как в тот же день щедро подаренный мне Анной Андреевной машинописный экземпляр одного из вариантов (на тот момент, вероятно, последнего) «Поэмы без героя».

Этот мой с Галей (увы, единственный) визит к Ахматовой оказался не напрасным: несколько стихотворений из врученной нам пачки нам удалось напечатать. И среди них – сразу наделавшее некоторый шумок и впоследствии ставшее знаменитым – «И в памяти черной, пошарив, найдешь...»

Шумок вызвали последние строки этого стихотворения:

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок –
Трагический тенор эпохи.

Последней строкой были шокированы даже некоторые пламенные поклонники Ахматовой. Собственно, даже не строкой, а одним ее словом: они не могли смириться с тем, что Блока она посмела назвать хоть и трагическим, но – тенором. В слове этом им чудилось (и может быть, не без некоторых к тому оснований) нечто уничижительное. Может быть, даже ирония, насмешка: «душка-тенор».

Но то – поклонники. А рядовой, что называется, массовый читатель обрушился на этот ахматовский цикл с унтер-пришибеевских, ждановских позиций: зачем, мол, вообще нашей советской газете было публиковать эти декадентские, упадочнические стишки.

Однако одного из этих выпестованных нами унтеров Пришибеевых тоже почему-то особенно задело именно вот это ахматовское стихотворение.

Конечно, выражал он эту свою задетость по-своему, на при-

сущем ему языке. Писал, что глубоко возмущен тем, что в стихотворении Ахматовой «искажен образ великого русского поэта Александра Блока». Искажение же это состояло в том, что Блок, по его глубокому убеждению, **не мог улыбаться презрительно**. «Нет! – гневно восклицал он. – Не так улыбался наш великий поэт!»

Мандель ответил этому бдительному читателю, что Блок, как и всякий живой человек, мог улыбаться по-разному, в том числе и презрительно. И что ничего обидного для Блока в этой строчке Ахматовой нет.

Нечто похожее этому читателю мог бы написать любой из наших – штатных или внештатных – литконсультантов. Но последнюю, завершающую фразу мог написать только он, Мандель, за каждым читательским письмом видевший автора, заслуживающего именно вот такого, а не другого какого-нибудь ответа.

Вот какой она была эта его заключительная фраза:

Как бы то ни было, следует все-таки признать, что Блок улыбался ей, а не Вам.

Я уже говорил, что свои ответы на письма читателей Мандель писал на отдельных клочках бумаги, а потом подклеивал эти клочки друг к другу, так что каждый такой ответ превращался в длинную бумажную ленту.

Так же выглядели и все новые его стихи.

Эти свои бумажные «простыни» он постоянно терял, а потом они обнаруживались в самых неожиданных местах, что было по тогдашним временам не вполне безопасно. (Стихи Манделя, как правило, совсем не предназначались для постороннего глаза.)

Ответы на письма читателей перепечатывала – первый экземпляр на бланке – секретарь нашего отдела Инна Ивановна. Так что они сохранились для потомства (вторые экземпляры, может быть, и сейчас хранятся в каких-нибудь литгазетских архивах). Во всяком случае, судьба Эмкиных ответов, какими бы замечательными они ни были, не больно меня беспокоила. А вот судьба его стихов особого спокойствия не внушала. Конечно, до поры до времени он их – думаю, что все, начиная с са-

мых ранних – помнил наизусть. Но память – штука ненадежная, и время от времени я у него спрашивал, переписаны ли (или перепечатаны) его стихи надлежащим образом, и говорил, что мне хотелось бы на них взглянуть. Отвечал он на эти вопросы уклончиво. А между тем мой интерес к его рукописям был отнюдь не праздным.

В то время мы постоянно говорили о том, что надо бы нам с ним наконец составить его книжку и отдать ее в издательство. («Советский писатель», конечно.) Но эти наши разговоры так и оставались разговорами, наподобие тех, которые вел Манилов с Чичиковым.

До поры до времени я так к ним и относился, как к мечтам Манилова о том, что хорошо бы от дома провести неведомо куда подземный ход, а через пруд выстроить мост, «и тогда Государь сделает нас генералами».

Но в какой-то момент я понял: сейчас или никогда.

Смерть Сталина и хрущевская оттепель, начавшаяся XX съездом, открыли некую щель в непроницаемой железной стене, защищающей чистоту и непогрешимость официальной советской литературы, и сквозь эту щель ворвалась – сперва в нашу поэзию, а потом и в прозу – целая плеяда новых имен. Это были те, кого потом не слишком удачно назовут шестидесятниками: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, Гладilin, Войнович, Владимов. В этом потоке молодых были и люди иного возраста, начинавшие раньше, но проникнуть на страницы официальной печати сумевшие лишь теперь: Слуцкий, Самойлов, Домбровский, ну и, наконец, Солженицын.

У Эмки, при всей неординарности его фигуры, появились вполне реальные шансы тоже покончить наконец с «самиздатским» периодом своего литературного бытия. Но медлить с этим было опасно: приоткрытая Хрущевым «дверь в железной стене» могла захлопнуться в любой момент.

Опасность такая была и раньше. Хрущева постоянно мотало из стороны в сторону: то он говорил про Сталина, что «черного кобеля не отмоешь добела», то вдруг заявлял, что в некоторых вопросах (в области идеологии, например) остается верным учеником и продолжателем дела Сталина. Но размах

этого маятника, что ни день, становился все круче и к концу 62-го года (встреча в Манеже) стал уже совсем угрожающим.

В общем, чуя обстановку, я в один прекрасный момент сказал Эмке, что тянуть больше нельзя. Пусть принесет мне все свои стихи, и мы наконец сядем за составление его будущей книжки.

И тут он признался, что своих стихов – не то что в перепечатанном, а даже просто от руки записанном виде у него нет.

Представляете?

У Хлебникова, как мы знаем по воспоминаниям современников, была наволочка от подушки, в которую он записывал клочки бумаги со своими стихотворными текстами. А у этого обормота даже наволочки – и той не было. То есть «в плане общей поцоватости», как выразился Боря Слуцкий, он переплюнул даже самого Хлебникова.

– Что же мы будем делать? – растерянно спросил я.

– Я позвоню Цалкину, – сказал он, – договорюсь. И на днях мы с тобой к нему сходим...

Я, естественно, понятия не имел, кто такой Цалкин и чем он может нам помочь.

Эмка объяснил, что Цалкин – его приятель, биолог. Очень, кстати, интересный человек. Этот Цалкин – давний его поклонник. И у него есть все его, Эмкины, стихи. Так что я могу не волноваться, всё будет в порядке.

Цалкин оказался очень милым пожилым человеком (лет на двадцать старше меня и Эмки). Он угостил нас чудесным цейлонским чаем и удовлетворил мое любопытство по поводу непотопляемости «народного академика» Лысенко. Я спросил его: почему никто не решается разоблачить этого жулика даже теперь, когда уже труп Сталина выкинули из Мавзолея? Он ответил:

– Понимаете, какая штука: наше сельское хозяйство находится в таком ужасающем состоянии, что спасти его может только чудо. А Лысенко – поставщик чудес. Представьте. Приглашают на совет серьезных ученых, спрашивают: что делать? Они говорят: то-то и то-то. И через десять-двадцать лет урожайность повысится на два-три процента. А Лысенко говорит: надо сажать квадратно-гнездовым способом, и на следующий же год урожайность вырастет втрое.

Эмкины стихи этот милый человек действительно собирал и хранил, и узнав, для чего они понадобились, отдал их нам без колебаний. И Эмкина книжка была составлена, отдана в издательство и в конце концов (не без некоторых приключений, рассказ о которых еще больше затянул бы мое повествование) увидела свет.

Все это сильно затянувшееся отступление понадобилось мне для того, чтобы объяснить и подтвердить уже сказанное: Маршак сразу принял Эмку и полюбил его, потому что почувал в нем вот это его кровное родство с Хлебниковым. Родство не по приверженности к тем или иным стиховым формам, а по единственно возможному для него способу существования.

Сам Маршак ведь тоже (каким парадоксом это бы ни казалось) был с Хлебниковым в довольно близком родстве. Разве не сродни хлебниковскому способу существованию было это его равнодушие ко всем внешним формам бытия: эта холодная неуютная квартира, эта его способность начисто забыть про необходимость время от времени обедать и ужинать. Не знаю, каким он был в молодости, но в ту пору, когда я его узнал, у него было, как мне казалось, только одно желание: писать стихи, читать стихи, думать о стихах, говорить о стихах. Если и были у него какие-то другие желания, значит, они сгорели в огне этой единственной его настоящей, всепоглощающей страсти.

Но стихи – и это, пожалуй, самое главное – были для него важны не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они были выражением (и отражением) его духовной, внутренней жизни. (Но настоящие стихи ведь только такими и бывают.)

Тут мне вспоминается такая история.

Один молодой поэт обратился к Б.Л. Пастернаку с просьбой прочесть и оценить его поэтические опыты.

На эту скромную и, казалось бы, такую естественную просьбу Борис Леонидович с некоторым – не совсем даже понятным – раздражением ответил, что тот обратился к нему **не по адресу**:

Когда мои читатели и почитатели обращаются ко мне с просьбами, подобными Вашей, я с сожалением или раздражением устанавливаю, что, значит, они в недостаточной степени читатели и почитатели мои, потому что не поняли во мне глав-

ного: что я «стихов вообще» не люблю, в поэзии, как ее принято понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области...

Если Вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных, это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношение между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают. Это мир мне полярный и враждебный...

Я просмотрел то, что Вы мне передали. Бог и природа не обидели Вас. Ваша тяга к художественному выражению не заблуждение. Некоторые попытки Вам удались... Больше ничего я на эту тему сказать не могу, не потому, что Вы недостаточно одарены, а потому, что вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности и прочая и прочая, — знахарство и алхимия. Вы напрасно (и это меня удивляет) обратились ко мне. Обратитесь к алхимикам. Их множество.

(Борис Пастернак. Собр. соч., т. 5. С. 542—544)

Маршак, конечно, ничего подобного молодому поэту бы не написал. Но отношение его к природе поэтического творчества, к самому ее существу было вот именно таким.

Казалось бы, из того, что я сказал о его единственной страсти – постоянном желании читать стихи, писать стихи, думать о стихах, говорить о стихах – прямо вытекает, что он – весь, со всеми потрохами – принадлежит к тому ненавистному Пастернаку – миру, «в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают». Но эту раздраженную реплику Бориса Леонидовича по-настоящему можно понять, только поставив ее рядом с другой репликой из этого же его письма: «...вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности и прочая и прочая, – знахарство и алхимия».

Знахарем и алхимиком Маршак не был. Знахарство и алхимию презирал. Над людьми, которые «смакуют и ценят» стихи – издевался. («Так евнух знает свой гарем, не зная наслаждения».) А главное – лучше, чем кто другой, он знал, что к писанию настоящих стихов «приводят» отнюдь не способности. Способности этому скорее мешают.

Но главное даже не это. Независимо от того, формулировал он это так для себя или нет, отношение его к стихам, представление о том, как, почему, зачем и для чего они пишутся, у него было совершенно такое же, как у Пастернака. Суть же этого представления в том, что главное – это та внутренняя, духовная жизнь, которой живет поэт, а стихи – это только отражение этой его духовной жизни, только следы, остающиеся от его блужданий по никем до него не хоженным тропам.

Именно поэтому и почуял он в Манделе родную душу. Именно потому, что та напряженная внутренняя жизнь, отражением и выражением которой были его стихи, была для Мандела важнее исписанных его каракулями случайных клочков бумаги, которые он постоянно терял, – именно вот поэтому он сразу стал Маршаку ближе всех нас, для кого важен был как раз результат, так сказать, побочный продукт этой его духовной жизни, то есть сами стихи.

Как я уже сказал, поначалу мне казалось, что сблизило их свойственное им обоим резкое неприятие модернизма.

Да, то, что принято было тогда обозначать этим словом, оба они не любили. Но эта их неприязнь к модернизму на самом деле была всего лишь частным случаем другой, гораздо в большей степени характеризующей их неприязни. Это была неприязнь – нет, тут нужно более сильное слово! – это было отвращение к существовавшему и в прежние времена (вспомним живопись Вронского), но в наш век особенно распространившемуся явлению, которое один мой добрый знакомый (Михаил Давыдович Вольпин) на редкость метко обозначал придуманным им словечком: **псевдѣж**.

Стихи Евтушенко и Вознесенского раздражали его не тем, что они выбрали себе не тех учителей, не те образцы для подражания (один – «байстрюка» Маяковского, другой – неистовую, еще дальше, чем Маяковский, пошедшую по пути разрушения классического стиха Цветаеву). Раздражали и отвращали они его тем, что нагляднее, чем все другие стихи тогдашних молодых поэтов, являли собой не результат, не «побочный продукт» внутренней, духовной жизни автора, а откровенную и даже демонстративную **имитацию** этой духовной жизни.

В этом Маршак с Манделем сразу сошлись, и Эмка, не без оснований, всегда считал Самуила Яковлевича и тут полным своим единомышленником. Тем сильнее было его разочарование, когда С.Я вдруг изменил этой их общей платформе.

* * *

Однажды, когда во время очередного нашего визита к Маршаку у нас зашла речь на эту тему, С.Я. сказал, что огромный успех Евтушенко и Вознесенского нельзя игнорировать. Во всяком случае, нельзя с ним не считаться. Успех не бывает случайным. Если встречи этих молодых поэтов с читателями не обходятся без конной милиции, значит, для кого-то их стихи – хлеб насущный.

Я сказал, что потребность в этих стихах у читателей, конечно, подлинная. Но это потребность не в поэзии, а в чем-то другом. В том прикосновении (пусть только прикосновении, «по касательной», но все-таки прикосновении) к правде, по которой читатель так стосковался.

Напомнил только что явившиеся тогда на свет строки Твардовского:

Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка.

С этими строчками, кстати, вышла у меня тогда довольно неприятная история.

Я процитировал их в той самой моей статье о Евтушенко и Вознесенском («Если забыть о часовой стрелке...»), о которой не раз уже упоминал на этих страницах.

А контекст, в котором у меня была приведена там эта цитата, был такой:

Поэзия перестала быть тем, чем она была всегда, – чутким барометром, безошибочно отзывающимся на малейшие изменения общественного «атмосферного давления». В жизни бывали дожди, туманы, ветры, случались и штормы. А ртуть барометра словно приклеилась к слову «ясно».

И вдруг... ртуть дрогнула и поползла:

Дрова как будто и сухи,
Да не играет печка,
Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка...
.....
И устаю от той игры,
От горького секрета,
Как будто еду до поры
В вагоне без билета...

– вырвалось у Твардовского.

Твардовский на этот мой пассаж смертельно обиделся.

Обиделся он, как мне передавали, на слово «вырвалось». Но, по правде говоря, основания для обиды у него были более серьезные. И дело тут было отнюдь не только в этом показавшемся ему обидным словечке.

В стихах его, которые я цитировал, речь шла о том, как велика разница между ловко сложенными, мастеровитыми стихотворными строчками и – настоящими стихами, как трудно вытащить из себя, претворить в стихотворные строки **правду своей души**:

Не много надобно труда,
Уменья и отваги,
Чтоб строчки в рифму, хоть куда,
Составить на бумаге.

То в виде елочки густой,
Хотя и однобокой,
То в виде лесенки крутой,
Хотя и невысокой.

Но бьешься, бьешься так и сяк –
Им не сойти с бумаги.
Как говорит старик Маршак:
– Голубчик, мало тяги...

От этого маршаковского «мало тяги» и родился образ, легший в основу процитированного мною четверостишия: «Дрова как будто и сухи, да не играет печка...»

А вторая строфа в моей цитате – та, с которой я это четверостишие соединил, – она вовсе не из этого, а совсем из другого стихотворения. И оттого, что я из этих двух разных четверостиший составил как бы некий единый текст, получилось, что Твардовский говорит совсем о другой правде: той, которая ушла из нашей поэзии конца сороковых, начала пятидесятых. Получалось, что и он тоже лгал вместе со всеми официальными советскими рифмоплетами, дружным хором исполнявшими «Марш энтузиастов». Лгал – и вот теперь сам в этом признался. Оттого и чувствует себя самозванцем: «Как будто еду до поры в вагоне без билета...»

Что говорить, обиделся он на меня не зря. Основания для обиды были.

Но как должен был поступить поэт, которого обидела – допустим, даже оскорбила – статья критика?

Лучше всего, конечно, было бы напрямую (скажем, позвонив по телефону) высказать мне свою обиду. Но на то, чтобы живой классик снизошел до объяснения с молодым, совсем еще не известным критиком, я, конечно, рассчитывать не мог: так далеко моя наивность не простиралась.

А вот на то, что он передаст мне свой укор через кого-нибудь из общих знакомых (хоть через того же Маршака), надеяться мог вполне.

Вероятно, могли тут быть и другие какие-нибудь варианты. Но Твардовский выбрал самый плохой. Он отреагировал не как поэт, а как партийный вельможа: позвонил в ЦК и пожаловался на меня Игорю Сергеевичу Черноуцану, который был тогда замом «дяди Мити».

Эта его жалоба никаких последствий для меня не имела. Но тут уж **Я** на него обиделся. И поделился этой своей обидой с Самуилом Яковлевичем.

Выслушав меня, С.Я. сказал:

– Да, голубчик, вы правы. Этот поступок Александра Трифоновича, конечно, не украшает. Но что поделаешь, он – такой.

И не задерживаясь более на этой истории, вернулся к обсуждению стихов Евтушенко и Вознесенского.

Тут это пришлось к слову, и он сказал, что Александр Трифонович относится к ним «так же, как мы с вами». И даже не

считает для себя возможным печатать их в своем журнале. А вот это – неправильно. Напечатать их, конечно, надо. И он, Маршак, убедил Твардовского дать в «Новом мире» большую, представительную подборку – сначала Евтушенко, а потом и Вознесенского. И «Трифоныч» согласился. Но при условии, что потом вслед за этой публикацией на страницах его журнала появится обстоятельная статья, в которой будет высказано «наше» отношение к этому явлению. И написать эту статью должен не кто иной, как он – Самуил Яковлевич Маршак.

Деваться ему было некуда (сам заварил эту кашу), и он согласился. И даже эту статью уже написал. И сейчас нам ее прочтет.

Я выслушал эту маршаковскую статью более или менее спокойно, хотя мне она тоже не шибко понравилась. А Мандель – тот просто кипел. Он нетерпеливо ерзал на своем стуле, не в силах дожидаться, когда чтение закончится и он наконец сможет высказать старику всё, что у него накопело.

С.Я., не догадываясь о том, что творилось в Эмкиной душе, а главное, не совсем еще понимая, с кем он имеет дело, сложил свои листочки и, довольный собой, стал ждать привычных комплиментов. Но вместо комплиментов последовал полный разгром.

– Самуил Яковлевич, – начал Эмка. – Я вас не узнаю! Ведь это же совсем не то, о чем мы только что говорили! А главное – совсем не то, что вы на самом деле думаете!

И пошел, и пошел...

С.Я., давно уже забывший о тех временах, когда собеседники позволяли себе с ним такую степень откровенности, был сконфужен. На него просто жалко было смотреть.

Когда Эмка закончил, он с некоторой надеждой обратил свой взор на меня.

Мне, как я уже сказал, его статья тоже не больно пришлась по душе. Написана она была вяло, состояла в основном из частных упреков и замечаний, перемежавшихся традиционными оговорками о несомненной одаренности молодых поэтов, страдающих чрезмерной самоуверенностью и поэтому слегка сбившихся с правильного пути.

Но высказать это Самуилу Яковлевичу с той же прямоотой, с какой это сделал Эмка, я не мог.

Помимо всего прочего, я понимал, что, сочиняя эту свою статью, С.Я. был связан своим положением «старика Державина», который должен же был, «в гроб сходя», кого-нибудь благословить. Ну а если уж вышло так, что благословлять особенно некого, не имел он права всей тяжестью своего авторитета обрушиваться на «племя младое, незнакомое». Прокуроров хватало и без него. А свою миссию он видел в том, чтобы опекать молодых, предостерегать их от ошибок, мягко, по-отечески журить.

Примерно в этом смысле я и высказался.

Слушая эту мою сбивчивую и не совсем искреннюю речь, С.Я. радостно кивал, давая понять, что я – в отличие от Эмки – правильно понял его благородные намерения. Но я чувствовал, что эта моя защитительная речь все равно вышла кислосладкой. А в глазах Эмки – постыдно соглашательской.

Выступать перед Самуилом Яковлевичем в этой постыдной роли соглашателя мне приходилось постоянно. Я не то чтобы боялся вступать с ним в спор. Но даже споря, почти всегда держался в границах некой субординации. Хотя бы – просто возрастной.

Лишь однажды у меня хватило духу эту субординацию нарушить.

6

Ситуация была примерно такая же, как в случае с той статьей, которую Эмка разгромил, а я – сквозь зубы – похвалил. Но в этот раз я был единственным его слушателем, и читал он не статью, а стихи – последние, только что написанные. И так же привычно ждал комплиментов.

Особенно нравилось ему – это чувствовалось – одно из прочитанных им в тот вечер стихотворений. И комплименты, которые по его поводу он ожидал услышать, были бы, как ему казалось, вполне им заслужены.

Но именно это стихотворение и вызвало взрыв.

Называлось оно – «Марине Цветаевой». Для наглядности – чтобы ясен был смысл вызванного им инцидента (на самом деле не такого уж мелкого) – приведу его полностью:

Как и сама ты предсказала,
Лучом, дошедшим до земли,
Когда звезды уже не стало,
Твои стихи до нас дошли.

Тебя мы слышим в каждой фразе,
Где спор ведут между собой
Цветной узор славянской вязи
С цыганской страстной ворожкой.

Но так отчетливо видна,
Едва одета легкой тканью,
Душа, открытая страданию,
Страстям открытая до дна.

Пусть безогляден был твой путь
Бездомной птицы-одиночки,
Себя ты до последней строчки
Сумела родине вернуть.

Сейчас я уже не могу точно вспомнить, когда С.Я. прочел мне это стихотворение. Но скорее всего, это было осенью 1961 года.

Во всяком случае – помню точно – это было время, когда имя Цветаевой было еще в достаточной степени одиозным.

Незадолго до того – в 57-м – разразился скандал вокруг статьи Эренбурга (главы о Цветаевой из его книги «Люди, годы, жизнь»), напечатанной в только что разгромленном альманахе «Литературная Москва». Альманах изничтожали втихаря, методом закрытых, полусекретных аппаратных циркуляров и постановлений. Но Цветаеву, а заодно и Эренбурга, открывшего читателю это незнакомое ему имя, разоблачали и чернили публично. Тотчас же в «Крокодиле» появился хамский, зубодробительный фельетон Ивана Рябова, в котором Цветаева с ходу была зачислена в компанию «Смертяшкиных» (поэтов-декадентов, смакующих сладость небытия), над которыми в свое время глумился Горький.

Статья Эренбурга должна была стать предисловием к готовящейся к выходу книжки Цветаевой. Но после фельетона

Рябова об этом нечего было и думать. Не только предисловие Эренбурга, но и сама Цветаевская книжка этим фельетоном была торпедирована: выход ее в свет был отложен на годы. (Вышла она лишь в 61-м, то есть как раз в то самое время, когда Маршак написал и прочел мне свое стихотворение.)

На фоне этой лишь недавно отгремевшей грозы стихотворение Маршака вполне могло представляться его автору чуть ли не подвигом. Во всяком случае, комплименты, которых он ожидал, на которые, безусловно, рассчитывал, наверняка казались ему более чем заслуженными.

Но у меня, вопреки всем его ожиданиям, это стихотворение вызвало противоположную реакцию: оно меня возмутило. И отреагировал я, едва он закончил чтение, примерно так же, как Мандель на ту его статью про Евтушенко и Вознесенского. Кажется, даже теми же самыми словами: «Самуил Яковлевич, я вас не узнаю...» Или даже еще того хлеще: «Как вы могли!.. Да как у вас язык повернулся!..»

Особенно, помню, возмутило меня тогда уверение Маршака, что Марина Ивановна сумела вернуть себя родине «до последней строчки». До этого тогда было еще ох как далеко! С огромными потерями вышедшая наконец небольшая ее книжечка «Избранное» была чудовищно изувечена цензурой и редактурой. Едва ли не каждое входившее в нее стихотворение, с боями продираясь к читателю, оставляло клочья живого кровоточащего мяса на колючей проволоке, возведенной не только редакторами и цензорами, но и многочисленными добротами-доносчиками.

В анналах недавно открывшихся архивов сохранилась записка Б. Рюрикова, тогдашнего зама заведующего отделом культуры ЦК, директору «Гослита» Владыкину: «По договоренности Вам направляется копия письма Е. Серебровской».

Сохранилось и само это письмо (лучше сказать – донос). Член Союза писателей Е. Серебровская считала своим гражданским долгом сигнализировать, что готовящаяся к выходу книга Цветаевой «может нанести вред читателю, в особенности молодежи». «Прошу, – писала она, – поинтересоваться судьбой этой книги и в особенности статьей Эренбурга. Седины мы уважаем, но общественные интересы должны стоять выше».

После этого доноса верстка цветаевской книги срочно была отправлена на «дорецензирование» Н. Степанову, В. Огневу и В. Перцову, а потом – с личным письмом Владыкина – еще и А. Суркову. Бдительный Перцов решительно отверг предисловие Эрнбурга, потребовал заказать другое предисловие (его потом написал В.Н. Орлов), а также потребовал коренного пересмотра состава сборника...

Всех этих подробностей я тогда, конечно, не знал. Но о мытарствах, которые пришлось преодолевать составителям книги, кое-что мне было известно (от моего товарища по Литинституту В. Огнева, бывшего одним из «дорецензентов» и по мере сил пытавшегося спасти книгу). Так что можете себе представить, какой фальшивой нотой прозвучало для меня утверждение Маршака, что Цветаева наконец-то сумела вернуть себя родине целиком – «до последней строчки».

Но это было далеко не главное.

Больше всего возмутил меня тогда сам тон этого стихотворения Маршака, его прощающая интонация. В строчке – «Пусть безогляден был твой путь...» – мне послышалась даже нотка некоего осуждения: пусть, дескать, ты чего-то там наплутала, даже покинула родину, но вот – вернулась все-таки, и родина – слава тебе, Господи, – простила тебя, приняла в лоно свое твою бедную заблудшую душу.

Много лет спустя – уже, наверно, в восьмидесятых – случилось мне прочесть короткое стихотворение умершего в эмиграции русского поэта Ивана Елагина:

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно, на пенсию вышел,
Живет на покое
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер, –
Наверно, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой

Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.

Верно, тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То, паверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.

Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

Если бы я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

Прочитав это стихотворение, я сразу вспомнил тот вечер, когда Маршак прочел мне свой стишок о Цветаевой, и то, что я при этом чувствовал, и то, что тогда ему наговорил.

Нет, сейчас я, конечно, вряд ли вспомню всё, что в запальчивости наговорил тогда Самуилу Яковлевичу. Ясно помню только одну свою фразу: «Ах, родина, значит ее простила, да? А вы не подумали о том, что надо было бы ее спросить: простила ли она, смогла ли она простить свою родину, это чудовищное наше государство, которое уничтожило, раздавило, растоптало всех ее близких, а саму ее довело до петли?!»

В отличие от тех людей, которые «простили» сына замученного и расстрелянного ими отца Ивана Елагина, у Маршака не было перед несчастной Цветаевой никакой личной вины. Во всех ее несчастьях и в ее трагической гибели он – лично – виноват не был. Но он прощал ее от имени государства, с которым себя отождествлял.

Больше всего меня поразило именно это! В четверостишии, заключающем его стихотворение о Цветаевой, с Мариной говорил не тот Маршак, с которым я уже привык беседовать в одной из самых, как мне казалось, дальних комнат его квартиры, а «Маршак Советского Союза», обитавший в той его парадной приемной, где он принимал меня с Осетровым.

Не помню сейчас, чем кончился тогдашний наш разговор, но какое-то впечатление мой «взрыв» на Самуила Яковлевича, как видно, все-таки произвел. Когда стихотворение было напечатано, я заметил, что одно словечко в той последней строфе он все-таки заменил. Заключительные строки того варианта, который он мне прочел, звучали так:

Себя ты до последней строчки
Сумела родине вернуть.

В печатном варианте они выглядели уже чуть-чуть иначе:

Себя ты до последней строчки
Успела родине вернуть.

Не «сумела», а – «успела». Разница как будто невелика, вроде бы даже и не заметна. Но я, прочитав печатный вариант (в маленькой книжечке Маршака «Избранная лирика», вышедшей осенью 62-го), эту разницу с удовлетворением отметил. «Сумела» – это значит, сделала какое-то усилие для того, чтобы вернуть себя родине «до последней строчки», – то есть чтобы родина отпустила ей все ее заблуждения и грехи. Может быть, даже повинулась перед родиной, признала, что в чем-то была перед ней виновата. В слове «успела» этого оттенка уже нет.

Может быть, все это – не более, чем плод моего воображения. А может быть, даже и та осуждающая, прощающая Цветаеву интонация, которая так возмутила меня в этом маршаковском стихотворении, тоже мне только померещилась?

Нет, даже сейчас, когда всё написанное Цветаевой и впрямь – давно уже – вернулось к нам «до последней строчки», я все-таки слышу в последней строфе стихотворения

Маршака эту прощающую ноту. Прощающую ее от имени государства.

Звериный оскал этого государства Маршаку был хорошо знаком. На этот счет не было у него никаких иллюзий. Но при всем при том он ощущал и признавал себя государственным поэтом, «Маршаком Советского Союза». И как будто не смущался этой своей ролью. Не стыдился её.

На эту тему мы с ним почти никогда не говорили. Но одна – весьма примечательная – его реплика, объясняющая его отношение к этой проблеме, запомнилась мне хорошо.

– Россия, голубчик, – сказал он мне однажды, – это такая страна, где надо идти только по дороге. Один шаг в сторону – и попадаешь в трясины. А дороги, – многозначительно закончил он, – прокладывает государство.

Получалось, что каким бы оно ни было, это трижды проклятое наше государство, оно – как и в былые, царские времена – оставалось все-таки единственной силой, способной хоть как-то цивилизовать эту огромную дикую страну, где – по слову Вяземского – от мысли до мысли тысячи верст бездорожья и пустого пространства.

Этот разговор, как вы понимаете, происходил не в парадной приемной, а в одной из самых дальних комнат его «квартиры». Выходит, что и в этих дальних комнатах, куда не всякому посетителю дозволено было войти, Маршак оставался **государственником**.

Вот так, впрямую, мысль о цивилизаторской роли государства в нашей дикой стране, как я уже сказал, была брошена им лишь однажды. Но к разговорам о том, как глубока пропасть, отделяющая тоненькую плёночку цивилизации от темноты и холода российского бездорожья, он возвращался постоянно.

Однажды рассказал такую историю.

Отдыхая в Барвихе, он разговорился с одним министром, и в разговоре выяснилось, что мать этого высокопоставленного советского чиновника – совсем простая деревенская женщина, до сих пор живущая в своей деревне, в какой-то глухой, как теперь принято говорить, глубинке.

Министр время от времени навещал старушку, но, как видно, про свою московскую жизнь говорил с ней не часто. Во вся-

ком случас, где и кем работает ее сын, она представляла себе, как оказалось, весьма смутно. И однажды прямо его об этом спросила.

Несколько удивленный этим ее неведением, он ответил.

– Я – министр. Понимаешь? Министр!

– Ну да, министр, – кивнула она. – Это я понимаю. Но работаешь-то ты где? Где она протекает, твоя работа?

– Как это где? – еще больше удивился он ее бестолковости. – В моем учреждении, в министерстве.

– И это я понимаю, – снова кивнула она. – Раз министр, значит, в министерстве. Но это министерство-то твое, оно где располагается? В доме? Или на улице?

И узнав, что в доме, облегченно вздохнула:

– Ну, слава Богу! Не на холоде, значит, а в тепле. Это хорошо!

И только тут почтенный министр усек главный смысл ее вопроса. Старушку совершенно не интересовало, в чем состоит работа сына, чем он там в своем министерстве занимается. Ее волновало главное: на улице проводит он свой рабочий день, как проводила его всю свою жизнь она и все ее предки, или – в доме, в тепле. И только узнав, что в тепле, наконец-то поняла, что работа у сына – хорошая. Не то что у них, деревенских. И совсем не важно было ей, что он там, в этом своем учреждении, – главный. Был бы хоть самый что ни на есть последний писарь. Водораздел между плохой и хорошей работой в ее сознании проходил не между разными должностями – высокими или низкими, – а между теми, кто вынужден весь свой рабочий день – в любую погоду: в дождь, в снег, в слякоть, в мороз, – торчать на улице, и теми баловнями судьбы, чья работа протекает в доме, в тепле.

Этот рассказ министра так поразил Маршака, что однажды он даже попытался его записать. И не просто записать, а претворить в некую художественную форму. В результате явилось на свет коротенькое стихотвореньице, включенное им потом в сборник его «Лирических эпиграмм»:

У одного советского министра

Спросила мать, живущая в деревне:

– Ты кем сейчас работаешь, сынок? –

Он ей назвал свой пост и учреждение,

Но мать, не успокоившись, спросила:

– А это в помещении, сынок?

– Да, у себя, в служебном кабинете.

– Ах, в помещенье? Ну и хорошо.

Не слышал бы я от Маршака тот поразивший его рассказ «одного советского министра», я бы так и не понял, в чем смысл этой его «лирической эпиграммы». Не понял бы даже, что побудило его так неуклюже записать эту невнятную историю и включить ее в сборник своих лирических эпиграмм. А ведь Маршак вообще-то умел внятно – а порой даже и виртуозно – выражать то, что он хотел выразить, – и в стихах и прозе. Что же случилось с ним на этот раз? Почему не удалось ему передать в этом стишке даже слабый отблеск того, поразившего его воображение рассказа?

Объясняется это, я думаю, просто.

Этот услышанный им в Барвихе рассказ министра – и уж во всяком случае, то, что поразило его в этом рассказе, – с полной откровенностью могло обсуждаться только в какой-нибудь из дальних комнат его «квартиры». Попытка вынести это обсуждение в «парадную гостиную» не могла не кончиться провалом.

Стихотворение Маршака, посвященное памяти Марины Цветаевой, говорит о том, что стены, отделяющие дальние комнаты его «квартиры» от тех, где обитал «Маршак Советского Союза», не были совсем уж непроницаемыми.

Лирическая эпиграмма про «одного советского министра», напротив, свидетельствует об обратном.

Но какими бы они ни были, эти стены, они спасали – и спасли – хозяина квартиры от цинизма, от полного растворения в неизбежном для государственного поэта сервиллизме. Подобно тому, как водонепроницаемые переборки, когда в трюме корабля обнаруживается течь, не дают судну затонуть, стены, возведенные Маршаком между разными комнатами его «квартиры», защитили его от того страшного душевного растрепания, которого не избежали многие его сверстники.

Тут можно было бы назвать много громких имен, но назову только тех, о ком могу говорить с некоторой уверенностью: Тихонов, Сельвинский, Асеев.

Более или менее близко из этих троих я знал только Николая Николаевича Асеева.

Познакомил меня с ним Борис Слуцкий.

Однажды, встретив меня на нашей Аэропортовской, он – по всегдашнему своему обыкновению, обрушил на меня весь джентльменский набор своих традиционных вопросов:

– Что пишете? Статью? Против кого?

Я сказал, что собираюсь писать про Асеева. Главу о нем в готовящуюся трехтомную (потом она стала четырехтомной) «Историю русской советской литературы».

– Хотите я познакомлю вас с Николаем Николаевичем? – сказал Борис.

Еще бы! Познакомиться с живым классиком, ближайшим другом и соратником моего любимого Маяковского! Конечно, я хотел.

– Только, чур, одно условие: вы обещаете мне, что напишете о нем хорошо.

Я сказал, что, конечно, постараюсь, но не знаю, как получится: никогда ведь нельзя знать заранее.

– Да нет, – поморщился Борис, – я не про качество вашей будущей работы. За качество ее я как раз не боюсь. Я имел в виду, что познакомлю вас с ним при условии, что вы не станете разоблачать старика, а скажете о нем в этой своей главе только все хорошее, что про него можно сказать. А хорошего про него можно сказать много.

Разоблачать Асеева я не собирался (да и кто бы мне тогда это позволил!) и данное мною Слуцкому обещание написать об Асееве только все хорошее, кажется, не нарушил.

Но сейчас придется мне его нарушить.

Однажды я уже рассказал про свой разговор с Николаем Николаевичем о Тихонове. О том, как он сидел с ним рядом на Первом съезде писателей и что-то увлеченно ему говорил. И вдруг увидел, что тот совсем его не слушает, что вся его душа устремлена к сцене, где в тот момент объявляли состав пре-

зидиума. «И тут я понял – говно!» – заключил тот свой рассказ Николай Николаевич. А я получил окончательный – и, в сущности, исчерпывающий – ответ на мучивший меня вопрос: как могло случиться, что автор «Орды» и «Браги» превратился в жалкого графомана, утратившего даже элементарные ремесленные навыки профессионального стихотворца.

Сам Асеев в президиумы, кажется, особенно не стремился. И никаких высоких должностей – ни в Союзе писателей, ни в высшем руководстве движения Странников Мира – никогда не занимал. Но в некотором отношении он тем не менее недалеко ушел от целиком поглощенного деланием официальной государственной карьеры Николая Семеновича Тихонова.

Познакомивший меня с Николаем Николаевичем Борис Слуцкий, искренне любивший старика, написал однажды стихотворение – «Н.Н. Асеев за работой». Суховатое, нарочито антипоэтическое заглавие это и вынесенное в подзаголовок определение жанра («Очерк») призвано было подчеркнуть документальную достоверность нарисованной поэтом картины:

Асеев пишет совсем не плохие,
Довольно значительные статьи.
А в общем статьи – не его стихия.
Его стихия – это стихи.

С утра его мучат сто болезней.
Лекарства – что?
Они – пустяки!
Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней – стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
И боли его не томят, не злят,
И взгляд становится тихим, ясным,
Жестоким, точным – снайперский взгляд...
И вдруг серебреет его пожелтелая
Семидесятилетняя седина,
И кружка поэзии, полная, целая,
Сразу выхлестывается – до дна...
И строфы равняются – рота к роте,
И свишут, словно в лесу соловьи,

И всё это пишется на обороте
Отложенной почму-то статьи.

Всё это – чистая правда.

В отличис от Николая Семеновича Тихонова, старый Асеев сохранил не только мускулатуру молодого асеевского стиха, но не растерял, не утратил и свой молодой лирический, певческий дар.

Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать только одно его стихотворение, написанное в 57-м, когда старику уже стукнуло – ни мало ни много – 68 лет:

Почему ж ты, Испания, в небо смотрела,
Когда Гарсия Лорку увели для расстрела?
Андалузия знала и Валенсия знала, –
Что ж земля под ногами убийц не стонала?!
Что ж вы руки скрестили и губы вы сжали,
Когда песню родную на смерть провожали?!
Увели не к стене его, не на площадь, –
Увели, обманув, к апельсиновой роще.
Шел он гордо, срывая в пути апельсины
И бросая с размаху в пруды и трясины;
Те плоды под луною в воде золотели
И на дно не спускались, и тонуть не хотели.
Будто с неба срывал и кидал он планеты, –
Так всегда перед смертью поступают поэты.
Но пруды высыхали, и плоды увядали,
И следы от походки его пропадали.
А жандармы сидели, лимонад попивая
и слова его песен про себя напевая.

На титуле одной из книг, подаренных мне Николаем Николаевичем, была им сделана такая надпись: «В этой книжечке есть стихи».

Понимал, значит, что есть в ней и «нестихи». Хотя с рифмами и аллитерациями и в тех – «нестихах» – тоже все было в порядке.

Целиком приведенная мною здесь его «Песнь о Гарсия Лорке» – это, конечно, стихи. Кажется (это надо проверить),

он даже включил ее в тоненькую книжечку своего избранного, которую озаглавил: «Самые мои стихи».

Но даже это – одно из самых заветных – его стихотворение вызвало (не сейчас, а тогда же, когда было написано и опубликовано) гневный отклик современника.

Стихотворный отклик этот назывался «Подражание Асееву», а сочинил его тот самый мой приятель Миша (Михаил Львович) Левин, блистательную эпиграмму которого на Сельвинского («Всё позади – и слава, и опала...») я уже цитировал.

Публиковать это свое стихотворение Миша не стал (хотя в новые, перестроечные и постперестроечные времена, до которых дожил, наверно, мог бы). Но мне – по дружбе – он разрешил его переписать. И я переписал, надеясь, что когда-нибудь оно для чего-нибудь мне, может быть, пригодится.

И вот – пригодилось:

Отчего ж ты, Россия, в небо смотрела
Когда Павла Васильева увели для расстрела?
Почему не завывала, поминаючи милого,
Когда пуля пробила затылок Корнилова?
Не под ясной луной в апельсиновой роще –
Их убили куда прозаичней и проще:
В коридоре глухом перед самым рассветом...
Так в России тогда умирали поэты.
А убийцы потом спецконьяк попивали
И из Песни о Встречном слова напевали.
Исаковские знали и Асеевы знали...
Почему же от боли их стихи не стонали?
Что ж поэты молчали? А они не молчали!
Они в песнях и одах Палача величали
И за то величанье ордена получали.
Твои барды, Россия, до сих пор дальнорорки
И молчат о своих, вспоминая о Лорке.
Только Лорка не ваш. Он остался поэтам.
Лорка с теми, убитыми перед рассветом.

Для тех, кто по возрасту не может этого помнить, поясню: «Песню о Встречном» («Нас утро встречает прохладой...») на слова Бориса Корнилова (музыка Шостаковича), уже после того как поэт был расстрелян, пела вся страна.

Слова «ордена получали» тоже нуждаются в небольшом комментарии.

31 января 1939 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении ста **семидесяти двух** советских писателей орденами. В их числе был и Асеев. (Был он и в числе первых лауреатов Сталинской премии.)

На эту государственную (правительственную) ласку Асеев откликнулся стихами:

Вколото
эмаль и золото
Не только в мой пиджачный лацкан, –
Пыланьем ордена,
вниманьем родины
Весь труд писательский возвышен и обласкан.

На эти лакейские стишки и на всю шумиху, связанную с награждением писателей орденами (а шумиха была большая: по всей стране шли митинги, писатели сочиняли и подписывали благодарственные письма «товарищу Сталину») язвительно откликнулся из Парижа Вл. Ходасевич:

..Всё это и жалко, и смешно, и грустно до последней степени.
(«Возрождение», 17 февраля 1939 года)

Реакцию Ходасевича понять можно, она и не могла быть иной. Что же касается «Подражания Асееву» моего приятеля Миши Левина, то оно может показаться (и кому-нибудь наверняка покажется) уж слишком запальчивым. Да и не совсем справедливым.

К такому выводу я и сам бы, наверно, пришел, если бы, листая последние прижизненные сборники Николая Николаевича (все – с теплыми дарственными надписями), чуть ли не на каждой их странице не наткнулся на что-нибудь вот такое:

Я
не слагатель
од благолепных
и в одописцы
не тщился попасть...

Но как обойтись
без светлых,
хвалебных
слов
про родную
советскую власть!

В то время каждый поэт, приносящий в издательство свой очередной стихотворный сборник, знал, что открываться он непременно должен каким-нибудь «идейным» стихотворением, что-нибудь там о борьбе за мир или, на худой конец, о своей любви к Родине. На редакционном жаргоне такое стихотворение, открывающее книгу, называлось «паровозик». Ну а уж за «паровозиком» могли идти и «вагончики» – обычная поэтическая муть про любовь, небо, облака, колосающуюся рожь или ветку черемухи, которую летящий к звездам советский космонавт непременно возьмет с собою в космос.

Последние прижизненные асеевские сборники почти сплошь состояли из таких «паровозиков», так что для «вагончиков» уже почти и места не оставалось. Вот лишь некоторые названия тогдашних его стихов: «На страже мира», «Марш семилетнего плана», «Бригады коммунистического труда», «Песнь о комсомоле», «Съезд командиров весеннего сева», «Человечество с нами!», «На выставке “Комсомол в отечественной войне”», «Одна из множества агиток против несущих нам убыток»...

Особенно, помню, поразил меня тогда стихотворный отклик Асеева на суд над Ласло Райком. Это был один из самых гнусных фальсифицированных судебных процессов, проходивших в странах, как это тогда называлось, «народной демократии». Разворачивались они в точности по образу и подобию московских процессов 30-х годов (над Каменевым, Зиновьевым, Бухариным, Рыковым) – с той только разницей, что теперь уже днем с огнем нельзя было отыскать кого-нибудь, кто поверил бы в откровенную ложь предъявлявшихся подсудимым обвинений.

Впрочем, Николай Николаевич тоже особенно не старался делать вид, что верит в эти обвинения. Источаемый им гражданский гнев был холоден, как поцелуй покойника:

семейств
 бурдючных очаг.
 Мы пели:
 так отолются им
 тугие слёзы
 веков!
 Да здравствует
 Революция,
 сломившая
 власть стариков!
 Но время,
 незнамо, неведомо,
 подкралось
 и к нашим дням.
 И стала ходить
 с подседами
 вокруг и моя родня.
 И стала
 морщеной кожейю
 свисать
 по брыльям недель.
 И стало – очень
 похожее
 На прежнюю
 канитель...

Это стихотворение полюбилось мне тем же, чем когда-то – еще в юности – восхищало меня асеевское «Лирическое отступление» и «Про это» Маяковского: отвлечением к тому, что всё вокруг стало «похожее на прежнюю канитель», – то есть на то, что было до революции. Революцию я тогда любил, и строчки: «Да здравствует Революция, сломившая власть стариков!», повторявшиеся в стихотворении постоянным рефреном, заражали меня своей яростной энергией.

К понятиям «молодость» и «старость» у Асеева издавна было свое, особое отношение.

В молодости он восклицал:

Я никогда не встречу сорок!

А позже, ближе к сорока, – написал:

Предо мной – половина реки,
На меня еще лгут старики...

И еще позже, в «Синих гусарах»:

Позорней и гибельней
в рабстве таком
голову выбелив,
стать стариком...

«Стать стариком» для Асеева – это значило смириться, приспособиться к унылому благополучному существованию. Быть молодым – это не беречь себя, не соглашаться ни на какие компромиссы, не позволять спокойствию и равнодушию охладить жар сердца, влюбленного в свободу. Иначе говоря, это значит – быть революционером. Молодость и революция в асеевских стихах – почти всегда синонимы:

Так значит –
 Вся молодость басней
была,
 И помочь не придут,
и день революции гаснет
в неясном рассветном бреду?

Вот какой сокровенный смысл нес в себе в том асеевском стихотворении этот его постоянно повторяющийся рефрен:

Да здравствует Революция,
слобившая
 власть стариков!

Это был – нерв стихотворения, эмоциональная кульминация его. В этих строчках он выразил не официальное, не общепринятое, а свое, личное отношение к революции. Поэтому именно они и делали революционный пафос этого стихотворения не казенным, а живым и искренним.

Я говорю обо всем этом так долго и подробно, чтобы понятней было, каким подарком для меня и моей будущей статьи «против редакторов» явилась новая редакция этих строк. Теперь они стали звучать так:

Да здравствует революция
И партия большевиков!

Прочитав это, я прямо ахнул. Ну и, конечно, ни на секунду не усомнился, что это – работа редактора. И при первом же моем визите к Николаю Николаевичу поделился с ним этой своей уверенностью. Не стал даже спрашивать его, как было дело, и почему он уступил грубой силе. Просто выразил ему свое сочувствие, ну и, конечно, не отказал себе в удовольствии сказать все, что я думаю о дубине-редакторе, у которого хватило ума так оскопить живое, горячее стихотворение.

Вспомнил при этом ходившее тогда *bon mot* Эренбурга. Когда он с возмущением отозвался о редакторских купюрах, сделанных, если память мне не изменяет, в повести Хемингуэя «Старик и море» (она печаталась в «Иностранной литературе», где Эренбург был членом редколлегии), кто-то из редакционных работников, оправдываясь, сказал:

– Илья Григорьевич, да стоит ли об этом говорить! Ведь мы только в одном месте вырезали только один маленький кусочек!

– А разве вы не знаете, – ответил Эренбург, – что если у мужчины в одном месте вырезать один маленький кусочек, он перестает быть мужчиной?

Говорю я все это Николаю Николаевичу и вдруг чувствую, что все эти мои эмоции, вся эта ехидная моя ирония не вызывает у него никакого сочувствия. Скорее, даже наоборот. И постепенно начинаю понимать, что это ОН САМ, без всякого редакторского давления, по собственной, так сказать, инициативе изменил, отредактировал эти свои старые строки.

Когда это до меня дошло, я прямо рот раскрыл:

– Да как же вы могли!

И в ответ услышал:

– Зачем исправил?.. Да как вам сказать... Я ведь и сам уже

старик, что ж я буду на стариков помои лить... Говорите, хуже стало?.. Ну, не знаю. Зато правильнее...

В своей статье я этот пример редакторского идиотизма все-таки сохранил. Во-первых, жаль было расставаться с такой находкой. А во-вторых, в глубине души я все-таки не поверил Николаю Николаевичу. Да и какая разница, под нажимом реального редактора изувечил он свои стихи, или тут сработал «внутренний редактор»?

Году этак в 55-м позвала нас в гости наша приятельница Лена Зонина. Позвала она нас «на Слуцкого». Там, у нее, мы в тот вечер с Борисом и познакомились.

Были тогда у Лены еще какие-то наши общие друзья, и Борис читал нам свои стихи. Читал – так: сперва первоначальный, свой, авторский вариант, а потом – уже исправленный им для печати. Сейчас я уже не помню, что он при этом нам говорил, но мне показалось, что затеял он этот эксперимент неспроста: что-то такое хотел на нас проверить. Может быть, хотел сам – для себя – определить, насколько велик уровень потери, нанесенных его стихам этими увечьями. А может быть, даже решить, стоит ли вся эта игра свеч: остаются ли после этих поправок его стихи – стихами.

Сейчас я ясно помню только одну из этих его поправок. Едва ли не лучшее из услышанных мною в тот вечер стихотворений – «Утро брезжит, а дождик брызжет. Я лежу на вокзале в углу. Я еще молодой и рыжий, мне легко на твердом полу...» (оно и сейчас – из самых моих любимых) кончалось так:

Выхожу двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный и последний,
И предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства,
Потому что некуда деться
И по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.

В исправленном варианте последнее четверостишие было беспощадно отрублено, а вместо него было приклепано такое:

Привокзальный Ленин мне снится:
С пьедестала он сходит в тиши
И, протягивая десницу,
Пожимает мою от души.

Услышав эту замену, моя жена прямо задохнулась:

– Как вы можете?!

Внимательно на нее поглядев, Борис жестко сказал – как отрезал:

– Это мы обсуждать не будем.

Этой холодной репликой он ясно дал ей (и всем нам) понять, что не хуже, чем она (и все мы) знает, какой невосполнимый урон наносит стихам этими своими поправками. Но выхода нет, и обсуждать тут нечего.

Позже он так написал об этом:

Лакирую действительность –
Исправляю стихи.
Перечесть – удивительно –
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны –
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю...

Дело, конечно, было не в рубле: рубль тут был ни при чем. Ему позарез было нужно тогда, чтобы его стихи наконец «пустили в печать». И не было никакого другого способа добиться этого.

Моя жена была, конечно, не первой – и не единственной, – у кого вырвалось это «Как вы можете!». И всем им он уже тог-

да мог бы ответить так, как ответил потом этими – в то время еще не написанными – стихами:

Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...
Всё же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.

Я еще без поправок
Эту книгу издам.

Да, калеча, уродуя свои стихи, Борис хорошо знал, ЧТО он делает и ЗАЧЕМ.

Что же касается Николая Николаевича Асеева, то он действительно не понимал (так, во всяком случае, мне тогда показалось), ЧТО он сам, собственной своей рукой, сделал со своим – некогда живым и искренним – стихотворением.

Был еще такой разговор – он произвел на меня, пожалуй, даже еще более сильное впечатление.

– Позвонил мне сегодня Баскаков, – сообщил он.

Это было еще до того, как Баскаков стал заместителем министра – точнее Председателя Комитета – кинематографии. Когда он еще работал в ЦК. У «Дяди Мити», наверно.

– Да? – без особого интереса спросил я. – И что же он от вас хотел?

– Да ничего не хотел. Проявлял внимание. «Николай Николаевич! Как ваше драгоценное?.. Какие ваши творческие планы?» – «Да вот, – говорю, – пишу поэму о Сталине». – «Замечательно! – говорит. – Пишите, Николай Николаич, пишите!» – «Да? – говорю. – А как мне его трактовать?»

И тут Асеев посмотрел на меня с хитрецей, словно бы говоря: «Я тоже мальчик тёртый, меня голыми руками не возьмешь!»

Тут интереса у меня прибавилось.

– Ну-ну? И что он вам на это ответил?

– Рассыпался мелким бисером: «Николай Николаевич! Пиши-

те так, как подсказывает вам ваше сердце!» А?.. Хорош гусь?.. Я напишу, как подсказывает мне сердце, а они меня потом...

И тут он сделал такой жест, словно откручивает голову цыпленку.

Я поначалу было подумал, что это сатира, жало которой нацелено на «Старую Площадь». Может быть, не на Баскакова, и даже не на «Дядю Митю», а куда-нибудь повыше – чуть ли не на самого Хрущева. Но внимательно поглядев на Николая Николаевича, на озабоченное, слегка даже растерянное его лицо, вдруг ясно увидел, что он и не думает ни над кем насмешничать, а искренне недоволен тем, что Руководящий Товарищ не хочет – а может быть, даже и не может – дать ему вполне ясные и определенные указания насчет того, как и кого надлежит нынче трактовать.

Один мой знакомый учился в МГУ еще в те времена, когда там профессорствовал В.Ф. Переверзев, – кажется, был даже у него в семинаре. И он рассказал мне, что однажды у Валериана Федоровича спросили: что он думает о теории социального заказа?

– Никакой теории социального заказа нет, – ответил старший профессор. – Есть теория социального приказа!

Похоже, что Николай Николаевич Асеев понимал это дело именно так. С тою лишь разницей, что формула Переверзева была саркастической, а Николай Николаевич рад был принять ее всерьез, искренне полагая, что роль поэта состоит в оформлении готовых, спущенных «сверху» идей.

Вы скажете:

– А как же ваш любимый Маяковский?

Да, Маяковский говорил, что готов «поставить свое перо в услужение сегодняшнему часу и проводнику его – коммунистической партии и советскому правительству». И не только говорил, но и поступал в соответствии с этими своими словами. Но – до тех пор, пока верил, что избранная им дорога ведет к Храму. А потеряв эту веру, поставил «точку пули в своем конце».

За тридцать лет, прошедшие после самоубийства «Командора», ближайший его друг и соратник, кажется, мог бы уже понять, где кончается «синагога» и начинается «бардак». Но что говорить об Асееве, если разницу между «бардаком» и «синагогой» не всегда мог различить даже такой старый скептик,

как Эренбург. Да что Эренбург! Порой эту разницу переставал замечать даже Пастернак!

У советского государства были такие способы давления на душу художника, какими не располагала никакая другая деспотия в мировой истории. Об этом уникальном феномене я написал целую книгу – «Заложник вечности. Случай Мандельштама», в которой пытался показать, как случилось, что даже Мандельштам, у которого насчет природы советского государства было меньше иллюзий, чем у кого-либо еще из его современников, в какой-то момент тоже перестал различать, «где кончается полиция и начинается Беня». Но у Мандельштама это было – короткое временное затмение, что-то вроде психоза. В здравом уме и трезвой памяти «бардак» с «синагогой» он не путал. Об этом с достаточной ясностью говорят хотя бы те его стихотворные строки, которые я поставил эпиграфом к этой главе:

А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть...

И даже когда в душе его бушевала подробно описанная мною «магнитная буря», парализовавшая стрелку того компаса, о котором говорил Бунин («Некий Nord моей душою правит.., он мне скажет, если что: не то!»), – даже тогда бывали у него минуты просветления, беспощадной и трезвой ясности:

Я *трижды* наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках), которые бодрые, мутные и пустые... Я гадок себе. Во мне подымается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортунистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало большой пустоты.

Этот вопль, вырвавшийся из души несчастного затравленного поэта, записал С.Б. Рудаков – товарищ Мандельштама по воронежской ссылке.

У Маршака таких взрывов покаяния и страстного самосуждения не было. Но он знал, что, сочиняя стишки про посудный отдел ГУМа, который «сделался подсудным» (не гово-

ря уже о его траурном венке на смерть Жданова), становится «достоин того же рожна», какого у Мандельштама был удостоен с таким презрением описанный им «чернила и крови смеситель», «чесатель колхозного льна».

Маршак к этим своим грехопадениям относился снисходительнее, чем Мандельштам к своим:

– Худо, конечно, голубчик, что мы с вами люди способные. Но что поделаешь! Мы не в Чикаго, моя дорогая!.. Так уж вышло, что мы родились в стране, где нельзя ни на шаг ступить в сторону от дороги: сразу попадешь в трясины. А дороги у нас прокладывает государство, – какое оно ни есть!

Не могу сказать, чтобы эти умиротворяющие рассуждения Маршака представлялись мне резонными. Куда больше мне по душе яростное самоедство Мандельштама.

Или Пушкина:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная...

Или Некрасова:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня!..

Такого самоощущения, такого самосознания у Маршака не было. Не тот характер, не тот темперамент.

Отчасти, может быть, и поэтому была в свое время сочинена про него знаменитая эпиграмма:

При всём при том, при всём при том,
При всём при том, при этом,
Маршак остался Маршаком,
А Роберт Бернс – поэтом!

Но каков бы ни был Маршак и что бы ни говорил он о дорогах, которые прокладывает для нас наше родное государство, – дорогу, ведущую в храм, от дороги, ведущей в бардак, он отличал. И первую со второй никогда не путал.

Мы стояли втроем около сцены: Валя Берестов, я и друг Маршака – британский парламентарий Эмрис Хьюз. Утопавший в цветах гроб с телом Самуила Яковлевича еще оставался на сцене: утомительная гражданская панихида только что кончилась.

Валя бойко болтал о чем-то с Хьюзом по-английски. Я делал вид, что тоже принимаю участие в разговоре, хотя не понимал ни слова. Нет, какие-то отдельные слова я понимал: вот, например, только что мелькнувшее слово «рашен». Но смысл того, о чем они говорили, я не улавливал.

– Что? Что он сказал? – не выдержав, спросил я у Вальки.

Валька перевел:

– Что не видал в жизни ничего страшнее русских похорон. Я попытался увидеть происходившее глазами англичанина. Что говорить! Процедура была тяжелая.

Сладкий, одуряющий запах цветов. Надрывающая душу траурная музыка. Бесконечная вереница людей, идущих мимо гроба. Почетный караул. И наконец – речи, речи. Бесконечные речи: искренние, человеческие – и лицемерно фальшивые, официальные, полагающиеся покойнику по его месту в официальной табели о рангах.

– Объясни ему, – сказал я Вальке, – что это не русские, а советские похороны. К тому же – государственные. По самому высокому разряду.

Бросив Вальке свое «объясни ему», я хотел, чтобы англичанин понял, что эта жуткая, ублюдочная смесь траурной панихиды и партийно-государственного митинга не имеет ничего общего с традицией обычных русских похорон, что этот омерзительный государственный ритуал – чисто советское изобретение, и нам с Валькой он так же чужд и неприятен, как и ему, иностранцу.

А после кладбища (там к ужасу Хьюза – снова повторялись и варьировались эти бесконечные речи) мы с Валькой поехали ко мне.

Был разгар лета, июль, всё мое семейство было на даче, и эту ночь в моей пустующей квартире мы с Валькой провели вдвоем.

Помню неожиданное тогдашнее Валькино признание. Он сказал, что никогда не думал, что смерть Самуила Яковлевича, в общем, не такая уж неожиданная, станет для него таким горем.

И всю ту ночь – напролет – мы читали стихи.

Валька вспомнил – и прочел – чуть ли не все стихи Маршака о смерти: «Как призрачно мое существованье. А дальше что? А дальше ничего...», «Люди пишут, а время стирает...», «Года четыре был я бессмертен, года четыре был я беспечен, ибо не знал я о будущей смерти, ибо не знал я, что век мой не вечен...».

И это:

Всё умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.

И вот это:

Любите жизнь, покуда живы.
Меж ней и смертью только миг,
А там не будет ни крапивы,
Ни роз, ни пепельниц, ни книг.

И солнце даже не заметит,
Что в глубине каких-то глаз
На этой маленькой планете
Навеки свет его погас.

И, наконец, – вот это, как мне казалось, самое последнее, совсем уже предсмертное:

И час настал. И смерть пришла, как дело,
Пришла не в романтических мечтах,
А как-то просто сердцем завладела,
В нем заглушив отчаянье и страх.

Все эти стихи я хорошо знал, и мы с Валькой читали их наперебой, прерывая и перебивая друг друга.

Но одно стихотворение, прочитанное Валькой в ту ночь, я услышал тогда впервые. Именно оно, – сказал Валя, – было его последним:

Все те, кто дышат на земле,
При всем их самомнении –
Лишь отражения в стекле,
Ни более, ни менее.

Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло.

Я знаю: мы обречены
На смерть со дня рождения.
Но для чего страдать должны
Все эти отражения?

И неужели только сон –
Все эти краски, звуки,
И грохот миллионов тонн,
И стон предсмертной муки?..

Не знаю, оказали бы на меня эти стихи такое сильное действие, услышь я их не в ту ночь, не под свежим впечатлением только что пережитого последнего прощания с Самуилом Яковлевичем. Но резкое отличие их от всех других стихов Маршака для меня несомненно. В отличие от тех его стихов, которые я знал раньше, в этом явственно звучал совсем другой, новый мотив. (Поэтому я и поверил сразу, что оно – последнее.)

В прежних своих стихах, размышляя о смерти, он всегда пытался найти для себя какую-то точку опоры, какое-то – пусть слабое – но утешение при мысли о том, как призрачно его (наше) существование.

Иногда это утешение слегка отдавало казенным советским оптимизмом:

Нет, будет мир существовать!
И пусть меня в нем нет,
Но я успел весь мир обнять,
Все миллионы лет.

Я мыслил, чувствовал, я жил
И всё, что мог, постиг,
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг.

Но бывало, что это же нехитрое утешение звучало у него по-
своему сильно и поэтически убедительно:

Мне жаль моей любви, моих любимых,
Ваш краткий век, ушедшие друзья,
Исчезнет без следа в неисчислимых,
Несознанных веках небытия.

Здесь, на земле, вы прожили так мало,
Но в глубине открытых ваших глаз
Цвела земля и небо расцветало,
И звездный мир сиял в зрачках у вас.

За краткий век страданий и усилий,
Тревог, печалей, радостей и дум
Вселенную вы сердцем отразили
И в музыку преобразили шум.

В новом, последнем его стихотворении не осталось и следа от этих «поисков оптимизма». Не осталось уже никаких надежд найти для себя в своих размышлениях о смерти хоть какую-то «точку опоры». Ничем уже не в силах он заглушить настигшие его «отчаянье и страх»...

Обо всём этом – разумеется, в меру тогдашнего моего понимания – я попытался сказать в своей статье о Маршаке, вышедшей в мою книгу «Рифмуется с правдой...» (1967), а потом и в моей книжке о нем, вышедшей годом позже. Я говорил там, что всё это, конечно, не ново, что те же мысли мучили Толстого и чуть не довели до самоубийства его двойника – Левина:

В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот — я.

Приведя эту толстовскую цитату, я писал:

Но то, что казалось Левину (и Толстому) злой и чудовищной неправдой, нуждающейся в немедленном опровержении, для лирического героя Маршака неопровержимо и непреложно. В стихах Маршака выражено мироощущение именно современного человека, для которого представления, связанные с принципами материалистической философии, стали привычными и реальными, бытовыми предметами его душевного обихода: «Забывает тело имя и прозвание. Не существо, а только вещество...».

Говоря попросту, я не сомневался, что Маршак — конечно же! — не был религиозен. Мне казалось, что о чем другом, но об этом-то уж точно не может быть двух мнений!

Каково же было мое изумление, когда мне пришлось выслушать не просто другое, а прямо противоположное мнение по этому поводу. И высказал его мне человек, которому я не мог не верить. Хотя бы потому, что он знал Самуила Яковлевича куда дольше, ближе и лучше, чем я.

* * *

Этим человеком был Алексей Иванович Пантелеев.

В то время мы с ним регулярно переписывались (я жил в Москве, он — в Ленинграде), и обсуждение той моей статьи про Маршака (а потом и книжки) в этой нашей переписке заняло довольно большое место. Тема эта, как потом оказалось, для Алексея Ивановича была весьма болезненная, и мои легкие суждения на этот счет больно его задели.

Это я почувствовал уже по самому первому его письму:

Дорогой Бенедикт Михайлович!

Я давно получил и сразу же, залпом, прочел Вашу книгу...

О Катаеве, о том, как я (почти наверняка) навел его на мысль писать книгу о Бунине — расскажу после. Может быть,

и в письме. Сейчас о другом. О Вашей статье «И в музыку преобразили шум»...

Маршак здесь для меня (как и для некоторых других старых друзей его) — неожиданный.

Не знаете ли Вы, в какие годы написаны стихи, которые положены в основу Вашей статьи, и печаталось ли что-нибудь из этого при жизни С.Я.

Когда я, пересаживаясь с автобуса в автобус и с поезда на поезд, приехал из эстонской деревни на похороны С.Я. и пришел вместе с А.И. Любарской на ул. Чкалова, — несколько листочков с отпечатанными на машинке стихами лежали на черной крышке рояля. Когда собралось довольно много людей, Иммануэль Самойлович сказал:

— Вот, между прочим, последние стихи Самуила Яковлевича.

И дал нам читать их.

И всем, кто приходил позже, показывал эти листочки.

Стихи поразили нас.

На улице Александра Иосифовна сказала мне:

— Как это непохоже на Самуила Яковлевича, на всё, что он всю жизнь говорил...

Вы пишете:

«Как я уже говорил, — стремясь к этому, одни ищут выхода в религии, другие в философии.

Маршак ищет другого».

Я не знал Маршака, который «искал другого». Еще десять лет назад, когда умирала Т.Г. Габбе, он жил другими мыслями.

Старые друзья Маршака хорошо помнят Маршака религиозного — не в церковном (как, скажем, Тамара Григорьевна), а в блейковском понимании этого слова.

Выходит, что о мертвом Маршаке сказать «ищет другого» нельзя. Вы ответите: — Это Маршак последнего времени. Не знаю, не уверен, правомочны ли мы судить о человеке и рисовать его портрет, основываясь на одном дне или на одном годе его жизни...

Я Вас ни в чем не виню. Полагаю, что Вы пали, так сказать, жертвой маленькой, но недоброй фальсификации. Нет, разумеется, не стихи подделаны! Боже избави! И кто мог бы это сделать, у кого хватило бы сил и уменья?!

Просто, грешный человек, я думаю (тогда уже, три с половиной года назад подумал), что И.С. шокировала еретическая философия отца, ему хотелось, чтобы отец его был во всех отношениях п р а в и л ь н ы й, поэтому он так быстро (а может быть, и заблаговременно) перепечатал и размножил эти стихи. И я не сомневаюсь, что в биографии Самуила Яковлевича, стараниями сына, будет допущено очень много подтасовок и умолчаний. Если это случится, образ нашего друга и учителя останется для потомков плоским и однозначным.

Вот поэтому я и решился написать Вам это письмо.

Как я уже сказал, Алексею Ивановичу я не мог не верить. И тем не менее это его письмо не сильно меня поколебало.

Начну с того, что весьма сомнительной показалась мне версия о сознательной фальсификации, проделанной сыном Самуила Яковлевича – Эммануилом Самойловичем. (С.Я. и все домашние звали его «Элик», поэтому я привык к такому звучанию и написанию его имени, и пантелеевское «Иммануэль» немало меня удивило.)

Совершенно непонятно было мне, почему последние стихи С.Я., в особенности то, которое я впервые услышал в ту ночь от Вали, могли способствовать созданию образа правильного Маршака. (Правильного – с официальной советской точки зрения.) «Правильному» советскому поэту полагалось быть оптимистом, так что это последнее, страшное, полное глубочайшего мрака и отчаяния стихотворение скорее разрушало, нежели укрепляло образ «правильного» Маршака.

Ну а кроме того, мои тогдашние рассуждения основывались не на одном этом, а на многих стихах С.Я. И все они, кстати сказать, печатались еще при его жизни, так что ни о какой сознательной фальсификации, жертвой которой якобы я пал, не могло быть и речи.

В этом духе я и ответил Алексею Ивановичу. Признавался, что известие об отношении С.Я. к религии, о котором, по его словам, знали все старые друзья Маршака, для меня стало полной неожиданностью. Просил написать об этом чуть подробнее.

Ответное письмо А.И. показалось мне еще менее убедительным. И даже уже не таким ясным и определенным, как

первое. (Отчасти, может быть, мне так показалось, потому что, в отличие от первого, напечатанного на машинке, оно было написано от руки, торопливо, с помарками, вычеркиваниями и подчеркиваниями.)

Дорогой Бенедикт Михайлович!

Вы просите меня: напишите об этом несколько слов. Об этом несколько слов не пишут. И вообще, конечно, разговор не для письма.

Началось ведь с того, что я задал Вам вопрос (о датах написания нескольких стихотворений), на который Вы мне не ответили. Теперь задаете вопросы Вы.

Отвечаю.

Да, я имел в виду именно то, что для Вас явилось новостью.

Значит ли это, что Вы себя или я Вас можем обвинить в «фальсификации»? Боже избави.

Просто Самуил Яковлевич получился у Вас (для меня и для тех, кто знал его долго) немножко античным, однозначным, прямолинейным, двухмерным... Впрочем, это всё НЕ ТЕ СЛОВА... Может быть, вернее будет сказать, что он показан у Вас в одном пятом акте. А первых четырех нет. И получилось это только от незнания всех фактов духовной жизни С.Я.

Я просил Вас сообщить даты написания неопубликованных при жизни С.Я. стихов. Дело в том, что в годы, когда я знал С.Я. близко, ТАКИХ стихов он написать не мог. («Как призрачно мое существование» — написано раньше: это стихи другого ряда, там говорится о «теле», о «тленной плоти».)

В последние годы его жизни мы встречались редко. То, что он печатал и присылал мне, было написано тем Маршаком, которого я знал в юности. А стихи, лежавшие на рояле, меня, как я писал Вам, поразили.

Бывают поздние прозрения, озарения и бывает наоборот, позднее помрачение. Пастернак стал религиозным на склоне дней. Ахматова была верующей всю жизнь...

Последний раз я видел Маршака таким, каким запомнился он мне с юных лет и каким оставался в течение 30 лет, — зимой 1960 года — в дни, когда умирала Т.Г., и позже — когда ее хоронили.

В последние четыре года мы виделись с ним всего 2-3 раза.
К тому же это были встречи короткие, на людях.

В эти годы, по-видимому, и были написаны те, известные
Вам стихи, которые он при жизни не печатал.

А Вы не задумывались, кстати: ПОЧЕМУ не печатал?

Пишу бессвязно. ПРОСТИТЕ...

У нас дома опять лазарет...

Ну – и дальше уже о другом: вторая половина письма к нашей теме отношения уже не имеет.

По этому письму мне показалось, что А.И. слегка дал задний ход.

В нем уже ни слова о том, что я пал жертвой злостной фальсификации Элика. Есть даже готовность признать, что Маршак, которого знал я (Маршак «пятого акта»), был уже не тем Маршаком, какого знал он и все старые друзья Самуила Яковлевича. Возможно, под конец жизни на него нашло «помрачение» (в отличие от Бориса Леонидовича, который под конец жизни как раз «прозрел»).

Стихи, о которых он думал, что С.Я. сознательно их не печатал, все были напечатаны при его жизни. Просто А.И. их почему-то не знал. Да и в стихотворении «Как призрачно мое существование», которое он знал и помнил, речь ведь тоже идет не только о «тленной плоти»:

Пусть будет так. Не жаль мне плоти тленной,
Хотя она седьмой десяток лет
Бессменно служит зеркалом вселенной,
Свидетелем, что существует свет.

Мне жаль моей любви, моих любимых.
Ваш краткий век, ушедшие друзья,
Исчезнет без следа в неисчислимых
Несознанных веках небытия...

«Исчезнет без следа...» Разве написал бы он так, если бы был религиозен? Если бы верил, что душа человека – бессмертна?

В общем, после этого второго письма Алексея Ивановича я еще больше укрепился в мысли, что в тех своих рассуждениях о

материалистическом мировоззрении Маршака был не так уж не прав.

Тут надо еще сказать, что я не придавал тогда должного значения его фразе: «...вообще, конечно, разговор не для письма». Лишь много лет спустя я понял, что, может быть, и не только в письме, но и в личном разговоре, если бы такой состоялся, он был бы не вполне откровенен – во всяком случае, более сдержан, чем ему бы хотелось.

С полной откровенностью Алексей Иванович высказался на эту тему десять лет спустя, в 1978 году, когда закончил свою, написанную в стол, автобиографическую повесть «Верую». У него не было – и не могло быть – никаких надежд опубликовать ее при жизни. (Увидела свет она двенадцать лет спустя, в 90-м). Даже в рукописи (в черновике) он не осмелился сохранить истинное ее название, зашифровав его переводом на латынь («Credo»).

В этой повести он впервые открыл будущему, неведомому своему читателю главную тайну своей жизни: с раннего детства и до конца дней он был верующим, что в советские времена (во всяком случае, для него, детского писателя, «работника идеологического фронта») было смертельно опасно.

Осмеливаясь иногда (очень редко) посетить церковь, он –

... спиной, затылком чувствовал глаза соглядатая не только в самом храме, но даже и на дальних подступах к нему. Входишь из притвора в церковь, и глаза уже сами собой начинают косить: направо – налево. Кто здесь о т т у д а?..

Из душераздирающих его рассказов об этой мучительной, потайной жизни, которой он вынужден был жить, приведу только один – и то лишь потому, что в нем фигурирует мой главный герой:

...Тамара Григорьевна носила крест. Однажды в редакции она наклонилась, чтобы поднять упавший на пол корректурный лист, золотой крестик выскользнул из-под воротника блузки. Произошло это в присутствии тогдашней руководительницы Ленинградского отделения издательства Веры Кетлинской. У нее хватило чести, чтобы промолчать, сделать вид,

что не заметила, но в тот же вечер она поехала к Маршаку и сказала:

— Хочу надеяться, что это — семейная традиция... какая-нибудь родовая реликвия?

— Да... по-видимому, — смутился Самуил Яковлевич.

— И все-таки посоветуйте, пожалуйста, Тамаре Григорьевне крест больше не носить, помнить, что она работает редактором издательства Центрального комитета ВЛКСМ.

Слышал я это от Самуила Яковлевича. Как поступила Тамара Григорьевна — не знаю. Кресты в те годы (а пожалуй, и много позже) прищипливали булавками к нижнему белью, зашивали в подкладку... Иконы висели в шкафах, маскировались занавесками, шторами, порттьерами. В Полновской сельскохозяйственной коммуне на озере Селигер в 1929 году у одной верующей женщины нашли икону, висевшую — под кроватью.

О религиозности Маршака в этой своей повести Алексей Иванович рассказывает обстоятельнее, откровеннее и, пожалуй, определеннее, чем в своих письмах ко мне:

... когда и как я узнал, что верят в Бога Самуил Яковлевич Маршак, Тамара Григорьевна Габбе, Даниил Иванович Хармс, — при всем желании вспомнить не могу. Но ведь была же минута, когда и Самуил Яковлевич спросил:

— Ты в Бога веришь?

И я ответил:

— Да.

В какого же Бога он верил? Он читал и возил с собой повсюду две маленьких книжечки: русскую Псалтырь и английского Блейка. Об этом я писал в воспоминаниях о Маршаке, думая, что сообщаю этим очень много. Возможно, что большинство читателей расценили это лишь как свидетельство эстетических вкусов Маршака.

Да, со мной именно так и было.

Прочитав в воспоминаниях Пантелеева эту фразу, я не подумал, что за ней лежит нечто большее, чем стремление автора сказать о самых глубоких художественных пристрастиях

Самуила Яковлевича. Хотя – мог бы об этом подумать, если бы догадался сопоставить эту пантелеевскую реплику с рассказом С.Я. о том, как сурово осудил его увлечение Блейком Горький: наверняка ведь это было связано с тем, что имя Блейка у Алексея Максимовича ассоциировалось с мистицизмом, – а значит, как выразился бы в этом случае Ленин, – «с поповщиной».

В тех старых своих воспоминаниях о Маршаке (они были написаны вскоре после смерти Самуила Яковлевича) Алексей Иванович вынужден был темнить, довольствоваться намеками, обиняками.

Здесь о религиозности С.Я. он говорит прямо:

О том, как он верил, я его не спрашивал. Обо мне он знал, что я хожу в церковь, ношукрест, что я православный. Бог у нас был один. В ленинградские и в первые московские годы он молился. Сколько раз я слышал от него в трудную минуту:

– Молись! Молись!

И тут он вспоминает о той злополучной моей статье и о нашей переписке:

Много лет спустя критик Сарнов в какой-то статье о Маршаке упомянул об атеистическом мировоззрении поэта. Я не удержался и написал Сарнову, спросил его: достаточно ли твердо он убежден в своем праве так писать? Он удивился, ответил в том смысле, что о мировоззрении поэта свидетельствуют его стихи.

Никогда в моей памяти в своих публиковавшихся лирических стихах Самуил Яковлевич не касался э т о й темы. В переводах с английского встречаются острые антиклерикальные эпиграммы. Но антиклерикальное можно найти и у глубоко верующего Вильяма Блейка.

Да, в самые последние годы, уже после смерти Тамары Григорьевны Габбе, какой-то поворот в мировоззрении Маршака произошел. Мне кажется, в какую-то минуту он усомнился в бессмертии души. Основываюсь на тех же источниках, на какие ссылается Б.М. Сарнов: на его стихах.

Последние годы мы виделись с Самуилом Яковлевичем не

часто, и он уже никогда не заговаривал на эту тему. И все-таки я знал и знаю и могу присягнуть, что атеистом он не сделался, как бы ни хотели этого некоторые близкие к нему люди.

Далее следует – почти дословно переписанный из его давнего письма ко мне – рассказ о том, как, пересаживаясь с поезда на поезд и с автобуса на автобус, он умудрился за двенадцать часов из эстонской деревушки, где настигла его весть о смерти Маршака, добраться до Москвы и как первое, что он увидел, что сразу бросилось ему в глаза в опустевшей, онемевшей и оглохшей квартире С.Я. на Чкаловской, – были три листочка очень белой бумаги, положенные на черную крышку рояля:

Буквально всем, кто появлялся в столовой, сын Самуила Яковлевича Элик говорил, показывая на рояль:

– Последние стихи Самуила Яковлевича.

Свой разговор на эту тему с А.И. Любарской Алексей Иванович тут пересказал чуть подробнее, чем в письме, но ничего существенного к прежнему пересказу не добавил. А вот об Элике и его «фальсификации» теперь он высказался гораздо жестче:

Когда были написаны последние стихи Маршака, – и действительно ли они были последними, – я не знаю. Но знаю, что при жизни он их никогда не печатал, не хотел, – во всяком случае, колебался, откладывал, не решался. А сын, во всем очень похожий на отца, но похожий карикатурно, любивший отца и ненавидевший его, презиравший всё, что любил отец (Гоголя, например), сын, больше всех знавший правду, больше всего боялся, что за отцом его останется слава идеалиста, человека, верившего в Бога.

Убежден, что листочки со стихами были заготовлены очень загодя и ждали своего часа. И когда час этот пришел, Иммануэль Самойлович положил их – якобы небрежно – на черную доску рояля и так же якобы небрежно ронял:

– Последние стихи Самуила Яковлевича.

Я сказал: знавший больше всех... Да, больше всех, и все-таки не всю правду.

Всю правду о Маршаке знала, может быть, одна Розалия Ивановна Вильтцун, его долголетний секретарь. Она любила Самуила

Яковлевича. И в старости уже не скрывала этой любви. Когда он умер, она не отходила от его гроба. Всю ночь провела в морге.

А после похорон, на поминках, когда кто-то что-то попросил на память о Самуиле Яковлевиче или — не помню — в связи с какими-то другими разговорами о вещах или книгах Самуила Яковлевича, она, заплаканная, изреванная, осунувшаяся и потемневшая, вдруг улыбнулась и сказала — как будто не людям, ее окружавшим, а самой себе. Внутрь себя:

— А уж одну его книжечку я никому не отдам. Не-е-ет, никому!..

Тогда я не понял. Представилась записная книжка. А потом — в тот же день — вдруг догадался: серенькую, потрепанную, слегка уже засаленную Псалтырь она никому не отдаст, книгу, которая ей дорога и как память о Маршаке, и, может быть, больше чем память. Думаю, что и Розалия Ивановна была верующей. По-немецки. По-лютерански. Именно еще и потому была близка ее сердцу эта «книжечка»: Книга Псалмов.

Так в какого же все-таки Бога верил Самуил Яковлевич?

Русская Псалтырь, которую он всюду возил с собой, дает основания предполагать, что веровал он — по-русски, по-православному.

По своему великому значению, Псалтырь в нашем Православном отечестве издревле пользовалась особенным уважением, и не только при Богослужении, но и в быту житейском.

(Библейская энциклопедия.

Труд и издание Архимандрита Никифора.
М., 1891. Кн. 2. С. 93)

С другой стороны, однако, Псалтырь — это ведь **Псалмы Давида**, еще в эпоху Второго храма (с V в. до н.э.) ставшие составной частью еврейской литургии.

Так, может, С.Я был все-таки иудеем?

Или, как бесконечно преданная ему Розалия Ивановна Вильтцын, лютеранином?

Не знаю. Ничего не могу сказать.

В эту комнату своей многокомнатной квартиры Самуил Яковлевич меня никогда не приглашал.

ОГОНЬ С НЕБА

То и веселит меня, то и утверждает, что не я всё задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить ее и разгонять.

О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!

А. Солженицын. Бодался теленок с дубом

Один там только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья.

Н. Гоголь. Мертвые души

1

Никогда не забуду чувства, с которым впервые читал захватанную, обтрепанную по краям, перепечатанную через один интервал (и на обороте тоже) рукопись повести, которая позже увидела свет под названием «Один день Ивана Денисовича». (В том машинописном варианте она называлась «Щ 854», и было не совсем даже понятно – заглавие это произведения, которое мне предстояло прочесть или шифр, обозначающий имя автора, пожелавшего остаться неизвестным.)

Когда рукопись эта появилась в редакции «Нового мира», Твардовский, прежде чем начать трудную и, как тогда казалось, почти наверняка обреченную на неуспех борьбу за нее, дал ее прочесть некоторым ближайшим своим друзьям: помимо всего прочего, хотел заручиться их поддержкой. В числе первых ее читателей (если не считать сотрудников редакции) был Самуил Яковлевич Маршак.

Рассказывая мне о ней, он, между прочим, сказал:

– Я всегда говорил Александру Трифоновичу: надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба...

Солженицын, что теперь ни говори, был тогда для нас именно вот этим самым огнем, упавшим с неба.

Конечно, этот огонь упал не в пустыню. Не будь тогда у нас «Нового мира» Твардовского, повесть Солженицына, быть может, еще не один год пролежала бы в столе у автора. Не случайно именно в «Новый мир» Солженицын рискнул отдать своего «Щ 854». Твардовский хорошо умел раскладывать свой костер.

Версия появления повести в редакции (лучше сказать – легенда) была такая: рукопись будущим ее редактором Асей Берзер была извлечена из самотека и передана – в обход редколлегии – прямо в руки Твардовскому.

Но я – уже тогда – знал, что принес ее в «Новый мир» Лев Зиновьевич (для меня – Лёва) Копелев.

Рассказавший мне об этом Володя Лакшин про Лёву и его роль в этом деле говорил с какой-то снисходительно-неодобрительной гримасой: принес, не сказал ни единого доброго слова, просто кинул Асе на стол: вот, мол, прочти при случае сочинение одного моего приятеля. То ли побаивался хвалить, то ли ему и в самом деле повесть не шибко нравилась и отдать ее в журнал он согласился просто по дружбе с Александром Исавичем, с которым вместе отбывал срок на «шарашке».

На самом деле это было совсем не так.

А как – я знал уже тогда: и от самого Лёвы, и от Аси.

Рукопись Асе передала жена Лёвы, Рая. Они между собой решили, что так будет лучше. К Копелеву в «Новом мире» и вообще-то относились неважно, а тут еще – накануне – он повздорил с Твардовским: тот отказался заступаться за «Тарусские страницы», тираж которых собирались пустить под нож, ругал Паустовского, и Лев чего-то там ему наговорил по этому поводу, что отнюдь не улучшило их и без того плохих отношений.

Мой друг Лёва Левицкий, работавший тогда в отделе прозы «Нового мира», в известную мне легендарную версию внес некоторые уточнения. Ему помнится, что Ася передала руко-

пись не самому Твардовскому, как мне это представилось из ее рассказов, а, согласно существовавшей в журнале строгой субординации, тогдашнему заму Александра Трифоновича Алёше Кондратовичу. Тот распорядился придать повести нормальный машинописный вид и вручил ее Твардовскому. Вместе, кстати, с другой повестью на ту же запретную тему – «Софьей Петровной» Лидии Корнеевны Чуковской. В дальнейшем Александр Трифонович не раз противопоставлял эти две вещи, решительно отдавая предпочтение повести А. Рязанского. (Так сперва в рукописи именовался автор «Одного дня...».)

Далее кратко передаю рассказ Аси, как он мне запомнился.

Рукопись А. Рязанского Александр Трифонович прочел в тот же вечер. Читать начал поздно, уже лёжа в постели. Но, прочитав первые страницы, понял (лучше сказать, почувствовал), что читать такую вещь лёжа нельзя. Встал, оделся, сел к столу. Дочитав до конца, вернулся к началу. Стал читать снова: не мог оторваться. Тогда же твердо решил, что сделает всё – возможное и невозможное, – чтобы повесть была напечатана.

Друзья и соратники Александра Трифоновича по журналу его в этом намерении дружно поддержали. Но ближайший из них, правая его рука – Александр Григорьевич Дементьев, – человек, бесконечно Твардовскому и журналу преданный, но битый, а потому осторожный, – все-таки не преминул с глазу на глаз сказать ему:

– Учти, Саша! Даже если нам удастся эту вещь пробить, и она будет напечатана, они нам этого никогда не простят. Журнал на этом мы потеряем.

Твардовский не спорил. Понимал, что тёзка говорит дело.

– А ты ведь понимаешь, Саша, – продолжал Александр Григорьевич, – что такое наш журнал. Не только для нас с тобой. Для всей России...

– Понимаю, – сказал Твардовский. – Но на что мне журнал, если я не смогу напечатать это?

Умный человек был Дементьев: как в воду глядел. «Ивана Денисовича» Твардовскому не простили.

Выступая на обсуждении «Ракового корпуса» и говоря о том, чем было для нас явление Солженицына, я сравнил «Один день Ивана Денисовича» с горьковской пьесой «На

дне». Солженицын, мол, как Горький со своими босяками, поднял целый пласт жизненного материала, к которому художественная литература до него не прикасалась.

Это сравнение лишь в очень слабой степени выражало то, что я хотел сказать. Тогда же мелькнуло у меня другое: я вспомнил Гуинплэна Виктора Гюго, который, выступая в парламенте, сказал:

– Господа! Я принес вам новую весть: существует род человеческий!

Это был голос из бездны, о существовании которой парламентарии, к которым он обращался, не подозревали.

Вот такую же громовую весть – хотел я сказать – объявил своим согражданам и Солженицын. Но – не сказал. Сравнение русского писателя с героем французского романа показалось мне слишком выспренным, даже безвкусным, и я заменил Гуинплэна горьковскими босяками.

Мысль моя, в общем-то, была верна. Появление солженицынской повести на страницах «Нового мира» прежде всего было, конечно, огромным общественным событием, по значению своему сравнимым, может быть, только с закрытым докладом Хрущева на XX съезде.

Но меня – меня лично – «Иван Денисович» покорило не только этим.

В то время я прочел уже довольно много ходивших в самиздате лагерных рукописей. Читал и замечательную книгу Юлиа Марголина «Путешествие в страну Зэ-Ка»: вышедшая аж в 1952 году в Нью-Йорке, она каким-то чудом до меня дошла.

Поэтому ли, по другой ли какой причине, но тем, что он поднял новый, никем не до него не тронутый пласт жизни, Солженицын меня не поразил. А поразил меня его «Иван Денисович» как событие литературное, художественное.

Хорошо помню тогдашний свой разговор о Солженицыне с Максом Бременером.

– Ты действительно думаешь, – спросил меня Макс, – что он великий писатель?

– Может быть, и не великий, – ответил я. – Но он весь оттуда, из той, великой русской литературы.

Именно в этом было тут для меня все дело.

Однажды мы с женой оказались в Коктебеле вместе с Вениамином Александровичем Кавериним. Познакомились, общались, разговаривали. Вениамин Александрович в общении с нами был так прост, естественен и откровенен, что жена моя в одном таком разговоре лягнула, что всех современных писателей делит на две категории. Одних считает русскими, а других – советскими.

От этой легкомысленной реплики молодой и, в сущности, совсем ему не знакомой женщины он легко мог отмахнуться, просто пропустить ее мимо ушей. Но Вениамин Александрович отнесся к ней неожиданно серьезно. Помедлив, он сказал:

– Это очень жестоко. Но это правда.

Понял, стало быть, что, приняв такое деление, и сам попадает в разряд «советских». До «русских» не дотягивает.

Эта бестактная реплика моей жены в общем довольно точно отражала и мое представление о том, «кто есть кто» в русской литературе XX века.

Называться русскими писателями (то есть продолжателями той литературы, которая завершилась именами Чехова, Горького, Бунина) могли – Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков. А Фадеев, Федин, Катаев и многие другие, в том числе искренне – с детства – мною любимые (например, Гайдар, Макаренко, да и тот же Каверин) были – советские.

К литературе Гоголя, Толстого, Достоевского они имели примерно такое же отношение (так, во всяком случае, мне это представлялось), как какой-нибудь современный новогреческий Янис Рицис (хороший, кстати, поэт) – к литературе Эскила, Софокла и Еврипида.

В 1968 году вышла небольшая моя книжечка о Маршаке.

Это был не совсем мой выбор. Вернее, из того, что мне было предложено издательством, Маршак был мне ближе других. Но будь моя воля, я тогда охотнее написал бы (в ту же серию) книжку о Заболоцком. Однако и о Маршаке писал искренне и не без удовольствия. Но в конце счел нужным как-то обозначить его место в тогдашней моей шкале ценностей.

Повод для этого представился: то была реплика Льва Касиля на похоронах Самуила Яковлевича.

– **Впервые**, – сказал он, – после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература понесла столь тяжкую утрату.

По официальной тогдашней табели о рангах, наверно, так оно и было. Но, как уже было сказано, у меня была своя табель о рангах, и я попытался более или менее внятно ее продемонстрировать.

Прочитывая патетическую реплику Льва Абрамовича, я написал:

Ему даже в голову не пришло, что после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература потеряла Платонова и Заболоцкого, Зощенко и Пастернака.

Прочитав этот весьма нахальный по тем временам пассаж, мой редактор, ревностно исполнявший свои редакторские (в сущности, цензорские) обязанности, но изображавший при этом человека одних со мною взглядов, лишь транслирующе-го мне волю высокого начальства, сказал:

– Ты же не маленький, понимаешь, конечно, что это у тебя не пройдет.

И предложил – для баланса – вставить в этот мой список Фадеева, благо его смерть тоже укладывалась в те хронологические рамки.

Я категорически отказался.

– Но почему? – искренне недоумевал он. – Хороший ведь писатель!

Я соглашался: да, хороший. Но видишь ли, в чем дело: это моя книга. Вот когда ты напишешь свою книгу, на обложке которой будет стоять твое имя, ты составишь свой список самых крупных наших писателей. И вписывай туда, в этот свой список, хоть Фадеева, хоть Павленко, хоть Вирту. А я не хочу. Не хочу – и всё!

В более подробные объяснения (на счет того, кто русский, а кто советский) я не вдавался.

Словесные эти перепалки продолжались довольно долго. В процессе прохождения книги по инстанциям редактор, делая вид, что искренне желает мне добра, постоянно возвращался к этому сюжету: «Говорю тебе, вставь Фадеева!» Но я не сдавался.

Наконец пришла вторая верстка (так называемая сверка). Книга вот-вот уже должна быть подписана в печать. И тут – телефонный звонок моего редактора.

– Поздравляю. Ты допрыгался. Цензор категорически отказывается подписывать твою книгу. И все из-за этого твоего дурацкого списка. Говорил я тебе, что такая четверка ни за что не пройдет.

– Хорошо, – сказал я. – Оставь только двоих. Все равно кого – хочешь Зощенко с Платоновым, хочешь Заболоцкого с Пастернаком. Или Пастернака с Платоновым. Я согласен на любой вариант.

– Ишь ты, какой умный! Нет, брат, так не выйдет! Давай двух этих и двух других.

– Каких других? – валял я ваньку.

– Говорил я тебе: вставь Фадеева!

В общем, после долгих пререканий мне все-таки пришлось уступить. Был составлен новый список – другая «четверка», в которой рядом с Пастернаком и Зощенко (их мне удалось отстоять) появились два новых имени: Пришвин и Асеев. И хоть от Фадеева, на котором он продолжал упорно настаивать, я отбил, на душе у меня было гадостно. Пришлось все-таки покривить душой. Не с Пришвиным, нет. Пришвин, к которому я был довольно холоден, что ни говори, был русский писатель. А вот Асеев, многие стихи которого я по старой памяти любил, – уж точно советский. И это, конечно, нарушало цельность нарисованной мною картины.

* * *

Да, конечно, и среди современников моих были писатели, принадлежавшие к той, великой русской литературе, продолжавшие ее: Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков... Наконец, неизвестный нам автор «Тихого Дона».

Но это были писатели другой генерации. Все они приняли эстафету – из рук в руки, и не метафорически, а буквально, – от Горького, который обменивался рукопожатиями с Толстым и Чеховым. Преемственная связь между ними и их великими предшественниками не была оборвана.

А тут – неизвестно откуда – вдруг явился (упал с неба) – нико-

му не известный, зрелый, вполне сложившийся и безусловно русский (в том смысле, что не советский) писатель.

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – в этом у меня сразу не возникло никаких сомнений – была явлением той, настоящей русской литературы. И это была не стилизация, не подражание, не попытка воскресить, реанимировать ее (как, скажем, у Юрия Казакова или Беллы Ахмадулиной). Это было прямое – через голову советской – ее продолжение.

Повесть была написана живым народным языком – тем самым, какой я постоянно слышал вокруг, но которого и духу не было в книгах, которые я читал:

Один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

– Фуимется! – поднимется!.. не влияет.

– Хорошо положили, а? За полдня. Без подъемника, без фуемника...

– Шесть их, девушек в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуялице...

И ни малейшего следа еще не было в ней того вымученного, искусственного, мертворожденного «языкового расширения», каким Александр Исаевич стал потчевать нас позже.

Четверть века спустя после явления «Ивана Денисовича», в новые, уже «перестроечные» времена я впервые пересек границу «большой зоны». Первой настоящей моей «заграницей» (страны соцлагеря – не в счет) стала Западная Германия.

Город Кельн. Мы стоим с местной дамой (русского происхождения) на каком-то мосту и я спрашиваю у нее:

– Как называется эта река?

Она спокойно отвечает:

– Эта река называется Рейн.

А вот другая местная дама – на этот раз не русская, а настоящая немка, но прекрасно (она славистка) говорящая по-русски, везет меня на роскошной иномарке вдоль этого самого Рейна.

– А это, – говорит она, – замок нашего графа.

Оглядев очередную средневековую достопримечательность, я спрашиваю:

– А что там сейчас?

Она пожимает плечами:

– Там живет граф.

С такими вот знаниями и представлениями о заграничной жизни я путешествовал по Германии, самостоятельно переезжая из города в город. Добавьте к этому, что по-немецки я знал только несколько слов: «Гитлер капут», «хенде хох», «цурюк» и застрявшее в моем мозгу из школьного учебника – «Анна унд Марта Баден».

Этот богатый словарный запас, как вы понимаете, в моем путешествии никак не мог мне пригодиться. Поэтому на перроне каждого нового города меня встречал какой-нибудь русскоязычный немец, державший в руке, чтобы я легко мог его опознать, журнал «Москва».

Весь этот план моего путешествия – от начала и до конца – разработал всю дорогу издали опекавший меня незабвенный Вольфганг Казак.

В городе Майнце я ночевал у профессора-слависта, который лет тридцать тому назад «выбрал свободу»: сел в Восточном Берлине в метро и уехал в Западный.

Вечером мы с ним хорошо посидели: пили пиво, разговаривали. А за полночь, провожая меня в отведенную мне спальню, профессор спросил, не хочу ли я взять у него почитать что-нибудь на ночь.

Я сказал, что да, конечно, с удовольствием, дома я каждый день привык засыпать с книгой, иначе, пожалуй, и не усну. Но воспользоваться его любезным предложением смогу только в том случае, если у него найдется для меня какая-нибудь русская книга. Он сказал:

– Да вот, пожалуйста, только что мне прислали новый том Солженицына – «Март семнадцатого». Хотите?

Я, конечно, хотел.

Надо сказать, что к солженицынским «узлам» я в то время отнесился уже без всякого интереса. Читать его историческую тягомотину и без того было скучно, а тут еще это его «языковое расширение»... Но раскрыть самую свежую солженицынскую новинку, которая до Москвы когда еще дойдет... Да еще «Март семнадцатого»... О семнадцатом годе я готов был читать всё!

В общем, лег я в мягкую и свежую немецкую постель с томом Солженицына в руках, предвкушая какое-никакое, а все-таки удовольствие.

Раскрыл. Начал читать. И сразу погрузился в сложные отношения государя императора с государыней императрицей. Государь тяжело переживал случившуюся накануне размолвку с женой. А размолвка вышла из-за того, что он, по мнению государыни, недостаточно сурово наказал убийц нежно любимого и глубоко ею почитаемого «старца» (Распутина).

Гнев государыни поначалу был неукротим. Но в последние дни этот ее гнев уже слегка поутих, и – **государь облегчился**.

Так прямо было и написано: «Государь облегчился». В том смысле, что у него стало легче на душе.

Я, конечно, не сомневался, что Александр Исаевич прекрасно знал, в каком значении нынче употребляется этот глагол. Но ему было на это наплевать. Верный владевшей им фанатической идее «языкового расширения», он решил вернуть ему его первоначальный, исконный, прямой смысл.

Понимая всё это, я тем не менее не мог удержаться от улыбки, закрыл книгу и отложил ее в сторону. Решил, что авось удастся как-нибудь заснуть и без нее. И – заснул, чему немало способствовала мягкая немецкая постель, накопившаяся за день усталось, а может быть, даже и выпитое перед сном пиво.

Всё это, напоминая, было спустя четверть века после появления «Ивана Денисовича». И к тому времени причин разочароваться в Солженицыне – и в писательских, и в человеческих его качествах – у меня скопилось уже довольно много.

Но первое разочарование случилось совсем скоро. Года через два.

В октябре 1965 года на страницах «Литературной газеты» появилась статья – тогда еще не опального – Александра Исаевича.

Называлась она так: «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана».

Уже само это название показалось безвкусным: искусственным, натужным, по правде говоря, даже дурацким.

Но еще больше обескуражило меня тогда содержание этой статьи. Речь в ней шла о языке. О русском языке, развитие которого, как уверял автор, с петровских времен пошло куда-то не туда. То есть устная русская речь, быть может, еще и сохранила все свои живые краски, но письменная –

то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своем словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.

Рассуждение это совершенно меня изумило. Ведь как-никак, а именно на этом самом ущербном языке, развитие которого после Петра пошло куда-то не туда, была написана ВСЯ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Тургенев, и Достоевский, и Чехов.

– Ну, что скажете? – помню, спросил я про эту солженицынскую статью у заглянувшего в тот день к нам на огонек Бориса Заходера.

– А что тут скажешь? – развел он руками...

Но прежде чем привести этот хорошо мне запомнившийся его ответ полностью, хочу сказать несколько слов о том, что за человек был Боря Заходер, почему именно его реакция на изумившую меня солженицынскую статью была мне особенно интересна.

* * *

Помню, пришел он к нам в тот день, когда открылся XXIII съезд КПСС. Это был первый партийный съезд после снятия Хрущева, и некоторые наивные люди, на что-то еще надеявшиеся, с интересом ждали новых важных государственных решений. (Поговаривали о каких-то экономических реформах, предлагаемых тогдашним премьером Косыгиным.)

Боря заявился к нам чуть ли не прямо с поезда: только что приехал из Ялты.

– Ну, что слышать? – спросил он после того, как мы обменялись первыми приветствиями. – Что там у них на съезде?.. Я, правда, на вокзале – по радио – услышал одну фразу. Даже полфразы. И всё понял. Так что ничего нового вы мне, наверно, уже не сообщите.

– И какая же, Боря, это была фраза? – с интересом спросил я, не представляя себе, как по одной случайно услышанной даже не фразе, а полуфразе ему удалось сразу понять, чего нам всем надо ждать от этого их съезда.

– А фраза была такая, – сказал Борис. И с видимым удовольствием процитировал: – «Мы будем и впредь».

Полностью эта ритуальная фраза, наверно, звучала как-нибудь так: «Мы будем и впредь крепить нерушимую дружбу народов нашей страны». Или: «Мы будем и впредь отстаивать дело мира во всем мире».

Оборвав её на половине и – мало того! – поставив точку там, где должно было бы стоять многоточие, Борис превратил эту полуфразу в законченную формулу, которая обрела совершенно новый смысл – не только иронический, но даже жутковатый.

Формула «Мы будем и впредь» – с точкой на конце – означала не только то, что они будут и впредь продолжать гонку вооружений, раздувать пламя холодной войны, поддерживать все бандитские режимы, какие только есть на нашей планете, пестовать и обучать террористов, разрушать экономику страны и издеваться над собственным народом. Ритуальная фраза эта – именно вот в таком, усечённом виде – адекватно выразила самую суть уникальной нашей советской системы. Суть, состоящую не столько даже в том, что это была **система без обратной связи**, сколько в том, что единственным исключением из этого правила, единственным доступным ей проявлением этой самой обратной связи было как бы изначально встроенное в нее устройство, автоматически отбрасывающее любое начинание, несущее в себе угрозу какого бы то ни было – пусть даже не очень значительного – изменения, улучшения этой самой системы.

* * *

Я так подробно остановился на этом вдруг припомнившемся мне эпизоде, потому что в нем, как мне кажется, замечательно выразилась всегда восхищавшая меня способность Бориса не только проникать своим мощным ироническим умом в самую суть сложных вещей и явлений, но и выражать свое понимание этой сути с совершенно поразительной простотой, легкостью, свободой и каким-то особым, только ему одному свойственным изяществом.

Вот и сейчас тоже, – задав ему свой вопрос о только что прочитанной солженицынской статье, я ждал, что он ответит на него как-нибудь вот так же: коротко и – убийственно.

И дождался.

– Ну что тут скажешь? – задумавшись, начал он.

И вдруг, оборвав себя, смеясь, процитировал из письма Белинского Гоголю:

– Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов! Что Вы делаете!

К таким обобщениям я был тогда еще не готов. Да и Борис сказал это, как говорится, в тоне юмора. То есть – в шутку.

Но чем дальше, тем чаще я вспоминал эту заходеровскую шутку, находя в ней всё большую и большую долю правды.

2

Неподалеку от нас, близ метро Сокол, в Чапаевском переулке жила очаровательная молодая женщина Вероника Туркина с мужем Юрой Штейном и двумя маленькими тогда дочками. Вероника была родственницей Солженицына – двоюродной сестрой его первой жены Натальи Решетовской.

Но дело бы не в родстве.

Вероника была предана Александру Исаевичу всей душой, и он тоже искренне любил ее. А влюбленность ее мужа Юры в «Саню», как они по-родственному его называли, его преданность этому своему свойственнику принимала порой такие гипертрофированные и даже пародийные формы, что впоследствии этот самый Юра Штейн стал одним из прототипов Лео

Зильберовича – комического персонажа романа Войновича «Москва 2042».

Но во времена, о которых я рассказываю, до этого было еще далеко. И тогда слепая преданность Юры Солженицыну вовсе не казалась нам заслуживающей осмеяния.

Их дом в то время был для Александра Исаевича его главным, а может быть, даже и единственным московским пристанищем.

Приезжая из Рязани в Москву, «Саня», как с легкой руки Вероникиного семейства мы тоже стали (между собой, конечно) называть Александра Исаевича, неизменно останавливался у Штейнов и – более того – через них осуществлял многие свои тогдашние начинания. О том, какие это были начинания, станет ясно в дальнейшем, пока же скажу только, что А.И. в то время, о котором я рассказываю, уже вышел на тропу войны с советской властью, и даже самые невинные из этих его мероприятий были совсем не безопасны для тех, кто брался ему помогать. Но ни Веронику, ни Юру это нимало не заботило. Юру мы меж собой называли «связным» (он постоянно мотался между Чапаевским и нашим «Аэропортом», выполняя разнообразные поручения «Сани»), и эту добровольно им на себя взятую роль «связного» он исполнял так бурно и шумно, что ни о каком соблюдении хоть самых минимальных правил конспирации не могло быть даже и речи.

Довольно беспечен по части конспирации был в то время и сам ступивший на тропу войны Исаич.

Был, например, такой случай.

В какой-то момент он добился встречи с Петром Нилычем Демичевым, который был тогда секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. А.И. – так ему во всяком случае показалось – сумел охмурить высокого партийного функционера. По-зековски уйдя в глухую несознаку, он вроде убедил его в полной своей лояльности. Вернувшись домой (то есть к Веронике и Юре), он с упоением рассказывал, как ловко удалось ему запудрить мозги и навесить лапшу на уши высокопоставленному партийному болвану. А в квартире Штейнов тогда уже была установлена прослушка, и вся эта его хвастливая речь была записана. По-

лагаю, что прослушавшее плёнку кагебешное начальство не отказало себе в удовольствии дать ее послушать и самому герою (то есть Демичеву), что, конечно, не вызвало у того прилива симпатий к нагло обманувшему его, затаившемуся антисоветчику.

Назвать хотя бы приблизительную дату этого «Саниного» прокола сейчас я, конечно, не могу. Помню только, что это было, когда «связной» Юра уже наладил с нами прочную и постоянную связь. Стало быть, к тому времени мое – сперва заочное, а потом и очное – знакомство с Александром Исаевичем уже состоялось. А начало этого знакомства, наверно, можно датировать январем, самое позднее – февралем 1967 года. Во всяком случае, на подаренном мне Александром Исаевичем отдельном – «совписовском» – издании «Одного дня Ивана Денисовича» значится:

Бену Сарнову

С искренним расположением

20. 3. 67.

Стало быть, в это время я уже был для него не «Бенедиктом Михайловичем», а – «Беном».

Это, впрочем, ничего не значит: книжка ведь не была вручена мне автором лично, а передана через Веронику или Юру. От них он и перенял это домашнее, приятельское, почти дружеское сокращение моего имени. Так что, приводя здесь эту его дарственную надпись, на короткость, а тем более близость наших отношений я отнюдь не намекаю.

Никакой короткости и не было. Но отношения – были.

В то время скопилась у меня довольно толстая пачка адресованных мне коротеньких записочек Александра Исаевича. Пытаясь сейчас разыскать из них хоть некоторые, я обнаружил, что сохранились только две. Остальные куда-то канули.

Надо было бы, наверно, к этим его записочкам отнести с большим почтением. И так бы, наверно, я к ним и отнесся, если бы их у меня было всего несколько. Но поскольку было их много, и были они довольно однообразны, даже, я бы сказал, однотипны, а главное – потому что были они для меня тогда

не каким-то там чрезвычайным событием, а частью повседневного тогдашнего моего быта, – мне и в голову не пришло, что не мешало бы сложить их все в отдельную папку с надписью «Хранить вечно». Я ведь тогда не знал – даже и думать не думал! – что буду писать мемуары.

Впрочем, для мемуаров мне хватит и тех, что сохранились.

Может быть, хватит даже и одной, самой короткой.

Это – узкая бумажная полоска, на которой – под копирку – (мне достался явно не первый, в лучшем случае второй экземпляр) напечатано:

В редакцию «Литературной газеты»

Копия – журнал «Новый мир»

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей искажительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России.

Солженицын.

Рязань, 12 декабря 1968 г.

А слева, в самом углу этой машинописной полоски – от руки – было вписано:

Бенедикту Сарнову
с благодарностью
и большим расположением

А. Солженицын.

18. 12. 68.

Такая же, только еще более узкая бумажная полоска «с благодарностью и большим расположением» была передана мне от Александра Исаевича, когда я поздравил его с получением – вернее, с присуждением ему – Нобелевской премии.

Как и первую, и все остальные – сугубо деловые – доставил мне ее «связной» Юра.

Но к тому времени я давно уж и сам стал «связным».

То и дело Юра притаскивал мне целую пачку различных солженицынских писем и записок (иногда с довольно длинными приложениями), адресованных членам Союза писателей, проживающим в нашем микрорайоне. А я уж – соответственно – должен был передать их по назначению.

Что я и делал.

Для наглядности приведу одно и такое письмо (второе из тех двух, что у меня сохранились). Не полностью, конечно, а только самое его начало и конец.

Начиналось оно так:

Члену Союза Писателей СССР

Сарнову Б.М.

Скоро год, как я послал свое безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор еще дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничего не изменилось...

А вот – как заканчивалось:

Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилагающихся писем и высказываний – чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата 22.9.67, записанное лично мною, разумеется, не полно, но совершенно достоверно, и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

16.4.68.

Солженицын.

Приложения:

1. Мое письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67.
2. Изложения заседания в Секретариате 22.9.67.
3. Письмо К. Воронкова 25.11.67.
4. Мое письмо в Секретариат 1.12.67.

Я не привожу это письмо полностью, потому что оно, как и все прочие письма Александра Исаевича, отражающие его «бодание с дубом», разумеется, опубликовано. Все они в совокупности составляют целый (шестой) том изданного «Посевом» собрания его сочинений. Я уже и тогда понимал, что не такой он человек, чтобы не сохранить всю эту свою переписку – для истории. Потому, наверно, сам и не счел нужным хранить все его письма и записки.

Как и предыдущее, это письмо было напечатано на машинке – под копирку. И мне опять достался второй – если не третий – экземпляр. Рукой Александра Исаевича было вписано только: «Сарнову Б.М.», его подпись и дата.

Примерно таковы же были и все другие его – подобные – письма.

Но иной раз попадались среди них и личные. Ну, не совсем личные, конечно, – но не такие стандартные.

Особенно запомнилась мне пачка бумажных полосочек, адресованных тем, кто поздравил его с присуждением Нобелевской премии.

Читать записки, адресованные не мне, а тем, кому я должен был их передать, я, понятное дело, не стал. Но мне сразу бросилось в глаза, что полоски эти – разного размера. Кому – совсем узенькие, в две-три строки. А кому (например, Солоухину) чуть ли не на полстраницы.

Помню, жена спросила меня:

– Что он тебе написал?

– Я получил «Знак почета», – ответил я, имея в виду, что кое-кому (тому же Солоухину, например) по той солженицынской субординации достался орден Ленина, а может быть, даже и высокое звание Героя Социалистического Труда.

То же и Слуцкий. До Солоухина он, конечно, не дотянул, но, судя по размеру предназначавшейся ему бумажной полоски, он удостоился ордена Красного Знамени.

А вот мне, стало быть, – «Знак почета». («С благодарностью и большим расположением»). Что ж, хорошо еще, что не медаль «За боевые заслуги». («За боевые услуги», как называли ее фронтовики.)

Запомнился мне еще один эпизод, определивший мое – уже

тогда – слегка ироническое отношение к Александру Исаевичу.

Позвонил мне незнакомый человек. Представился. Он – художник. Написал портрет Солженицына. Хотел бы подарить его Александру Исаевичу, но не знает, как это сделать. Не могу ли я каким-то образом ему в этом поспособствовать.

Я сказал, что могу.

Художник принес портрет и показал его мне.

На большом листе ватмана – то ли углем, то ли тушью – крупным планом было запечатлено лицо Александра Исаевича. Лоб его – как шрам – пересекала колючая проволока.

Портрет, хотя и лежал на нем некоторый отпечаток эстетики соцреализма, мне, в общем, скорее понравился, и я – через Юру или Веронику – переправил его «Сане».

Ответ пришел скоро.

Адресован он был, разумеется, не мне, а прямо и непосредственно художнику. Но текст этого ответа я помню дословно, поскольку художник, прочитав его, поделился со мной своим недоумением, которое я не мог не разделить.

Александр Исаевич писал, что за портрет благодарит, но с концепцией его решительно не согласен. «По-моему, – объяснял он свое несогласие, – не она – меня, а я – её».

Имелась в виду, разумеется, колючая проволока.

Между тем мужественное, волевое, гораздо более мужественное и волевое, чем в жизни, лицо Солженицына, изображенное художником, не оставляло ни малейших сомнений в том, что именно «он – её, а не она – его».

Такая очевидная слепота нашего кумира, явно порожденная его упоением собой и своей мессианской ролью, довольно сильно обескуражила тогда не только бедного художника, хотевшего «как лучше», но и меня тоже.

Выражение «нашего кумира» я тут употребил, конечно, не без иронии. Но это – самоирония. Ирония, направленная на себя.

Кумиром в полном смысле этого слова он и тогда для меня, конечно, не был. Но несомненным лидером, вождем, безусловно был. И я, и мои друзья каждое его обращение к нам принимали как руководство к действию. Не потому, конечно, что слепо подчинялись его воле, а потому, что всё, что он делал и побуждал делать нас, представлялось нам не просто правиль-

ным, а – необходимым. Мы удивлялись, что сами не додумались до этих простых решений, и были счастливы, что нашелся наконец человек, который всё решает за нас.

Из всех этих его обращений с особым энтузиазмом было встречено нами его «Письмо IV съезду писателей СССР». Оно было адресовано:

В Президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов

Как обстояло дело с членами Президиума съезда, делегациями и редакциями литературных газет и журналов, я не знаю. Но до нас это его «Письмо» дошло тем же путем, что все предыдущие и последующие. «Связной» Юра принес мне полтора десятка машинописных копий, на каждой из которых рукой Исаича было написано: «Члену Союза Писателей СССР такому-то». Может быть, были у него еще и другие «связные», кроме Юры, – не знаю. Но та пачка копий, которая попала ко мне и моим друзьям, сразу превратила нас в «инициативную группу», мгновенно сообразившую, как нам всем надлежит действовать, и тотчас же принявшуюся за осуществление этой программы.

Вдвоем с моим другом Борей Балтером мы сочинили свой текст обращения к съезду. Показали его ближайшим друзьям – Фазилу, Володе Войновичу, Володе Корнилову, Лёве Левицкому, Васе Аксенову, Эмке Манделю (Коржавину), Булату. Все они, кроме Эмки и Булата, жили в том же доме, что и мы с Борей. Был там в этой нашей компании даже один ленинградец – близкий друг Лёвы Левицкого Толя Соснин, оказавшийся в тот день в Москве и принявший в нашем предприятии самое деятельное участие.

Собрались мы в просторной балтеровской квартире и вслух зачитали друзьям наш текст, в котором выплеснули всё, что у нас к тому времени накопело и по поводу цензуры, и по поводу общего положения дел в литературе, и по поводу так называемого партийного руководства литературой и искусством.

Накопело не только у нас с Борей, и весьма запальчивая эта наша прокламация почти всеми нашими друзьями была бурно одобрена.

Но слегка отрезвев, мы подумали, что текст ее так резок, что кроме нас – семерых или восьмерых – никто ее не подпишет.

После долгих и довольно бурных дебатов мы с Борей перебазировались на квартиру Лёвы Левицкого, обстановка которой больше располагала к спокойному обсуждению: Лёва жил один, и его квартира не была таким «проходным двором», как квартира Балтера.

Спор, однако, продолжился и там. Боря упрямо настаивал на самом резком варианте, который внятно сказал бы начальству, что от цензуры задыхается большинство писательской братии, а не два-три строптивца. Я готов был поступиться кое-какими резкими формулировками. А Лёва – так же горячо, как Боря, отстаивал свой вариант – доказывал нам, что письмо должно быть предельно взвешенным, умеренным по тону и – совсем коротким.

В результате у нас – теперь уже троих – родился такой текст:

Письмо А.И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьезный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества.

Только открытое обсуждение письма, обеспеченное широкой гласностью, может явиться гарантией здорового будущего нашей литературы, призванной быть совестью народа.

Сообщить свою точку зрения съезду мы считаем своим гражданским долгом.

Этот новый наш текст не был ни лживым, ни даже фальшивым. Но толика лукавства и даже некоторой демагогии в нем все-таки была.

Ни о каком «достоинстве нашего общества» мы, конечно, не думали. (Какое уж тут достоинство!) И ни в какое «здоровое будущее нашей» (то есть – советской) литературы давно уже не верили. Ясно понимали, что литература, «призванная быть совестью народа», ни с каким партийным руководством

и ни с какими решениями никаких съездов и никаких Секретариатов несовместима. И в первом – забракованном нами – тексте ничего подобного не было. То был – просто вопль: «Перестаньте нас душить!»

Но нам – повторяю – надо было собрать под нашим обращением как можно больше подписей: ведь именно для этого обратился к нам Александр Исаевич. И тут уж надо было тщательно соблюдать все давно уже обрыдшие нам «правила игры». Чтобы не отпугнуть всех мысливших более ортодоксально, чем мы, – или тех, кто думает так же, как мы, но не захочет закидывать свой «чепчик» слишком далеко «за мельницу».

Сочинив этот – более лояльный – текст, мы решили прежде всего добыть подписи от двух-трех корифеев, принадлежащих к уже почти вымершей плеяде «основоположников» советской литературы. Рассчитывать в этом случае мы могли только на двоих: Паустовского и Каверина.

К Паустовскому поехал Боря Балтер, и Константин Георгиевич без звука поставил под нашей декларацией свою подпись.

К Каверину мы поехали втроем: сейчас уже не помню, кто еще был в составе той «делегации». Помню только, что Бенедикт Александрович, сразу подписав наш текст, выразил сожаление, что среди делегатов съезда наверняка не найдется ни одного, кто посмел бы хоть слово сказать о солженицынском письме со съездовской трибуны.

– Ну, а вы, например? – робко заикнулся я. – Ведь не посмеют же они не дать вам слова, если вы попросите?

Он только засмеялся в ответ и махнул рукой: мол, еще как посмеют!

Забегая слегка вперед, не могу не рассказать о том, какую службу сослужили нам имена Паустовского и Каверина не только при сборе остальных подписей, но и потом, когда письмо уже было отослано по адресу, и прозвучало по всем «вражеским» радио голосам, и началось очередное разбирательство с «подписантами».

В этот раз, правда, особых разбирательств вроде не было. Настоящие кары на подписантов обрушились позже и совсем по другим поводам. Но у людей служилых неприятности вполне могли быть.

О себе, например, уже, так сказать, постфактум, я узнал такое.

В то время я был членом редколлегии одной из студий Мосфильма. И вот однажды директор нашей студии («объединения», как это тогда называлось) Юра Солдатенко вдруг мне говорит:

– У меня на днях был о тебе разговор с Баскаковым.

Баскаков тогда был первым замом министра кинематографии (точнее – Председателя Госкино СССР), и наш директор Юра все новости и сплетни государственного значения приносил нам обычно, ссылаясь на очередную, последнюю свою встречу именно с ним.

Однажды, например, на заседании нашей редколлегии он вдруг сказал:

– Внимание, товарищи! Я вчера был у Баскакова, и Владимир Евтихианович просил меня передать вам следующее. Скажите, говорит, вашим членам редколлегии, чтобы свои антисоветские взгляды они держали при себе. Их взгляды – это их личное дело. А зарплату мы им платим за то, чтобы они защищали интересы советской власти. Так прямо им и передайте!

Ну и ну, подумал я. Сильно, однако, как любил, бывало, говорить мой отец, «жидивьска вера полегчила». Вот уже, оказывается, даже антисоветские взгляды нам дозволено иметь. При условии, правда, что мы не станем руководствоваться ими, оценивая проходящие через нас фильмы и сценарии.

И вот, значит, у этого самого Баскакова был с нашим Юрой разговор обо мне.

– Что за разговор? – спросил я.

– «Вот! – начал он орать. – Ваша редколлегия! Что у вас за редколлегия!» – А я ему говорю: «А что? – говорю, – редколлегия у нас очень хорошая! Авторитетные, высококвалифицированные люди». – «Да, – говорит, – квалифицированные... А Сарнов?» – Я говорю: «А что Сарнов?» – «Да ведь он же подписал это наглое письмо в защиту Солженицына!» – «А-а», – говорю. Ты же знаешь, я тоже хитрый еврей. (Никаким евреем наш Юра Солдатенко, конечно, не был, но он любил именно так аттестовывать свои деловые качества.) – «А-а, – говорю. – Вы про это. Ну, на эту тему я с Сарновым разговаривал. Он мне

всё объяснил... Понимаете, говорит, это письмо подписали мои учителя – Паустовский и Каверин. И после них мне уже было неудобно его не подписать».

Как сказано у Гоголя – «подивился Тарас бойкой жидовской натуре!». Вот так и я – подивился изворотливому «еврейскому» уму нашего Юры Солдатенко (ничего подобного, как вы понимаете, я ему не говорил, да и вообще никакого разговора о моем «подписанстве» у меня с ним не было).

– Ну и что? – спросил я у него. – Что на это ответил тебе Баскаков?

– «А-а, – сказал. – Ну, это я как раз понять могу».

Сейчас, когда я вспомнил этот давний разговор и записал его, мне вдруг пришло в голову, что наш директор Юра Солдатенко, сам того не подозревая, защитил меня совершенно так же, как Пушкин отвечал за себя в том знаменитом своем разговоре с царем.

На вопрос Николая Павловича, с кем был бы он 14 декабря, ответил:

– Все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них.

И Николай Павлович, вероятно, реагировал на это признание примерно так же, как на солдатенковское объяснение моего поступка – Баскаков.

Я, как вы понимаете, бесконечно далек от того, чтобы сравнивать себя с Пушкиным, а зампреда Госкино с императором и самодержцем всероссийским. Но сходство коллизий, что ни говори, – красноречиво. И как ни ничтожна и даже пародийна моя коллизия в сравнении с пушкинской, очевидное сходство это говорит о многом.

А вот – другая история на сходную тему: мне рассказал ее Юра Карякин.

Примерно тогда же, в конце 60-х, его исключили из партии. В основном за то, что в каком-то своем публичном выступлении он сказал о Сталине: «Черного кобеля не отмоешь добела». Ссылаясь на постановление XX съезда о культе личности и его последствиях, Юра стал «качать права» и добился рассмотрения своего дела в самой высокой партийной инстанции – Комитете партийного контроля при ЦК КПСС. В конце концов

в партии его оставили, он отделался строгим выговором. («Получил строгача – ну и ладушки», как пел в знаменитой своей песне Галич.) Но разбирательство было суровое. Обвиняемому шили и другие его политические грехи, в частности – «связь с Солженицыным». На это обвинение Юра ответил коротко, сказав, что Солженицын его друг. Но упыри не унимались, требовали, чтобы он подробно объяснил, как могло случиться, что он, коммунист, не разглядел в Солженицыне врага нашего строя. И тут вдруг – для Юры совершенно неожиданно – в дело вмешался сам глава этой «кабалы святош» – Арвид Янович Пельше.

– Но ведь он же сказал: Солженицын его друг, – осадил он соратников, и этой короткой репликой окончательно закрыл тему: упыри отстали.

Вот какие понимающие, душевно тонкие люди попадались тогда даже среди самых высоких партийных функционеров. Впрочем, этого их понимания и душевной тонкости хватало лишь до того момента, пока с еще более высокого верха им не спускали распоряжения разобраться с обнаглевшими интеллигентами покруче, со всей большевистской непримиримостью.

Вернемся, однако, к нашему сюжету.

Заручившись подписями двух «основоположников», мы стали думать, к кому бы еще обратиться. Вперед надо было пустить тех, кого паше высокое начальство хоть отчасти может считать «своими». С кем, во всяком случае, не так-то просто будет им не посчитаться. Так в нашем списке появились еще два «паровозика»: Володя Тендряков и Гриша Бакланов. Дальше уж мы решили, что теперь можем наконец расписаться и сами. «Мы» – это Войнович, Корнилов, Балтер, Фазиль, Вася Аксенов, Юра Трифонов, Эмка, Лазарь Лазарев, Юра Давыдов, Ася Берзер, Инна Борисова.

Но и после этого мы не отважились пустить дело на самотек: стали думать о том, чтобы в списке нашем были и писатели другого, старшего поколения. Среди них тоже были у нас «свои»: Александр Константинович Гладков, Арсений Александрович Тарковский, Шера Шаров, Сергей Александрович Ермолинский, Николай Давыдович Отген, Л. Пинский. В этих мы не сомневались. Но были и другие, в ком мы не были так уверены: Аникст, Смирнов-Черкезов. Их подписями мы особенно гордились.

В общем, была у нас своя тактика и даже стратегия.

Стратегия, помимо всего прочего, состояла еще и в том, чтобы список наш был по возможности широк. Чтобы он не состоял из имен писателей, так сказать, одного направления. То есть чтобы, пусть даже при явном преобладании «наших», были там еще и «не наши».

Эта задача тоже была выполнена – за счет подписей Солоухина, Бориса Можаяева и даже таких бесконечно чужих и далеких нам фигур, как Бог знает в кого превратившийся мой старый институтский однокашник Володя Бушин и совсем уже непонятно как попавший в компанию «подписантов» Ю. Стрехнин. (Позже я узнал о его роли в «процессе исключения» из СП Саши Галича. Четверо из семи участников тайного голосования были против его исключения. Но Стрехнин, который был там у них за главного, заставил переголосовать и в неумеренном своем стремлении выслужиться перед начальством добился, что во второй раз решение было принято уже единогласно.)

Соображениями «широты» нашего списка особенно был озабочен примкнувший к нам Володя Амлинский. Он был из молодых. Но – мальчик, что называется, карьерный. Кажется, уже тогда входил в какие-то управленческие структуры. Одним из многочисленных секретарей Московского отделения СП он стал, наверно, позже. Но членом Правления наверняка был уже тогда.

Вот этот Володя Амлинский мне и говорит:

– Давай пойдем к Штейну!

– К какому Штейну? – удивился я. Подумал: к Юрке, что ли? Но заходить к Юрке (нашему «связному») нам никакой необходимости не было, поскольку он то и дело возникал в нашей компании, возбужденно выкрикивая какие-то бессмысленные лозунги: «Собирай народ!», или еще что-нибудь в этом же роде.

– К Александру Петровичу, – объяснил Амлинский.

Александр Петрович Штейн был преуспевающий, давно и хорошо вписанный в систему, сервильный драматург, автор довольно знаменитой в сталинские времена поганенькой пьесы «Суд чести». Стратегическую ценность этого предложения Амлинского я, конечно, оценил: заручиться подписью такого

человека было бы совсем недурно. Но дело это было, на мой взгляд, совершеннодохлое.

– Да ни за что он не подпишет, – сказал я.

– А вот подпишет! – настаивал Амлинский.

И мы пошли.

Александр Петрович предстал перед нами в каком-то неописуемом пурпурном халате, провел в свой кабинет, усадил в ампирные кресла, а сам уселся за письменный стол, за которым не стыдно было бы сидеть Людовику Четырнадцатому.

Прочитав имена писателей, которые уже поставили под нашим воззванием свои подписи, он сказал:

– Нет, этого письма я подписать не могу. У вас ведь тут нет ни одного коммуниста!

– Как! – возмутился я. – А Балтер!

Наверняка были уже тогда в нашем списке и другие – единичные в поле зрения – имена членов правящей партии. Вот хоть тот же Боря Слуцкий. Или – в ту пору еще не исключенный из железных рядов – Гриша Свирский. Но мне почему-то в тот момент вспомнился только Балтер.

– Балтер? – недоверчиво хмыкнул знаменитый драматург. И, ни слова больше не сказав, подвинул к нам по полированной поверхности своего антикварного стола наш бедный список.

В общем, ушли мы с Амлинским от Александра Петровича Штейна несолоно хлебавши. А в памяти моей от того визита осталась только эта его фраза о коммунистах в сочетании с барским пурпурным халатом и столом Людовика Четырнадцатого.

Кстати, о коммунистах.

Шли мы в те дни втроем – я, Эмка Мандель и Володя Корнилов – по нашей Аэропортовской и наткнулись на Сашу Межирова. Импульсивный Корнилов тут же, с ходу, предложил ему поставить на нашей бумаге и свою подпись.

Опыт к тому моменту у нас был уже большой. Некоторые сразу – без разговоров – оставляли на нашем воззвании свой автограф. Другие делали это явно труся, но не умея отказать. Были и осторожно увиливающие, говорящие, что в «коллективке» принимать участие не хотят, но напишут от себя, личное, персональное послание на эту тему. Лучшее всех поступил Александр Яшин. Вдоволь хлебнувший за свои «Рычаги» и

«Вологодскую свадьбу», он честно сказал Тендрякову и Бакланову, предложившим ему подписать наше письмо:

– Нет, ребята! Не обижайтесь. Вы еще не знаете силу этой системы.

И рассказал анекдот.

В квартире потек кран на кухне. Пришел слесарь, починил. Но тут потек кран в ванной. Починил и этот. Тогда снова потек кухонный кран.

– Нет, так ничего у нас не выйдет, – сказал слесарь. – Всю систему надо менять.

Но реакция Саши Межирова была не похожа на всё, с чем нам приходилось сталкиваться.

– Я, – сказал он, по обыкновению слегка заикаясь, – в п-п-пионерской организации не состою.

– Знаем, знаем, – не полез за ответом в карман Эмка. – Ты состоишь в другой.

А Корнилов не отказал себе в удовольствии крикнуть вслед удаляющемуся от нас Межирову:

– Коммунисты, вперед!

Так что Александр Петрович Штейн как в воду глядел: с коммунистами (то есть с членами партии) у нас и в самом деле был некоторый напряг.

И тем не менее дело двигалось. Список наш рос не по дням, а по часам, и число подписавших его уже перевалило на седьмой десяток.

Мы были одержимы стремлением довести его до сотни: нам почему-то казалось, что тут и магия чисел имеет значение. Но некоторым из нас было уже невтерпеж.

Особенно нетерпелив был Володя Корнилов. И не только потому, что боялся опоздать. Он вообще не руководствовался никакими рациональными соображениями и доводами. Просто таков был его характер.

Однажды он рассказал мне, что когда служил в армии, их, са-лаг, – в противогасах – загнали в какой-то сарайчик, где они должны были провести какое-то – положенное по условиям задания – время.

Корнилов дожидаться истечения заданного срока не стал, в первую же минуту сорвал с себя противогаз, вышиб запертую дверь сарайчика и вырвался на свежий воздух.

Так же он действовал и в других жизненных ситуациях.

Вот и сейчас, не дожидаясь, пока мы закончим свои тактические и стратегические игры, он уговорил двух друзей – Войновича и Феликса Светова – отправить в Президиум съезда телеграмму.

Телеграмма была такая:

Москва
Воровского 52
Четвертому съезду советских писателей.

Поддерживаем письмо Александра Солженицына. Настаиваем на обсуждении письма съездом.

Члены Ордена Ленина Союза Писателей СССР
Владимир Войнович
Владимир Корнилов
Феликс Светов

Ироническое – я бы даже сказал издевательское – «члены ордена Ленина» (как раз в это самое время Союз писателей был удостоен этой высокой правительственной награды) наверняка придумал Войнович.

Как бы то ни было, телеграмма была отправлена. А вскоре, доведя число «подписантов» до восьмидесяти, отправили наше послание съезду и мы тоже.

3

Всё рассказанное выше относится ко времени моего заочного знакомства с Александром Исаевичем.

Очное состоялось чуть позже и вызвано было обстоятельствами, можно сказать, экстраординарными.

Впрочем, формально мы с ним и до этого были уже знакомы: познакомились на обсуждении «Ракового корпуса», где я к нему подошел, назвался и поблагодарил за подаренную мне книгу, а он в ответ произнес несколько вежливых фраз, из которых мне запомнилась только одна, смысл которой состоял

в том, что в натуре я оказался гораздо более молодым, чем это представлялось ему издали.

Было еще несколько мимолетных встреч, о которых упоминать не стоит.

А вот о той, с упоминания о которой я начал эту главку, пожалуй, стоит рассказать подробно.

* * *

Мы сидели с Войновичем на ветхом, продавленном его диване и играли в шахматы. Раздался телефонный звонок. Звонила, как я и думал, моя жена. Но, вопреки моим ожиданиям, она не стала требовать, чтобы мы немедленно пресекли наше шахматное безумие, потому что дома полно дел, с которыми она не может справиться без меня, – а каким-то, совсем не свойственным ей в подобных случаях, я бы даже сказал кокетливым тоном произнесла:

– А у нас Юра!

Положение на доске было для меня крайне неблагоприятное, и целиком погруженный в свою шахматную мысль я даже не сразу понял, о каком Юре она говорит. Да и потом, когда трубку взял Юра, я тоже не сразу сообразил, что это – наш «связной» и у него ко мне, судя по всему, какое-то важное дело. Положение мое (я имею в виду шахматное) стало тем временем уже совсем угрожающим, и потому я слушал его вполуха.

Юра сказал, что у него ничего срочного, спешности никакой. Но вообще, он хотел бы меня повидать.

– Когда освободишься, зайди к Лёве, – закончил он. – Договорились? Ну и отлично. Мы тебя ждем.

Увлеченный шахматами, я даже не обратил внимания на это «мы», хотя потом, задним числом, вспомнил, что произнесено оно было как-то особенно многозначительно. С некоторым, я бы сказал, нажимом.

А на квартире у Лёвы Копелева, куда я должен был заглянуть, когда освобожусь, тем временем происходило следующее. (Об этом мне потом рассказал главный виновник всего этого переполоха – Эмка.)

Александр Исаевич ходил по комнате, время от времени взглядывая на часы, и это несколько нервное его ожидание невольно

заражало всех при том присутствующих. А присутствовали там, если не считать хозяина квартиры, – «связной» Юра и Эмка.

Эмка сказал:

– Александр Исаич! Да вы не волнуйтесь, сядьте. Я этих людей знаю: пока они партию не кончат, он не придет.

Александр Исаевич пробурчал что-то неодобрительное по нашему адресу и продолжал мерить шагами паркет Лёвиного кабинета.

Но тут надо наконец рассказать о том, по какой причине я вдруг так срочно ему понадобился.

В книге А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» об этом сказано так:

... необъяснимым путем вырвался в «Ди Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей», и обещалась вскоре вся поэма! Это удалось остановить... Но тут слух пришел, что и в Москве поэму уже читают. Я кинулся со следствием по Москве, разъяснилось: некие добродей из членов СП, считавшие опасным меня защищать, для меня после исключения считали уже не опасным ничто и решили... распространять «Прусские ночи».

«Некие добродей из членов СП» – это, наверно, отчасти и про меня. Но даже если не про меня, всё равно я должен решительно заявить, что никаких таких «добродеев», которые что-то такое «считали» и, посчитав, что-то такое «решили», на самом деле не было.

А вот утечка действительно произошла.

Случилось это так.

Пришла однажды ко мне наша давняя приятельница и соседка Мима Гребнева и говорит:

– Хочешь поэму Солженицына почитать?

Еще бы! Конечно, я хотел.

Читать при ней, наспех, мне не хотелось, и я уговорил ее оставить мне рукопись на один день.

Мима от солженицынской поэмы была в восторге. Именно этот восторг и побудил ее, нарушив все правила конспирации, показать поэму мне и даже оставить ее у меня на целые сутки. Я же, прочитав её, по правде сказать, особого восторга не ис-

пытал: стихи, как мне показалось, – не его, Солженицына, стихия. Хотя были там и яркие, талантливые строчки. Некоторые даже навсегда впечатались в мою память. Например, вот эти:

Жданов с платным аппаратом,
Шагинян, Сурков, Горбатов,
Главный фокусник – Илья...
Мог таким бы стать и я.

Прочел я эту поэму и совсем было уже собрался отнести ее в соседний подъезд Миме, но помешал Мандель. Он появился, как всегда, без предупреждения, без телефонного звонка. То есть телефонный звонок был: он позвонил снизу, из подъезда, и сказал, что едет ко мне из своего Беляева. Не прошло и минуты, как раздался звонок в дверь нашей квартиры, и Эмка, очень довольный тем, как он меня (снова, уже не в первый раз) разыграл, радостно возгласил с порога:

– Мимо тещино дома я без шуток не хожу...

Эта шутка у него была постоянной. Как постоянной была и фраза, которой он объяснял обычно свою манеру приходить к кому-нибудь из друзей, живущих в нашем доме, с самого утра и сидеть чуть ли не до вечера. Если друг, которого он осчастливил своим визитом, пытался дать ему понять, что хотел бы хоть час-другой посидеть за письменным столом, – нельзя же целый день провести в праздной болтовне, надо ведь и работать, – Эмка отвечал:

– Понимаешь, солнышко! Тот день, когда я еду в поликлинику, он у меня уже все равно пропал...

Вот и в этот раз, поняв, что день уже все равно пропал, я решил отложить свой визит к Миме до вечера. А потом, подумав, что не дать Эмке поэму Исаича, которого он боготворил, было бы просто подло, сказал:

– Хочешь поэму Солженицына прочесть?

Конечно, он хотел.

Ну, а дальше события развивались стремительно. Прочитав поэму, Эмка, вопреки всем моим ожиданиям, задерживаться у меня не стал, а сразу куда-то заторопился. И, как это всегда бывает с людьми, отмеченными перстом Божиим, выйдя от меня

и пройдя буквально несколько шагов, наткнулся на Солженицына.

– Александр Исаич! – радостно заорал он. – А я только что вашу поэму читал!

– Что?.. Как?.. Где?

– У Сарнова...

Вот так и вышло, что Александр Исаевич пожелал немедленно со мной встретиться.

Надо сказать, что эта – на сей раз не такая мимолетная, как все предыдущие – встреча с ним произвела на меня совершенно огушительное впечатление. И отнюдь не только потому, что на меня действовал гипноз его имени. Этот человек мог произвести (и наверняка производил) такое впечатление задолго до того, как имя его стало живой легендой.

Он тогда только начал отпускать бороду. Борода была еще не толстовская, даже не Достоевская, а – короткая, шкиперская. И во всем его облике виделось что-то офицерское, спортивное – чёткое, ловкое, быстрое. Он был обворожительно любезен, как мне показалось, даже чуть-чуть играл, наслаждаясь своей подчеркнутой куртуазностью. Но за этой безукоризненной любезностью чувствовался холодок хорошо ощутимого расстояния между ним и мною. Дистанция эта сохранялась на протяжении всей нашей встречи и ни на миг не была нарушена.

Начал он с извинения, что вот, мол, вынужден был побеспокоить, оторвать меня от моих занятий.

В этом его извинении не ощущалось и тени иронии, но я сразу же подумал, что кто-то (тот же Эмка) наверняка уже доложил ему, от каких таких важных занятий он вынужден был меня оторвать.

Поняв, в чем дело, я сразу же выразил готовность свести его с «добродеями», от которых получил поэму. Оставив Юру и Эмку у Лёвы, мы с ним вдвоем отправились ко мне (моя квартира была в двух шагах от Лёвиной). Дома была только жена. Она лежала в моем кабинете под пледом и что-то читала. Увидав со мною рядом – живьем – легендарного человека, она – от растерянности – даже не встала.

Я сказал:

– Александр Исаевич, это моя жена – Слава.

– Слава? Что за странное имя? – удивился он.

– Самое обыкновенное православное имя, – с каким-то, слегка удивившим меня, полемическим задором ответила она. И для убедительности добавила:

– Есть в святцах

– Так-таки уж прямо и в святцах, – несколько иронически отреагировал Александр Исаевич.

Откуда у моей жены явилась эта уверенность, что ее имя – самое обычное, православное и даже есть в святцах, – я знал.

На самом деле ни в каких святцах ничего похожего нет и в помине, а происхождение ее странного имени с православием уж тем более не имеет ничего общего.

В жизни нам с ней иногда (хотя и не так уж часто) встречались женщины, носившие имя «Слава». Но в одном случае это была «Станислава», в другом – «Бронислава». А она была – просто «Слава». Слава Петровна. И это в самом деле было странное имя: Александр Исаевич был прав.

Странность же объяснялась просто.

Отец моей жены – Петр Иванович – был человек, мягко говоря, не ординарный. Попросту говоря – шальной. Будущая моя жена только еще должна была – со дня на день – явиться на свет, а он уже растрезвонил всем своим друзьям-приятелям, что у него родился сын, которого назвали Слава. И когда вместо сына родилась дочь, деваться ему было уже некуда: вот так она и стала – и осталась – Славой.

Некоторая необычность этого ее имени не то чтобы сильно ее тяготила, но все-таки досаждала, вынуждая время от времени отвечать на этот порядком уже поднадоевший ей вопрос: «Слава? Что за странное имя?» Был даже такой случай: в разгар космополитизма какая-то соседка поинтересовалась у моей тещи: «С чего бы это, интересно знать, вы дали своей дочери еврейское имя?»

На подозрения соседей в ее тайном еврействе моей жене было наплевать. Но не объяснять же каждому подробно про оригинала-отца.

А у нас в Литинституте, где я учился, была преподавательница марксизма-ленинизма – Слава Владимировна Щирина. Тоже – не Святослава и не Бронислава, а просто – Слава. И од-

нажды я у нее спросил, откуда у нее такое имя. И она ответила: «Самое обыкновенное православное имя, есть в святцах», – о чем я тут же сообщил своей жене.

На самом деле Слава Владимировна Щирина – как это позже выяснилось – была еврейка, о чем я тогда не подозревал. Я и сейчас-то не всегда могу отличить еврея от нееврея или еврейку от нееврейки (если, конечно, еврей – не Михаил Аркадьевич Светлов, а еврейка – не Алла Гербер), а уж в те юные мои годы и вовсе не обладал этим нехитрым умением.

В общем, мы с женой поверили тогда Славе Владимировне, что имя Слава – самое обыкновенное православное имя и что оно есть в святцах. Я, правда, с тех пор давным-давно уже про это забыл, но у жены в голове эта фраза, как видно, застряла крепко. И вот в ответ на вопрос Александра Исаевича она из нее вдруг и выскочила.

Но выскочила она из нее не случайно, потому что весь этот быстрый, короткий диалог, конечно же, имел весьма определенный подтекст.

– Слава? Что за странное имя? – спросил он.

«Еврейка, наверно?» – услышала она в этом его вопросе. И быстро отреагировала:

– Самое обыкновенное православное имя, есть в святцах.

Подтекст же, легко различимый в самом тоне ее ответа, был такой: «А вот и нет! Ошиблись, Александр Исаевич!»

Тогда я, признаться, был сильно зол на жену, поскольку эта ее выходка казалась мне ни в малой степени им не спровоцированной. Тогда – в отличие от жены – я был уверен, что никакого намека на ее национальную принадлежность, а уж тем более с антисемитским привкусом, в вопросе Александра Исаевича не было.

Сейчас, увы, я думаю иначе.

Но – не будем забегать вперед. Всему свое время.

Покинув Славу, которая так и осталась лежать под своим пледом, мы с Александром Исаевичем ушли в другую комнату, и я стал названивать Миме.

Но дозвониться никак не удавалось: у Гребневых никто не брал трубку.

Я успокоил Александра Исаевича, сказав, что ждать нам на-

верняка придется недолго. Так оно и вышло. Но эти недолгие минуты ожидания для меня оказались довольно томительными. Все, что мог сообщить ему на интересующую его тему, я уже сказал. А вести с ним праздные, ни к чему не обязывающие, пустые разговоры мне, естественно, не хотелось.

О чем-то все-таки говорили... Не прекращая разговора, он несколько раз вынимал блокнот и что-то записывал, не забывая всякий раз извиниться предо мною. Я сказал, что и у Толстого читал, и по себе знаю, что мысль надо схватывать в тот самый миг, когда она к тебе пришла, иначе она потеряет свою силу, будет сформулирована уже гораздо менее точно – вяло, расплывчато. Он объяснил мне, что дело совсем не в том. Вынимал блокнот и делал свои записи он вовсе не потому, что его осенила какая-то мысль и он боялся, что если тотчас же ее не записать, она ослабеет. Обыкновенно у человека, сказал он, уходит восемь часов на сон, восемь часов на работу (кажется, он выразился как-то иначе, назвав эти восемь часов активным временем, что-то в этом роде). Остается, таким образом, еще восемь часов, которые, как правило, уходят неизвестно на что. Так вот, сказал он, я не могу позволить себе такую роскошь, я стараюсь, чтобы у меня все время, остающееся мне от сна, все эти шестнадцать часов, были активными.

Разговаривая, я все время называл Гребневым. Но слышал только долгие гудки. Александр Исаевич нервничал. И тогда вдруг меня осенило, что наверняка всё можно выяснить у Бахновых. Жили они с Гребневыми рядом – квартира к квартире. И не было на свете более близких друзей. Никаких секретов друг от друга у них, конечно, быть не могло.

Позвонив Бахновым и услышав голос Нели, жены Владика, я, ничего не объясняя, спросил, можно ли к ним сейчас заглянуть на минутку. Да, конечно, – сказала Неля.

И мы пошли.

Когда она открыла нам дверь и узнала моего спутника, у нее подкосились ноги. Но, сохраняя – хоть и с трудом – самообладание, она провела нас в крошечный кабинет Владика. Первое, что сразу бросилось нам там в глаза, был большой – как мне тогда показалось, огромный – фотопортрет Солженицына, глядящий на нас из застекленного стеллажа с книгами.

Александр Исаевич цепким свои взором эту деталь интерьера, конечно, сразу углядел. По моим понятиям она должна была если не умилить, так хоть немного смягчить его. Но, как я теперь понимаю, она только усилила его неприязнь к «добродеям из членов СП», у которых достало смелости только на то, чтобы выставить у себя дома на всеобщее обозрение его портрет, но оказалось слишком ее мало, чтобы опрометью кинуться защищать его.

Кстати, в том же «Теленке», спустя лишь несколько страниц после упоминания об этих презренных «добродеях», Александр Исаевич так объясняет, почему он сам не выступил в защиту Владимира Максимова, а до него – Синявского и Даниэля, а потом – и других преследуемых властями диссидентов:

А я не защищал и его, как остальных, всё по тому же: разрешив себе заниматься историей революции и на том отпустив себе прочие долги. И по сегодня: не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет испугаться в протекающем и исчезающем сегодня.

Простая мысль, что такое же разрешение имеет право дать себе и какой-нибудь другой художник, ему в голову не приходила. Да он, конечно, и не мог представить себе, что среди этих самых «добродеев из членов СП» отыщется хоть один истинный художник. С какой стати вдруг может он там среди них оказаться?

Вспомнил это я – так, к слову. На самом деле в этом его убеждении я его ничуть не виню. Признаю, что у него были основания так про нас думать.

Вернусь, однако, к своему сюжету.

Так и не опомнившись от внезапного появления «бога из машины» Неле и Владуку он задал несколько коротких, быстрых вопросов, самым темпом своим и лаконичностью исключая слишком многословные и не слишком вразумительные ответы. После недолгих колебаний они раскололись. Выяснив, откуда взялась принадлежащая им с Мимой машинописная копия поэмы, Александр Исаевич сказал, что изымает ее. Узнав, что есть еще и другая копия – в Уфе, у Нелиной ма-

мы, – он разрешил пока там ей и оставаться. При условии, конечно, чтобы никаких других копий снимать с неё не смели. После еще нескольких таких же коротких, четких распоряжений он встал и откланялся.

Выйдя вместе с ним из подъезда, я спросил, почему он так встревожился, узнав, что произошла утечка. «Прусские ночи», конечно, крамольнее и «Ракового корпуса», и «Круга». Но он и без того так далеко уже зашел в своем противостоянии с властью, что еще одна утечка вряд ли что-нибудь изменит.

Тут я, конечно, был не прав. Распространение «Прусских ночей» в тот момент было крайне для него опасно. Но растолковывать мне это, да и вообще откровенничать со мною он не стал. А почему поднял тревогу, объяснил так:

– У меня железный порядок. Если я решил какую-нибудь вещь пустить, я нажимаю кнопку. А без моей команды никаких неподконтрольных утечек быть не должно. И вы не могли ни одной рукописи моей прочесть, если не я сам ее пустил.

– Как сказать, – возразил я. – Вот, например, я слышал такое словосочетание: «Архипелаг ГУЛАГ».

Он внимательно поглядел на меня:

– А вы встречали хоть одного человека, который говорил бы вам, что он эту книгу читал?

– Нет, – признался я. – Не встречал.

– Вот то-то.

Кажется, я еще о чем-то спросил его. Он – всё так же любезно – удовлетворил моё любопытство и, еще раз извинившись, что вынужден был беспокоить, попрощался. И тут вдруг в поле моего зрения попали его глаза. Не могу сказать, что я увидел в этих глазах. Знаю только, что в этот момент я с непревзойденной ясностью понял, всей кожей почувствовал, что, одарив меня прощальной улыбкой, он в ту же секунду забыл о моем существовании.

4

В Союзе писателей (в Московском отделении) обсуждали первую часть «Ракового корпуса». (Вторая еще не была написана.) Когда автору кто-то дипломатично указал на это обстоя-

тельство, опасливо заметив, что, может быть, стоило бы подождать с обсуждением, пока вещь не будет доведена до конца, он – не менее дипломатично, но без ложной скромности ответил, что в русской литературе разные случаи бывали. Бывало, например, и такое, что вторая часть какой-нибудь повести так и осталась недописанной или даже была уничтожена (сожжена) автором.

Как бы то ни было, обсуждение состоялось. Было оно весьма выразительным, но пересказывать всё, что там было, я не стану, тем более что краткий стенографический отчет этого обсуждения опубликован в шестом томе собрания сочинений А.И. Солженицына, изданного «Посевом». Расскажу только о том, что в стенограмму не попало.

Не попал, например, скандальный эпизод, связанный с моим выступлением. А его запечатлеть стоит. Что я и сделаю, заранее испросив прощения у читателя за вынужденную нескромность.

Сознавая всю важность предстоящего мероприятия, я свою речь написал, хотя выступать «по бумажке» никогда не любил. Но тут всё-таки был случай особый, и я решил поступиться принципами. Человек, однако, предполагает... В общем, из этих моих благих намерений ничего не вышло.

Случилось так, что как раз передо мною выступала Зоя Кедрина, связь которой с нашими славными органами ни для кого не была тайной, поскольку незадолго до того ее выпустили в роли «общественного обвинителя» на процессе Синявского и Даниэля. С той ролью она более или менее справилась, поскольку там на ее стороне были все силовые ведомства могущественной ядерной державы. Здесь же обстановка была другая. Здесь ей можно было и возразить.

Короче говоря, когда председательствующий Георгий Берёзко выкликнул мое имя, я сразу свернул свою заранее заготовленную речь в трубочку и спрятал ее в боковой карман. А сказал примерно следующее:

– Мой учитель Виктор Борисович Шкловский написал однажды, что Булгарин вовсе не травил Пушкина. Он просто давал ему руководящие указания. С той поры прошло много лет. Отменили крепостное право. Разразились две или даже три ре-

волюции. И вот сегодня, как ни в чем не бывало, Кедрина дает руководящие указания Солженицыну...

Кедрина при этих словах встала и, шурша юбками, с гордо поднятой головой покинула зал.

Берёзко, который и до этого-то уже сидел на своём председательском месте в мокрых штанах, тут совсем потерял голову.

– Как вы смеете! – тонким фальцетом завизжал он. – Как у вас язык повернулся своего товарища, писателя, сравнить с агентом Третьего отделения!

Отнюдь не стремясь найти удачный ответ, скорее от чистой растерянности, я сказал:

– Своего товарища я сравнил с Пушкиным.

Понятное дело, скандальность происшествия я этой репликой не уменьшил.

С грехом пополам выговорив всё – или почти всё, – что было написано в лежавшей у меня в кармане бумажке, я протолкался через битком набитый зал и боковой дверью вышел на лестницу, куда в таких случаях направлялись обычно только задлые курильщики. Там стоял Виктор Николаевич Ильин – бывший генерал-лейтенант КГБ (если только генералы этого ведомства бывают бывшими), а ныне – оргсекретарь Московского отделения.

Укоризненно покивав мне, он сказал:

– Не ожидал... Не ожидал от вас...

Не помню дословно, что я ответил, но, видимо, что-то очень похожее на традиционный плаксивый ответ нерадивого пятиклассника, вызванного на ковер директором школы: «А что я сделал?..»

– Ну как же, – пояснил Виктор Николаевич. – Вы ведь знаете, как к нам сейчас относятся... На Московское отделение каких только собак не вешают... Думаете, так просто было добиться согласия на это обсуждение?.. И всё так хорошо шло, спокойно, корректно... И вдруг – бац! Вылезаете вы и сравниваете своего товарища, коллегу, с агентом Третьего отделения...

По-настоящему даже не оценив всю пикантность этой реплики (важный чин этого самого Третьего отделения сравнение с агентом его ведомства воспринимает как оскорбление), скорее всё от той же растерянности я возразил:

– Позвольте, Виктор Николаевич! Это ведь не я, это Берёзко сказал про Третье отделение. А я имел в виду совсем другое. Я просто хотел сказать: кто она такая, Кедрина, чтобы поучать Солженицына? Она в сравнении с ним – как Булгарин в сравнении с Пушкиным. Ничтожная литературная вошь имеет наглость, как ни в чем не бывало, с полным сознанием своего права учить Солженицына, как надо ему писать свои книги.

– Вы в самом деле только это имели в виду? – быстро спросил Ильин.

– Ну да, конечно! – с чистым сердцем подтвердил я.

– Так, может, вы объясните это собранию?

– Ну нет, – сказал я. – Раз уж вы все поняли меня так, пусть оно так и остается.

Виктор Николаевич был человек неглупый, настаивать он не стал.

Когда мы с ним вернулись в зал, спектакль приближался к финалу. Берёзко уже даже произносил какие-то обтекаемые заключительные слова. Но тут из зала послышались выкрики:

– Резолюция!..

– Надо принять решение!...

– Какое еще решение?

– А вот такое: собрание московских писателей считает, что повесть Солженицына непременно должна быть опубликована...

– Но у нас нет таких полномочий! – задёргался до смерти перепугавшийся Берёзко. – Это не наша прерогатива...

– Значит, мы должны обратиться с таким требованием...

– К кому обратиться?.. Куда мы можем обратиться?.. – беспомощно вопрошал несчастный Берёзко.

И тут на подиум (никакого подиума там, понятное дело, не было, но именно это слово почему-то кажется мне тут наиболее подходящим) вышла Белла Ахмадулина. Ее юное лицо, возбужденное одушевлявшим ее прекрасным порывом и немного алкоголем, было прелестно. Божественным своим голосом она произнесла:

– Если нам не к кому обратиться, давайте обратимся... – побалетному пластичным, но в то же время каким-то очень естественным движением воздев свои тонкие изящные руки к потолку, она пропела: – к Бо-огу!

Случайно я взглянул в этот момент на Солженицына. Он смотрел на Беллу с каким-то отстраненным любопытством – острым, цепким, изучающим взглядом. Как на какое-нибудь редкое, экзотическое животное.

Впрочем, я думаю, он на всех нас тогда смотрел так же.

* * *

Неделю спустя, я встретил на улице Слуцкого. Остановились, поговорили.

– Вчера, – сказал он, – я был у Беляева.

Альберт Беляев был тогда зам. зав. отделом культуры ЦК КПСС.

– И в разговоре, – продолжал Борис, – между прочим, было упомянуто ваше имя.

Я выразил насмешливое изумление по поводу того, что мое скромное имя известно в столь высоких сферах.

Борис в ответ тоже усмехнулся и не без удовольствия процитировал своего высокопоставленного собеседника.

– Обсуждение «Ракового корпуса», – будто бы сказал тот, – прошло хорошо. Если не считать наглого выступления Сарнова.

Выслушав это сообщение, я не удивился. Но тогда у меня не возникло и тени сомнения насчет того, чем был вызван этот сердитый начальственный отклик: ну, конечно же, моим «бестактным» выпадом против Кедринной!

Но сейчас, прочитав сокращенную стенограмму обсуждения «Ракового корпуса», я понял, что дело было не только в Кедринной. И может быть, даже совсем не в Кедринной. Наверняка мое выступление показалось цековскому аппаратчику наглым не только по форме. Наглость заключалась в самом его содержании – и именно в той части моей речи, которая была написана заранес.

Помню, мне тогда очень понравилась шутка Гриши Бакланова.

– Меня, – сказал он, – приучила армия к тому, что когда начальство советуется, это вовсе не означает, что оно действительно хочет выслушать совет. Мне кажется, что некоторые ораторы сегодня злоупотребили своим правом давать советы рядовому Солженицыну.

Как видно, шутка эта понравилась не только мне: в стенограмме после этих слов следует ремарка: «смех».

Но сейчас, внимательно прочитав подряд все выступления, я вдруг увидел, что в этой Гришиной шутке отразилось нечто большее, чем я услышал в ней тогда.

Обсуждение это – и начальством, и большинством выступавших (конечно, если судить по их выступлениям) – воспринималось как чисто творческое мероприятие: коллеги, товарищи по перу обсуждают новое произведение своего собрата, делятся впечатлениями, указывают ему на то, что у него получилось лучше, что хуже. В заключение мероприятия он благодарит товарищей за помощь, какие-то замечания принимает, с какими-то не соглашается, но обещает подумать и их тоже учесть в дальнейшей работе над рукописью.

По форме так оно всё и было. И выступления, и заключительное слово, в котором А.И. дипломатично заметил, что для него – в особенности сейчас, когда он пишет книгу за книгой, а их не печатают, – «такое обсуждение единственная возможность услышать профессиональное мнение, услышать критику».

Но на самом деле цель Александра Исаевича, когда он настаивал на этом обсуждении, состояла, конечно же, совсем не в том, чтобы услышать о своей рукописи суждения профессионалов. Главная цель этого обсуждения заключалась для него в том, чтобы легализовать крамольную повесть, ходившую в «самиздате», ну и, конечно, использовать давление общественности, чтобы – чем чёрт не шутит? – всё-таки её напечатать.

Но вот даже и он вынужден был – из тактических соображений – делать вид, что превыше всего его волнуют чисто творческие проблемы. Так что уж говорить о принявших участие в этом обсуждении законопослушных советских писателях, – а тем более об отвечавших за это мероприятие литературных функционеров (В.Н. Ильин, Георгий Берёзко).

Конечно, это была игра. Но игра, с условиями которой – в той или иной мере – приходилось считаться всем.

А я, сочиняя свое будущее выступление, эти «условия игры» проигнорировал. Не потому, что был такой смелый, а просто... Не знаю даже, как сказать... Из эгоизма, что ли... В общем, продемонстрировал некоторую безответственность...

И не случайно поэтому мое выступление – только оно одно! – несколько раз прерывалось негодующим гулом и протестующими выкриками с мест.

Вот, например, говоря о том, что надо бы нам все-таки понимать разницу между настоящими писателями и теми, кого на эту должность назначило начальство, я вспомнил Первый писательский съезд, куда Булгаков получил только лишь гостевой билет, а в президиуме которого сидели разные псевдописатели и даже антиписатели. Рядом с Горьким и Алексеем Толстым, – сказал я, – там сидели Анна Караваева, Кирпотин, Чумандрин...

И тут из зала раздались выкрики: «Чумандрин хороший писатель!», «Чумандрин убит на фронте!», «Не надо нам новой табели о рангах!»

Выкрики эти отмечены в стенограмме. А из того, что в стенограмме не отмечено, мне сейчас вспомнилось, что в тот же день, вечером, мой друг Гриша Баклапов в телефонном разговоре с моей женой, упоминая об этом, сказал: «Мне было стыдно за Бильку!». («Билька» – мое домашнее имя.) В тот же день другой мой друг – Лёва Левицкий, свойственник Чумандрина (он был женат на его дочери) – заверил меня, что никаких претензий по этому поводу он ко мне не имеет.

Продолжая свою речь, я снова вернулся к Булгакову. Сказал, что сейчас начало романа этого писателя, удостоившегося тогда лишь гостевого билета, журнал «Москва» печатает в одиннадцатом номере нынешнего года, а окончание его собирается опубликовать не в двенадцатом, как следовало ожидать, а в первом номере будущего года. То есть надеется благодаря этому роману поднять подписку. И тут с мест опять раздались какие-то возмущенные выкрики. (В стенограмме отмечено: «Снова крики, неразборчивые».)

Закончил я тем, что роману Булгакова «Мастер и Маргарита» наверняка суждена долгая жизнь (тут снова были возражающие возгласы с мест), но как бы то ни было, двадцать пять лет из его долгой жизни у этого романа украли. Так вот, не случилось бы того же и с «Раковым корпусом» Солженицына.

Вспомнил я еще письмо Замятина Сталину, начинавшееся словами: «К вам обращается человек, приговоренный к высшей мере наказания...» Это была метафора: Замятин имел в ви-

ду, что книги его не печатаются. Прямо так и написал, что невозможность прорваться своими книгами к читателю – это и есть для настоящего писателя – **высшая мера наказания**.

Это мое высказывание почему-то особенно возмутило взявшего слово почти сразу после меня Елизара Мальцева.

Елизар считался человеком, как тогда говорили, прогрессивным. Во всяком случае, к литературному начальству он не принадлежал и особым законопослушанием тоже не отличался. Но начал он с довольно резкой отповеди мне. Сказал, что он тоже читал письмо Замятина Сталину, но к чему было его тут вспоминать, он не понял.

Дальше цитирую по стенограмме:

Я не собираюсь учить Сарнова. Меня не удивишь острыми выступлениями, я и сам выступаю остро. Но мне кажется, что человек, выходящий на эту ответственную трибуну, должен выбирать слова... А Сарнов проявил здесь лихость, безответственность, а это не может сейчас нам помочь. О самом произведении Солженицына он не сказал ни слова, но зачем-то начал сравнивать советских писателей с работниками Третьего отделения...

Это, конечно, неправда, что о самом произведении Солженицына я будто бы не сказал ни слова, но – что верно, то верно! – в школьном, «семинарском» обсуждении конкретных его достоинств и недостатков участия действительно не принял. И, кстати сказать, в выступлении Кедринной меня как раз больше всего возмутил именно вот этот «семинарский» тон.

Вениамин Александрович Каверин в последней своей мемуарной книге об этом ее выступлении вспоминает так:

За Славиным выступила З. Кедрина, и многие, в том числе я, с подчеркнутым шумом покинули зал – сказала дурная репутация, все были убеждены в отрицательном мнении... И ошиблись. Кедрина признала даже, что «вещь очень интересная», и выразила полную уверенность в том, что «она будет печатана».

(В. Каверин. Эпизод. М., 1989. С. 388–389)

Прочитав сейчас (в стенограмме) текст выступления Кедриной, я увидал, что ничего такого уж особенно противного она и в самом деле не сказала. Но меня возмутил сам тон ее выступления – то, что о книге Солженицына она говорила так, как говорила бы, выступая на семинаре в Литературном институте о рукописи какого-нибудь молодого литератора, сочинившего нечто заслуживающее поощрения, но над чем еще надо работать.

Что же касается выступления Елизара Мальцева, то процитировал я его здесь, разумеется, не для того, чтобы сейчас – сорок лет спустя – ему возражать или с ним спорить, а лишь с одной-единственной целью: восстановить атмосферу того обсуждения, где у всех его участников – от генерал-лейтенанта КГБ Виктора Николаевича Ильина до «прогрессивного» Елизара Мальцева – была одна общая забота: только бы не рассердить «товарища Волка»!

Впрочем, некоторые из тогдашних «прогрессистов» ставили перед собой и более серьезную задачу. Они хотели уговорить «товарища Волка», внушить ему некие – не то чтобы гуманные, а просто здравые идеи, объяснить, что «теленок», который тогда еще только-только начинал «бодаться с дубом», в сущности, не представляет для «дуба» никакой опасности. Больше того! Из этих его неопасных боданий «дуб» может даже извлечь для себя немалую выгоду.

Этой идеей было пронизано выступление Юрия Карякина. Начал он так:

В своем завещании Ленин высказал страстную и трагическую надежду, что придут люди, необходимые нам, со следующими качествами: они ни слова не скажут против совести; не побоятся вслух сказать о любых ошибках; не побоятся борьбы. Мы забываем эти слова, хотя часто цитируем завещание. А Солженицын отвечает этим статьям.

Говорил или не говорил Ленин это в своем завещании, а если даже и говорил, что имел при этом в виду, было тут совершенно не важно. Важно было только само имя Ленина. Это был пароль, знак, знаменитая формула киплингковского Маугли: «Мы с тобой одной крови...»

Но это было только начало, так сказать, зачин.
А дальше последовало вот что:

Всемочевидно, что «Раковый корпус» должен выйти в свет. Я хочу привести политические аргументы в защиту этой мысли. Именно политические, а не политиканские. Мне пришлось собрать едва ли не все зарубежные отзывы о книге «Один день Ивана Денисовича». Эта книга единодушно была осуждена на страницах троцкистской, китайской, албанской, корейской печати. С теми людьми, которые и сейчас ее осуждают, я расхожусь не по вопросу о том, надо ли применять политические критерии к произведениям искусства. Нельзя не применять. Подавляющее большинство положительных отзывов о повести «Один день...» дали руководители крупнейших компартий, самые выдающиеся марксисты современности. Публикацией этой повести мы приобрели огромное количество союзников...

В перерыве ко мне подошел мой приятель и сосед по дому Илья Давыдович Константиновский. Человек легко возбуждавшийся и по более ничтожным поводам – сейчас он просто кипел. И как тут же выяснилось, довела его возбуждение до столь высокого градуса именно речь Карякина.

Но тут, чтобы природа этой его реакции была совсем уже понятна, надо сказать несколько слов про Илью Давыдовича.

Человек он был занятный, с причудливой биографией и весьма неординарным характером. Но об этом, может быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас важно сказать о нем только одно: он был создателем оригинальной теории, объясняющей самую суть нашей уникальной политической системы, не имеющей, как он уверял, никаких аналогов в мировой истории.

Отбросив все известные определения этой ее уникальности («Новый класс», «Номенклатура» и проч.), он дал ей свое название: ГЛИСТОКРАТИЯ.

– Слово удачное, меткое, – согласился я при первом нашем с ним разговоре на эту тему. – Но в чем же тут уникальность? Да, глисты, гельминты – это паразиты. И наши номенклатурщики безусловно таковыми являются. Но ведь до них были и

другие паразитические классы... Ведь и рабовладелец, и феодал, и какой-нибудь там азиатский сатрап, они ведь тоже...

– Ах, вы ничего не понимаете! – сразу начал горячиться автор «теории глистократии». – Ну, хорошо! Возьмем рабовладельческий строй – самый отвратительный, самый бесчеловечный. На рынке рабов может возникнуть ситуация, при которой рабы будут так дешевы, что рабовладельцу выгоднее будет купить новых, чем более или менее сносно кормить тех, которые работают, положим, на его виноградниках. Черт с ними, думает он, пустьдохнут. Куплю других. Казалось бы, что может быть ужаснее?

– Почему «казалось бы»? Это действительно ужасно, – говорил я.

– Да, ужасно... Но можете ли вы представить себе ситуацию, при которой тому же рабовладельцу было бы при этом совершенно все равно, соберет ли он к осени свой урожай или не соберет?

– Нет, – подумав, сказал я. – Такого я себе представить не могу.

– А чтобы помещику было наплевать, взойдет ли то, что его мужики посеяли, или померзнет к чертовой матери? Такое вы можете себе представить?

– Нет, – сказал я. – Тоже не могу.

– Вот! А нашему председателю колхоза позвонят из райкома и прикажут сеять, даже если точно будет известно, что сеять рано, что весь будущий урожай померзнет на корню. Прикажут, потому как им сверху такой план спустили. Или прикажут сажать кукурузу, которая в его широтах никогда не росла и расти не будет. И он, как миленький, будет ее сажать. Потому что его благополучие не зависит от того, соберет или не соберет он урожай. Оно целиком и полностью зависит только от того, что в райкоме поставят галочку: план по посевной выполнен. Вот это и есть глистократия, – заключил он свою маленькую лекцию.

Возвращались мы с ним к этому теме неоднократно. Собственно, любой наш разговор, любая тема, которую мы затрагивали в наших беседах, в конце концов неизбежно приводила нас к его «теории глистократии».

Вот и сейчас, отыскав меня, чтобы излить свои мысли о карякинской речи, он с ходу начал:

– Карякин хочет убедить ИХ, что деятельность Солженицына ИМ не опасна и даже выгодна. Но разве можно убедить глисту, что она жизненно заинтересована в том, чтобы организм, на котором она паразитирует, был жив? Что если он погибнет, с ним вместе погибнет и она тоже? Глиста не в состоянии это понять! Она знает только одно: сосать, сосать и сосать!

Дальнейшее развитие событий показало, что автор «теории глистократии» глядел в корень.

Меня речь Карякина возбудила не так сильно, как Константиновского. А удивила – и того меньше: все эти Юрины тактические идеи мне были давно и хорошо известны. В самом начале нашего знакомства, прочитав рукопись моей книги о Гайдаре, он предложил мне – чтобы протащить ее в печать – все родные наши советские реалии заменить на китайские.

Но одна фраза в той карякинской речи на обсуждении «Ракового корпуса» поразила даже и меня.

Он сказал, что больше всех других появившихся в нашей печати статей о повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» ему понравилась статья Дымшица. И что, будь на то его воля, он бы именно ею заменил предисловие к «Ивану Денисовичу», написанное А.Т. Твардовским.

Тоже, конечно, дань тактике.

Не знаю, было ли это такой же данью тактике или, может быть, данью дружбе, но Александр Исаевич в своей заключительной речи из всех выступавших выделил именно Карякина.

Спустя несколько дней я, правда, узнал, что и моей речью он был тоже доволен.

Лёва Левицкий, как я уже упоминал, работавший тогда в «Новом мире», рассказал мне, что у них в редакции меня за мое выступление многие осудили. Ему, мол (то есть – мне), лишь бы себя показать, а об общем нашем деле он и не думал.

И присутствовавший при этом разговоре Александр Исаевич будто бы отозвался на это так:

– Но ведь многое такое, о чем сказать было надо, сказал только он. Никто, кроме него.

Узнав об этой его реплике, я был польщен. Что мне Беля-

ев, что мне и мнение «новомирцев», если сам Исаич меня одобрил.

Ну а что до того, что он на всех нас взирал отстраненно, словно бы издали и даже чуть-чуть свысока, то я искренне считал, что он имеет право так на нас смотреть. Ведь он упал к нам с неба. И поэтому во всех тогдашних обсуждениях и спорах о его характере и поведении я неизменно был «за него».

* * *

А разговоров, слухов, сплетен о нем – и тогда, и потом – ходило множество.

Вот, например, такая история.

На похороны Твардовского Солженицына приказано было не пускать. Гроб с телом умершего поэта был установлен на сцене большого зала Центрального Дома литераторов. В зале сидели писатели. Мимо сцены негустым потоком проходили читатели.

О том, чтобы пройти через главный вход вместе с читателями, – не могло быть и речи: не пустили бы. Друзья и поклонники Александра Исаевича решили провести его подземным переходом, соединявшим старый особняк Союза писателей на улице Воровского с новым зданием ЦДЛ – на Герцена.

Но начальство предусмотрело и этот вариант.

Когда Солженицын, без всяких приключений войдя в особняк «Дома Ростовых», спустился в подземный переход, путь ему преградила немолодая служащая Союза писателей, специально поставленная там на этот случай.

Протянув руку, она загородила довольно узкий коридор, ведущий в соседнее здание, и умоляюще сказала:

– Александр Исаевич! Если я вас пропущу, меня уволят!

Вероятно, тут можно было поступить по-разному.

Например, пуститься в объяснения. Или начать качать права. Или, наконец, пожалеть несчастную женщину и попытаться отыскать какой-нибудь другой способ проникнуть в зал.

Александр Исаевич будто бы выбрал самое простое решение.

Ребром ладони он ударил по вытянутой руке загородившей ему дорогу и, не оглядываясь, устремился по коридору в зал,

где скоро должна была начаться гражданская панихида. И через несколько минут он уже стоял на сцене и осенял крестным знамением гроб, в котором лежал бывший кандидат в члены ЦК КПСС Александр Трифонович Твардовский.

* * *

Когда эту – кем-то рассказанную мне – историю я включил в свою книгу «Перестаньте удивляться», на меня обрушился шквал негодования. Были даже и обвинения в клевете.

Я допускаю, что история и в самом деле выдуманная, что ничего подобного на самом деле не было. Но я – каюсь! – когда мне ее рассказали, сразу в нее поверил.

Поверил, потому что поступок этот был, как мне казалось, в его стиле. Но главным образом потому, что он, этот его поступок, – тогда! – не только не отвратил меня от Александра Исаевича: он меня восхитил!

Вот это характер! – с восторгом думал я. – Только так с ними и надо, с этими рабскими душонками!

Таких историй про него – повторю еще раз – я слышал тогда множество. И в большинстве случаев это были не сплетни, не слухи даже, а рассказы людей, которым я верил. Не мог не верить.

Вот, например, Ольга Львовна Слизберг рассказала, жалуясь мне на Александра Исаевича, что когда он работал над своим «Архипелагом», ему недоставало материалов о Колыме. И он обратился ко всем старым зекам с просьбой поделиться с ним воспоминаниями о своем лагерном прошлом. Она (Ольга Львовна) послала ему тексты двух своих солагерниц, взяв с него твердое обещание (какое он ей дал) ни при каких обстоятельствах не упоминать их фамилий. И вот однажды, включив радио (естественно, не советское) она услышала в передававшейся главе из солженицынского «Архипелага» имена и фамилии этих своих подруг.

– Счастье, – говорила она мне, – что они никогда не слушают радио, и о том, как А.И. сдержал свое обещание, не узнали и, надеюсь, уже не узнают. Если бы это до них дошло, они просто умерли бы от страха. Это не метафора: буквально умерли бы...

Но я и тут защищал Александра Исаевича. Говорил, что он не собирался так быстро публиковать «Архипелаг». Его к этому подтолкнули чрезвычайные обстоятельства. Узнав об аресте, допросах и самоубийстве Воронянской и поняв, что тайна «Архипелага» открыта, он был вынужден «нажать кнопку», то есть дать команду о публикации этого своего труда.

Ольгу Львовну я, конечно, не переубедил. Она всё повторяла: – Ну как же он мог?.. Как он мог так обмануть наше доверие?

А вот еще один, пожалуй, даже еще более печальный эпизод из истории «бодания теленка с дубом».

Был у Александра Исаевича такой знакомый – Саша Горлов. Молодой кандидат наук, физик. Собственно, был он, если не ошибаюсь, знакомым солженицынской тещи – Екатерины Фердинандовны, а уж через нее познакомился и с самим Александром Исаевичем, чьим он был, как легко догадаться, большим поклонником. И вот однажды А.И. попросил этого молодого человека съездить в «укривище» (так он называл свой маленький садовый домик в селе Рождество) и что-то там сделать с его машиной: то ли перегнать ее в Москву, то ли привезти ему какую-то ее деталь (Саша был опытный автомобилист).

Прибыв на место, Саша увидал, что дверь «укривища» не заперта, а внутри, в домике, кто-то есть. Поначалу решив, что это воры, он попытался их разогнать, но «воров» оказалось слишком много для одного, даже очень решительного человека: чуть ли не более десятка. И вели они себя весьма нагло. Сашу схватили, скрутили, кинули на землю и, как следует отмутив, поволокли в лес. Он сопротивлялся, кричал, звал на помощь. На крик прибежали соседи. Но тут один из «воров» (как видно, бывший у них за главного) предъявил красную книжечку, и соседи отступились, поняв, что «воры» – совсем не воры, а – **имеют право**. Сашу же, избитого, окровавленного, в разодранном костюме, запихали в машину и повезли в милицию. Там его заставили написать «объяснительную записку» и отпустили, предварительно потребовав дать **подписку о неразглашении**.

Дать такую подписку Саша решительно отказался, и тогда, отпуская его, главный кагебешник сказал ему:

– Ну, гляди! Если расскажешь обо всем Солженицыну, всё с тобой будет кончено: никакая докторская тебе уже не светит (Саша как раз собирался защищать докторскую диссертацию), с работы уволят. Подумай о жене, о детях. А в случае чего, если понадобится, и посадить можем.

Несмотря на эти угрозы, вернувшись в Москву, Саша обо всем, конечно, рассказал. (Может быть, не самому Исаичу, а Екатерине Фердинандовне). Скрыть то, что с ним произошло, он, конечно, не мог и не собирался. Но реакция Исаича, хотя, зная его, ее легко можно было предугадать, явилась для Саши полной неожиданностью.

Не только не спросив у него разрешения и – хотя бы для виду – с ним не посоветовавшись, но даже не поставив его об этом в известность, он сразу шарахнул «Открытое письмо министру госбезопасности СССР Андропову» с подробным изложением всего случившегося. Чуть ли не в тот же день это «Открытое письмо» передавалось по всем вражеским голосам.

Сашу об этом своем шаге А.И. уведомил (уже, так сказать, постфактум) короткой записочкой, в которой писал:

Когда-нибудь Вы поймете, что этим своим поступком я защитил не только себя, но и Вас.

В своей книге «Бодался теленок с дубом», рассказывая об этом эпизоде, Солженицын мимоходом роняет, что Сашу гребешники непременно убили бы, если бы он не догадался выдать им себя за иностранного подданного, «а такого нельзя убивать без указания начальства». А о самом Саше он там пишет так:

Он мог бы смолчать, как требовали от него, – и ничего бы не узнал. Но честность его и веяния нового времени не позволили ему скрыть от меня. Правда, моего шага (*письма Андропову*. – Б.С.) он не ждал, даже дух захватило, а это было – спасенье для него одно. Я лежал в бинтах, беспомощный, но разъярился здоровей здорового, и опять меня заносило – в письме Косыгину я сперва требовал отставки Андропова, еле меня отговорили, высмеяли.

Так взорвался наружу один подкоп и, кажется, дёрнул здорово, опалил лицо самому Андропову.

Вот какой молодец!

Опалило лицо самому Андропову или не опалило – это, как говорили герои Зошенко, еще вопрос и ответ. А вот у Саши Горлова, как это вскоре выяснилось, «дух захватило» не зря.

Все данные ему свои обещания кагебешники выполнили. С работы его уволили, докторскую защитить не дали. Посадить, правда, не посадили, но из страны выдавили.

В 1990 году, оказавшись в Бостоне, мы с женой были у него в его американском доме. (Наш друг Эмка, давно уже живущий в Бостоне, с ним приятельствует и нас к нему привел.) Дом – даже по американским понятиям – великолепный: на родине Саша о таком не мог бы и мечтать. Да и с родиной отношения в то время уже как будто стали налаживаться: Саша рассказал, что его настойчиво приглашали на Дальний Восток, до зарезу там вдруг понадобилось нам построить электростанцию, работающую от морских приливов, проект которой он, Саша, разработал. Его просили приехать хоть на полгода. На мой вопрос, согласился ли он, ответил, что да, конечно, – если приглашавшие его дальневосточники смогут выплатить ему ту зарплату, которую здесь, в Бостоне, он получает за семестр: 80 000 долларов.

Из этого можно заключить, что вынужденная эмиграция оказалась для Саши счастливым выигрышем. Если не считать того, что вскоре после приезда в США неожиданно покончил с собой его сын – подросток.

Конечно, это могло случиться и не в Америке, а дома тоже. Но – кто знает?

Как бы то ни было, эту свою американскую судьбу Саша выбрал себе не сам: на нее обрел его Александр Исаевич в процессе своего героического бодания с дубом.

Мало ли таких «камешков» попадалось тогда на его пути, через которые ему приходилось переступать. Взять хоть несчастную Воронянскую, повесившуюся после допроса в «Большом Доме» хранительницу его «Архипелага»:

Мне рассказали, что когда весть о жуткой ее смерти дошла до Солженицына, он сказал: «Она обманула меня — она наказана».
(З.Б. Томашевская. *О смерти Елизаветы Денисовны Воронянской*.
«Звезда», 1994, № 6, с. 81)

А вот что написал об этом Александру Исаевичу бывший его друг Лёва Копелев:

... твое отношение к ее гибели было бесчеловечным — где уж там христианским! После моего звонка из Ленинграда ты написал столь же сердито, сколь и безрассудно («ты думал, что я на похороны поеду?!»). А ведь звонил я только, чтобы скорее извести тебя об угрозе, о беде.

Твое отношение к Сергею Маслову, к Ефиму Эткинду, которые понеслись в Москву предостерегать тебя, хотя у них-то не было ни Нобелевской премии, ни мировой известности, выявляла все новые черты твоего «многогранного» нравственного облика.

Того, о чем тут говорит Лёва, я тогда, конечно, не знал, и этот «многогранный» нравственный облик Александра Исаевича мне тогда еще не открылся.

Но кое-что я чувствовал, кое о чем догадывался.

Да и как было не догадаться, когда в его книге «Бодался теленок с дубом» я прочел:

... должны ж они оледениться, что такая публикация (*речь идет о публикации «Архипелага»*. — Б.С.) почти смертельна для их строя (строй бы — черт с ним, для их кресел!) Должны ж они искать — не как отомстить мне когда-нибудь потом, но как остановить эту книгу прежде ее появления? Может быть, они и не допускают, что я осмелюсь? А если допускают? Я видел для них такие пути:

1. Взятие заложников, моих детей, — «гангстерами», разумеется. (Они не знают, что и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не остановим ни за что.)

Прочитав про это «сверхчеловеческое» (правильнее было бы сказать – **нечеловеческое**) решение, я содрогнулся. Но в то же время – нет, не восхитился, конечно, на это я был не способен, но – изумился неслышимой силе этого стального характера.

И – в разговорах с негодовавшими (негодовали главным образом женщины) продолжал защищать его. Как защищал раньше, когда «новомирцы» жаловались, что он готов их предать, отдав какой-то очередной свой опус в другой журнал или, не посоветовавшись с ними, в театр «Современник». (Там я прямо на стенку лез: да почему, собственно, он должен считаться с «Новым миром», да хоть бы и с самим Твардовским! Что он – подписал с ними контракт на вечные времена?! Да и не обязан он – упавший к нам с неба – делать разницу между мелкими нашими групповыми разногласиями – «Новым миром» и, скажем, «Молодой гвардией». Оттуда, с того неба, с которого он к нам упал, эта разница не больно видна. Да и, по правде говоря, не так уж и существенна.)

Помню еще разговоры о том, что в своем обращении «Жить не по лжи» он призывал студентов из принципа не сдавать зачеты и экзамены по «Основам марксизма-ленинизма».

Многие за это тоже его осуждали. «Ну, хорошо, – говорили они. – Допустим, откажутся – не все, но хоть лучшие из лучших – сдавать эти зачеты. Их исключат из институтов. И кто тогда в нашей несчастной стране будет спустя годы учить детей в школах? И кто будет лечить – тех же детей и стариков, да и просто больных, заболевших, скажем, воспалением легких?»

Но я и тут защищал его. Говорил, что пророк – он на то и пророк, чтобы призывать к несбыточному, невозможному. Сколько лет прошло со времен библейских десяти заповедей. А люди, как ни в чем не бывало, продолжают убивать друг друга, и мужчины по-прежнему желают жен своих ближних. Никакие заповеди не отвратили их от этого. Так что же, зря, значит, Моисей принес нам с Синая эти свои скрижали?

А когда Александра Исаевича арестовали...

Но об этом надо рассказать подробнее.

* * *

Мы сидели втроем – Володя Войнович, Володя Корнилов и я – и, как почти каждый вечер тогда (в этот раз это было у Корниловых), то ли играли в шахматы, то ли пили чай, а может быть, и что-то покрепче чая – «за успех нашего безнадежного дела».

Раздался резкий звонок в дверь, и в корниловскую квартиру ворвалась моя жена.

– Вот! – начала она прямо с порога. – Вы тут сидите! А только что по радио передали: арестован Солженицын!

– Арестован или задержан? – спросил я. Будучи по природе оптимистом («не верит тело»), я еще надеялся, что Александра Исаевича только пугают.

Но жена даже не поняла тонкого юридического смысла моего вопроса, по обыкновению решив, что я сморозил какую-то очередную глупость.

А друзьям, даже если они меня и поняли, было уже не до этих юридических тонкостей.

Наскоро одевшись, мы втроем выскочили на улицу и ринулись к метро.

Адрес Александра Исаевича мы знали хорошо. А лучше всех знал его я, поскольку жил он тогда в том самом дворе, где прошло мое довоенное детство, – в соседнем с моим подъезде того же старого Бахрушинского дома, где до недавнего времени жили и мы с женой, а сейчас жила моя мама, к которой я старался хоть на минутку заскочить – если и не каждодневно, так хоть раза четыре, а то и пять на неделе. Кстати, мама незадолго до того рассказала мне, что однажды – в их районной поликлинике, сидя в очереди к врачу, – она разговорилась и познакомилась с очень милой пожилой дамой, которая оказалась тёщей Александра Исаевича – Екатериной Фердинандовной.

Мы позвонили в дверь, и нам сразу открыли. Первым, кого я увидел в прихожей, был Юлик Даниэль.

– Ну, что? – глупо спросил я.

– А то, что Александр Исаевич арестован! – отрубил он, и в резкости этого его ответа было что-то похожее на интонации моей жены, когда она ворвалась к нам с этим своим «Вот, вы тут сидите!..»

И я опять вылез с тем же моим уточняющим вопросом:

– Арестован или задержан?

И так же раздраженно (мол: «А у вас еще были какие-то сомнения?») Юлик отрезал:

– Арестован!

В «Теленке» А.И. рассказывает, как мучилась тем же вопросом Наталья Дмитриевна:

А может, и не арест? Еще, может, и вернется? Сказали – «через час вернется». Уже прошло три. Арестован, конечно...

И – спустя несколько страниц:

Жене позвонили: «ваш муж задержан» в 9.15...

Такое сопоставление не исключает, что мои первые тюремные часы и когда меня вызывал Маляров, – еще не до последней точки была у них высылка решена... Еще оставляли они себе шанс, что я дрогну...

Полукультурный голос в трубке предложил моей жене справки наводить по телефону завтра утром у следователя Балашова, того самого, к которому меня якобы вызывали. Вот и всё, арестован. Повесила трубку...

По ответу Юлика выходит, что мы появились, когда «эта проклятая неизвестность» уже кончилась. Хотя – не исключено, что его ответ отражал только его личную убежденность в том, что дело плохо, – что если уж они решились на «привод», никаких надежд на то, что А.И. всего лишь «задержан», уже быть не может.

В коридоре, где мы топтались, кроме Юлика и нас был еще один человек как будто не принадлежащий к членам семьи: высокий, массивный, с крупно вылепленным, несколько даже тягеловатым лицом. Как оказалось, это был Игорь Шафаревич. Нас познакомили, и мы обменялись рукопожатиями.

Вот какие были времена.

Был там еще и Сахаров. Но он, когда мы вошли, уже прощался. Отчасти поэтому, а отчасти потому, что эта – первая моя встреча с ним – была напрочь вытеснена другими, гораз-

до лучше мне запомнившимися, я начисто забыл реплику, которую он кинул, уходя. (Ее мне напомнил Лёва Левицкий, который все эти годы вел дневник и – с моих слов – записал ее.)

Когда кто-то спросил Андрея Дмитриевича, что же теперь, после того как Солженицына взяли, надо делать, он ответил: – Пока что ничего. Надо ждать, какой будет их следующий ход.

Дальнейшее развитие событий подтвердило, что он был прав.

После ухода Сахарова пробыли мы в солженицынской квартире недолго. Нам коротко рассказали, как все произошло. Сейчас я уже не могу отделить то, что услышал тогда, от того, что потом прочел в «Теленке». Из услышанного запомнились некоторые особенно тронувшие меня подробности: взял с собой свой «тюремный мешочек», где едва ли не самой важной для него вещью были самодельные «наглазники», специально изготовленные им на тот случай, если придется засыпать в камере при невыключенной на всю ночь электрической лампочке. А ночным сном он дорожил, помимо всего прочего еще и потому, что, как оказалось, уже тогда начались у него нелады с давлением.

Выслушав все это и повздыхав, мы ушли. Выйдя из подъезда, с детства знакомым мне проходным двором выскочили на Тверскую и плюхнулись в первую попавшуюся машину с шашечками. Фокус с проходным двором, однако, не помог: как только наше такси тронулось с места, за нами следом тотчас же двинулась другая машина с тремя или четырьмя легко узнаваемыми гавриками.

В двух кварталах от нашего метро сидящий рядом с водителем Войнович быстро с ним расплатился и остановил машину. Мы выскочили и «огородами, огородами» – то есть переулками и дворами, – слегка петляя, чтобы сбить со следа возможных преследователей, вернулись в корниловскую квартиру, из которой вышли тому назад каких-нибудь полтора часа, – а казалось, что целую вечность.

Весь этот войновичевский маневр был чистейшей воды озорством: никакого практического смысла в этом «убегании от преследователей», конечно, не было. Но нам это внушило некоторое чувство довольства собой и на какое-то – увы, очень короткое – время слегка улучшило наше настроение.

Разошлись мы поздно, и ночью я (наверно, не один я) долго не мог уснуть. Тревога за Александра Исаевича (что-то теперь с ним будет?) слилась воедино с тревогой за Войновича и Корнилова, которые в то время уже вступили на путь «диссидентства», – за всех нас. Я чувствовал, что арест «Исаича» – это начало какого-то поворота в общей нашей судьбе. Каким-то образом он (сам факт его существования, его неуязвимости) защищал, охранял «от них» всех нас. И теперь, без него, мы словно стали стократ беззащитнее: если уж они решились взять ЕГО, так с нами со всеми и вовсе не станут чикаться.

С той ясностью, с какой выражаю сейчас, я этого тогда, наверно, не сознавал. Но что-то подобное безусловно чувствовал. Хотя чувство это было где-то на периферии моего сознания (может быть, даже и подсознания). Главная же тревога была за него: на что они все-таки решатся? Что с ним сделают? Неужели посмеют после всего, что он уже пережил однажды – в ТЕ ВРЕМЕНА, – заставить пережить его это еще раз, снова?

Наутро, когда указ о «выдворении» был объявлен, у меня прямо камень с души свалился.

Среди появившихся в тот же день в печати лакейских откликов на это событие наших литературных корифеев слегка выделялся (а может быть, мне это показалось?) отклик Валентина Катаева.

Начинался он как-то так: «С чувством огромного удовлетворения я узнал...»

Прочитав это, я подумал, что наверняка Валентин Петрович этим казенным способом выразил то, что чувствовал на самом деле. Мне даже сейчас мерещится, что там было сказано: «С чувством огромного облегчения...» А поскольку «чувство огромного облегчения» было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что А.И. уже в Германии, у Бёлля, – мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал (и хотел выразить) именно это.

А может быть – кто знает! – так оно на самом деле и было?

Солженицын-идеолог давно уже был мне чужд, даже враждебен. Особенно после его «Письма вождям Советского Союза».

Отвратило меня уже самое начало этого письма, в котором он давал понять нашим «вождям», что сохраняет некоторую надежду на успех своего обращения к ним, потому что, как бы там ни было, а ведь все-таки они с ним «одной крови»:

Я желаю добравсем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами.

И это письмо я пишу в предположении, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным протосторам, что вы — не безнациональны.

Точно так же, помню, поразило меня в «Теленке», что когда возникло у него намерение написать письмо в правительство, попытаться найти с ними если не общий язык, так хоть компромисс, сомнений насчет того, к кому именно из «них» стоит обратиться, у него не было:

А кому послать, колебания не было: Сулову! И вот почему. Когда в декабре 1962 года на кремлевской встрече Твардовский представлял меня Хрущеву, никого из Политбюро близко не было, никто не подошел. Но когда в следующий перерыв Твардовский водил меня по фойе и знакомил с писателями, кинематографистами, художниками по своему выбору, в кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглупым удлинённым лицом и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал ее трясти и говорить что-то о своем крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», и тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал, а Твардовский мне укоризненно вполголоса: «Михаил Андреевич...» Я плечами: «Какой Михаил Андреевич?»

Твардовский с двойной укоризной: «Да Су-услов!!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! — но меня зрительная память частенько подводит, вот я и не узнал. Но вот загадка: отчего так горячо он меня приветствовал? Ведь при этом и близко не было Хрущева, никто из Политбюро его не видел, значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? Законсервированный в Политбюро свободолобец?..

Это у мертвяка Сулова «весьма неглупое лицо»... Это Сулов — «законсервированный в Политбюро свободолобец»...

Ну, ладно, на всякого мудреца довольно простоты. Ну, купился Александр Исаевич на суловские похвалы его «Ивану Денисовичу», на радостное трясение Михаилом Андреевичем его руки... Может быть, и в «Письме вождям», когда он выражал надежду, что те, к кому он обращается, «не безнациональны», вспомнилось ему неглупое лицо и пылкое рукопожатие М.А. Сулова.

Но та программа действий, та модель спасения отечества, те, тогда еще не шибко развернутые, но уже достаточно ясно выраженные идеи насчет того, «как нам обустроить Россию», изложенные в этом его обращении к вождям, отвратили меня даже еще больше, чем выраженная в его начале надежда на их «небезнациональность».

Всё это в нашем (увы, довольно узком) кругу, конечно, обсуждалось. И образ недавнего нашего кумира не то чтобы потускнел, но изменился, обретя черты не только комические, но и, по правде сказать, отгалкивающие.

Говорили мы об этом между собой только в наших кухнях: о том, чтобы выступить с критикой солженицынских идей публично, разумеется, не могло быть и речи — ведь это значило бы присоединиться к государственной, кагебешной травле главного борца с ненавистной нам советской властью.

Один «из нас», однако, на это все-таки решился.

В 1974 году (вон как давно это было!) Давид Самойлов написал и вскоре опубликовал поэму «Струфиан. Недостовверная повесть», герой которой — Федор Кузьмин (он же — Федор Кузьмич, тот самый, старец, легенда о котором так волновала

Льва Николаевича Толстого) – являлся перед читателем в роли автора некоего тайного сочинения, которое, как только будет оно завершено, он намеревался повергнуть к стопам само-го Государя Императора:

Кузьмин писал. А что писал
И для чего – никто не знал.
А он, под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье...
.....
Поскольку не был сей трактат
Вручен (читайте нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не будет девы с коромыслом,
Не будет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом,
И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремёсла;
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,
Необходимо наше царство
В глухие увести места –
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный.
Необходимы также меры
Для возвращенья старой веры.

В никонианстве есть порок,
И суть его – замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок».

В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.

Не могло быть ни малейших сомнений насчет того, куда было направлено жало этой художественной сатиры. Конечно же, это была пародия – откровенная и довольно злая – на Солженицына, на его «Письмо вождям Советского Союза».

Злая ирония этого Дезькиного «Струфиана»...

По инерции, произвольно написал не «самойловского», как тут, конечно, следовало бы, а «Дезькиного».

В кругу друзей – не таком уж и узком – на протяжении десятилетий (так повелось с самых ранних его лет) все звали Давида – «Дезик», «Дезька». Все попытки – а такие случались – поломать эту дурную привычку, ни к чему не приводили: сила инерции брала свое.

И вот одну такую провалившуюся попытку я вдруг сейчас вспомнил.

Мы жили в Шереметьевке, на тех же уже описанных мною дачах «Литгазеты». На этот раз – зимой. Жили в одной даче с Зоей Крахмальниковой и ее семейством. А на соседних дачах жили наши друзья – Володя Корнилов, Дезик, еще кто-то. Ну и, естественно, по несколько раз на дню ходили друг к другу.

Семейство Зои состояло из ее мужа Света (Феликса Светова), их маленькой дочки Зоечки и ее няньки.

Маленькой Зоечке было тогда лет, наверно, шесть. Она была очень забавным ребенком. Однажды, помню, подхватила где-то – то ли в поселке услышала, то ли от няньки – песню, которую тут же нам всем – обитателям дачи – исполнила:

Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я,
Принца, герцога, барона али короля!
А без мужа, точно стужа будет жизнь моя.
Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я!

Последнюю строчку этого куплета она выкрикивала с каким-то отчаянным надрывом, с иступленной, бешеной женской стастью. Мы просто умирали от хохота...

Так вот, однажды, когда мы все вернулись с лыжной прогулки, эта маленькая Зюечка сообщила нам:

– Приходил Давид Собачье Имя...

Что это значило, поняла – и тут же нам объяснила – Зюя большая.

Оказывается, как-то на днях она раздраженно сказала, что ей отвратительна эта прилепившаяся к замечательному поэту собачья кличка – «Дезик». У него есть нормальное человеческое имя – Давид, – сказала она. И так его и надо называть.

Маленькая Зюечка это услышала и приняла как руководство к действию. Так родилось новое – недолго, впрочем, продержавшееся, – прозвище поэта: «Давид Собачье Имя».

История вызвала у меня множество других – совсем уже к делу не идущих – воспоминаний. Но – мощным волевым усилием я заставляю себя вернуться в лоно моего сюжета.

Продолжу с того места, на котором прервал себя этим, право, не таким уж необходимым отступлением.

Так вот: злая ирония самойловского «Струфиана» была мне не просто близка – это были, как писал иногда на докладах своих министров Николай Второй, «мои мысли». Мои, но выраженные с таким блеском, на который я сам, конечно, не был способен.

Но главное тут было даже не это.

Ясно сознавая, что все эти солженицынские идеи «спасения Руси» мне не только чужды, но и прямо враждебны, я все-таки не позволял себе думать о нем совсем уж худо. Что бы там ни было, он все-таки еще оставался для меня главным символом сопротивления ненавистному мне сталинско-брежневскому режиму.

Помню, однажды, когда мы в какой-то компании обсуждали это самое солженицынское «Письмо вождям», один из самых

резких его критиков, с которым я был, в общем, согласен, заключил свою речь такой фразой:

– Короче говоря, если бы у нас сейчас были свободные выборы, за Солженицына я бы голосовать не стал.

На что я тут же отреагировал:

– Ну да, вы бы голосовали за Брежнева.

Вот таким «амбивалентным» было тогда мое отношение к «Исаичу».

Природа этой «амбивалентности» в значительной мере, конечно, определялась тем, что любая – даже справедливая – критика Солженицына неизбежно смыкалась с той государственной его травлей, которая не прекращалась чуть ли не до конца 80-х.

Ну а уж тут, когда так называемая наша «перестройка» вошла уже в полную силу, я наконец позволил себе более или менее откровенно (хоть и не поставив все точки над «i») публично высказаться на эту щекотливую тему.

Я вел тогда в новом, «перестроечном», коротичевском «Огоньке» постоянную рубрику: «Из запасников русской прозы XX века». Публиковал там Зощенко, Бабея, Замятина, писателей-эмигрантов – Шмелева, Ремизова, впервые в послереволюционной России напечатал отрывки из «Уединенного» и «Опавших листьев» В. Розанова. Естественно, захотелось вернуть читателю и Солженицына. Пришлось выбрать не шибко мне нравившийся «Матренин двор». Собственно, никаких других вариантов и не было. Я бы предпочел «Случай на станции Кречетовка», но этот рассказ не мог быть напечатан в «Огоньке» просто по объему: не вмещался в отведенные для моей рубрики журнальные страницы.

В небольшой заметке, предваряющей рассказ (я каждую публикацию предварял таким коротеньким предисловьицем), вспомнив историю появления «Ивана Денисовича» на страницах «Нового мира», отдав дань Твардовскому и коротко сказав о том, каким огнем, упавшим с неба, было для нас явление Солженицына, я далее написал следующее:

Пока еще тлела, догорая, хрущевская оттепель, Солженицына скрепя сердце терпели. Вынуждены были терпеть. Но

эпоха застоя обрекла автора «Ивана Денисовича» на открытую конфронтацию с властью.

Травля Солженицына, начавшаяся вскоре после отставки Хрущева и завершившаяся выдворением писателя из страны, имела двойные последствия.

С одной стороны, она привела к тому, что фигура Солженицына разрослась до гигантских размеров, заслонив собою весь горизонт. Его стали сравнивать с Толстым, с Достоевским, с протопопом Аввакумом, с библейскими пророками... Создав ему репутацию чуть ли не самого опасного и влиятельного врага могущественной ядерной державы, эта травля — и сила его противостояния этой травле — обеспечила Солженицыну неслыханную мировую славу.

С другой стороны, эта травля велась такими гнусными средствами, о Солженицыне писали в таком чудовищном тоне, на голову его обрушили столько лжи и клеветы, что это почти совершенно исключало для многих не только возможность какой бы то ни было критики Солженицына, но даже полемики с ним, ведь такая полемика неизбежно рассматривалась бы как соучастие в травле.

Это уродливое, искусственное, ненормальное положение сохраняется до сего дня.

До тех пор пока книги Солженицына не опубликованы в нашей стране, его деятельность художника, идеолога, публициста, по существу, остается у нас вне серьезной критики. А это, естественно, создает почву для возникновения культа Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого культа.

Публикуя рассказ «Матренин двор», мы делаем первый шаг к тому, чтобы покончить с этой ненормальной, уродливой ситуацией. Надеемся, что вслед за этим первым шагом последуют другие.

Предваряя публикацию «Матренина двора» этим предисловием, я, конечно, не ждал, что все прочитавшие мою заметку будут с нею согласны. Предполагал даже, что наверняка найдутся и недовольные ею. Но на ту реакцию, которую она — эта заметка — вызвала, признаюсь, не рассчитывал. Во всяком случае, у тех, кого привык считать людьми, так сказать, нашего круга, а значит, единомышленниками.

Первую жесткую отповедь я получил от Вячеслава Кондратьева, к которому я относился хорошо, да и он ко мне вроде тоже.

Я знал, что Солженицын хвалил и даже как-то поддержал его «Сашку». Знал, что он истовый и преданный поклонник Александра Исаевича. Но ведь я как будто ничего худого про его кумира и не сказал. Напротив, отдал ему должное, и даже – первый – озаботился тем, чтобы вернуть его прозу читателю.

Сейчас я уже не помню, что именно Слава мне говорил. Помню только подчеркнуто сухой и даже враждебный тон, каким было сделано мне его суровое порицание. И еще помню, что выражал он мне это порицание не от себя, и даже не от «группы товарищей», а как бы **от всех**. Я очень хорошо помню, что это слово в той его речи упоминалось чаще всех других: «всех покорило», «все считают», «все возмущены»...

А с пламенной Люшей (Еленой Цезаревной) Чуковской я тогда чуть было совсем не рассорился.

В статье, появившейся в «Книжном обозрении», она в запале даже сравнила меня с бывшим председателем КГБ Семичастным, какой-то мемуар которого был напечатан в том же номере «Огонька», что и «Матренин двор» с моим предисловием.

Не обошел вниманием эту мою заметку и сам Александр Исаевич:

Тут, пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич (столько нагавший обо мне в «Советской России» в брежневское время) из моих гонителей сметливо перекинулся в непрощенные благодетели – и без разрешения и ведома Димы Борисова в начале июня 89-го напечатал в «Огоньке» «Матренин двор». (С ядовитым предисловием Бена Сарнова, что, начав печатать, открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, – как будто 15 лет чем другим на Западе занимались.) Сорвал-таки Коротич первоочередность «Архипелага», было у меня смурное чувство, хотя же: в трёх миллионах экз-земпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю.

*(Александр Солженицын. Угодило зёрнышко
промеж двух жерновов. Очерки изгнания.
Часть четвертая (1987–1994).*

Глава 14. Через непродёр. «Новый мир», 2003, № 11)

Было ли мое предисловие ядовитым – о том пусть судит читатель. А вот все остальное тут требует некоторого комментария. Сперва о Коротиче.

В тогда еще недавние советские (брежневские) времена Виталий Алексеевич и в самом деле был деятелем вполне законопослушным и даже сервильным. Помню, однажды мы сидели с ним вдвоем в его «огоньковском» редакторском кабинете, разговаривали, и он довольно резко осуждал – сейчас уж точно не помню кого, кажется, Володю Максимова, – за сервиллизм, за шашни с Кочетовым, за еще какие-то темные пятна на его общественной репутации. Помня, с кем разговариваю, я не шибко откровенничал, занимал примирительную, отчасти даже соглашательскую позицию. Сказал что-то в том смысле, что не стоит никого судить так строго, такое уж было время.

И тут он довольно резко меня оборвал:

– Бросьте! Вот мы с вами ведь этого не делали!

Ну, ты-то, положим, делал, – подумал я.

Так что насчет того, что в брежневские времена Коротич вполне мог оказаться – и наверняка оказывался – среди гонителей главных тогдашних диссидентов – Сахарова и Солженицына, – у меня нет никаких сомнений. Тут Александр Исаевич прав на все сто процентов. А вот то, что, «пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич» из гонителей Солженицына «смелливо перекинулся» в непрошенные его благодетели, – на правду уже не похоже.

Во-первых, обстановка для того, чтобы начать печатать Солженицына, тогда была еще не вполне благоприятная. Чтобы сделать это первым, нужна была все-таки известная смелость. А во-вторых – и это главное – Коротич вовсе не хотел печатать Солженицына. Не скрывал, что Александр Исаевич и по человеческим своим качествам, и как идеолог, мягко говоря, не больно ему симпатичен. В общем, сопротивлялся нашему натиску как мог. Но в конце концов он уступил (конечно, сыграло свою роль и тщеславное желание и тут быть первым). В общем, мы его уговорили. («Мы» – это отчасти я, но главным образом Олег Хлебников, заведовавший тогда в «Огоньке» отделом литературы.)

Немало смущала Коротича и юридическая сторона дела:

авторские права Солженицына в СССР представлял тот самый Дима Борисов, о котором А.И. упоминает в этом своем «Непродёре» и с которым он потом вдрызг рассорился из-за каких-то финансовых то ли недоразумений, то ли вольностей, то ли махинаций последнего. (В махинации я решительно не верю, Диму я знал – человек он был, как мне кажется, чистый и, во всяком случае, ни на какие махинации не способный.)

С Димой мы решили свои планы не согласовывать (он бы наверняка публиковать «Матрёнин двор» нам не разрешил, блудя твердое указание Исаича не печатать ничего, пока не решится вопрос о публикации «Архипелага»). Потом оказалось, что поступили мы не слишком опрометчиво, поскольку перепечатка уже напечатанного в периодике юридически не возбранялась.

Но, по правде говоря, обо всех этих юридических тонкостях мы тогда даже и не думали. Нами двигал азарт: страстное желание напечатать – после двадцатилетнего запрета – Солженицына в журнале с трехмиллионным тиражом. А там – хоть трава не расти! (Как видите, и сам Исаич тоже признал – хоть и сквозь зубы, – что все-таки был рад, узнав, что «в трёх миллионах экземпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю». Что ж, и на том спасибо.)

Ну и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать в этом своем комментарии к процитированному мною абзацу из этого солженицынского «Непродёра». О вскользь – в скобках – брошенной им фразе: «... открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, – как будто 15 лет чем другим на Западе занимались».

На Западе критикой Солженицына действительно занимались, и начали – действительно – лет за пятнадцать до того, как я посмел робко заикнуться о том, что такая критика необходима. Так ведь это – на Западе! А наш российский читатель о тех идеях, которые высказывал Солженицын уже там, «за бугром», и о критике – не официозной советской, кагебешной, а свободной, либеральной – этих глубоко реакционных его идей, – мало что знал.

Да и как мог он о том узнать через вой глушилок и непроницаемую ограду железного занавеса!

Знали об этом у нас, да и то в далеко не полном объеме, очень и очень немногие.

Среди этих немногих был и я.

6

После «выдворения» Солженицына я перестал читать советскую литературу.

Вряд ли тут была какая-то причинно-следственная связь. Просто так совпало. Накапливалось давно, постепенно. А тут вдруг – как отрезало. Я не мог взять в руки не то что «Знамя» или «Октябрь», но даже «Новый мир». (Который, правда, уже не был «Новым миром» Твардовского.)

Всё это мне теперь заменил ТАМИЗДАТ.

Ближайшие мои друзья Войнович и Корнилов, ставшие, как это тогда называлось, диссидентами, а также Борис Биргер, который диссидентом в точном смысле этого слова тогда еще не был, постоянно общались с иностранными корреспондентами, а иногда и с дипломатами. И те щедро снабжали их этим самым «Тамиздатом». Вот так и вышло, что и ко мне тоже тёк, не иссякая, ручеек зарубежных русскоязычных изданий, и место «Нового мира» и других советских журналов в моем ежедневном домашнем обиходе заняли «Континент», «Время и мы», «Грани».

Кроме журналов были, конечно, и книги. Ну а кроме Тамиздата был еще и Самиздат, так что чтения хватало.

Благодаря друзьям-диссидентам я тут был в безусловно привилегированном положении. Но Тамиздат и Самиздат были доступны и рядовым читателям тоже: была бы только охота.

На этот счет ходили даже разные анекдоты.

Вот один из них, выдаваемый, как это часто бывает, за реальный случай.

Какой-то человек будто бы взял у знакомых – для сына – «Остров сокровищ» Стивенсона. Сын книгу дал еще кому-то, и она затерялась. Несчастному отцу было очень неловко перед своими знакомыми, он мучился, не зная, как выйти из этой неприятной ситуации. И знающие люди ему подсказали. Сходи, говорят, на Кузнецкий, там толкутся книжники и книжные

спекулянты, они тебе что хочешь достанут. Он послушался и довольно быстро сговорился с каким-то барыгой, что тот за полтинник (пятьдесят рублей) добудет ему вожделенный «Остров сокровищ». В назначенный день они встретились, он вручил спекулянту полтинник, тот ему – тщательно упакованную книгу. Придя домой и распаковав сверток, бедняга – с недоумением и даже легким ужасом увидел, что вместо «Острова сокровищ» ему подсунули изданный «Посевом» солженицынский «Архипелаг». Оказалось, что у них там, у книжников, которые толкуются на Кузнецком Мосту, свой конспиративный код, согласно которому «Архипелаг ГУЛАГ» «завсегда» (как в знаменитом зощенковском рассказе водка – лимонадом) зовется «Островом сокровищ».

А вот другой анекдот, уже не про Там, а про Самиздат.

Бабушка перепечатывает на пишущей машинке «Войну и мир». У нее спрашивают: зачем? Не сошла ли она, часом, с ума? Нет, говорит, не сошла. Просто внук читает только то, что перепечатано на машинке. А всё, что издано типографским способом, даже в руки не берет.

Это я к тому, что, видно, не я один так остро ощущал тогда разницу между подцензурной и – неподцензурной, свободной литературой.

Однажды, помню, я столкнулся в своем подъезде – у лифта – с Борей Слуцким. Я решил было, что он идет ко мне, но оказалось, – не ко мне, а к Фазилю. (Тот жил тогда в точно такой же квартире, как моя, но – этажом выше.) В руках у Бориса был внушительных размеров сверток. Он сказал, что это рукопись искандеровского «Сандро из Чегема», которую он только что прочел и вот собирается вернуть автору.

А как раз в это самое время в «Новом мире» был напечатан сильно сокращенный и сильно изувеченный журнальный вариант «Сандро», который я, конечно, читать не стал (зачем, если я читал полный?), а Борис, как оказалось, прочел.

– Ну и как? Велика разница? – спросил я.

– Разница, – медленно начал Борис, видимо, стараясь подыскать как можно более точную формулировку, – как между живым хуем и муляжом, сделанным из папье-маше.

Слегка смутившись (не оттого, что прибег к ненормативной

лексике, а потому, что, зная мои близкие отношения с Фази-лем, пожалел, что высказался с чрезмерной откровенностью), он тут же добавил:

– Только вы ему, пожалуйста, этого не говорите.

Говорить об этом Фазилю я, конечно, и не собирался (за-чем его огорчать?), но формулировке Бориса в душе обрадо-вался: вот, даже и он, «наш советский Слуцкий», тоже понима-ет, каким ублюдочным становится всё, что выварено в семи щелоках советской цензуры.

* * *

Итак, я зачитывался Тамиздатом, не последнее место в ко-тором занимали тогда, конечно, и книги Солженицына. Не только «Узлы» и не только «Архипелаг», но и публицистиче-ские – или, лучше сказать, историософские его сочинения. И вот они-то как раз больше всего меня и поразили.

Поразили, по правде сказать, не столько даже махровой своей реакционностью, сколько пошлостью и убогостью мысли.

Вот прочел, например, такое:

Россия перед войной 1914 года была страной с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализован-ной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономиче-ских занятий, было положено начало рабочего законодательст-ва, а материальное положение крестьян настолько благополуч-но, как оно никогда не было при советской власти. Газеты бы-ли свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культу-ры, интеллигенция была свободная в своей деятельности, испо-ведание любых взглядов и религий не было воспрещено, а выс-шие учебные заведения имели неприкосновенную автоном-ность. Многонациональная Россия не знала национальных де-портаций и вооруженного сепаратистского движения... Александр I был с войском в Париже – и не присоединил к России и клочка европейской земли...

(А. Солженицын. Чем грозит Западу плохое понимание России)

Всё это провозглашалось, как говорится, «на голубом глазу». Словно не было в той благословенной России ни черты оседлости, ни дела Бейлиса, ни полувековой национально-освободительной войны народов Кавказа. Словно генерал-губернатор Трепов не приказал выпороть студента. Словно Александр Первый на Венском конгрессе не оторвал с кровью герцогство Варшавское и не присоединил его к России под именем Царства Польского, после долгих препирательств и угроз, чуть не кончившихся новой войной, уступив Познань Пруссии и Галицию Австрии. Словно русский император не именовался потом целое столетие Царем Польским и Великим Князем Финляндским. И это называется – «ни клочка европейской земли»!

Но даже и это еще не стало крутым переломом в моем отношении к Александру Исаевичу.

А стал таким переломом, казалось бы, уже совершеннейший пустяк. Прямо как в сказке: дед бил-бил – не разбил, баба била – не разбила; мышка пробежала, хвостиком махнула – яичко покатилося и разбилось.

Этим «мышкиным хвостиком» оказались два факта, о которых я узнал из статьи Андрея Синявского «Солженицын как устроитель нового единомыслия».

В 1983 году, – рассказывает в этой статье Андрей Донатович, – в Париже вышла брошюра Н. Дронникова (скромного русского художника). Называется: «Статистика России 1907–1917». Статистика – такая: сравниваются низкие цены на леца в Одессе в 1913 году с высоким процентом евреев, проникавших в сердце России. Тут же – о добросердечии Гитлера, который вскоре после прихода к власти в 1933 году пожертвовал крупную денежную сумму на пострсение православного храма в Берлине. Тут же приводится из этой книги такая цитата:

Пора перестать считать русскими большинство писателей, художников и профессоров здешних университетов, только оттого, что они родились в России и говорят и пишут на русском языке, окормляясь вокруг русского вопроса.

А на обложке этой «охотнорядческой», как (судя по всему, справедливо) именует ее Андрей Донатович, книги – жирным шрифтом такая рекомендация:

От души желаю Вам успехов в отстаивании истины о нашей заплеванной родине. Жму руку.

31. 1. 84. .

А. Солженицын.

Но еще более сильное впечатление произвел на меня другой факт, сообщаемый тем же А.Д. Синявским в той же его статье.

На этот раз речь идет о другой книге, другого автора – некоего Петра Орешкина. Называется она – «Вавилонский феномен» (Рим, 1984).

Этот Петр Орешкин, если верить пересказу Андрея Донатовича, совершил множество чудесных открытий. Он, например, установил, что первоязыком всего человечества был древнеславянский язык и потому все языки мира, все культуры, мифы, письма и рисунки (включая Японию, древнюю Мексику, Индию, остров Пасхи, египетские иероглифы и даже пещерные изображения) следует переименовать по-русски.

Далее в статье Синявского следует ряд цитат из книги этого Орешкина, из которых я приведу лишь самые выразительные:

Уже само имя «этруски» дает основание говорить, что были они древнеславянским племенем руссов – «Это-руски».

Римская Курия – это всего лишь «курулка», а философ Эпикур – переосмысленное опий куре.

А вот как объясняется происхождение слова «Прованс»:

«Прованяси», что, вероятно, объясняется «пикантным» запахом продуктов, изготовленных в Провансе: прованские сыры, капуста «провансаль» и т.п.

Все это, конечно, не заслуживало бы особого внимания (мало ли такого приходилось нам читать уже в те времена, а чем

дальше – тем больше), если бы на обложке и этой книги тоже не красовалась рекомендация Александра Исаевича:

Многоуважаемый Петр Петрович!

Могу представить себе Ваше отчаяние от предложения Вашей работы западным «славянским» специалистам. Еще независимо от истины – само направление Вашей трактовки им отвратительно и является одним из самых осудительных, что только можно придумать в современном мире.

Ну, во всяком случае, это очень дерзко и несомненно – талантливо.

Желаю Вам не приунуть, но преуспеть!

Александр Солженицын.

Прочитав эти две «рекомендации» Александра Исаевича, я вспомнил обращенную к нему Борей Заходером – тогда еще скорее в шутку, чем всерьез – знаменитую отповедь Белинского Гоголю:

– Апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия – опомнитесь! Что Вы делаете!

Теперь эти слова уже можно было обратиться к нему с полным на то основанием. И не в шутку, а на полном серьезе.

7

В своей книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», в той самой её главе так талантливо озаглавленной «Через непродёр», которую я однажды уже цитировал, рассказывая о новой волне травли, обрушившейся на него уже в новые, перестроечные времена, Александр Исаевич еще раз упоминает мое имя:

А уж радио «Свобода» – там-то никогда против меня не дремали. Теперь надрывались тот же Сарнов, «получивший право критики», и Б. Хазанов, и иже, и иже – о несомненном антисемитизме «Красного колеса», – вот она, главная опасность, сейчас покатится на страну.

(«Новый мир», 2003, № 11)

Не могу сказать, чтобы я так-таки уж надрывался, разоблачая антисемитизм «Красного колеса». Да и вовсе не антисемитизм был главным поводом для тогдашних моих нападков на Солженицына.

Несколько антисолженицынских текстов из тех моих выступлений по «Свободе» у меня сохранились. Самый резкий из них назывался: «С кем вы, Александр Исаевич?»

Начинался он так:

На многотысячных митингах и демонстрациях, проходивших в этом году в Москве, появились сперва одинокие, редкие, а потом все более многочисленные плакаты: «С КЕМ ВЫ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ?»

Вопрос, конечно, интересный. И меня, не скрою, он тоже волновал. Но гораздо больше волновал меня другой вопрос. Вернее, тот же самый, но обращенный к другому человеку. И если бы каким-то чудом меня занесло в Вермонт и если бы удалось там организовать — пусть не многотысячный, а совсем даже малочисленный митинг, — я, несмотря на радикулит и другие старческие хвори, шел бы в первых рядах и нес плакат с этим волновавшим меня вопросом: «С КЕМ ВЫ, АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ?»

Вопрос этот возник у меня в связи с тем, что имя Солженицына, моральный авторитет Солженицына взяли на вооружение самые реакционные политические силы нашей страны. Они объявили — и продолжают объявлять — его своим союзником. Мало сказать — союзником. Своим вождем, своим знаменем. Своей священной хоругвью.

Быть знаменем в таких руках, мне казалось, ему как-то не к лицу. Но он не возражал. Никак этому не препятствовал. Молчал.

Далее я — для наглядности — привел несколько цитат из сочинений тех, кто пытался сделать Солженицына своим знаменем.

Приведя все эти цитаты, я обратился к радиослушателям с таким — слегка лукавым, отчасти даже лицемерным — вопросом: неужели Александр Исаевич думает так же? А если нет, почему же он тогда молчит? Почему не отмежевывается от этих незваных союзников?

И тут же сообщал, что совсем недавно этот наш великий молчаливец все-таки отверз уста. Высказался.

И далее – опять же для наглядности – привел некоторые из самых ярких его высказываний на эту тему:

... Токвиль считал понятия демократии и свободы противоположными. Он был пламенный сторонник свободы, но отнюдь не демократии... Милль видел в неограниченной демократии опасность «тирании большинства»... Австрийский государственный деятель нашего века Иозеф Шумпетер называл демократию – суррогатом веры для интеллектуала, лишенного религии... Как принцип это давно предвидели и С.А. Франк: «И при демократии властвует меньшинство». И В.В. Розанов: «Демократия – это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством».

Оборвав на этом перечень цитат, приведенных Александром Исаевичем, я – далее – ограничился тем, что перечислил лишь некоторых из упоминаемых им авторов:

Русский философ Левицкий... Папа Иоанн-Павел II... Рональд Рейган... «Наш видный кадетский лидер Маклаков»... Кажется, никого из тех, кто клеймил демократию, опасался демократии, предупреждал об изъятиях демократии не забыл вспомнить и процитировать Александр Исаевич. И самых авторитетных назвал, и не слишком авторитетных – все ему пригодились. И неважно, что одно высказывание противоречит другому, что Милль видит в демократии опасность «тирании большинства», а Франк и Розанов утверждают, что при демократии меньшинство властвует над одуроченным большинством. Важно, что и тем и другим демократия нехороша...

А заканчивалось это мое радиовыступление так:

... И Андрею Дмитриевичу Сахарову досталось от Александра Исаевича. За чрезмерное увлечение борьбой за гражданские права, а также за то, что «скороспешно» стал сочинять параграфы новой конституции.

И в самом деле: зачем сочинять, когда не так плохо, оказывается, была и старая, сталинская конституция. «Справедлива, — объявляет Александр Исаевич, — нынешняя иерархия — союзных республик — автономных республик — автономных областей — и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении...»

Эта солидарность главного ненавистника сталинщины с законодательным волеизъявлением «отца народов» просто трогательна.

Что можно к этому добавить? Разве только признать, что лозунг, с которым я мечтал выйти на воображаемый мною митинг в Вермонте, пожалуй, уже потерял актуальность. Вопрос — «С кем вы, Александр Исаевич?» — это теперь уже вопрос чисто риторический. Теперь мы знаем, с кем Александр Исаевич.

Как видите, в тогдашних моих атаках на Солженицына все не антисемитизм его был моей главной мишенью. Но — что правда, то правда, — раза два, выступая по «Свободе», затронул я и эту щекотливую тему.

* * *

Когда был напечатан «Иван Денисович», у меня был любопытный разговор о нем с Марьей Павловной Прилежаевой. (Она знала меня по «Пионеру»). Увидав меня в ЦДЛ, она вдруг кинулась ко мне как к родному и жадно стала расспрашивать: что я думаю об этом литературном событии. Я восторгался. Возражать она не смела (как возражать, если все присяжные борзописцы — и в «Правде», и в «Известиях» — хвалят взахлеб, да и ни для кого не секрет, что приказ хвалить спущен с самого верха). Но по тону ее я чувствовал, что сочинение это ей сильно не по душе.

В смысле литературной одаренности Марья Павловна была, что называется, на нуле. (Кормилась ленинской темой.) Но умом Бог ее не обидел, и она мгновенно поняла (а может быть, почувствовала — классовым, номенклатурным, верхним собачьим чутьем почуяла), что рядом с Солженицыным таким, как она, — не жить, что этот упавший с неба огонь, если вовремя его не погасить, сожжет их всех дотла.

Еще по прежним нашим случайным встречам и разговорам я заметил, что она не шибко уверена в прочности своего (не лично своего, а своего класса) социального положения. Однажды пожаловалась, что лифтерша в высотном доме на Котельнической, где она жила, посмела грубо с ней разговаривать. И говорила об этом с тревогой: куда, дескать, идем, если у простого народа – никакого уважения к власти (частью которой она себя ощущала). Я тогда ее успокаивал: бросьте, мол, Марья Павловна, не огорчайтесь, отнесите это на счет дурного настроения девушки.

Вот и сейчас, в том разговоре, который она завела со мной об «Иване Денисовиче», я почувствовал ту же тревогу. И – то ли это в самом деле ее заботило, то ли, чтобы слегка охладить мои восторги, – она вдруг спросила, не почувствовал ли я в так горячо расхваливаемой мною повести явный антисемитский душок?

Я удивился:

– Это где же?

Внимательно глядя на меня (не притворяюсь ли?) она объяснила:

– А в Цезаре Марковиче.

Я искренне ответил, что нет, не почувствовал.

И в самом деле ничего такого я там не ощутил. Да и сейчас, по правде сказать, не ощущаю. В «Одном дне...» Солженицын на всё и на всех смотрит глазами Ивана Денисовича. А Иван Денисович с пониманием и сочувствием относится не только к Цезарю Марковичу, но даже и к вертухаю – «попке на вышке».

С Марьей Павловной мы на том и расстались: переубеждать меня она не стала. Но разговор этот потом вспоминался мне часто. И когда читал «В круге первом», и когда прочел «Ленин в Цюрихе», и – в особенности – когда случилось прочесть новую, не сразу вошедшую в «Август четырнадцатого» гигантскую главу (в сущности – книгу в книге) об убийстве Столыпина.

Тут уж никаких сомнений быть не могло: антисемитизм безусловно входил в систему взглядов писателя Солженицына как весьма важная её составляющая.

Странно, что понимая это, настоящим – то есть зоологиче-

ским – антисемитом я Солженицына тогда всё-таки еще не считал. Хотя и ясно видел, что антисемитизм как некая идея составляет неотъемлемую часть всей выстроенной им идеологической конструкции.

Вот, например, на последних страницах «Ленина в Цюрихе» он дает краткую биографическую справку: «Революционеры и смежные лица». Из «Справки» этой мы узнаем, что настоящая фамилия Сокольников была Бриллиант, а Ганецкого – Фюрстенберг. Что Григорий Евсеевич Зиновьев на самом деле был Апфельбаум (кстати, на самом деле настоящая фамилия Зиновьева была Радомысльский), а Лев Борисович Каменев – Розенфельд. Юлий Осипович Мартов во девичестве был Цедербаум, а Парвус (Гельфанд), именовавший себя Александром, на самом деле звался Израилем Лазаревичем. Что Радек был – Зобельзон, а Рязанов – Гольденбах, да к тому же еще и Давид Борисович.

Кроме этих – хорошо всем известных имен, мелькают в том списке и другие, гораздо менее, а то и совсем не известные. Вот, например, – Равич Сарра Наумовна, или Герман Грейлих, или Моисей Бронский. Зачем тут эти «смежные лица»? Не для того ли, чтобы увеличить процент «лиц еврейской национальности?»

Такая мысль мне в голову, конечно, приходила. Да и как она могла не прийти, если вся моя молодость прошла под знаком этих «раскрытых скобок», которыми пестрели страницы тогдашних советских газет. Но я гнал прочь эти постыдные подозрения, успокаивая себя тем, что не евреи как таковые, во всяком случае не только евреи, волнуют и раздражают Александра Исаевича, что главная его мысль состоит в том, что революционеры и «смежные лица» были – люди денационализованные, которым подавай мировую революцию, а на Россию им наплевать. Такими денационализованными были не только евреи, но и втянутые в эту революционную воронку поляки, эстонцы, латыши, да и русские, которых в том списке тоже было немало (Пятаков, Шляпников, Луначарский). Но основной корпус «революционеров и смежных лиц» в том солженицынском списке составляли все-таки «иностранцы».

Ну а уж читая главу об убийстве Столыпина, несколько ис-

кусственно вставленную Солженицыным в его «Узел первый» (книга называлась «Август четырнадцатого», а Столыпин был убит в 1911-м), сомневаться в безусловно антисемитской её направленности было уже совсем невозможно. И дело тут было даже не в том, что убийцу Столыпина Дмитрия Богрова, которого с детства – в семье – звали «Митя» (и последнее, прощальное свое письмо родителям, написанное перед казнью, он подписал: «Целую вас много, много раз. Целую и всех дорогих и близких и у всех, у всех прошу прощения. Ваш сын Митя»), автор упорно – на протяжении всей главы – называет «Мордко».

* * *

Об убийце Столыпина существует огромная литература. И вся она довольно отчетливо делится на два периода: дореволюционный, начавшийся на другой день после его рокового выстрела, и – советский. Советский период освещения этой темы практически завершился в конце 20-х годов.

В литературе каждого из этих периодов тоже можно проследить две версии в объяснении мотивов покушения.

Все буржуазные историки, от либералов до крайних черносотенцев, были уверены, что Столыпина убил агент охранки. В революционной печати – в основном эсеровской и анархистской – такого единодушия не было. Напротив, тут мнения резко разошлись. Одни склонялись к тому, что да, действительно, Богров был агентом охранки. Другие же (таких было большинство) с упорством доказывали, что убийцей премьера был идейный революционер, пожертвовавший собой для блага народа. Поскольку в свете выявившихся фактов отрицать связь Богрова с охранкой было невозможно, они уверяли, что вступил он в эти свои рискованные отношения с жандармами именно для того, чтобы, обманув их доверие, осуществить свой революционный акт.

Через несколько дней после убийства премьера в Государственной Думе – по настоянию нескольких фракций – был сделан запрос, в котором виновными в совершении этого преступления, во всяком случае, причастными к нему, прямо назывались весьма высокие должностные лица: генерал-лейте-

нант Курлов, полковник Спиридович, подполковник Кулябко и камер-юнкер Веригин. По этому запросу была создана специальная комиссия под председательством тайного советника, сенатора Максимилиана Ивановича Трусевича. Доклад Трусевича был заслушан в первом департаменте Государственного Совета. Вывод комиссии был однозначен: все названные лица были признаны виновными – по меньшей мере в преступной небрежности. Однако никто из них не был предан суду. Дело было прекращено, и для Курлова, Спиридовича и Веригина было оставлено без всякий последствий. Кулябко, вина которого была доказана совершенно, отделался тем, что был отстранен от службы.

Царь, как известно, Столыпина не любил, даже на похороны его не пришел, а В.Н. Коковцеву, объявляя ему о назначении на освободившийся пост премьера, сказал: «Надеюсь, вы не будете заслонять меня, как это делал ваш предшественник».

П.Н. Милюков – как-никак профессиональный историк – сказал (не в кулуарах, а публично, в печати) о Столыпине, что, «призванный спасти Россию от революции, он кончил ролью русского Фомы Бекета». Фома (Томас) Бекет – канцлер английского королевства и архиепископ Кетерберийский, друг и приближенный короля Генриха Второго, сильно раздражал монарха крайней независимостью своих суждений, а иногда и поступков. Это свое раздражение король не мог скрыть, и однажды оно выплеснулось в такой – неосторожной – его фразе: «Почему никто из моих трусливых придворных не хочет избавить меня от этого беспокойного попа!» Четыре рыцаря приняли эту королевскую реплику как руководство к действию, и Бекет был убит ими на ступенях алтаря.

Сравнив убийство Столыпина с убийством Бекета, Милюков, по существу, прямо обвинил царствующего монарха в том, что не кто иной, как он сам инспирировал (во всяком случае, спровоцировал) убийство своего премьер-министра.

Но были и другие факты, говорящие о том, что Богров действительно обманул, использовал охранку. И действовал – как одиночка-революционер, одержимый маниакальной идеей: убить Столыпина. Он дважды встречался с видным деятелем партии эсеров Егором Лазаревым. Объявил ему, что принял

твердое решение «устранить» ненавидимого всей демократической Россией премьера. Сказал, что ни в какой помощи не нуждается, всю подготовку и само совершение «акта» целиком берет на себя. Просит же только об одном: о моральной поддержке. То есть, чтобы партия объявила, что акт был совершен с ее одобрения и по ее воле. Лазарев решительно в этом ему отказал, мотивируя это тем, что такой серьезный акт партия – ежели бы даже она на него решилась – могла бы доверить только своему, надежному человеку, о котором было бы твердо известно, как он себя поведет потом, в ходе суда и следствия. В ответ на это Богров предложил, чтобы партия объявила о том, что берет на себя ответственность за покушение только после того, как о его поведении в суде и во время казни станет известно. Посовещавшись с товарищами, Лазарев и в этом Богрову решительно отказал.

Кроме этих двух версий (агент охраны, действовавший по ее заданию, и – революционер-одиночка, обманувший охранку и использовавший ее в своих целях) была еще и третья, состоявшая в том, что предательство Богрова было выявлено его товарищами по партии, состоялся партийный суд, по решению которого Богров должен был покончить с собой, чтобы избежать казни. По этой версии покушение на премьера стало для него как бы формой самоубийства (решение партийного суда было выполнено), а с другой – попыткой реабилитировать себя в глазах товарищей.

* * *

Солженицын решительно отмечает ВСЕ эти версии и предлагает свою, не имеющую с ними ничего общего.

У него Богров убивает Столыпина **как еврей**. И не по каким-нибудь конкретным, обусловленным тогдашними событиями еврейским побуждениям (скажем, мстя за дело Бейлиса или погромы), а потому, что толкает его на это убийство «трехтысячелетний зов» еврейской истории. И выбирает он в качестве жертвы именно Столыпина, потому что главная, сокровенная его цель состоит в том, чтобы **выстрелить в самое сердце России**. Столыпин выбран им как самый крупный человек тогдашней России, единственная, последняя её надежда.

Роковым своим выстрелом именно он, Богров, обрек страну на все будущие её несчастья. Две пули, выпущенные из его пистолета в 1911 году, изменили ход истории, предопределили и февраль, и октябрь 17-го, и гражданскую войну, и сталинский ГУЛАГ – всё, всё было заложено и предопределено уже тогда, этим богровским выстрелом.

Вот об этом я и говорил в той передаче на радио «Свобода», которую отметил в своем «Непродёре» задетый ею за живое Солженицын.

При том, что все точки над «i» в той передаче были уже поставлены, отношение мое к Александру Исаевичу и тогда еще оставалось двойственным, о чем может свидетельствовать такой – хорошо запомнившийся мне – разговор.

Когда передача была записана и уже прошла в эфире, я стоял в коридоре радиостанции с несколькими ее сотрудниками. Зашла речь о Солженицыне, и кто-то из них (кажется, Матусевич), обращаясь ко мне, сказал:

– Здорово вы вчера ему выдали!

Меня этот комплимент отнюдь не обрадовал, скорее смутил. Во всяком случае, повел я себя примерно так же, как в том разговоре с Прилежаевой: хотел защитить Исаича, сказать, что на самом деле не все с ним так просто. И, не очень ловко пытаюсь это выразить, пробормотал:

– Что ни говори, а человек он крупный.

– Он? Крупный?! – искренне изумился мой собеседник. – Да знали бы вы, какой это мелкий человек! Как он интриговал, чтобы мы не взяли на работу Шрагина!

Реплика эта – хоть, как видите, я ее и запомнил, – большого впечатления на меня тоже не произвела.

Не то чтобы я ей не поверил. Поверил. Ни на секунду не усомнился, что так оно, наверно, и было. Но все равно остался при своем. И вот почему.

Слова «крупный» и «мелкий», вообще-то говоря, – антонимы. Но в данном случае дело обстояло иначе. Вся штука тут была в том, что мое «крупный» и его «мелкий» лежало в разных плоскостях. Примерно так же, как в прелестном диалоге двух персонажей пьесы Чапека «Средство Макропулоса»: влюбленного в героев великой французской революции

Витека и знавшей всех их лично главной героини пьесы – Эмили:

Э м и л и я. Марат? Это тот депутат с вечно потными руками?

В и т е к. Потными руками? Неправда!

Э м и л и я. Помню, помню. У него были руки, как лягушки.

Брр..

В и т е к. Нет, нет, это недоразумение. Простите, этого о нем нигде не сказано!

Э м и л и я. Да я-то знаю. А как звали того, высокого, с лицом в оспинах?.. Ну, которому отрубили голову..

В и т е к. Дантон?

Э м и л и я. Да, да. Он был еще хуже.

В и т е к. Чем же?

Э м и л и я. Да у него все зубы были гнилые. Пренеприятный человек.

В и т е к (в волнении). Простите – так нельзя говорить. Это не исторический подход. У Дантона... у него не было гнилых зубов. Вы не можете этого доказать. А если бы и были, дело совсем не в этом.

Э м и л и я. Как не в этом? Да ведь с ним было противно разговаривать.

В и т е к. Простите, я не могу с вами согласиться. Дантон... и вдруг такие слова!

В отличие от Витека, который не желал поверить, что у Марата были потные руки, а у Дантона гнилые зубы, я сразу поверил, что в истории с Шрагиным Солженицын вел себя неплохо. Но в полном с ним (Витеком) согласи полагал, что «дело совсем не в этом», потому что это – «не исторический подход».

Как бы ни выглядел Александр Исаевич во всех этих ихних эмигрантских дрязгах, я – тогда – не мог думать о нем как о мелком человеке.

Да, он демонизирует убийцу Столыпина Богрова, изображая его чуть ли не главным виновником всех бед, обрушившихся на Россию в XX веке. Да, он написал в своем «Архипелаге», что истинным создателем системы сталинских лагерей был не

«лучший друг чекистов», а Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родившийся в Константинополе и некоторое время наслаждавшийся там «сладко-тревожной жизнью коммерсанта». Но «какая-то роковая сила влекла его к красной державе». Свой портрет этого мрачного демона «ГУЛАГа» Солженицын заключает такой фразой: «Мне представляется, что он ненавидел эту страну». Вот, значит, какова была природа той «роковой силы»: тайная ненависть к России, сладострастное желание как можно лучше послужить делу ее гибели.

Чушь, конечно! Фантастический антисемитский бред!

Но мало ли и еще более крупных людей были фанатичными антисемитами? Разве не написал Достоевский, что –

Бисмарки, Биконсфильды, Французская республика и Гамбетта и т.д., все это, как сила, один только мираж. Господин и им, и всему, и Европе один только жид и его банк... А когда погибнет все богатство Европы, останется банк жида, Антихрист придет и станет на безначалии.

Как мог я считать Солженицына мелким человеком? Ведь при мне, на моих глазах он в одиночку сражался с могущественной ядерной державой. Он прошел войну, лагерь, одолел смертельную болезнь и сумел открыть миру правду о кошмаре сталинского «ГУЛАГа». А какой это великий труженик! Даже не найдя в себе силы прочесть все эти его «Узлы», я не мог не изумляться одному только количеству написанных им страниц.

И вот этот титан, этот гигант, этот новый Давид, победивший Голиафа, – мелкий человек?

Нет, я не мог это принять. Не мог с этим согласиться. Не мог в это поверить.

8

А вот какую историю вспомнил однажды в разговоре со мной Фима Эткин. (О том, как случилось, что Ефим Григорьевич стал для меня «Фимой», я обязательно еще расскажу.)

В начале 70-х шел он вдвоем с Александром Исаевичем (с которым его тогда связывала тесная и, как ему казалось, проч-

ная дружба) мимо Таврического дворца, в котором некогда заседала Государственная Дума, а теперь размещалась ВПШ – Высшая партийная школа.

– Эх! – вырвалось у Александра Исаевича, уже писавшего тогда свои «Узлы». – Как бы надо было мне побывать там, внутри! Походить по залам дворца, по его коридорам. Мыслимое ли это дело – писать о том, чего не видал собственными глазами!

И Фима сказал, что хоть в здание ВПШ посторонних, конечно, не пускают, он постарается ему это устроить.

И устроил.

В той Высшей партийной школе тогда работал (заведовал кафедрой) близкий Фимин друг – Давид Прицкер. Он-то и организовал Александру Исаевичу посещение дворца.

Посещение прошло не вполне гладко. То ли Фима с Прицкером были плохими конспираторами и легкомысленно сговаривались о предстоящем мероприятии по телефону, то ли гебешные ищейки пронюхали о визите Солженицына в Таврический дворец по каким-то другим, своим каналам, но так или иначе визит был прерван чуть ли не в самом его начале, и Александру Исаевичу пришлось покинуть дворец, не повидав и малой доли того, что ему хотелось бы увидеть.

Тем не менее он был очень доволен, благодарил, говорил, как необходимо было ему там побывать. И поглядеть, и потрогать. (Кое-что он с присущей ему дотошностью успел там даже и измерить.)

Прицкера потом вызывали в обком, что-то там выясняли, расспрашивали, но особых неприятностей у него не было. Так что все обошлось сравнительно благополучно.

А спустя пятнадцать лет Александр Исаевич опубликовал (в «Новом мире») новую главу, дополняющую его книгу «Бодался теленок с дубом». Она называлась «Невидимки» и рассказывалось в ней обо всех людях, которые тайно помогали ему в пору его полуподпольного существования. Упоминались там и Фима с Прицкером – как раз в связи вот с этой самой историей его нелегального посещения Таврического дворца.

Даже в Таврический дворец, посмотреть зал заседаний думы и места февральского бурления – категорически отказано

было мне пройти. И если все-таки попал я туда весной 1972 – русский писатель в русское памятное место при «русских вождях»! – то с риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...

Этой репликой Александра Исаевича Фима был ранен в самое сердце.

– Ты представляешь? – говорил он мне, заключая свой рассказ. – Я считал себя его другом. Да и он как будто меня тоже. Дружба наша к моменту его высылки насчитывала уже десять лет. Он доверялся мне во всем, мы были – так я думал – очень близки друг другу. И вот оказывается, что мы – и я, и Давид – воспринимались им тогда как **два еврея**, **два чужака**, помогшие ему, коренному русаку, **русскому по крови**, проникнуть в заповедное место Российской истории.

– Но ведь он же не хотел этим сказать ничего плохого, – пытался я защитить Александра Исаевича. – Жало этой его «художественной сатиры» направлено ведь не в тебя с Давидом, а вот в этих самых «русских вождей», которые на самом деле никакие не русские. А «два еврея» – это у него просто вырвалось ненароком. Он даже и сам, верно, толком не понял, **что** сказал.

– Так ведь это даже еще хуже! – сказал Фима.

И тут я вынужден был согласиться, что, как это ни грустно, он прав.

Дело было не только в том, что Фима, который на протяжении целых десяти лет считал себя другом Александра Исаевича, на самом деле все эти годы был для него **другим, чужим, не своим**.

В действительности дело обстояло еще хуже.

Этой своей репликой Александр Исаевич **открылся**. Он – **проговорился**.

Ведь в сущности он сказал вот что:

– Вы только вдумайтесь, сограждане, какая ненормальная, уродливая ситуация сложилась в нашем с вами отечестве! Я, русский писатель и коренной русский человек, здесь – изгой. И чтобы проникнуть в святое место русской истории, вынужден обратиться к **чужакам**. Выходит, что эти чужаки

здесь, **в моей стране** по-прежнему – как и в первые советские годы – **у власти!** Ну, если даже и не у власти, так во всяком случае – **при власти.** Они по-прежнему – как и в ранние годы коммунистического режима – олицетворяют собой эту чужую нам, русским, не национальную, не нашу власть. И то, что для торжества нашего русского дела мне пришлось обратиться к помощи двух евреев, – вот это как раз и является самым ярким подтверждением **нерусскости** этой поработившей нас, ненавистной нам с вами большевистской, коммунистической власти.

Таков первый, самый очевидный смысл этого солженицынского высказывания. Но под ним – еще один пласт смысла, более, так сказать, глубокого залегания, но тоже достаточно отчетливый, легко прочитываемый:

– В чем же тут все-таки дело? Почему ОНИ, эти чужаки, даже и сейчас – при власти? Да ясно почему: благодаря своей угодливости, неистребимой своей приспособляемости, готовности и умению прислониться, пристроиться к любой власти, какой бы чужой и даже ненавистной им она ни была. Им, в сущности, все равно, какая здесь, в этой стране, власть. Потому что эта страна им – чужая.

Это был антисемитизм уже не идеологический, не «концептуальный», а самый что ни на есть обыкновенный. Тут он уже не только **ТАК ДУМАЛ**, но – **ТАК ЧУВСТВОВАЛ**.

* * *

В 90-м году мы с женой оказались в Нью-Йорке. Встречались там с разными своими знакомыми, с которыми уже и не чаяли встретиться на этом свете (когда они уезжали, и мы, и они были уверены, что расставание наше – навсегда).

Одной из таких нечаянных встреч была встреча с Вероникой Туркиной, которая вместе со своим Юркой последовала за Солженицыным в Америку.

Веронику мы посетили в учреждении, где она работала. Учреждение же это (туда ее пристроил, конечно, Исаич) занималось распространением русского Тамиздата, может быть, даже и пересылкой изданных на Западе русских книг в Россию. Так или иначе, мы узнали, что в этой Вероникиной конторе можно пожить (разумеется, на халяву) разными интересными

книгами, которые в нашем, уже начавшем перестраиваться отечестве, были для нас все еще недоступны.

Какие-то книги Вероника нам, хоть и не очень охотно, но выдала. В мою сторону она при этом старалась не глядеть, издали даже показала мне кулак.

Объясняя свое поведение моей жене, она дала понять, что предельно возмущена моими нападкамии на Исаича, которые она слышала по «Свободе». Сказала, что никак не ожидала, что я – именно я! – окажусь в числе его врагов.

Жсна, не очень ловко стараясь меня защитить, сказала:

– Он не любит антисемитов.

И тут Вероника очень горячо и очень искренне воскликнула:

– Так ведь он как раз НЕ!

В безусловной искренности ее убеждения, что Александр Исаевич никакой не антисемит, я не усомнился. Больше того! Подумал, что и он сам – в душе – конечно же, тоже не считает себя антисемитом.

Однажды он даже довольно откровенно высказался (я где-то прочел) на эту тему. Сказал, что антисемит в его понимании – это тот, кто «облыгает» еврейский народ. А тот, кто говорит о евреях правду – пусть даже самую нелицеприятную, – антисемитом отнюдь не является.

При такой схеме получалось, что какая-нибудь расхожая антисемитская формула, – скажем: «евреи умеют устраиваться», – на самом деле ничего антисемитского в себе не несет. Да, может быть, встречаются отдельные еврейские чудачки, нарушающие этот общий закон, но это – «белые вороны» и погоды они не делают: исключение только подтверждает правило. Точно так же обстоит дело и с другими антисемитскими стереотипами, скажем: «евреи не воевали». (Так далеко, впрочем, А.И. в открытых своих рассуждениях на еврейскую тему тогда еще не заходил.)

Уже нимало не сомневаясь в том, что наш дорогой А.И., конечно же, самый что ни на есть настоящий антисемит, уже не пытаюсь даже определить границу, отделяющую его «идеологический» антисемитизм от «нутрянного», – над искренней репликой, вырвавшейся у Вероники, я все-таки задумался.

Если она, перед которой Исаич вряд стал бы таиться, искренне не считает его антисемитом, если даже сама мысль, что кто-то может так скверно о нем думать, приводит ее в негодование, так, может, и он сам, Александр Исаевич, тоже не лукавит? Может быть, он искренне верит, что в душе никакой он не антисемит?

Но неужели человек – и неглупый как будто человек – может так искренне заблуждаться на собственный счет?

Ответ на это мое недоумение пришел неожиданно. И исходил он от человека бесконечно от меня далекого, не больно мне симпатичного и даже, по правде сказать, откровенно мною презируемого.

Это был довольно известный в то время поэт – Василий Федоров.

Когда-то, сто лет назад, мы с ним вместе учились в Литературном институте, так что в лицо друг друга знали (институт у нас был крошечный, и в лицо все знали всех). Но отношений никаких не было. Даже не здоровались.

Я знал про него, что он автор «лирико-философской», как именовали ее критики, поэмы «Проданная Венера», в которой довольно убогим стихом доказывалось, что «Венера» Тициана, проданная Сталиным и Кагановичем за цену двух паровозов, была продана не зря, а во имя народного счастья.

Не вызывала сомнений и принадлежность его к «патриотическому», то есть черносотенному крылу отечественной словесности.

Как-то мы с женой, проголодавшись, заглянули в ресторан ЦДЛ – пообедать. Не то что завсегдатаями, но даже более или менее частыми его посетителями мы не были: те разы, что случилось нам за всю нашу жизнь попользоваться благами этого заведения, можно пересчитать по пальцам.

Дело было летом, и мы устроились на террасе. Нашли свободный столик, сели. Что-то такое заказали и стали ждать. Спустя несколько минут на свободные два стула плюхнулись двое: один из них был мне незнаком, а другой – был он, Вася Федоров.

Оба до этого, судя по всему, уже сильно поддали и, усевшись за наш столик, продолжали какой-то свой, раньше начатый разговор. Разговор, впрочем, был не затейлив. Разворачивал

ся он по традиционной схеме: «Ты меня уважаешь?» – «Я тебя уважаю».

Спутник Федорова уважал своего собеседника свыше всякой меры. Он вдохновенно и велеречиво втолковывал ему, какой он великий поэт. Тот тоже не оставался в долгу.

Вели они себя при этом несколько развязно – как люди в этом доме хорошо известные, и вообще хозяева жизни. Моей жене это не понравилось, и она довольно резко сказала им, что они, прежде чем сесть за наш столик, могли бы спросить у нас разрешения. (О том, кто таков наш сосед, она не знала, а если бы я ей назвал его имя, вряд ли оно бы ей что-нибудь сказало.)

Федоров, посмотрев на неё удивленно, а на меня укоризненно, сказал собутыльнику:

– Этот человек, которого я помню совсем молоденьким, так меня ненавидит, что восстановил против меня свою жену.

После этой реплики он на некоторое время забыл о нашем существовании, и они опять завели свою шарманку насчет того, какой великий поэт Василий Федоров и какой гениальный редактор его спутник.

Поговорив некоторое время на эту тему, Василий вдруг посмотрел на мою жену и с неожиданной грустью сказал:

– Эта женщина от меня уйдет.

Как видно, за прошедшие минуты он мысленно уже успел прокрутить с ней целый роман.

И вот однажды этот самый Вася Федоров в Малеевке, войдя в столовую – сейчас уже не помню, то ли к обеду, то ли к ужину, – как обычно, пьяный в драбадан, прямо с порога громгласно провозгласил свое жизненное кредо.

Без всякого повода – видимо, мысленно продолжая какой-то разговор, а потому, как всем нам показалось, совершенно невпопад, но для него самого, наверно, очень логично – он объявил:

– Если ты уехал в Израиль – ты мой лучший друг! Но если ты остаешься здесь, – он погрозил кому-то пальцем, – ты мой злейший враг!

При том, что высказано это было сильно заплетающимся языком и вроде как даже вполне бессвязно, это его кредо по проклятому еврейскому вопросу было им сформулировано с предельной, кристальной ясностью.

А для меня это был, как говорится, момент истины.

Вот так же, наверно, – подумал я, – мыслит и чувствует Александр Исаевич.

Езжайте себе в свой Израиль и живите там счастливо! От души желаю вам всего самого лучшего. Но не суйтесь в наши русские дела! Не лезьте, как сказал Блок Чуковскому, своими грязными одесскими лапами в нашу петербургскую боль!

Вот поэтому-то, – подумал я, – он и не считает себя антисемитом. Он ведь искренне желает добра всем евреям, считающим себя евреями. Ну а что касается тех из них, кто полагает себя русскими, – тут уж извините, подвиньтесь...

Придя к такому заключению, я был уверен, что теперь он мне открылся **весь, что после этого «момента истины»** вряд ли уже откроется мне в Александре Исаевиче еще что-то новое, чего я о нем не знаю.

И как же я был наивен!

9

В 1994 году в Москве вышла книга «Кремлевский самосуд. Секретные документы политбюро о писателе А. Солженицыне». Я тотчас ее купил и прочел. И узнал много для себя нового и интересного.

Особенно неприятно поразило меня там донесение помощника Н.С. Хрущева В. Лебедева своему шефу о состоявшемся у него телефонном разговоре с А.И., в котором тот в самой лакейской форме испрашивал совета у Никиты Сергеевича, как надлежит ему себя вести, стоит ли предпринимать какие-либо попытки для продвижения к читателю (и зрителю) других своих произведений, – в частности, предлагать к постановке в театре «Современник» пьесы «Олень и шалашовка».

И содержание, и форма (форма в особенности) этого телефонного разговора меня покорили, но я тут же отогнал от себя это неприятное чувство, решив, что в донесении Лебедева, наверно, немало и отсебятины, – то есть, что раболепную эту, лакейскую форму обращению Солженицына к Хрущеву придал сам Лебедев, видимо, так понимая свои служебные обязанности.

Несколько больше покорило меня другое донесение (на

сей раз уже Брежневу) – от Председателя Комитета Госбезопасности Ю. Андропова:

27 октября 1973 года СОЛЖЕНИЦЫН встретился с известным своими антиобщественными взглядами литератором ИВАНОВЫМ В.В., которому заявил: «Я считаю выступить своим долгом в защиту САХАРОВА, но так, чтобы это заявление было не только в защиту САХАРОВА, но и защитой всех нас... Поддержать так, чтобы это не носило характер поддержки Израиля.

Последняя фраза этого подслушанного гебешниками разговора была достаточно красноречива. Но я и тут постарался отогнать от себя неприятные мысли: ну ладно, не хотел он в тот момент по каким-то своим соображениям высказываться в поддержку политики «израильских агрессоров». Бог с ним...

И вот – «Двести лет вместе».

Прочитав сперва первый, а потом и второй том этого сочинения, я подумал, что участвовать в его обсуждении ни в коем случае не буду. Что тут обсуждать? Всё ясно. Охотников поучаствовать наверняка и без меня найдется немало. Ну а как только я представил себе, сколько пошлостей будет высказано в неизбежной дискуссии, – что с той, что с другой стороны, – тут меня и вовсе затшнило. (Теперь, задним числом, могу сказать, что тошнило не зря.)

В общем, я твердо решил на этот раз промолчать.

Но – не удержался.

А не удержался по причине, которая многим наверняка покажется не самой серьезной. Отчасти даже странной.

Главным толчком, заставившим меня все-таки откликнуться на этот двухтомный солженицынский труд, были те несколько страниц, которые А.И. уделил в этом своем «исследовании» Александру Галичу.

Но тут нужна некоторая предыстория.

Лет сорок тому назад Саша Галич был Александром Исаевичем смертельно обижен. Он всей душой рвался с ним познакомиться. И были общие знакомые, которые готовы были его с Солженицыным свести. И был даже случай: Саша тогда жил в

Жуковке (снял там дачу) неподалёку от дачи Ростроповича, где обитал Солженицын.

Но Александр Исаевич знакомиться с Сашей решительно отказался. И выразил свой отказ в присущей ему, отнюдь не дипломатической форме.

Отказом этим Саша был уязвлен до глубины души. В разговорах со мной (наверняка не только со мной) он постоянно возвращался к этой больной теме, всякий раз страдальчески повторяя: «Но почему?! Почему?!»

Вопрос был законный: оба они были тогда по одну сторону баррикад. По мнению Галича, им было что обсудить друг с другом. Ну и, конечно, хотелось ему непосредственно от самого Александра Исаевича услышать, что тот думает о его песнях.

Я на эти Сашины вопросы обычно отвечал в том духе, что ладно, мол, не переживай: он такой особенный человек, у него вся жизнь по секундам рассчитана. Но на самом деле (Саше я об этом не говорил), мне казалось, что я понимаю главную причину этого нежелания А.И. знакомиться, а тем более сблизиться с Галичем.

Саша был пижон. Он обожал нарядно одеваться, любил хорошо жить, у него была красивая квартира, забитая антикварной мебелью. Александру Исаевичу все это было не то что противопоказано, а прямо-таки ненавистно. Он, например (об этом с упоением рассказывал мне наш «связной» Юрка) очень любил яичницу, но не позволял себе покупать диетические яйца по рубль тридцать, старался всякий раз, когда попадались, закупить дешёвые – по 90 копеек.

Саша Галич в его глазах, наверно, был человеком преуспевающим, хорошо вписанным в ненавистную ему официальную советскую литературу.

Конечно, это был еще недостаточный повод для того, чтобы так бесцеремонно оттолкнуть протянутую ему дружескую руку. Тем более что А.И. – я это знал – встречался и обменивался письмами с людьми, куда менее достойными, чем Саша Галич. И даже – с совсем недостойными. (Например, с бывшим моим сокурсником Володей Бушиным.)

Но была для его антипатии к Саше еще одна, как я думал тогда, главная – и гораздо более серьезная причина.

В своих песнях Саша пел от имени людей воевавших, а сам он – не воевал. Пел от лица сидевших, а сам – не сидел. Забегая вперед, не могу не сказать, что он написал: «...уезжайте, а я останусь, кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых хранить покой», и – написав это – все-таки уехал.

Александр Исаевичу такой человек вполне мог представляться **самозванцем**.

В общем, тогда мне казалось, что причину нежелания Александра Исаевича знакомиться с Сашей я понимал. И только сейчас – сорок лет спустя – я узнал, что главная причина той резкой, непримиримой его антипатии к Галичу была совсем другая.

* * *

Галичу во втором томе «Двухсот лет вместе» Солженицын посвятил целый очерк, этакое маленькое эссе. Семь страниц текста.

Вроде – немного. Но на самом деле не просто много, а прямо-таки колоссально много, если учесть, что ни одному из других русских писателей и поэтов еврейского происхождения – даже самым крупным – он не уделил и абзаца. Несколько скупых похвал Пастернаку (в основном за то, то тот тяготился своим еврейством), несколько презрительных фраз об Эренбурге («Эренбург свою советскую службу знал и исполнял как надо»). Мимоходом, вскользь упомянул в какой-то связи Мандельштама и Багрицкого. О Бабеле сказал только, что был он «сильно прохвастанный своей близостью к ЧК». О Василии Гроссмане и Ильфе – вообще ни слова.

А о Галиче – целых семь страниц!

Сильно, видать, чем-то зацепил его Александр Аркадьевич.

Помимо всего прочего, наверно, еще и своей популярностью. Ну и, конечно, своей судьбой – диссидента, инакомыслящего, а потом и эмигранта, изгнанника.

Но еще больше поразило меня содержание этого – ни с того ни с сего вставленного в текст этого исторического, «исследовательского» труда – критико-биографического очерка.

Всё относящееся к биографии, бытовому, житейскому облику Галича я тут опускаю, чтобы не погружаться во все эти намеки и мелкие дразги. Остановлюсь только – по возможности

коротко – на том, как видится Солженицыну творчество Галича – лучшее, что от него осталось, его песни:

... по-настоящему в нем болело и сквозно пронизывало его песни – чувство еврейского сродства и еврейской боли: «Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно». «На реках вавилонских» – вот это цельно, вот это с драматической полнотой. Или поэма «Кадиш». Или: «Моя шестиконечная звезда, гори на рукаве и на груди». Или: «Воспоминание об Одессе...» Тут – и лирические, и пламенные тона. «Ваш сородич и ваш изгой. Ваш последний певец исхода», – обращается Галич к уезжающим евреям.

Память еврейская настолько его пронизывала, что и в стихах не-еврейской темы он то и дело вставлял походя: «не носатый», «не татарин и не жид», «ты еще не в Израиле, старый хрен?!», и даже Арина Родионовна баюкает его по-еврейски. Но ни одного еврея преуспевающего, незатеснённого, с хорошего поста, из НИИ, из редакции или из торговой сети – у него не промелькнуло даже. Еврей всегда: или унижен, страдает, или сидит и гибнет в лагере. И тоже ставшее знаменитым:

Не ходить вам в камергерах, евреи...
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.
А сидеть вам в Соловках да в Бутырьках.

И как же коротка память – да не у одного Галича, но у всех слушателей, искренно, сердечно принимающих эти сентиментальные строки: да где же те 20 лет, когда не в Соловках сидело советское еврейство – а во множестве щеголяло «в камергерах и в Сенате»!

Забыли. Честно – совсем забыли. О себе – плохое так трудно помнить.

*(А.И. Солженицын. Двести лет вместе.
Т. 2. С. 451–452)*

Рассуждение это просто изумило меня. Изумила – не то чтобы предвзятость, а непридуманная, самая что ни на есть допод-

линая, искренняя слепота и глухота Солженицына, не сумевшего просто **прочитать** те галичевские строки, о которых он говорит, просто-напросто **услышать**, о чем там в них идет речь.

Взять хоть вот это, как он говорит, ставшее знаменитым «Предостережение»:

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы, зазря не стенайте,
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

Да ведь это же стихи сатирические, издевательские!

«И как же коротка память!» – говорит об этой песне Александр Исаевич. Но ведь Галич обращается к соплеменникам с этим ёрническим предостережением как раз потому, что всё помнит, и потому, что знает, как коротка память у **них**. У таких, как какой-нибудь Борис Абрамович Березовский, которому мало было быть сверхбогатым серым кардиналом, так нет же – ему еще понадобилось лезть в камергеры, в сенаторы, в заместители секретаря Совета Безопасности.

Именно к таким, как он, впрямую обращена не процитированная – и понятно, почему не процитированная, – Солженицыным, откровенно глумливая строфа:

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Назваться разрешат Россинантом
И украсят лапсердак аксельбантом.

Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером...

И т.д.

Или вот – про Арину Родионовну.

Эта строка – из песни, весь смысл, весь, как говорится, пафос которой – в неразрывности русского и еврейского в нем, в его душе: «Я надену чистое исподнее, семь свечей расставляю на столе...» Как еврей – он расставит семь свечей. Как русский – наденет чистое исподнее: так по стародавнему русскому обы-

чаю полагается перед смертью, перед смертным сражением, где, быть может, придется погибнуть.

«Даже Арина Родионовна баюкает его по-еврейски», – прекает Галича Солженицын.

Но ведь можно было сказать об этом и по-другому, не выворачивая эту галичевскую строчку наизнанку, а прочитав ее так, как она написана, – услышав в ней то, что в ней сказано. Скажем, так: «И даже утешает его в его еврейском горе, в его еврейской беде не кто-нибудь, а старая пушкинская няня – Арина Родионовна. Пушкин, Арина Родионовна – вот оно, его единственное прибежище, его единственная родина».

Да и эти еврейские слова, это еврейское напутствие, которым убаюкивает его няня Александра Сергеевича:

А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок –
Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайге», спи сынок.

К непонятым русскому читателю словам у Галича сделано такое подстрочное примечание: «Нит гедайге» – не расстраивайся, не огорчайся». И Александр Исаевич, конечно, вполне мог обмануться, поверив автору, что слова эти и впрямь «выплыли» у автора из его далекого, «бездонного» прошлого – может быть, из самого его младенчества.

Но, хорошо зная Сашу и довольно точно представляя себе уровень его познаний в «идише», я-то сразу догадался, откуда на самом деле они у него выплыли:

Запретить совсем бы
ночи-негодяйке
выпускать из пасти
столько звездных жал:
я лежу, –
палатка
в Кемпе «Нит гедайге»,
Не по мне всё это.
Не к чему...
И жаль...

К этим знаменитым строчкам Маяковского – во всех изданиях «лучшего, талантливейшего» – неизменно прилагалось (и по сей день прилагается) такое авторское примечание: «Кемп» – лагерь (англ.); «Нит гедайге» – «Не унывай» (еврейск).

Вот он – источник Сашиной еврейской образованности.

Так что – промахнулся тут Александр Исаевич. Прямехонько угодил пальцем в небо. И не в частности промахнулся, не в мелочах, не в подробностях, а в самой сути своего прочтения галичевских песен.

Суть же дела тут в том, что те песни Галича, которые Солженицыну представляются самыми пронзительными, поскольку их «сквозно пронизывает чувство еврейского сродства и еврейской боли», – те самые, которые он называет («Кадись», «На реках вавилонских» и др.) – что они-то как раз, за исключением очень, очень немногих, – наименее яркие у Галича. В большинстве – совсем неяркие. Сила Галича – в сатире, в его чутье к современной, сегодняшней русской речи, к «новоязу». Не пафосные, не патетические и даже не лирические его песни, а именно сатирические пошли в народ, легли на душу многотысячной, может быть даже многомиллионной его аудитории.

Так вот об этих – лучших Сашиных песнях, – тех, с которыми как раз и сопрягается в нашем сознании самое это имя «Галич», – Солженицын высказался так:

А поелику среди преуспевающих и доящих в свою пользу режим – евреев будто бы уже ни одного, но одни русские, – то и сатира Галича, бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость доставалась им в подчёркнутом «русопятском» звучании, образах и подробностях, – вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц – больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением... – всех этих вечно пьяных, не отличающих керосин от водки, ничем, кроме пьянства, не занятых, либо просто потерянных, либо дураковатых. А сочтён, как сказано, народным поэтом... Ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого рус-

ского интеллигента и даже зэка порядочного ни одного (главное зэческое он забрал на себя), — ведь русское всё «вертухаево семя» да в начальниках.

(А.И. Солженицын. *Двести лет вместе*. Т. 2. С. 452)

Прочитав это, я просто оторопел: ну какая же это злая неправда!

Ну да, все эти песни, которые он тут упоминает, — сатирические, издевательские, глумливые. Но куда направлено жало этой художественной сатиры?

А.И. уверен, что на русских людей, на русский народ, на русский национальный характер.

Да, конечно, и Клим Петрович, и товарищ Парамонова — не китайцы, не французы и не евреи. Но разве **национальные** их черты и свойства рисует в этих своих песнях Галич? Да нет же! Советские. Я бы даже употребил тут сегодняшнее наше, не слишком любимое мною слово: совковые. Над советским образом жизни глумится он. Над советской системой. Над советскими нравами.

А люди — что ж: люди как люди.

Взгляд у него на них тот же, что в знаменитом рассказе Яшина «Рычаги». Разница лишь в том, что Галич, в отличие от Яшина, — сатирик. Поэтому и краски у него другие, более пригодные для сатирического взгляда на ту же коллизию. Но коллизия — совершенно та же. Взять хоть тот же «Красный треугольник»: до того как началось собрание, они — нормальные люди. Когда «про Гану», про скуку эту международную — все в буфет, за сардельками. Но вот начинается собрание. И партийная эта разборка сразу пробуждает в них самые темные чувства. Кричат: «Давай подробности!» А как только собрание кончается, — они опять: люди как люди. «Ну, поздравили меня с воскресением. Залепили строгача с занесением».

И даже эта партийная мымра «товарищ Грошева», едва закончился ритуал партийной проработки, — даже она становится человеком. Ну, не совсем, конечно, человеком, но — просыпается все-таки и в ней что-то человеческое: «Схлопотал он строгача — ну и ладушки. Помиритеесь вы теперь по-хорошему».

Люди, обыкновенные, в основе своей, может быть, и непло-

хие люди, но чудовищно искаженные бесчеловечной советской системой.

А уж насчет того, что нет у Галича в этих его песнях ни одного солдата, ни одного мастерового, ни одного «зэка порядочного», то это уже – прямая неправда. Не какая-нибудь там художественная неправда, которую можно понимать и трактовать так или этак, а – **чисто фактическая**.

Тема солдата-победителя, который вынес на своих плечах всю тяжесть той страшной нашей войны и не получил за это никаких наград, а только кары – эта тема едва ли не главная у Галича.

Да и с начальниками тоже не так все просто в этих его песнях. Даже их, этих оторвавшихся от народа, чуждых и враждебных народу начальничков он тоже не склонен вот так вот огулом осуждать и разоблачать. Даже для них у него находится – при всем его жестком сатирическом взгляде – теплая, лирическая нота:

Я возил его, падлу, на «чаечке»,
И к Маргошке возил, и в Фили,
Ой, вы добрые люди, начальники!
Соль и гордость родимой земли!
.....
Да, конечно, гражданка гражданочкой,
Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два,
И тянули спиртягу из чайника,
Под обстрел загорали в пути...
Нет, ребята, такого начальника
Мне, наверно, уже не найти!

Ну а уж к простому человеку из народа у него – только сочувствие. Сочувствие и боль за него:

И где-нибудь, среди досок,
Блаженный, приляжет он.
Поскольку – культурный досуг
Включает здоровый сон.

Он спит. А над ним планеты –
Немеркнувший звездный тир.
Он спит. А его полпреды
Варганят войну и мир.

По всем уголкам планеты,
По миру, что сном объят,
Развозят Его газеты,
Где славу Ему трубят!

И грозную славу эту
Признали со всех сторон!
Он всех призовет к ответу,
Как только проспится Он!

Куется Ему награда.
Готовит харчи Нарпит.
Не трожьте его! Не надо!
Пускай человек поспит!..

Я, кажется, слегка увлекся и стал ломиться в открытую дверь. Но ломлюсь я в нее с одной-единственной целью: чтобы объяснить, почему я не смог удержаться и в конце концов, вопреки твердому своему первоначальному намерению, все-таки втянулся в неприятный мне разговор о книге Солженицына «Двести лет вместе».

Толкнули меня на это, как я уже сказал, вот эти семь солженицынских страниц о Галиче. Но толкнули – не стремлением защитить любимые мною песни от напраслины, от прямой лжи и клеветы. Да и не нуждался Саша Галич в такой моей защите!

Больше всего в этих его семи страничках поразило меня то, что, высказывая про Галича всё, что у него накипело, А.И. был **безусловно искренен**.

И, будучи искренен, на этот раз (в отличие от многих других случаев, о которых я, наверно, еще скажу) не притворяясь, не лицемеря, он оказался так глух к художественному звучанию, к смыслу, к содержанию этих – пусть не любимых им, но талантливых же! – песен. Слепота и глухота его тут просто поражает. Поражает полное, ну полнейшее отсутствие элемен-

тарного художественного чутья, живого, непосредственного восприятия художественного текста.

Вообще-то я мог бы этому и не удивляться.

Мало разве слышали мы таких осуждающих речей (и не только о Галиче) на разных секретариатах и писательских собраниях. Бывало даже и так, что накануне автору кто-нибудь из самых близких его друзей говорил: «Ты – гений!», а на завтра клеймил этого гения с трибуны за несоответствие его сочинения канонам соцреализма.

Но ведь это делалось под нажимом. Ведь это всё говорили не люди, а – те самые яшинские «рычаги». И в том и ужас той нашей советской жизни, что в рычаги она нередко превращала и людей незаурядных, выдающихся.

Но Солженицын-то свободен в своих высказываниях. И совершенно очевидно, что во всех обвинениях, предъявленных им Галичу, он говорит то, что на самом деле думает. Говорит о том, что глубоко его задевает, искренне – до глубины души – волнует!

Вот это и толкнуло меня на разговор, от которого я сперва твердо решил уклониться.

* * *

Найти «трибуну» для этого откровенного разговора мне было несложно.

Вот уже, наверно, лет десять я веду на «Радио России» рубрику, для которой – не сразу – подыскал название: «Новости прошлого». Два раза в месяц в этих своих, уже ставших постоянными, радиобеседах я рассказываю о книгах, в которых открыл для себя нечто новое о нашем советском прошлом. Это – либо новые, тщательно скрываемые и лишь недавно ставшие известными факты. Либо – новое, только в наши дни ставшее возможным осмысление давно и хорошо известных фактов и обстоятельств.

Разговор о книге Солженицына «Двести лет вместе» в такой рубрике, вообще-то говоря, был неизбежен, и мое стремление такого разговора избежать сильно смахивало на поведение страуса.

Ну а уж коль я все-таки решился этот разговор начать, не мог же я его свести к одному Галичу! Хоть коротко, но надо было все-таки сказать о главном: о том, про что эта книга, и как я к этому – главному в ней – отношусь.

Начал я с признания, что по мере того как я терпеливо листал страницы этой книги, обещавшей стать сенсацией, интерес мой к этому новому сочинению классика угасал, а на смену ему приходили совсем другие чувства: грусть, горечь, стыд. Главным образом стыд. Стыдно было от сознания, что так низко уронил себя человек, которого вот уже сколько лет называют совестью нации, совестью России.

А потом я напомнил своим слушателям знаменитое стихотворение Бориса Слуцкого – «Про евреев»:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи – люди лихие,
Они – солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я всё это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Дочитав это стихотворение до конца, я сказал, что горькая ирония этих стихотворных строк, к сожалению, нисколько не устарела. А теперь вот – даже обрела новое звучание, новую силу. Потому что всё это, звучавшее раньше из подворотен, шепотком, сквозь зубы, теперь сказано громко, вслух, и не кем-нибудь, а человеком, к голосу которого – по инерции – привыкли прислушиваться еще многие.

Из главы солженицынской книги о сталинских лагерях мы узнаем, что евреям и там было лучше, чем другим. А из военной главы – что евреи если и воевали, то не так, как надо бы-

ло бы им воевать. И не в первом эшелоне – больше военврачами, да замполитами, – не на передовой. И вообще – не своя, не кровная для них была эта война. Ссылаясь на свой личный опыт, Солженицын мимоходом даже роняет такую фразу:

Я видел евреев на фронте. Знал среди них бесстрашных. Не хоронил ни одного.

Прочитывая ее, я сказал, что готов поверить: может, так оно и было. Ну не случилось ему хоронить евреев. Что поделаешь?.. Но не спроста ведь тут эта фразочка. Получается – точь-в-точь как у Слуцкого:

И пуля меня миновала,
чтоб знали: молва не лжива.
Евреев не убивало.
Все воротились живы.

Не буду перечислять ни приводившихся мною примеров, ни всех пришедших мне тогда на ум неопровержимых доказательств очевидного – и самого темного – солженицынского антисемитизма. Этого не стоит делать хотя бы потому, что и до и после меня обо всем этом – и с еще большей неопровержимостью, чем я, – сказали уже многие. Но главное тут даже не это соображение, а – другое, более простое: я ведь пишу здесь не про Солженицына, а про себя, – про то, кем он **был** для меня и кем **стал**. Поэтому сразу перейду к выводу, к итогу тех нескольких моих радиобесед.

Закljučая их, я привел слова Войновича из только что вышедшего тогда его антисолженицынского «Портрета на фоне мифа».

О книге Солженицына «Двести лет вместе» он в этом своем «портрете» подробно говорить не стал. Сказал только, что с избранной им темой – действительно очень большой и сложной – автор не справился, потому что ему для этого не хватило совести, ума, логики и таланта.

Сочувственно процитировав этот вывод и даже дав понять,

что полностью к нему присоединяюсь, я сказал, что сам все-таки выразился бы несколько иначе.

На мой взгляд, – сказал я, – причина краха, постигшего автора этого двухтомного труда, в идеологии. В той самой национальной идее, которая владеет душой Александра Исаевича. Именно она, эта национальная идея, эта националистическая идеология подмяла под себя, подчинила себе, с потрохами съела и совесть его, и ум, и логику, и талант.

На этом как будто можно было бы поставить точку.

Но уже после того как все выводы были сделаны и все слова – самые нелюбимые и даже жестокие – были сказаны, неожиданно явилось на свет до времени припрятанное, а тут вдруг всплывшее на поверхность еще одно солженицынское сочинение, прочитав которое я увидел, что в действительности дело обстояло даже еще хуже, чем я думал и чем об этом сказал.

Казалось бы, уж куда хуже? Хуже того, что уже было сказано, вроде и быть не может.

Но оказалось, что может.

* * *

Незадолго до выхода в свет первого тома «Двухсот лет вместе» некий Анатолий Сидорченко обнародовал раннюю работу Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России». Опубликовал он ее в своей собственной – откровенно черносотенной – книге, как труд союзника и единомышленника. Сделал он это, разумеется, для того, чтобы укрепить свои антисемитские позиции авторитетом громкого солженицынского имени.

Когда первый том двухтомного солженицынского исследования появился в печати, Виктор Лошак – тогдашний главный редактор еженедельника «Московские новости» – взял у Солженицына интервью, в котором, между прочим, задал ему вопрос и об этой загадочной публикации. И задал его так, словно ответ на него был ему уже заранее известен. «Ваше авторство, – скорее в утвердительной, нежели вопросительной форме сказал он, – просто фальсифицируют!»

А.И., как и следовало ожидать, с этим утверждением согласился: но в какой-то неясной, я бы даже сказал, уклончивой форме:

Это хулиганская выходка психически больного человека. В свою пакостную желтую книжицу он рядом с собственными «окололитературными» упражнениями вlepил опус под моим именем. Ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля, что исключает какой бы то ни было комментарий, а от судебной ответственности этого субъекта спасает только инвалидность.

Понимать это можно было по-разному. «Влепил опус под моим именем», – значит, вроде не его, а чей-то чужой опус. С другой стороны – «ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля», что он не считает для себя возможным даже входить в обсуждения этого вопроса. То есть, что означенный «опус» сочинил не он, а кто-то другой, впрямую так и не сказал.

Джинн, однако, уже был выпущен из бутылки. Многочисленные оппоненты и критики «Двухсот лет вместе» напропалую стали его цитировать. А тут еще первая жена Солженицына Наталья Решетовская сообщила, что работа такая Александром Исаевичем действительно была написана. И один ее экземпляр, оказавшийся у нее, она отдала на хранение в отдел секретных рукописей Пушкинского Дома.

Оттуда ли он попал в руки Сидорченко и каким путем – дело совсем уже неясное. Но после этого заявления бывшей жены настаивать на прежней своей формулировке Александру Исаевичу было уже трудно. И в ответе своим оппонентам (Александр Солженицын. «Потёмщики света не ищут». «Комсомольская правда», 22 октября 2003 г.) обвинил одного из них в том, что тот –

... смеет обсуждать воровскую публикацию – с ее сквозным хулиганским изгажением и грязной фальсификацией – выкраденных моих черновиков 40-летней давности.

Сквозь зубы, но все-таки признал, значит, что «опус» – не чужой, а его собственный. «Черновой», так сказать, вариант нынешнего капитального труда.

Что касается меня, то я, прочитав этот «опус», ни на секунду не усомнился в авторстве Александра Исаевича. И не толь-

ко потому, что большие куски из этого своего «черновика», – лишь слегка их отредактировав, – он, не мудрствуя лукаво, включил в «беловик». Сама стилистика «опуса», все индивидуальные особенности мышления и слога его автора с несомненностью свидетельствовали, что автором этим мог быть только он, – никто, кроме него.

Но если это так, если концепция «черновика» и концепция «беловика» полностью совпадают, почему же тогда этот семидесятистраничный солженицынский «опус» задел меня не в пример сильнее, чем двухтомник? Чем-то, значит, он от «беловика» все-таки отличается?

Отличается только одним: откровенностью. Почти полным отсутствием того, что нынче зовут «политкорректностью», с требованиями которой в нынешних обстоятельствах А.И. не мог не считаться. Ну а если называть вещи своими именами – отсутствием того лицемерия, которым насквозь пронизаны оба тома «Двухсот лет вместе».

Вот как откровенно высказывает он в «черновике» свой взгляд на участие евреев в нашей большой войне:

Вопрос: если евреев в нашей стране процента полтора (по переписи 1959 г. – 1,1%, но вероятно многие записались русскими) – то эти полтора процента были ли выдержаны в Действующей армии? На тысячу фронтовиков приходилось ли 15 евреев? Сомневаюсь. И если даже да, то **как распределялись они** между боевыми частями – и штабами, и вторыми эшелонами?..

А среди бронированных от мобилизации? А в тыловых учреждениях? Там полтора процента были выдержаны? Думаю, что ой-ой-ой, с какой лихвой! Но статистикой этой (как и всякой другой) никто у нас не занимался и не займется. Вот рассказ рязанской парикмахерши:

«В 1-ю школу приехал к нам госпиталь из винницких врачей, все до одного евреи, и сестры тоже. Наняли только русских: коменданта, сестру-хозяйку да меня. Но и нас выжили. Среди раненых был еврей-парикмахер, его вместо меня поставили.

Этот рассказ – **не доказательство.** Но – **народное чувство наверняка.**

А вся паническая многоэшелонная эвакуация 1941 года?

Из евреев — наполовину или больше? Скажут: понятно, русским не угрожало уничтожение, а евреям угрожало; и те западные области особенно евреями и были населены. А все-таки: сколько там было евреев-мужчин с медицинскими справками или броней? И это **бесстыдное, безоглядное, опережая запрос, швыряние денег, которые вдруг у стольких евреев оказались пачками, пачками?**

Народному чувству не прикажешь: осталось у русских, у украинцев, у белоруссов **тягостное ощущение, что евреи прятались за их спину...**

(Здесь и далее все выделения жирным шрифтом принадлежат Солженицыну.)

У меня этот рассказ рязанской парикмахерши вызвал особое недоверие, потому что мое военное детство (эвакуация) прошло рядом с Полоцким эвакогоспиталем, среди врачей и медсестер которого была одна-единственная еврейка — моя мама. Впрочем, я не исключаю, что «народное чувство» какой-нибудь местной парикмахерши всех «выковырянных», приехавших в уральский город Серов вместе с Полоцким госпиталем, — и русских, и поляков, и украинцев, и белоруссов, и мало ли кого еще, — воспринимало как евреев.

Что же до причин массового уклонения евреев от фронта, то здесь концепция Александра Исаевича как раз не совпадает с «народным чувством», — во всяком случае, с тем, которое отразил в своем стихотворении «Про евреев» Борис Слуцкий. («Они солдаты плохие...»).

Вопреки этому расхожему мнению, А.И. считает, что евреи как раз солдаты очень хорошие. (Ведь доказали же они это у себя в Израиле). Но — не расчет им был воевать за Россию:

Но отклоняю свое сомнение! — пусть 1,5% были выдержаны безусловно. Однако эта война должна была быть для евреев особой, «газаватом»: не Россию предлагалось им защищать, но — скрестить оружие с самым, может быть, страшным врагом всей еврейской истории. Не мобилизации следовало ждать, но **толпами добровольцев ломиться в военкоматы!** Но освобожденным по болезни — «зайцами» цепляться к фронтовым

эшелонам. (И одновременно — какая возможность возвыситься во мнении русских, укрепить свое положение в России!)

Но — не видели мы такой картины. Того массового львиного порыва, как при защите Израиля от арабов — не было. Наверняка.

Но враг — безусловный и страшнейший! Но выдающееся военное мужество евреев доказано шестидневной войной! Что же помешало?

Какая причина?..

Расслабляющий расчет: страна здесь — не наша, кроме нас — много Иванов, им все равно воевать, они и за нас повоюют с Фрицами, а нам **лучше сохранить** свою выдающуюся по талантам нацию, и без того уже вырезанную Гитлером.

Это до такой степени противоречит всему моему опыту, что заведомую и очевидную чушь такого объяснения у меня даже и не возникла потребность опровергать. Тем более что картину, которую А.И. почему-то не случилось наблюдать (толпы еврейских мальчиков, добровольцами ломившихся в военкоматы), я видел и на примере своих старших братьев (двоюродных — родных у меня не было), и на многочисленных примерах близких друзей.

Может быть, это и не глубокое и даже не искреннее убеждение Александра Исаевича, а чисто умозрительная «рабочая гипотеза»? Не знаю, не берусь судить. Но в чем он безусловно искренен, так это — в реплике о «выдающейся по талантам нации».

В этой иронической фразочке у него **прорвалось чувство**.

Миф о пресловутой еврейской талантливости почему-то особенно его волнует. А в том, что это — именно миф у него нет и тени сомнений:

В литературе — **повально талантливы** — а где **великие писатели**? В музыке сплошь талантливы — а где **великие композиторы**? Для такого несравненного народа — достаточно ли в философии — одного Спинозы? В физике — Эйнштейна? В математике — Кантора? В психоанализе — Фрейда?

Пассаж этот совершенно замечателен. Но – не тем, что для подтверждения пресловутой еврейской талантливости ему недостаточно в музыке – Бизе, а в физике – Эйнштейна. (Таких, как Эйнштейн, кстати сказать, во всей мировой физической науке было – раз два и обчелся: он да Ньютон. Только эти двое изменили наше представление о Вселенной). Не мыслью – неважно, верна она или абсурдна – поразил меня этот солженицынский абзац, а – опять! – **бурным выплеском чувства**, с необычайной силой искренности вырвавшимся в нем **личным отношением** к раздражающему его мифу о несравненной талантливости иудейского племени.

Многие историки сомневаются в том, что Сталин был антисемитом: предполагают, что антисемитизм для него был – не более, чем орудием в его сложной политической игре.

Даже про Гитлера рассказывают, что он будто бы однажды – то ли сказал, то ли написал, – что настоящим антисемитом он никогда не был: просто политическим гением своим понял, что зло должно быть персонифицировано, и лучшей персонификации мирового зла, чем евреи, ему не найти.

Не знаю, может, оно и так.

Но насчет Александра Исаевича у меня сомнений нет. Теперь я уже точно знаю, что его антисемитизм – самый что ни на есть настоящий, искренний, «нутряной».

С какой нескрываемой, почти детской радостью вываливает на нас Александр Исаевич целую коллекцию собранных им высказываний о еврейской ущербности, духовной и творческой еврейской неодаренности. И уж совсем особенное удовольствие, особый, так сказать, кайф он получает, когда удается ему сыскать такие суждения, исходящие от самих евреев:

Аполлоний Мелон, например, еще 2 тысячи лет назад упрекнул евреев, что **они не способны к самостоятельному творчеству, а всегда – подражатели**. Отго Вейнингер, которого уж не обвинишь ни в личной, ни в национальной зависти, пишет: «Еврей беден тем внутренним бытием, из которого только и может вытекать высшая творческая сила». «У еврея нет глубокого чувства природы. И потому он не понимает зе-

мельной собственности». «Еврей не хочет оставить трансцендентного, он не чувствует, что непостижимое придает цену существованию. Он хочет представить мир возможно плоским и обыкновенным». «Евреи с жаром ухватились за дарвинизм, за смехотворную теорию происхождения человека от обезьяны. Они обнаружили **почти творческую** способность в качестве основателей того экономического понимания человеческой истории, которая вовсе устраняет из нее — Дух». Он отмечает «подвижность» еврейского духа, великий талант к журнализму, расположение к сатире и лишенность юмора, высокую степень в образовании понятий (отсюда — юриспруденция). И — отсутствие **благочестия**, «лишающее его возможности воспламениться высшим восторгом». Нет чувства демиурга.

И другой еврейский автор, С. Лурье, — в тон ему: недостаток евреев — «неумение воспламеняться стройной связью явлений и красотой форм в природе и искусстве... **Эстетическая ограниченность... Отсутствие сердечного жара**».

(Может быть, это отчасти объяснит нам черты современно го беспредметного искусства?)

Последнюю догадку А.И. высказывает уже от себя. И тут, вишь, евреи виноваты.

Высказав тьму таких вот догадок и соображений, Солженицын ставит наконец главный вопрос: как нам (то есть — русским) с ними (то есть — с евреями) быть?

Не сейчас, разумеется, а — завтра. Когда Россия станет свободной.

Трудность в том, что **ни в ту, ни в другую** сторону до конца сдвинуть этого вопроса нельзя: **большинство евреев и не уедет в Израиль** (когда отпадут нелепые, глупые нынешние ограничения) и не ассимилируются до конца (это для них — национальное самоубийство!) — они **желают** остаться непременно среди нас, но постоянно помня о своем двойном подданстве, двойной лояльности.

Говорят иногда: «да мы хотели бы забыть считать себя евреями, перестать отличать себя от русских». Это неискренне, это неправда. Они хотят считаться русскими, да, но главная боль и

главная любовь у них будет все-таки — **Израиль и «мировой еврейский народ»**.

Это желание евреев «остаться непременно среди нас» представляет — по Солженицыну — для России, для русских, смертельную опасность. Не потому, что евреи сознательно хотят ей (России) зла, а потому что такова их природа. Иначе они не могут — даже если бы хотели.

Ведь и без мирового центра, и не сговариваясь нисколько, они отлично всегда понимали друг друга, действовали слаженно и однонаправленно. Замкнутое множество со своей отдельной сердечной болью, со своим ощущением **рода** выше, чем индивидуальности, общееврейского возвышения выше, чем своего собственного, — ведь они не по дурному умыслу, не по заговору против нас, они просто **механически и физиологически** никогда не смогут отказаться от предпочтительной тайной взаимовыручки, которая **делает евреев как бы тайным обществом, подпольной партией**.

Выходит, хрен редьки не слаще. Есть ли мировой еврейский заговор и мировой еврейский центр, как сообщалось нам в «Протоколах сионских мудрецов», или нету такого центра и такого заговора — всё это не имеет никакого значения.

Нет, если вдуматься в эту солженицынскую мысль, дело обстоит даже еще хуже, чем если бы такой заговор существовал. Хрен, оказывается, не только не слаще, а горше редьки. Если бы дело шло о сознательном заговоре, я, или, скажем, другой какой-нибудь русский еврей, мог бы из этого тайного общества, из этой подпольной партии выйти, заявив о своем несогласии с ними. А тут у меня — по определению — такого выхода нет и быть не может, поскольку предполагается, что я не сознательно примкнул к заговорщикам, а — механически и физиологически, то есть сам того не желая, к ним принадлежу.

При таком понимании существа дела Солженицын уже не мог не предложить новой, будущей России свой план «окончательного решения еврейского вопроса». Не в мировом, правда, а только в российском масштабе.

Саша Галич

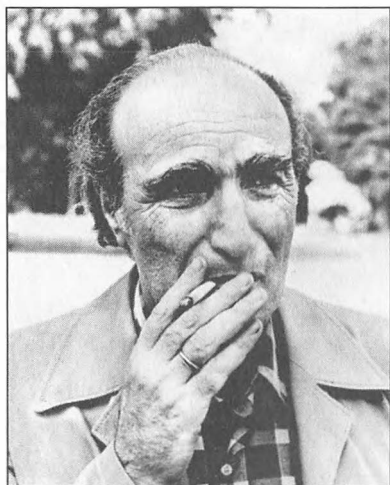


Коля Глазков

По этой фотографии видно, что он мог бы сыграть Достоевского и без грима.

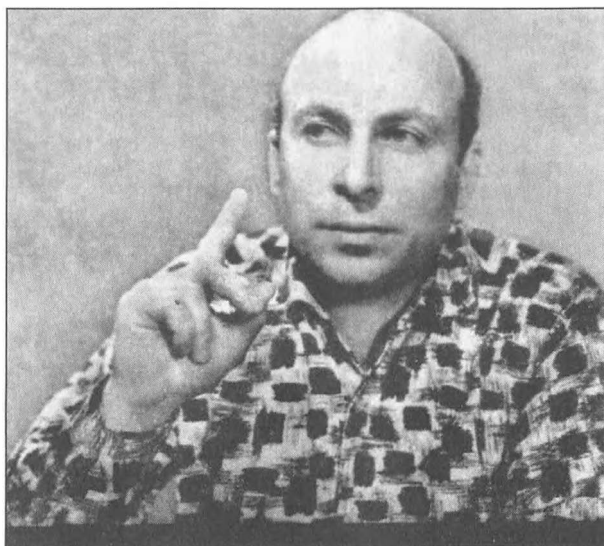
Миша Львовский – автор песни «Вагончик тронется, перрон останется». Ее пел молодой Высоцкий вместе со своими песнями, и поэтому многие до сих пор считают, что это он ее и сочинил.





Толя Аграновский

Однажды у нас дома мы устроили между ними «айтыс». Так у казахов, как объяснил нам Толя, называется состязание акынов.



Юз Алешковский



На заре наших отношений моя жена утверждала — да и сейчас продолжает на этом настаивать, — что я влюбился в нее из-за **Лили Брик**. Вернее, из-за строк Маяковского о Лилиных глазах: «Круглые, да карие, горячие — до гари».

В то время мы, конечно, и думать не думали, что запросто будем ходить в гости к реальной, живой Лиле Брик, и она будет нам дарить свои фотографии.



Нашей любимой собаке мы дали имя собаки Маяковского: Булька.



Узнав об этом, **Лиля Юрьевна** растрогалась и подарила нам эту фотографию. Собственно, даже не нам, а нашему Бульке. Так прямо и написала на ней: «Бульке от Щена».

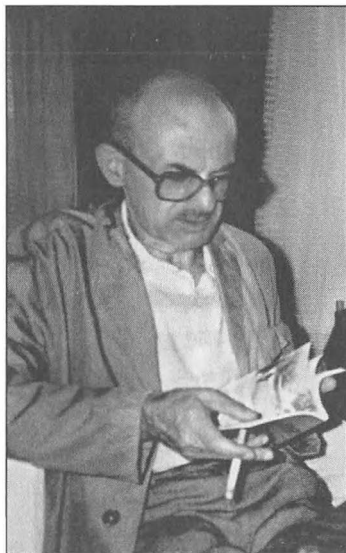
*Зарисовка Сергея Щена от Лилы
Бульке от Щена с любовью*



С Аллой Демидовой – за ширмой Биргеровского кукольного театра.



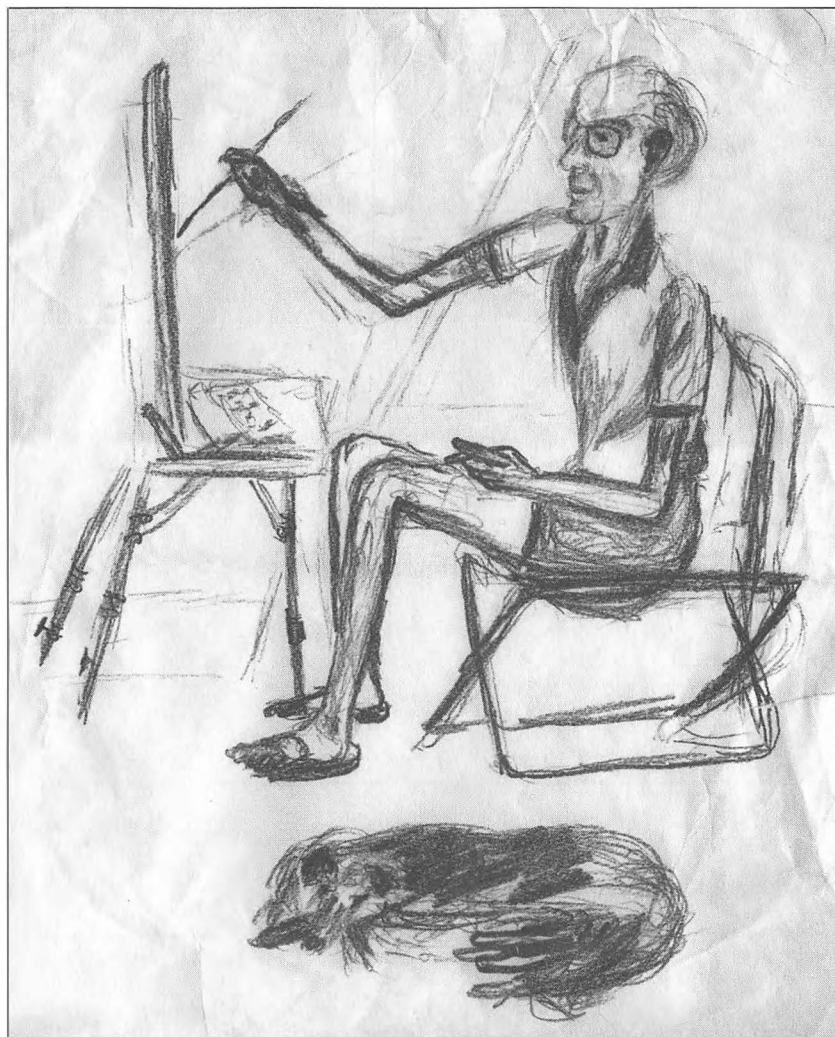
Каждое празднество у Биргера непременно включало в себя бал-маскарад. Все мы были тогда уже не очень молоды и дурачиться в масках особой охоты ни у кого не было.



Булат, например, надевать маску всегда решительно отказывался.

Но азарт Биргера, его неиссякаемый напор, его веселая энергия постепенно заражали всех.





Борис Биргер
Рисунок В. Войновича



Олег Чухонцев

Рисунок Б. Биргера

К Олегу Борис питал особую слабость – и не только человеческую: это была его любимая модель.

А в **Игоря Квашу** Борис был просто влюблен.



Рядом со мной – **Миша Левин**, ученый-физик, сочинивший блестящую эпиграмму на Сельвинского и не менее блестящий стихотворный ответ на стихи Николая Асеева. *(Оба эти текста я привожу в книге.)*

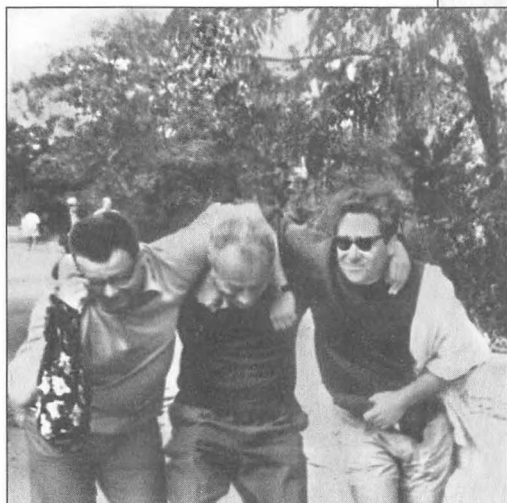
Миша был самым давним и самым близким другом Бориса Биргера.



Боря Балтер



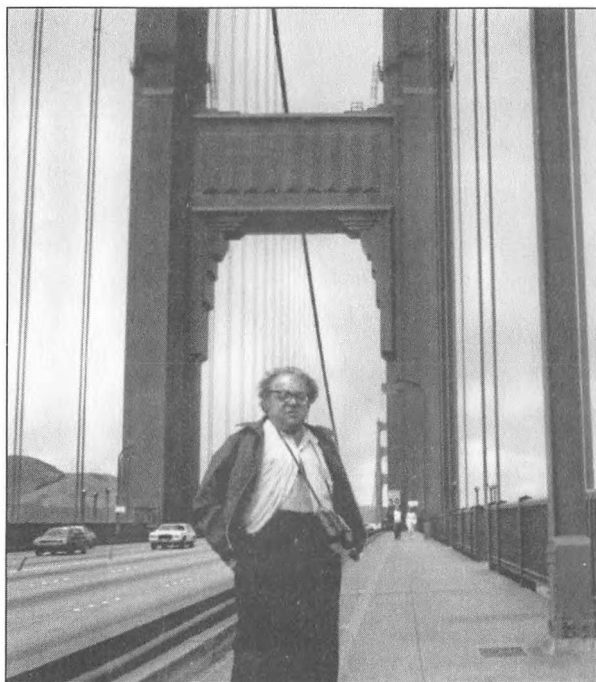
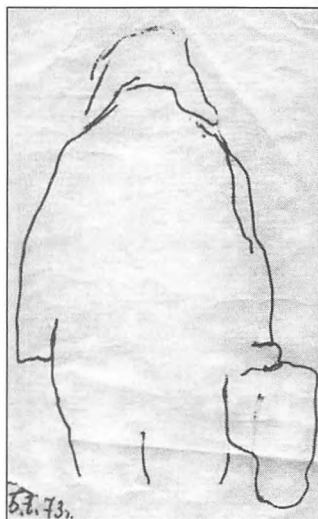
Стасик Расседин
Рисунок Б. Биргера



«Отдай крестьянам землю,
Дворец верни царю...»

Эма Мандель
(*Н. Коржавин*)

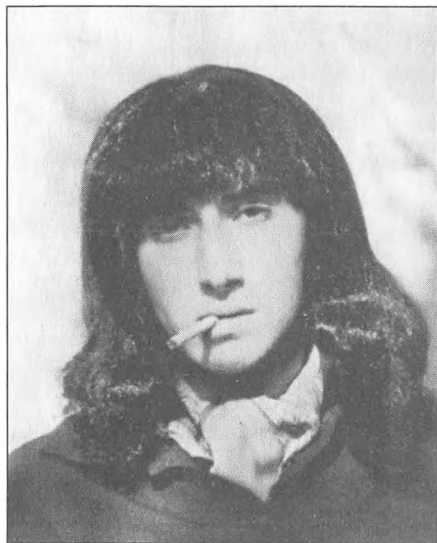
Внешний облик поэта схвачен на этом рисунке Бориса Биргера удивительно верно. Именно так он выглядел и до ареста, и после возвращения из ссылки, и в более поздние, сравнительно благополучные времена, уже став членом Союза писателей.



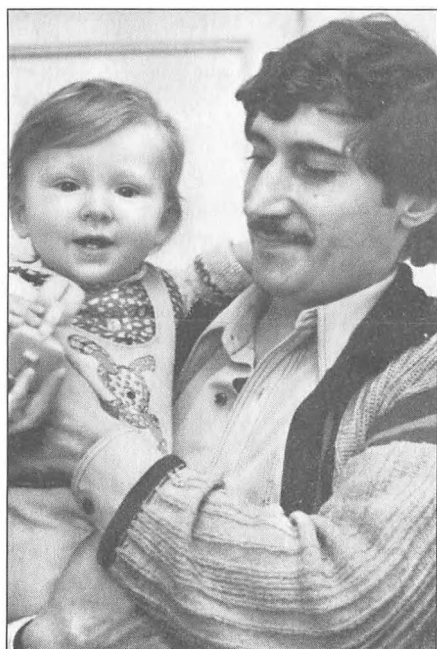
Не изменил он этим своим вкусам и привычкам и в Америке, куда отбыл — не совсем по собственной воле — в 1973 году.



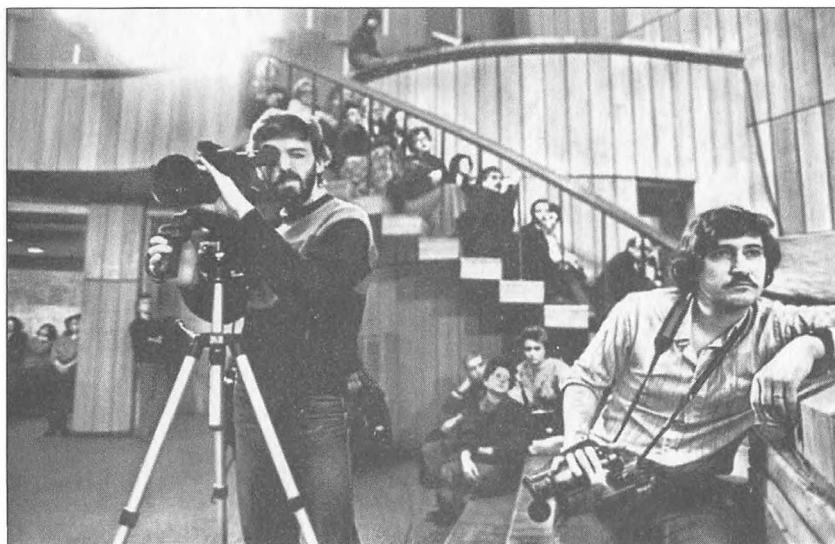
После долгих лет разлуки наш друг Эма — опять с нами, у нас дома. Это первый его приезд из эмиграции в Москву. За спиной поэта — Галя Балгер. В центре — мой сын Феликс. Справа — мы с женой.



Как быстро летит время! Давно ли я был ошарашен тем, что мой сын купил и напялил на себя этот клоунский парик, чтобы перехитрить учителей, запрещавших школьникам носить длинные волосы...



И вот он уже сам – отец.



Первая встреча вернувшегося из Америки Коржавина с москвичами.



С группой наших поэтов и критиков на официальной встрече с администрацией города Гренобля, Франция.



В Гренобле я познакомился с **Ефимом Эткин**дом. Через неделю мы уже были на «ты».



С **Владимиром Войновичем** в Мюнхене. Первая наша встреча после его насильственного отъезда в эмиграцию.



Там же, в Мюнхене, с **Ирой Войнович**. Дорвался до заграничной еды.

London COURIER is the First and the Biggest Russian Newspaper in Britain

лондонский КУРЬЕР

1 AUGUST 00 • 40000-4000 • SUBSCRIPTION DETAILS PAGE 23 • AVAILABLE FROM SELECTED NEWSSTANDS • ESTABLISHED IN 1991 • 300 KOPES PER PAGE PER COPY •

Canada Welcome to CANADA

ИММИГРАЦИЯ
РАБОТА В КАНАДЕ
ГРАЖДАНСТВО

Открытие счета в банке
Тел. 905-1-4181 730-2551
Моб. 905-1-4181 390-6724
www.lifeinca.com www.lifeinpr.com

PRICE \$1.00 N 120

Два века русского юмора и сатиры

ОТМЕТИЛИ В НОТТИНГЕМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПИСАТЕЛИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ ИЗ РОССИИ:
БЕНЕДИКТ САРНОВ, ЛЮДМИЛА
ПЕТРУШЕВСКАЯ
И ВЛАДИМИР ВОИНОВИЧ
подробности - на стр. 18

Почти всю свою жизнь я был, как это у нас называлось, *невъездной*. И был уверен, что так никогда и не пересеку границу «большой зоны». Но за последние годы где я только ни побывал! Даже в Америку два раза съездил. Прав был Корней Иванович Чуковский, говоривший, что *в России надо жить долго*.

В общих чертах план этот («на второй день будущей России») выглядит так:

- 1) свободный выезд в Израиль всем желающим;
- 2) для всех остающихся и заявляющих себя **русскими евреями** — полная религиозная свобода, культурная автономия (школы, газеты, журналы, театры). **Ни в чем не мешать им ощущать себя нацией!** Но в занятии высших государственных должностей — примерно те ограничения, что и сегодня;
- 3) а для тех, кто остается и заявляет себя **не евреем**, и не двоеподанным, а искренне, без оглядки, **по душе — русским?**

Вот такому человеку простая проверка: если наше русское внутреннее (и особенно — деревенское) разорение, бревна прогнившие, дороги искалеченные, и наша неученость, и запущенное воспитание, и развращенный дух ему **больней**, чем отсутствие еврейских имен в государственном руководстве; если он испытывает истинное тяготение к русскому быту, к русским пространствам и русской боли — что ж тут возражишь? Исполать! Но этого всего не докажешь на московском паркете и на невских набережных — надо нырять самому в тот наш внутренний вакуум, может быть, и на северную глушь, и **практической работой скольких-то лет доказать**, что верно, ты именно чувствуешь так. И тогда ты — **полный** гражданин этой новой России.

Слов нет, программа хороша. Но многое в ней все-таки остается неясным. Сколько все-таки лет должен будет промыкаться в северной глуши этот бедолага еврей, искренне считающий себя русским, чтобы стать полноправным российским гражданином? И кто это будет решать? Наверно, совет старейшин какой-нибудь?

И потом: а как быть с полукровками? С ними ведь тоже всё ох как не просто!

Тут сразу вопрос: а дети от смешанных браков? (А смешанных браков все больше сейчас). Очевидно и перед ними, перед каждым ляжет один из трех перебранных путей. Надо заметить, что дети от смешанных браков чаще бывают и **по на-**

ружности больше евреи и по настроениям. Я не раз наблюдал. Такая молодежь очень обижается на угнетение евреев и совершенно спокойна к попранию русского духа. (Да что там! – русские жены целиком перенимают еврейскую точку зрения, и даже особенно ревностно).. К. И-в, наполовину мусульманин (и от очень знатного отца), наполовину еврей – в момент ближневосточной войны безоговорочно был на стороне Израиля, а не мусульман.

«К. И-в» – это явно Камил Икрамов, «знатный» отец которого (расстрелянный по бухаринскому процессу первый секретарь ЦК Узбекской ССР Акмаль Икрамов) был, кстати сказать, не мусульманин, а – коммунист. Но для А.И. он – мусульманин, а сам Камил – наполовину мусульманин, наполовину еврей. Никакой идейный отход от веры отцов не смает, не соскревет с мусульманина его мусульманства, и уж тем более – с еврея его еврейства.

И даже в голову не пришло Александру Исаевичу, что во время той арабо-израильской войны толкнула Камилу «болеть» за Израиль не еврейская его «половинка», а естественное чувство справедливости: весь стомиллионный арабский мир обрушился тогда на только что созданное после двухтысячелетнего еврейского рассеяния крохотное еврейское государство, и оно – устояло.

Ходил тогда по Москве такой анекдот (выдаваемый, конечно, за действительный случай).

Входит в автобус здоровенный, сильно поддатый мужик, медленно обводит глазами всех пассажиров. Наконец мутный взгляд его останавливается на маленьком щуплом еврее.

Подойдя к нему вплотную и дыша прямо ему в лицо перега-ром, алкаш грозно спрашивает:

– Еврей?

Еврей, вжав голову в плечи, испуганно молчит.

– Я т-тебя спрашиваю: еврей? – еще более грозно вопрошает алкаш.

– Ну, еврей, – в конце концов признается тот.

И тогда «старший брат», схватив руку бедолаги-еврея и радостно пожимая ее и тряся, возглашает:

– М-молодец!

Может быть, у этого русского парня из анекдота тоже была какая-то еврейская «половинка»? Или четвертинка? Или восьмушка?

* * *

Не стану врать: все эти раньше тщательно Александром Исаевичем скрываемые и теперь вдруг открывшиеся мысли и чувства, сильно меня задели. И они, конечно, тоже немало способствовали тому, чтобы я снова – не в первый раз, но теперь уже навсегда – круто изменил свое к нему отношение.

Но главным толчком для такой перемены были все-таки не они – не сами по себе темные его мысли и чувства, о которых я узнал из этого его сочинения, а – как ни странно! – короткий, совсем крохотный, заключающий это сочинение абзац:

Эта работа по своему языковому строю да и по окончательности формулировок и сейчас, конечно, **еще не вполне завершена**. Я положу ее на долгие годы. Надеюсь перед выпуском в свет еще поработать. Если же не судьба мне к ней прикоснуться до той минуты, когда приспееет ей пора, – **я прошу ее напечатать в этом виде и считать мои взгляды на вопрос именно такими**.

Когда эта работа увидит свет – может быть, очень нескоро, может быть после моей смерти, – **я надеюсь, что русские не усмотрят в ней гибели нашей нации**.

1-я редакция – декабрь 1965 г.

2-я редакция – декабрь-сентябрь 1968 г.

Рождество-на-Истье.

Приводившиеся мною многочисленные цитаты из этой его «работы», а также многие другие его высказывания, процитировать которые у меня не было возможности (пришлось бы переписать всю «работу» от первой до последней страницы), кое-что в Солженицыне, прежде нам не известное, конечно, прояснили. Но строго говоря, всё, что всплыло в этом «черновике», есть и в главном, двухтомном, действительно капитальном его труде. Разве только там он все это обложил ватой, при-

пудрил, причесал, переложил дипломатическими реверансами из репертуара кота Леопольда, уговаривавшего мышей жить дружно.

Так что, если что по-настоящему новое и выявилось после появления на свет Божий «черновика», так разве только – ложь и лицемерие всех этих его дипломатических реверансов: сам ведь – черным по белому, да еще нарочно выделив черным, чтобы заметнее было, – написал: **«Прошу считать мои взгляды на вопрос именно такими».**

По-настоящему же новым, действительно потрясшим меня, во всем этом его «черновике» для меня стал вот этот самый заключающий его абзац.

Ведь этот абзац – он что, собственно, значит?

Ведь это же – **его духовное завещание!** Главное из того, что хочет он сказать соотечественникам – пусть даже после своей смерти.

И особенно красноречивы тут – даты: 1965–1968. Это ведь те самые годы, когда он вступил на тропу войны с могущественной ядерной державой. Когда всерьез опасался, что его могут убить (и могли!). Когда закрадывалась даже мысль, что «они» могут выкрасть, взять в заложники его детей (и к этому он тоже был готов!). И вот в это самое время одну из самых неотложных, главных своих жизненных задач – может быть, даже наиглавнейшую – он видит в том, чтобы написать и на годы вперед запрягать – для будущего, для новой, свободной России – этот **МАНИФЕСТ РУССКОГО ФАШИЗМА!**

Вот, оказывается, для чего Господь закалял свой меч! И вот зачем в те незапамятные времена автор «Теленка» молил своего Отца небесного, чтобы Тот не дал ему переломиться при ударах или выпасть из руки Его.

Сколько лет должно было пройти, пока мы наконец узнали, на какую такую «нечистую силу» этот меч был отточен и заговорён, чтобы «рубить ее и разгонять».

* * *

Недавно (я пишу это 5 марта 2004 года) один журнал обратился ко мне с просьбой ответить на несколько вопросов.

Первый вопрос этой журнальной анкеты был такой:

– Какие новые книги в последнее время Вам запомнились? И я опять не удержался. Ответил так:

Запомнились многие. Перечислять их не буду. Но об одной, которая не просто запомнилась, а больно задела и даже стала для меня тяжелым личным переживанием, скажу. Я имею в виду книгу А. Солженицына «Двести лет вместе».

Я давно уже разочаровался в идеологе Солженицыне и в Солженицыне-художнике. Но такого сгустка злобной глупости, фальши и прямой лжи, такого гнойника темных чувств и несправедливых мыслей, какой скопил в своей душе и теперь выплеснул наружу этот наш классик, не ждал даже от него.

И дело тут не в антисемитизме. Во всяком случае, не только в нем. Со спокойным интересом читал я антисемитскую книгу В. Шульгина «Что нам в них не нравится». Люблю, постоянно читаю и перечитываю гениальную прозу Розанова.

Но насквозь лицемерная книга Солженицына – это другое. Постыдно заканчивает свою жизнь этот человек.

Этот ответ прочитал (в компьютере, еще до того, как я отдал его в журнал) мой сын. И сделал одно замечание: в последнюю фразу перед словом «жизнь», – сказал он, – надо бы вставить – «литературную».

Я согласился, что да, пожалуй, так будет корректнее. И вставил.

Но наедине с собой я думаю и чувствую именно так, как это у меня написано.

Постыдно заканчивает свою жизнь этот человек.

МОСКОВСКИЕ КУХНИ, КРУЖКИ И САЛОНЫ

Писатель работает не в одиночку, а бок о бок со своими единомышленниками, друзьями, товарищами по ремеслу... Образуются «кружки», «группы», устраиваются собрания, заседания или просто «вечеринки». Эти формы общения меняются, то приближаясь к наиболее «домашним», то развертываясь в сторону большей общественности или публичности... Как всегда в истории, в любую эпоху можно обнаружить сосуществование разных форм и типов – меняются их обличья, их литературные значения: знак исторической характерности переходит с одних на другие...

(Борис Эйхенбаум. Литературные кружки и салоны)

Чайхана, пирожковая-блинная,
Кабинет и азартный притон,
И приемная зала гостиная,
По-старинному значит – салон,
И кабак для заезжего ухаля,
И бездомному барду ночлег, –
Одним словом, московская кухня:
Десять метров на сто человек!

(Юлий Ким. Московские кухни)

1

Однажды попалась мне в букинистическом книжка: «Литературные кружки и салоны». Издана она была в 1929 году издательством «Прибой». На авантитуле значилось: «Государственный институт истории искусств. Труды семинария Б.М. Эйхенбаума по изучению литературного быта».

Не могу сказать, чтобы книгу эту я читал с таким уж большим интересом. Во всяком случае, интерес этот был вполне отвлеченным, чисто познавательным.

Интереснее было разглядывать немногочисленные картинки, которыми была проиллюстрирована эта книга. На одной был изображен И.А. Крылов, читающий в «Беседе любителей русского слова» свою басню «Демьянова уха». Среди внимающих Ивану Андреевичу занято было угадывать и вглядываться в лица тех его современников, имена которых были мне знакомы: Державина, Дмитриева, графа Хвостова, адмирала Шишкова. На другой картинке, изображавшей салон Зинаиды Волконской, можно было различить уже более знакомые лица: Чаадаева, Пушкина, Мицкевича, Вяземского. На третьей («Новоселье А.Ф. Смирдина») – тот же Вяземский, и Крылов, и Пушкин. Но тут же, рядом – и Булгарин, и Греч. Стало быть, не только единомышленники собирались в тех салонах – за одним столом, под одной крышей.

Да, картинки разглядывать было интересно. Но и они никаких ассоциаций с нашей – моей и моих друзей – литературной жизнью у меня тогда не вызвали.

А сейчас, заглянув в эту старую книгу, я совсем по-новому прочел и ее, и предваряющее ее предисловие Б.М. Эйхенбаума. И вот даже отрывок из этого предисловия поставил эпиграфом к этой главе.

Ассоциации с нашим литературным бытом, стало быть, все-таки возникли. Хотя у нас никаких салонов вроде быть не могло. «Век не салонов, а гостиных», – сказал Блок о своем времени. Сказал, заметьте, даже не о двадцатом, а о девятнадцатом веке. А у нас и гостиных-то никаких уже не было. Только кухни – те самые, о которых уже в иные, новые времена ностальгически вспомнил Юлий Ким: «Десять метров на сто человек».

Но особенно приbedняться нам тоже не стоит, поскольку, как написал тот же Ким, в тех наших кухнях, –

Да, бывало, пивали и гуливали,
Но не только стаканчиков для
Забегали, сидели, покуривали,
Вечерок до рассвету продля.

Чай, стихов при огарке моргающем
Перечитано-слушано всласть,
Чай, гитара Высоцкого с Галичем
Тоже здесь, а не где, завелась.

На наших кухнях – тех, где собирались мои ближайшие друзья (у Корнилова, у Войновича, у Фазиля, у Ирины Эренбург, у меня) – Высоцкий не бывал. Но Галич со своей гитарой к нам заглядывал. Да и мы к нему тоже. Ну а без Булата не обходилось, пожалуй, ни одно наше сборище: я имею в виду не самого Булата, а его песни. Был при этом сам Булат или его в тот момент с нами не было, песни его, когда мы собирались вместе, звучали постоянно, пусть в самом убогом – нашем собственном – исполнении.

Тут сразу вспомнился мне такой случай.

Собрались мы однажды в одной из наших кухонь (на сей раз это было у Войновича в его тесной квартире, тогда еще однокомнатной, стало быть, – еще до «Иванькиады») и весь вечер пели песни Булата. И была среди нас (по соседству, забежала на огонек) жена Саши Галича – Ньюша.

Не могу удержаться от маленькой «верояции в сторону».

Была у меня в то время – или чуть позже – долгая беседа с сотрудником Комитета Государственной Безопасности. (Инициатива, как вы понимаете, исходила не от меня.) Когда в Малеевке, гуляя с Борисом Слуцким, я довольно подробно пересказывал ему ее, в какой-то момент он вдруг остановился, оглядел меня внимательно, словно увидел впервые, и, не скрывая раздражения, сказал:

– Ох, и много же лишнего вы ему наговорили!

Так оно, наверно, и было.

Продолжалась эта моя беседа с кагебешником часа два и была она не лишена интереса, так что когда-нибудь, когда придется к слову, я о ней, быть может, еще расскажу. А сейчас я про нее вспомнил, потому что в вопросах и монологах моего собеседника постоянно упоминалась жена Саши Галича Ангелина, которую он по-свойски называл – «Ньюша».

Пересказывая тот наш разговор друзьям, я это отметил – ко-

нечно, слегка издевательски: «Какая, мол, она ему Ньюша! Тоже, нашел себе подружку!». Друзья посмеивались. Но один, как вы сейчас увидите, самый умный из нас, не смеялся, а довольно зло сказал:

– Ну? Теперь вы наконец убедились, что я был прав? Сколько раз я вам говорил, что всё, что ИМ про нас известно, ОНИ узнают из наших телефонных разговоров!

Всё – не всё, но многое безусловно. А откуда же еще, если не из подслушанных наших телефонных разговоров могло оказаться у него на языке это своё, фамильярное «Нюша».

А сейчас возвращаюсь в кухню Войновича, где эта самая Ньюша оказалась в нашей компании.

Она сидела рядом со мной и на протяжении всего вечера сокрушенно повторяла:

– Поют Булата! А Сашу не поют...

Я, как мог, утешал ее. Объяснял, что собрались старые друзья Булата, что все эти его песни рождались с ними и при них, что всё это ровным счетом ничего не значит, что её Саша в своем роде ничуть не хуже Булата. Говорил еще что-то, столь же невнятное и маловразумительное. Но Ньюша была безутешна. Ей было плевать на все мои объяснения, важен был сам факт: поют Булата, а Сашу не поют.

Много лет спустя, прочитав статью Андрея Синявского «Театр Галича», я наткнулся в ней на такую фразу:

Эти песни – песни Галича – мы не поем. Мы оживаем под эти песни.

Прочитав ее, я сразу вспомнил тот вечер и пожалел, что это ослепительно-точное объяснение не пришло мне в голову в том моем разговоре с Ньюшей.

Нюшу оно, конечно, вряд ли бы утешило. Но самая суть дела Андреем Донатовичем была схвачена верно.

Булат – лирик. Он пел от себя и про себя. И подхватывая его мелодию, повторяя его слова – «Я московский муравей...», «Я с ними не раз уходил от беды...», «Протяну я любви ладони пустые...», «Надежда, я вернусь тогда...», – произнося это

лирическое «я», каждый из нас подразумевал при этом не его, а – себя.

Галич пел не от себя и не о себе. Когда он пел: «Облака плывут, облака, / Не спеша плывут, как в кино. / А я цыпленка ем табака, / Я коньячку принял полкило...» – он имел в виду не себя. Это не он, не Саша, не Александр Аркадьевич Галич «лёд кайлом ковырял», не он «подковой вмерз в санный след», не он «двадцать лет протрубил по тем лагерям», а его герой. И когда он пел – «Я с обеда для сестрина мальчика / Граммов сто отолью киселю, / У меня ж ни кола, ни калачика. / Я с начальством харчи не делю!» – это он, конечно, тоже не о себе. И совсем уж смешно было бы предположить, что он имел в виду себя, когда пел: «Постелилась я, и в печь – уголёк... / Накрошила огурцов и мяса. / А он явился, ноги вынул, и лёг – / У мадам его – месяца...»

Пел он, однако, всё это – как и многое другое – от первого лица, то есть как бы – **от себя**.

Многие ставили это лыко ему в строку. Вот, мол, сам не сидел, а поет от имени сидевших. Сам не воевал, а поет от имени воевавших.

Честно говоря, меня всё это одно время тоже смущало.

Но сработал великий закон жизни и искусства: этого человека, вот такого, каким он был, его песенный дар взял за шиворот и властно поволок в ту сторону, где его ждала гибель.

Конечно, на самом деле он не был таким благополучным и преуспевающим человеком, каким казался. Эти песни, которые вылились из его души, неоспоримо свидетельствовали о каком-то глубоком внутреннем неблагополучии. Эта трещина всё разрасталась, разрасталась... Эта сила дарования, сила правды, неудержимое тяготение к правде, как магнит притягивает к Северу стрелку компаса, потащила его за собой, обрекла на противостояние с властью, на исключение из Союза писателей, на отрыв от той среды, к которой он привык, в которой некогда чувствовал себя как рыба в воде. И закончилось это – не могло не кончиться! – его трагической гибелью.

Трагическая гибель Александра Галича, даже если принять на веру, что она и в самом деле была случайной, на самом де-

ле перечеркнула всё случайное, всё наносное, что было в нем. И подчеркнула, кровавой красной чертой подчеркнула всё истинное, подлинное, – всё то, чем до краёв была наполнена – переполнена – его душа...

Но это всё я понял и объяснил себе так, как сказал об этом сейчас, – позже, потом. Может быть, даже уже после его гибели.

А когда мы познакомились и я впервые услышал его песни, я долго не мог разобраться в своих чувствах, в своем отношении к нему и к его песням.

Я уже сказал, что резкое несовпадение его человеческого облика со всей образной плотью его песен поначалу меня смущало. Но «смущало» – это слишком бледное слово. Оно лишь в очень слабой степени выражает тот внутренний разлад, который вызвал в моей душе феномен Галича.

У меня тогда была своя теория – ну, не то чтобы теория, но, скажем так, – свое представление о том, каким должен быть настоящий поэт, настоящий художник. Я даже написал однажды целую статью на эту тему. Начиналась она вычитанной мною где-то историей – про Гайдара и одного мальчика. Мальчик этот признался Аркадию Петровичу, что мечтает стать писателем. Тот его намерение одобрил и даже предложил ему вместе, вдвоем написать рассказ. Писать, сказал, будем так: фразу напишешь ты, фразу – я. Давай, начинай! Мальчик, особенно не задумываясь, написал: «Путешественники вышли из города». Ну, говорит он, обращаясь к Гайдару, – теперь вы. «Э, нет, – ответил Гайдар, – так дело не пойдет. Вот завтра рано утром выйдем мы с тобой из города, и тогда я и напишу вторую, следующую фразу нашего рассказа. Утром они встали, умылись, собрались и пошли. Час идут, другой. Мальчик устал. «Аркадий Петрович, – сказал он, – давайте сядем на автобус. У меня есть деньги». – «У меня тоже есть деньги, – ответил Гайдар. – Но дело, братец, в том, что из города нам надо выйти, а не выехать. Вот если бы ты написал: «Путешественники выехали из города на автобусе», я бы, пожалуй, поехал – оно, верно, лучше, чем пешком». Они шли долго. Было жарко и пыльно... Вот уже начались окраины города с деревянными домами. Мальчик выбился из сил. Но Гайдар был непреклонен. В общем, рассказ они вместе так и не написали.

Эта незатейливая история-притча очень наглядно выражала тогдашнее мое представление о том, что настоящий поэт за каждое свое слово должен расплачиваться поступком, каждодневным своим поведением, всей своей жизнью. Саша Галич – при всей моей любви к нему и к его песням – в это мое представление не укладывался. Он его разрушал.

Как я уже говорил, он любил красиво и даже изысканно одеваться, любил хорошо жить, у него была красивая квартира, забитая антикварной мебелью. И при этом он сочинял и пел песни от имени нищих, забытых, измочаленных жизнью, замордованных людей...

Но что бы я там ни думал про это странное противоречие, как бы ни смущало меня оно, в какой бы тупик ни ставило, от песен его я был в восторге. Слушая их, забывал все свои теории. Готов был слушать (и часто слушал) часами, пока у Саши хватало сил их петь. И не просто слушал, а упивался ими, «ловил кайф», «тащился от них», как выражают сейчас такое состояние души наши внуки.

Но самое большое, уже ни с чем не сравнимое наслаждение доставляли мне эти песни, когда Саше случалось петь вдвоем с Толей Аграновским.

Вдвоем – это не значит, что пели они дуэтом. Пели – каждый свое, словно бы состязаясь. Эти шуточные их состязания (к сожалению, не такие уж частые) назывались у нас – «айтыс». Слово это, кажется, казахское: так у степняков называется традиционное состязание акынов. Откуда оно пришло к нам – не помню. Скорее всего, научил нас ему Толя.

Однажды мы с женой устроили такой «айтыс» между Толей и Юзом Алешковским, попытавшись ввести Юзика, которого мы знали с юности, в нашу тесно сбившуюся компанию. Народу в нашу квартиру набилось тогда – тьма, и «айтыс», в общем, удался, хотя проходил он и не совсем гладко.

Когда Юз спел свою «Советскую лесбийскую», Толина жена Галя воскликнула:

– Фу, какая гадость!

И, вскочив, спела «Пацанку». В порядке, так сказать, полемики.

Юзику, понятно, это не шибко понравилось. Но две разные

компании болельщиков (поклонников Юза и поклонников Толи) в одну так и не слились не только из-за этого инцидента. Уж очень они были разные. Толя сочинял (лучше сказать – подбирал) музыку для текстов Ахматовой («Чугунная ограда...»), Пастернака («Стояли, как перед витриной...», «Свеча горела на столе...», «Засыплет снег дороги...»), Заболоцкого («Можжевельный куст»), Тарковского («Вечерний, сизокрылый, благословенный свет...»), Самойлова («Жаль мне тех, кто умирает дома...»). Ухитрился даже петь Цветаеву с ее анжамбеманами («Госка по Родине, давно разоблаченная морока...») и Слуцкого («Утро брезжит, а дождик брызжет...» и «Орден теперь никто не носит...»). И пел он все это с таким вкусом и тактом, так у него это выходило естественно и органично, что никого не шокировало превращение ахматовского стихотворения в цыганский, а пастернаковского – в городской романс. Ощущение было такое, что эти уже ставшие в то время классическими стихи именно для этой музыки и для этого голоса были рождены.

Ну а Юзику это все было – «до лампочки». Узнав, что Толя своих текстов не создает, поет только чужие, он сразу потерял к нему интерес. На музыку ему было, в общем-то, наплевать. Все свои песни он пел примерно на один мотив, без всякого аккомпанемента, только отбивая ритм ладонями по столу. Никакая гитара ему была не нужна – не то что Толе или Саше Галичу, которые иногда и при нас вели меж собой какие-то профессиональные разговоры о своих – настоящих «краснощечковских», обладанием которыми оба очень гордились.

Однажды, когда я долго слушал Толю – в этот раз не в многолюдной, а в своей, тесной компании, – у меня вырвалось:

– Из-за одних только твоих песен я никогда не уеду из этой страны!

Толя улыбнулся и сказал:

– Я очень рад, что мои песни выполняют такую патристическую миссию.

Реплика эта – как и все Толины высказывания – несла в себе некий двойной смысл. С одной стороны, она была достаточно ироничной, а с другой – словно бы рассчитанной и на то, что ее могут услышать и чьи-то посторонние уши. Он как бы

слегка дистанцировался от моего неосторожного, не вполне лояльного признания, что меня-то «в этой стране» уже ничто не держит, кроме его песен.

Эта Толина реплика была очень для него характерна.

В своих высказываниях, а тем более публичных, он был не то чтобы осторожен, но – аккуратен. Однажды преподанный им мне урок насчет того, как надо отвечать на провокационные вопросы (если тебя спрашивают: «Как ты думаешь, кто убил Михоэлса?», надо с самым невинным видом переспросить: «А кто такой Михоэлс?»), был в том же роде: смесь иронии и осторожности.

Этот выработанный им стиль поведения отчасти, вероятно, был продиктован некоторыми особенностями его биографии (отца в свое время посадили), но главным образом официальным его положением.

Еще до того как он стал специальным корреспондентом «Известий», в какой-то официозной статье (чуть ли не в «Правде») очеркист Анатолий Аграновский (вместе с Ильей Зверевым) был причислен к славной когорте «певцов светлых сторон нашей жизни». Эта репутация на долгие годы стала его опорой и защитой. Наверно, помогала ему и потом, когда в «Известиях» он стал печатать весьма острые очерки и статьи, беспощадно рассматривая в них уже не светлые, а самые темные стороны родимой нашей советской действительности. За это тоже приходилось платить образцовым, тщательно выверенным поведением. (Я, кажется, уже приводил меткую реплику Виктора Борисовича Шкловского насчет того, что оценки нам ставят не за успехи, а за поведение.)

Но дело было не только в острых Толиных – «известинских» – очерках и статьях.

Поговаривали, что Толя был одним из тех, кто писал за Брежнева книги его воспоминаний («Малая земля», «Целина» и проч.), впоследствии объявленные высшим достижением советской литературы и удостоенные Ленинской премии. Свое участие в выполнении этого важного задания Партии и Правительства Толя, разумеется, не афишировал. Но своей принадлежности к бригаде журналистов, придававших некую литературную форму официальным брежневским докладам, не скрывал.

Отчасти, я думаю, из-за этого своего официального и полуофициального положения Толя категорически отказывался не только от публичного исполнения своих песен (хотя ему не раз это предлагали), но и от всяких попыток записать их на магнитофон – о чем все мы, слышавшие его, бесконечно теперь сожалеем.

Толя был блестящий рассказчик. Особенно хороши были его истории – маленькие изящные устные новеллы о мальчишках, сыновьях – Алёше и Антоне, которым было тогда 10-11 лет.

Вот, например, такая.

Прибыл из туристической поездки по Соединенным Штатам сосед и друг семьи Александр Михайлович Борщаговский. Дарит Антону горсть американских монет: вероятно, выполняет его просьбу.

Алёша:

– Дядя Саша, а мне?

Борщаговский:

– Как? Разве ты тоже собираешь? Что же ты мне не сказал! А я уже все Антону отдал.

Алёша:

– Дядя Саша, а я советские тоже собираю.

А вот – еще, про того же Алёшку.

Показывает он как-то отцу очень редкую марку. Говорит, что марке этой нет цены и он очень выгодно выменял ее у какого-то своего приятеля.

– Что же ты ему за нее дал? – спрашивает Толя.

– Я сказал, что если мама разрешит мне завести собаку и у нее будут щенки, то одного я ему дам поводить.

А вот – самая лучшая из этих Толиных историй. Его, так сказать, коронный номер.

Однажды Антон вернулся из школы радостно возбужденный.

– Нам сегодня сочинение задали. С эпиграфом! – с порога сообщил он.

– Как это – с эпиграфом? – спросил отец.

– Ну, вот я, например, уже придумал: «Один за всех, все за одного. Д' Артаньян». Как ты думаешь, можно написать сочинение с таким эпиграфом?

– Конечно, – подтвердил Толя. – Прекрасный эпиграф. И замечательное может выйти сочинение. Садись и пиши.

Вдохновленный поддержкой отца, Антон ушел к себе и полдня пыхтел над сочинением. Вечером Толя спросил:

– Ну как? Написал?

– Написал, – ответил Антон. Но как-то уныло ответил, уже без всякого энтузиазма.

– С эпиграфом?

– С эпиграфом.

– Один за всех, все за одного, Д' Артаньян?

Антон в ответ безнадежно махнул рукой:

– Учиться, учиться, учиться. Ленин.

Рассказав эту замечательную историю, Толя вздохнул:

– Одиннадцать лет мальчишке. И уже... Ну откуда это у них?

Тоже мне, бином Ньютона, – подумал я. Но вслух этого не сказал. Толю я любил и обижать его мне не хотелось.

* * *

Галя Аграновская в недавно вышедшей книге своих воспоминаний рассказывает, что однажды Саша подарил Толе – на день рождения – свою книжку.

Книжка эта, само собой, была – самиздатовская: других в ту пору у него быть не могло:

В темно-красном переплете коленкоровом. На обложке – «А. Галич». На первой странице – «Книга песен. Москва, 1964 – 1966 гг.»

Вторая страница с таким текстом: «Это стихи. И это песни. Во всяком случае, это песни, которые поются. То, что исполняются они, как правило, под аккомпанемент гитары, – не делает их ни лучше, ни хуже. Просто именно так и для этого – они написаны!»

Третья страница – посвящение: «Ангелине».

Надпись на книге: «Дорогому любимому Толе – учителю от ученика. Александр Галич. 7 января 1967 г.»...

– Саша, – сказала я ему тогда, – после слов «учителю от ученика» добавь, что он на гитаре тебя учил играть. А то, если брать будут, как оправдаемся? Детей жалко!

Шутка совершенно в Толином духе. Та же смесь иронии («Надеюсь, ты не подумаешь, что я это всерьез...») с осторожностью («Между нами, мне и впрямь было бы спокойнее, если бы ты написал, что назвал Толю своим учителем только лишь потому, что он научил тебя играть на гитаре».)

Но на самом деле, я думаю, называя Толю своим учителем, Саша имел в виду не только гитару.

Репертуар у Толи был весьма обширный и разнообразный. Даже в те времена, когда он уже стал подбирать мелодии к стихам Пастернака и Ахматовой. А до того он, бывало, исполнял под гитару – а иногда даже и без нее – всякую чепуху: шуточные, ернические какие-нибудь куплеты.

В 60-м, в Малесевке, где мы с ним подружились (познакомились раньше, а сблизились именно вот тогда), катались мы по малеевскому пруду целой компанией на лодке. И Толя пел нам разные свои песенки. В одной из них был такой рефрен:

Север, Юг, Восток и Запад,
Север, Юг, Восток и Запад,
Север –
Ой, Юг!

Когда дело дошло до этого рефрена, Толя сказал:

– Нет! Не могу!

И встав – в лодке – во весь рост, рискуя перевернуть наше угловое суденышко и утопить всех нас в этом малеевском пруду, проделал поясницей и тазобедренным суставом соответствующие телодвижения, коими необходимо было сопровождать этот текст: на словах «Север и Юг» – движение взад и вперед, на словах «Восток и Запад» – вправо и влево.

Пел он тогда блатные и приблатненные песни – и настоящие, подлинные («Парень в кепке и зуб золотой...»), и сочиненные интеллигентами, стилизованные под блатную феню («Ко мне подходит санитарка – звать Тамарка...»).

Иногда это была настоящая блатная песня из воровского фольклора, но, так сказать, инкрустированная интеллигентскими вкраплениями-хохмами:

Сидел я в несознанке, ждал от силы пятерик,
Как вдруг случайно вскрылось это дело.
Пришел ко мне Шапиро, мой защитничек-старик,
Сказал: – Не миновать тебе расстрела...

А кончалось она так:

Квадратик неба синего и спутничек вдали
Сияет мне как слабая надежда.

Насчет «Шапиро» я еще готов допустить, что так было и в оригинале, а вот «спутничек» вместо «звездочка» – это была уже явная Толина отсебятина.

Но больше всех этих ранних Толиных песен полюбился и запомнился мне с особенным вкусом исполнявшийся им такой «городской романс»:

Под горой стоит пень берёзовый,
Гуляла Леночка там в кофте розовой.

Гуляла Леночка – прифасонилась,
А через год она опозорилась.

Ой, позор, позор, еще позор какой,
Уехал Петечка, ее не взял с собой...

Стало стыдно ей, она заплакала,
Убила дочь свою, в сарай запрятала.

Милиционер пришел – Лену спрашивает,
Она на постели лежит – глаза закашиват.

– А ты скажи, скажи, Шарова Леночка,
Куда девалася малютка-девочка?..

Не отсюда ли начался Галич? И не в родстве ли – пусть очень дальнем – с этой Толиной Леночкой Шаровой – галичева Леночка Потапова:

Судьба милицанерская –
Ругайся цельный день.
Хоть скромная, хоть дерзкая –
Ругайся цельный день...

Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка –
Милиции сержант.

Это уже – настоящий Галич. Но ведь до этой песни, которую Саша считал самой своей первой, были у него и другие «пробы пера» – очень похожие на те, с каких начинал Толя.

Еще один небольшой отрывок из воспоминаний Гали Аграновской:

В тот месяц в Малеевке услышала я впервые поющего Галича. Но ни одной еще песни из подаренной десять лет спустя книжки и не под гитару. Песни эти были из его кинофильмов и спектаклей, романсы Вертинского, Лещенко, Козина. Под расстроенное пианино в холле, на втором этаже. Артистичности Саше было не занимать, слушатели, а особенно слушательницы, принимали восторженно.

Потом услышали мы цикл его частушек, медицинских. Как назвал их наш приятель-врач, «пособие для студента-медика». Частушки были в основном ёрнические. Одну из них, «приличную», приведу здесь:

– Подружка моя, я на мир сердита,
Как бы мне не помереть от ревмокардита!
– Подружка моя, не вопи, не ной ты,
Надо срочно удалять гланды, аденоиды!

Как это все далеко было до гражданской трагедийности будущего Галича!

Прочитав это, я сразу вспомнил и другие Сашины «медицинские частушки».

Помню, как одну из них спела нам Галя – в той же Малеевке, в беседе:

– Подружка моя, ты не плачь, не ахай!
Отчего в моей моче появился сахар?
– Подружка моя, верная примета,
Если сахар есть в моче – бойся диабета!

В той же беседке сидела с нами и слушала Галю старуха Инбер с мужем. (Про них ходил такой анекдот: кто-то из малеевского обслуживающего персонала якобы так высказывался об этой супружеской паре: «Сам Вера Инбер – ничего мужик... Но сама Вера Инбер!..»)

Так вот, когда Галя спела эту частушку, Вера Михайловна погладила мужа по голове и сказала:

– Бедный ты мой, бедный...

«Сам Вера Инбер», как видно, страдал диабетом.

Что же касается Галиной фразы насчет того, как далеко было от этих Сашиных частушек «до гражданской трагедийности будущего Галича», то это – и так, и – не совсем так. До трагедийности действительно далеко, а вот до издевательских, глумливых, сатирических галичевых песен – совсем уже близко.

Была там, например, среди этих его «медицинских частушек», такая:

– Подружка моя, я еще девица,
Отчего же у меня сделалась грудница? •
– Подружка моя, сядь, пиши скорее.
Эту пакость на тебя навели евреи!

Это было эхо не так давно – всего четыре года назад – потрясшего страну «дела врачей»: подружка ведь прямо призвала подружку повторить знаменитый подвиг Лидии Тимашук.

Кстати, Булат тоже начинал с ёрнических частушек.
Пел, перебирая струны гитары:

– Ты куда меня ведешь?
Такую молодую!
– На ту сторону реки.
Иди, не разговаривай!

За каждым таким куплетом следовал меланхолический рефрен:

Взросшие, культурные,
колхозные потребности.

Любил он петь и старый городской романс: «Город Николаев, фарфоровый завод...».

А иногда нечто совсем уже «низкого жанра», с грузинским акцентом:

Она ему любит, она ему мать,
Она ему хочет аб-ни-мать!

С рефреном:

Таш-туши, таш-туши, мадам попугай...

Наверно, из-за этой склонности к «низким жанрам» у них обоих – и у Саши, и у Булата – были схожие комплексы.

Когда мы с Булатом работали в «Литературной газете» (год, наверно, 60-й), один наш сотрудник пригласил нас всех – весь наш отдел – на свадьбу.

Свадьба была мещанская. Со всеми полагающимися атрибутами: жених в черной паре с галстуком, невеста – в фате. На каждом стуле перед столом – бумажная табличка с именем приглашенного, и все – по чинам, по ранжиру. А табличка на стуле, предназначенном Булату, гласила: «Гитарист».

Без малого сорок лет спустя, когда Булату стукнуло семьдесят, после грандиозного юбилейного вечера в здании какого-то театра на Трубной, был еще один, интимный, в маленьком зале Литмузея. И во время моего выступления (я вспоминал нашу молодость) Булат, сидевший в первом ряду, кинул мне:

– Расскажи про «Гитариста».

Сейчас, тридцать пять лет спустя, после только что прошедшего триумфального юбилея (океан цветов, приветствия от самых знаменитых людей страны, не расходящаяся толпа народа у здания театра, где долго длилось чествование юбиляра)

над той старой историей он уже мог – и даже хотел – посмеяться. Но – не забыл ее, помнил. А тогда – от нас он этого и не скрывал – эта бумажка с надписью «Гитарист» больно его задела.

Да и позже, уже в пору самой большой своей славы, выходя со своей гитарой на сцену, он испытывал какое-то странное чувство. Не то чтобы стыда, но – чувства, пожалуй, даже более болезненного и мучительного, чем стыд.

След этого остался в его стихах:

О чем ты успел подумать
отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой,
растерянный, но прямой...

Я цитирую эти стихи так, как они мне запомнились: потом, печатая, Булат, кажется, что-то в них изменил. Но услышав их впервые, я почувствовал в них ту же боль, ту же саднящую царапину, которой уязвила его бумажка с надписью «Гитарист» на той свадьбе. О чем «успел подумать» (или о чем подумал бы) его расстрелянный отец, увидав сына, шагнувшего на сцену с гитарой в руках? Не об унижительности ли этого его шага?

Что-то похожее, если судить по стихам, испытывал и Саша Галич:

Непричастный к искусству,
Не допущенный в храм,
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?!
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю,
Вспомню Мерю и Чудь,
И стыда ни на каплю,
Мне не стыдно ничуть!..

Это – лирический зачиц, запев. За ним следует уже не ли-

рика, а эпос – сама песня, которую он исполняет «под закуску и две тысячи грамм». И вот что чувствует он, когда песня пропета и реакция слушателей более или менее ясно обозначилась:

Голос глохнет, как в вате,
Только струны бренчат.
Все, приличия ради,
С полминуты молчат.
А потом, под огурчик
Пропустив стопаря, –
«Да уж, песня – в ажурчик,
Приглашали не зря!
Да уж, песенка в точку,
Не забыть бы стишок,
Как он эту вот – дочку
Волокет на снежок!..»
Незнакомые рожи
Мокнут в пьяной тоске...
И стыжусь я до дрожи,
И желвак на виске...

Стыд, в котором не стесняется тут признаться Саша, – совсем не тот, что у Булата. Ему стыдно, что он мечет бисер перед свиньями, которые не в состоянии его песен ни понять, ни оценить. Кому его боль – до лампочки.

Что же касается самой роли «гитариста», то ему её «не стыдно ничуть». И в жизни тоже этой своей роли Саша не стыдился. Всюду, куда его звали, не ломаясь, являлся с гитарой. Иное дело – Булат. Даже к самым близким друзьям с гитарой он никогда не приходил. Гитара тут должна была оказаться словно бы случайно («Тут у меня в кустах рояль»). Помню, собрала нас однажды Галя – жена покойного Бори Балтера. Был то ли день его смерти, то ли день рождения. Выпивали, закусывали, вспоминали Борю. Потом откуда-то явилась на свет гитара и была вручена Булату. Булат отказываться не стал, спел. Но спел – только одну песню: «До свидания, мальчики...»

Это было очень элегантно: ведь этой Булатовой строкой

Боря назвал лучшую свою (в сущности, единственную) книгу. И этот красивый жест Булата мы все оценили. Но нам-то хотелось слушать его еще, и еще, и еще... Нет! Больше ничего так и не спел...

И на том грандиозном юбилейном вечере, как ни умолял его Юлик Ким, стоя на сцене и протягивая гитару: «Ну?.. Булат Шалвович!.. Хоть одну песенку!..» – нет! На сцену так и не вышел, и гитару в руки так и не взял.

Однажды я должен был предварить вступительным словом какой-то его большой концерт. Собственно, это был не концерт, а – творческий вечер. После выступления Булата должны были показать его фильм «Женя, Женечка и Катюша». Был даже какой-то стенд с его книгами. (К тому времени уже вышли в свет два его исторических романа: «Бедный Авросимов» и «Похождения Шипова»). Поэтому я что-то такое комплиментарное сказал и о фильме, и об исторической прозе Булата. Но большую часть своего выступления, конечно, посвятил его песням. Кажется, сказал даже, что и в кино, и в исторической прозе, да и в поэзии у него найдутся соперники. А вот песни его – явление уникальное. Тут он – единственный и неповторимый. Тут его не с кем сравнивать.

Булат после этого моего выступления на меня надулся. Нет, он ничего мне не сказал, даже намеком своей обиды не выразил, но я сразу почувствовал, что он обиделся. А потом кто-то передал мне его слова: «Бен, мол, совсем спятил. Говорил только о песнях. А я ведь как-никак поэт, да и в прозе уже кое-что сделал».

Если строго придерживаться фактической стороны дела, он был не прав. Но по существу... Конечно, и о романах его, и о фильме я говорил холоднее, сдержаннее, чем о песнях... А говоря о песнях, конечно, не мог скрыть, что главное для меня в Булате – именно они. Наверняка это чувствовалось в самом тоне моего выступления, а ведь не зря говорят, что именно тон создает музыку.

История эта, конечно, пустяковая, но – показательная. Булат не то чтобы стыдился своих песен, но ему неприятно было думать, что и стихи его, и романы люди ценят только лишь потому, что их написал тот самый знаменитый Окуджава, ко-

торый поет под гитару про полночный троллейбус, Лёньку Королева и – «А мы швейцару отворите двери...»

Сашины комплексы были совсем другие.

Яснее ясного выплеснулись они в строчках, которые я только что процитировал: «Не причастный к искусству, не допущенный в храм, я пою под закуску и две тысячи грамм...»

Как бы ни складывалась литературная судьба Булата, он о себе ничего подобного сказать бы не мог. И к искусству был причастен, и в храм допущен с самых первых своих шагов. Первая его стихотворная книжечка вышла в Калуге в 1956 году, то есть еще до того как он взял в руки гитару. И в Союз писателей его приняли как поэта. Таков, стало быть, был его официальный статус.

Иное дело – Саша.

Он прекрасно понимал, что лучшее, главное, что он делает и сделал в своей жизни – это его песни. Не пьесы – «Вас вызывает Таймыр» или даже «Матросская тишина», – не киносценарии, благодаря которым он ездил в Париж и за которые получал разные почетные грамоты, а только песни. Именно они.

Но о том, чтобы увидеть эти песни – хотя бы не все, а только самые «кошерные» из них (как у Булата) – изданными отдельной книжечкой, он не мог даже и мечтать:

Ах, как мне хотелось, мальчишке,
Проехать на велосипеде.
Не детском, не трехколесном. –
Взрослом велосипеде!..

...Теперь у меня в передней
Пылится велосипед,
Пылится уже, наверно,
С добрый десяток лет.
Но только того мальчишки
Больше на свете нет...

Ох, как мне хочется взрослому,
Потрогать пальцами книжку,

И прочесть на обложке фамилию,
Не чью-нибудь, а мою!..

Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте – погиб в бою...
Но если нельзя – мальчишку,
И в прошлое ни на шаг,
То книжку-то можно?! Книжку!
Её – почему никак?!..

Партийная Илиада!
Подарочный холуяж!
Не надо мне так, не надо –
Пусть тысяча – весь тираж!
Дорого с суперобложкой?
К чёрту суперобложку!
Но нету суперобложки,
И переплета нет...

Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

Не изданные, не напечатанные его песни были – «самодельностью». Официального признания, а значит, и какого-либо официального статуса они не имели. А если так – кто его знает, есть ли у него право считать их настоящей поэзией?

Эти его сомнения сейчас кажутся чистым бредом. Да и были ли они у него – эти сомнения? Эту строку – «Не допущенный в храм» – вполне ведь можно счесть иронией. Или – чистой воды кокетством. Какой еще был ему нужен храм после тех оваций, которыми встречали его тысячи – да хотя бы даже только десятки – слушателей!

Но я-то точно знаю, что сомнения были.

Всякий раз, когда мы собирались послушать Сашу, приняв свои «четыреста грамм» и получив полагающуюся ему дозу наших восторгов, Саша начинал приставать ко мне – почему-то именно ко мне:

– Ну, скажи, только честно! Как тебе мои стихи?.. Именно как стихи... Ведь правда же, не хуже, чем у Яшки Козловского?

– Саша! – отвечал я. – Ты сошел с ума! Какой Козловский!..
При чем тут Козловский?.. Ведь он же графоман...

– Ну что ты! У него такие рифмы... – задумчиво говорил Саша.

Но в конце концов мне все-таки удавалось убедить его, что Козловский со всеми своими замечательными каламбурными рифмами в сравнении с ним, Сашей, – просто пустое место. Ноль без палочки.

И тогда начинался второй круг.

– Нет, ты скажи... Только честно!.. Как, по-твоему, я не хуже Межирова?

– Саша! – говорил я. – Ты лучше Межирова!..

Говоря это, я был искренен.

Саша очень ценил поэтическую технику, так называемое мастерство. Отсюда – это безумное желание потягаться с таким ничтожеством, как Козловский. Но он и по части мастерства был «в краю отцов не из последних молодцов». Чего стоят, например, такие его чеканные, словно из меди выкованные строки:

... И встают по квадрату
На рассвете полки,
От Синода к Сенату –
Как четыре строки.

Но когда я искренне твердил ему, что он лучше, гораздо лучше Межирова, совсем не мастерство – и его собственное, и межировское – имел я в виду. Плевать мне было на его мастерство!..

Ну, не совсем, конечно, плевать, но главным все-таки было для меня в его песнях то, что превыше всего ценил я в поэзии и что выразил когда-то, давным-давно, озаглавив едва ли не самую первую свою – так и не напечатанную – статью о поэзии строкой Маяковского: «Сердце с правдой вдвоем».

Саша своими песнями принес в нашу тогдашнюю поэзию то, чего ей больше всего не хватало: правду. И – что, пожалуй, больше всего меня в нем восхищало, – не щадя никого и ничего, он в этих своих песнях не щадил и себя тоже:

...Я пою под закуску
и две тысячи грамм.

Спину вялую сгорбя,
Я ж не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу!..

Какой беспощадный автопортрет! И какой – в этой своей беспощадности – точный! Саша был – красавец, гренадерского роста. Но при этом у него и в самом деле была какая-то – увы, совсем не гренадерская – вялая, сгорбленная спина. Но эта «самокритичная» деталь – ничто в сравнении с беспощадной иронией строк о «гражданских скорбях», которые он «сервирует к столу».

Это уже никакой не эпос, а самая настоящая лирика. Как у Некрасова, у которого меня всегда – больше, чем «Парадный подъезд», «Железная дорога» и «Кому на Руси жить хорошо», – трогало именно вот это его лирические «самоедство»:

Я дворянскому нашему роду
Чести лирой своей не стяжал.
Я таким же далеким народу
Умираю, как жить начинал.

Кстати, в Сашиних песнях мне постоянно слышалась откровенная переключка с Некрасовым. Концовка одной из самых моих любимых – «Как пить на троих» – была, как мне казалась, прямым ответом на хрестоматийное некрасовское: «Ты проснешься ль, исполненный сил?!»:

Куется ему награда.
Готовит харчи Нарпит.
Не трожьте его! Не надо!
Пускай человек поспит!..

Ну а что касается дворянского некрасовского самобичевания («Я таким же далеким народу умираю, как жить начинал...»), то оно стало у Саши едва ли не главной его лирической темой. По сути – лирической, но, в соответствии с природой его дарования, вылившейся в сугубо эпическую форму:

Все завидовали мне: «Эко денег!»
Был загадкой я для старцев и стариц.
Говорили про меня: «Академик!»
Говорили: «Генерал-иностранец!»...

Доминошники стучали в запале,
Привалившись к покорёбанной пальме;
Старцы в чесанках с галошами спали
Прямо в холле, как в общественной спальне.

Я неслышно проходил: «Англичанин!»
Я козла не забивал: «Академик!»
И звонки мои в Москву обличали:
«Эко денег у него, эко денег!»

И казалось мне, что вздор этот вечен,
Неподвижен, словно солнце в зените...
И когда я говорил: «Добрый вечер!»,
Отвечали старики: «Извините».

И кивали, как глухие глухому,
Улыбаясь не губами, а краем:
«Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому,
Но как надо, извините, не знаем...»

Песня называлась: «Баллада о стариках и старухах, с которыми я вместе жил и лечился в санатории областного совета профсоюза в 110 км от Москвы». И Саша клялся, что ничего в ней не придумал, всё было в точности так, как он это описал, – один к одному.

Однажды даже он припомнил такую занятную подробность. В этот «санаторий областного совета профсоюза» приехали как-то из Москвы навестить его друзья. И был среди них – молодой полковник, то ли друг этих Сашиных гостей, то ли родственник. И вот – проходя через этот самый холл, где «старцы в чесанках с галошами спали, как в общественной спальне», – Саша вдруг хлопнул себя по карману пиджака и с огорчением убедился, что забыл у себя в номере сигареты. И тут этот полковник – высоченный красавец в серой каракулевой полковничьей папаше – быстро подхватился, рысью вер-

нулся в Сашин номер и через минуту, слегка запыхавшись, принес Саше его сигареты. Ну и тут уж, понятно, у всех, кто оказался свидетелем этой сцены, а также у тех, кто её свидетелями не был, но кому о ней потом, безусловно, рассказали, – совсем уже не осталось никаких сомнений, что странный этот человек, который ни в кино не ходит, ни козла не забывает, конечно же, то ли академик, то ли генерал-иностранец, а вернее всего – и академик, и генерал, и иностранец, и Бог его знает, кто он там еще, если полковники у него на побегушках.

Как я уже сказал, эта Сашина песня была – из самых моих любимых.

Но конец ее мне не нравился:

Я твердил им в их мохнатые уши,
В перекурах за сортирную дверью:
«Я такой же, как и вы, только хуже!»
И поддакивали старцы, не веря.

И в кино я не ходил: «Ясно, немец!»
И на танцах не бывал: «Академик!»
И в палатке я купил чай и перец:
«Эко денег у него, эко денег!»

Ну, и ладно, и не надо о славе...
Смерть подарит нам бубенчики славы!
А живем мы в этом мире послами
Не имеющей названья державы...

Раздражала меня своим фальшивым пафосом и эта последняя, заключительная строфа. Но строчка: «Я такой же, как вы, только хуже!» – приводила меня просто в бешенство.

– Что такое?! – заходился я. – Чем это, интересно знать, ты их хуже?!..

– Ну, если я так чувствую... – защищался Саша.

И каждый раз на том же самом месте я заводился с пол-оборота:

– Тоже мне, кающийся дворянин! Он, видите ли, так чувствует... Да неужели ты не понимаешь, что эта лошадь уже сто

лет как кончилась! Давно уже никто никому ничего не должен!
Хватит! Поквитались!

И начинался тот нескончаемый, вечный русский разговор-спор, составлявший главное содержание и главный смысл всех тех наших тогдашних кухонных посиделок:

Чай да сахар, да пища духовная,
Но еще с назапамятных пор
Найпервейшее дело кухонное –
Это русский ночной разговор,
Где всё время по нитке таинственной,
От какого угла ни начни,
Всё сведется к той теме единственной,
Словно к свечке, горящей в ночи:

– Россия, мать чудная!
Куда? откуда? как?
Томление непробудное,
Рывки из мрака в мрак...
Труднее и извилистей
Найдутся ли пути?
Да как же: столько вынести
И сызнава нести!

О «черные маруси»!
О Потьма и Дальстрой!
О Господи Иисусе!
О Александр Второй!
Который век бессонная
Кухонная стряпня...

И я там был,
Мед пиво пил,
И корм пошел в коня.

Эти строки певца московских кухонь Юлия Кима я переписываю и повторяю как свои. Ведь я тоже «там был», и окармливался той же кухонной стряпней, и корм тот – и в моем случае, надеюсь, тоже – пошел в коня.

Разве только, точности ради, тут надо добавить, что мои

(наши) кухонные посиделки не всегда происходили в кухнях. Что ни говори, а «десять метров на сто человек» – это все-таки метафора. И поэтому из кухни часто приходилось перебираться в гостиную. Но и в гостиных наших (если это слово из иного быта и иного лексического ряда вообще применимо к нашим тесным заставленным комнатам) царила та же кухонная атмосфера. Сдвигались разнокалиберные столы – к столовому приставлялся кухонный, а порой даже и письменный, с которого сгребались и складывались прямо на пол, в углу, все бумаги хозяина квартиры – и повседневная какая-нибудь халтура, и драгоценная, втайне от друзей сочиняемая им «нетленка». Одалживались у соседей недостающие стулья и табуретки (их все равно не хватало). А тарелки, ножи и вилки – тоже с бору по сосенке – гости, живущие поблизости, приносили с собой.

Да, Блок, презрительно сказавший про отгремевший девятнадцатый, что это был «век не салонов, а гостиных», явно имел в виду другие гостиные. Не такие, как наши. Ну а уж о салонах и говорить нечего: откуда в наш век и в нашей стране могли явиться на свет салоны?

Однако – представьте! – были в моей жизни и салоны.

Конечно, они были совсем не похожи на те, где Пушкин и Грибоедов сживали за одним столом с Булгариным и Гречем. Но тем не менее – с поправкой на время и место действия – это были самые что ни на есть настоящие литературные салоны.

Первым из них – а может быть, даже и единственным, заслуживающим этого наименования, – был **салон Лили Юрьевны Брик**.

2

В первой книге своих воспоминаний я рассказал, как в 15 лет влюбился в свою одноклассницу, которая объявила мне, что может полюбить только верного сына коммунистической партии, а я, наверно, организую какую-нибудь другую, свою партию. Рассказал и о том, чем кончился этот наш детский роман: в конце концов эта девочка стала моей женой.

Всё именно так и было. Но сейчас я должен сделать одно признание: та девочка была не первой моей любовью.

всю жизнь самыми моими любимыми, но и в женщину, ставшую, как я уже сказал, первой моей любовью.

Впрочем, в этой моей любви трудно было отделить одно от другого. Трудно – и даже невозможно – было провести границу, отделяющую мою потрясенность его стихами, посвященными Лиле, от мгновенно вспыхнувшей влюбленности в ту, которой эти стихи были посвящены.

Все стихи Маяковского, которые я любил, были о любви. И все они были о любви – к ней, к Лиле. Но было среди них одно, которое сразу заслонило все другие. С первого чтения оно навсегда врезалось в мою память: и сегодня, шестьдесят лет спустя, я могу повторить его от первой строчки до последней, и не собою, не ошибусь ни в одном слове, ни в одном звуке, хотя с тех пор ни разу его не перечитывал: зачем мне было его перечитывать, если оно всегда было со мной, во мне, если оно сразу впечаталось в мою память с такой силой, «как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, его вели нарезом по сердцу моему».

Стихотворение это называлось: «Лиличка. Вместо письма.»

Сейчас я думаю, пытаюсь понять: чем оно так меня поразило?

Ну, во-первых, наверно, тем, что оно – как никакое другое – соответствовало тогдашним моим переживаниям.

Мои отношения с моей возлюбленной (не воображаемой, а – реальной, земной) были мучительны. Мы то ссорились, то мирились. То нас манила «страсть к разрывам», то – с новой силой кидало друг к другу. Я был убежден: то, что делается с нами, происходит впервые в мире, – ничего похожего не было и не могло быть никогда и ни с кем. И вдруг я узнал, что у Маяковского с его Лилей было то же самое. Ну, не совсем то же самое – стократ сильнее, наверно, но – похожее:

... Помнишь?
За этим окном впервые
руки твои
исступленный
гладил.
Сегодня сидишь вот –
сердце в железе...
День еще – выгонишь,
может быть, изругав...

В мутной передней
долго не влезет,
сломанная дрожью
рука
в рукав.
Выбегу
тело в улицу брошу я
дикий
обезумлюсь, отчаянием иссечась...
Не надо этого!
Дорогая!
Хорошая!
Дай простимся сейчас...
Все равно любовь моя
тяжкая гирия ведь
висит на тебе,
куда ни бежала б...

Моя любовь тоже была тяжкой гирей, от которой мне некуда было деться. И меня мучила моя зависимость от нее. В этой зависимости было что-то унижительное, стыдное. Как мне казалось – недостойное мужчины. И вот из стихотворения Маяковского я узнал, что это – ничуть не стыдно! Во всяком случае, он – ничуть не стыдился этой своей зависимости:

... у меня кроме любви твоей нету солнца,
А я не знаю, где ты и с кем...

Примерно в это же время попала мне в руки книга: «Маяковский. Материалы и исследования». (Всё, что ни попадалось мне тогда о Маяковском, я хватал с жадностью. А библиотека в том городе, куда нас занесло войной, – я уже говорил об этом, – была замечательная.) В этой книге было напечатано несколько писем Маяковского к Лиле. А одно письмо, воспроизведенное факсимильно, было даже в нее вклеено. Я тогда не подозревал, что письмо, написанное от руки на тетрадном листке «в линейчку», можно воспроизвести типографским способом так точно, что оно будет выглядеть совсем как настоящее. И мне показалось, что оно и в самом деле настоящее. Себя я,

может быть, в полной мере в этом не убедил. Но всех тогдашних своих друзей-приятелей, кажется, заставил в это поверить. Осторожно отклеив письмо и вынув его из книги (это было нетрудно: клей высох, и оно чуть ли не само из нее выпало) я показывал его своим друзьям «перфектуристам», сочинив какую-то туманную историю о довоенном своем (не совсем личном, через кого-то) знакомстве с Лилей Брик и о том, что это письмо она мне, узнав, как я люблю Маяковского, тоже через кого-то передала – подарила.

Не знаю, поверили мои друзья-«перфектуристы» в эту историю или не поверили, но сам я, кажется, потихоньку уже начинал в нее верить.

Но не меньшее впечатление, чем это факсимильное, вклеенное, казавшееся мне настоящим, произвели на меня тогда и все другие письма Маяковского к Лиле, напечатанные в той книге обычным, типографским способом.

В них была та же горящая лава, тот же вулканический сплав горя, отчаяния, тоски и нежности, который обрушился на меня в стихотворении «Лиличка. Вместо письма». Но даже в тех письмах, где не было ни горя, ни отчаяния, ни тоски, а одно только нежное любовное сюсюканье, я прямо-таки физически ощущал, какой необыкновенной, какой непохожей на всё, что приходилось мне раньше читать и слышать о любви мужчины к женщине, была любовь Маяковского к его Лиле.

Это было видно уже в самих его обращениях к ней:

Дорогое ослепительное и родное солнышко Лисик.
Скучаю по тебе очень страшно!

Дорогой, дорогой родной любимый и милый Кис.

Милый и родной Детик.

Дорогой дорогой, милый родной и любимый кисячий детик лис.

Дорогой родной любимый личик.

Это интимное щенячье сюсюканье ничуть меня не шокировало. Я уже не мог отделить его от того потока расплавленной

магмы, которым представились мне все посвященные Лиле его стихи.

Я только думал: какой же она должна быть – эта женщина, вызвавшая к жизни такие необыкновенные стихи и такие необыкновенные письма?

Я даже не знал, жива ли она. И конечно же, и думать не думал, что каких-нибудь двадцать лет спустя (сегодня этот срок кажется мне совсем небольшим) буду запросто ходить к ней в гости, пить чай, разговаривать... Что она будет дарить нам свои фотографии – и не только нам с женой, но и нашему псу Бульке, названному так в память об их с Володей любимой собаке.

* * *

Впервые – вблизи – я увидел Лилу Юрьевну у Бориса Слуцкого.

Это было, когда его скитания по чужим домам и снимаемым углам уже кончились: теперь у него было наконец свое жилье. Но приехали мы с женой сперва не к нему, а к давнему нашему другу Грише Бакланову. Они со Слуцким получили тогда одну трехкомнатную квартиру: семье Баклановых достались две комнаты, а холостяку Слуцкому – одна. (Отдельной квартиры ни Гриша, довольно уже известный прозаик, ни Борис, уже знаменитый в то время поэт, у Союза писателей не заслужили: чтобы разделить, им обоим предстояла еще долгая череда мучительных и дорогостоящих квартирообменов.)

Свое новое – впервые собственное! – жилье Борис демонстрировал нам с нескрываемым удовольствием.

– Принцип такой, – объявил он, когда мы вошли в его еще полупустую комнату. – Живопись новая, мебель старая.

Живописи на стенах не было никакой: только репродукция знаменитой и довольно уродливой, как мне тогда показалось картины Пикассо. А из мебели, как говорит гоголевская сваха про одного из рекомендуемых ею женихов – Балтазара Балтазаровича Жвакина, – «Не прогневайся, одна только трубка и стоит, больше ничего нет».

Трубки у Бориса, правда, никакой не было, но с мебелью у него дело обстояло немногим лучше, чем у Балтазара Балтаза-

ровича. У одной стены расположились довольно обшарпанные книжные полки, а в углу приютился не слишком большой и тоже старый, я бы даже сказал, ветхий, разошедшийся платяной шкаф.

О полках Борис с важностью сообщил, что они достались ему от Бориса Горбатова, а про шкаф, что ему его подарила Лилия Юрьевна Брик..

Вошедший вместе с нами в Борисовы хоромы Гриша Бакланов тут же повел на этот шкаф атаку. Сказал, что готов оплатить полную его стоимость и перевозку в комиссионный магазин, только бы Борис согласился от него избавиться: он боялся клопов. Давно и хорошо зная Гришу, я не сомневался, что предложение это, несмотря на юмористический тон, было сделано на полном серьезе. Но Борис отнесся к нему как к глупой и не заслуживающей обсуждения шутке.

Направляясь в гости к Баклановым, мы не знали, что его соседом по новой квартире стал Слуцкий. Непредвиденная встреча с Борисом стала для нас «нечаянной радостью», и мы в пустой его комнате – не помню даже, были ли в ней стулья – задержались чуть дольше, чем того требовали приличия. И оставались бы там еще, если бы Гриша наконец не возмутился:

– Вы к кому пришли? К нему или к нам?

Слуцкий милостиво отпустил нас, взяв с меня обещание, что на днях я непременно к нему приеду. Уже не к Бакланову, а именно к нему.

Обещание это я выполнил, и вот тут-то и случилась моя первая встреча с Лилей Юрьевной.

Когда я вошел, она уже уходила. Боря нас познакомил. Со знание, что предо мной – ОНА, женщина моей мечты, ввергло меня в такое смущение, что я думал только о том, как бы мне это мое смущение скрыть. И не нашел ничего лучшего, как кинуть ей с этакой нарочитой развязностью:

– А-а, так это вы подарили Боре этот замечательный шкаф?

– А он вам не нравится? – удивленно спросила она.

И это было все.

Больше о той первой встрече с ЖЕНЩИНОЙ МОЕЙ МЕЧТЫ я ничего не помню.

Вряд ли, конечно, это можно было считать настоящим

знакомством. Я и не считал. И по-прежнему думать не думал, что это ненастоящее знакомство будет иметь продолжение. Да и не больно к нему стремился. Та Лиля Брик, в которую я когда-то был влюблен, по-прежнему оставалась для меня неким бесплотным видением, обитающем в каких-то неведомых мне мирах. Она не имела решительно ничего общего с этой сегодняшней – уже очень немолодой – женщиной, с которой я столкнулся у Бори. Хотя что-то от той – моей – Лили вроде промелькнуло в полуулыбке, с которой она отреагировала на мою реплику о подаренном Борису шкафе. И в этом – слегка удивленном – ее вопросе: «Он вам не нравится?»

А по-настоящему познакомил нас с Лилей Юрьевой – и даже не просто познакомил, а ввел к ней в дом – наш друг Миша Львовский.

Он был одним из последних осколков той тесной компании поэтов, которых она узнала и полюбила давно, когда еще жив был Осип Максимович.

Сейчас их имена прочно вписаны в историю русской поэзии XX века, а тогда они были молоды и безвестны. Но Лиля полюбила их дерзкие юношеские стихи, поверила в их славное будущее и опекала их, поддерживала, и так вышло, что еще с той далекой, довоенной поры они стали для нее своими, близкими людьми.

Их было шестеро. Это зафиксировано документально.

Однажды Миша с гордостью показал мне книгу Бориса Слуцкого «Память» (первую и, может быть, лучшую его книжку) с такой дарственной надписью:

Михаилу Львовскому – одной шестой той компании, которая несколько изменила ход развития советской поэзии. От другой одной шестой, на память об остальных четырех.

А назвал и поименно перечислил всех шестерых Давид Самойлов в своих «Памятных записках»:

Осенью 1939 года, сразу же после знакомства, сбилась наша поэтическая компания из шести человек: Михаил Кульчиц-

кий, Павел Коган, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Михаил Львовский и я.

Часто собирались у Когана в каморке за кухней, у меня. До поздней ночи читали и обсуждали стихи, строили планы... Жаль, что не осталось четких формул Слуцкого, энергичных речей Когана, воспарений Наровчатова, тончайших анализов Львовского...

Пути и судьбы членов этого братства сложились по-разному. Как сказал в одной из своих песен Галич – «Уходят, уходят, уходят друзья... Одни в никуда, другие в князья...»

Михаил Кульчицкий и Павел Коган ушли «в никуда» (не вернулись с войны), Сергей Наровчатов – «в князья». Он сам лучше, чем кто другой, сказал о причинах этого своего выбора:

Потому что зло и окаянно
Я сумы боялся и тюрьмы.
Зная откровенья Иоанна,
Жил я по Евангелию Фомы...

Миша Львовский поэзии не изменил (об этом я потом еще скажу подробнее), но официальный статус поэта – в отличие от двух более удачливых своих друзей Слуцкого и Самойлова – не сохранил. Он ушел – «в драматурги».

Случилось это так.

Когда кончилась война, демобилизовавшись из армии, Миша устроился на работу на радио.

И вот однажды шел он на работу и остановился у газетного стенда, взглянуть, что нынче интересного пишут в газетах. И прочел леденящее душу сообщение, в котором фигурировала «известная американская шпионка Анна Луиза Стронг». Сообщение это ошеломило Мишу совсем не потому, что его потрясло коварство неведомой ему Анны Луизы. Сенсациями такого рода в те годы (последние годы жизни Сталина) нас было не удивить: мир вокруг нас кишел разоблаченными шпионами, среди которых были люди куда более знаменитые, чем пресловутая Анна Луиза. Скорее уж удивить Мишу могла неко-

торая несообразность газетного сообщения, заключавшаяся в том, что Анна Луиза, если исходить из точного смысла прочитанной им фразы, была широко известна как шпионка задолго до своего разоблачения. Не совсем понятно было в этом случае, что же, собственно, мешало разоблачить ее раньше. Но об этих стилистических тонкостях Миша тогда тоже не задумался. Поразило его до глубины души в этой газетной заметке совсем другое.

Среди разоблаченных в шпионаже сотрудников американского посольства упоминался его родной дядя.

Встречались они нечасто. Но Миша знал, что тот и в самом деле работает в посольстве Соединенных Штатов Америки. У него даже был с ним на эту тему однажды весьма примечательный разговор. Встретившись с ним как-то на улице и узнав, что он устроился на работу (по какой-то там хозяйственной части) ни больше ни меньше, как в посольство враждебной нам супердержавы, Миша очень этому удивился, на что дядя, многозначительно подмигнув, сказал: «Так надо!».

И вот теперь этот дядя оказался американским шпионом.

Придя на работу, Миша сразу же, не заходя в свою редакцию, направился к председателю Радиокomiteта. Тот, вопреки Мишиным опасениям, сразу его принял.

Усевшись напротив высокого начальства, Миша осведомился, успел ли уже министр прочесть сегодняшней номер «Правды». Тот сказал, что да, конечно, он всегда начинает с этого свой день. Тогда Миша спросил, обратил ли внимание министр на ту самую заметку. Министр подтвердил, что да, обратил.

– Но вы, вероятно, не придали особого значения тому, что в этом сообщении упоминается некто...

Миша назвал фамилию своего дяди. Сейчас я ее уже не вспомню: запомнилось мне только, что это была ничем не примечательная, самая обыкновенная еврейская фамилия. Допустим – «Ройтман».

Министр насторожился. Развернув газету, он нашел упомянутую фамилию и на всякий случай подчеркнул ее красным карандашом.

– Дело в том, что это мой дядя, – объяснил Миша. И доба-

вил: – Пусть вас не смущает, что у нас с ним разные фамилии. Ройтман – это фамилия моей мамы.

Министр, встав из-за стола, торжественно поблагодарил Мишу за важное сообщение, пожал и даже слегка потряс его руку. После чего успокоенный Миша отправился в свою редакцию.

Там уже висел приказ о его увольнении.

Когда раздавленный всеми этими событиями Миша вернулся домой, на него обрушился шквал телефонных звонков. Звонили родственники – близкие и не очень близкие: их всех тоже уволили. И все они почему-то обвиняли в этом Мишу.

И начались для Миши жуткие дни. Он сидел дома и ждал ареста. Томительно тянулись сутки, часы, минуты. Но дело почему-то застопорилось. А Миша, надо сказать, был человек очень впечатлительный. Даже нервный. И он не выдержал. И в один прекрасный день сам отправился на Лубянку. Точнее – на Кузнецкий, в приемную МГБ. Пусть уж лучше, решил он, меня наконец возьмут, чем эта проклятая неизвестность.

Как только он заикнулся о причинах своего визита, его – без всякой волокиты – принял какой-то эмгебешный чин. Спокойно выслушав душераздирающий Мишин рассказ, он спросил:

– Простите, я не совсем понял: кто сообщил по месту вашей работы, что арестованный органами безопасности гражданин Ройтман ваш дядя?

– Я, – сказал Миша.

– Вот именно, – сказал эмгебешник. – А мы не сообщали. Не сочли, так сказать, необходимым. А должен вам сказать, что в некоторых случаях мы о таких фактах сообщаем...

Так Миша и ушел ни с чем. И так его и не посадили. А поскольку на штатную работу после этого ему устроиться уже не удалось, он стал сочинять пьесы и киносценарии, надеясь, что когда-нибудь, когда ситуация переменится к лучшему, он опять вернется на радио или найдет еще какую-нибудь штатную работу. Но к тому времени, когда ситуация изменилась, он был уже известным драматургом. Его пьесы с успехом шли в разных театрах, по его сценариям снимались фильмы, удостаивавшиеся разных высоких премий, и устраиваться на штатную работу ему было уже ни к чему.

Одной этой истории было бы, наверно, довольно, чтобы

дать, пусть не полное, но достаточно ясное представление о том, что за человек был Миша Львовский. Но не могу удержаться еще от одной – из тех, что он сам охотно – разумеется, «в тоне юмора» – о себе рассказывал.

Миша был человек очень мнительный. При любом, самом пустяковом недомогании ему рисовались разные жуткие картины, мерещились всевозможные варианты самых ужасных, опасных для жизни осложнений.

И вот однажды понадобилось ему удалить зуб.

О том, чтобы доверить эту процедуру врачам нашей литфондовой поликлиники, разумеется, не могло быть и речи. Внесут инфекцию. Сделается гангрена, сепсис, мало ли что еще – такие случаи уже бывали... И вот – по большому благу, при посредстве разных влиятельных знакомых – направили Мишу к какому-то зубохирургу светилу.

Профессор назначил ему день и час. Миша явился точно вовремя. Его встретила молоденькая девушка, то ли медсестра, то ли практикантка... Сам маэстро выглянул на секунду, сухо Мише кивнул, дал девице короткие указания и скрылся в недрах своего кабинета. Девица усадила Мишу в зубохирургическое кресло и стала как-то нерешительно перебирать инструменты. Появился профессор.

– Ну? – сказал он. – Почему замешкалась?

Девица вполголоса что-то ему сказала.

– Пустяки, – возразил он. – Ничего сложного... Смелее! Этак ты никогда ничему не научишься...

И опять удалился.

Девица наложила щипцы на обреченный зуб. Что-то хрустнуло. Боль, – рассказывал потом Миша, – была адская. Отломив верхнюю часть зуба, практикантка долго возилась с корнями. Их было целых три. Она их долбила, потом выдирала каждый по отдельности. Продолжалось это довольно долго. А когда вся эта мучительная процедура была наконец завершена, она уложила полуживого Мишу на кушетку и велела лежать минут двадцать, не двигаясь.

Но долго отлеживаться и приходить в себя Мише не пришлось. Минуты через три вновь появился профессор. Взглянув на часы, он сказал:

– Ну, ладно. Заканчивайте. Ко мне сейчас писатель должен прийти. Я ему назначил на одиннадцать, но он что-то задерживается.

С трудом поднявшись на ноги, Миша пролепетал какие-то вежливые благодарственные слова и поплелся домой. Объяснять профессору, что он как раз и есть тот самый писатель, которому было назначено на одиннадцать, он не стал.

Я без труда мог бы вспомнить еще несколько таких сюжетов из Мишиных устных мемуаров, но и этих вполне достаточно, чтобы вы поняли, что по складу своего характера Миша был слегка сродни чеховскому Епиходову.

Добавлю только, что это епиходовское невезенье не только вызвало к жизни разнообразные комические (а иногда и трагикомические) Мишины житейские неудачи, но наложило довольно сильный отпечаток и на литературную его судьбу.

Нет, по части официального признания у него все было в порядке.

Пьесы его имели шумный успех. По его сценариям было поставлено около десятка фильмов. Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии. Но лауреатов Государственных премий у нас – тьма-тьмушая, заслуженных деятелей искусств и того больше. А у Миши был и настоящий, не только официальный успех: некоторые его песни (а он написал их около трехсот) были шлягерами: «Глобус крутится, вертится...», «Вот солдаты идут...» А одна из них – самая знаменитая – удостоилась особой чести: она стала **народной**. Не потому, что ей официально присвоили такое звание, а потому что именно в таком качестве она вошла в сознание тех, кто ее знал и помнил. И публикуя ее в печати – а такое иногда тоже случалось, – о ней так и писали: «Слова народные».

Вот они, эти – ставшие народными – слова:

На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется – перрон останется,
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные...

Одна в окошечко гляжу не грустно я
И только корочка в руке арбузная,
Ну что с девчонкою такое станется!
Вагончик тронется – перрон останется.

Начнет выпытывать купе курящее
Про мое прошлое и настоящее,
Навру с три короба – пусть удивляются,
С кем распрощалась я, их не касается.

Откроет душу мне матрос в тельняшечке,
Как одиноко жить ему бедняжечке,
Сойдет на станции и не оглянется,
Вагончик тронется – перрон останется...

С одной стороны, Миша, конечно, был рад, что его песня стала народной. Но в то же время и огорчился.

Огорчало его не то, что люди пели эту его песню, не запомнив и даже не желая знать имя ее автора. Это бы еще куда ни шло: так бывало со многими даже более знаменитыми песенными текстами. Но он никак не мог смириться с тем, что ее автором постоянно называли кого-нибудь другого. Как правило – Высоцкого, который нередко пел ее вместе со своими.

И вот однажды недоразумение это наконец должно было выясниться. Справедливость должна была восторжествовать.

На телевидении готовилась большая передача о песнях Высоцкого, и в качестве одного из ее участников был приглашен Миша. По замыслу сценариста он должен был рассказать о том, как родилась эта его песня, и как вышло, что Высоцкий стал петь ее вместе со своими.

Миша долго готовился к этому выступлению. Колебался, боялся показаться нескромным, мелочно тщеславным, но утвердиться в качестве истинного автора знаменитой песни ему все-таки хотелось. В общем, поехал на студию, его рассказ записали. Но когда фильм вышел на телеэкран, Миши в нем не оказалось. В последний момент кто-то – то ли режиссер, то ли какой-то телевизионный начальник – решил этот эпизод вырезать. И Высоцкий снова пел эту Мишину песню как свою. А Миша в очередной раз выступил в постоянной своей роли чеховского Епиходова.

Предыстория моя затянулась – надо бы все-таки не уходить так далеко от основной линии сюжета. Но чтобы подойти к рассказу о том, как и почему Миша ввел нас в дом Лили Юрьевны Брик, мне не миновать еще одной предыстории, тоже не такой уж короткой.

В середине 60-х мы с Мишей были членами редколлегии одной из студий Мосфильма. После какой-то из постоянно проходивших реформ и реорганизаций Мосфильм был разделен тогда на шесть таких студий – они назывались Объединениями. И вот в одном из таких Объединений в роли ученых евреев при губернаторе подвизались и мы с Мишей.

Наше Объединение называлось «Юность», и фильмы, которые у нас снимались, предназначались как бы для юношества. Сегодня без этого словосочетания «как бы» у нас не обходится ни одна реплика: это – постоянно мелькающий в речи современников языковой сорняк. Но я это свое «как бы» написал сознательно, со смыслом. Фильмы, выпускавшиеся в нашем Объединении, и в самом деле предназначались КАК БЫ для юного зрителя. А на самом деле – для любого. Достаточно сказать, что именно у нас, в нашем Объединении, были созданы такие «хиты» тогдашнего киноэкрана, как – «Гори, гори, моя звезда...» Митты, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чучело» Роллана Быкова.

Но это всё – позже.

А в то время, о котором я рассказываю, у нас снималась «Анна Каренина» и готовился к съемке фильм о Чернышевском.

Автором сценариев и того и другого фильма был Василий Абгарович Катанян – последний, не помню уже, какой по счету (очень постаравшись, мог бы и подсчитать), муж Лили Юрьевны Брик.

Василий Абгарович был опытный и высокообразованный литератор. Но драматург – никакой. И доводить оба эти сценария до соответствующей кондиции ему помогал Миша. Делал он это совершенно бескорыстно, отчасти из-за давней привязанности к семейству Бриков, а отчасти, спасая родное Объединение, увязшее в этих двух «некондиционных» сценариях.

Особенно трудно пришлось ему с «Чернышевским». (С «Анной

Карениной» было проще – там, кроме Василия Абгаровича, был ведь у него еще один соавтор: Лев Николаевич. А тут надо было всё придумывать самому.)

«Анна Каренина» в конце концов была снята и появилась на экранах кинотеатров. А фильм о Чернышевском снят так и не был. Но Миша тут был не виноват: сценарий он сочинил великолепный.

Виноват был главный редактор нашего Объединения – Саша Хмелик.

Саша был человек неординарный, в чем вы сейчас убедитесь.

Сценарий «Чернышевского» уже был запущен в производство. Снимать его должна была Вера Павловна Строева – маститый режиссер и бывшая красавица, что даже и тогда еще было видно. Было ей тогда лет шестьдесят пять, не больше, то есть – не так уж много. Но была она непомерно толста и потому малоподвижна, а главное, показалось мне, что она уже немного «ку-ку». Как потом выяснилось, это было совсем не так, а виноват в том, что у меня возникло такое впечатление, был всё тот же Саша Хмелик.

Дело было, напоминая, в 1965 году. Недавно арестовали Сияевского и Даниэля и со дня на день должен был начаться уже полным ходом готовившийся суд над ними – так называемый «открытый процесс».

И вот – идет худсовет, на котором обсуждается запущенный в производство наш фильм о Чернышевском. Худсовет – это не редколлегия. Это – человек, по меньшей мере, двадцать. И если не каждый третий, так уж каждый пятый из них наверняка стукач. Кто – по штату, кто по должности, а кто-то, может быть, даже и по зову сердца.

И вот, представьте, наш Саша Хмелик, председательствующий на том худсовете, говорит, обращаясь к режиссеру-постановщику Вере Павловне Строевой:

– Прежде всего, Вера Павловна, вы должны понять, что нас – наше Объединение – совершенно не интересует Чернышевский...

Вера Павловна, делая вид, что прекрасно понимает, о чем идет речь, улыбается и кивает.

– Нас, – спокойно продолжает Саша, – интересует ситуация. Коллизия. Так сказать, драматургия.

Вера Павловна кивает: это-то как раз ей понятно: какой же фильм без драматургии.

– А коллизия, – продолжает Саша, – такая. Имеется герой: литературный критик. И имеется передовой, прогрессивный журнал, в котором он печатает свои статьи. Статьи эти, понятное дело, высокому начальству не нравятся. И вот в один прекрасный день этого критика хватают и сажают в тюрьму. Только за то, что он пишет и печатает нечто, не шибко нравящееся начальству. И отправляют на каторгу... Вы меня поняли, Вера Павловна?

Вера Павловна кивает. Да, конечно, она поняла: именно такова главная драматургическая коллизия сценария, по которой ей предстоит поставить фильм.

Но Саша видит, что все эти его – более чем прозрачные – намеки тут не работают.

– В общем, так, Вера Павловна, – говорит он. – Вы должны твердо усвоить, что вся эта древняя история нас совершенно не интересует. Мы хотим сделать живой, современный, актуальный фильм. А это значит, что не Чернышевский должен быть главным его героем, а... Вы поняли меня?..

Вера Павловна хлопает глазами и растерянно улыбается. И тут Саша окончательно срывается с конспиративного тона и заканчивает:

– ...а Синявский и Даниэль!

В последовавшей за этим немой сцене мне ярче всего запомнилась сразу изменившаяся улыбка на некогда прекрасном, да и теперь еще красивом лице Веры Павловны Строевой: из растерянной она превратилась в многозначительную, всё понимающую. Наверняка она подумала, что там, на самом верху, насчет Синявского и Даниэля что-то перерешили. И Саша, как «кавалер и у власти», безусловно про это уже знает. Не могло втиснуться в ее голову, что главный редактор Объединения станет толкать такие речи не в частном порядке, не от себя, а – как лицо официальное, как председательствующий на худсовете, – не получив на этот счет каких-то специальных инструкций, или – на худой конец – каку-то новую, пока еще никому не известную информацию.

Но, как мы теперь знаем, на самом деле там, наверху, ничего не перерешили, суд состоялся, и Синявский и Даниэль получили каждый свой срок. А наш фильм о Чернышевском, разумеется, закрыли.

Но это случилось позже. А к Лиле Юрьевне мы отправились, когда запуск фильма был в самом разгаре.

Саша Хмелик, увлеченный своей идеей сделать не исторический, а современный и даже актуальный фильм, изобретал всё новые и новые – не только сценарные, но и режиссерские решения. Так, например, он предложил Вере Павловне на роли действующих в фильме писателей (Некрасова, Достоевского) попробовать не актеров, а литераторов. Благодаря этому нехитрому приему, полагал он, исторический сюжет фильма будет еще крепче рифмоваться с современностью. Вера Павловна была на всё согласна. На роль Некрасова – редактора передового журнала («Современника»), в котором печатал свои статьи главный герой фильма, она попробовала самого Сашу. А на роль Достоевского – Колю Глазкова.

Саша в роли Некрасова был не больно хорош: он не знал, куда девать руки. Но Вера Павловна сказала, что она с ним поработает и надеется, что с ролью он справится. Зато Коля Глазков в роли Достоевского был великолепен.

Достоевский в фильме должен был появиться только в одном эпизоде. Но эпизод этот был очень важный, пожалуй, даже ключевой. Именно этим эпизодом должен был начинаться будущий фильм, и более крутую и выразительную завязку драмы, которая должна была в нем развернуться, придумать было трудно.

Основой этого эпизода стал известный факт, описанный в мемуарной заметке Н.Г. Чернышевского «Мои свидания с Ф.М. Достоевским». События, о которых идет речь в этой заметке, происходили в самом начале июня 1862 года. Обстановка в Петербурге была тогда крайне напряженная, даже тревожная. Страшные пожары, начавшиеся 16 мая и продолжавшиеся две недели, совпали с появлением прокламации «Молодая Россия». Прокламация эта призывала к беспощадному, полному разрушению социального и политического строя России, истреблению «императорской партии» и царской фамилии.

По городу были пущены слухи о причастности к поджогам революционной студенческой молодежи.

Именно это и побудило Достоевского нанести Николаю Гавриловичу Чернышевскому свой, мягко говоря, экстравагантный визит.

Вот как рассказывает об этом сам Чернышевский:

Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф.М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими».

Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание».

Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения благодарности за то, что по уважению к нему избавлю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город...

Примерно так всё это и происходило на экране. С той только разницей, что зрителю не было ничего известно об обсто-

ятельстввах, предшествовавших этому странному визиту (прокламации, слухи, распространившиеся по городу, и т.п.), отчего вся ситуация становилась еще более драматической и эксцентричной.

Можете теперь представить всю сложность актерской задачи, стоявшей перед Глазковым. Она вполне могла бы оказаться не по плечу и актеру-профессионалу даже самого высокого класса.

Но Глазков-Достоевский был так убедителен, он был так искренне одержим своей «сверхценной» идеей, так естественно сочетались во всем его облике и поведении огромная сложность проделываемой им душевной работы и наивное простодушие, так трогательно верил он в свою миссию, так был естествен, так органичен и по-своему привлекателен, несмотря на очевидное безумие завладевшей им идеи, что совершенно покориł немногих зрителей, сидевших в просмотровом зале. А зрители эти – члены художественного совета, – надо сказать, были люди весьма искушенные в делах актерских и поначалу весьма скептически отнеслись к затее Хмелика, предложившего поручить столь сложную роль непрофессионалу.

Не могу сказать, чтобы Коля в этих кинопробах был так уж похож на Федора Михайловича. По-моему, его почти не гримировали: только борода напоминала о том, кого он изображал. (В жизни Коля, кажется, тогда был еще безбородым.) Но с экрана на нас смотрел живой Достоевский.

Реальный Федор Михайлович, я думаю, выглядел благообразнее, чем Коля в его роли. Но перед нами был не актер, играющий Достоевского, и даже не сам Достоевский, а – живое воплощение самого духа Достоевского, его исключительной нервной энергии, его уникального сознания. И главное, было ощущение, что перед нами человек – совершенно необыкновенный и безусловно гениальный.

Можно ли «сыграть» гениальность?

Не знаю. Вероятно, можно. По крайней мере, мне часто случалось видеть актеров, которые в жизни были не Бог весть какого ума, а играли мыслителей, мудрецов, и в мудрость созданных ими персонажей верилось безусловно.

Но Коля Глазков не играл гениального человека. И он не пытался сыграть необыкновенного человека. Он сам был нео-

быкновенным человеком, поэтому ему только и оставалось быть самим собой. Что он и делал.

В общем, нам с Мишей было что рассказать Лиле Юрьевне, которая к фильму о Чернышевском, как говорил мне Миша, относилась с особым интересом, а от идеи попробовать на роль Достоевского Колю Глазкова была в восторге: Коля тоже был для нее свой человек, она знала и любила его так же давно, как Мишу, Бориса, Дезика и их погибших на фронте друзей.

Разговор о Чернышевском в тот вечер первого нашего настоящего знакомства тоже имел место, и об этом я еще вспомню. Но пожелала Л.Ю. меня увидеть и поближе со мной познакомиться вовсе не из-за Чернышевского и не из-за Мосфильма. Совсем не кино лежало в основе ее интереса к моей персоне.

Хотя – как сказать! – отчасти и кино тоже.

Дело было в том, что я тогда написал и напечатал статью, в которой сопоставлял ошеломивший всех нас фильм Феллини «Восемь с половиной» с поэмой Маяковского «Про это». Миша эту статью подsunул Лиле Юрьевне, и она, прочитав ее, загорелась идеей вдохновить великого итальянца на создание фильма «по Маяковскому», по этой самой его поэме «Про это». Ну, может быть, не совсем по этой поэме, но, во всяком случае, она увидела тут некий повод для возможного содружества двух гениев. Вот об этом-то она и хотела со мной поговорить.

О предстоящем нашем визите к Л.Ю. мы были оповещены заранее, и надо же было так случиться, что утром этого дня мы с женой столкнулись со Слуцким. В это время они с Таней жили уже в нашем микрорайоне, и встретить его на одной из наших улиц было немудрено.

– А мы сегодня идем к Лиле Юрьевне, – тут же сообщила Борису моя жена.

Выслушав, что идем мы к Лиле Юрьевне с Мишей и что этот наш визит к знаменитой женщине будет первым, Борис сказал:

– Значит, так, Слава. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Первое. Прежде, чем что-нибудь сказать, мысленно сосчитайте до ста.

– До десяти, – жалобно попросила жена.

– До ста! – жестко отрубил он. – Второе. Войдя в квартиру, вы скажете: «Лиля Юрьевна, где у вас можно помыть руки?». И третье. В двенадцать часов, сколько бы вам ни говорили, что еще рано, как бы ни уговаривали посидеть еще, вы встанете и уйдете.

Последние два совета жена приняла как руководство к действию, чем сразу расположила к себе хозяйку дома. Что же касается первого Бороного указания, то его выполнить ей было гораздо труднее.

– Ну что? Как фильм? – спросила Лиля Юрьевна, едва мы успели раздеться и обменяться приветствиями.

– Да, расскажите... – тут же включилась в разговор моя жена, уже успевшая не только осведомиться, где ей можно вымыть руки, но и осуществить это ритуальное действие. Послушно выполнив, таким образом, одно из Бороных указаний, она, как видно, решила, что для начала этого хватит, и не дала себе труда мысленно досчитать даже до десяти.

– Расскажите, как там «Анна Каренина»?

Она слышала от меня, что с утверждением Татьяны Самойловой на роль Анны были какие-то сложности (генеральный директор Мосфильма сказал, что не Самойловой, с ее внешностью горняшки, играть аристократку), и решила, что Лиле Юрьевне тоже не терпится узнать, чем кончился этот конфликт. Ну и, конечно, попала пальцем в небо.

– Вот уж что меня совсем не интересует, – пренебрежительно отмахнулась Л.Ю., – так это ваша «Анна Каренина». Я спрашиваю про Чернышевского...

Эту реплику моя жена – слава Богу! – оставила без ответа. То ли вовремя вспомнила совет Слуцкого, то ли просто лишилась дара речи, услышав, что Чернышевский для Л.Ю. интереснее Толстого.

Для меня не было сомнений, что пренебрежительный тон Л.Ю. по отношению к «Анне Карениной» и то явное предпочтение, которое она отдала Чернышевскому перед гениальным творением Льва Толстого, вовсе не свидетельствовали о ее дурном литературном вкусе. Чернышевский был ей интересен не как художник. И не как социальный пророк и мыслитель.

Даже Маяковский говорил, что «жить и любить надо по заветам Чернышевского». Ну а уж Лиля... Тут и говорить нечего! Для нее Чернышевский был прежде всего провозвестник сексуальной свободы, предтеча грядущей (теперь уже не грядущей, а свершившейся) сексуальной революции. В сравнении с радикальными идеями Николая Гавриловича робкий сексуальный бунт толстовской Анны Карениной был просто детским лепетом. А сам Лев Николаевич, сурово осудивший этот ее жалкий бунт и жестоко наказавший свою героиню («Мне отмщение и аз воздам») и вовсе выглядел мракобесом, моральным держимордой, махровым реакционером.

Но не мог же я – тут же, при всех – объяснить всё это моей жене!

Единственное, что я мог сделать, – это кидать на нее время от времени то грозные, то умоляющие взгляды, напоминающие про первый – главный – совет Слуцкого.

Я сразу оценил важность этого совета. Может быть, это была моя ошибка, но двумя другими ни разу даже и не подумал воспользоваться. А что касается первого, то не раз приходило мне в голову, что обратить его Борису следовало не только к моей жене, но и ко мне тоже.

Сколько раз, не просчитав мысленно и до десяти, откликался я торопливым возражением на какую-нибудь реплику Лили Юрьевны. А между тем с ней не спорить надо было, не возражать ей (что толку в возражениях!), а **слушать** ее. Не стремиться к взаимопониманию, а тем более к единомыслию, а, напротив, ловить и отмечать самые неожиданные, парадоксальные, резко не совпадающие с общепринятыми ее высказывания, реплики, суждения. Я не сразу дошел до понимания той простой мысли, что самым интересным в нашем общении с ней были как раз те моменты этого общения, когда она не старалась искать и находить с нами общий язык, а была – собой.

Впрочем, она всегда была собой. Я бы даже сказал так: она **позволяла себе быть такой, какой была**, не думая о том, как это выглядит со стороны и какое впечатление может произвести на окружающих.

Стол, за которым мы ужинали, был уставлен старинными – редкой красоты – штофами, графинами и бокалами, а чай мы

пили из изысканных, тоже очень красивых чашечек тончайшего фарфора. И тут же, рядом, – на буфете, на комодe, где-то еще – во множестве громоздились какие-то аляповатые глиняные маслѐнки, редкого, как мне показалось, уродства. Лиля Юрьевна небрежно заметила, что когда-то увлеклась ими и собрала целую коллекцию этих уродцев.

На стенах комнаты, где нас принимали, висели дивные картины Пиросмани – не репродукции какие-нибудь, не копии – подлинники. В соседней комнате, которую нам тоже показали, – портреты хозяйки дома: Тышлер, Штеренберг. А над столом, за которым мы сидели, прямо напротив меня, вся стена была увешана жостовскими подносами. Сами по себе они были, наверно, хороши, но с Пиросмани и Тышлером, как мне показалось, не больно гармонировали. А ей это было не важно. Нравились они ей, эти жостовские подносы, – и всё! И плевать ей было, гармонировают они с Пиросмани и Тышлером или не гармонировают. Так же как плевать ей было на то, как сочетаются любимые ее уродливые глиняные маслѐнки с изысканными старинными штофами и бокалами.

И вот так же, совершенно не думая о том, какое впечатление это может произвести на окружающих, рассказывая о своем телефонном разговоре с Пастернаком в самые страшные дни всенародной его травли (тронутый ее искренним сочувствием, он разрыдался), она могла вдруг бросить задумчиво, словно отвечая каким-то своим мыслям:

– В эти последние свои годы Боря совсем одичал.

А когда я прочел однажды ей и Василию Абгаровичу небольшой отрывок из своего «Случая Мандельштама» (прочел только потому, что в том отрывке было много о Маяковском), она – очень простодушно – спросила:

– Вы в самом деле считаете Мандельштама большим поэтом?

И так же простодушно сообщила, что они с Осей и Володей и в грош его не ставили.

– Бывало, как заведет: «Над желтизно-ой правительственных здааний...»... Мы его называли: «Мраморная муха».

– А вот Катаев, – не удержался я, – пишет, что Маяковский Мандельштамом восхищался.

И напомнил эпизод из катаевской «Травы забвенья», в котором подробно, с сочными катаевскими деталями описывалась встреча Маяковского с Мандельштамом в каком-то гастрономическом магазине:

Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама:

– «Россия, Лета, Лорелея».

А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: «А? Каковы стихи? Гениально!»

– Да разве можно верить Катаеву? – сказал на это Василий Абгарович.

И добавил, что главная неправда катаевской «Травы забвенья» даже не в количестве в ней разного фактического вранья, а прежде всего в том, как нагло автор этого сочинения преувеличивает степень своей близости с Маяковским.

– Он был нам чужой, совсем чужой, – сказала Лиля. – Его пьесы шли во МХАТе!

Последняя фраза этой реплики прозвучала так, словно отдавать свои пьесы МХАТу было для писателя в те времена самой низкой степенью художественного падения.

На самом деле, однако, это был знак только чуждости, а отнюдь не низкого художественного качества катаевских пьес. По части художественности Л.Ю. ко МХАТу никаких претензий не имела. Просто у них была своя компания, а у тех, чьи пьесы шли во МХАТе, – своя.

Я уже рассказывал, как Боря Слуцкий однажды сказал мне:

– Вчера я был у Митурича. И можете себе представить? Оказалось, что за тридцать лет я был первым футуристом, который его навестил.

Эта реплика Бориса не случайно вызвала у меня юмористическую реакцию. На самом деле никаким футуристом Борис быть, конечно, не мог – это было просто смешно.

Но Василий Абгарович и Лиля Юрьевна футуристами бы-

ли. Не самозванцами какими-нибудь, а самыми что ни на есть настоящими, последними футуристами-лефовцами.

И салон у Лили Юрьевны – если уж называть его салоном – был не просто литературным, а именно лефовским, футуристическим.

Поэтов здесь ценили не по официальной советской табели о рангах и не по какому-нибудь там Гамбургскому счету, а именно вот по этой – футуристической, лефовской шкале ценностей. И потому рядом с ее любимым Слуцким в сознании Л.Ю. стояли не Самойлов или, скажем, Окуджава, а – Вознесенский и Соснора.

Однажды Л.Ю. рассказала нам о своей давней ссоре с Виктором Борисовичем Шкловским.

Не помню, то ли это было какое-то заседание редколлегии «Нового ЛЕФа», то ли просто собрались друзья и единомышленники. Происходило это в Гендриковом, на квартире Маяковского и Бриков.

Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое-то замечание высказала и она.

– И тут, – рассказывала Лиля Юрьевна, – Витя вдруг ужасно покраснел и выкрикнул: «Хозяйка должна разливать чай!»

– И что же вы? – спросил я.

– Я заплакала, – сказала она. – И тогда Володя выгнал Витю из дома. И из Лефа.

Рассказывала Л.Ю. про эту их старую ссору в середине 60-х, в самый разгар бешеной кампании, которую вели против нее в печати два сукиных сына – конечно, с соизволения или даже по прямому указанию самого высокого начальства.

Кампания эта к тому времени продолжалась уже несколько лет. Вообще-то, началом ее надо считать выход 65-го тома «Литературного наследства» – «Новое о Маяковском». Издание это было осуждено специальной комиссией ЦК. Особый гнев начальства вызвала опубликованная в томе переписка Маяковского с Лилей Юрьевной.

Вот с этого и началась длящаяся годами, то затихающая, то с новой силой вспыхивающая травля Л.Ю. в печати.

Виктор Борисович в этой ситуации повел себя не лучшим образом.

В 1962 году на дискуссии в клубе «Октябрь» (не самый уважаемый в то время журнал) на тему «Традиции Маяковского и современная поэзия» он произнес речь, в которой тоже дал залп по этой осужденной высокими инстанциями сугубо личной переписке. Сокрушался, что Маяковский представлен в ней мало что говорящими уму и сердцу читателя короткими записочками. Сказал даже, что напечатанные с комментариями в академическом томе, записочки эти «изменили свой жанр и тем самым стали художественно неправдивыми». А в заключение посетовал, что в томе не напечатано «большое письмо Маяковского о поэзии. Оно осветило бы записочки».

Особенно возмутила Лилию Юрьевну в той его речи именно вот эта последняя фраза, поскольку это «большое письмо Маяковского о поэзии» существовало исключительно в воображении Виктора Борисовича. На самом деле никакого такого письма не было, и он не мог этого не знать.

Вскоре после того как это выступление Шкловского появилось на страницах журнала, Лиля Юрьевна получила от него такое послание:

... Факт есть факт. Письма не существует и не было. Мне жалко, что я ошибся и обидел тебя.

Новых друзей не будет. Нового горя, равного для нас тому, что мы видали, — не будет.

Прости меня.

Я стар. Пишу о Толстом и жалуюсь через него на вечную несправедливость всех людей.

Прости меня.

Виктор Шкловский.

17 июля 1962 года.

Я не сомневаюсь, что это покаянное письмо было искренним. Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы оно осталось последней точкой в долгой истории их отношений.

Не знаю, пересеклись ли потом еще хоть раз их пути, встречались ли, обменивались ли письмами или хоть телефонными разговорами. Но однажды мне случилось убедиться, что пламя той стародавней ссоры в его душе угасло не совсем.

Это был ноябрь 1966-го: четыре с половиной года, значит, прошло после того его покаянного письма.

Мы с женой, как это часто бывало в то время, сидели у Шкловских и пили чай. Раздался звонок в дверь: принесли вечернюю почту.

Виктор Борисович кинул мне неразвернутый свежий номер «Известий», чтобы я глянул, есть ли там что-нибудь интересное.

Никаких сенсаций мы не ждали, и я переворачивал газетные листы без особого интереса. На этот раз, однако, интересное нашлось. Это была реплика, изничтожающая опубликованную незадолго до того (в сентябрьском номере «Вопросов литературы») статью Л.Ю. Брик «Предложение исследователям». (Так в журнале озаглавили отрывок из ее воспоминаний, в котором она размышляла о Маяковском и Достоевском.) К публикации этой я был слегка причастен (Л.Ю. советовалась со мной и Л. Лазаревым, какие главы ее воспоминаний лучше подойдут для журнала) и поэтому злобную реплику, подписанную именами все тех же двух мерзавцев, читал с особым интересом. Бегло проглядев про себя, прочел ее вслух. Ждал, что скажет Виктор Борисович. Хотя – что тут, собственно, можно было сказать? Разве только найти какое-нибудь новое крепкое слово для выражения общего нашего отношения к авторам гнусной статьи. Ведь кто бы там что ни говорил, а во всей мировой литературе не было другой женщины (кроме, может быть, Беатриче), имя которой так прочно, навеки срослось бы с именем великого поэта, ей одной посвятившего «стихов и страстей лавину».

Но реакция Шкловского и тут оказалась непредсказуемой. – Ну вот, – сказал он. – Теперь, значит, она хочет сказать, что жила не только с Маяковским, но и с Достоевским.

Как видите, отношения были, мягко говоря, непростые. В сущности, даже враждебные.

Но что бы ни происходило между ней и «Витей», или между ней и «Борей», Витя, которого Володя когда-то из-за нее выгнал из Лефа, и Боря, который под конец жизни «совсем одичал», были для нее – навсегда свои. А Катаев, пьесы которого шли во МХАТе, сколько бы он ни тщился представить себя лю-

бимым учеником, другом и наследником Маяковского, как был, так и остался ей навсегда чужим.

* * *

Когда я прочел Лиле Юрьевне и Василию Абгаровичу отрывок из своего «Случая Мандельштама», после обмена мнениями о Мандельштаме (был ли он на самом деле большим поэтом или всего лишь «Мраморной мухой»), Л.Ю. вдруг сказала:

– У меня к вам личная просьба.

Просьба состояла в том, чтобы я убрал из своего текста одно слово.

Слово это относилось к Маяковскому.

Я уже говорил, что отрывок, который я им читал, был не столько о Мандельштаме, сколько о Маяковском. И в этом отрывке, приведя знаменитые строки Владимира Владимировича – «Мне скучно здесь одному впереди, – поэту не надо много, – пусть только время скорей родит такого, как я, быстрого», я писал:

Идеи, проповедуемые Маяковским, были официальными догматами и расхожими массовыми лозунгами. Говорить о том, что современники не доросли, не дозрели до понимания и приятия этих идей, разумеется, не приходится.

Почему же и у него вдруг прорвалось это чувство человека, оторвавшегося от своих, забежавшего далеко вперед? Ведь не о личном же одиночестве старого холостяка эти тоскливые жалобы:

Но кому я, к черту, попутчик!

Ни души не шагает рядом.

Вот эти слова об одиночестве «старого холостяка» Л.Ю. и попросила меня вычеркнуть. Собственно, даже не слова, а только одно слово: «холостяк».

– Я была женой Маяковского, – сказала она. – И это, вскользь брошенное о нем слово «холостяк», меня задело.

Я легко пообещал Лиле Юрьевне выполнить эту ее личную просьбу. Но – не выполнил.

Когда я давал ей это обещание, проблема публикации моего «Случая Мандельштама» была из области фантастики. Я тогда и думать не думал, что доживу до возможности увидеть этот свой опус напечатанным типографским способом. А когда такая возможность представилась (четверть века спустя) – забыл про свое обещание. То есть – не то чтобы совсем забыл. Помнил, конечно. Но не только оно, а и сама просьба Л.Ю., как мне тогда казалось, уже потеряла свою актуальность.

Ведь слово «холостяк» так больно задело ее тогда только лишь потому, что оно неожиданно (неожиданно для меня!) рифмовалось с той гнусной кампанией, которая на протяжении нескольких лет велась против нее в печати. Кампания эта имела вполне определенную антисемитскую подкладку. А смысл ее состоял в том, чтобы оторвать Л.Ю. от Маяковского, оттереть ее от него, – доказать, что она, хоть и была его злым гением, но, в сущности, никак и ничем не была с ним связана. И если была в его жизни настоящая любовь – то это была любовь к «русской женщине» Татьяне Яковлевой. Этим расистам с партийными билетами членов Коммунистической партии (один из них был даже довольно крупным партийным функционером – помощником самого Сулова) было наплевать даже на то, что единственной настоящей любовью великого пролетарского поэта в их интерпретации оказывалась белоэмигрантка. Чёрт с ней, пусть эмигрантка, пусть кто угодно, только бы «русская женщина», а не жидовка.

Дело дошло до того, что тогдашний директор музея Маяковского прислал Лиле Юрьевне официальную бумагу с требованием ВЕРНУТЬ музею подаренное ей Маяковским кольцо. То самое, на внутренней стороне которого он выгравировал три буквы: Л. Ю .Б. Если читать их по кругу, так, как они были расположены внутри кольца, получалось бесконечное – ЛЮБ-ЛЮЛЮБЛЮЛЮБЛЮЛЮБЛЮ...

Это кольцо Л.Ю. постоянно носила – не на руке, на шее – как талисман.

И вот теперь ей официально предлагалось его ВЕРНУТЬ.

Гнусная кампания эта – то затухая, то распаяясь вновь до самого высокого градуса, – тянулась годами.

Затухала она – на какое-то время – тоже не просто так: на то были свои причины.

Об одной из них она однажды нам рассказала.

В высоких партийных сферах возникла идея: издать параллельную историю двух могущественных супердержав – СССР и США. Предполагалось, что историю США напишет Андре Моруа, а историю СССР должен был написать Луи Арагон.

И вот Арагон приехал в Москву и был принят самим Суловым.

Ему был обещан доступ ко всем спецхранам и архивам, любая другая помощь в труде, рассчитанном на несколько лет. Ну и, разумеется, разные материальные блага, в которых Арагон, впрочем, кажется, особенно и не нуждался.

Заканчивая разговор, Сулов сказал:

– Считайте, что это ваше партийное поручение.

Арагон ответил, что он готов принять и выполнить это задание партии, но при одном условии.

– Я не хочу, – сказал он, – чтобы в то время как я там, дома, буду выполнять это ваше поручение, здесь, в Москве, терзали члена моей семьи. Моя семья – это Эльза и Лиля. Кроме них у меня нет никого.

Эта реплика, видно, произвела на Сулова впечатление, и на какое-то время от Лили отстали.

Но спустя несколько лет ситуация изменилась. То ли партийное поручение было уже выполнено, то ли план издания по каким-то причинам не удалось осуществить, но Арагон теперь был им уже не так нужен, да и вел себя не всегда достаточно послушно (что-то там такое произносил, не укладывающееся в партийные рамки, – то по поводу ареста Синявского и Даниэля, то по поводу Чехословакии), и гнусная травля Лили Юрьевны в печати вспыхнула и разгорелась с новой, невиданной прежде силой.

Пытаться отвечать на инсинуации этих Воронцовых и Колосковых было бесполезно, такого ответа никто бы не напечатал – сила была на их стороне. Но молча глотать все эти оскорбления было невыносимо. И тут у меня возникла некая идея. Быть может, не такая блистательная, как мне это тогда показалось, но – совсем недурная.

Однажды Лиля Юрьевна дала мне прочесть полный текст ее письма Сталину. Того самого, на котором вождь начертал

резолюцию, знаменитая фраза из которой («Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим...» и т.д.) стала одной из главных идеологических формул эпохи.

Прочитав письмо и полный текст сталинской резолюции, я с удивлением обнаружил, что чеканная сталинская формула была не чем иным, как парафразом одной реплики из Лилиного обращения к вождю. «Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, – писала она, а он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции».

Вот я и подумал: а что если это письмо – вместе с текстом сталинской резолюции, которая, как и само письмо, целиком тоже никогда не публиковалась, – попытаться опубликовать?

Во-первых, этот документ, как мне тогда казалось, и сам по себе представлял немалый интерес для историков литературы. А главное, он самим фактом своего существования опровергал все многословные попытки Колосковых и Воронцовых вычеркнуть Л.Ю. из жизни Маяковского. Публикация Лилиного письма Сталину яснее ясного показывала бы, что роль ее была огромной не только в личной жизни поэта, но и в посмертной его судьбе.

Насчет того, где это письмо можно было бы опубликовать, сомнений у меня не было: разумеется, только в «Вопросах литературы». Во-первых, по профилю журнала именно там ему и место. А во-вторых, мой друг Лазарь Лазарев был в то время заместителем главного редактора этого журнала, и хотя окончательное решение принимал бы, конечно, не он, а главный редактор – «проваренный в чистках как соль» партийный функционер Виталий Михайлович Озеров, – кое-что и от него, от Лазаря, тут все-таки тоже бы зависело.

Лазарь мою идею одобрил. Конечно, сказал он, «Витасик» (так мы меж собой называли Озерова) от этой идеи вряд ли будет в восторге, но попытаться надо. Лично он сделает все, что в его силах.

Итак, первый ход был сделан. Теперь, как в известном анекдоте, оставалось только уговорить графа Потоцкого – то есть саму Лилию.

Мне-то казалось, что настоящим графом Потоцким, которого нам (вернее – Лазарю) предстояло уговорить, был «Витасик». С Лилиной стороны никаких возражений я как раз не ждал. Но выслушав меня, она сказала:

– Нет, я не хочу защищать себя именем этого человека.

Эта ее реакция была непосредственной, мгновенной, и мне показалось, что, подумав, взвесив все за и против, она все-таки оценит все преимущества нашего замысла и в конце концов согласится.

Но она осталась стоять на своем.

Вот как вспоминает об этом Василий Абгарович в своем мемуарном очерке «Мрачная хроника»:

К нам пришли два критика — А.И. Лазарев и Б.М. Сарнов — с предложением попробовать приготовить к публикации в журнале «Вопросы литературы» письмо, которое Лиля Юрьевна написала в 1935 году И. Сталину о бюрократическом пренебрежении к памяти и литературному наследию Маяковского, а также резолюцию Сталина на этом письме, из которой до сих пор известны были только две фразы.

Ручаться за успех они не могли, но, поскольку первый из них был заместителем редактора журнала, предложение имело какие-то шансы на успех.

Но Лиля Юрьевна отказалась:

— Я не хочу оправдываться с помощью Сталина. И Сталина не хочу оправдывать с помощью Маяковского...

Сегодня, оглядываясь, очевидно, нужно признать — вряд ли что-нибудь получилось бы тогда из этой затеи, даже если бы согласие и было дано.

Но пусть не будут забыты добрые намерения.

Более подробно вспомнить всё, что она говорила, когда мы с Лазарем насели на нее уже вдвоем, я сейчас не могу. А вот ту, первую ее реакцию, ту реплику из первого нашего разговора на эту тему помню точно: ручаюсь за каждое слово. Упоминаю об этом только для того, чтобы подчеркнуть, как мало отличалась продуманная и взвешенная — окончательная — формула ее отказа, зафиксированная профессиональным летописцем Василием Абгаровичем, от той первой, живой и непосредственной, какой она сразуотреагировала на мое предложение.

История о том, как Горький поверил гнусной сплетне о Маяковском и стал распространять ее и как Лиля Юрьевна со Шкловским ходила к нему объясняться и требовать извинений, в общих чертах уже давно известна. Сперва в несколько приглаженном виде ее рассказал Виктор Борисович в своей книге «О Маяковском». А потом и сама Лиля Юрьевна опубликовала свой, достаточно откровенный и нелицеприятный рассказ об этом их визите к Алексею Максимовичу.

Но я все-таки решил записать эту историю так, как однажды услышал ее из уст Л.Ю. Не только потому, что в устном ее рассказе были кое-какие подробности и детали, которые в печатный вариант не вошли, но главным образом потому, что из этого устного рассказа я впервые узнал эту историю, так сказать, целиком, в ее хронологической последовательности.

Еще до революции, году этак в четырнадцатом, был у Маяковского бурный роман с прелестной восемнадцатилетней девушкой – Софьей Шамардиной, «Сонкой», как ее называли. «Сонка» забеременела, и то ли был у нее аборт, то ли родился мертвый ребенок, но продолжать свои отношения с по-прежнему влюбленным в нее поэтом она не захотела. И они расстались. Некоторое время она где-то пропадала, ее не могли отыскать. Но потом – нашлась. Разыскал ее Корней Иванович Чуковский, который тоже был в эту «Сонку» влюблен и, как видно, имел на нее кое-какие виды.

Она ему всё рассказала.

И тут – некоторая неясность: то ли Корней Иванович искренне так истолковал ее исповедь, то ли вполне сознательно оклеветал Маяковского, чтобы дезавуировать соперника.

Так или иначе, но он стал говорить направо и налево о том, какой, мол, Маяковский негодяй, – напоил и соблазнил невинную девушку, обрюхатил и даже – будто бы – заразил дурной болезнью.

Старая эта история получила вдруг неожиданно бурное развитие уже в послереволюционные годы.

Л.Ю. стала замечать, что Луначарский, с которым у них были самые добрые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по этому поводу со Шкловским. А тот говорит:

– Ты что, разве не знаешь? Это всё идет от Горького. Он всем рассказывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал ее родителей.

Маяковский, услышав это, объявил, что сейчас же, немедленно пойдет бить Горького. Они насилу его удержали. И Л.Ю. отправилась к Горькому одна.

То есть – не одна, а с «Витей», которого она решила взять с собой как свидетеля, чтобы Горький не мог отвертеться.

Свидетельство Шкловского действительно понадобилось, поскольку поначалу Алексей Максимович попытался увильнуть: объявил, что никому ничего подобного не говорил. Вот тут-то из гостиной, где он сперва был ею оставлен, в горьковский кабинет и был приглашен Шкловский. «Как это никому? – вспыхнул он. – Да ведь я сам, своими ушами от вас это слышал!»

Горький стал мяться, что-то такое невнятное бормотать. Сказал, что узнал он это от верного человека. Пообещал даже назвать этого человека, «которому не может не доверять». Но так и не назвал.

Во всем этом рассказе Лили Юрьевны мне ярче всего запомнилась одна деталь.

Когда она вошла к Горькому в кабинет, он сидел за столом в халате, а перед ним стоял стакан молока, накрытый белой булочкой.

– Представляете? Молоко и белая булочка! – с нажимом повторила Л.Ю. – Вы даже вообразить не можете, какая это была тогда немыслимая роскошь!

И еще одна фраза особенно запомнилась мне в ее рассказе:

– Да не было у Володи никогда никакого сифилиса! – гневно сказала она. И тут же, без тени смущения, добавила:

– Триппер – был...

Мол, что было – то было. И она этого не скрывает. И стесняться тут нечего: дело житейское.

Тут надо сказать, что в те первые послереволюционные годы и про сифилис говорили, что это – «не позор и несчастье». Так что, если бы у Маяковского и в самом деле был сифилис, она бы этого тоже, я думаю, скрывать не стала. Но – чего не было, того не было. И возводить на своего Володю напраслину она не позволит!

* * *

Однажды Лиля Юрьевна предложила нам посмотреть вместе с ней старую немую ленту – «Барышня и хулиган».

Фильм этот (когда он снимался, говорили не «фильм», а – «фильма») считался пропавшим, но какие-то энтузиасты отыскали чудом сохранившиеся обрезки той старой ленты, склеили их, как-то там отреставрировали и – вот, предлагают поглядеть.

Мы поехали.

Дело происходило в Институте истории искусств в Козицком переулке – маленьком, невзрачном на вид здании с изумительными старинными – тоже каким-то чудом сохранившимися – интерьерами.

Лилия играла барышню, а Маяковский хулигана. И играл он, конечно, себя.

Нет, не так: он не играл себя, он просто – **был собой**.

Но что там происходило между барышней и хулиганом и вообще, в чем состоял сюжет этой старой «фильмы», я не помню.

Запомнилась мне только фраза, брошенная Лилей, когда просмотр кончился и в крошечном просмотрном зале, где кроме нас четверых (Л.Ю. с Василием Абгаровичем и я с женой) больше никого не было, зажегся свет.

– Я бездарна, – сказала она. – А Володя гений.

* * *

Рассказывают, что на дверях квартиры Бриков какой-то их недоброжелатель нацарапал однажды такое двустишие:

Вы думаете, здесь живет Брик – исследователь языка?

Нет, здесь живет шпик и следователь ЧК.

Говорили даже, что сочинил это не кто иной, как Есенин. Он будто бы написал это на дверях бриковской квартиры мелом, а Осипу Максимовичу двустишие так понравилось, что он обвел буквы масляной краской.

Не думаю. На Есенина это не похоже. Но Брику стишок понравиться мог вполне. Рифма хорошая, глубокая. Что же касается содержания...

Пастернак однажды признался, что не любил бывать у Бриков, потому что их дом напоминал ему отделение милиции.

Насчет того, был или не был Осип Максимович следователем ЧК, мне ничего не известно. Вроде – не был. Работал одно время кем-то вроде юрисконсульта в юридическом отделе МЧК. Да и то недолго – не больше месяца, кажется.

Но чекисты – и самого высокого ранга – у Бриков бывали постоянно.

Василий Абгарович, правда, уверяет, что всех их, начиная с главного мерзавца Агранова, привадил к дому не Брик, а Маковский:

У Осипа Максимовича от времени его работы в МЧК не осталось никаких связей и знакомств. Их просто не было. Все знакомые чекисты, бывавшие в доме Бриков: Агранов, Горожанин, Волович, Эльберт, – это были знакомые Владимира Владимировича.

(Василий А. Катанян. Распечатанная бутылка. Нижний Новгород, 1999. С. 79)

Думаю, что так оно и было.

Но чего не знаю, того не знаю, и гадать на кофейной гуще не хочу.

А вот – о том, что знаю.

Мы сидели у Лили Юрьевны и пили чай. Неожиданно пришел академик Алиханян с молодой женщиной. Слишком молодой, чтобы быть его дочерью, но все-таки недостаточно молодой, чтобы приходиться ему внучкой. Разумеется, это была его жена.

Он сказал, что торопится, долго засиживаться не может. Заглянул с единственной целью – дать прочесть одну коротенькую самиздатскую рукопись, которую сегодня же должен вернуть владельцу. Это был небольшой рассказ Солженицына – «Правая кисть». Чтобы ускорить дело, решили не передавать друг другу страницы, а прочесть рассказ вслух. Читать выпало мне.

Подробно этот рассказ я сейчас уже не помню: помню только, что главный его персонаж был – старенький, жалконький, смертельно больной, в сущности, уже умирающий человечеш-

ко, безнадежно пытающийся пробиться сквозь все бюрократические рогатки, чтобы лечь в больницу. В доказательство своих особых прав он совал ветхую, рассыпающуюся справку, выданную ему каким-то комиссаром в каком-то незапамятном году. Справка удостоверяла, что некогда он действительно состоял «в славном губернском Отряде особого назначения имени Мировой революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов». Вглядываясь в эту справку и в протягивавшую ее руку – правую кисть – такую слабенькую, что, казалось, у нее еле хватило сил вытянуть эту справку из бумажника, автор вспоминает, как они – вот эти самые чекисты-чоновцы – лихо рубили с коня наотмашь, наискосок, безоружных пеших, совсем перед ними беспомощных людей.

В тот же вечер Алиханян рассказал о том, как познакомился с Солженицыным и пригласил его к себе домой. Тот охотно принял приглашение, но, оказавшись в квартире академика, вел себя как-то странно: все время глядел на пол. Причем – с каким-то особым, преувеличенным интересом.

Заметив некоторое недоумение хозяев, объяснил, что в бытность свою зэком работал в этом – только выстроенном тогда доме и, кажется, даже в этой самой квартире – паркетчиком.

Вспомнив это, Алиханян рассказал заодно и о том, как он получал эту квартиру.

Ему выдали так называемый смотровой ордер, и он с женой пришел поглядеть будущее свое жилье. И наткнулся там на какого-то мрачного рослого генерала, у которого, как оказалось, тоже были виды на эту квартиру. Генералу квартира, судя по всему, не показалась. Буркнув что-то не шибко вежливое, он удалился, дав понять, что он Алиханяну – не конкурент. Алиханян же, как человек воспитанный, прощаясь с ним, сказал какую-то вежливую фразу в том духе, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком... Может быть, Бог даст, еще когда-нибудь, где-нибудь...

Генерал мрачно выслушал эту речь и сказал:

– Не дай вам Бог!

Это был Абакумов.

Выслушав этот рассказ, я тоже вспомнил – и рассказал – недавно услышанную историю.

Известная киноактриса О. – женщина редкой красоты и редкого очарования – вскоре после войны была арестована. В лагере ей досталось особенно тяжело. А до ареста – на воле – она была знаменита. За ней ухаживали, благосклонности ее добивались многие, в том числе и весьма высокопоставленные люди. В числе тогдашних ее «светских» знакомых был и Абакумов – народный комиссар госбезопасности. И вот, доведенная до отчаяния, она решила написать ему письмо, напомнить о давнем знакомстве и попросить разобраться в ее деле.

Письмо было написано. Это была не вполне официальная просьба. Это было очень личное письмо. И предельно откровенное. Она подробно рассказывала в нем обо всех издевательствах, которым подвергалась за все время своего тюремного и лагерного бытия.

Письмо было отправлено, разумеется, не по официальным каналам, и каким-то чудом дошло до адресата. И вот в один прекрасный день ее извлекли с самого лагерного дна, отмыли, подкормили, приодели и повезли в Москву. И привезли прямо на Лубянку. И не куда-нибудь, а в кабинет наркома.

Нарком вышел ей навстречу, поцеловал ей руку – так, словно дело происходило на каком-нибудь кремлевском банкете.

В глубине комнаты был уже накрыт стол на два куверта: коньяк, шампанское, фрукты, пирожные...

Нарком сделал актрисе приглашающий жест, сел напротив нее, разлил вино в бокалы. И полилась непринужденная светская беседа – о том, о сем. Вспоминали прошлое. Актриса ожила и уже совсем поверила, что все её мьтарства позади. И вот наконец нарком, оставив пустую светскую болтовню, заговорил о деле.

– Я прочел ваше письмо, – сказал он. – Неужели всё, о чем вы там пишете, – правда?

– Правда, – подтвердила актриса.

– И вас действительно били? – спросил нарком.

– Били, – снова подтвердила она.

– А как тебя били? – спросил нарком. – Так?

И он дал ей кулаком в зубы.

– Или так?

Последовал еще один зубодробительный удар.

– Или, может быть, так?

Натешившись вволю, нарком вызвал охрану. Избитую, окровавленную актрису унесли. Бросили в камеру, а спустя несколько дней отправили назад, в зону.

Выслушав после прочитанного вслух солженицынского рассказа и устного алиханьяновского еще и эту, мою историю, все подавленно молчали.

Первой подала голос Лиля Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала:

– Боже мой! А ведь для нас чекисты были – святые люди!

* * *

Сказав, что литературный салон Лили Юрьевны был лефовским и даже футуристическим, я, наверно, все-таки слегка погорячился.

Футуристические ее пристрастия, конечно, сохраняли силу, но «круг внимания» за годы, прошедшие после смерти Маяковского, стал шире, и ее художественные вкусы во времена моего с ней знакомства были уже не такими «групповыми».

Даже тот факт, что Мандельштама, которого они пренебрежительно именовали «Мраморной мухой», я сравнивал с Маяковским, как равного с равным, не шибко ее шокировал: она только слегка удивилась, вот и всё, но самую возможность такого взгляда не отринула.

Ну а кроме того, этот её салон был не только литературным.

Вот несколько взятых наугад фраз из ее писем – как раз того времени (1967 г.) – Эльзе:

Аксенов читал прелестный, пресмешной рассказ, Андрей – стихи, Эрнст Неизвестный показывал иллюстрации к Данте и Достоевскому, кто-то пел, кто-то играл на рояле.

Робик виртуозно, великолепно сыграл свой 2-й концерт для рояля с оркестром. Это замечательное произведение. При всей нашей вере в Робика мы такого не ждали.

Это, правда, не про домашний ее салон: в первом случае дело происходило в ЦДЛ, во втором – в Большом зале Консерватории.

Но «Робик и Майя» (Родион Щедрин и Майя Плисецкая) – это уже из «домашних» ее художественных (и не только художественных) привязанностей. И самых близких:

Новый год мы встретили вчетвером с Майей и Робиком...
(Из другого ее письма к Эльзе, помеченного тем же годом)

В этот тесный их домашний круг входили и Константин Михайлович Симонов, и Валентин Николаевич Плучек с женами.

С Щедриным, Плисецкой и Симоновыми мы у Лили Юрьевны никогда не встречались. А вот с Плучеком – однажды пересеклись.

Я не знаю, по какому принципу Л.Ю., приглашая гостей, тасовала свою колоду. Не думаю, чтобы согласно какой-то – официальной или даже своей, личной – табели о рангах. Скорее всего, ей хотелось, чтобы её гости чувствовали себя у нее раскованно, свободно, а ведь этого легче всего достичь, если люди, собравшиеся за одним столом, – давно и хорошо знакомы друг с другом.

С Плучеком мы были знакомы. Хоть и недавно, но уже – «почти домами».

Началось знакомство с того, что Л. Лазарев, С. Рассадин и я сочинили пьесу, предназначавшуюся для Московского театра сатиры. Главный режиссер этого театра Валентин Николаевич Плучек очень хотел поставить Зощенко. Ничего удивительного в этом его желании не было: Зощенко – признанный классик советской сатиры, и, как говорится, сам Бог велел ставить его на сцене театра, именуемого «Театром Сатиры».

Проще всего, конечно, было бы взять для постановки какую-нибудь пьесу Зощенко. Но пьесы этого писателя не шли ни в какое сравнение с его прозой. И Плучек решился на смелый эксперимент: обратился со своей идеей не к профессиональному драматургу, а к трем литературным критикам, о которых ему только и было известно, что они – пламенные поклонники таланта Михаила Зощенко и более или менее прилично знают все им написанное.

Мы вдохновились этим предложением театра, и пьеса была сочинена.

В финальной сцене, помню, мы использовали рассказ про старичка, который заснул летаргическим сном, а все думали, что он умер. Возникла большая суматоха, старичка никак не могли похоронить, потому что то не могли найти катафалка, то не было лошадей. Когда же наконец и катафалк и лошади нашлись, старичок «воскрес». Но в его «воскресение» никто не поверил, и приехавшие похоронщики, а также соседи по коммуналке, где все это происходило, потребовали, чтобы старичок подал голос. Не отличаясь, как пишет Зошенко, большой фантазией, старичок сказал:

– Хо-хо!

Когда мы прочли нашу пьесу на труппе, и артистам предложено было высказаться, наступило долгое молчание. Мы похолодели, решив, что это – провал. Но длинная томительная пауза была наконец прервана репликой молоденькой хорошенькой актрисы, сидевшей в первом ряду. Она сказала:

– Хо-хо!

Напряжение было снято. Все рассмеялись, и пьесу в один голос стали хвалить.

Реплика актрисы оказалась, однако, пророческой.

Пьеса была одобрена, принята к постановке, вот-вот уже должны были начаться репетиции. Но тут вдруг разразилась непредвиденная катастрофа.

Как раз в это время молодой Марк Захаров поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Доходное место». Спектакль этот оказался до такой степени злободневным, все происшедшее на сцене так крепко и точно «рифмовалось» с нашей тогдашней жизнью, что старая пьеса А.Н. Островского наделала шуму куда больше, чем столетие назад, когда она впервые была представлена на сцене Александринского театра. Пьеса игралась чуть ли не в современных костюмах. Во всяком случае, в костюмах, не слишком отличающихся от современных. И Аристарх Владимирович Вышневецкий в исполнении Георгия Павловича Менглета куда больше походил на какого-нибудь номенклатурного работника ЦК КПСС, нежели на русско-го чиновника середины прошлого века.

Скандал разразился грандиозный. Екатерина Фурцева, бывшая тогда министром культуры, просто билась в истерике. Кажется, именно тогда и стало мелькать это знаменитое слово, надолго определившее мрачную атмосферу нашей художественной жизни: «аллюзии». Было даже, если не ошибаюсь, специальное постановление, предусматривавшее, как именно следует интерпретировать творения классиков, дабы не возникло у зрителя вот этих самых «аллюзий».

О том, чтобы после такого скандала ставить на сцене того же театра нашу пьесу, само собой, не могло уже быть и речи: она вся, от начала и до конца, была – **сплошная аллюзия**.

Речь (в лучшем случае) могла идти только о том, чтобы заплатить ни в чем не повинным авторам причитающийся им скромный гонорар.

Но и это тоже оказалось совсем не просто.

– Понимаете, – сказал нам Плучек, – договор у вас с театром. Но деньги платит министерство. Мы вам заплатить не можем. Поэтому вы подайте на нас, – то есть на театр, – в суд. Театр этот судебный процесс, разумеется, проиграет, и тогда вы получите свои деньги.

Судиться с театром нам, понятное дело, не хотелось. Но Плучек убедил нас, что все это – чистейшей воды формальность. И мы согласились.

Оказалось, однако, что суд вовсе не склонен был превращаться в простую формальность. Адвокат, представлявший интересы театра, отнесся к своей миссии весьма ревностно. Он тщательно изучил не только злополучное постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, и не только знаменитый доклад Жданова, но и всю критическую литературу тех незабвенных лет, когда Зощенко именовали подонком, злопыхателем, очернителем, клеветником и другими словечками того же смыслового и стилистического ряда.

Но эти словечки мелькали только на первом этапе – когда дело слушалось в народном суде. Убедившись, что весь этот джентльменский набор в новой исторической ситуации уже не очень действует, и потерпев в связи с этим сокрушительное поражение, к следующему акту драмы – слушанию дела в городском суде – адвокат решил изменить тактику. Теперь он уже го-

ворил о Зощенко как о замечательном советском писателе, не скупился на комплименты не только в его, но даже и в наш адрес. Да, говорил он, Зощенко – классик советской литературы, выдающийся наш сатирик. И авторы пьесы добросовестно и даже талантливо инсценировали его рассказы. Но их постигла творческая неудача, потому что сегодняшняя наша жизнь не имеет решительно ничего общего с той, которую изображал в своих произведениях этот писатель.

– Ведь мы теперь живем совсем иначе! – то и дело повторял он. Это был как бы постоянный рефрен, пронизывающий всю сложную систему его аргументов.

Что рисовал Зощенко в своих сатирических рассказах? Какие картины он изображал? Он изображал узкий мещанский мирок, темных, невежественных и диких людей. Он был правдивым бытописателем эпохи нэпа. Но сегодня, сейчас мы живем совсем в другой действительности. И жизнь наша ничуть не похожа на ту, которую описывал Зощенко.

– Разве духовный мир современного советского человека так жалок и убог? – патетически восклицал он. – И разве наши люди говорят сегодня таким корявым, уродливым, безграмотным языком?

– Зощенко был замечательным писателем, – сказал он в заключение. – Но произведения его не выдержали испытания временем. Сегодня они имеют для нас лишь историческую ценность, как отражение быта и нравов давно минувшей эпохи. Что же касается сегодняшнего, духовно и интеллектуально выросшего советского зрителя, то для него Зощенко **безнадежно устарел**.

Речь адвоката несколько затянулась, и судья, извинившись перед нами, объявил, что слушание нашего дела будет продолжено несколько позже, а пока он просит нас подождать: суду предстоит заслушать другое дело, не такое сложное, как наше. Мы же, если хотим, можем не покидать зал судебного заседания.

Посоветовавшись, мы сперва хотели было выйти погулять, но как-то замешкались – и остались в зале. Жалеть об этом, однако, нам не пришлось.

Вся эта история – то, что театр хочет заплатить нам деньги, но не может, предложение руководителя театра, чтобы ав-

торы, которым он симпатизирует, подали на него в суд, – все это уже само по себе представляло довольно яркую сцену в том *театре абсурда*, создателем которого был Михаил Зощенко. Но та сцена, свидетелями которой мы стали после объявления судьи, была уже до такой степени *зощенковской*, что невольно приходила в голову мысль: а не подстроил ли, не спланировал ли всё это судья нарочно?

Суть разбираемого нового дела была такова.

Истец и ответчик жили в одном доме. Кажется, даже в одном подъезде. Но истец, в отличие от ответчика, был обладателем «Москвича», который за неимением гаража оставлял прямо у подъезда, как раз под окнами ответчика. Ответчика это возмущало. Как выяснилось по ходу дела, возмущало его даже не столько то обстоятельство, что автомобиль соседа ему мешал, как то, что он занял место, где ответчик мог бы ставить свой собственный автомобиль – в том случае, если бы он у него был.

– Но ведь у вас, насколько я понимаю, автомобиля нет? – спрашивал его судья.

– Пока нет. Но я стою в очереди на «фиат», – отвечал тот. (Вошедшие позже в наш повседневный быт слова «жигуль», «лада», «шестерка» и т.п. тогда еще не были в ходу.)

Итак, ответчик был до глубины души возмущен тем, что истец своим стареньким «Москвичом» занял то место, которое он мысленно уже запланировал для своего будущего новенького «фиата». Возмущение это разрешилось тем, что он облил машину истца чернилами. Между соседями произошла по этому поводу небольшая перепалка. Но истец не внял этому предостережению: его «Москвич» по-прежнему стоял под окнами ответчика, всем своим гнусным непрезентабельным видом отравляя ему жизнь.

И тогда ответчик решился на крайнюю меру. Под покровом ночной темноты он старательно обмазал машину истца **фекалиями**. (Именно это деликатное выражение употреблял судья. Истец пользовался другим, более употребительным и общепонятным выражением, что время от времени вынуждало судью призывать его к порядку.)

Поступок ответчика был, конечно, из ряда вон выходящим. Но тут надобно принять в расчет, что совершен он был, как

выражался в таких случаях писатель Зоценко, в минуту сильного душевного волнения.

Короче говоря, перед нами разыгралась драма в совершенно зоценковском духе. С той, правда, разницей, что в речи ее действующих лиц то и дело мелькали слова и понятия, зоценковским героям не знакомые:

– Я тогда как раз сдавал кандидатский минимум, – объяснял свои сложные жизненные обстоятельства истец.

– Я стою в очереди на «фиат», – отстаивал свои позиции от-вetchик.

Безусловно, это был он – бессмертный зоценковский герой. Но как, однако, он вырос! Какой приобрел лоск! Как изменились его потребности и весь образ его жизни! Какие, наконец, слова он научился произносить!..

Эта история, а главное, сам процесс сочинения этой нашей пьесы сыграли большую роль в моей жизни.

До этого Зоценко был моим любимым писателем, а я – всего лишь – внимательным и благодарным его читателем. А тут я словно побывал в его шкуре. Став на время чем-то вроде соавтора великого художника, я увидел и понял его и з н у т р и. В результате у меня возникло ощущение, что я знаю про Зоценко нечто такое, чего не знает никто, кроме меня. Ощущение – может быть, иллюзорное, обманное – необходимо было реализовать. Так явилась на свет – не сразу, конечно, а спустя много лет – книга «Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зоценко», которую я до сих пор считаю главной своей книгой. (Если, конечно, не считать ту, которую пишу сейчас: главной и лучшей своей книгой писатель всегда считает последнюю, а иначе – зачем бы он стал ее писать? Это, наверно, и есть тот главный стимул писательского труда, который Л.Н. Толстой называл **энергией заблуждения**.)

Но это уже – другая тема и совсем другой сюжет.

А сейчас вернемся в зал суда, где слушается наше дело.

Возвращаться, собственно, ни к чему. Скажу коротко: процесс мы выиграли и жалкий свой гонорар получили. Но на Плучека обиделись. Ведь он обещал нам, что вся эта судебная комедия будет чистой формальностью. Неужели он не мог слегка приструнить своего адвоката?

Впрочем, долго обижаться на Валентина Николаевича было невозможно. А тут еще вышло так, что мы с ним случайно оказались в одном Доме отдыха. Дело бы зимой – на зимних школьных каникулах. На эти две недели моя жена всегда стремилась вывезти нашего отпрыска куда-нибудь за город.

Бороться за путевки с нашим Литфондом сил у меня уже не было, и тут нам вдруг предложили – по благу! – путевки в какой-то Дом отдыха, о котором нам было известно только то, что он – ЧЕТВЕРТОГО УПРАВЛЕНИЯ. Это значило – не просто хороший, а – очень хороший. Потому что – привилегированный. (Кто не знает – «Четвертым управлением» тогда именовалось то, что незадолго до того называлось «Медсанупром Кремля», в просторечии – «Кремлевкой».)

Плучеку (как потом выяснилось) путевки в этот правительственный рай достались тоже по благу. И он тоже купился на эти волшебные, манящие слова – «Четвертое управление».

Правительственный рай оказался самым что ни есть затрапезным профсоюзным Домом отдыха, где проводили свой отпуск только милицейские работники. Это обстоятельство сразу вызвало в моей памяти коротенькую запись из «Записных книжек» Ильфа:

Дом отдыха милиционеров. По утрам они грустно чистили сапоги и стреляли в воздух.

Наши милиционеры сапоги не чистили и в воздух не стреляли (это были не рядовые милиционеры, а какие-то высокие милицейские чины), но в этом непривычном для нас окружении мы чувствовали себя бесконечно одинокими. Те же чувства испытывали и Плучеки – Валентин Николаевич и его жена Зина, – попавшие в это заведение, как кур в ощип.

Углядев нас в толпе милиционеров, они кинулись к нам как к родным. Ну а уж о нас и говорить нечего.

В общем, оказавшись товарищами по несчастью, за эти две недели, проведенные – поневоле – в близком общении, мы, можно сказать, подружились. Во всяком случае, стиль общения сразу установился у нас самый приятельский.

Валентин Николаевич был человек живой, общительный, блестящий рассказчик.

Особенно запомнился мне его рассказ о том, как неожиданно выяснилось, что знаменитый английский режиссер сэр Питер Брук – ни больше ни меньше, как его двоюродный брат.

Собственно, рассказ этот начала Зина, которая этим внезапно открывшимся родством очень гордилась.

– Валя, сказала я Вале, – темпераментно рассказывала она, – посмотри на него! Ведь вы безумно похожи! Просто одно лицо! Ну что тебе стоит, спроси у него...

И Валя спросил.

Когда английский гость, с которым они накануне познакомились, позвонил ему по телефону, поговорив сперва на разные профессиональные темы, он отважился задать ему такой деликатный вопрос: «Скажите, вам говорит что-нибудь такое имя: Фанни Соломоновна Брук?»

В ответ раздался восторженный вопль:

– Боже мой! Это же моя тётя!

В общем, выяснилось, что старший брат плучековой мамы – той самой Фанни Соломоновны – в юности участвовал в каких-то студенческих демонстрациях, ходил с красным флагом и во избежание полицейских преследований умотал в Лондон. Пожив там, он от хождений с красным флагом отказался, стал инженером, а потом, кажется, даже преуспевающим предпринимателем, женился, и родился у них с женой мальчик – будущий сэр Питер. Чуть ли не с детства у будущего сэра Питера проявилась пламенная любовь к театру, и со временем он стал – как и наш, ничего не подозревавший об этом родстве Валя, театральным режиссером. Кровь – не вода, как говаривала, бывало, моя бабушка, когда речь заходила о том, что какие-то мои неблагоприятные поступки напоминают ей такое же криминальное поведение каких-то неведомых мне, давно умерших ее родственников.

Услышав от Вали с Зиной историю этого внезапно открывшегося родства (многие ее прелестные подробности я опускаю), я сказал:

– О! Так вот, значит, откуда взялась английская фамилия сэра Питера Брука. У какого-нибудь вашего общего дедушки или прадедушки была, наверно, портновская мастерская, на входе в которую красовалась вывеска: «Шитье и перелицовка брук».

Никто на эту мою – как мне казалось, очень удачную – шут-

ку не улыбнулся. Родство Валентина Николаевича с сэром Питером Бруком не могло быть предметом даже самого невинного юмора.

То есть сам Валентин Николаевич, может быть, и готов был пошутить на эту тему, но Зина никогда ему (не говоря уже обо мне) этого бы не позволила.

Тут надо сказать, что после этого непрерывного двухнедельного общения с семейством Плучеков в нашей семье надолго утвердилась некая идиома, так сказать, общая формула определенных семейных отношений: «Валя не хочет». Произносила это Зина таким безапелляционным тоном, что у «Вали» никогда не доставало духу возразить, что, напротив, он-то как раз именно этого (совершенно не важно, чего) – хочет.

Еще из тогдашних рассказов Валентина Николаевича мне запомнился такой.

От Олега Ефремова он знал, что тот, появляясь в «коридорах власти» (то есть в ЦК) и открывая левой ногой одну за другой двери в разные начальственные кабинеты, ведет себя с партийными функционерами чуть ли не любого ранга по-свойски. Рассказывает какие-то скабрёзные анекдоты, не гнушаясь и матерными словечками, каковые, как правило, вызывают у означенных функционеров особенно восторженную реакцию.

И вот он (Валентин Николаевич то есть) решил испробовать этот беспрюирышный прием.

В каком-то таком начальственном кабинете рассказал не шибко приличный анекдот (до которых, кстати сказать, он был большой охотник), ну и слегка пустил матерком.

Но – увы! – никакого братания на этой почве не произошло. Напротив, весьма сухо ему было замечено, что такие анекдоты, а тем более такие выражения из области ненормативной лексики, слышать от интеллигентного человека по меньше мере странно.

После этого двухнедельного сидения в милицейском Доме отдыха были у нас еще и другие, уже московские встречи. И не только деловые.

В общем, отношения с Плучеком у нас сложились достаточно теплые, и узнав, что нам предстоит встретиться с ним у Ли-

ли Юрьевны, я даже обрадовался, предвкушая славный веселый вечер в приятной компании.

Но тут был один щекотливый момент.

Как раз в это самое время в печати появилось гневное заявление, подписанное тремя десятками самых именитых московских евреев. Гнев их был направлен на государство Израиль, ставшее главным оплотом мирового империализма, ну и, конечно, на сионизм, который клеймился как самое крайнее и зловещее проявление расизма, нацизма, фашизма и прочих мерзостей. Были там – под этим документом – подписи и Майи Плисецкой, и Аркадия Райкина, и Бог знает, кого еще. Ну и, разумеется, среди других славных имен красовалась и подпись Валентина Николаевича Плучека. А возглавлял этот список последний еврей, чудом (а может быть, и не чудом, а с такой вот специальной целью) сохранившийся в высоких правительственных сферах – Вениамин Эммануилович Дымшиц. Он был в то время Председателем Госплана и заместителем (одним из многих) Председателя Совета Министров СССР.

Такие гневные заявления появлялись на страницах наших газет и раньше. И подписывали их всегда одни и те же лица. Для обозначения этих, ставших уже традиционными, пропагандистских акций у нас была в ходу такая глумливая формула: «На арене Дымшиц с группой дрессированных евреев». Иногда эта группа – или отдельные, самые знаменитые ее представители – появлялась даже на экране телевизора.

В общем, в самом факте появления этого документа на страницах наших газет не было ничего сенсационного.

Но впервые в группе «дрессированных евреев» оказался наш знакомый, с которым – именно вот в этот самый момент – нам предстояло сидеть за одним столом.

За себя-то я не боялся. Уж я-то сумею, прежде чем произнести хоть слово на эту тему, мысленно сосчитать до ста. Но вот сумеет ли жена?

На это счет у меня были серьезные сомнения, и накануне, перед самым визитом, я провел с ней большую воспитательную работу. Говорил, что он – не свободный художник, а лицо официальное, руководитель театра, состоит на государственной службе, и ему невозможно было отказаться от поступив-

шего свыше предложения поставить подпись под этим гнусным документом.

В общем, она дала мне слово, что на эту щекотливую тему с Валентином Николаевичем не заговорит и даже молча выказывать ему свое презрение и унижать его своим гражданским негодованием не будет.

Слово это она почти сдержала. Почти – потому что из всех сил старалась не встречаться с В.Н. глазами. И он это, конечно, заметил. И даже высказал вслух, раза два повторив одну и ту же фразу:

– Что это Слава на меня не смотрит?

За столом он вел себя как обычно: рассказывал разные веселые истории и анекдоты, острил, словом, был душою общества. Истории и анекдоты его были тоже вполне для него обычные – наверно, те самые, какими он неудачно пытался обаять партийных функционеров в «коридорах власти». Там, как я уже говорил, он потерпел полное фиаско, но в нашей компании эти его истории имели успех. Они и в самом деле были хороши, хоть и несколько однообразны. Уж не знаю, случайно так вышло или одна история по ассоциации тянула за собой такую же, но во всех этих байках и анекдотах почему-то фигурировали яйца. Не куриные, разумеется. И в какой-то момент я не выдержал – поддался соблазну включиться в этот веселый тон – и сказал:

– Ну, ладно, Валентин Николаевич! Чего там! Расскажите уж, что они там делали с вашими яйцами, чтобы заставить вас подписать эту бумагу.

По-разному, наверно, можно было ответить на эту мою бестактность. Предлагаю читателю самому придумать все возможные варианты. Но Плучек отреагировал совершенно для меня неожиданно. Он легко принял мою «подачу» и отбил ее самым наилучшим образом: непринужденно, весело и совершенно откровенно рассказал, как оно всё было на самом деле.

Не сомневаясь, что «они» непременно потребуют от него «гражданского повинования», он у себя в театре дал команду, чтобы ни на какие звонки «оттуда» его не звали, отвечали, что его нет, а где он и когда появится – неизвестно. Так оно все и шло, и он уже начал подумывать, что кажется, слава Богу, про-

несло: обошлись без него. И в какой-то момент, слегка потеряв бдительность, он сам – без секретаря – снял телефонную трубку. Звонил хорошо знакомый ему чиновник из городского управления культуры. Звонка этого он ждал: там со дня на день должны были дать добро на какой-то его спектакль.

Чиновника этого В.Н. знал хорошо, с ним у него была связана целая история, которую он тут же нам тоже рассказал.

В прошлом чиновник этот был довольно посредственный провинциальный актер. И познакомился он с Плучеком именно в этом качестве. Приехав в Москву, он надеялся, что В.Н. по знакомству возьмет его в свой театр. И В.Н. по слабости характера что-то такое ему обещал, хотя и не очень твердо. А тот все ходил к нему, ходил. И однажды пришел в самый неподходящий момент: начальство из того самого городского управления культуры в тот день принимало очередной плучековский спектакль.

– Ох, брат, сегодня мне не до тебя, – сказал В.Н. этому своему знакомцу. – Приходи как-нибудь в другой раз, а сейчас, видишь, что делается: я весь в мыле, у меня начальство. Мой новый спектакль принимают.

И тут выяснилось, что принимать его новый спектакль приехал именно он, давний его знакомый. Он теперь работает в городском управлении культуры на какой-то начальственной должности и в покровительстве Плучека больше не нуждается. Даже сам может оказать ему некоторое покровительство.

И вот сейчас позвонил ему, значит, этот его знакомый чиновник и сказал, что через минуту-другую он за ним подьедет. И подьехал. И В.Н. сел с ним в машину, пребывая в полной уверенности, что дело идет не о чем ином, как об утверждении спектакля, и поедут они сейчас в это самое городское управление культуры.

Но поехали они совсем не туда, а прямехонько в Совет Министров, где его со своей группой дрессированных евреев уже ждал сам Дымшиц.

Поняв, что ему не отвертеться, В.Н. все-таки позволил себе слегка поозорничать.

Прочитав документ, под которым уже красовалась отпечатанная типографским способом его подпись, он подошел к Дымшицу и, словно бы в легком смятении, сказал:

– Я этого подписать не могу.
– Как!? Почему!? – вскинулся Дымшиц.
– Здесь написано: «Народный артист СССР». А я – Народный артист РСФСР.
– Ну, это ничего, – улыбнулся Дымшиц. – Будете. Будете Народным СССР. Так что смело подписывайте, не стесняйтесь.
И словно бы в подтверждение того, что слов он на ветер не бросает, даже слегка погладил Валентина Николаевича по рукаву его пиджака.

Все это В.Н. нам не просто рассказал, а изобразил в лицах. И изобразил замечательно.

Передать своими слабыми силами все богатство его изобразительных красок я, конечно, не смог. Но решил, что даже в таком вот бледном моем изложении история эта непременно должна быть сохранена для потомства.

3

Два человека оказали огромное, можно даже сказать решающее влияние на мою жизнь: писатель Михаил Булгаков и художник Борис Биргер.

Было это в середине 60-х, когда в «Новом мире» был опубликован «Театральный роман», а чуть позже в журнале «Москва» – роман «Мастер и Маргарита».

Многих поразили тогда эти книги, явившиеся вдруг из небытия. Но еще больше, пожалуй, поразили сам факт торжества художника, его победы над временем и тупой, душившей все живое силой тоталитарной власти. В каком-то упоении, как пароль, как знак надежды повторяли мы друг другу мгновенно ставшую расхожей булгаковскую формулу – «Рукописи не горят». Но на меня этот феномен Булгакова оказал не только моральное воздействие. Он прямо-таки физически подтолкнул меня к тому, чтобы я перестал наконец оглядываться на внешние обстоятельства, мешающие мне писать то, что хочется, и, не думая о последствиях, забыв о советской власти, ее верных церберах-редакторах, цензуре и прочих гадостях, целиком отдаться тому делу, которое я считал главным делом своей жизни.

Но одного этого – хотя и мощного – толчка, вероятно, было бы все-таки недостаточно. Чтобы решиться окончательно и бесповоротно вступить на этот путь, мне недоставало уверенности. Мешало более чем скромное представление о моих литературных возможностях. Охватившая все мое существо радостная энергия, возбужденная феноменом Булгакова, уперлась в отрезвляющее, обескураживающее: «*Quod licet Jovi, non licet bovi*». Что бы там ни было, – подмигивала и высывала мне язык эта древняя поговорка, – но ты-то ведь не Булгаков!

И тут последовал второй толчок.

Эту «вторую космическую скорость» мне сообщил Борис Биргер, с которым я познакомился примерно в то же время. И дело тут – как и в случае с Булгаковым – было не столько в биргеровских картинах (хотя и они произвели на меня сильное впечатление), сколько в самом феномене Биргера.

Феномен этот заключался в том, что, какая бы ни стояла на дворе погода, какие бы ни появились в тот день в газетах сообщения о неприятных, гнусных или даже роковых событиях, каково бы ни было его настроение и самочувствие, каждое утро Борис Биргер укладывал в свой объемистый потрепанный портфель плотно закрытые стеклянные банки, в которых находился его неприхотливый обед (неприхотливый, но все-таки с непременно супом: как старый язвенник, он не мог даже на один день позволить себе остаться без горячего супа) и отправлялся в долгий и утомительный путь (две пересадки на метро, только москвич знает, что это такое) на другой конец Москвы, в Измайлово, где находилась его маленькая мастерская. И – работал. Работал, выполняя свой каждодневный, самому себе заданный урок с таким тщанием и упорством, как если бы очередная его картина была уже заранее куплена Русским музеем или Третьяковской галереей. А закончив очередной портрет или пейзаж, тотчас же начинал грунтовать новый холст для следующей работы, словно даже один день вынужденного простоя или отдыха грозил ему смертельной опасностью.

В те времена такой образ жизни – естественный и даже, как я теперь понимаю, единственно возможный для подлинного художника – многим представлялся какой-то дикой странностью.

Ведь Биргер тогда уже давно – и не только по собственной воле – перестал участвовать в официальных выставках. Никаких заказов у него не было. Картины его не продавались. Да он и не хотел их продавать...

Но ведь настоящий поэт сочиняет стихи не потому, что надеется их издать. И настоящий писатель пишет то, что он пишет, не потому, что надеется своими писаниями изменить мир или повысить нравственный уровень общества, в котором живет. И настоящий художник создает свои картины не потому, что надеется их выставить или продать, и даже не потому, что рассчитывает, что когда-нибудь они будут висеть в музее. Все они делают свое дело по той единственной причине, что **не могут его не делать.**

Из всего этого, конечно, отнюдь не следует, что писателю так-таки уж совсем не нужен читатель, поэту слушатель, а художнику зритель. Но в чем другом, а в зрителях Борис Биргер никогда не испытывал недостатка.

В часы работы не воспринимающий ничего, кроме своей модели и холста на мольберте, в остальное время своего повседневного бытия он и часа не мог прожить без друзей, без контакта с людьми, без дружеского застолья, без какой-нибудь азартной игры. И во многом именно благодаря этим свойствам его характера крохотная мастерская Биргера стала в те годы своего рода центром художественной и интеллектуальной жизни Москвы.

Среди тех, кто постоянно собирался тогда у него в мастерской, а позже и в его московской квартире, были известные музыканты (Эдисон Денисов), актеры (Алла Демидова, Игорь Кваша), ученые (академики Андрей Сахаров и Израиль Гельфанд), писатели (Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Василий Аксенов), поэты (Булат Окуджава, Олег Чухонцев).

Они-то и бывали обычно первыми зрителями его картин. Показ новых работ был, конечно, важной частью всех этих сборищ. Но он неизменно завершался дружеским застольем, во время которого слышался не только звон стаканов и звяканье ножей и вилок, но и звучали громкие голоса друзей, большинство из которых были отчаянными спорщиками. Спорили об искусстве, о поэзии, о смысле бытия, ну и, конечно, о по-

литике. О политике, впрочем, не спорили, потому что тут все были единомышленниками. И все наши разговоры на эти (политические) темы неизменно кончались двумя традиционными тостами: «Чтоб они сдохли!» (надеюсь, не надо объяснять, кого мы при этом имели в виду) и – «За успех нашего безнадежного дела!»

Позже, когда дела у Биргера чуть-чуть поправились и он обзавелся довольно вместительной квартирой, эти сборища из мастерской переместились к нему домой, благо туда же переехали и некоторые его картины. В квартире этой собиралось до сорока, а иногда и до пятидесяти человек. Помимо семейных праздников (дни рождения самого Биргера и всех членов его семьи) здесь мы неизменно собирались под Новый год на традиционную биргеровскую елку. Празднество это, кроме обычного застолья и шуточной лотереи, в которой вам мог достаться какой-нибудь пустяковый блокнотик или дешевенькая зажигалка, а мог и бесценный рисунок, сделанный рукой самого хозяина, непременно включало в себя бал-маскарад. Все мы были тогда уже не очень молоды и дурачиться в масках особой охоты ни у кого не было. Но азарт Биргера, его веселая энергия, его неиссякаемый напор постепенно заражал нас всех, и даже самые угрюмые и мрачные из нас в конце концов напяливали на себя заранее изготовленные художником маски: каждому предназначалась своя, уморительно-комичная, казалось, не имеющая ничего общего с оригиналом, но все же сохраняющая какие-то его черты, по которым сравнительно легко можно было его опознать. Лишь один человек из всей компании представлял в эти минуты перед нами без маски. Это был Андрей Сахаров. Но он в ней и не нуждался, ибо для него Биргером был придуман специальный костюм, состоявший из белой простыни (тоги), в которую он элегантно закутывался, и прикрывающего лысину лаврового венка. Остальное дополняла презрительно-высокомерная мина, которую научился придавать своему лицу Андрей Дмитриевич, что окончательно довершало его сходство с императором Нероном, как то и задумывалось художником и режиссером всего этого маскарадного действия.

Но вершиной, кульминацией всех этих празднеств был кукольный театр.

Началось с того, что в один прекрасный день Биргер сделал несколько кукол, карикатурно изображающих его самого и нескольких его ближайших друзей. Постепенно труппа этого будущего кукольного театра увеличивалась. Но довольно долгое время куклы безмолвствовали: нам просто демонстрировались их возможности при помощи какой-нибудь короткой пантомимы. Но вот настал торжественный день: юбилей художника. Биргеру, если не ошибаюсь, стукнуло тогда 60. И мы (группа ближайших друзей юбиляра) решили ознаменовать эту дату шуточным кукольным концертом. Каждой кукле была написана соответствующая роль: кому – юмористический монолог, кому – куплеты, кому – романс...

Особенно большой успех имели два номера.

На сцене Биргер (кукла) качал колыбельку, в которой лежали два пластмассовых голыша, а за сценой пел Вертинский:

Жил я бурно и весело, – каюсь!
Но жена всё к рукам прибрала:
Совершенно со мной не считаясь,
Мне двух дочек она родила.

Я был против: начнутся пелёнки!
Ну зачем себе жизнь осложнять...
Но залезли мне в сердце девчонки,
Как котятка в чужую кровать.

Доченьки, доченьки,
Доченьки мои...
Где ж вы, мои ноченьки!
Где вы, соловьи!

Всё, о чем пелось в этой песенке, – один к одному – совпало с новой семейной коллизией пятидесятилетнего Биргера, который незадолго до того женился на своей двадцатилетней Наташе, и она быстро родила ему двух дочек.

Еще больший успех имел другой номер, в котором Биргер (кукла), развалившись в кресле, дымил настоящей сигаретой, – а за сценой его, биргеровский, голос (на самом деле это был голос Игоря Кваши, который очень похоже грассировал «под

Биргера», чуть-чуть – еле заметно, без нажима – утрируя биргеровскую речевую манеру) читал составленный нами из разных кусков монолог Хлестакова. С наибольшим восторгом (хот, бурные аплодисменты) была воспринята аудиторией самая ударная – обреченная на успех – реплика Хлестакова из его письма «душе Тряпичкину»:

– Жуирую, волочусь напропалую за женой и дочкой... Не решился только, с которой начать, думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги...

Успех этой реплики тоже был связан с тем, что она живо напоминала всем зрителям хорошо им известную коллизию из биргеровского «донжуанского списка». И две легко узнаваемые героини этой коллизии тоже были тут, среди зрителей, и хохотали и аплодировали вместе со всеми (а что им было делать?)

В общем, концерт наш прошел с большим успехом. И вот тогда-то мы и подумали: а почему бы не сочинить для биргеровских кукол специальную пьесу и не разыграть на этой кукольной сцене настоящий спектакль?

На свою беду сочинить сценарий для будущего спектакля вызвался я. И с того дня это превратилось в мою постоянную обязанность. Помню, как-то накануне очередного новогоднего праздника приехал ко мне Биргер с замечательной нашей актрисой Аллой Демидовой. В самой категорической форме они потребовали:

– Через неделю, самое большее через десять дней, чтобы пьеса была готова! А то у нас совсем не останется времени на репетиции.

Я был занят тогда очень срочной работой. Начал отнекиваться, стал подыскивать вместо себя другую кандидатуру. Но от Биргера не так-то просто было отвязаться: он не желал слышать никаких возражений. А очаровательная Алла помогала ему, пуская в ход свое неотразимое обаяние. Короче говоря, я сдался. Но при этом все-таки не скрыл своего недовольства: «Вот, откладываю серьезное, важное дело. И ради чего? Ради ерунды! Ради пустой забавы!»

И тут Биргер сказал:

– Ах, друг мой! Откуда мы с тобой знаем, что в этой жизни

важно, а что нет! Может быть, в конце концов окажется, что наш кукольный театр – это и есть самое важное и самое нужное из того, чем мы с тобою всю жизнь занимались!

Я вспомнил про Боккаччо, который всю жизнь писал какие-то скучные, ныне мало кому известные поэмы, а на досуге, забавляя друзей и приятелей, сочинил «Декамерон», принесший ему всю его посмертную славу, вспомнил еще какие-то такие же курьезы из истории мировой литературы, и невольно согласился с резонностью биргеровского замечания, подивившись его мудрости, скрывающейся под личиной беспечности и легкомыслия.

А потом, когда пьеса была уже сочинена, мы приступили к репетициям. И я, жалкий дилетант, участвовал в ее сценическом воплощении бок о бок с самыми прославленными артистами нашей страны – Аллой Демидовой, Игорем Квашой, Вениамином Смеховым. И поражался, как трепетно относились они к этой нашей шутливой затее. Как, когда все уже было готово и до сбора гостей оставались считанные минуты, требовали еще каких-то новых усовершенствований, прогонов и репетиций... Положа руку на сердце, могу сказать: это были самые веселые, а может быть, – прав, прав оказался Биргер! – и самые наполненные духом истинного творчества минуты моей жизни.

Тексты двух пьес, сочиненных мною тогда для этого нашего кукольного театра, у меня сохранились. И сейчас, перечитав их, я подумал, что, пожалуй, есть смысл включить их в эту главу моих воспоминаний. Во-первых, потому что никаким другим способом я не смогу лучше передать атмосферу тех наших сборищ. Но еще и потому, что в тогдашних наших капустниках отразилось и нечто большее: общественные тенденции, или – выразусь скромнее – общественные настроения: ожидания, надежды, иллюзии и разочарования, которыми мы (и не только мы) жили в те, как теперь принято говорить, судьбоносные годы. Первая из этих двух сохранившихся у меня пьес была представлена на нашей сцене 1-го апреля 1986 года.

Называлась она – «Свежий ветер перемен».

Заглавие это имело в виду нашу так называемую перестрой-

ку, которую нам только еще предстояло начать, и, как вы сейчас увидите, несло в себе немалую толику иронии.

Итак:

СВЕЖИЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Драма в одном действии и двадцати четырех поцелуях

Занавес изображает портал Манежа. Наверху алое полотнище, на котором написано: «СВЕЖИЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». На другом таком же полотнище – лозунг: «БИРГЕРИЗМ НЕИЗБЕЖЕН!». Ниже – афиша: «БОРИС БИРГЕР. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА».

Звучит голос БУЛАТА:

Свежий ветер перемен
Дует так нечасто.
Этой милостью судьбы
Надо дорожить.
Скоро все мои друзья
Выбьются в начальство,
И, конечно, сразу мне
Станет легче жить...

Песенка смолкает, и сразу – гул возбужденных голосов.
Сперва все говорят почти одновременно:

- Наконец-то!
- Дожили!
- Выставка!
- Персональная!!
- Биргер!
- Вернисаж!
- Вот он – свежий ветер перемен!
- Да! Если до Биргера дело дошло, значит, это серьезно!
- А вы не верили!
- Граждане! Вы мешаете движению транспорта!
- Вот так всегда! Чуть что – сразу милиция!
- Что вы хотите, голубчик, это же Россия!

ХОР ГОЛОСОВ (*скандирует*). Бир-гер!.. Бир-гер!.. Бир-гер!
ГОЛОС МИЛИЦИОНЕРА. Граждане! Давайте не будем!
Давайте проявим сознательность!

ГОЛОСА: – Мракобесы!

– Душителы!

– Сатрапы!

ГОЛОС БЕЛЛЫ. Свободы, гения и славы палачи!

ГОЛОС МИЛИЦИОНЕРА. Да разве я против? Вот откроют – и пожалуйста! Смотрите на этого своего Бир-хера хоть до самой ночи!

БЛАГОРАЗУМНЫЙ ГОЛОС. В самом деле, друзья! Столь-ко лет ждали, подождем еще десять минут.

Общий гул голосов смолкает. Перед порталом проходят пары, обмениваясь короткими репликами.

ПЕРВАЯ ПАРА: – Слыхали? Любимов уже в Москве. Репетирует на Таганке пьесу Войновича «Трибунал».

– А как же Эфрос?

– Эфросу дают МХАТ.

– Туда ему и дорога!

Проходят.

ВТОРАЯ ПАРА (*это две дамы*):

– Моя педикюрша сказала, что скоро откроют частные парикмахерские.

– Бог с ними, с парикмахерскими. Я мечтаю о частных кондитерских. Помните эклеры с заварным кремом в Столешниковом?

– А кофе-глассе? А шампань-коблер в коктейль-холле?

– Боже! Ну кому это всё мешало!

Проходят.

ТРЕТЬЯ ПАРА (*пикейные жилеты*):

– Дух Женевы... Разрядка.. Продналог... Рыночные отношения... Гласность... Всё это – ерунда! Главное – Биргер!

– Совершенно с вами согласен. Я всегда говорил, что отношение властей к Биргеру – это барометр нашей политической жизни.

– Верно, верно. Биргер – это лакмусовая бумажка!

Проходят.

БЕЛЛА (*она одна*): О, этот ветер! Этот трепетный и нежный, яростный и хрупкий, волшебный и таинственный ветер перемен! Я чувствую его всеми нервными клетками, всей своей иззябшей, пересохшей гортанью! Кончилась наконец эта нестерпимая духота вокруг! Густой толчеей крови и нежностью памяти я ощущаю небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты! И так сладко остудить наконец на этом ветру мой воспаленный, горячий лоб!

Проходит.

ЧЕТВЕРТАЯ ПАРА (*это Бен Сарнов и Игорь Кваша*).

БЕН (*возбужденно*): – Ну?! Что я тебе говорил?!

ИГОРЬ. Это ТЫ мне говорил?! Это Я тебе говорил!

БЕН. Ладно, старик! Не будем спорить. Важно, что мы с тобой наконец-то дожили до этого дня! Поздравляю!

ИГОРЬ. И я тебя, старик! От души!

Долго, со вкусом целуются.

БЕН. Я думаю, что мы о тобой сейчас даже еще не в состоянии оценить всю значительность этого события.

ИГОРЬ. Ну почему же не в состоянии? Я прекрасно понимаю, какое место занимает Биргер в нашем изобразительном искусстве.

БЕН. Ну вот!.. Я так и знал!.. Как ты мелко мыслишь, старик! Ну при чем тут изобразительное искусство?

ИГОРЬ. То есть как?.. Впрочем... Да, пожалуй, ты прав. Выставка Биргера, безусловно, окажет мощное воздействие и на театр, и на музыку, и...

БЕН (*презрительно*). Театр... музыка... Мелко, мелко, старичок... Ты понимаешь, что сейчас произойдет?!

ИГОРЬ. А чего тут понимать?

БЕН. Нет, ты понимаешь, ЧТО... СЕЙЧАС... ПРО-И-ЗОЙ-ДЁТ?!

ИГОРЬ. Да что я, глупее тебя, что ли? Конечно, понимаю!

БЕН. Ни ху... прости, старик... Ни хрена ты не понимаешь!.. Ты только представь!.. Ты включи свое воображение, старик. Свою художественную фантазию...

ИГОРЬ. Ну, включил...

БЕН. Сейчас откроется эта дверь... Министр культуры пережет ленточку и... И что мы увидим?

ИГОРЬ. Картины Биргера.

БЕН. Верно. Ты изумительно догадлив, старик. А на картинах-то – кто?..

ИГОРЬ. Как это – кто? Мы с тобой! Ты, я, Алла, Олег Чухонцев, Игорь Виноградов...

БЕН. Ну?

ИГОРЬ. Что – ну?

БЕН. Нет, ты неисправим... Ты, оказывается, не только скептик, но еще и тупица!.. Ну подумай, пошевели извилинами... В Манеже висит портрет Игоря Виноградова...

ИГОРЬ. Да... Ты прав, старик... Игорю, конечно, это будет приятно...

БЕН. Ах, ну при чем тут это! Приятно, неприятно... Разве об этом речь?

ИГОРЬ. А о чем же?

БЕН. Неужели ты думаешь, что после того, как портрет Игоря Виноградова будет висеть в Манеже, после того как этот портрет увидит... (*шепчет Игорю на ухо*)... и даже сам... (*шепчет на ухо*) ... Неужели ты думаешь, что после этого всё останется по-прежнему?

ИГОРЬ. Кажется, я начинаю тебя понимать, старик!.. Да, ты, безусловно, прав. После этой выставки у Игоря, безусловно, появится шанс стать... ну, скажем, редактором «Нового мира»...

БЕН. Ха-ха!.. Редактором «Нового мира»!.. Не смей меня, старик! Министром культуры! Не меньше! А может быть, даже и... (*шепчет ему что-то на ухо*). Ты представляешь, старик, какая тогда у нас о тобой начнется жизнь?..

ИГОРЬ. Старик! Я всегда верил в твое политическое чутье. Но сегодня... Ты превзошел самого себя. Дай я тебя обниму, старик!

Целуются.

БЕН. Слава богу, наконец-то до тебя дошло!.. А теперь шевели дальше своими извилинами. Здесь, в Манеже, будет висеть портрет не одного только Игоря Виноградова.

ИГОРЬ. Ну, конечно! Наверняка там будут представлены все биргеровские модели. И Эдик Денисов. И Валя Непомнящий. И Фазиль...

БЕН. Значит?

ИГОРЬ. Значит, и они тоже станут?.. Какое счастье!!!

Кидаются друг другу в объятия,
застывают в долгом поцелуе.

Звучит голос БУЛАТА:

Робость давнюю свою
Я теперь осилю.
Как пойдут мои дела,
Можно не гадать.
Зайду к Бену в кабинет,
Загляну к Фазилю
И на сердце у меня
Будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет,
Скажу: – Здравствуй, Белла!
Скажу: – Дело у меня,
Помоги решить.
Она скажет: – Ерунда!
Разве это дело?
И, конечно, сразу мне
Станет легче жить...

Появляется Белла.

БЕЛЛА. Булат! Милый! Я рада помочь тебе чем угодно, но умоляю! Только не это!.. В кабинете я зачехну! Кабинет – это не для нас... Ты, я... Ведь мы являем собою измышление поэзии, её шедевр, в гармонии объединяющий все достоинства души без единого изъяна... Впрочем, если ты мне прикажешь, я готова... Я принесу эту жертву... Я приму любой пост... Я готова распять себя на кресте любой должности, даже самой высокой, чтобы облегчить твою горестную участь бедного сына гармонии...

БЕН. Ну что, скептик? Теперь ты поверил наконец?.. Какое счастье – жить в стране, где все мечты сбываются!

БЕЛЛА. Бен! Это вы?.. Я чувствовала... я знала... Острым провѣдением лопаток я уловила тонкий сигнал вашего привета, обращенный ко мне!.. Меж нами было нечто вроде вендетты. Я даже посмела однажды, обезумев от сильного чувства и помертвев, как пѣс, утративший зрение и слух, вызвать вас на дуэль. Но теперь не время раздоров! Возьмемся за руки, друзья! Забудем наши мелкие распри и сольем в едином порыве наши опустошенные сердца!

Целуются.

Я всегда преклонялась пред вашим драгоценным, тонким и печальным даром, милый Игорь! (*Поцелуй.*) Я всегда нежно и трепетно уважала вас, милый Бен! (*Поцелуй.*)

БЕН. Спасибо, дорогая! Я тоже всегда ценил и уважал вас!

Целуются. Появляется служитель Манежа.

СЛУЖИТЕЛЬ. Ну вот... До двух еще далеко, а эти уже строблись. (*Передразнивает.*) «Я тебя уважаю!.. Ты меня уважаешь!..» И где только они её достают, проклятую!..

БЕЛЛА. Вы ошибаетесь, друг мой! Мы кристально и ослепительно трезвы.

СЛУЖИТЕЛЬ. Трезвые... Вижу я, какие вы трезвые... А коли трезвые, так вам тут и вовсе делать нечего... Вы что, выставок не видели, что ли?

БЕЛЛА. Т а к и х – еще не видели! Она предстанет сейчас

пред взором ленивых невежд, сверкая и сияя всей небывало-стью своих причуд и расцветок.

БЕН. Белла! Не унижайся! Перед кем ты мечешь бисер?

БЕЛЛА. Нет, он поймет! Я умею говорить с народом. Народ неизменно внимает мне своей девственной, чистой, нетронутой душой. (*Служителю.*) Друг мой! Сейчас распахнутся двери этого храма, еще недавно являвшего собой убогий балаган, и выставка Биргера радугой вырвется из скуки одноцветья и предстанет пред вами подобно фазану, таинственная и ослепительная...

СЛУЖИТЕЛЬ. Ты мне тут не мяукай! Им вот мяукай. А мне – нечего!

БЕЛЛА. Хам!

ИГОРЬ. Не сердись на него, Белла! Твой слог слишком высок для него. Надо прощ! Сейчас я ему всё объясню. (*Служителю.*) Неужели ты не чувствуешь, отец, как он дует, этот ветер... Свежий ветер перемен...

СЛУЖИТЕЛЬ. День нынче ветренный. Это точно... Тем более, граждане, нечего вам тут стоять. Неровен час, еще простынете...

ИГОРЬ (*вдохновляясь*). Это ветер истории!.. Он дует в наши паруса, отец! Понимаешь? В наши, н а ш и паруса! Стало быть, и в твои тоже!

СЛУЖИТЕЛЬ. Вроде не молоденькие уже, а ровно дети. Ну чистые дети, ей-богу! (*Уходит.*)

ИГОРЬ (*огорченно*). Ну вот... Изволь творить с таким народом,

БЕН. Не огорчайся, Игорь! Свежий ветер перемен коснетя и его! Пока он еще этого не понимает, но это будет! Будет!

ИГОРЬ. Будет-то – будет... Но когда?.. Через триста лет?

БЕН. Опять... Опять этот проклятый еврейский скепсис! Старик, я не антисемит. Но, между нами, именно за это вас, евреев, и не любят. Перестань ты брюзжать! Поверь моей интуиции! Свежий ветер перемен... Мы с тобой еще почувствуем его, старик...

ИГОРЬ. Безусловно... Конечно... Мы еще почувствуем... Но...

БЕН. Никаких «но»... Не омрачай своим унынием этот великий момент!

ИГОРЬ. Я не омрачаю... я... я тоже счастлив... Ей-богу, счастлив!

Целуются.

БЕН. Игорь Виноградов... Фазиль... Белла... Это только начало!.. Ну-ка, давай вспоминать, кто там еще – в галерее биргеровских портретов?

ИГОРЬ. Алла...

БЕН. Алла получит свой театр. Можешь не сомневаться!.. Миша Левин...

ИГОРЬ. Миша, конечно, станет академиком.

БЕН (*презрительно*). Академиком... Нет, ты неисправим... По меньшей мере президентом Академии Наук!

ИГОРЬ. Какое счастье!

Целуются.

БЕН. А Эдик Денисов? Ты забыл Эдика!

ИГОРЬ. У Эдика и так всё есть. После его последнего триумфа в Париже ему, по-моему, уже нечего желать.

БЕН. Ну почему? Он может стать директором Гранд-Опера!

ИГОРЬ. Ну, это ты, брат, хватил. Директором Гранд-Опера? Каким образом?

БЕН. По культурному обмену... Ты всё-таки так и не понял, в какое время мы живем... Свежий ветер перемен, старик! Горбачев скажет Миттерану, и – всё! Дело в шляпе.

ИГОРЬ. Старик! Ты открываешь мне глаза!

Целуются.

БЕН. Кто там еще у нас остался?

ИГОРЬ. Олег...

БЕН. Ну, с Олегом всё ясно...

ИГОРЬ. Олегу я бы дал «Новый мир».

БЕН. Нет, с журналом Олег не справится. Между нами говоря, у него в голове такая каша... Да и на что ему журнал?..

Олег издаст наконец полное собрание своих сочинений. В двенадцати томах...

БЕЛЛА. С вашим предисловием, Бен! Пристальное чтение волшебных стихов Олега станет легче и благодатней для всех, если вы предпшлете им предысторию заведомой нежности к поэту, к его мятежному и сложному нраву, к его обширному, не простому, нежному и хрупкому дарованию, столь дорогому для тех, кто говорит с ним на одном языке.

Целуются.

ИГОРЬ (*Бену, строго*). Ну... А ты?

БЕН (*смущенно*). Что я?

ИГОРЬ. Лентяй паршивый! Если бы ты не валялся все эти годы на диване, да не играл дни и ночи напролет в шахматы, ты бы тоже мог издать двенадцатитомное собрание... А так...

БЕН. А так я издам томов шесть. Также неплохо...

ИГОРЬ. Шесть... Интересно, откуда это у тебя наберется шесть томов?

БЕН (*неуверенно*). Я... я мог бы включить свою переписку с Рассадиным...

ИГОРЬ. Не смей меня, старик! Ну кому интересна твоя переписка с Рассадиным! Вот если бы... А ведь это идея! (*Шепчет ему на ухо громким шепотом.*) Войнович!

БЕН (*с сомнением*). Ты думаешь это возможно?

ИГОРЬ. Уверен!

БЕН. Вообще-то ты прав. Он ведь тоже входит в число биргеровских моделей.

ИГОРЬ. Помяни мое слово, старик! Не пройдет и двух месяцев, и он будет здесь, среди нас!

БЕЛЛА. Володя! Наш дорогой, незабвенный, гордый и застенчивый Володя! Я не могу вам изъяснить, как трогательно и нежно я в нем нуждаюсь! Как горячо, робко, мучительно и больно я его люблю! Неужели это возможно? Неужели он вновь будет с нами?

БЕН. Не только он! И Копелев, и Вася Аксенов, и Эмма Коржавин, и Вика Некрасов... Даже Игорь Голомшток... Все, кого писал Биргер, скоро будут здесь...

ИГОРЬ. И Андрей?

БЕН. Конечно! И Андрей с Марьей...

ИГОРЬ. Да я не про того Андрея...

БЕН. А про какого же?

ИГОРЬ (*шепотом*). Двойной портрет...

БЕЛЛА. Это будет! Будет! Я чувствую: мы с вами обречены этому счастью! Минет неделя, другая, и все люди, обнимаясь и плача, оповестят друг друга об этой радости!

ИГОРЬ. Нет, это вряд ли... До этого, я думаю, дело не дойдет.

БЕН. А я думаю, что Белла права! Не пройдет и месяца, как он будет в Москве... На худой конец, в Вермонте...

ИГОРЬ. А тот?.. Ну, вы меня понимаете... Тот, кто сейчас в Вермонте?..

БЕН. А его – в Горький. По культурному обмену!

Возникает сначала далекий, потом доносящийся
всё ближе и ближе гул голосов.
Все говорят почти одновременно.

– Идут! идут!

– Сейчас начнется!

– Да пустите же! Вы меня задушите!

– Такого скопления машин с иностранными флажками я в жизни не видал!

– Еще бы! Весь дипломатический корпус здесь.

– Говорят, Рейган прилетел. И Маргарет Тэтчер,

– Не может быть!

– Почему не может? Это ведь не какой-нибудь там Пикассо или Шагал! Это Биргер!

ИГОРЬ. Пойдемте, друзья... А то ведь потом нам не протиснуться.

БЕЛЛА. Да, я должна... Нет, это не долг: это зов сердца, веление духа. Сегодня утром, когда до слуха моего донеслось драгоценное имя Бориса Биргера, моя озябшая душа так и встрепенулась... Борис! Милый, несравненный Борис! Как я люблю его! Будь моя воля, я бы всю жизнь смотрела, как он похаживает возле своих дивных полотен, застенчиво объявляя

их названья и смысл, ободряя родительским взором соцветья
и созвездья красок...

Уходят. Перед порталом проходят пары, обмениваясь
репликами.

ПЕРВАЯ ПАРА:

- Говорят, эта выставка будет постоянной.
- Да нет! Для работ Биргера уже строится новое, специальное здание.

Проходят.

ВТОРАЯ ПАРА:

- У меня сосед... генерал... Не простой генерал... Ну, вы понимаете... Так вот, он сказал мне... Это пока не для широкой огласки, вы понимаете... Биргеру дают зал в Лувре, зал в Уфицци и зал в музее Гугенхайма...

- Вот так у нас всегда! Как только появится что-нибудь выдающееся, так сразу мы отдаем это иностранцам! Не умеем мы хранить наши национальные богатства! Нет, не умеем!

Проходят.

ТРЕТЬЯ ПАРА (*две дамы*):

- Слыхали? Биргера прикрепили к Кремлевке и дали ему постоянный пропуск в двухсотую секцию ГУМа.

- Чепуха! Ведь все привилегии отменены.

- Для всех отменены, но для Биргера будет сделано исключение.

Проходят.

ГОЛОСА: Бир-гер!.. Бир-гер!

Появляется Биргер в сопровождении свиты важных лиц.

Один из свиты (зрители должны узнать в нем служителя Манежа) выходит вперед и прокашливается.

ГОЛОСА:

– Кто это?

– Министр...

– Министр культуры...

МИНИСТР. Дорогие товарищи! Дорогие зарубежные гости! Позвольте начать...

ГОЛОСА.

– Просим!

– Ура-а!

– Слава Биргеру!

МИНИСТР. В своем кратком вступительном слове я хотел бы отметить, товарищи, что искусство товарища Бирхера – явление сложное, противоречивое и во многом спорное. Будем говорить прямо, товарищи, – это не наше искусство!

ГОЛОСА:

– Безобразие!

– Позор!

– Слушайте! Слушайте!

МИНИСТР. Многими своими аспектами творчество Бирхера смыкается с самыми безобразными, самыми отталкивающими и, я не боюсь этого слова, товарищи, самыми омерзительными проявлениями буржуазного модернизма, абстракционизма, сионизма и алкоголизма...

ГОЛОС ИГОРЯ. Какой кошмар! Что он говорит?!

ГОЛОС БЕНА. Ах, старик! Неужели ты не понимаешь? Это просто тактический ход. Нельзя же иначе!

МИНИСТР. Но обстановка сложная, товарищи... Свежий ветер перемен...

ГОЛОС БЕНА. Ну?! Что я тебе говорил?

ГОЛОСА. Слушайте! Слушайте!

МИНИСТР. Свежий ветер перемен, а также активизация сил империализма и сионизма вынуждает нас полбжить на одну чашу весов выдающиеся произведения социалистического реализма, а на другую так называемое творчество отдельных отщепенцев и, я не боюсь этого слова, товарищи, – подонков нашего общества, одним из которых безусловно является наш уважаемый товарищ Бирхер!

Хлопает в ладоши.

ГОЛОСА (*восторженно скандируют*): Бир-гер! Бир-гер! Бир-гер!

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОЗГЛАСЫ:

– Выше голову, Борис!

– Мы с тобой!

– Не обращайтесь вниманья, маэстро!

– Мы с вами, Борис Георгиевич!

БИРГЕР. Ничего, друзья!.. Отобьемся! Старый Биргер вас не подведет!

Пока звучат эти голоса, министр перерезает ленточку, занавес падает, и взору присутствующих открываются картины. Это типичные образчики самого махрового, плакатного соцреализма: рабочий с отбойным молотком, колхозница, солдат с автоматом, пионеры, Ленин на трибуне и т.п. Наступает мгновенная тишина: все выкрики, возгласы и проч. – как ножом отрезало.

БИРГЕР. Либер Фройнде!.. Дорогие друзья!.. Позвольте провозгласить мое сегодняшнее художественное кредо: Проза Георгия Маркова! Поэзия Егора Исаева! Музыка Хренникова! Живопись Биргера!

Гробовое молчание. Занавес медленно закрывается.
Перед занавесом снова Бен и Игорь.

БЕН (*уныло*). Ну?.. Что я тебе говорил?

ИГОРЬ. Это ТЫ мне говорил?.. Это Я тебе говорил!

Звучит грустный голос БУЛАТА:

Города моей страны
Все в леса одеты.
Звук пилы и топора
Трудно заглушить.
Это для друзей моих
Строят кабинеты.
Вот построят, и тогда
Станет легче жить.

* * *

Как я уже сказал, разыгрывали мы эту пьесу втроем: Алла, Игорь и я. Все мужские роли распределили между собой мы с Игорем, женские, естественно, достались Алле. А песню Булата пел Булат. Не сам, конечно: звучал его голос, записанный на магнитофонную ленту.

Это последнее обстоятельство слегка меня беспокоило.

Песенка Булата, которая по моему замыслу должна была звучать до начала представления и заключать его, начиналась так:

Что-то дождичек удач
падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой
стоит дорожить...

В песне это было прекрасно. Но для той роли, которую я отвел этой песне в спектакле, такое начало решительно не годилось. И я сочинил две другие начальные строчки:

Свежий ветер перемен
дует так не часто.
Этой милостью судьбы
надо дорожить...

Но как присобачить их к Булатовской песне? Не просить же самого Булата спеть всю песню заново с этими моими строчками! Может заартачиться. Или – еще того хуже! – обидится, что я так бесцеремонно обошелся с его песней.

Но беспокоился я зря. Профессионалы легко разрешили эту задачу. Как-то там смикшировали голос Булата, и Веня Смехов, поддельываясь под Булата, пропел мои две строчки, так ловко попав в ритм и тон музыкальной фразы, что и сам Булат, наверно, не заметил бы подделки.

Игорь в роли Биргера был хорош, но это был все-таки не совсем Биргер, а чуть утрированный, шаржированный Биргер. Что же касается Беллы, реплики которой «озвучила» Алла, то это была – сама Белла. Голос и речевую манеру знаменитой нашей поэтессы Алла воспроизвела с изумительной

точностью. А голос и манера эта сами по себе были так бесподобно выразительны, что не было никакой нужды их утрировать.

Помимо реплик Беллы в передаче Аллы Демидовой, особый успех имела финальная реплика Биргера: «Позвольте провозгласить мое сегодняшнее художественное кредо: Проза Георгия Маркова! Поэзия Егора Исаева! Музыка Хренникова! Живопись Биргера!»

Дело тут было в том, что все наши зрители не раз слышали из уст Бориса такую – постоянно им повторявшуюся – словесную формулу: «Проза Войновича! Поэзия Чухонцева! Музыка Эдисона Денисова! Живопись Биргера!» Так что тут сработал эффект узнавания «перевернутого» знакомого текста. Ну и, конечно, грустный смысл этой реплики в контексте всего сюжета пьесы: несмотря на «свежий ветер перемен», получить право на персональную выставку опальный художник – даже если его при этом обзовут «подонком нашего общества» – может только в том случае, если он кардинально изменит свое «художественное кредо», предаст себя и своих друзей-единомышленников, заменив их звездами официального псевдоискусства.

Получается, что в апреле 1986 года, то есть спустя целый год после прихода к власти нового генсека, ни на грош не верили мы в эту обещанную нам «перестройку». Много уже слышали мы в своей жизни таких обещаний и потому пребывали в неискоренимой уверенности, что все эти радостные посулы – очередной блеф. Что бы там ни пели ОНИ нам со своих высоких трибун, в наш тесный круг друзей-единомышленников этот «свежий ветер» никаких существенных перемен все равно не внесет.

Так думали тогда, я полагаю, мы все.

И ошиблись.

Выяснилось это уже через год, и об этом была вторая моя пьеса:

РАЗГУЛ ДЕМОКРАТИИ

Народная драма в одном действии, трех картинах.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Площадь перед аэровокзалом «Шереметьево». Пестрая толпа, в которой пока нет ни одного знакомого лица. Над толпой плывет портрет Биргера. Звуки гармоники, притоптыванья, залихватские выкрики «Эх!», «Ух!», взвизгиванья.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (*поет*).

Самолет, стальная птица,
В небе кувыркается.

МУЖСКОЙ ГОЛОС.

Кто не ездил за границу,
Нынче отправляется.

Отыгрыш, взвизгиванья, топот.

ДРУГОЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС.

В заграничные круизы
Как один получим визы.
С разрешения ОВИРа
Постоим за дело мира.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС.

Мы от слез совсем опухнем,
Ошалеем с горя.
Уезжает в город Мюнхен
Наш любимый Боря!

ДРУГОЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС.

И в мороз и в летний зной
Нынче Биргер выездной.

МРАЧНЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС.

За бугор укотится,
Обратно не воротится.

Отыгрыш. Снова визг, топот, залихватские
выкрики. Все скандируют:

– Бир-гер! Бир-гер! Выездной! Погляди на шар земной!

Чуть сбоку возникают два алкаша.

ПЕРВЫЙ. Вась, а Вась, кого провожают-то?

ВТОРОЙ. Да еврея какого-то. То ли Бригера, то ли Бергера.

ПЕРВЫЙ. Гляди-ка! Опять их выпускать начали. Вот паразиты! А нас с тобой никуда не выпускают.

ВТОРОЙ. Боятся, Толик! Боятся, чтоб утечка мозгов не началась!

Появляется Биргер с маленьким чемоданчиком
в окружении провожающих его друзей.

СЛАВА (*поет*).

Стало нынче на Руси
Больше демократии.
Биргера, хоть не проси,
Восстановят в партии.

НЕПОМНЯЩИЙ (*стоит одиноко, чуть поодаль от всех друзей, мрачно*).

Русь жива, простора хватит
Здесь и сердцу и уму.
А разгулы демократий
Нам, славянам, ни к чему!

БЕН.

Больше нечего тужить,
Кончились напасти.
Оказалось, можно жить
При Советской власти.

БУЛАТ (*наигрывает на гитаре, поет*).

На фоне Пушкина, и птичка вылетает...

БИРГЕР. Друзья! Мы не опаздываем?.. Пойду узнаю. (*Исчезает.*)

СЛАВА. Боря! Боря! Ты не забыл про свое обещание?

БИРГЕР (*появляется*). Помню, помню, Славочка. Всё выполню. Не гневайся. Только сначала узнаю, не опаздывает ли самолет. (*Исчезает.*)

СЛАВА (*вслед*).

Пригласи меня в Европу,
Я не буду гневная.
Окунуть бы только попу
В море Средиземное.

БЕН. Интересно, кто там будет тебя содержать, в этой Европе? Общий рынок?

СЛАВА.

Я полы готова мыть
Там с утра до вечера,
Лишь бы только навестить
Миттерана с Тэтчерой.

БИРГЕР (*появляется*). Поедешь, Славочка! Я тебе это гарантирую. Уж если старого Биргера выпустили, значит теперь всех пустят.

ИГОРЬ.

С каждым днем всё на Руси
Больше демократии.
Скажем мы за всё мерси
Нашей славной партии!

БУЛАТ (*напевает*). А иначе зачем на земле этой вечной живу...

БИРГЕР. А мы не опаздываем?.. Схожу узнаю. (*Опять исчезает.*)

БЕЛЛА.

Борис! Мне страшно! Уж который год
Звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих томительный исход
Враждебной тьме безжалостно угоден.
Не покидай нас, милый мой Борис!
Не продавай святого первородства!
А если нас покинешь, то вернись,
Не умножая моего сиротства.

БИРГЕР (*появляется*). Конечно, Белла! Я непременно вернусь! Что мне там делать?

БЕЛЛА.

Тебя мы встретим в этой же толпе,
На том конце замедленного жеста,

И я сумею вновь прильнуть к тебе
И ощутить сиротство, как блаженство.

ВСЕ (*вразнобой*). Отличная мысль!.. Ровно через две недели!
Мы встретим тебя!.. Здесь... Через две недели!.. Обязательно
встретим... Все... Все вместе...

БУЛАТ (*поет*).

Пока не грянула пора
Нам отправляться понемногу,
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, ей-богу!

ПЕРЕД ВТОРОЙ КАРТИНОЙ

Звучат голоса дикторов разных радиостанций. Первый голос несколько слов произносит по-немецки, затем мы слышим русский текст.

– Говорит радиостанция «Немецкая волна» из Кельна. Ровно месяц продолжался визит в нашу страну известного советского художника Бориса Биргера. Интересно, что это уже второй визит Биргера в Германию. Впервые он был здесь в 1945 году вместе с Советской армией. На этот раз у него хватило ума приехать без нее. В своей стране этот художник почти не известен, зато на Западе пользуется огромной популярностью. Достаточно сказать, что его картины продаются по ценам, которые сам художник убедительно просил нас не называть. Выставки, проходившие в трех городах Германии, вызвали огромный интерес немецких любителей живописи. Сам художник, несмотря на свой возраст, молодежав, подтянут и полон сил и желаний поехать еще куда-нибудь.

– Говорит радиостанция «Свобода» из Мюнхена. Полемические заметки. Итак, Биргера выпустили за границу. Что это? Слабость советского режима или очередная уловка Кремля? Пока сказать трудно. Ясно лишь одно: если художника-опозиционера, в свое время исключенного из рядов КПСС, посылают за рубеж, значит, от Запада потребуют новых уступок в области ракет среднего радиуса действия. В связи с этим очень

жаль, что талантливый художник стал пешкой в политической игре Кремля.

– Продолжаем программу «Время». Новости культуры. Сегодня после долгой и продолжительной поездки по городам ФРГ на родину возвращается известный советский художник Биргер. Кому у нас в стране не известно имя этого замечательного художника? Глазунов, Шилов, Биргер – вот имена, достойно представляющие современное изобразительное искусство. Борис Биргер постоянно находится в самой гуще жизни. Из-под его кисти не раз выходили портреты наших современников: знаменитых писателей, ученых, артистов и даже портрет трижды Героя в прошлом Социалистического Труда. В этом году замечательному художнику исполнилось 60 лет, в связи с чем Президиум Верховного Совета СССР решил наградить его этой поездкой.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Площадь перед зданием аэровокзала. Рев приземляющегося самолета.

ГОЛОС ДИКТОРА. Внимание! Прибыл самолет «Люфтганза» Мюнхен-Москва, рейс номер 517.

На фоне неразборчивого гула многих голосов этот текст диктора повторяется сперва по-английски, затем по-немецки. Некоторое время сцена пуста. Затем появляется Биргер. Он одет уже не так, как в первой картине. На нем заграничная кепка, супермодное пальто и т.п. Вместо маленького чемоданчика – груда баулов с ярлыками и наклейками. Навстречу Биргеру движется ПРОХОЖИЙ, слегка помятый и не пришедший в себя после вчерашнего.

ПРОХОЖИЙ. Эй, еврей! Дай рубль!

БИРГЕР. Извини, брат, у меня только марки.

ПРОХОЖИЙ. Марки мы не собираем. Баловство...

БИРГЕР (*присаживается на чемодан*). Фу-у!.. Наконец-то я дома!..

ПРОХОЖИЙ. Что? Худо тебе там было?

БИРГЕР. Ой, милый, худо. Так худо! Хоть и на руках меня носили, и речи говорили. Вы, говорят, современный Рембрандт. Вермеер вы, говорят. Истинный Гольбейн.

ПРОХОЖИЙ. Хы! Стоило туда ездить. Да тебе и здесь на каждом углу скажут, что ты Гольбейн и больше никто!

БИРГЕР. Ах, братец, не в именах дело! Что слава?.. Дым... Мираж. Нет, милый, истинное счастье только в дружбе, в братском единении душ. А у них там – разобщенность, тоска, одиночество. И вражда... Все друг с другом враждуют. (*Поет.*)

Много, братец, за границей
Непереносимого!
Волком смотрит Солженицын
Даже на Максимова.

А Максимов сам горит
Ненавистью классовою.
То и дело норовит
Укусить Некрасова.

ПРОХОЖИЙ. Надо же! Страсти-то какие... А я думал, там хорошо.

БИРГЕР. Эх, милый... Как говорится, там хорошо, где нас нет.

ПРОХОЖИЙ. Известное дело! Где нас нет, там, конечно, хорошо.

БИРГЕР. Ну а здесь-то, здесь что происходит? Расскажи, милый, ведь целый месяц дома не был.

ПРОХОЖИЙ. А что здесь?.. Здесь всё по-прежнему. Сплошная демократия. (*Поет.*)

Не решен с едой вопрос.
С водкой хреновато.
Но зато на каждый пост
По два кандидата.
На собраниях с шести
И до полдесятого
Кроем, мать его эти,
Рейгана проклятого.

Вечерком в кафе зайдешь,
Грязно там и тесно,
Но зато, едрена вошь,
Гласность повсеместно.
Телевизор свой включишь –
Там пресс-конференция.
Как баран сидишь-глядишь
На интеллигенцию.
Нет картошки, нет пшена,
Обуви с одежею.
В общем, нету ни хрена,
Кроме ветра свежего!

БИРГЕР. Да, братец, какой-то у тебя мрачный взгляд. Ну, ничего, увижу своих друзей, они мне всё расскажут.

ПРОХОЖИЙ. А что ж дружки тебя не встречают? Может, забыли?

БИРГЕР. Что ты! Они меня ждут в мастерской. Ах, друзья!.. Верные мои, славные друзья! Как я счастлив, что наконец-то вас всех увижу. Ну, прощай, братец, может, еще увидимся.

ПРОХОЖИЙ. Конечно. Я тебя по телевизору увижу. Сейчас какой еврей возвращается, непременно по телевизору выступает.

Слышен шум проезжающей машины. Биргер с криком «Такси!» срывается со своими чемоданами и исчезает.

ПРОХОЖИЙ. Во, народ! Рубля, говорит, нет, а сам на такси уехал. Одно слово – бардак! Или, по-научному, демократия!

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Мастерская Биргера. По диагонали ее разгораживает длинный стол. Но он почему-то перевернут вверх ногами, а на него навалены стулья, мебель, холодильник. По одну сторону этого сооружения – Бен, Слава, Кваша, по другую – Белла, Олег, Непомнящий. Булат чуть в стороне со своей гитарой. По воздуху проносятся различные предметы, слышны отдельные викрики: «Эйдельман!», «Астафьев!», «Еврей!», «Русские!», «Интернационалист!», «Оппортунист!» Появляется Биргер. Никто не обращает на него внимания, все машут руками, орут.

БИРГЕР. Эй! Вы что?.. Какого чёрта!.. Вы что, с ума сошли?!

БЕН (*замечает Биргера*). А-а, Боря?.. Приехал?.. Молодец.

БИРГЕР. Что тут у вас происходит?

БЕН. Небольшая дискуссия... У нас теперь это постоянно. Шумим, брат, шумим...

БИРГЕР. Но почему стол перевернут?

БЕН. Это не стол. Это – баррикада. Мы теперь по разные стороны баррикад.

БИРГЕР. Чушь какая!

Крики: «Эйдельман!», «Астафьев!», «Сионист!», «Черная сотня!»

БИРГЕР. Ребята! Да прекратите вы этот галдеж. Олег!.. Бен!.. Послушайте лучше, я вам про Мюнхен расскажу. Про свою выставку...

Никто не обращает на него внимания. Все продолжают орать.

БИРГЕР. Знали бы вы, какой у меня был успех. Сам канцлер Коль обнял меня, говорит: ты, брат, и я, брат...

Конец его фразы тонет в новом взрыве криков. От одной группы орущих отделяется НЕПОМНЯЩИЙ, от другой – БЕН. Между ними начинается частушечная перепалка.

НЕПОМНЯЩИЙ.

Графоман и плагиатор
Ваш хваленый Эйдельман.
Он Гапон и провокатор
Православных христиан!

БЕН.

Ваш Астафьев изувер.
Нашли себе учителя!
Лучше брали бы пример
Вы с Христа-Спасителя!

БУЛАТ.

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью

Вдруг захотелось в ноженьки валиться,
Поверить в очарованность свою!

НЕПОМНЯЩИЙ.

Иностранных супостатов
Мы развеем в прах и в пыль.
Ну, а после всех пархатых
Сразу вышлем в Израиль!

ИГОРЬ.

Израэлем и Европой
Зря вы прокидаетесь.
Все уедут, с голой жопой
Вы одни останетесь!

НЕПОМНЯЩИЙ.

Нам не страшно ничего,
Хоть блоху подковывать.
Будем Пушкина свово
Сами истолковывать!

БУЛАТ.

Красивые и мудрые, как боги,
И грустные, как жители земли.

НЕПОМНЯЩИЙ. А ты, Олег, что молчишь? Видишь, их
сколько, а я один!

ОЛЕГ. Я в таком стиле дискутировать отказываюсь.

БЕЛЛА.

Он прав. Когда товарищей журят,
Я понимаю слов закономерность.
Но нежности моей закаменелость
Мешает слушать мне: как их корят.
Я знаю: злое сердце у Астафьева.
Но чей-то голос шепчет мне: оставь его!
Он не палач. Он лишь усталый раб
Своих страстей. Унылое злодейство
Его речей скорей от лицедейства,

А у Натана – дерзость иудейства,
Хоть он душой и совестью ослаб...

БИРГЕР (*пытаясь продолжить свой рассказ*). Вилли Брандт на выставку приходил. Обнял меня и говорит: ты, брат, и я Брандт...

БЕЛЛА.

Они мне гадки оба. Не таи
И ты, Борис, к обоим отвращения.
Но ведь они товарищи мои.
Ужели им не заслужить прощенья?

БЕН. Ребята! А ведь она права! Ей-богу, права!

СЛАВА. То есть как? Ты же сам только что говорил, что Астафьев изувер!

БЕН. Понимаешь, с одной стороны, он, конечно, изувер. Но с другой стороны...

СЛАВА. Ты это брось! Со мной такие штуки не проходят. Говори прямо: ты за Астафьева или за Эйдельмана?

БЕН. Что значит: или – или? У меня своя точка зрения.

СЛАВА. Нет! Ты не будешь болтаться, как говно в проруби!

ОЛЕГ. Бен, скажи, что ты в таком тоне полемизировать отказываешься.

БЕН. Я в таком тоне полемизировать отказываюсь!

СЛАВА. Ух, как я ненавижу твою еврейскую изворотливость!

БЕН. А-а, ты еще и антисемитка!

СЛАВА. Я антисемитка? Это ты антисемит! Это ты предал свой народ!

ИГОРЬ. Постой! Почему это он его предал?

СЛАВА. Потому, что пишет по-русски, а не по-еврейски, И ты тоже предал свой народ! Ты тоже предатель! Вы все предатели! Вы забыли свой родной язык! (*Поет*).

Авейни, шолом алейхем,
Авейни, шолом алейхем...

ИГОРЬ. Подумаешь, я тоже эту песню знаю. (*Подпевает.*)

СЛАВА И ИГОРЬ *(вместе)*.

Авейни, шолом, алейхем,
Авейни, шолом, шолом, шолом алейхем!

БЕН. Вы как хотите, а я остаюсь интернационалистом!
(Затягивает).

С интернационалом
Воспрянет род людской!..

ОЛЕГ И НЕПОМНЯЩИЙ *(вместе, хотя и несколько вразнобой)*.

Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам
Ца-арь православный!..

БУЛАТ.

Сумерки, Природа.
Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император
в голубом кафтане...
Следом – дуэлянты.
Флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.
Все они красавцы,
все они таланты,
все они поэты.

ОЛЕГ И НЕПОМНЯЩИЙ *(вместе)*.

Так за царя, за Русь, за нашу веру
Мы грянем громкое ура, ура, ура!..

БИРГЕР. Вы, говорят, Рембрандт... Тициан... Они все, гово-
рят, мизинца вашего не стоят...

Тут начинается нечто невообразимое. Поют все вместе, каждый свое.
«Авейни, шолом алейхем...», «С интернационалом...», «Боже, царя хра-
ни...», «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты...»

БЕН. О!.. Тут уже не баррикадами пахнет, а настоящей гражданской войной!

БУЛАТ.

Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое новое сражение
ни покачнуло б шар земной,
я все равно паду на той,
на той единственной гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.

ВСЕ ВМЕСТЕ.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...
Так за царя, за Русь за нашу веру...
Авейни, шолом, шолом, шолом алейхэм!..

БИРГЕР. Ребята! Вы спятили!.. Послушайте!.. *(отчаянно)*
Да замолчите же! *(Все замолкают.)* Братцы!.. Друзья! Как русский художник...

НЕПОМНЯЩИЙ. Окстись, Боря! Какой ты русский художник? Ты жалкий ученик голландца Рембрандта и еврея Левитана.

БИРГЕР. Ты не прав! Пусть я еврей, но я русский художник.

НЕПОМНЯЩИЙ. Русский?.. Да настоящий русский вообще за границу бы не поехал.

СЛАВА. А настоящий еврей вообще бы не вернулся!

БИРГЕР. Ну, хорошо, хорошо... Пусть вы даже правы... Но я как художник...

БЕН. А ты и не художник. Ты превратился в жалкого рантье, который стрижет купоны со своей славы. Извини, Боря, но ты уже не Биргер, ты — бюргер.

БИРГЕР. Ладно, ладно, согласен! Я не русский, я не художник... Но, братцы, друзья мои, я вернулся к вам после этой поездки...

НЕПОМНЯЩИЙ. А какая польза России от твоей поездки? Ты там только целовался с Гансом Дитрихом Геншером и про-

чими гансами. А вот скажи: ты хоть раз там выступил в защиту угнетенной русской церкви?

ИГОРЬ КВАША. Или на худой конец мог там голодовку объявить.

БИРГЕР. Против чего?

ИГОРЬ. Не знаю. Сам придумай. Хотя бы против засилья Волчек в театре «Современник».

БИРГЕР. Ребята! Братцы! Вы что, совсем с ума сошли?..

СЛАВА. Да что с ним разговаривать? Ату его!

Крики: «Эгоист!», «Выкрест!», «Продажная шура!», «Коммерсант!»

Друзья хватают Биргера и дружно выкидывают художника из его мастерской. Биргер остается один перед ширмой. Сбоку появляется прежний алкаш.

АЛКАШ. Эй, еврей, дай рубль!

БИРГЕР. Господи! Хотя один нормальный человек нашелся!.. *(Подозрительно.)* А может, ты тоже за Астафьева? Или за Эйдельмана?

АЛКАШ. Я за Ленина. Потому что он на рубле. Ну и за Сталина, конечно, потому что при нем водка была дешевая. *(Поет.)* О Стали-ине мудром, родно-ом и любви-имом...

БИРГЕР. Слава богу!.. Значит, не все еще спятили в этой несчастной стране!.. Дай, брат, я тебя поцелую!..

АЛКАШ. Пошли, бедолага. Примем по стакану. За дружбу.

Биргер и Алкаш обнимаются, поют.

БИРГЕР.

Поднявший меч на наш союз
Достоин будет худшей кары.

АЛКАШ.

И я за жизнь его, клянусь,
Не дам пустой стеклянной тары.

ВСЕ УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ *(высовываясь из-за ширм).*

Как вожделенно жаждет век
Нашупать брешь у нас в цепочке...

Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!

* * *

В этой пьесе появился у меня соавтор.

Возник он, правда, на поздней стадии, когда пьеса была уже написана. Но он не только прошелся по моему тексту «рукой мастера», но и внес в него свою – не такую уж малую – лепту.

Этим моим соавтором стал известный наш юморист – к сожалению, рано умерший – Аркадий Хайт. Тот самый, что сочинял сценарии для мультфильмов «А ну, погоди!», придумал «Радионяню» и кота Леопольда с его знаменитой репликой: «Ребята, давайте жить дружно!» (ему даже официально было присвоено звание: «Папа кота Леопольда»), писал монологи для Аркадия Райкина, Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна и Владимира Винокура.

Узнав, что он согласился приложить руку к моей пьесе, я и обрадовался, и испугался: а ну как он камня на камне от нее не оставит!

Но никаких принципиальных изменений в мой текст Аркадий не внес, он просто его улучшил. Усмешнил какие-то реплики, сочинил новые частушки, заменив не самые удачные мои более остроумными, существенно расширил и развил роль «Алкаша»: из персонажа эпизодического тот превратился у него в фигуру едва ли не центральную. Наконец, он придумал и написал блестящую интермедию между первой и второй картинами: голоса радиодикторов разных стран, комментирующих поездку Биргера за рубеж как важное политическое событие международного масштаба. Но всё это – повторяю – ни смысла пьесы, ни конструкции ее не меняло. А вот один – весьма важный, ключевой эпизод, придуманный Хайтом, – несколько сместил и драматургические, и смысловые акценты первоначального – моего – варианта.

Он изменил финал.

У меня пьеса кончалась так:

Последние слова тонут в треске выстрелов и автоматных очередей.
Сцена заволакивается дымом.

ЗАНАВЕС

ГОЛОС БУЛАТА.

Поднявши меч на наш союз
Достоин будет лучшей кары,
И я за жизнь его тогда
Не дам и ломаной гитары.
Как вождельно жаждет век
Нашупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!

Выстрелы, автоматные очереди, разрывы гранат.

В варианте Аркадия «Возьмемся за руки, друзья...» пел не Булат, а – ВСЕ УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ, ВЫСОВЫВАЯСЬ ИЗ-ЗА ШИРМ.

Изменение это Аркадий внес, как я понимаю, по соображениям отнюдь не идеологическим, а чисто театральным. Мой финал было трудно – а может быть, даже и невозможно, – разыграть на театре. Финал, придуманный Аркадием, в театральном плане был гораздо лучше.

Но смысл пьесы получился совсем другой.

У меня финал пьесы был – иронический и глубоко пессимистичный. На фоне выстрелов и разрывов гранат обращение к друзьям с наивным призывом «взяться за руки» должно было звучать грустной иронией.

Финал Аркадия (его мы и сыграли) – был оптимистичен. Даже, я бы сказал, патетичен. Он словно бы говорил:

– Всё, что вы сейчас видели, только шутка. А на самом деле – не волнуйтесь, друзья! В жизни мы никогда не поссоримся!

Я легко согласился на эту замену, потому что и сам тогда не подозревал, что мой пессимистический финал нашего шуточного кукольного спектакля окажется пророческим. Что уже близок час, когда этот наш тесный круг друзей-единомышленников и впрямь распадется на смертельных врагов, готовых чуть ли не стрелять друг в друга.

ДУША ПОЛНА УТРАТ

О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело –
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова –
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.

Булат Ожуджава

Эти строки – из стихотворения, которое Булат посвятил мне.
Вот как это было.

Он позвонил мне и сказал:

– У меня тут написался один стишок. Я хочу посвятить его тебе. Можно я его тебе прочту?

Я сказал, что да, конечно, я слушаю.

Он прочел:

С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.

Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и ныне на земле.

Я плачу о другом – оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след –
его не скроет ночь и не проявит свет.

О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело –
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова –
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас – в изогнутой руке...
Как будто бы пожар – в прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.

Дочитав «стишок» до конца, он сказал:
– Так ты не против, чтобы я посвятил его тебе?

Я сказал, что нет, конечно, не против.

Дело было в конце 80-х. Знакомы с Булатом к тому времени мы были лет, наверно, уже тридцать. И кому-только ни посвящал он за эти годы своих стихотворений! А мне – ни разу. И вот...

– О чем ты говоришь! – сказал я. – Конечно, я не против. Наоборот, очень рад... Но с чего это вдруг?.. И почему именно это стихотворение?

– Ну-у, я не знаю, – протянул Булат. – Это ведь дело таинственное...

Дело это, наверно, и в самом деле таинственное. Но я почему-то подумал, что этот неожиданный порыв Булата, это внезапно осенившее его желание посвятить мне стихотворение, – и не какое-нибудь, а именно это, – каким-то боком связано с той шуточной пьесой, которую мы разыгрывали 1-го апреля 87-го года в нашем кукольном театре на именинах у Биргера.

Как я уже сказал, для меня образ «Гражданской войны», в которой все мы – давние и близкие друзья – вдруг оказались по разные стороны баррикад, был не более чем иронической метафорой. Поэтому и благостный финал, приделанный к моей пьеске Аркадием Хайтом, не показался мне совсем уж несовместимым с моим замыслом.

Но Булат, как видно, уже тогда почувствовал, что дело – серьезное. Что не метафорами тут пахнет, а самой что ни на есть настоящей гражданской войной.

Что-то похожее чувствовал, наверно, и Биргер, когда писал картину, которую упоминает в этом своем стихотворении Булат. Это на ней, на этой Бориной картине – «сидели мы рядом, и красные бокалы у каждого из нас – в изогнутой руке...»

Я не знаю, сразу была задумана она Борисом как посвящение памяти нашего общего друга Бори Балтера, или мысль об этом посвящении пришла потом, но «сюжет» картины, казалось бы, целиком исчерпывается словом «поминки». Лица людей, изображенных на холсте, задумчивы, печальны. В скорбном молчании поднимают они бокалы с красным вином, чтобы помянуть безвременно скончавшегося друга. Но вопреки этому грустно-спокойному «сюжету», картина вызывает чувство тревоги, ощущение какой-то опасности, нависшей над теми, кто изображен на холсте.

Вопреки тому, что написал в своем стихотворении Булат, никакого пожара, никакого огня, в котором метались бы изображенные на этом холсте люди, в картине как будто нет и в помине. Разве только красная рубашка сидящего на переднем плане Войновича да красное вино в бокалах намекают на это... Хотя почему бы человеку не надеть красную рубашку? И почему бы вино не быть красным?

Как бы то ни было, но, испытав это странное ощущение невидимой, не различимой глазом опасности, мы заново вглядываемся в их лица и вдруг замечаем, что не так уж они спокойны. Не только задумчиво-печальны, но и напряжены. Осознанное предчувствие надвигающейся беды читаем мы теперь на этих лицах. И готовность к встрече с нею.

Может быть, такое восприятие продиктовано сегодняшним нашим знанием о том, что случилось с ними **потом**: через три года после того, как картина была написана, изображенные на ней Войнович и Копелев вынуждены были покинуть отечество. В большей или меньшей степени обстоятельства, вынудившие их сделать это, затронули и остальных.

Но раньше и, наверно, больше, чем всех нас, они затронули того, кому эта картина посвящена.

Имя Бориса Балтера несколько раз уже мелькнуло на этих страницах, но сейчас настало время сказать о нем чуть больше, чем было вскользь – по разным другим поводам – сказано мною раньше.

* * *

Однажды, встретившись на нашей улице с Борисом Слуцким (он жил неподалеку от нашей Аэропортовской, и такие случайные встречи с ним бывали у меня не реже, чем раз в две недели), мы заговорили о Балтере.

Началось с того, что Борис спросил:

– В Коктебель собираетесь?

В Коктебеле мы с ним тогда пересекались каждую осень. На этот раз речь шла об осени 1965 года.

Я ответил, что да, как обычно. Он сказал, что они с Таней тоже собираются, так что опять будем там вместе.

– Будете там работать? – обычным своим комиссарским тоном осведомился Борис.

Я ответил, что нет, – какая в Коктебеле может быть работа! Буду валяться на пляже, плавать, загорать, наслаждаться жизнью. Есть, правда, у меня одно задание. Туда, в Коктебель, едет Миша Калик. Он будет там писать режиссерский сценарий фильма «До свидания, мальчики...», который собирается снимать. И мой друг Боря Балтер просил меня проследить, чтобы он, превращая его литературный сценарий в режиссерский, чего-нибудь там не попортил.

Как потом выяснилось, просьба эта была не лишней. В некоторых ключевых эпизодах Бориного сценария Калик убрал по смыслу очень важные для автора диалоги, превратив разыгрываемые сцены в немые, чисто визуальные. Под мощным Бориным напором (к его напору пришлось присоединить свои усилия и мне тоже) кое-что из вычеркнутого Калик потом – не очень охотно – восстановил.

– Ну, – выслушав меня, сказал Борис, – эта работа у вас будет не пыльная. Балтер человек очевидно бездарный. Калик человек очевидно талантливый. Так что вполне можете ему довериться. Ничего он там у вашего Балтера не попортит.

Эта точка зрения не была для меня новой. И, к сожалению, возникла она не на пустом месте.

Все Борины книги, написанные и опубликованные им до принесшей ему успех повести «До свидания, мальчики...», и в самом деле были очевидно не талантливы. И когда однажды Боря, слегка смущаясь, попросил нас (Лазаря Лазарева, Стасика

Рассадина, Эмку Манделя и меня) уделить ему вечерок – он хочет нам кое-что прочитать, – первым моим побуждением было отказаться, соврать что-нибудь: нет, мол, к сожалению, не получится, болен ребенок, еще раньше договорились с женой куда-то пойти... Да мало ли что еще можно было придумать, чтобы уклониться от этого приглашения. Уклониться же мне хотелось и потому, что слушать Борину графоманскую прозу мне было не интересно, но главным образом потому, что потом, после прочитанного, наверняка ведь придется врать, изворачиваться, кривя душой хвалить то, что искренне похвалить будет трудно: не захочется же огорчать хорошего человека!

Каково же было мое изумление, когда с первых же прочитанных нам в тот вечер Бориных страниц повеяло такой свежестью, такой яркостью красок, какую даже предположить нельзя было в этом немолодом, замученном жизнью и, как мне тогда казалось, уже исчерпавшем все свои – не такие уж большие – писательские возможности человеке.

Мне сразу вспомнилось тогда одно меткое замечание Маяковского. «Начинающий, – сказал он, – ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи; с другой стороны, первая работа всегда «свежее», так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни».

Борису – и в этом состояла редкостная его удача – посчастливилось соединить несоединимое. Вероятно, это случилось потому, что в первых своих книгах он сумел обрести «крепость» литературной, писательской искушенности, не расплескав в них, сохранив для будущего «заготовки всей предыдущей жизни».

Что же касается категорического, безапелляционного суждения Слуцкого об очевидной Бориной бездарности, то оно, я думаю, сорвалось у него с языка потому, что Бориных «Мальчиков» он тогда еще не прочел. Просто повторил утвердившееся расхожее мнение, не подозревая, что новой своей вещью Борис блистательно перечеркнул так прочно утвердившуюся за ним репутацию очевидно бездарного человека.

* * *

«До свидания, мальчики!» – не мемуары, а, как пишут в учебниках по теории литературы, – «вымышленное повество-

вание». И в Бориной жизни многое, вероятно, было совсем не так, как в жизни героев его книги. Но так же, как главный ее герой Володя Белов, Борис Балтер жил и учился в южном приморском городе – Евпатории. И так же из десятого класса по призыву комсомола был послан (в 1936) в ленинградское, а затем (в 1938) – киевское военное училище. Участвовал в войне с Финляндией, к началу которой был уже офицером. В феврале 1942 под Новоржевом был начальником дивизионной разведки. С боями вывел из окружения полк. Войну закончил майором.

В 1945 году он не видел для себя будущего вне армии. Ощущал себя кадровым, профессиональным военным. Мечтал поступить в Академию Генерального штаба. Казалось бы, для этого у него были все основания, в том числе и формальные: блестящий послужной список, вся его военная биография. Осуществлению этих планов помешал печально знаменитый пятый пункт: анкетная графа о национальности. Уже набравший к тому времени силу государственный антисемитизм не только закрыл перед Борисом двери Академии, но и заставил его навсегда распрощаться с мечтами о военной карьере.

Демобилизовавшись, он был «трудоустроен» в соответствии с его военными заслугами и «административным опытом»: ему предложили должность коммерческого директора на каком-то не слишком крупном предприятии. Не искушенный в сложных таинствах уже сложившейся в то время теневой экономики, искренне стремящийся исполнять свои новые обязанности честно (читай рассказ В. Войновича «Хочу быть честным»), Балтер сразу же сделался козлом отпущения, на которого новые его сослуживцы радостно навесили все свои «недостачи», «приписки», «усушки» и «утруски», прикрывавшие их многолетнюю воровскую деятельность. Дело кончилось тем, чем оно по тем временам только и могло кончиться: он оказался в тюрьме.

Казалось бы, учитывая предельную его неискушенность в делах коммерческих, развязка этой драмы могла быть только печальной. Но вышло иначе. Как это ни парадоксально, Боря спасла его наивность. Многолетняя оторванность от уже сложившихся «на гражданке» форм новой советской жизни, оказалась не слабостью его, а силой.

Не сомневаясь, что «в стране победившего социализма» справедливость непременно восторжествует, он – в лучших революционных традициях, многократно воспетых официальной советской литературой – объявил голодовку и, как ни странно, победил. Суд его оправдал.

История эта оказала огромное воздействие на всю его последующую судьбу. Именно там, в тюрьме, он начал писать. Оба эти удара, которые он получил от своей родной власти: крах военной карьеры и арест – пробудили в нем потребность к осмыслению происшедшего. И тем самым – к творчеству.

Константин Паустовский, руководивший семинаром молодых прозаиков в Литературном институте, куда Борис вскоре поступил, неизменно давал своим питомцам одно и то же задание: он просил их как можно подробнее припомнить и описать тот случай, факт, эпизод их предшествующей жизни, который толкнул их к писательству. Это, видимо, помогало ему понять, насколько подлинным был для каждого из них этот стимул. Бывают ведь (кстати, нередко) – и ложные стимулы: многих толкало на этот путь тщеславие, манил социальный престиж «инженера человеческих душ», который был в ту пору в нашей стране необычайно высок.

Случай Балтера, как видно, не вызвал у него сомнений. И это навсегда определило их будущие отношения: несмотря на разницу в возрасте и сохранявшуюся субординацию, неизбежную в отношениях учителя и ученика, они стали друзьями.

Впрочем, помимо навсегда сохранившейся дистанции, определявшей отношения учителя и ученика, была между ними еще и другая субординация.

Командирские повадки, усвоенные Борисом, когда он командовал полком, сохранились у него на всю оставшуюся жизнь. И они проявлялись не только в отношениях со сверстниками, но и с теми друзьями, которые были существенно его старше.

В этой своей командирской опеке Борис не делал исключений ни для кого – даже для Константина Георгиевича.

Он постоянно сетовал на то, что Паустовские (К.Г. и его жена Татьяна Алексеевна) ведут себя неправильно: вечно сидят без денег, потому что безалаберны, живут не по средствам.

А когда Татьяна Алексеевна – дама весьма крутая и властная –

однажды ядовито спросила его, не научит ли он ее, как им надо жить, Боря ответил, что да, научит. И тут же составил длинный список продуктов, которые они должны покупать, поставил цены и подвел итог. И выяснилось, что при таком раскладе денег у них уходило бы раза в три меньше, чем уходит сейчас. А ведь он в этот свой прейскурант включил всё: не только самое необходимое, но и некоторые излишества. Например, разрешил им раз в неделю покупать триста граммов сёмги. Почему именно сёмги, и почему именно триста граммов, и почему только раз в неделю – сказать не могу. Знаю только, что Татьяна Алексеевна этот солдатский рацион решительно отвергла.

Но во многих других случаях к Борину офицерскому авторитету они все-таки обращались. Например, когда надо было укротить какого-нибудь распоясавшегося работягу.

У Константина Георгиевича была в Тарусе своя лодка. И был какой-то местный человек, который – за соответствующую плату – должен был эту лодку содержать в надлежащем порядке. Но – не содержал. И Константин Георгиевич вздыхал по этому поводу:

– В прошлом году, когда здесь жил Боря, всё было иначе... Он только скажет моему Степану: «Ты где живешь? Как твоя фамилия?» И – полный порядок. А я так не умею...

– Да уж, где тебе, – включилась в разговор Татьяна Алексеевна. – Ты не то что со Степаном, даже со своим котом не можешь справиться.

И рассказала, что если кот вспрыгивает на рабочий стол Константина Георгиевича и ложится на рукопись, над которой он в данный момент работает, тот спокойно продолжает писать, располагая строчки сочиняемого им рассказа так, чтобы они обтекали туловище животного, не мешая тому наслаждаться согревающим его теплом настольной лампы. Но вот настает момент, когда незанятая телом кота часть бумажного листа уже заполнена и надо начинать новый. Положение становится безвыходным, и тогда писатель, желая продолжить творческий процесс, кричит:

– Таня! Прогони кота!

– Константин Георгиевич, это правда? – спросил я.

Он молча кивнул.

– Но почему же вы сами его не прогоните?

– А зачем мне портить с ним отношения?

Боря в этом смысле был полной противоположностью своего учителя.

Однажды он рассказал мне, что когда он со своим полком выходил из окружения, к нему – в числе многих других бойцов-одиночек, отставших от своих частей, прибились два еврея-прибалта. Узнав, что командир полка – еврей, они приободрились, надеясь получить от него какие-то – очень мелкие, конечно, – послабления.

– Ну, я, как ты понимаешь, дал им прикурить! – с нескрываемым удовольствием закончил он свой рассказ.

И если даже воспоминание о том, как он «давал им прикурить», доставило ему удовольствие, могу себе представить, с каким наслаждением преподавал он этим несчастным двум прибалтам тот свой урок пролетарского интернационализма.

А Валя – первая Борина жена – рассказывала мне, что, появляясь у них в медсанбате (а положив на нее глаз, он стал заглядывать туда часто), он всякий раз заставлял ее (она была военврач) и всех ее медсестер ползать по-пластунски. Такой у него был способ ухаживания.

Однажды мы с женой сидели в машине наших друзей Воронелей и ждали их около поликлиники Литфонда, куда они заглянули ненадолго по каким-то своим делам. Из поликлиники вышел Боря. Увидел нас и сказал:

– Встретил сейчас ваших отвратительных Воронелей.

Выражение лица у него было такое, будто ему намазали язык горчицей.

Поболтав с нами минуточку, он ушел.

И тут же из дверей поликлиники вышли улыбающиеся Воронели:

– А мы, – в один голос заговорили они, – только что встретили вашего друга Балтера. Какой он милый! Увидав нас, кинулся к нам, как к родным, повел, куда нам было нужно, всё объяснил... Очаровательный человек! Просто чудо!

В этом эпизоде – весь Боря.

Я не знал другого такого доброго – и доброжелательного – человека. А послушаешь его – ну просто Собакевич!

Однажды, заглянув к нам, он увидел над моим столом натюрморт Биргера.

– Что это у тебя?

– Это Биргер, – объяснил я. – Замечательный художник и очень интересный человек. Ему сейчас очень нужны деньги и он распродает по дешевке старые свои работы. Если хочешь, можешь купить что-нибудь. Распродажей занимается Надежда Яковлевна Мандельштам.

Выслушав мое объяснение, Боря оглядел биргеровский натюрморт долгим, внимательным, изучающим взглядом и вынес окончательный вердикт:

– Этот ваш Биргер плохой художник. Он тут всё плохо прорисовал.

Через день-другой мы их познакомили, а неделю спустя они уже и дня не могли прожить друг без друга.

Это быстрое их сближение, вскоре превратившееся в нежную дружбу, сильно меня поразило: уж очень они были разные. Мне казалось, что решительно ничего не было между ними общего. Разве только – война. Ну, и шахматы: оба были страстными и азартными игроками.

Но было, наверно, и что-то еще, не сразу различимое.

А спустя совсем короткое время их дружбу еще больше скрепила общая судьба: обоих исключили из партии, и за один и тот же поступок.

Было всё это в конце 60-х, в эпоху так называемого «подписанства».

Эпоха эта началась с попытки группы писателей вступить за арестованных коллег – Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Было сочинено и отправлено в высокие инстанции письмо в их защиту. Подписали это письмо что-то около восьмидесяти членов Союза писателей, в числе которых был и я. Письмо было, на мой взгляд, довольно глупое. Вместо того чтобы объяснить начальству, что писателя за его сочинения можно судить, как учил классик, лишь судом, им самим над собою признанным, мы заявляли, что готовы взять своих провинившихся коллег **на поруки**. (Была тогда такая форма: коллектив предприятия мог взять на поруки какого-нибудь провинившегося или по пьянке надебоширившего своего члена и тем са-

мым спасти его от тюрьмы.) Сочинив и отправив наверх такое письмо, мы тем самым как бы признавали вину арестованных писателей перед обществом.

Я назвал это обращение к начальству глупым, но тут проявилась не столько глупость авторов подписанного нами текста, сколько общая наша, всем нам свойственная робость. Казавшаяся тогда, да и не только казавшаяся, но и на самом деле бывшая по тем временам несказанной смелостью. Ведь письмо это было первым в череде последовавших за ним в те годы, и каждое последующее было смелее предыдущего. Там «подписанты» уже не просили, а – требовали. Что же касается этого – первого – письма, то будь оно чуть смелее, под ним никогда не поставили бы своих подписей аж целых восемьдесят писателей: хорошо, если бы таких смельчаков набралось с десятков.

Первое письмо начальство пропустило мимо ушей, никак на него не прореагировало. Но письма, как я уже сказал, становились все смелее и решительнее, а реакция начальства – все круче, все суровее. И в какой-то момент к «подписантам» было решено применить санкции.

Сам Брежнев прошамкал что-то с самой высокой государственной трибуны, и тут сразу пронесся слух, что всех «подписантов» будут высылать из Москвы.

Кстати, именно на эту невнятную угрозу генсека откликнулся Булат знаменитой своей песней:

Пока безумный наш султан
сулит нам дальнюю дорогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

В печатном варианте (напечатать ее Булату удалось лишь годы спустя) она называлась «Старинная студенческая песня», а строка «сулит нам дальнюю дорогу» в окончательной редакции выглядела уже так: «Сулит дорогу нам к острогу».

Не знаю, что побудило Булата так изменить эту строку: то ли намерение архаичным словом «острог» получше замаскировать ее под «старину», то ли – соблазн внутренней рифмы. Но

в первоначальном варианте – я это помню хорошо – никакого острога не было. Да никаким острогом генсек нам тогда и не грозил. А вот на дальнюю дорогу – намекал.

Но дело – слава тебе, Господи! – обошлось и без дальней дороги. Для большинства из нас репрессии последовали совсем пустяковые. Я, например, отделался выговором, о существовании которого даже и узнал-то случайно.

Друзья уговорили меня подать заявление на туристическую поездку в Болгарию (они собирались туда целой компанией). И вдруг мне стало известно, что меня даже не включили в тот список.

Отказов в выезде за рубеж я тогда наполучал уже много. Но в прежних случаях мне отказывали какие-то таинственные, неведомые мне инстанции, и это было, как мне тогда казалось, – в порядке вещей. А тут мне – на самой ранней, самой первой инстанции – отказал мой родной Союз писателей. Что такое? Почему такая дискриминация?

Возмутившись, я заглянул в кабинет секретаря по оргвопросам – не столько в надежде поправить дело, сколько для того, чтобы выразить ему свое негодование. Вместо хорошо мне знакомого Виктора Николаевича Ильина там сидел замещавший его на тот момент другой секретарь – довольно известный прозаик.

С ним я был знаком только шапочно, но, в отличие от отставного генерала ГБ, он со мною держался не по-чиновничьи, а как свой брат – литератор. Внимательно выслушал мою сбивчивую гневную речь. Пожал плечами:

– Ума не приложу... – начал он. И словно бы вдруг догадавшись (некоторый чрезмерный наигрыш тут сразу его выдал) предположил:

– Пойдите! Может быть, вы что-нибудь подписывали?

Я признался, что да, конечно, подписывал.

– Ну вот, – радуясь, что ему удалось так быстро разгадать загадку, сказал он. – Вот тут и зарыта собака. Вам надо, – дружелюбно посоветовал он, – написать в секретариат маленькое письмецо. Ну, сами понимаете: что по прошествии времени вы поняли, осознали... Ну, что я буду вам подсказывать, форму найдете сами. Разумеется, письмо это никуда не пойдет, так и

останется лежать тут в наших бумагах. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Это не более чем простая формальность.

– Ладно, – сказал я. – Спасибо. Поеду не в Болгарию, а в Коктебель.

– Тоже неплохо, – улыбнулся он.

К этому, кажется, и свелись все последствия полученного мною тогда выговора.

А вот судьба одного моего тогдашнего приятеля, подписавшего то же письмо, сложилась иначе.

Он на свою беду, в отличие от меня, был членом партии. И ему грозило исключение из ее железных рядов.

Чем была тогда чревата такая – крайняя – мера, объяснять не надо. Это была гражданская смерть. Волчий билет.

Поэтому, узнав от этого моего приятеля, что он решил признать ошибки, покаяться, я не удивился. И не счел себя вправе отговаривать его, а тем более указывать ему на постыдность такого покаяния. Но когда он дал мне прочесть какой-то – видать, уже далеко не первый – вариант своего покаянного письма, я бы потрясен.

Боже! Чего только он там ни понаписал о себе! Как только себя не обгадил!

– А нельзя ли было... – осторожно начал я.

– Нельзя! – жестко оборвал меня он. И я понял, что все события сохранить «и в подлости остатки благородства» были уже испробованы им и беспощадно отринуты партийным начальством.

Признаться, про себя я подумал, что лучше уж было бы ему не подписывать того письма, сразу смириться с тем, что такие гражданские доблести ему – члену великой партии – не по зубам. Но ему я этого, разумеется, не сказал, а только выразил уверенность, что такой ценой свой партийный билет он, конечно же, сохранит.

Увы, я ошибся.

На бюро райкома его все-таки исключили. С формулировкой: **не разоружился перед партией.**

Услыхав об этом, я – по беспартийной своей наивности – воспринял случившееся как проявление какого-то изощренно-

го партийного садизма, увидел в нем только злобную, жестокую, иезуитскую игру: ведь разоружиться (то есть обгадить себя) больше, чем мой приятель сделал это в своем покаянном письме, было просто невозможно.

На самом деле, однако, ларчик открывался куда как проще.

Главный, не прощенный грех моего приятеля заключался в том, что, обгадив себя с ног до головы, он не смог переступить последней черты: отказался назвать того, кто дал ему подписать то злополучное письмо. То есть – заложить товарища. Попросту говоря – совершить предательство.

Вот, оказывается, что она означала – эта не сразу понятая мною формула: разоружиться перед партией.

Обо всех этих делах тот мой бывший приятель наверняка уже давно забыл. В последние годы он ударился в православие и теперь в своих статьях (он – известный литературовед) сурово осуждает Пушкина за то, что тот недостаточно решительно отмежевывался от своей «Гавриилиады», – юлил, пытался даже свалить свою вину на других. В общем – не разоружился перед Церковью.

Имя этого моего – тогда довольно близкого – приятеля я называть не хочу.

Но вместе с ним под тот чугунный каток попали и Биргер с Балтером. Они подписали то же письмо и, разумеется, подверглись той же унижительной процедуре. Но они повели себя в этой ситуации совершенно иначе, никаких попыток увильнуть от карающего меча партийного правосудия не предпринимали и оба – даже опомниться не успели – с треском были изгнаны из железных рядов.

Биргер хорохорился, но видно было, что история эта давалась ему нелегко.

В это самое время к нему приехала в гости тетка из Италии. Она не видела племянника больше сорока лет. Давным-давно – как говорится, жизнь тому назад – она вышла замуж за итальянца, капитана дальнего плавания. Прожила с ним счастливо сорок лет в Италии. Овдовела. И на старости лет вспомнила, что в России есть у нее родное существо – племянник, сын ее родной, самой любимой сестры, очаровательный мальчуган, которого она когда-то тетешкала.

Очаровательный мальчуган за прошедшие годы превратился в седого и лысого, худого, нервного – нет, не старика, конечно, но...

Впрочем, встретились тетка и племянник очень нежно. Вся биргеровская семья итальянскую тетку холила и лелеяла. Ей показывали достопримечательности Москвы, водили по музеям, таскали на театральные премьеры. И жена Бориса, и его подросток-сын не знали, куда ее посадить и чем еще ублажить. Но сам Биргер был, как ей показалось, какой-то не такой... Мрачный, озабоченный, издерганный.

Тетка осторожно попыталась выведать у родственников, что происходит с ее любимым Боренькой. Те – объяснили, что Бореньку только что исключили из партии и что за этой репрессивной мерой могли последовать другие. Рассказали и про резкое высказывание о «подписантах» самого Брежнева. В общем, попытались объяснить ситуацию ничего в наших делах не понимающей итальянской тетке.

Внимательно выслушав эти объяснения, та сказала:

– Теперь я понимаю, почему Боренька так взволнован... Но если быть членом партии для него так важно, пусть вступит в какую-нибудь другую партию.

Ну, посмеялись, конечно.

А Биргер, когда выяснилось, что из Москвы его высылать не будут и даже мастерскую скорее всего не отнимут, быстро освоился со своим новым беспартийным положением. Да, собственно, ему и осваиваться-то было нечего. Оставшись без партбилета, он точно так же, как и раньше, каждое утро отправлялся в свою мастерскую – грунтовать холсты и писать какую-нибудь очередную свою модель.

Иное дело Балтер.

В отличие от того моего приятеля, имя которого я предпочел не называть, оба Бориса прекрасно понимали, что той партии, в которую они вступали на фронте, давно не существует. А чтобы остаться в той, что существует, вопреки известному стихотворению Слуцкого («Так я был принят в партию, где лгать нельзя, и трусом быть нельзя...»), им понадобится и трусить, и лгать, и в конце концов совершить подлость. Так что выбора у них не было, и вопрос об их пребывании в партии был предreshен.

Но для Биргера процедура исключения из партийных рядов была – **выходом из боя**. И цель его состояла в том, чтобы выйти из этого боя с минимальными потерями, сохранив при этом свое человеческое достоинство. Что же касается партийного билета, с которым ему предстояло расстаться, то на него ему было в высшей степени наплевать.

Для Балтера же предстоящий ему «процесс исключения» был **продолжением боя**. И он рвался в этот бой, заранее предвкушая, как и что он ИМ там скажет. Иногда в наших разговорах на эту тему (я его отговаривал, умолял не тратить на всю эту ерунду драгоценные нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются) в его речах даже мелькало гордое сознание, что именно он – настоящий коммунист, «а не эти бляди с партийными билетами».

Да, было у него тогда и такое самоощущение. Хотя, сознавая себя «настоящим коммунистом», он мог с веселой ухмылкой рассказать, например, такой анекдот.

В первые годы советской власти идут по Красной площади два еврея. Один – только что приехал в Москву из какой-то глухой провинции, а другой в Москве уже обосновался и вот показывает провинциалу разные столичные достопримечательности.

– Вот это Кремль, – говорит он. – Тут живет наше правительство

– А зачем стена? – спрашивает провинциал.

– Я знаю, – отвечает столичный еврей. – Чтобы жулики не полезли...

– Оттуда? – кивая на Кремль, уточняет провинциал.

Напоминаю: время действия анекдота – начало 20-х годов, когда в Кремле, по логике Бориса, жили еще настоящие коммунисты, а не эти нынешние «бляди с партийными билетами».

Как-то там в его башке все это уживалось: и такие вот анекдоты, и самоощущение «настоящего коммуниста».

С этим своим самоощущением настоящего коммуниста он выступил однажды на большом открытом партийном собрании в Союзе писателей и сказал:

– Я сейчас поймал себя на такой мысли. Подняться на эту трибуну и честно сказать своим товарищам всё, что я думаю, мне труднее, чем бывало на войне, когда приходилось поды-

маться в атаку. Как же мы с вами, коммунисты, дошли до такой жизни?

Эту свою реплику он повторил и на том партийном собрании, на котором его исключали. И – пошел «на них» в атаку, дал «им» свой последний бой.

«Разоружиться перед партией», назвав того, кто дал ему подписать «антипартийное письмо», решительно отказался.

Сказал:

– Если я его подписал, значит, несу полную ответственность за всё, что там написано. Так что можете считать, что это я сам его и написал.

– Но вы признаете, что этот ваш поступок был политической ошибкой?

– Нет, – отвечал он, – не признаю.

– Выходит, значит, что ошибается партия? Так, что ли?

– Да, так. В тридцать седьмом посадили мою мать. И требовали, чтобы я отрекся от нее, осудил ее. И так же, как вы сейчас, говорили, что я противопоставляю себя партии, а партия всегда права. А через двадцать лет мне прислали справку, что моя расстрелянная мать реабилитирована «за отсутствием состава преступления». Так кто же тогда ошибался? Я? Или, может быть, все-таки партия?

Тогда его спросили: а как вышло, что ваше письмо, адресованное товарищу Брежневу, передавали по вражеским радиоголосам? Кто передал его текст за границу? Нашим врагам?

– А вот на этот вопрос я могу ответить, – сказал Боря.

Тут все необычайно оживились, потому что на этот вопрос не могли ответить даже те, кто полностью «разоружились перед партией» и этой ценой сохранили свои партийные билеты.

– Я даже могу назвать вам имя этого человека, – в наступившей мертвой тишине повторил Борис. И обернувшись к тем, кто вел протокол собрания, раздельно, чуть ли не по буквам, произнес:

– Луи Филипп!

Он имел в виду Виктора Луи, продажного журналиста, выполнявшего разные провокационные задания КГБ. Незадолго до того стало известно, что именно этот Виктор Луи передал на Запад сильно смягченный вариант книги Светланы Аллилуевой. А по-

том – тоже сильно искаженный вариант солженицынского «Ракового корпуса». Сделано это было, чтобы предотвратить – или хотя бы самортизировать – взрыв этих двух «идеологических бомб».

Идея Бориса обвинить в передаче на Запад текста нашего письма этого Виктора Луи – была совсем не глупа. Называя его имя, он как бы «им» говорил: да вы сами, ваши же люди и передали, чтобы изобразить наше искреннее стремление спасти честь страны идеологической диверсией.

Что говорить, мысль была хороша!

Но несчастная Борина привычка путать все имена (особенно иностранные: однажды в каком-то разговоре со мной он назвал Ролана Быкова – Роменом Ролланом) – тут его подвела.

Спутав фамилию кагебешного журналиста с именем давно умершего короля французов, Борис, конечно, слегка ослабил эффект своего разоблачения. Но многие из присутствовавших на том партийном собрании все-таки поняли, кого, а главное, – ЧТО он имел в виду.

* * *

В своем отношении к родной нашей советской власти Боря был, пожалуй, радикальнее нас всех.

Однажды, например, в каком-то нашем споре он горячо защищал власовцев. И даже договорился до того, что было бы даже совсем неплохо, если бы в той войне Гитлер нас победил.

– Гитлера союзники все равно бы разгромили, – сказал он. – И Россия давно была бы уже демократической страной. Хотя нас с тобой при таком раскладе на свете уже бы не было.

Я сказал, что такое гнусное умозаключение я не желаю даже обсуждать. Тогда – в запале спора – Борис заявил, что он имеет право так рассуждать. Потому что – воевал. В отличие от меня, который «отсидивался в тылу».

Присутствовавший при этом споре тогдашний мой дружок и соавтор Стасик Рассадин (он был не на восемь лет, как я, а на целых шестнадцать моложе Бори) в ответ на это Борино заявление заметил, что если про меня, которому в сорок первом было четырнадцать лет, можно сказать, что я отсидивался в тылу, то про него, про Стасика в таком случае следует говорить, что он **отсидивался на горшке**.

После этого разговора мы со Стасиком стали время от времени поддразнивать Борю, вспоминая его героическую военную биографию. И однажды – в припадке юмористического вдохновения – обратили на него слегка перефразированное четверостишие Жени Винокурова.

В нашем перифразе оно звучало так:

Когда-то Боря Балтер
Командовал полком.
Он был лихим солдатом,
Крутым большевиком.

Нехитрая шутка эта нам так понравилась, что мы стали слегка злоупотреблять ею. С восторгом декламировали при всяком удобном и неудобном случае этот наш экспромт не только Боре, но и общим друзьям.

Всё это происходило в Дубултах, куда мы со Стасиком поехали вдвоем, чтобы всласть поработать. Месяц спустя, когда к нам приехали жены, там, в Дубултах, собралась уже целая наша колония: к нам присоединились Войнович, Аксенов, Фазиль. Вася Аксенов заглянул как-то в комнату Стасика, где мы работали, подошел к книжной полке, взял стоящую там книгу Розанова, повертел в руках, поставил на место и задумчиво сказал:

– Бляди! Какую страну загубили!

Не выходя из состояния этой задумчивости, вернулся к себе и, присев к подоконнику, быстро, без помарок, написал – и в тот же вечер прочел нам – один из лучших своих рассказов: «Победа». Войнович тоже прочел нам тогда только что написанную первую главу своего «Чонкина». Фазиль делился замыслом своего – еще не написанного – «Козлотура».

Но всё это было позже.

А первый месяц в полупустом Дубултском Доме творчества мы жили втроем: Стасик, Боря и я. Особых развлечений у нас там не было, и мы со Стасиком развлекались тем, что дразнили Борю. К приезду друзей эти наши дразнилки уже обрели форму целой юмористической эпопеи. Разумеется, стихотворной.

Началось это так.

Однажды в столовой к нашему столику, где мы сидели втроем, подошел постоянно живший в Риге писатель Задорнов. Он

спросил меня, не тот ли я Сарнов, который когда-то, в незапамятные времена, – году в сорок восьмом или сорок девятом – напечатал в «Литгазете» добрую рецензию на его исторический роман «Амур-батюшка». Я признался, что да, было дело. Мы несколько минут дружелюбно поговорили. Во время этой нашей беседы Боря иронически хмыкал и даже, как будто, потирал руки. А на другой день я получил письмо из Москвы от Алексина: у него было ко мне какое-то мелкое дело. Так появился у Бори еще один козырь в его игре против нас. И оба эти козыря были тут же им использованы.

На следующее утро, когда мы в очередной раз напомнили ему про его позорное прошлое «крутого большевика», он зазвал нас к себе в номер и объявил, что сочинил песню, которую сейчас нам споет. Взял со стола исчерканный и перечерканный вдоль и поперек листок бумаги (стихотворная форма, как видно, давалась ему нелегко) и, заглядывая в него, спел такой куплет:

Сарнов и Ст. Рассадин,
Рассадин и Сарнов
Устроились неплохо
В стране большевиков.

Задорнова хвалили,
Алексина блюли.
И все это заради
Кусочка колбасы.

Пел он это (так, во всяком случае, ему казалось) на мотив песенки «Король Анри Четвертый...» из пьесы Александра Гладкова «Давным-давно». Но понять это можно было только потому, что каждый из двух этих куплетов он сопровождал припевом из «Анри Четвертого»: «Ля-ля бум-бум, ля-ля бум-бум...» и т.д.

Поблагодарив, мы взяли листок с текстом посвященной нам песни и молча удалились. Но спустя минут пять или десять вернулись и сообщили автору, что, внимательно изучив его сочинение, пришли к выводу, что песня ему удалась. Слов нет, песня хороша. Одна беда: он, Боря, плохо владеет рифмой. «Блюли» и «колбасы» – это ведь на самом деле никакая не риф-

ма. Даже не ассонанс. Поэтому мы решили этот его «текст слов» немного подправить. И вот сейчас в слегка отредактированном виде ему его прочтем.

И прочли:

Сарнов и Ст. Рассадин,
Как лагерные псы,
Запродали Россию
За ломтик колбасы.

Их надо перевешать
Как бешеных собак.
А честный Боря Балтер
Служил за просто так.

Да, честный Боря Балтер –
Не то что гад Сарнов! –
Служил лишь ради славы,
Чинов и орденов.

Первые строки наших импровизированных куплетов Боря слушал улыбаясь и одобрительно кивая. Впрочем, и финальные тоже выслушал спокойно. Сделал вид, что ничуть не обижен – умеет ценить хорошую шутку.

Но мы на этом не остановились, решили, что надо развивать успех, и взяли на себя обязательство сочинять по песне в день. Что ни день – то новая песня про Балтера.

Сейчас я уже не помню, сколько этих песен мы сочинили. Помню только, что в них была отражена роль Балтера на всех крутых поворотах истории нашего государства – от октября 17-го до наших дней.

В первой песне Балтер штурмовал Зимний:

Пока подонков разных
Хвалил Сарнов-подлец,
Наш храбрый Боря Балтер
Брал у царя дворец.

Во второй песне была отражена роль Балтера в коллективизации:

Сарнов и Ст. Рассадин
Алексина блюли,
А Балтер в это время
Сгонял крестьян с земли.

Всех этих наших куплетов я сейчас, конечно, уже не помню. Помню только, что была в них освещена выдающаяся роль Балтера и в индустриализации, и в разделе Польши, и в присоединении к Советскому Союзу стран Балтии, и в войне с белофиннами.

А кончалась эта историческая эпопея прямым нашим обращением к герою:

Отдай крестьянам землю,
Дворец верни царю.
О прочих безобразьях
Уж я не говорю.

Все эти наши стихотворные инсинуации Боря встречал благодушно. Выслушав очередной стишок, снисходительно улыбался: ладно, мол, резвитесь, молокососы! Что вы знаете о жизни, которую я прожил, несмышлелыши!

Лишь однажды он вдруг почему-то взорвался: «Вы глумитесь над моими идеалами!»

Но никаких попыток отвечать на наши дразнилки в стихотворной, а тем более песенной форме больше не предпринимал.

* * *

Как я уже сказал, в жизни Биргера после его исключения из партии мало что изменилось. Быть «исключенным» (выброшенным из официальной жизни) ему было не впервой. Однажды в его жизни это уже случилось, и этот факт его биографии даже нашел художественное отражение в одной из песен Саши Галича:

Ох, ему и всыпали по первое,
По дерьму, спеленутого, волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали жуликом и Поллаком!

Раздавались выкрики и выпады,
Ставились искусно многоточия,
А в конце, как водится, оргвыводы –
Мастерская, договор и прочее...

Он припер вещички в гололедицу
(Все в один упрятал узел драненький)
И свалил их в угол, как поленницу –
И холсты, и краски, и подрамники...

Томка в миг слетала за «кубанскою»,
То да сё, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою,
И сказал, что полежит немножечко.

Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне тёща из Иванова,
Ксения Павловна, вела дознание.

За окошком ветер мял акацию,
Билось чье-то сизое исподнее...

– А за что ж его?

– Да за абстракцию.

– Это ж надо! А трезвону подняли!

– Он откуда родом?

– Он из Рыбинска.

– Что рисует?

– Всё натуру разную.

– Сам еврей?

– А что?

– Сиди не рыпайся!

Вон у Ритки без ноги, да с язвою...

Курит много?

– В день полпачки «Севера».

– Риткин, дьявол, курит вроде некрута,

А у них еще по лавкам семеро...

Хорошо живете?

– Лучше некуда!..

– Риткин, что ни вечер, то с приятелем,
Заимела, дура, в доме ворога...
Значит, окаянный твой с понятием:
В день полпачки «Севера» – недорого.

Пить-то пьют?

– Как все, по воскресениям!

– Риткин пьет, вся рожа окарябана!
...Помолчали, хрустнуло печение,
И вздохнув, сказала тёща Ксения:
– Ладно уж, прокормим окаянного...

Песня называлась: «Вальс-баллада про тещу из Иванова».

Борина теща была не из Иванова, и звали ее не Ксенья Павловна. И жена Бориса была не Томка, а Лида. И сам Боря был не из Рыбинска, а коренной москвич. И принял он в тот день, я думаю, не «грамм сто», а поболее. В остальном же в Шашиной песне про первое Борино исключение все было рассказано более или менее верно.

Жена с тещей и теперь, конечно, пришли бы Боре на помощь. Но на этот раз все обошлось полегче, чем тогда, в разгар борьбы с абстракционистами, на которых Первый секретарь ЦК топал ногами и орал, обзывая их «пидарасами». Расправа с «подписантами» до масштаба всенародной идеологической кампании (какой при Сталине была борьба с космополитами, а при Хрущеве с абстракционистами) все-таки не разрослась, и на этот раз у Биргера даже мастерскую не отняли.

Не Бог весть какое материальное его благосостояние и раньше никак не зависело от государственной кормушки. Вот и сейчас он жил точно так же, как до исключения. Какие-то гроши зарабатывал уроками. А иногда вдруг – нечаянная радость! – продавалась какая-нибудь «картинка» (так именовал он свои работы: то ли по примеру Мандельштама, который свои стихи пренебрежительно называл «стишками», то ли потому, что у них, у художников, это было так принято).

Что же касается Бори Балтера, то его жизнь после исключения из партии изменилась кардинально. Ведь он был – писатель. На партийном языке – «работник идеологического фронта».

В иных – не таких уж частых – случаях работник идеологического фронта мог быть и беспартийным. Но – не вышибленным из партийных рядов.

Конечно, если бы из партии его исключили за неуплату членских взносов или за «аморалку» – скажем, за участие в каком-нибудь подпольном борделе (такие случаи бывали), – партия, чуть раньше или чуть позже, его бы простила и вновь допустила к государственной кормушке. Но исключение из железных рядов «за политику», плюс упорное нежелание «разоружиться перед партией» или хотя бы признать свои ошибки – это был самый настоящий волчий билет. О том, чтобы публиковать не то чтобы новые книги, но даже совсем пустяковые какие-нибудь статейки, он не мог теперь даже и мечтать. Даже к ответам на рукописи графоманов его бы теперь не подпустили!

А тут еще как раз в это самое время – так уж совпало! – случился крутой поворот и в его личной, семейной жизни.

* * *

Был в то время у Бори долгий роман с очаровательной молодой женщиной – Галей.

Боря нравился женщинам, у него раньше случались на стороне различные, как выразился бы Слуцкий, короткие романы и адюльтеры. Но роман с Галей, как я уже сказал, был долгим и, как видно, затронул его сильнее, чем все прежние «случайные связи». Боря даже пытался – сперва осторожно, а потом все более настойчиво – ввести свою Галю в наш – достаточно узкий – круг. Так что, похоже, дело было серьезное.

Той осенью мы с ним, как это не раз уже бывало и раньше, оказались вместе в нашем любимом Коктебеле. Но приехали мы туда не вместе, а, значит, и уезжали тоже не в один день. Мы (я с женой и сыном) должны были ехать завтра, а Боре предстояло вернуться в Москву несколько дней спустя. И вот, перед самым моим отъездом, он увел меня куда-то на задворки нашего коктебельского сада, посадил на какой-то камень, сам сел напротив и сказал:

– Я решил покончить с этой историей.

– С какой? – не сразу догадался я.

– Я говорю о своих отношениях с Галей. Я решил их порвать.

– Что такое? Почему? Случилось что-нибудь?

– Да нет, ничего не случилось. Просто я устал жить двойной жизнью. К тому же, – криво усмехнулся он, – я всегда попадаюсь... В общем, я решил поставить на этом деле крест.

Он вынул из кармана мелко исписанный и сложенный вчетверо лист бумаги и сунул его мне, чтобы я прочел. Это было, как я понял, его прощальное письмо Гале.

Но прочитав его, я увидел, что письмо это было совсем не прощальное. Это был меморандум. Очень горячо и безусловно искренне Боря признавался Гале, что любит ее. Любит так, как не любил ни одну женщину. Но он не в силах больше жить двойной жизнью, лгать и обречь ее на каждодневную ложь. (У Гали была своя семья – муж, какой-то крупный дипломат с «Мерседесом» и четырнадцатилетняя дочь.) В общем, смысл письма был в том, что он предлагал Гале покончить с этой двойной жизнью, и если она действительно его любит, бросить мужа и уйти к нему. А если на это сил у нее не хватит – что ж, винить в этом он ее не будет. Но тогда им лучше больше не встречаться, чтобы не мучить друг друга и своих близких этой постоянной ложью.

– И это ты называешь разрывом отношений? – с некоторым изумлением спросил я, дочитав письмо до конца.

– А что же это по-твоему? – как будто искренне удивился он.

– Ну, а если Галя скажет, что готова бросить мужа и уйти к тебе? Ты к этому готов?

– А! – усмехнулся он той же кривой усмешкой, с какой только что признался мне, что ему надоело «всегда попадаться». – Ты что, с ума сошел? Вот так вот она возьмет и уйдет ко мне от своего «Мерседеса»?

– Ну-ну, – сказал я.

На том наш разговор кончился, и я уехал в Москву, уверенный, что этот Борин меморандум кончится пшиком: от «Мерседеса» Галя к Боре, конечно, не уйдет, но у него не хватит сил порвать с нею. Так оно все и будет тянуться, как прежде: Валя, убирая в шкаф его пиджак, снова будет находить в его карманах любовные записочки, и Галя опять будет изворачиваться

и врать своему дипломату, отвечая на вечный вопрос всех обманутых мужей: «С кем ты была в Доме архитектора?»

Но два или три дня спустя объявился у меня Боря – растерянный и совершенно ошалевший от счастья.

Галя на все согласна. Она уходит от мужа к нему, забирает с собой дочь. Жить они будут пока у каких-то друзей, потом всё как-нибудь образуется. А от меня требуется только одно: я должен «взять на себя» Валю.

Я был так потрясен, что у меня даже не достало сил напомнить Боре, что я о таком – неожиданном для него – повороте событий его предупредил. (Тем более, что и я тоже не больно в него верил.)

Деваться мне было некуда, и я согласился Валю «взять на себя». Сделать мне это было нетрудно: к Вале я относился хорошо, Боре она была предана всей душой, и я почти не притворялся, утешая ее разговорами о том, что «старый дурак переберется» и рано или поздно непременно к ней вернется.

Кое-какие основания для таких надежд у меня были.

Из Бориных рассказов я знал, что совместная жизнь с Галей идет у них негладко. Они постоянно ссорились и уже несколько раз были на грани разрыва. Однажды Боря пришел ко мне в смятении и рассказал, что в очередной раз смертельно поссорился с Галей. Дело было в такси, и она – в слезах – выскочила из машины на ходу.

– Ну? Надо это было тебе, старый дурак? – сказал я.

– Хорошо тебе! У тебя каждый день такие сцены! – ответил он, имея в виду взрывной характер моей жены и наши с ней, как иронически называли их наши друзья, «живые отношения».

С Валею таких «живых отношений» у Бори уже давно не было, и он, оказываясь (надо же!), мне завидовал.

Издали – оно конечно – можно было и позавидовать. А вот каково тебе будет каждый день испытывать эти «живые отношения» на собственной шкуре, – не без злорадства подумал тогда я.

Но постепенно всё улеглось. Отношения Бори с Галей вскоре вошли в относительно спокойную фазу, и месяц-другой спустя Боря уже с раздражением говорил мне:

– Интересно, долго еще ты будешь терпеть, чтобы Валя каждый день рыдала у тебя на груди? Галя уже обижается на тебя...

– Позволь! – возмугился я. – Но ведь ты сам просил меня «взять Валю на себя».

– Да, просил. Но не навсегда же, а только на время.

Я попытался объяснить ему, что в своих отношениях с Валею я не просто выполнял его поручение, а искренне ей сочувствовал и поневоле вошел с ней в отношения, которые разорвать было не так-то просто. Да я вовсе и не хотел их разрывать!

Но втолковать это ему было невозможно. Для него все было просто: мне было дано боевое задание – взять Валю на себя. С этим заданием я как будто справился. Но выполняя его, я зашел слишком далеко, и вот – «Галя обижается». Поэтому теперь мне дается другое задание: как можно скорее убедить Галя, что я на ее, а не на Валиной стороне.

На первых порах я действительно полагал, что новый брак Бориса вряд ли окажется прочным.

Однажды я даже сказал ему, что он уже немолод, тяжело болен. Поэтому ему сейчас нужна не новая, молодая жена, а верная и преданная старая – какая она ни есть. Боря отвечал, что Галя и в болезни будет ухаживать за ним не хуже, чем это делала бесконечно преданная ему Валя.

– А если понадобится из-под тебя горшки выносить? – грубо сказал я.

– Будет выносить!

– Почему это, интересно знать, ты так в этом уверен?

– Потому что – любовь!

На это ответить мне было нечего, и я только скептически хмыкнул – как тогда, в Коктебеле.

– Ну-ну!

Дескать – посмотрим.

И тут надо сказать, что на этот раз прав оказался не я со своим скепсисом, а старый романтик Боря.

Ушел он от Вали, как это делал всякий раз, уходя от очередной жены, его учитель Константин Георгиевич Паустовский, взяв с собой только пишущую машинку.

Первое время молодожены ютились у Галиных подруг или у каких-то не шибко мне знакомых Бориных друзей. Сколько длилась эта их бездомность, не помню: мне тогда показалось, что не слишком долго, но им, наверно, так не каза-

лось. В конце концов у Галя появилась крохотная однокомнатная квартирка в Измайлове, где они и поселились. Казалось, можно было вздохнуть чуть свободнее. Но тут как раз случилось это его исключение из партии, повлекшее за собой не только длительное безденежье, но и – как горох посыпавшиеся, один за другим, – Борины инфаркты.

И если раньше Галя взвалила на себя бремя главного добытчика в семье (помимо своей кандидатской зарплаты она подрабатывала то переводами, то какими-то аннотациями и рефератами), то теперь к этому грузу обязанностей добавилась еще и новая: сиделки. И ночей не спала у постели своего Бореньки, и с ложечки его кормила, и обтирала, чтобы не было пролежней, и горшки выносила. Потому что – любовь!

Навещая Борю в разных больницах, где он лежал, я всякий раз с интересом выслушивал от него какую-нибудь очередную больничную историю. Некоторые из них сейчас перескажу. Не только потому, что они и сами по себе довольно любопытны, но прежде всего потому, что очень ярко – во всяком случае, гораздо ярче, чем я мог бы сделать это другими средствами, – рисуют Борю: его ясный и трезвый ум, зоркий писательский глаз, а главное – его тогдашние умонастроения.

Самой комфортабельной из Бориных больничных палат была палата в Первой Градской. Просторная, светлая. А главное – было их там, в этой палате, только трое.

Один из Бориных сопалатников был, судя по всему, какой-то мелкий партийный функционер. Другой – простой работяга.

В то время разворачивалась и с каждым оборотом набирала все большую силу очередная газетная кампания против академика Сахарова, и все разговоры в палате вертелись вокруг этого сюжета.

Функционер, само собой, поливал академика, называя его отщепенцем и предателем. Упоминал про вычитанный из какой-то газетной статьи «синдром инженера Гарина». Боря вяло отругивался, понимая, что спорить бесполезно. Работяга, отвернувшись к стене, молчал.

Исчерпав все аргументы и проклятия, почерпнутые из газет, функционер вдруг внес в этот поток клишированных обвинений некую личную ноту.

– Ну скажи, чего ему не хватало? – вдруг совсем по-человечески спросил он. – Дача... Машина... Квартира... Зарплата у них, у академиков, тоже, я думаю, будь здоров... Трижды Герой Социалистического Труда. Значит, кремлевка. А ты знаешь, что такое кремлевка? Питание почти бесплатное. И какое питание! Не то что у нас с тобой... Нет, ты скажи: ну чего? Чего ему не хватало?!

И тут работяга, упорно молчавший на протяжении всего этого многодневного спора, вдруг отвернулся от стены, поднял голову, поглядел насмешливо на разгорячившегося функционера и сказал:

– Вот ты об этом и подумай.

Другой Борин рассказ – из другого его больничного опыта. На сей раз он лежал с очередным инфарктом уже не в Первой Градской, а в Боткинской. И условия его больничного быта тут были уже совсем другие.

Рядом маялись такие же, как и он, привыкшие к обстановке рядовых советских больниц страдальцы. Но на беду среди них оказался один иностранец – кажется, канадец. Его привезли в Боткинскую по «скорой» с острым приступом аппендицита.

Положили его – то ли не разобравшись, то ли по причине отсутствия низкопоклонства перед иностранцами, – как и всех новичков, в коридоре.

Описывать обстановку, в которой оказался непривычный к таким передрягам иноземец, я не буду: кто лежал в советской больнице (а кто в ней не лежал!), легко домыслит всё это сам.

Короче говоря, едва только наш канадец пришел в себя, как тут же потребовал, чтобы вызвали к нему представителя канадского посольства. Тот прибыл. Канадец объявил, что болеть в Советском Союзе категорически отказывается: пусть его сейчас же везут домой, в Канаду.

Тут весь персонал Боткинской больницы всполошился. Забегало все больничное начальство. Стали объяснять – и пациенту, и посольскому служащему, – что везти больного в таком состоянии никуда, а тем более так далеко, ни в коем случае нельзя. Опасно. Необходима срочная операция.

Но канадец на все эти уговоры не поддавался и твердо стоял на своем: немедленно домой, в Канаду.

И тогда кто-то из больничного начальства пустил в ход самый, как ему казалось, веский аргумент.

– У вас в Канаде, – сказал он, – такая операция стоит очень дорого. А у нас в стране медицина бесплатная, и вам ничего не придется платить ни за саму операцию, ни за уход, ни за пребывание в больнице...

И тут наш канадец, до этого момента державшийся хоть и настойчиво, но корректно, заорал что было сил на весь больничный коридор:

– Я хочу плати-ить!

Эта Борина история – по прямой ассоциации – вызвала у меня в памяти другую, тоже связанную с Борей.

В гостях у Паустовских сидели только что приехавшие из Парижа Натали Соррот с мужем. Они возбужденно делились своими впечатлениями о Москве, а мы – хозяева дома и пришедшие чуть раньше Боря и я – с интересом их слушали.

Особенно восторгался новой для него и не очень ему понятной советской жизнью муж знаменитой писательницы. Он впервые оказался в Советском Союзе, и восторг его был беспределен.

Но мы слушали эти его излияния с довольно кислыми минами.

«Интересно, – неприязненно думал я, – что же ему здесь у нас, в этой нашей, как любил говорить один мой приятель, срани, могло понравиться?»

И тут раздался голос моего друга Бори.

– Объясните все-таки, – не очень вежливо перебил он знатного иностранца, – что именно, что конкретно вам здесь, у нас, так уж понравилось?

– О! – радостно объяснил тот. – Я почувствовал сразу, что попал в совершенно иной мир... Из аэропорта приехали мы в отель. Вошли. И никто не кинулся к нам, не подхватил наши вещи... Не было даже и тени этого гнусного лакейства, этой отвратительной угодливости! – Лицо его сияло. – Мы сами втащили свои чемоданы в лифт, сами нашли свой номер... Это было прекрасно!

– Да, – сказал Боря.. – Наш советский сервис ненавязчивый.

Это было только начало. Я чувствовал, что ему не терпится вправить мозги глупому, ничего не понимающему в нашей жизни иноземцу. Но, опасаясь международного скандала, я довольно сильно надавил ногой ему на ногу, и достоинство нашей страны в глазах иностранцев не пострадало. Но надо было видеть выражение Бориного лица, когда он слушал прекраснотонный монолог этого восторженного заграничного мудака!

Когда, выслушав Борин рассказ про бесплатную советскую медицину, я напомнил ему ту нашу дипломатическую беседу с мужем французской писательницы, Боря мечтательно произнес: – Его бы сюда, на место этого канадца!

Но улыбка при этом у него была всегдашняя, добрая, не оставлявшая сомнений, что случись ему и в самом деле увидеть здесь, на больничной койке в коридоре Боткинской больницы, мужа Натали Соррот, он сделал бы все, что только мог, чтобы помочь ему поскорее выбраться из этого ада.

* * *

Как я уже говорил, для писателя исключение из партии означало тогда гражданскую смерть. Во всяком случае – отлучение от публичной (легальной) литературной деятельности по меньшей мере на несколько лет.

Но этих нескольких лет у Бориса уже не было.

В повести «До свидания, мальчики...» автор на короткий миг приоткрывает читателю будущее своих героев. И этот взгляд из будущего кладет на искрящийся солнцем и светом, безмятежный мир их юности мрачную, траурную тень:

Сейчас мне за сорок. У меня седые волосы и больное сердце. С моей болезнью люди не живут больше десяти лет. От меня это скрывают, но я знаю. По ночам я слышу, как спотыкается сердце. Когда-нибудь, споткнувшись, оно остановится навсегда. Никто не может сказать, когда это случится...

Это случилось через двенадцать лет после того, как были написаны эти строки.

Для всех нас, Бориных друзей, его внезапная смерть была настоящим горем. Это была первая брешь «у нас в цепочке». И первая (после смерти отца) моя утрата.

Неотвязно звучат в памяти строки Галича:

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие – в князья...

Вслед за Борей Балтером ушли «в никуда» Иосиф Шкловский, Боря Биргер, Володя Корнилов, Булат...

«В князья» мои друзья, слава Богу, не уходили. Хотя... Один из моих однокашников и – в далеком прошлом – самых близких, стал даже «князем тьмы». (Юрий Васильевич Бондарев. Язык не поворачивается назвать его, как бывало, «Юрой» или «Юркой»). Но в тесный наш круг друзей и единомышленников этот будущий «князь тьмы» никогда не входил. А других кандидатов в князья в нашем кругу как будто не нашлось.

Но были другие утраты, не менее горькие.

* * *

В 90-м или 91-м позвонил мне приехавший в Москву Володя Максимов.

До его отъезда «за бугор» отношения у нас были не скажу, чтобы очень близкие, но – вполне товарищеские. Одно время даже дружеские.

В последние годы он, правда, стал меня слегка раздражать. Ударившись в православие, он стал регулярно поздравлять меня – по телефону, конечно, – со всеми православными праздниками.

Ничего худого он при этом, наверно, в виду не имел. Скорее наоборот: имел в виду одно только хорошее. Как тот пахан в камере, о котором любили рассказывать нам Юлик Фрид и Валерик Дунский. Однажды на Пасху он, поклонившись сокамерникам, произнес традиционное: «Христос Воскресе, православные!» А потом, обернувшись к лежавшим в своем углу Юлику и Валерику, поклонился им тоже – и сказал:

– И вам, жида, добрый вечер!

Регулярно поздравляя меня с православными праздниками, Володя Максимов, наверно, был движим теми же добрыми чувствами. Но пахан, про которого нам рассказывали

Юлик и Валерик, – надо это признать, – был душевно тоньше, деликатнее Володи: он чувствовал, что обратиться к жидам было бы неуместно, а может быть, для них, жидов, – кто их знает? – даже и оскорбительно. Вот и нашел свою, как ему казалось, необходимую для жидов, деликатную формулу поздравления. Что же касается Володи Максимова, то он, при всем его уме и таланте, не понимал, что эти его поздравления мне не только не нужны, но даже слегка меня коробят своей подчеркнутой нарочитостью.

А впрочем, может быть, он искренне верил, что раньше или позже я тоже обращусь к истинной вере, как это случилось с нашим общим дружкой Феликсом Световым.

Как бы то ни было, до его отъезда в эмиграцию отношения у нас сохранялись вполне дружеские.

Иногда (не слишком часто) он звонил мне и из Парижа, всякий раз заканчивая разговор предложением опубликовать что-нибудь в его «Континенте». Этими его предложениями я не воспользовался, но разговоры были вполне дружелюбные. А вот на этот московский его звонок я отвечал довольно холодно. (Почему – станет ясно из дальнейшего.)

Однако закончил я тот разговор – наверно, желая слегка смягчить свою холодность, – умиротворяюще. Сказал:

– Ладно, Володя. Авось как-нибудь, Бог даст, еще свидимся. В Москве или в Париже...

И тут он сказал:

– Но ведь ты был в Париже.

Сказал – со значением. С нажимом на слове «был».

Смысл этой реплики был такой: «Был и не захотел со мною увидеться, даже не позвонил».

Так оно на самом деле и было. Но не позвонил я ему тогда и не пожелал с ним встретиться не «страха ради иудейска», как он, наверно, подумал, а совсем по другой причине.

Но сперва – о том, как это вдруг получилось, что я оказался в Париже.

* * *

До перестройки я был, как это у нас называлось, **невъездной**. Правда, в начале восьмидесятых, уж не знаю почему, при-

открылась для меня какая-то щелочка, и мы с женой побывали в ГДР, Венгрии и Чехословакии. И тут, слегка обнаглев, я решил попытаться счастья: для новой, очередной турпоездки выбрал круиз по Дунаю.

Это был пробный шар. Твердо зная, что ни в какую капстрану меня все равно не выпустят (к тому времени был у меня на этот счет уже большой опыт), я подумал, что с круизом дело – чем чёрт не шутит! – авось и выгорит. Ведь там на нашем пути будут почти сплошь соцстраны, меж которыми, глядишь, как-нибудь затеряется одна-единственная капиталистическая Австрия.

Но этот мой номер не прошел. И тут я уж окончательно увоил, что **настоящая заграница** – не для меня.

В поездке по ГДР я познакомился и даже слегка подружился с очаровательным человеком – поэтом и переводчиком Элизбаром Ананиашвили. В одном разговоре он признался мне, что главная государственная граница для него тоже всегда была на замке. И хитроумный план насчет круиза по Дунаю мы с ним разработали совместно. И оба потерпели фиаско.

Элизбар был существенно старше меня, и положение его в Союзе писателей было – не то что у меня – вполне прочным. (Он был то ли председателем секции переводчиков, то ли возглавлял там у них какой-то Совет по художественному переводу.) И поэтому при очередной встрече я поинтересовался у него:

– Я-то, конечно, не буду. Но вы, «как кавалер и у власти»... Неужели так вот и слопаете это унижение? Не станете качать права?

Он сказал, что нет, не станет. И с улыбкой процитировал прелестную грузинскую поговорку:

– Мышка рылась, рылась и дорылась до кошки.

Я качать права тем более не собирался. А на приставания жены, которая время от времени заявляла, что не желает больше жить в тюрьме, и требовала, чтобы мы, как это сделали все наши умные друзья, уехали наконец из этой проклятой Богом страны куда угодно, хоть в Израиль, отвечал, что вот и Пушкин тоже был невыездной, так и умер, не повидав ни Рима, ни Парижа, ни Лондона. Проживем и мы без заграничных путешествий, не в этом счастье.

Но началась перестройка, и всё изменилось. Во всяком слу-

чае, начало меняться. И в один прекрасный день (дело было осенью 1988-го) позвонила мне Ирина Эренбург, с которой мы тогда не только перезванивались, но и виделись ежедневно (были близкими друзьями, да и жили рядом) и огорошила:

– Вы едете в Париж?

Я рассмеялся:

– Бог с вами, Ирина! Откуда вы это взяли?

– Я только что встретила Володю Корнилова, и он мне это сообщил. А когда я сказала, что ничего про это не знаю, усмехнулся: «А-а, значит, он даже от вас это скрывает!»

Я позвонил Корнилову и выразил ему свое «пфе». Он сказал, что ему эту новость сообщила Олеся Николаева, которая тоже едет.

Я позвонил Олесе, и она подтвердила: да, действительно, она была на днях в Иностранной комиссии Союза писателей, читала список включенных в делегацию поэтов и критиков и безусловно видела в том списке мою фамилию.

Не слишком веря, что всё это происходит наяву, а не во сне, я все-таки заглянул в Иностранную комиссию. И фантастическая эта новость полностью подтвердилась.

Да, действительно, во Францию отправляется большая, представительная делегация. На две недели: неделя в Гренобле и неделя в Париже. Едут: Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Давид Самойлов, Александр Кушнер, Анатолий Жигулин, Олжас Сулейменов, Геннадий Айги, ленинградский критик Адольф Урбан, молодые поэты – Иван Жданов, Олеся Николаева, Михаил Яснов... Конечно, конечно, и вы тоже. Почему вы узнали об этом случайно, окольным путем? Ну... Просто мы никак не могли до вас дозвониться... Вот и с Самойловым тоже никак не можем связаться. Кстати, вы не могли бы нам в этом помочь?

В то, что они не могли до меня дозвониться, я, конечно, не поверил. Тем более, что до Самойлова я дозвонился в тот же день и без всяких сложностей.

Дезик, правда, ехать во Францию категорически отказался, как я его ни уговаривал. Говорил, что устал, плохо себя чувствует и вообще не больно это ему интересно. Но больше никто из того списка не выпал, и спустя какой-нибудь месяц, а может

быть даже и месяца не прошло, мы все уже были в Гренобле.

Там к нашей компании должен был присоединиться Ефим Григорьевич Эткинд.

Саша Кушнер в предвкушении этой встречи улыбался счастливой улыбкой: они с Фимой не виделись – ни мало ни много – четырнадцать лет, с того дня, как тот, изгнанный из Института имени А.И. Герцена, в котором профессорствовал, и лишенный всех ученых степеней и званий, отбыл в свою вынужденную эмиграцию.

Эту свою счастливую улыбку Саша то и дело обращал ко мне: как видно, он не сомневался, что я тоже волнуясь, предвкушая встречу с человеком, которого хорошо и близко знал и с которым не виделся целых четырнадцать лет.

Я отвечал Саше такой же понимающей многозначительной улыбкой, стесняясь признаться, что на самом деле с Ефимом Григорьевичем знаком не был.

Зато к моменту той первой нашей очной встречи мне уже было известно, что именно он определил состав нашей команды. Стало быть, именно ему я обязан тем, что оказался здесь, в Гренобле (а спустя неделю – сказка! – окажусь в Париже).

И вот мы встретились.

Пока он обнимался с ленинградцами – Сашей Кушнером, Мишей Ясновым, да и с москвичами, с которыми у него были какие-то давние отношения, я скромно стоял в стороне, если и не чувствуя себя самозванцем, то, во всяком случае, ощущая некоторую неловкость. Но когда черед здороваться дошел до меня, от этой неловкости не осталось и тени.

Он кинулся ко мне как к родному. И как-то так вышло, что мы тут же уединились в его номере и заговорили друг с другом так, словно были знакомы – и даже дружны – на протяжении десятилетий.

Началось с того, что он спросил:

– Как мне вас называть?

Я сказал, что буду рад, если он станет, как и все мои друзья, звать меня Беном.

– Тогда я Фима! – тут же откликнулся он.

А через неделю мы уже были на ты.

Замена «пустого *вы*» на «сердечное *ты*» – вещь тонкая и даже таинственная.

В юности это дело обычное, и немудрено, что со всеми, с кем мы дружны или даже просто знакомы с юных лет (не говоря уже о друзьях детства), до конца дней остаемся, как были, «на ты», даже если отношения давно уже исчерпали себя и длятся по инерции, а то и вовсе превратились в холодно-недружественные. Но когда дружеские отношения завязываются в зрелом возрасте, тут все уже не так просто.

С иными из этих поздно обретенных друзей так и остаешься на *вы*: сохраняется какой-то неуловимый барьер, который почему-то не так-то легко преодолеть. С другими же сразу и легко сходишься на *ты*, но это, бывает, тоже ровным счетом ничего не значит: отношения остаются поверхностными, а часто даже пустыми. Но даже и в этих случаях вернуться к прежнему «*вы*» уже невозможно: с кем уже стал «на *ты*», так навек «на *ты*» и останешься.

Иногда мне приходится слышать упрек, что в этой книге – да и раньше, в своей книге «Перестаньте удивляться» – своих друзей, среди которых немало людей известных и даже знаменитых, я фамильярно называю по имени, а иногда даже и уменьшительными, домашними их именами: Бориса Слуцкого – Борей, Василия Аксенова – Васей, а Давида Самойлова и Наума Коржавина и вовсе какими-то «собачьими кличками» – «Дезька», «Эмка»...

Не знаю, может быть, в этих упреках и есть какая-то сермяжная правда, но я ничего не могу с собой поделать. У меня просто язык не поворачивается и не подымается рука человека, которого всю жизнь звал Борей, назвать Борисом, а тем более – Борисом Абрамовичем. И даже профессора Эткинда, с которым я познакомился и сблизился уже, так сказать, на закате жизни, у меня тоже не получается называть Ефимом Григорьевичем. Уж простите, но и его тоже я буду в этих записках звать, как это у нас повелось, запросто «Фимой».

Рука написала слово «профессор» – и сразу вспомнилось.

Там, в Гренобле, на одном из первых наших заседаний произошел такой инцидент.

Входивший в нашу делегацию Олжас Сулейменов позволил себе довольно гнусную выходку. Поспорив о чем-то с Эткин-дом, он заговорил с ним «как русский царь с евреем». Точнее – как советский человек с отщепенцем, невозвращенцем, предателем. Подробностей и деталей я сейчас уже не помню. Помню только, что в этой своей отповеди Олжас назвал Фиму **бывшим профессором**.

Запомнилась мне именно эта замечательная формулировка, я думаю, потому, что она поразила меня тогда своей очевидной нелепостью. «Бывший профессор» был тогда профессором Сорбонны, и это новое его профессорство было уж никак не менее весомым, чем то, которого его лишили в Советском Союзе.

Напоминаю, что заря перестройки тогда еще только-только забрезжила, и выходка Сулейменова была вполне в духе сохранявшей всю свою мощь советской официальнойщины. И хотя эта его выходка возмутила (я думаю) всех присутствующих, в первую минуту никто не нашелся: все сидели, как оплеванные.

И тут встал Булат.

Холодно, сдержанно, по форме вполне вежливо, но по существу предельно резко и даже презрительно он высказал Олжасу все, что он думает не только о неприличном тоне, но и о самой сути его высказывания.

Олжас ничего не ответил. Тем вроде дело и кончилось.

Но когда вечером того же дня все мы собрались в кантине за обычным нашим общим – то ли поздним обедом, то ли ранним ужином, – Олжас вдруг встал и в мгновение наступившей тишине публично принес Фиме свои извинения.

Не знаю, какая там работа перед этим происходила в его мозгу. То ли ему и в самом деле стало неловко, то ли вдруг до него дошло, что времена уже не те, и зря он так оскоромился. Как бы то ни было, неприличную свою выходку он решил загладить. И извинился.

Все присутствующие – кто помягчевшими, довольными лицами, а кто и возгласами – выразили по этому поводу своё удовлетворение. А Фима поднялся и с доброй близорукой улыбкой, с дружески простертой рукой двинулся навстречу Олжасу. Вот они сошлись, и ладони их сомкнулись в братском рукопожатии.

«Ну похристосуйся, похристосуйся с ним!» – раздраженно подумал я. И хотя «христосоваться» с Олжасом Фима не стал, ограничился рукопожатием, это мое раздражение не только не прошло, но даже усилилось.

По моим понятиям Фима должен был, принимая извинения Олжаса, холодно кивнуть. Может быть, даже и обменяться рукопожатиями, но при этом всем своим видом показывая, что никакие извинения не смогут заставить его забыть то, что произошло два часа тому назад. И вот вместо холодного кивка или, на худой конец, холодного, сдержанного, дипломатического рукопожатия – эта добрая, открытая, даже какая-то расстроганная всепрощающая улыбка!

Нет, этого я понять не мог.

«Прямо иисусик какой-то!» – раздраженно подвел я итог своим чувствам и мыслям.

На второй или на третий день нашего пребывания в Гренобле было назначено публичное выступление трех наших поэтов: Андрея Вознесенского, Саши Кушнера и Булата.

Вечер проходил в каком-то большом концертном зале. Кушнера представлял Фима, а Андрея и Булата должен был представить я.

Аудитория состояла наполовину из русских, наполовину из французов, и Фима о Кушнере говорил на своем блестящем французском. Ну а я, естественно, собирался говорить про Андрея и Булата на том единственном языке, на каком мог это сделать, то есть – на русском.

Фима отговорил свою искрометную французскую речь и на авансцене уже читал свои стихи Кушнер. А мы трое – Андрей, Булат и я – сидели в глубине сцены и ждали – каждый своего выхода.

– Когда будешь говорить обо мне, – шептал мне в ухо сидящий слева от меня Вознесенский, – не забудь сказать о наших выступлениях в 60-е годы. О том, что на наши вечера собирались тысячи людей, была конная милиция...

– Да, конечно, обязательно скажу, – кивал я.

– И не забудь, пожалуйста, сказать, что я почетный член... – И он перечислил несколько каких-то международных академий.

Я кивал: да-да, непременно, можешь быть спокоен, не забуду.

Таких напоминаний он мне сделал не то шесть, не то восемь. Половину из них во время своего выступления я вспомнил, а половину, конечно, забыл. Но всё, о чем не вспомнил, забыл упомянуть в своем выступлении я, Андрей сказал о себе сам. А сказав, отчаянно завывая и гримасничая, стал читать свои стихи.

Вообще-то он читал прекрасно, и каждое его выступление на Родиде – как и публичные выступления Жени Евтушенко – являли собой великолепный «Театр Одного Актера». Но здесь – очевидно, в расчете на французскую часть аудитории, не понимавшую по-русски, – по части жестов, мимики и завываний он, как мне показалось, слегка перебарщивал.

А Булат тем временем шептал мне – в другое мое ухо.

– Я не понял, это ты уже про нас обоих сказал? Или только про Андрея?

– Только про Андрея. Сейчас он кончит – и буду про тебя.

– Ну ладно. Только покороче...

И перед самым моим выходом еще несколько раз повторил:

– Покороче, Бен... Прошу тебя, покороче...

Я постарался выполнить эту его просьбу.

Начал с того, что у нас, в нашей стране, Булат ни в каких представлениях не нуждается. И в доказательство привел тут же вспомнившийся мне случай.

Однажды мы вчетвером: Володя Корнилов со своей женой Ларисой, моя жена и я, прошли горными тропами через Карадаг и, спустившись к Щебетовке, утомленные длинным пешим переходом и жарой, с радостью обнаружили там какую-то «чебуречную». Чебурски, которыми нас там накормили, показались нам необычайно вкусными, а холодный компот, которым мы их запивали, доставил нам совсем уже неизъяснимое наслаждение. И обслужили нас в этой «чебуречной» быстро и вежливо, чем мы, привыкшие к ненавязчивому советскому сервису, тоже были приятно удивлены. По всему по этому, когда, поблагодарив обслуживавших нас девушек, мы вышли из этого заведения и тронулись в путь, моя жена сказала, что надо бы написать им что-нибудь хорошее в ихнюю «Книгу жалоб и предложений», которая у них наверняка есть. Выразить им не только устную, но и письменную благодарность. Сказано –

сделано. Она вернулась обратно и спустя несколько минут, выполнив то, что хотела, догнала нас. И тут – к нашему изумлению – вслед за ней высыпал на порог «чебуречной» весь ее коллектив. Было их человек, наверно, пять или шесть. И все они глядели нам вслед, поставив ладони козырьком, как смотрят на солнце.

– Что это они? – подозрительно спросил я у жены. – Что ты там такого им понаписала.

– Ничего особенного, – сказала она. – Просто поблагодарила, и все. А подписалась: «Булат Окуджава». Ну, чтобы им приятно было...

Эта моя история имела успех – во всяком случае, у русской части аудитории. Хотя и французы, кажется, тоже поняли, как знаменит наш Булат у себя на родине.

Что еще я говорил в том своем вступительном слове про Булата, сейчас уже не вспомню. Помню только, что сказал про его стихи, что они не поддаются анализу. Фокус, мол, можно объяснить. А как объяснить чудо?

На следующее утро за завтраком к моему столику подсел Андрей.

Наливая себе кофе и разбивая ложечкой скорлупку яйца, он глянул на меня с усмешкой и сказал:

– А мои стихи, значит, можно проанализировать?

– Твои можно, – сказал я. И с досадой подумал, что вот черт меня дернул испортить Андрею обедню – не миновать теперь длинного и неприятного выяснения отношений. Но Андрей был умен и развивать эту тему не стал.

В Гренобле мы провели неделю. А следующую неделю – в Париже.

Там – помимо того, что Париж это «праздник, который всегда с тобой», – меня ожидало много впечатляющих встреч, главной из которых была встреча с Андреем Синявским и его женой Марьей. Они встретили меня как родного, повели в ресторан, угощали какой-то редкостной дрянью: улиткой, которую надо было извлекать из ее скорлупы какими-то специальными щипцами. («Дадим еврею съесть улитку», – сказала злоязычная Марья, заказывая для меня это экзотическое блюдо.)

Потом чуть ли не всю ночь мы гуляли по Парижу, а остаток ночи провели у меня в номере: говорили, говорили – не могли наговориться.

На следующий день Булат – он уже далеко не первый раз был в Париже – повел меня в редакцию газеты «Русские новости», где мы встретились с Аликом Гинзбургом – тем самым, который «Гинзбург и Галансков»: я немного знал его по Москве. Но самому, без Булата, мне и в голову бы не пришло встречаться в Париже с полужнакомым знаменитым диссидентом, защищая которого мои друзья Биргер и Балтер лишились своих партийных билетов.

Потом мы с Булатом долго сидели в каком-то маленьком кафе: третьим с нами был старый поэт, один из последних осколков первой эмиграции Кирилл Померанцев. С ним Булат познакомился давно, в один из самых первых своих приездов в великий город, а теперь вот познакомил со стариком и меня.

Кирилл Дмитриевич рассказывал нам про Георгия Иванова, с которым дружил и которого считал своим учителем.

Потом, естественно, мы заговорили о том, что происходит в несчастном нашем отечестве, о том, что с ним теперь будет, как повернется его – а, значит, и наша – судьба. И тут старик прочел нам свой, только что, буквально на этих днях сочиненный стишок:

Не Горбачев страную правит
И не центральный комитет,
И перестройка не исправит
Итог семидесяти лет.

И гласность делу не поможет,
Труби хоть тысячами труб,
Пока над всем и вся вельможит
Набальзамированный труп.

Стишок показался мне наивным. По разным причинам, но, помимо всего прочего, наверно, еще и потому, что поминутно повторявшиеся тогда слова «перестройка» и «гласность» все-таки слегка меня опьяняли. (Как это – «гласность делу не поможет!» Вот ведь оказался же я, столько лет и, казалось, уже

на всю оставшуюся жизнь «невъездной», – здесь, в Париже. Мог ли я вообразить такое не то что лет пять, но даже всего лишь год тому назад?)

Так и остался я тогда при убеждении, что ничегошеньки этот старый эмигрант в нашей жизни не понимает.

Но сейчас, когда с тех пор, как мы сидели втроем в том кафе, прошло уже – ни мало ни много – шестнадцать лет, отыскав тот старый стишок и перечитав его, я подумал о нем теми самыми словами, которыми тот, чей «набальзамированный труп» по сей день лежит в Мавзоле, высказался о поправившемся ему стихотворении Маяковского: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».

Знакомил меня Булат и с какими-то другими парижскими русскими. Но ни разу – ни он, ни я – не вспомнили о том, к кому, казалось, должны были бы кинуться сразу, в самую первую очередь: о Володе Максимове. Ведь что бы там ни было, с ним у меня было съедено куда больше пудов соли, чем с Фимой Эткиндом или даже с Сипявскими. Ну а уж Булат с Володей были связаны узами самой тесной и нежной дружбы.

Но о том, чтобы встретиться с ним, – а тем более о том, чтобы с ним захотел встречаться Булат, не могло быть даже и речи.

За год – или, может быть, за два – до этого нашего приезда в Париж Булат однажды сказал мне:

– Ты не слыхал? Володька Максимов написал про меня в «Континенте», что я – агент КГБ.

Я прямо задохнулся:

– Не может быть!

– Да, да, представь, так прямо и написал. И напечатал.

Лицо Булата, когда он сделал мне это сообщение, было бесстрастно. Но эта свойственная ему внешняя бесстрастность меня не обманула: чудовищная выходка бывшего друга наверняка больно его задела.

Ну а уж обо мне и говорить нечего: в отличие от Булата мне никогда не удавалось сохранять хотя бы видимость бесстрастия.

Я знал, что Максимов – там, в Париже, – уже кого только не обвинял в связях с «Галиной Борисовной» (так ласково мы меж собой именовали нашу гэбуху). Печатно объявил, что у него есть точные документальные данные, неопровержимо сви-

детельствующие о тесной связи с ГБ Андрея Синявского, профессора Эткинда публично назвал «Андроповской блядью»...

Но кинуть такое обвинение Булату!.. Булату, которого он знал – ближе некуда!..

Нет, «такого злого хулиганства» я не ждал даже от него. И поэтому мне даже в голову не пришло, что надо бы все-таки увидеться со старым товарищем, коли уж представился шанс еще раз встретиться с ним в этой жизни.

Каково же было мое изумление, когда на следующий день – уже ближе к вечеру, весь день он где-то пропадал – Булат безмятежно, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал мне:

– Я сегодня был у Володьки.

– Какого Володьки? – даже не сразу сообразил я.

– Максимова.

– Позволь!.. Но ведь ты... Но ведь он тебя...

– А-а, – так же безмятежно отреагировал Булат. – Ты про это?.. Ну, знаешь... Я его простил...

Мне сразу вспомнилась рука, протянутая открытой для рукопожатия ладонью, с которой Фима Эткинд шел навстречу оскорбившему его Олжасу Сулейменову, и добрая, прощающая его улыбка...

Нет, у Булата было совсем не такое лицо, когда он небрежно сообщил мне, что простил «Володьку». Холодное, как будто даже равнодушное...

Булат, как я уже говорил, был человек закрытый. И я так и не понял, насколько искренним было это его прощение. Кто его знает: может быть, он просто делает вид, что оскорбление, нанесенное ему бывшим другом, не так уж глубоко его задело...

Но я бы так не мог.

Ни за что! Ни при какой погоде!

«Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу», – однажды сказал о себе Виссарион Григорьевич Белинский.

Значит, я не в такой уж плохой компании.

Хотя теперь, кажется, эта компания считается плохой...

Вспомнилось. Зашел я как-то с сыном в большой книжный магазин на Кузнецком. На стенах там красовались портреты

всех корифеев отечественной словесности: Пушкин... Гоголь... Тургенев... Гончаров... Толстой... Чехов... Горький...

Сыну было тогда лет четырнадцать – это было то самое время его жизни, когда моя жена (я об этом уже рассказывал) горяча хотела его забрать из школы и отдать «на перевоспитание» на шинный завод. Как вы понимаете, в то время он менее всего интересовался классической русской литературой. Тем не менее, оглядевшись на стенах портреты классиков, он узнал почти всех.

Неузнанным остался только один: Виссарион Григорьевич Белинский.

– А это кто? – толкнул он меня, показывая на портрет великого критика.

Я сказал:

– Белинский.

– А-а, – кивнул он. – Сумасшедший Виссарион...

Я не мог удержаться от смеха, услышав, как трансформировалось в голове бедного моего нерадивого школьника прозвище «Нсистового Виссариона».

В те времена, когда моему сыну было четырнадцать, авторитет Белинского был еще сравнительно высок. Хотя уже приходилось слышать, что в знаменитом его споре с Гоголем прав был не он, а Гоголь.

Ну а теперь уже почти общим местом стало убеждение, что Белинский был чуть ли не злым гением великой русской литературы.

Не входя в существо этого спора (здесь и сейчас – не время и не место), могу сказать только одно: по части «жидовской» нетерпимости я и сегодня остаюсь с «Сумасшедшим Виссарионом».

* * *

Когда в том – уже московском – телефонном разговоре Володи Максимов с обидой напомнил мне, что, оказавшись в Париже, я не пожелал с ним встретиться, я, услышав этот его упрек («Но ведь ты был в Париже...»), все-таки испытал чувство некоторой неловкости.

Подумал, что, может быть, и в самом деле я поступил нехорошо, не по-человечески. Вот ведь Булат, у которого было го-

раздо больше оснований для того, чтобы не встречаться с Володей, все-таки переломил себя, нашел в себе силы забыть обиду. А может быть, мудро решил, что Володька все-таки психопат, «бешеный огурец», который кусает кого ни попадя – и чужих, и своих, – и нам, хорошо знающим его старым друзьям, нельзя не принимать это во внимание.

Но эти мелкие уколы совести беспокоили меня недолго. Прошло совсем немного времени, и я окончательно утвердился в мнении, что правильно поступил в той ситуации именно я, а не Булат. Не надо было нам с ним встречаться. Ни мне, ни Булату.

Помог мне утвердиться в этой моей «жидовской» (по Белинскому) нетерпимости сам Максимов, ставший регулярно печатать то в «Правде», то в прохановской черносотенной газетёнке «Завтра» (тогда, кажется, она еще называлась «День») дурно пахнущие статейки, клеймящие нашу молодую демократию («дерьмократию»), «безмозглые» реформы Гайдара, отнявшего у старух их «гробовые» деньги, бессовестную «прихватизацию» Чубайса. И – уж не знаю, хотел он этого или нет, – но выходило у него, что, как ни плоха была советская власть, она была все-таки лучше, чем нынешний «оккупационный режим банды Ельцина».

Этот набор идей, точнее, готовых идеологических – лучше даже сказать пропагандистских – штампов тогда носился в воздухе. И – что скрывать! – находил отклик во многих людских сердцах.

В то время у меня появился приятель-таксист. В первом же разговоре с ним выяснилось, что года полтора проучился он в МГУ на факультете журналистики, но вскоре женился, родился ребенок, – он понял, что от высшего образования ничего хорошего ему не светит, а семью надо было кормить, – и, бросив свой факультет, он ушел в таксисты.

Когда мы с ним познакомились, он уже ушел и из таксопарка. Ему продали по дешевке списанную, давно выработавшую свой срок «Волгу», и он промышлял теперь частным извозом.

Я записал его телефон, и когда нам с женой надо было добираться до какого-нибудь аэропорта – Шереметьева или Домодедова – звонил моему Валерию, и он доставлял нас туда без всяких хлопот и за не слишком разорительную для нашего кошелька плату.

Спустя года два он заехал за нами уже не на древней своей развалюхе, а на новенькой, белой, сверкающей «Волге».

На следующий год, отвозя нас в Шереметьево, он обратил мое внимание (я заметил это не сразу) на то, что «Волга» у него уже другая – черная.

– А где же та? – спросил я.

– Сыну отдал.

И сразу, что называется, с ходу завел обычную свою шарманку: как ужасна наша жизнь, как плохо живет людям, до чего довели нас Гайдар с Чубайсом и «антинародный режим Ельцина».

– Валерий! Побойтесь Бога! – не выдержал я. – Я ведь помню вашу старенькую машину! А теперь вот вы купили новую «Волгу». Прошел год – отдали ее сыну и купили вторую... Уж чья бы, знаете, корова мычала, а ваша бы – молчала...

Он растерянно замолчал.

Но молчал недолго.

– Ну, а культура, Бенедикт Михалыч? – снова оживился он. – Культура-то гибнет!

Этих стонов о гибели культуры я в то время наслушался уже предостаточно. И не только наслушался, но и начитался. Сколько их было тогда – этих лицемерных воплей о том, что великая наша культура погибает – и вот-вот погибнет совсем – от того, что лишилась опеки государства, и от еще большей беды, имя которой – коммерциализация.

Поскольку в основном эти вопли исходили от тех писателей, о которых еще в советские времена кем-то метко было сказано, что писателями они могут быть только при поддержке армии и флота (я бы добавил: и еще одной мощной конторы), я ринулся в бой: написал несколько статей, в которых доказывал, что никакая гибель нашей культуре не грозит, напротив, культура наша переживает сейчас подлинный расцвет: к читателю пришли наконец романы, повести, стихи, поэмы, философские труды, долгие годы прятавшиеся от него за семью замками во всевозможных спецхранах. И коммерциализация (то есть кооперативные и частные книгоиздательства) никакой бедой нашей культуре не грозит. И слава Богу, что у государства нет больше ни сил, ни средств, ни, кажется, даже желания патронировать и опекать культуру. От этой опеки, которая не отделима от стремления по-

руководить писателями, художниками и поэтами, культуре один только вред – именно отсюда грозит ей настоящая гибель, о чем мы, увы, хорошо знаем по нашему печальному опыту.

По поводу этих моих статей – ну и разговоров с друзьями, конечно, которых тоже было немало, – мой друг Володя Корнилов однажды – не без насмешки – заметил:

– Бен – романтик капитализма.

Так оно на самом деле и было.

Романтиком – не романтиком, но убежденным сторонником капитализма (то есть – рынка) я остаюсь и сейчас. Но тогда в моей приверженности рынку было куда больше страсти: ведь слабые частные издательства только-только нарождались, и приверженцы государственного руководства культурой делали всё, что было в их силах (а сила тогда была еще на их стороне), чтобы их заклевать. Так что запальчивость моя была понятна – и даже оправданна.

Но среди стонущих о гибели культуры были не только те, кто обслуживал своими писаниями обанкротившийся и рухнувший режим. И даже не только лицемеры. Были среди них и люди, искренне не желавшие примириться с потерями – не выдуманными, а, увы, вполне реальными, – которые действительно понесла наша культура на том – при всей своей половинчатости, все-таки довольно крутом – сломе эпох.

Точку зрения этих последних выразил доктор филологических наук, профессор Л.Г. Фризман. Он опубликовал в «Литературной газете» большую статью, которую озаглавил так: «Подлинный расцвет», или О чем позабыл Бенедикт Сарнов».

Слова «подлинный расцвет», заключенные автором в иронические кавычки, принадлежали мне. Против них и было направлено жало художественной сатиры харьковского профессора.

Он рисовал в своей статье такую картину тогдашней нашей культурной жизни:

Войдите в магазин «Медицинская книга». На доброй половине торгового зала продаются куртки, бюстгальтеры, заморские напитки, консервы, сигареты. На другой – книги: «Ангелика», «Богатые тоже плачут», Чейз, Дюма, Агата Кристи... Тот же ассортимент в магазинах «Искусство», «Просвещение»...

Я в ответ перечислил десятка два книг, купленных мною в описываемое время в тех самых магазинах – «Искусство» и «Просвещение». В этом моем перечне были и Бердяев, и Цветаева, и Константин Леонтьев, и Розанов, и Гумилев, и Ходасевич, и Мандельштам, и Набоков...

Но помимо не вполне сообразующихся с реальностью сетований на то, что в солидных книжных магазинах торгуют бюстгальтерами, Чейзом и «Анжеликой», были в статье профессора Фризмана и другие, куда более серьезные факты и соображения:

Подготовленное двумя главными литературоведческими центрами страны первое академическое собрание Блока лежит без движения, и надежды на его выход более чем призрачны. Что-то не объявляют подписки на давно готовящиеся и так ожидаемые полные собрания Гоголя и Льва Толстого. И даже новый тридцатитомный Пушкин, плод подвижнических усилий лучших специалистов страны, выход которого приурочивался к святой для всех нас дате – 200-летию со дня рождения поэта – выйдет ли? Кто поручится за это?..

Смею уверить, что и я помню, в каком положении находились деятели культуры при тоталитарном режиме, и несколько не намерен недооценивать значение происшедших перемен. Но нельзя не видеть, что при этом общество понесло крайне болезненные, а главное – ничем не оправданные, несуразные потери. Почему, получая возможность читать Солженицына и Бродского, мы должны были лишиться «Литературных памятников» и академического Блока?

На это по видимости вполне резонное замечание я отвечал так:

... Это восклицание напомнило мне замечательную фразу одной знакомой старушки: «Вот если бы цены были, как раньше, – мечтательно вздохнула она, – а пенсия – как теперь!»

Старушка-пенсионерка, быть может, и не в состоянии понять, почему эта ее мечта несбыточна. Но ученому мужу, профессору, не мешало бы все-таки сообразить, что тот судорож-

ный рывок к новой жизни, который совершает сейчас наше общество, неизбежно влечет за собой не только «великие обретения», но и потери.

Это трудный путь. Но его необходимо пройти.

Этот мой полемический ответ профессору Фризману так и назывался: «Если бы цены были, как раньше, а пенсия – как теперь...».

Тут надо напомнить уже подзабытое. Эта фельетонная моя статейка появилась в мае 1994 года, когда пенсия вышеописанной старушки в еще не деноминированных рублях составляла круглую сумму по меньшей мере с четырьмя нулями. Если бы батон хлеба при этом стоил, «как раньше», то есть четырнадцать копеек, моя старушка была бы Крезом. Но таких чудес, как мы знаем, в жизни не бывает...

Я был убежден, что свобода слова, которую нам принес крах советской системы, несовместима с тем ценным, что было присуще практике наших издательств в советские годы.

Но я понимал, что это мое убеждение, кажущееся мне таким очевидным, все-таки нуждается в более подробном объяснении. Несколько раз я подумывал о том, что к этой теме надо бы вернуться, – и не газетным фельетоном, а большой журнальной статьёй. Вернуться к ней мне мешали разные другие неотложные темы и сюжеты, которых тогда было предостаточно. А кроме того, для возвращения к этому сюжету нужен был какой-то факт, случай, какой-то конкретный повод.

Далеко ходить за такими случаями нужды не было. Случай – и даже не один – скоро представился. А внешним поводом для такой статьи явилась, как это часто бывает в нашем деле, – круглая дата: десять лет так называемой нашей перестройки.

Десять лет – срок немалый, можно было уже подвести некоторые итоги.

Статью я назвал «Список благодеяний», вспомнив знаменитую в свое время пьесу Юрия Олеши, героиня которой составила «список преступлений» революции 17-го года, которому противопоставила список принесенных ею «благодеяний».

Я в своей статье решил сосредоточиться только на благодеяниях, главным из которых мне представлялось, что издатель-

ское дело в нашей стране почти целиком перешло в руки сперва кооперативных, а потом и частных книгоиздательств. А родное наше государство, слава Богу, «умыло руки» и теперь в этот процесс уже не вторгается. Даже не пытается наложить на него свою лапу.

Но в том-то вся и штука, что именно этот итог десяти перестроечных и постперестроечных лет многие (да чуть ли не все!) весьма почтенные деятели культуры склонны были рассматривать **как преступление**. И добро бы еще, если бы это были только партийные литературные бонзы, обслуживавшие своими писаниями обанкротившийся и рухнувший советский режим, плюс – увы, довольно многочисленные – честные Фирсы, для которых **воля** обернулась **несчастьем**. Но то-то и горе, что среди недовольных случившимися переменами оказалось немало людей, озабоченных не столько снижением своего социального статуса, сколько тем – и в самом деле тяжелым – положением, в котором оказалась та область культуры, в которой они работают. И самым неприятным для меня было то, что всё это были люди, так сказать, моего круга. Не только симпатичные мне и чтимые мною издали, но и близкие знакомые, приятели, друзья, в недавнем прошлом – единомышленники.

Самым печальным для меня было то, что, высказывая свое недовольство происходящим, эти бывшие мои единомышленники зывали к власти.

Кто-то, помню, передал мне возмущенную реплику Александра Михайловича Борщаговского. Прочитав мою статью, он якобы с негодованием воскликнул:

– Ишь, до чего договорился! **Читатель**, видите ли, **сам** будет теперь решать, что хорошо, а что плохо!

Ввязываясь в спор и с этими моими недавними единомышленниками, которые – кто открыто, а кто втайне – разделял возмущение Борщаговского, я не стал.

В конце концов. Бог с ним, и с Борщаговским, который предпочитает, чтобы симпатиями и антипатиями читателя, как и прежде, заведовали какие-то – не кем-нибудь, а начальством – назначенные поводыри.

Бог с ними и с теми моими друзьями-приятелями, которые

сами охотно взяли на себя роль этих поводырей, как это сделал тогда, например, милейший Слава Кондратьев.

Разумеется, — объяснял он в беседе с корреспондентом «Московских новостей» (22 октября 1989 года), — необходимо знакомить читателя с тем, чего он был лишен. Но, думаю, нужен и отбор. Вряд ли напечатанная в «Юности» «Золотая наша железка» принесла новые лавры Василию Аксенову. Кажется мне, что и публикация «Иванькиады» Владимира Войновича в «Дружбе народов» мало что добавит автору «Чонкина»: история борьбы за лишнюю жилплощадь, когда люди еще живут в бараках и коммуналах, не внушит читателю особых симпатий к автору.

Журналы едва ли не соревнуются, кто скорее опубликует все написанное в эмиграции. Сейчас, когда идет возвращение великого писателя и гражданина Александра Солженицына, печатается роман Войновича «Москва 2042». Разве примет читатель сатиру на человека с такой трагической судьбой? Уверен, что нет.

Только-только прилетели к нам из-за рубежа первые ласточки, внушающие надежду на воссоединение искусственно разделенной железным занавесом на два враждебных лагеря единой русской литературы, как сразу же мы услышали эти — давно и хорошо знакомые унылые цензорские речи, выражающие **заботу о писателе**, которому опубликование его книги не принесет новых лавров, и **заботу о читателе**, которому неразборчивые издатели подсовывают недоброкачественный товар.

И — главное — кто проявляет эту обрыдлую фальшивую заботу о писателе, которого в его же собственных интересах не надо печатать? И о читателе, которому не следует давать в руки книгу, которая может сбить его с правильного пути? Ведь не Прокурин, только что публично назвавший интерес издателей к эмигрантской литературе **некрофилией**, и не какой-нибудь там Генрих Боровик, а — Вячеслав Кондратьев, автор «Сашки»! Слава Кондратьев, которого я привык числить среди полных своих единомышленников!

Еще сильнее ушибло меня совсем уже как снег на голову свалившееся интервью Бориса Чичибабина.

Но об этом надо — чуть подробнее.

Я совсем было уже собрался написать, что стихи Чичибабина узнал из Самиздата. Но тут же вспомнил, что в Самиздате они если и ходили, то не больно широко. А первое его стихотворение я услышал от Слуцкого.

Услышал – и сразу запомнил: и имя поэта, и его стихи. А один маленький стишок надолго остался для меня чем-то вроде его, Чичибабина, визитной карточки, фирменного знака. Как, скажем, «Гренада» для Светлова.

Стишок был такой:

Кончусь, останусь жив ли, –
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры –
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
Хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Все было предельно ясно в этих прозрачных, простых, до примитива простых стихах. Мальчика взяли прямо со школьной скамьи, и школьные коридоры сменились другими, по которым его теперь водят на допрос. Но какая-то неизъяснимая прелесть таилась в этих дважды повторенных грустных строчках про красные помидоры, которые теперь кому-то (а вернее, всем, оставшимся по эту сторону тюремных стен) предстоит «кушать» без него.

Борис прочел это стихотворение неизвестного мне своего

тезки с какой-то особенной, совсем ему не свойственной нежностью. А когда я сказал ему про «красные помидоры», – что именно они делают это незатейливое стихотворение поэзией, – он улыбнулся – тоже какой-то особенно нежной улыбкой, какую мне никогда прежде не случалось видеть на его лице, – и сказал:

– Это очень по-харьковски. Для меня, харьковчанина, это «кушайте» звучит совсем не так, как для вас, москвича.

Второй раз я услышал про Чичибабина от Межирова. И это был уже совсем другой Чичибабин.

Межиров прочел мне два совсем коротеньких чичибабинских стихотворения. Даже не стихотворения, а – отрывка, огрызка.

Один «огрызок» был такой:

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев,
Как Алексей Толстой
И Валентин Катаев.

А второй, столь же нелицеприятный, был – и это было уж совсем удивительно – про Есенина:

Ты, заменивший шар земной
родной халупой, –
не то беда, что ты хмельной,
А то – что глупый!

А кончался он так:

Ты нам во славу и позор –
Сергей Есенин!

Прочел Межиров эти строки замечательно! (Он читал, наверно, еще и какие-то другие, но я запомнил только эти.) Слово «глупый» он прочел так: «глупой». Так диктовала рифма, но не только в рифме, в чем-то еще было для него тут дело. Читая, он чуть прищуривал хитровато свои выпуклые глаза. А в ответ на мою реакцию произнес только одно слово. Даже не слово, а междометие: «О!» И это значило, что нам суждена еще

великая переоценка всех наших привычных ценностей, что где-то там, в глубокой провинции зреют силы, которые вот-вот выйдут на арену истории и сметут с нсe всех наших привычных кумиров: не только очевидного негодяя Катаева, но и Алексея Толстого, и Есенина, и может быть, даже не только их, а кое-кого еще, покрупнее и позначительней.

А потом появился у меня дома и сам Борис Чичибабин со своей женой – красавицей Лилей. Ему предстояло выступить в ЦДЛ – в большом зале, – и он просил меня, чтобы я его представлял, произнес перед его выступлением что-то вроде вступительного слова.

Почему он обратился с этой просьбой именно ко мне – не могу сказать, не знаю. Но я откликнулся с готовностью и выполнил свою роль даже с излишним усердием. Говорил много, долго, едва ли не забыв, что люди пришли в этот зал слушать не меня, а его.

После этого Чичибабины – Борис и Лиля, – приезжая в Москву, всякий раз заходили к нам на правах уже добрых знакомых. Ну и конечно, когда наша так называемая перестройка вошла в свою полную силу, и Советский Союз распался, и канула в прошлое ненавистная нам цензура, и у Бориса стали выходить книги – одна за другой (каждую из них он мне дарил), я уже не сомневался, что он рад всему случившемуся – так же, как я. Наверно, даже больше, чем я: я все-таки ни Алексея Толстого, ни даже Катаева впрямую негодьями назвать бы не отважился, и Есенина сбрасывать с парохода современности тем болсе бы не стал.

И вдруг попадаетея мне на глаза интервью Бориса, с грубой прямоотой озаглавленное: «Власть денег хуже, чем тоталитаризм». Ни больше ни меньше.

Я не то чтобы не поверил своим глазам, но – как старый газетчик – подумал, что заглавие это из каких-то там своих соображений придумали в редакции: то ли для сенсационности, то ли потому, что такое заглавие было по сердцу людям, делавшим эту газету.

Но в тексте интервью говорилось то же, что в заглавии. И даже с большей убедительностью. Во всяком случае, с большей искренностью:

Коммерциализация — это американский, а не русский способ жизни... Нельзя бросать культуру под ноги рынку. Как это ни парадоксально звучит, духовность в застое цвела пышнее. В 70-е годы, не публикуясь, я знал своего читателя, я видел лица, ловившие каждое мое слово. Сейчас я не знаю, кто меня читает и читают ли вообще. Пусть нас не печатали, но был самиздат, и люди тянулись. Да, существовали они и мы, но можно было зайти в книжный магазин и купить С. Липкина, Д. Самойлова, а сейчас, вы видели, что лежит на прилавках? Макулатура в красивых обложках... То есть власть денег оказалась сильнее тоталитарной власти.

Встретившись с Борисом (на этот раз встреча было случайной и по необходимости короткой), я выразил ему свое изумление. Он ответил, что тема эта требует долгого разговора и — желательно — за бутылкой.

Такая встреча тоже имела место, но ничего сверх того, что было сказано в том интервью, он мне не сообщил. Снова и снова повторял, что раньше люди к нему тянулись, а сейчас — да, книги выходят, — но всё, что он пишет и издает, проваливается как в вату. А книжные магазины забиты макулатурой. (Как будто раньше они не были забиты макулатурой — только другого рода. И как будто раньше так вот просто, заглянув в книжный магазин, можно было без хлопот купить там книгу стихов Липкина или Самойлова.)

Я сказал, что в тюрьме люди тоже тянутся друг к другу. Перестукиваются, жадно ловят каждый шорох; доносящийся из соседней камеры. А потом, оказавшись за стенами тюрьмы, при встрече не испытывают ни малейшего интереса друг к другу. Значит ли это, что в тюрьме им было лучше, чем на воле?

На это Борис ничего мне не ответил. Наверно, обиделся.

Была еще одна встреча — в Харькове, у него дома.

Тоже было застолье, с украинской водкой — «горилкой». Но и «горилка» не помогла. Разговор не получился. Я только понял, что Борису — насквозь русскому человеку — невероятно тяжело жить в Харькове, который всегда был для него русским городом и вдруг — в одночасье — стал украинским. Вот для кого, — подумал я, — распад Советского Союза стал настоящей личной драмой: разрыв Украины с Россией прошел по его жи-

вому телу. Я от души ему сочувствовал, но с собой ничего поделать не мог: для меня распад Союза был крахом ненавистной мне советской власти, и то, что меня радовало, ему причиняло невыносимую боль.

Был у меня еще один любопытный разговор с одним бывшим единомышленником. Взяв в руки мою книгу «Пришествие капитана Лебядкина» – увесистый том, самую объемистую (тогда) из всех моих книг, он – не без тайного умысла спросил:

– Сколько ты получил за нес?

Я назвал жалкую сумму гонорара, равнявшегося едва ли не половине моей месячной пенсии.

– Вот видишь, – сказал он. – А раньше, если бы у тебя вышла книга такого объема, ты получил бы за нее гонорар, на который мог бы с семьей жить два или три года.

– Раньше, – ответил я, – я за нее получил бы срок.

* * *

Но и Слава Кондратьев, и Борис Чичибабин – это были хоть и «свои», но все-таки – не близкие мне люди. То есть в известном смысле близкие, но – издали.

Иное дело – Володя Максимов!

Это был человек нашей компании, нашего круга. К тому же – диссидент, эмигрант, натерпевшийся от советской власти как мало кто другой, создатель и редактор «Континента», лучшего «тамиздатского» журнала, на всех своих страницах неустанно разоблачающий ненавистную нашу Софью Власьевну. Уж он-то, казалось, бегом должен был бежать от газеты «Правда», возглашая: «Чур, чур меня, нечистая сила!» А вот – поди ж ты! Печатается и в этой самой «Правде», и в «Советской России», которую в народе презрительно называют «Савраской», и в других газетах, зовущих нас назад, в наше прекрасное советское прошлое.

Как видите, моя метафора о гражданской войне, где старые друзья оказываются по разные стороны баррикад, быстро превращалась в реальность.

Но это всё были еще цветочки. Ягодки были – впереди.

Осенью 93-го Марья Синявская (Розанова) в очередной раз приехавшая из Парижа в Москву, собрала на квартире вдовы Юлика Даниэля Иры Уваровой, где она остановилась (приезжая в Москву, она всегда там останавливалась), самых близких друзей. Велено было явиться и мне.

У меня очень плохая память на даты, но я помню, что принес и подарил Марье в тот вечер (естественно, не только ей, но отсутствующему Андрею тоже) свою книгу «Пришествие капитана Лебядкина», которая в то время была совсем свежей новинкой. Подписана в печать она была 14 июля 93-го года, вышла, стало быть, не раньше августа, скорее всего в сентябре. Так что встреча эта была совсем незадолго, может быть, всего за несколько недель до кровавых событий 3-4 октября 93-го года, закончившихся тем, что впоследствии стали называть «расстрелом парламента».

Это был «военный совет». Предстояло обсудить и решить вопрос чрезвычайной важности.

Володя Максимов в то время со свойственной ему лютой злобой и яростью нападал в печати на Синявских, обвиняя их в сотрудничестве с КГБ. Ссылался он при этом на какое-то письмо Андропова, опубликованное на Западе, как доказывала Марья – с купюрами и подтасовками.

Она хотела – немедля – подать на Максимова в суд.

Для решения этого вопроса и созван был тот «военный совет», на который, помимо нескольких друзей, был приглашен и знаменитый адвокат Генри Резник.

Резник о перспективах судебного процесса отзывался, столько мне помнится, не очень уверенно. Что говорили другие – не помню совсем. Скорее всего, примерно то же, что я. А я рассказал старый анекдот про Петьку и Чапаева:

ПЕТЬКА. Василь Иваныч! Слышал? Бангладеш образовался.
 ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Главное, не расчесывай, Петька.
 Сам пройдет.

Марью эти наши вялые рекомендации решительно не устроили. «Нет-нет! Только суд!» – лютовала она. Одно только

упоминание имени ненавистного ей клеветника Максимова приводило ее в бешенство.

И вдруг, не так уж много времени спустя, я узнаю, что Синявские с Максимовым помирились. И не просто помирились, а крепко обнялись и единым фронтом выступают (в той же «Правде» и «Савраске», и даже в Прохановском «Дне») с проклятьями Ельцину, который **расстрелял парламент**.

Что говорить! Действовал наш Борис Николаевич довольно неуклюже. Получив на референдуме от народа мандат на самые решительные действия, он этим мандатом не воспользовался, тянул, а когда наконец решился, тоже продолжал тянуть, надеясь, что дело как-нибудь рассосется само собой. А там, в Верховном Совете, не дремали, копили силы, и – подготовившись – ринулись в атаку. Согласно всем правилам марксистской науки, первым делом кинулись к Останкинской телебашне! Последнее, что я увидел в тот день по телевизору, – была банда вооруженных путчистов во главе с генералом Макашовым, который орал во всю ивановскую:

– У нас не будет ни мэров, ни херов!

Через несколько минут экран телевизора погас, а по радио сообщили, что в Останкине идет бой, что путчистов там много, а милиция, долженствующая защищать государственное телевидение, то ли сбежала, то ли ее вообще там не было.

Было, по правде сказать, довольно страшно.

Не знаю, может быть, «там, далеко, на севере, в Париже», всё это смотрелось несколько иначе, но не могли же в конце концов Максимов и Синявские не знать, КТО ЕСТЬ ХУ, как выразился не так давно по сходному поводу первый наш президент – Михаил Сергеевич.

Я уж не говорю о том, что недавние советские люди, они должны были хорошо знать, что Верховный Совет – не парламент, и не повторять, как попки, вслед за наивными либералами Запада, что в России президент расстрелял парламент. Не парламент он расстрелял, а последний оплот советского режима, призывавший страну к гражданской войне. Худо ли хорошо, но этими неуклюжими своими действиями Ельцин страну от этой – едва не начавшейся – гражданской войны спас.

Зная Андрея как человека умного, я не мог представить се-

бе, чтобы он всего этого не понимал. Поэтому решил, что этот неожиданный – его и Марьи – политический «поворот всем вдруг» был ничем иным, как ПЛАТОЙ ЗА ПРИМИРЕНИЕ С МАКСИМОВЫМ. Видимо, была достигнута договоренность: они выступают с ним единым фронтом против Ельцина (то есть за Верховный Совет, за Макашова, за Проханова, за «Правду», за «Савраску»), а он – отказывается от своих обвинений, не будет больше обвинять их в сотрудничестве с КГБ.

Теперь тайна этого их предполагаемого соглашения не так меня волнует, поскольку совсем недавно в одном своем газетном интервью Марья прямо сообщила, что на выборах 96-го года они с Андреем голосовали за коммунистов.

Коли так, почему надо было так близко к сердцу принимать обвинения Максимова? Чем поддержка Зюганова лучше сотрудничества с ведомством Андропова?

Но это уже их, Синявских, – вернее, теперь уже одной Марьи, – дело. Я же рассказываю только о своих утратах – о том, как со вчерашними друзьями вдруг оказался по разные стороны баррикад.

«Поворот всем вдруг», проделанный Максимовым, не шибко меня ударил. По правде говоря, я и раньше знал ему цену. Помнил, как он – хоть и ненадолго – ушел в «Октябрь» к Кочетову, стал там даже членом редколлегии. Да и «Континент» максимовский был мне идеологически не больно близок.

Сальто-мортале, проделанное Синявскими, ударило меня сильнее.

Но самым большим ударом стала для меня неожиданно вдруг обозначившаяся политическая позиция моего друга Эмки.

Он вдруг объявил себя империалистом.

Не в том, конечно, смысле, какой вкладывали в это слово наши преподаватели основ марксизма-ленинизма («Империализм как высшая стадия капитализма»), а в старинном, прямом, буквальном: стал убежденным и горячим блюстителем нерасторжимости империи – великой, единой и неделимой России.

Еще не так давно, заливаясь смехом, он рассказывал мне анекдот про еврея, который на выборах в Учредительное Собрание проголосовал за монархистов.

– Послушайте, Рабинович! – увещевают его. – Ведь монар-

хия – это так отвратительно! Это – черная сотня. Еврейские погромы. Дело Бейлиса!

– Что поделаешь! – вздыхает еврей-монархист. – Я люблю пишность.

И вот теперь Эмка сам возлюбил «пишность».

Советский Союз еще и не собирался распадаться, «стоял, как утес, – по знаменитому выражению Сталина, – идя от победы к победе». Появились только первые ласточки: в Прибалтике, в частности в Литве, заговорили о том, что страны Балтии не вошли в Союз добровольно, а были оккупированы в 40-м году советскими войсками. Нерушимости «великого и могучего» это как будто пока еще не угрожало.

Но Эмка забеспокоился.

И предпринял решительные шаги, чтобы спасти ситуацию, «упредить» близящийся распад.

Он написал – и опубликовал – открытое письмо Ландсбергису – лидеру литовских националистов, убеждая его, что независимость принесет Литве только горе, что в железных объятиях великой России литовцам (как, впрочем, и всем другим нациям, населяющим территорию СССР), будет и лучше, и спокойнее.

У нас с Эмкой был общий друг – Жора Федоров, видный историк-археолог, очаровательный человек – именно Эмка меня когда-то, в незапамятные времена, с ним познакомил. И мы подружились. Виделись мы с ним нечасто, перезванивались по телефону, да и то изредка. А тут Жора стал звонить мне чуть ли не каждый день. Прочитав Эмкину переписку с Ландсбергисом, он пришел в ужас.

– Понимаешь, – говорил он мне, – я в сороковом входил с нашей армией в Литву. Ну да, я был лейтенантом. Ты забыл, я же на десять лет тебя старше. И вот сейчас как раз начал писать свои воспоминания об этом. Назвал: «Записки оккупанта». Ничего, кроме жгучего стыда, эти воспоминания у меня не вызывают. И вдруг – читаю: Эмка, наш Эмка пишет в газете всю эту чушь! Ну что нам с ним делать?

Сделать с Эмкой мы, конечно, ничего не могли.

Но на том этапе к его имперским идеям я относился еще юмористически.

Однажды он позвонил мне (из своего Бостона) и спрашивает:
– Ну? Что у вас нового?

– Да ничего особенного, – говорю. – Всё то же. Вот твой друг Алкснис только что заявил, что, уйдя из Восточной Европы, мы предали наших солдат, павших смертью храбрых за освобождение этих стран от фашизма.

Эмка на эту новость отреагировал неожиданно бурно:

– Вот мерзавец!

– Позволь, – сказал я. – Но ведь он – твой единомышленник. Ты ведь тоже за империю.

Он, не задумываясь, ответил:

– Империя должна оставаться в своих естественных границах.

– И какие же границы, – язвительно спросил я, – пан считает естественными?

Немного подумав, он выдал такую замечательную формулу:

– Страна должна быть такой, какой она была, когда я родился.

Ну можно ли было к этому относиться иначе, как с юмором?

Я даже не сообразил напомнить ему, что когда он родился (в 1925 году), страны Балтии в состав Советского Союза еще не входили. Просто рассмеялся в ответ.

Но скоро мне стало уже не до юмора.

После «расстрела парламента» Эмка, как обычно, приехал в Москву (он теперь приезжал к нам из своей Америки регулярно – каждый год – на месяц-другой) и напечатал несколько статей в обычном своем имперском духе. Но – мало того! – под влиянием каких-то новых своих дружков-единомышленников поставил свою подпись под решением какого-то сомнительного общественного жюри, присудившего премию за миротворчество Зорькину! Тому самому Зорькину, который на правах председателя конституционного суда дал юридическое обоснование антиельцинского путча и стал одним из его вдохновителей. Это ему наложивший в штаны Герой Советского Союза Рущкой, когда дело запахло керосином, орал по радио: «Валера! Валера! Звони послам! Во все посольства звони! А то погибнем!»

И вот теперь этот самый Зорькин, поднявший антипрезидентский мятеж, объявляется миротворцем и чуть ли не спасителем отечества. И среди тех, кто под белы ручки возводит его на этот пьедестал, – мой Эмка!

Вообще-то с Эмкой давно уже было неблагополучно.

Началось это с того, что, приезжая в Москву, он поселялся у своих друзей и поклонников, молодых людей (молодых – сравнительно с нами, конечно), настроенных весьма скептически по отношению к новой власти. Чубайса они презирали, Гайдара ненавидели, хотя, не будь Гайдара и Чубайса, вряд ли могли бы откупить в центре Москвы целый этаж старого московского дома и сделать там так называемый «европейский ремонт». Благодаря этим квартирным роскошествам они и могли ежегодно на месяц-другой поселять у себя Эмку, к которому – что ни день – совершали паломничества все его старые друзья. (А их у него было, как я уже не раз говорил, – пол-Москвы).

На первых порах хаживал туда и я. И каждый такой приход оставлял в моей душе горький осадок.

Среди посещавших этот дом Эмкиных поклонников почему-то преобладали люди недовольные происходящими переменами. А кое-кто так даже прямо давал понять, что раньше, при советской власти, дела шли лучше, чем теперь.

Особенно напирал на это старший Эмкин друг Гриша (для меня – Григорий Наумович) Чухрай.

Я и раньше – хоть мы почти никогда не встречались – относился к нему слегка иронически.

Началось это с того, что когда он был председателем жюри Московского кинофестиваля и боролся за то, чтобы первую премию получил Феллини за свой фильм «Восемь с половиной» (высокое начальство было категорически против), Эмка, доносивший до нас ежедневно новые вести с поля сражения, однажды обмолвился, что самому Чухраю фильм Феллини не больно правится. Но поскольку он, тем не менее, на десять голов выше всех других, представленных на премию, не удостоить его высшей награды было бы позором. Это сообщение не слишком расположило меня тогда к Чухраю. Но я подумал, что Эмка тут не объективен: ярый антимодернист, он, быть может, отчасти приписал Чухраю свое отношение к не укладывающемуся в его эстетические категории феллиниевскому фильму.

Но потом произошел такой случай.

Чухрай задумал снять фильм о Сталинграде.

Фильм был документальный, и сновные его события происходили не в Сталинграде, а... в Париже.

По замыслу режиссера главная изюминка фильма должна была состоять в том, что группа советских кинематографистов с камерой подходит на какой-нибудь из центральных улиц Парижа (лучше всего – на площади Сталинграда) к одному парижанину, к другому, к третьему и задает им всем один и тот же вопрос: знают ли они, что такое Сталинград? Ни один парижанин, естественно, ответить на этот вопрос не может. Мораль: вот, дескать, мы их спасли от гитлеровской чумы, а они даже не помнят название легендарного города на Волге, где решалась, между прочим, и их судьба тоже.

Если вдруг среди прохожих оказывался какой-нибудь дотошный француз, готовый ответить на этот провокационный вопрос правильно, съемочная группа мгновенно теряла к нему всякий интерес. Говорят, что некоторые парижане были этим крайне обескуражены, а самые настырные из них даже бежали за странными русскими репортерами, пытаясь все-таки донести этот свой правильный ответ до зрителя будущего фильма.

Так или иначе, фильм был снят и даже смонтирован. И вот тогда Чухрай обратился к Эмке, который ни в какой Париж с ним, конечно, не съездил, с просьбой написать текст для закадрового голоса. Не избалованный литературными заказами, почти начисто отлученный от печатного станка, Коржавин охотно взялся за эту халтуру.

Фильм вышел на экраны.

И тут Коржавин, привыкший к почти подпольному существованию и вдруг оказавшийся одним из создателей произведения, получившего некоторый как бы даже государственный резонанс, сильно возбудился и стал приглашать всех своих друзей, приятелей и знакомых сперва на премьеру, а потом и на все другие официальные просмотры.

Это его возбуждение дошло до такой высокой точки, что некоторых наиболее покладистых приятелей он стал даже приглашать по второму кругу. И тут я не выдержал и сказал ему:

– Эма! Тебе Чухрай дал слегка подзаработать, и я очень за тебя рад. Но ты все-таки должен понимать, что гордиться этой своей творческой продукцией тебе особенно нечего.

В сущности, ты ведь принял участие в довольно-таки блядском мероприятии.

– То есть как? – обиделся он.

– А вот так, – сказал я. – Ты сообрази: откуда твой Чухрай со своей киногруппой приехал в город Париж? Явились, понимаешь, из фашистского государства к свободным людям и учат их высокой нравственности...

– А-а, – сказал Эмка. – Это конечно. Это я Чухраю и сам говорил. Я даже соответствующее название для этого фильма придумал: «Репортаж из жопы». И даже эпиграмму сочинил... Погоди... Вот!

И он прочел:

Мы о том, что вся Европа
Это – полное говно,
Репортаж ведем из жопы,
Где находимся давно.

Все это было в конце 60-х или даже в 70-х. А сейчас на дворе стоял 1996-й. И на посиделках у Эмки, когда Чухраю случилось заговорить, никто уже не замолкал почтительно. Все орало, перебивая друг друга и не стесняясь прибегать порой и к ненормативной лексике.

Еще в институтские времена была сочинена про Манделя эпиграмма:

Не ругался б Мандель матом,
Был бы Мандель дипломатом.

Дипломатом Мандель, как известно, не стал. Да и мы все тоже. Поэтому когда Чухрай объявил, что на предстоящих выборах собирается голосовать за генерала Лебеда, на моем лице отразилось нечто такое, что на вербальном уровне прозвучало бы как-нибудь так: «Ну, брат, такой глупости мы не ждали даже от тебя!»

Правильно угадав мою реакцию, Чухрай сказал:

– Я догадываюсь: вы сейчас скажете, что Лебедь это – полковник Скалозуб?

– Ну что вы, – вежливо возразил я. – Куда ему до Скалозуба!

Лебедь – это тот фельдфебель, которого Скалозуб обещал дать нам в Вольтеры. Помните? «Он в три шеренги вас построит, а пикнете, так мигом успокоит!»

– Эх! – вздохнул Чухрай. – Вы, диссиденты, хотели разрушить советскую власть, а разрушили Россию.

Эмка, у которого было куда больше, чем у меня, оснований считать себя диссидентом, похоже, с этим высказыванием старшего друга и товарища был совершенно согласен.

Это Эмка! У которого я всю жизнь учился думать и понимать! Эмка, в стихах которого я всегда находил собственные мысли и чувства!

* * *

Кагебешник, который приходил ко мне домой (тот самый, о моей беседе с которым Слуцкий сказал: «Ох, и много же лишнего вы ему наговорили!), сперва изобразил дело так, что явился ко мне из-за Эмки. «Что же это ваш друг, – сказал он, – все время лезет в политику. Поэт – так и пиши стихи. А он всё – открытые письма! То папе римскому, то Брежневу, то еще кому...»

Ну и работнички у них в конторе, подумал я. Знали бы свое дело получше, небось не удивлялись бы такой Эмкиной политизированности: он всю жизнь только и делал, что жил политикой, дышал ею.

Но это я подумал. А сказал другое:

– А вам-то что! Он ведь уже не ваш. Отрезанный ломоть.

– Нет, не скажите, – возразил он. – Нам важно знать, как там кто из бывших наших сограждан себя ведет. Вот поведением Виктора Платоновича, например, мы вполне довольны.

Хорошо зная Вику, я подумал: «Врет!»

– А что вы от меня-то хотите? – спросил я.

– Хотим, чтобы вы повлияли на своего друга, – сказал он, имея в виду все того же Эмку.

Мы с Эмкой переписывались. Как правило – не по почте. И «они», видимо, это знали. Какие-то наши «левые» письма, может быть, даже к ним попадали.

– Интересно, как я могу на него влиять? – сказал я. – Он старше меня. Я, например, не хотел, чтобы он уезжал, а он вот

взял и уехал. Так что я и тут-то не мог на него влиять. А тем более – через океан...

– Командировочку дадим, – усмехнулся он.

Я сделал вид, что это шутка. (Впрочем, может быть, это и была шутка. И даже скорее всего. Во всяком случае, за предложение поехать ОТ НИХ в командировку к Эмке в Америку я не ухватился.)

Пошутив еще немного на эти темы, мой собеседник перешел к главному: к тому, ради чего, как мне показалось, он ко мне пришел: к Войновичу и Корнилову.

Порассуждав немного об их поведении, прямо спросил:

– А они уезжать не собираются?

Я ответил, что не знаю, не могу сказать. Насколько мне известно, нет, не собираются.

Как мне показалось, этот мой ответ его огорчил.

Вероятно, им хотелось выпихнуть из страны их обоих. Но Войнович был для них – что кость в горле, и на него было оказано более грубое и мощное давление. Кончилось, как известно, тем, что в один прекрасный день они просто объявили ему, что его конфликт с советским народом дошел до точки кипения, и если он не согласится уехать на Запад, поедет на Восток.

А от Корнилова постепенно отстали.

Ему, конечно, тоже приходилось несладко. Регулярно являлся участковый, требовал устроиться на работу, а то – объявят тунеядцем, как Бродского. Но дальше этого дело не шло. И у Корнилова постепенно создалось впечатление, что отъезд Войновича и его, Корнилова, «неотъезд» – было делом добровольного и сознательного выбора каждого.

Он даже стихотворение об этом написал:

Помнишь, блаженствовали в шалмане
Около церковки без креста?
Всякий, выпрашивая вниманья,
Нам о себе привирал спроста.

Только все чаще, склонясь над кружкой,
Стал ты гадать – кто свой, кто чужой.
Кто тут с испуганною подслушкой,
А не с распахнутою душой?..

Что ж, осторожничать был ты вправе,
Но, как пивко от сырой воды,
Неотделимы испуг от яви,
Воображение от беды.

...Я никому не слагаю стансы
И никого не виню ни в чем.
Ты взял уехал. Я взял остался.
Стало быть, разное пиво пьем.

Стало быть, баста. Навеки – порознь...
Правду скажу – ты меня потряс:
Вроде бы жизнь оборвал, как повесть,
И про чужое повел рассказ.

...В чистых пивных, где не льют у стенки,
Все монологи тебе ясны?
И на каком новомодном сленге
Слышишь угрозы и видишь сны?

Ну, а шалман уподоблен язве,
Рыбьею костью заплеван сплошь,
Полон алкашной брехни... и разве
Я объясню тебе, чем хорош...

По этому стихотворению даже выходило, что Войнович уехал, потому что испугался. Потому что в душе его прочно поселился страх, при котором человеку уже мнятся разные ужасы, которых на самом деле даже нету и в помине.

Хорошо зная Войновича и все обстоятельства его отъезда, я точно знал, что портрет этот лжив. Но даже больше, чем эта конкретная ложь, ушибло меня в этом стихотворении моего старого друга (с Корниловым я познакомился и подружился раньше, чем с Войновичем) это неожиданное (для меня, во всяком случае) восхваление «самоедской» любви к отечеству.

Слово это я заимствовал у Чаадаева.

Есть, – говорил он, – разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый оленин жир, за-

ражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова...

Этой презираемой Чаадаевым «самоедской» любовью к Отечеству у нас грешили многие. Розанов («Ах вы, деточки, порсяточки! Все вы – деточки одной Свины Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует Свинья Матушка!..»), Мережковский («Мудры вы, сильные, честны, славны. Все у вас есть. А Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов – и всегда погибаем. А Христос Батюшка с нами и есть и будет во веки веков. Им, Светом, спасаемся!»), Блок («Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!..»).

И вот теперь к этой «самоедской» традиции припал, присоединился мой друг Володя Корнилов.

Сознавать это мне было особенно тяжело еще и потому, что примерно в этом же духе о новых наших эмигрантах высказывались тогда (публично) разные откровенные мерзавцы.

Вот, например, что говорил в это же самое время (на вечере памяти Пушкина) некий украинский «письменник» Борис Олейник:

...Бытует расхожая формула: мол, поэт должен быть чуть ли не в постоянной оппозиции. Если за таковую принять мелкие обиды некоторых ординарных стихотворцев на то, что их не признают за Пушкиных, то – да, они были, есть и пребудут в постоянной оппозиции ко всему талантливому. Что же касается Пушкина, то он просто не мог быть в оппозиции, поскольку за ним стоял народ.

Высказав эту, хоть и весьма мутную, но все же достаточно понятную лживую сентенцию, оратор далее прямо переходил к современным нашим – оппозиционно настроенным – писателям и поэтам:

...Иные, не утолив амбиций быть занесенными в список штатных единиц истории, даже оставляли берега родной Отчизны. Ныне, правда, некоторые уже возвращаются или пыта-

ются возвратиться. Весьма похвально, конечно. Третьи еще колеблются: ехать или не ехать. Тоже не весьма трагично, ничего особенного, как свидетельствует практика, туда не выехало.

Хотя некоторым слишком уж суетливым квартирантам стоило бы напомнить: смысл открытого общества вовсе ведь не в том, чтобы крейсировать туда-сюда и обратно, почти не закрывая дверей. Нынешняя зима еще раз убедила, что тепло в нашем общем доме надо ой как экономить. Да и то сказать: истинные поэты никогда, даже при самых сложных обстоятельствах, не пускались в бега. Ни Маяковский, ни Блок, ни Есенин, ни Пастернак, ни Твардовский, ни Ахматова, ибо они всегда осознавали себя живой частью народа, оставаясь с ним во времена, не столь изобиловавшие максимумом демократии, как нынешние..

Одна ложь тут громоздилась на другую. Было даже удивительно, как ухитрился оратор взгромоздить столько лжи на таком сравнительно небольшом пространстве газетного листа. Но самым умилительным была тут, конечно, его опора на Пушкина, который якобы никогда не был в оппозиции и даже и не помышлял о том, чтобы покинуть родину. Это Пушкин, которому принадлежат знаменитые отчаянные слова: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!», который мучительно рвался за границу – не пускали, писал Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь...»

Но каким он ни был беззастенчивым и наглым лжецом, этот Борис Олейник, а все-таки, видать, почувствовал, что не все тут у него выходит гладко. Что-то все-таки его томило. Какая-то неясность, какое-то неразрешимое противоречие.

И вот как попытался он это томящее его противоречие разрешить:

Если же Пушкин и шел не в ногу с обществом, то только потому, что в своем ясновидении обгонял на столетия рядом идущих. Ибо принадлежал к тем немногим в истории человечества, к которым приложим совет одного из мудрых мира сего: не спешить бранить солдата, идущего не в ногу с полком, ибо может статься, что он уже слышит марши грядущих веков. Пушкин

кин как раз и слышал их, равняя свой шаг по шагу народа, за которым всегда — будущее.

Но это исключительно прерогатива лишь таких национальных величин, как Пушкин, Шевченко, Мицкевич, Гетефи, да еще немногих.

В свете этого разъяснения становилась понятна пренебрежительная реплика автора этих мудрствований о нынешних, наших эмигрантах: «...Ничего особенного, как свидетельствует практика, туда не выехало».

А «выехали» меж тем, не говоря о Солженицыне, который в то время уже многими почитался совестью нации и «великим писателем земли русской», — Бродский, Кержавин, Войнович, Аксенов, Владимов... Не последние люди в «датском королевстве».

В это время я как раз сочинял большую статью о Пушкине и современном пушкиноведении, куда не преминул тут же вставить довольно большой язвительный пассаж об этих откровениях Бориса Олейника. Пассаж этот мою статью, как мне казалось, сильно украсил. Но главный редактор толстого журнала, куда я эту статью отдал (кстати, старый мой друг еще с литинститутских времен), сказал, что статью с удовольствием напечатает при условии, если я соглашусь изъять из нее как раз вот этот пассаж.

На мой вопрос, какие у него возражения по поводу моей отповеди лгуну и негодяю Олейнику, он объяснил, что лично присутствовал на том вечере и видел, что именно в этом месте олейниковской речи оратору аплодировал сам Горбачев.

Я сказал: мало ли что, Горбачев человек вежливый, услышал что-то такое про Пушкина и, как сказано у Галича, «сдвинул ладоши».

— Тебя там не было, — назидательно объяснил мне мой друг-редактор, — а я был. И видел, КАК он аплодировал.

То есть дал понять, что аплодировал Михаил Сергеевич не из вежливости, а потому, что возмущившие и разозлившие меня мысли Бориса Олейника ему как раз очень даже пришлись по душе.

Времена были уж более или менее либеральные, и статью — разумеется, с моим злобным выпадом против Олейника — я напечатал в другом журнале, редактор которого на том вечере не при-

существовал и КАК Горбачев аплодировал Олейнику, не видал. А может, просто был похрабрее моего литинститутского друга.

Но история эта имела продолжение.

Мое возмущение Олейником, особенно его словами насчет того, что «ничего особенного туда не выехало», было так велико, что я поделился им в компании близких друзей, рассчитывая на то, что это мое возмущение они, разумеется, разделят: ведь те, о ком так презрительно отозвался Олейник, были люди нам не чужие. С некоторыми из них мы все даже состояли в самой нежной и тесной дружбе. И вдруг один из тех, с кем я делился этими своими чувствами, – Олег Чухонцев, – сказал, что этот Олейник, в сущности, не так уж и не прав.

– Страна, – сказал он, – даже не заметила их отъезда.

– Хороша страна, – сказал я, – у которой выкололи глаза, вырвали язык и отрезали уши, а она этого даже не заметила.

С Олегом из-за этой его фразы мы, конечно, не поссорились. Но очень больно она тогда меня задела. Скажи нечто подобное кто-нибудь другой... Но Олег! Олег, написавший в своем давнем стихотворении о князе Курбском:

Чем же, как не изменой, воздать за тиранство,
если тот, кто тебя на измену обрек,
государевым гневом казня государство,
сам отступник, добро возводящий в порок?

* * *

А с Лёвой Копелевым, сидящим на той картине Биргера неподалеку от меня – между Фазилем и Булатом, Юликом Даниэлем и Володей Войновичем, – я стыкнулся еще раньше, задолго до моей стычки с Олегом.

Я шел по нашей Первой Аэропортовской, а он – мне навстречу.

Фигура его была величественна: рост, борода, большая суковатая палка в руке – ни дать, ни взять – библейский пророк.

Подойдя ко мне совсем близко, он нагнувшись к моему уху и трагическим шепотом сообщил:

– Альенде убили.

Я сказал:

– Собаке собачья смерть.

Сказал я так потому, что незадолго до того Альенде национализировал грузовики, принадлежавшие отнюдь не капиталистам, а простым труженикам, для которых эти грузовики были орудием производства и практически единственным средством существования. Даже большевики в 17-м году этого не сделали. (Сделали позже.)

Лёва поднял свою палку и замахнулся на меня: еще секунда и в своем праведном гневе он обрушил бы ее на мою голову.

С трудом удержавшись от физической расправы, он сказал:

– Как ты не понимаешь! Ведь теперь к власти придет генерал Пиночет.

Я сказал:

– И отлично! Если бы у нас в семнадцатом году к власти пришел генерал Корнилов, Россия давно была бы демократической страной. Как сейчас Испания. Генералы приходят и уходят, а вы, бандиты (я имел в виду коммунистов), если уж вам удастся захватить власть, сами никогда не уйдете, пока не доведете страну до ручки.

Палкой он больше замахиваться не стал, а просто отвернулся от меня и пошел, как от человека, с которым ему не о чем больше разговаривать.

А ведь еще вчера –

... крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас – в изогнутой руке...

ОТ СТАЛИНА ДО СТАЛИНА

Мороз был – как жара, и свет – как мгла.
Все очертанья тень заволочла.
Предмет неотличим был от теней,
И стал огромным в полутьме пигмей.

И должен был твой разум каждый день
Вновь открывать, что значит свет и тень,
Что значит ночь и день, и топь и гать...
Простые вещи снова открывать.

Н. Коржавин

Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!

А.К. Толстой

1

Название этой – последней – главы моей книги родилось неожиданно.

Так называлась (может быть, не без иронии) одна из рецензий на первую книгу моих воспоминаний («*Независимая газета*», 24.10.2004).

Должен признать, что основания для этого были. Достаточно сказать, что рассказ о моей жизни начинается там 1937-м годом, а кончается 1953-м – смертью вождя.

Что касается иронии, то для нее я, наверно, тоже дал повод.

Многие мои читатели выражали удивление – и даже недоверие – по поводу того, что, рассказывая о событиях, предшествующих смерти Сталина, я написал, что в конце 52-го и на-

чале 53-го я уже твердо знал, что от Сталина – прежде всего именно от него – исходит всё самое темное и страшное в нашей жизни, – и в то же время признавался, что смерть его пережили чуть ли не как вселенскую катастрофу.

Это и в самом деле нелогично. (Какая уж тут логика!)

Но что делать! Во-первых, так оно на самом деле и было, и я ничего не могу с этим поделать. А во-вторых, примерно так думали и чувствовали в то время люди куда более мудрые и крупные, чем я.

Сравнительно недавно (в 1996 году) в журнале «Континент» было опубликовано письмо Пастернака Фадееву, написанное 14 марта 1953 года, то есть через пять дней после похорон Сталина:

Дорогой Саша!

Когда я прочел в «Правде» твою статью «О гуманизме Сталина», мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.

Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримости! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, существом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа.

Каждый плакал теми безотчетными и неосознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажило тебе лицо и пропитало собою твою душу.

А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади! словно это пришло нести караул целое растительное царство, в полном сборе явившееся на похороны.

Как эти венки, стоят и не расходятся несколько рожденных этою смертью мыслей.

Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже раньше любили за её

порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слёз и смытых обид!

Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако как быстро проходила у многих эта горячка.

Но каких безмерных последствий достигают, когда, не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установлению порядка, в котором это зло было бы невыносимо, невозникаемо, неповторимо!

Прощай. Будь здоров.

Твой Б. Пастернак.

Известно, что у Пастернака был многолетний «роман» со Сталиным. Тому есть множество подтверждений – не только поэтических, но и документальных. На эту тему существует огромная литература. Да я и сам написал однажды об этом его «романе» довольно большую статью.

Но к тому времени, когда было написано это письмо, «роман» Бориса Леонидовича с вождем был уже закончен. И не только потому, что Сталин был мертв: закончен он был двенадцатью годами раньше.

Уже тогда Борис Леонидович ясно отдавал себе отчет в том, что я понял гораздо позже (что именно от Сталина исходит всё самое темное и страшное в нашей жизни). В феврале 1941 года он обронил в письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг:

... Атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, – Грозный, причина, жестокость.

Спустя год, в марте 42-го, Пастернак узнал, что на этот – новый – социальный заказ уже успел откликнуться А.Н. Толстой.

И тут же – с присущей ему прямою и откровенностью – высказался на эту тему в письме к Тамаре Владимировне и Всеволоду Вячеславовичу Ивановым:

Итак, амфир всех царствований терпел человечность в работе истории, и должна была прийти революция со своим стилем вампир, и своим Толстым, и своим возвеличением бесчеловечности.

«Стиль вампир» это, конечно, камень в огород не А.Н. Толстого, проворно выполнившего заказ, а прямо и непосредственно – в заказчика, в Сталина.

Казалось бы – всё ясно: иллюзии кончились, все точки над «і» расставлены. Роль Сталина в жизни страны определена с беспощадной, убийственной точностью и прямою.

И вот после всего этого, после того как взгляд его на «Благодетеля» (напоминаю, что этим словом в романе Замятина «Мы» называется диктатор, одновременно выполняющий функции палача, Пастернак не мог об этом не помнить) давно уже обрел полную ясность, он откликается на его смерть таким раболепным письмом!

Видимо, на него – как и на меня – подействовала мрачно-торжественная обстановка тех похоронных и послепохоронных дней. Вероятно, отразилось и в настрое, и в стилистике этого письма и некоторое приспособление его автора к чувствам, наверняка испытываемым в те дни тем, к кому письмо было обращено.

Но никто ведь не заставлял его в те дни писать именно Фадееву. У него самого возник этот душевный порыв. Значит, была в этом его порыве какая-то доля искренности. И, судя по всему, немалая.

Сейчас, перечитывая это пастернаковское письмо, я вспомнил, что меня, когда я увидел мертвого Сталина, тоже больше всего поразили его руки. Но думал я при этом не о том, что они «исполнены мысли», и не о том, что они «впервые отдыхают». До корней волос пронзило меня, что эти небольшие, короткопалые, покрытые редкими рыжеватыми волосками руки еще недавно держали в своих чуть припухлых ладонях судьбу целого мира. И, само собой, мою судьбу тоже. И тут же

явившаяся мысль, что эти страшные руки уже наконец мертвы, что они, как выразился поэт, «впервые отдыхают», а значит, ничего больше не могут со мной сделать, эта утешительная мысль сразу убрала холодок, леденивший мою спину.

Я, правда, в отличие от Бориса Леонидовича, эти сталинские руки увидал не в те похоронные дни, а позже, когда Сталин лежал уже не в гробу, а в стеклянном ящике, в мавзолее.

В то время я уже не сомневался, что все мои «взаимоотношения» со Сталиным закончены.

Конечно, они не были закончены.

Как я уже рассказывал, в течение многих лет мы с друзьями каждое пятое марта собирались и выпивали в ознаменование того факта, что он мертв, а мы живы – вполне ведь могло случиться и наоборот! Но потом мы уже и про эту нашу традицию постепенно забыли. Так что, заканчивая первую книгу своих воспоминаний, я не сомневался, что со Сталиным я в ней покончил навсегда и к своим размышлениям о Сталине, каковы бы они ни были, никогда уже больше не вернусь.

Но тут произошел такой случай.

Совсем недавно, месяца полтора тому назад заглянул я по обыкновению в один из самых больших московских книжных магазинов – «Дом книги» на Арбате. И среди разных прочих новинок увидал такую: «И. Сталин. Сочинения. Том 17».

Собрание сочинений Сталина, начавшее выходить в последние годы жизни вождя, должно было выйти в 16-ти томах. (Об этом было объявлено при выходе первого тома.) Вышло только 13. Сталин умер, началась эпоха «борьбы с культом личности», и издание так и засохло на 13-м томе.

Свои тринадцать томов в те годы я с упоением и злорадством выкинул на помойку. Но сравнительно недавно (уже в новое, постсоветское время) снова их купил – за бесценок, конечно. Купил, потому что в перестроечной и постперестроечной эйфории ударился в публицистику и отчасти даже стал политологом. Так что Сталин мне мог опять пригодиться. (И, кстати, пригодился: особенно, когда я писал свою книгу «Наш советский новояз»: ведь весь официальный политический жаргон советской эпохи вышел из сталинской шинели, даже в

большей мере, чем Достоевский из «Шинели» Гоголя). И если бы в эти годы вдруг вышли еще три тома, завершающих сталинское собрание сочинений – 14-й, 15-й и 16-й – я бы их, конечно, тоже купил.

И вдруг – СЕМНАДЦАТЫЙ.

Увидав его, я прямо задрожал. Ведь сколько неизвестного, тайного, скрывавшегося за семью печатями, составило, наверно, содержание этого вдруг вышедшего тома!

Конечно, надо было немедленно его купить!

Но узнав цену – больше пятисот рублей, – я сразу отказался от этого намерения. Подумал: да ну его к ляду! Пропади он пропадом! Мой «Новояз» уже написан, и вряд ли я еще когда-нибудь захочу вновь обратиться хотя бы даже и к неизвестным сталинским текстам.

Так и ушел из магазина, не купив эту редкостную новинку.

Но что-то все-таки меня томило. Время от времени я мысленно возвращался к этому загадочному семнадцатому тому и подумывал: не совершил ли я все-таки ошибку, пожадничав и не купив его.

Так и подмывало съездить снова на Арбат и выкинуть на новый сталинский том эти несчастные пятьсот рублей.

Но от этих своих поползновений я все-таки отмахивался. Во всяком случае, в этой душевной борьбе жадность еще довольно долго побеждала мой – как мне казалось, почти умерший – интерес к бывшему нашему вождю.

И вдруг в другом книжном магазине – на Тверской – я увидел тот же том, который стоил уже не пятьсот рублей, а четыреста.

Вопрос был решен. Том немедленно был куплен и, вернувшись домой, я сразу погрузился в его чтение.

Довольно скоро выяснилось, что потраченные мною четыреста рублей были потрачены зря: том оказался совсем неинтересный. (Не в пример купленному мной несколько лет назад здоровенному тому – «Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг.» К нему я еще вернусь.)

Да, семнадцатый том Сталина, вызвавший в моей душе такую магнитную бурю, оказался совершеннейшей макулатурой. Но сказав, что потраченные мною на него четыреста рублей были потрачены зря, я все-таки слегка погорячился.

Вся эта история заставила меня поглубже заглянуть в себя. Ведь что же это получается! Сколько уже лет я считал, что Сталин для меня навеки мертв, и вдруг оказалось, что я все еще связан с ним, завишу от него, что он, как в давно прошедшие времена, по-прежнему притягивает меня к себе, словно какой-то мощный магнит.

В этом стоило разобраться.

Более того! Эта магнитная буря в моей душе, вызванная вдруг увиденным на прилавке семнадцатым томом Сталина, показала мне достаточно серьезным поводом для того, чтобы посвятить размышлениям на эту тему последнюю главу (лучше сказать – эпилог) этой моей книги. А за это, пожалуй, стоило заплатить побольше, чем те несчастные четыреста рублей.

Итак – опять к Сталину.

И пусть какой-нибудь будущий рецензент этой книги (а может быть, и тот же самый) свой отклик уже на оба тома моих воспоминаний тоже назовет «От Сталина до Сталина». Что поделаешь! У него будет для этого более чем достаточно оснований.

2

Тут прежде всего надо сказать, что приобретенный мною, как оказалось, совершенно ненужный мне семнадцатый том, был далеко не единственной книгой Сталина (или о Сталине), купленной мною в последнее время.

За перестроечные, постперестроечные и постсоветские годы таких книг я накопил столько, что у меня составила целая сталинская библиотека. Назову лишь некоторые:

«Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД», Роберт Слассер. «Сталин в 1917 году», «Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива», Лев Троцкий. «Сталин», Валентин Бережков. «Как я стал переводчиком Сталина», Алексей Пиманов. «Сталин. Трагедия семьи», Борис Бажанов. «Воспоминания бывшего секретаря Сталина», Владимир Аллилуев. «Хроника одной семьи. Аллилуевы – Сталин», «Застольные речи Сталина...», уже упоминавшийся мною том «Сталин и Каганович. Переписка»...

Я не упоминаю тут сохранившиеся с более ранних времен книги Авторханова, Светланы Аллилуевой, Владимира Орлова и многие другие. Не упоминаю также многочисленные издания на тему «Сталин и литература», «Сталин и искусство», и прочие в этом роде, которые были мне нужны для работы.

Впрочем, покупая и другие книги Сталина и о Сталине, я тоже уверял себя, что они могут пригодиться мне для работы. И кое-что действительно пригодились.

Но последнее мое приобретение – вот этот самый сдуру купленный семнадцатый том – окончательно открыло мне глаза на то, что всё это был чистойшей воды **самообман**.

Для какой, черт возьми, работы могли понадобиться мне книги «Иосиф Сталин в объятиях семьи» или «Хроника одной семьи» В. Аллилуева?

Нет, никакого рабочего, профессионального интереса у меня тут не было. А двигал мною всё тот же жгучий, неистребимый, можно даже сказать, болезненный, патологический – **личный** интерес. Тот самый, который в юности заставлял меня таскать мою будущую жену, которой всё это было «до лампочки», на все появлявшиеся тогда на киноэкранах Москвы фильмы о Сталине.

В первой книге своих воспоминаний я упоминал, что любил после смерти вождя рассказывать в кругу друзей разные байки о Сталине. Две из них я даже там привел. Привел, чтобы показать, что магия сталинского обаяния еще долго сохраняла надо мной свою власть. Где-то в подкорке, в подсознании, еще продолжало жить, не хотело умирать это давнее рабское умиление: вот ведь, смотрите – дракон, а выглядит как человек. Не лишен даже некоторой приятности. И ведет себя не «по-драконьи», а «по-человечески»!

Всё это, как и при жизни «дракона», продолжало действовать, вызывало прилив умиления и даже восторга.

Природа этой магии, подытоживал я, не таит в себе никаких загадок: это – **магия власти**.

На самом деле, однако, среди тех баек о Сталине, которые я любил рассказывать, – кстати, не только тогда, но и много позже (а еще позже некоторые из них я даже записал), – были и другие, в которых «дракон» вел себя не по-человечески, а вполне «по-драконьи».

Вот, например, такая история – ее рассказал мне Семен Израилевич Липкин. И это не просто байка, а – свидетельство очевидца: всё, о чем он рассказывал, происходило на его глазах.

Это было на закрытии декады таджикского искусства. В Кремле был большой банкет. А после банкета – не для всех, только для избранных – показывали кино.

Часть столов с початыми и непочатыми бутылками и недоеденными блюдами была составлена к стене. Вокруг них хлопотала прислуга. В одном конце зала в ожидании, когда их пригласят в кинозал, стояли гости. В другом – члены Политбюро. А между ними – пустое пространство.

Вдруг от толпы гостей отделился один человек. Он пересек пространство, отделявшее его от группы «вождей» и прямоком направился к Сталину. Это был Корнейчук.

Подойдя вплотную к вождю, Корнейчук что-то ему сказал. Тот – коротко ответил.

Как впоследствии выяснилось, диалог был такой.

– Товарищ Сталин, – сказал Корнейчук. – В сегодняшнем номере газеты «Правда» я прочел, что вы с вашими соратниками вчера были в Малом театре. В тот день шла моя пьеса «В степях Украины». Мне бы хотелось узнать ваше мнение о ней.

Сталин поморщился (он не любил фамильярности) и сказал: – Вы плохо пишете, Корнейчук. Вы пишете одноднэвки.

Услыхав этот ответ, Корнейчук понял, что для него все кончено. Он отошел к столу, на котором стояли остатки выпивки и закуски, налил себе стакан водки. Выпил. Налил второй...

Далее он действовал по принципу – «все равно в этом доме не бывать». Хлопнул второй стакан и громко, на весь зал стал «спивать малороссийские песни»: «Дывлюсь я на нэбо...» Или – «Променяв вин жинку на тютюн на люльку...» Что-то в этом роде.

Председатель Комитета по делам искусств Храпченко, желая снискать одобрения вождя, с возмущением воскликнул:

– Безобразие! Как он себя ведет!

– Пачему? – сказал Сталин. – Он совсем неплохо поет. А иногда и неплохо пишет. А ты... – он повернулся к Храпченко, – и нэ поешь, и нэ пишешь...

Бедный Храпченко! Он решил, что брошена команда «Пиль!», и, как хорошо обученный охотничий пес, кинулся на дичь. И тут же раздалась новая сталинская команда: «Тубо!»

В психологии (может быть, даже в психиатрии) это называется **сшибка**. (Так, кстати, Александр Бек сперва собирался назвать свой роман, в окончательном виде получивший более скромное название – «Новое назначение».)

Устраивать такие «сшибки» людям из ближайшего своего окружения Сталин был большой мастер.

Вот еще одна история в том же духе.

В конце 40-х – начале 50-х в Советском Союзе делалось очень мало фильмов: пять-шесть в год. И каждый новый фильм непременно показывали Сталину. Ни одна картина не могла выйти к зрителю без его личного разрешения.

Но для одного фильма было сделано исключение.

Это был биографический фильм о Жуковском – не о Василии Андреевиче – поэте, а о Николае Егоровиче – отце русской авиации.

Фильм делался в спешном порядке: надо было успеть к юбилею Николая Егоровича. Но с выпуском его на экран произошла заминка: Сталина в то время в Москве не было, он отдыхал на своей даче возле Сочи – на озере Рица.

Члены Политбюро, посмотрев фильм, никаких идейных промахов в нем вроде не нашли, но выпустить его на экран без личного указания товарища Сталина все-таки не решались. Делать, однако, было нечего, поскольку дорого яичко к Христову дню: юбилей ведь не отложишь. И в конце концов Молотов отважился дать добро. Фильм вышел на экраны.

А когда вернулся Сталин, фильм показали членам Политбюро снова, уже в присутствии вождя.

Когда просмотр кончился и в зале зажегся свет, Сталин спросил:

– Фильм, кажется, уже вышел на экран?

– Да, товарищ Сталин. Ведь мы торопились, к юбилею. А вы... А вас... – начал объяснять министр кинематографии.

– Кто принял решение? – прервал его Сталин.

Большаков посмотрел на Молотова и понял, что если он

сейчас его назовет, второй человек в государстве навсегда станет его злейшим врагом.

– Мы тут подумали... посоветовались... – начал он.

– С кем посоветовались? – спросил Сталин.

Побледнев, Большаков сказал:

– Сами... Между собой...

Сталин кивнул. Медленно прошелся по залу.

– Значит, так, – после долгого гнетущего молчания подвел он итог. – Сами подумали, сами посоветовались... И сами решили? Все испуганно молчали.

Медленно пройдясь еще раз по залу, Сталин задумчиво повторил:

– Сами подумали, сами посоветовались и сами решили...

В голосе вождя слышалась горечь: «Без меня, стало быть, решили. Можете, значит, уже обходиться и без меня. Ну-ну...»

Покачал головой, вздохнул. Пошел к выходу. Остановился. Поглядел на соратников. И вновь горько повторил:

– Сами подумали... Сами посоветовались... И сами решили...

Подойдя к двери, он постоял еще некоторое время ссутулившись: одинокий, никому ненужный, всеми забытый старик.

Все сидели ни живы ни мертвы.

– Ну что ж, правильно решили, товарищи, – неожиданно заключил он. И вышел.

Да, конечно, это была игра. И конечно, такие игры были в природе его изуверского характера. Но в то же время это был вполне определенный – его, сталинский, – политический стиль.

Примеров тут можно было бы привести тьму. Но я приведу только еще одну, довольно известную историю, рисующую стиль отношений, сложившийся между Сталиным и его соратниками.

Идет заседание Политбюро. Решается вопрос, стоит ли выделить из министерства обороны (вернее, тогда – еще не министерства, а наркомата) в особое, отдельное ведомство наркомат военно-морского флота.

Вопрос, конечно, был подготовлен заранее, решение, в сущности, уже принято. Но – идет обмен мнениями. И «пер-

вый красный офицер» Клим Ворошилов, тогдашний нарком обороны, высказывается против такого разделения. Он за то, чтобы, как и впредь, оставался цельный, единый, нераздельный наркомат обороны.

Сталин, как это обычно бывало во время таких заседаний, прохаживется в своих мягких сапожках вдоль стола, внимательно выслушивает каждое мнение, не вмешивается.

Но после выступления Ворошилова вдруг останавливается и кидает реплику:

– У меня вопрос к товарищу Ворошилову... Почему товарищ Ворошилов систематически выступает против любого предложения, направленного на усиление обороноспособности нашей родины?

Ворошилов растерянно замолчал. Потупив взор, молчали и остальные участники заседания. Один только Берия оживился и уже плотоядно глядел на свою будущую жертву: ведь это ему была брошена сталинская команда: «Пиль!»

После заседания (какое решение было там принято, объяснять не надо) Сталин, как это всегда у них было принято в подобных случаях, предложил собравшимся посмотреть кинофильм.

Все молча направились в просмотровый зал. На Ворошилова никто не глядел. Даже сесть рядом с ним никто не решился. Так и просидел он весь сеанс – одинокий, забившийся в угол: наверняка уже считал себя конченным человеком.

Но вот картина кончилась (смотрели обычно Чаплина – «Огни большого города»). Сталин смахнул слезу (сентиментальный финал этого фильма обычно приводил его в состояние растроганности) и, покидая зал, проходя мимо Ворошилова, положил руку ему на плечо и произнес:

– Ничего, мы еще поработаем с товарищем Ворошиловым.

И в тот же миг обреченное одиночество несчастного Клима кончилось. Все его обступили, заговорили с ним. И Берия смотрел на него ласково, как на любимого друга: ведь теперь ему была брошена другая команда: «Тубо!»

Но все эти пересказанные тут мною истории – это все-таки байки, апокрифы, легенды (хоть дыма без огня и не бывает).

А вот – история документальная, узнанная мною совсем недавно, и из источника более чем надежного.

Дело происходит 10 февраля 1944 года. Идет заседание Секретариата ЦК ВКП(б). Председательствует Маленков. Обсуждается «идейно порочное» стихотворение Ильи Сельвинского «Кого баюкала Россия», опубликованное в журнале «Знамя», № 7-8 за 1943 год. Неожиданно в зале заседания появляется Сталин и, указывая на проштрафившегося поэта, кидает такую реплику:

– С этим человеком нужно обращаться бережно, его очень любили Троцкий и Бухарин.

Это было уж такое определенное и ясное «Пиль!», что ни у кого не могло оставаться ни малейших сомнений: поэт обречен, судьба его решена.

Но как ни странно, решение Секретариата последовало неожиданно мягкое:

Освободить т. Сельвинского от работы военного корреспондента до тех пор, пока т. Сельвинский не докажет своим творчеством способность правильно понимать жизнь и борьбу советского народа.

Стало быть, Сталин дал отмашку – в решающий момент скандовал своим псам: «Тубо!»*

Этот политический стиль Сталина стал политическим стилем его наследников.

Не только Молотова или Маленкова, но даже Хрущева, который искренне ненавидел Сталина, разоблачил его и, казалось, всем своим обликом и повадками кардинально отличался от бывшего своего вождя и учителя.

«В натуральную величину», то есть вживе, я Хрущева видел лишь однажды. Но этого одного раза мне вполне хватило.

Это было в конце 59-го. Шел Третий Всесоюзный съезд советских писателей. И на последнем его заседании – в Кремле – с большой речью выступил «наш Никита Сергеевич».

* «Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917 – 1953». М., 1999, стр. 510. Там же, стр. 787.

Появление его на трибуне вызвало не слишком бурные, я бы даже сказал, скорее вялые аплодисменты.

Вздев очки и раскрыв бювар с заготовленным текстом, он минуты три бубнил что-то привычно-безликое (в духе «Мы будем и впредь...»), не отрываясь от того, что ему там понаписали. Но больше трех минут не выдержал: отложил листок с напечатанным текстом, улыбнулся – нормальной человеческой, какой-то даже слегка конфузливой улыбкой – и сказал:

– Вот что хотите со мной делайте, не могу я выступать по бумажке...

Зал взорвался аплодисментами – на сей раз живыми и искренними.

Обрадованный поддержкой, Хрущев слегка развил эту тему:

– По бумажке – оно, конечно, спокойнее. Особенно перед такой аудиторией. Но – не могу. Пусть даже скажу что-нибудь не так, но буду говорить без бумажки... – И решительно отложил бювар с напечатанным текстом в сторону.

Аплодисменты усилились. Пожалуй, тепер их можно было даже назвать бурными.

И тут «наш Никита Сергеевич» сразу охамел.

Стал учить писателей уму-разуму. Заговорил об ошибочных тенденциях, проявившихся в литературе в последнее время. Назвал осужденный партийной печатью роман Дудинцева «Не хлебом единым», в таком же осудительно тоне упомянул Маргариту Алигер, которую назвал «товарищ Елигер».

Зал снова приуныл. И он, надо отдать должное его интуиции, сразу это почувствовал.

– Нуладно! – И опять улыбнулся своей милой конфузливой улыбкой. – Покритиковали мы этих товарищей, справедливо покритиковали – и хватит... Хватит уже напоминать им об их ошибках...

Эти слова были встречены уже самой настоящей овацией. И тут он насторожился. И, погрозив залу пальцем, неожиданно заключил:

– Но и забывать не стоит!

Вынул из кармана ослепительно белый носовой платок, для наглядности завязал на его краешке узелок и показал залу:

– Вот! Узелок на память завязал. Так что не сомневайтесь.

Всё помню. Каждую фамилию помню. И товарища Дудинцева, и товарища Елигер...

Зал снова приуныл, и его интуиция снова сработала.

– Знаете, как бывает, – сказал все с той же милой своей улыбкой. – Иную книгу начнешь читать – и прямо засыпаешь... Булавкой надо себя колоть, чтобы не заснуть... А вот книгу товарища Дудинцева я, скажу честно, читал без булавки...

Снова овация.

– Но нельзя, товарищи! В идеологии никакого мирного существования допускать нельзя. И мы его не допустим!

И так его мотало из стороны в сторону на протяжении всей его чуть ли не двухчасовой речи: «Пиль!» – «Тубо!», «Пиль!» – «Тубо!», «Пиль!» – «Тубо!»

Конечно, тут проявился своеобразный характер простодушного Никиты Сергеевича, казалось бы, не имеющий ничего общего с коварным, жестоким характером Сталина.

Но стиль был – все тот же, хорошо нам знакомый, сталинский.

И в сталинские, и в хрущевские, и в брежневские времена я не раз испытывал на себе прелести этого любимого сталинского стиля, основными приметами которого были эти две стремительно сменяющие друг друга команды. Мне при этом, разумеется, всегда доставалась роль **дичи**.

Достаточно вспомнить описанное мною в первой книге моих воспоминаний комсомольское собрание, на котором громили космополитов, и вдруг кто-то из ораторов ткнул пальцем прямо в меня.

– Мы веди непримиримую идейную борьбу! – бил он кулаком по трибуне. – Взять хоть того же Сарнова, с которым мы боролись в прошлом году!.. А сейчас этот самый Сарнов, как ни в чем не бывало, ходит по нашим институтским коридорам с высоко поднятой головой!..

– По-зор! – взревел зал.

Команда «Пиль!» была брошена, и бедная дичь затрепыхалась в силках.

Целый год, исключенный из комсомола и института, я висел в воздухе. И вот сейчас, когда только-только более или ме-

нее обошлось, всё опять начнется снова, по второму кругу. И теперь-то мне уж точно не уцелеть...

– Верно!.. Правильно!.. Мы боролись, а он... Как ни в чем не бывало!.. Где он там?! Давай его сюда!.. Пусть объяснит собранию, как сумел снова пролезть в наши ряды! – неслось из зала.

И тут где-то там, в первых рядах, поднялся человек и медленно пошел к трибуне. Я сразу узнал его. Это был секретарь районного комитета комсомола – тот самый, который в прошлом году исключал меня на бюро райкома.

Выйдя на трибуну, он сказал:

– Должен проинформировать вас, что Центральный Комитет ВЛКСМ только что восстановил товарища Сарнова в рядах ВЛКСМ.

И – всё! Как отрезало!

Команда «Пиль!» сменилась командой «Тубо!» – и в тот же миг обо мне забыли, словно это не мне только что кричали: «Позор!.. Где он?.. Пусть выйдет сюда, на трибуну! Пусть объяснит, как сумел пролезть в наши ряды!»

Это все были примеры того, как внезапная смена команды влекла за собой благоприятные последствия. Гнев сменялся на милость, и челюсти, уже сжавшиеся на горле трепещущей дичи, вдруг разжимались.

В одной своей антисталинской речи Хрущев сказал о бывшем нашем вожде: «Черного кобеля не отмоешь добела».

Спустя некоторое время на вечере памяти Андрея Платонова в Центральном доме литераторов Юрий Карякин в своем выступлении повторил эту хрущевскую фразу. И вот за нее, за эту самую реплику, в сущности, цитату из речи Первого человека государства, ему устроили персональное дело и с волчьим билетом выгнали из партийных рядов. (Потом он долго «качал права» и в конце концов отделался строгачом, дойдя до самой высокой партийной инстанции – Комиссии партийного контроля.)

История как будто совершенно загадочная. Но для нас – легко объяснимая. Совсем недавно брошенная Хрущевым команда «Пиль!» («дичью» на этот раз был труп Сталина), уже сменилась на «Тубо!».

Мне тоже не раз случалось быть жертвой таких «сшибок».

Но поскольку мне, как я уже сказал, в моих взаимоотношениях с властями предрержащими (даже самого низкого уровня) неизменно выпадала роль **дичи**, из этих двух команд я, как правило, слышал только одну: «Тубо!». То есть – нельзя!

В юности с моим пятым пунктом мне нельзя было устроиться на штатную работу. В зрелые годы – уж не знаю, почему, – нельзя было хоть на неделю вырваться в какой-нибудь зарубежный тур. Помню, однажды, не выдержав, отправился я «качать права» к Ильину – оргсекретарю Московского отделения Союза писателей, бывшему генералу КГБ. «Что, мол, такое! По какому праву!» Сижу перед дверью его кабинета и вдруг – появляется Булат.

– Ты что тут?

Я объяснил, что вот, в очередной, какой-то уж несчитанный раз, не пустили в заграничную турпоездку. Хочу «качать права».

Булат прямо сморщился, как от боли:

– Господи! Как это все унижительно!

И я подумал: в самом деле! На черта мне эти унижения? И не пошел к Ильину «качать» свои права. Не только потому, что унижаться было тошно (конечно, и поэтому тоже), но главным образом, потому что понял: все равно ведь ничего не добьюсь. Нельзя – значит, нельзя. И никакое «качание прав» мне тут все равно не поможет.

Но больнее всего было мне (и это сопровождало меня всю жизнь), когда почему-то нельзя было написать в какой-нибудь моей статейке то, что я хотел. Нет, не мысль какую-нибудь недозволенную, крамольную высказать: об этом я и не помышлял, знал, что нельзя. А просто употребить какой-нибудь свой оборот, не казенное, а свое, самое простенькое, самое обыкновенное, ничуть не крамольное выражение.

Запомнился, например, такой случай.

В одной моей статье или рецензии (она шла в «Новом мире») Володя Лакшин, который – по должности – должен был подписать ее в печать, наткнулся на такую, казалось бы, вполне невинную фразу: «В сталинские времена...»

Очень мягко (все-таки приятели, недавно еще вместе работали в «Литгазете») он мне сказал:

– Бен, я удивляюсь, ты же опытный человек. Ты же прекрасно знаешь, что так писать нельзя.

– А как можно? – состроил я невинные глаза, хотя прекрасно знал, что он имеет в виду.

– На сей случай, – пояснил он, – существует официальная, узаконенная формула: «В период культа личности».

– Ладно, черт с тобой, пиши «В период культа личности», – махнул я рукой. Не снимать же было из-за этого статью.

В этом случае я, конечно, знал, что перехожу границу дозволенного. Но думал: авось проскочит. Дело-то пустяковое.

Не проскочило.

Но вообще-то угадать, по поводу какого слова или выражения прозвучит это самое редакторское «Тубо!», – было невозможно.

Лёня Зорин рассказывал мне, что редактор издательства «Советский писатель», где печатался очередной его роман, – и далеко не самый злостный, вполне доброжелательный редактор – говорил ему:

– Вот ты пишешь: «Смеркалось». Неужели ты не понимаешь, что это не пройдет, не может пройти...

– Но почему?! – изумлялся и негодовал темпераментный бакинец Лёня.

– Потому что от этого слова веет грустью, тоской, печалью. А грустить и печалиться советскому человеку не подобает. Он должен радоваться жизни.

Сейчас, слава Богу, нам уже разрешено писать в наших сочинениях и «смеркалось», и «В сталинские времена...»

Но сколько еще и в сегодняшней нашей жизни – да и в нас самих тоже – осталось от Сталина, от страшного его наследства.

Надо ли удивляться, что я, уже больше чем полвека спустя после смерти Сталина, все еще не могу изжить свой жгучий интерес к этому человеку, разорвать свою связь с ним, если вся наша страна до сих пор еще барахтается в колее, проложенной Сталиным, – никак не может из нее выкарабкаться?

3

В начале этой главы я мимоходом пообещал, что непременно вернусь к вышедшему в 2001 году тому переписки Сталина и Кагановича, который оказался не в пример интереснее сду-

ру купленного мною семнадцатого тома сталинских сочинений. И вот – выполняю свое обещание, возвращаюсь.

Интересного в этом томе было много. Но я остановлюсь только на одном или двух сюжетах, представляющих, как мне кажется, не только исторический интерес.

5 августа 1934 года начальник штаба артиллерийского дивизиона Осоавиахима, расположенного под Москвой, – фамилия его была Нехаев, – вывел подчиненный ему отряд курсантов, проходивших в лагере военную подготовку, на территорию казарм второго стрелкового полка Московской пролетарской дивизии. Эта дивизия располагалась почти в самом центре Москвы. Там Нехаев обратился к бойцам с речью. По показаниям свидетелей, сказал он в этой своей речи примерно следующее:

– Мы воевали в 14-м и в 17-м. Мы завоевали фабрики, заводы и земли рабочим и крестьянам. Но они ничего не получили. Всё находится в руках государства. Государство поработает рабочих и крестьян. Нет свободы слова... Товарищи рабочие, где ваши фабрики, которые вам обещали в семнадцатом году! Товарищи крестьяне, где ваши земли, которые вам обещали. Долой старое руководство, да здравствует новая революция, да здравствует новое правительство!

Бойцы, к которым обратился с этой речью Нехаев, даже не были вооружены: на учебных сборах полные комплекты боевого оружия не выдавались. И Нехаев распорядился для начала занять караульное помещение части и захватить находящееся там оружие. Но приказ этот никто не стал выполнять, и Нехаева тут же арестовали.

И вот – первое сообщение Кагановича Сталину по поводу этого инцидента:

Сегодня произошел очень неприятный случай с артиллерийским дивизионом Осоавиахима. Не буду подробно излагать. Записка об этом случае короткая, и я ее Вам посылаю. Мы поручили Ягоде и Агранову лично руководить следствием. Утром были сведения, что Нехаев, начальник штаба дивизиона, невменяем, такие сведения были у т. Ворошилова... В дальнейшем буду информировать Вас о ходе следствия.

Оснований считать Нехаева невменяемым было немало. Начать с того, что все его действия были вполне безумными и в конечном счете бессмысленными. Сведения, собранные следствием о Нехаеве, рисовали портрет человека болезненного, нелюдимого, обремененного многочисленными бытовыми проблемами и неустроенностью. В ходе следствия выяснилось также, что Нехаев приготовился покончить жизнь самоубийством, но арест его произошел так стремительно, что он не успел воспользоваться специально заготовленной им на этот случай бутылкой с ядом.

Судя по всему, Каганович, Ворошилов, а также Ягода и Агранов, лично руководившие следствием, не склонны были придавать этому эпизоду большого значения и, наверно, собирались спустить это дело на тормозах.

Но реакция Сталина была совершенно иная.

Вот что он писал по этому поводу в своем ответном письме Кагановичу:

Дело Нехаева — сволочное дело. Он, конечно (конечно!), не одинок. Надо прижать его к стенке, заставить сказать — сообщить всю правду и потом наказать по всей строгости. Он, должно быть, агент польско-немецкий (или японский). Чекисты становятся смешными, когда дискусируют с ним об его «политических взглядах» (это называется допрос!). У продажной шкуры не бывает политвзглядов, — иначе он не был бы агентом посторонней силы. Он призывал вооруженных людей к действию против правительства, — значит его надо уничтожить.

Сразу возникшее у Сталина подозрение (пока еще — только подозрение: «должно быть»), что Нехаев агент иностранных держав, тут же — буквально в следующей фразе — подается как несомненный и уже доказанный факт («...иначе он не был бы агентом посторонней силы»).

И вот — ответ Кагановича на эту реакцию (по сути — приказ, прямое руководство к действию) вождя:

Как и следовало ожидать, Нехаев сознался в своих связях с генералом Быковым, работающим в Институте физкультуры.

А этот генерал является разведчиком, как пока установлено, эстонским. Надо, конечно, полагать, что не только эстонским. Это пока первые признания. О дальнейшем буду сообщать.

Нет сомнений, что и генерал Быков, и связанный с ним Нехаев оказались не только эстонскими, но и польско-немецкими, и японскими агентами, как это было гениально угадано вождем.

Эта простая сталинская схема была принята на вооружение и «работала» на протяжении всей истории советского государства. Агентами иностранных государств оказались Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пильняк, Бабель... Всех не перечислишь. Английским шпионом оказался личный врач Сталина Виноградов (только потому, что в своем медицинском заключении написал, что состояние здоровья товарища Сталина требует длительного отдыха и неучастия его в государственных делах). «Матерым английским шпионом» оказался и Лаврентий Берия, арестованный уже после смерти Сталина: Сталин был мертв, но созданная им схема продолжала работать.

Но это все – дела давние.

А вот – сегодня. Не фигурально выражаясь, а буквально – нынешним днем – смотрю я по телевизору «круглый стол» в передаче Владимира Познера. За столом – пять или шесть политологов. Обсуждается положение дел на Украине (как теперь говорят, в Украине). Центральная площадь Киева заполнена гигантской толпой сторонников Ющенко. Они протестуют против очевидной, уже установленной фальсификации второго тура выборов нового президента Украины.

О чем же говорят политологи?

Самый махровый из них сразу объявляет все происходящее результатом хорошо спланированной польско-американской интриги. Другие политологи, по существу, не возражают, но высказываются на эту тему не так агрессивно, скорее раздумчиво, облекая ту же идею в другую лексику («гео-политические интересы» и т.п.). Двое из шести почти совсем не касаются этой темы. Но ни одному не приходит в голову сказать, что многодневное стояние на морозе сотен тысяч людей просто физически не может быть результатом деятельности польско-

американских поджигателей. Что-то явно не в порядке в самом «датском» (читай – украинском) государстве.

Времена, конечно, уже не те, когда Наполеон (по анекдоту), читая «Правду», обронил, что, будь у него такая газета, мир до сих пор не узнал бы, что было Ватерлоо. В век электронных СМИ уже нельзя скрыть от глаз телезрителей многотысячную толпу в оранжевом (цвет сторонников Ющенко), запрудившую огромную площадь. Но старая сталинская схема все еще работает и пудрит людям мозги. (Многие ведь в эту наглую и откровенную ложь все-таки верят.)

Еще один (только один) сюжет из «Переписки Сталина с Кагановичем».

Август 1936 года. Заканчивается процесс над Каменевым и Зиновьевым. Каганович, Орджоникидзе, Ворошилов, Чубарь, Ежов телеграфируют Сталину:

Передаем Вам шифром текст приговора, опустив формальную часть – перечисление фамилий. Просим сообщить ваши указания.

Сталин отвечает:

Первое, проект приговора по существу правилен, но нуждается в стилистической отшлифовке. Второе, нужно упомянуть в приговоре в отдельном абзаце, что Троцкий и Седов подлежат привлечению к суду или находятся под судом или что-либо другое в этом роде... Третье. Надо бы вычеркнуть заключительные слова: «приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Эти слова лишние и производят плохое впечатление. Допускать обжалование не следует, но писать об этом в приговоре неумно.

Конечно, у нас сейчас всё иначе. Строим правовое государство, и всё такое. Но можно ли поручиться, что приговоры над учеными, обвиненными в шпионаже (и не как-нибудь, а судом присяжных) не подвергались такой же «стилистической отшлифовке» в каких-нибудь высоких начальственных кабинетах?

тах? И что не будет подвергнут в тех же – или еще более высоких – кабинетах какой-нибудь такой же «стилистической отшлифовке» приговор над Ходорковским и Лебедевым?

Барахтается, все еще барахтается наша страна в проложенной Сталиным колее. Никак не может из нее выкарабкаться.

В знаменитой пьесе Евгения Шварца «Дракон», уже победенный Ланцелотом и погибающий Дракон перед смертью произносит такие воистину пророческие слова:

– Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души...

Это я не про стариков и старух, выходящих на коммунистические митинги с портретами генералиссимуса, и не про пьяных в троллейбусах, от которых то и дело слышишь: «Сталина на вас нет!..», «Был бы жив Сталин, он бы быстро навел порядок...»

Это я – про всех нас. В том числе и про себя: никто не вышел из сталинщины не покалеченным.

Какие же дыры в **моей** душе оставил Сталин?

4

У Бунина есть маленький рассказ о Бернаре, старом французском моряке, спутнике Мопассана.

Я уже не однажды ссылался на него в других своих книгах. И всякий раз по одному и тому же поводу.

Но сейчас повод – другой.

Перед смертью Бернар сказал: «Думаю, что я был хороший моряк».

Слова эти поразили Бунина. Во всяком случае, весь рассказ – именно об этих словах. Бунин несколько раз возвращается к ним и в самом конце рассказа, уже в третий раз повторив их, размышляет:

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой...

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хо-

рошим моряком? Нет: то, что Бог каждому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо», и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это... И как же ему было не сказать того, что он сказал в свою последнюю минуту? «Ныне отпускаеши, Владыко, раба Твоего, и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, — писал Мопассан: чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем? Почему?..

Помимо того, что в этом не было никакой пользы ближнему, стирая эту каплю, Бернар знал, что через секунду-другую на этом медном поручне появится другая, новая капля. И все-таки он стирал ее. Зачем? Почему?

Бунин объясняет это так:

Но ведь и сам Бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что творения его «весьма хороши».

Это чувство мне знакомо.

Однажды, когда мое имя было внесено в «черный список», я сочинил (для заработка) радиопередачу, которая пошла в эфир под именем одного моего знакомого, великодушно согласившегося на этот маленький обман.

Текст передачи был мною уже написан, сдан в редакцию, принят и одобрен. И вдруг я сообразил, что хорошо бы вписать туда еще одну страничку. Сути дела это не меняло, но передача от этого выиграла бы, стала бы лучше.

Повторяю: передача эта была «не моя», она была подписана другим именем. Так что авторское тщеславие, столь свойственное нашему брату литератору, тут никакой роли не играло. Текст

передачи и без этой странички был вполне профессионален и даже хорош. То есть я хочу сказать, что писал его не халтуря, а вкладываясь с той же мерой ответственности, с какой писал бы его, если бы он шел в эфир под моей собственной подписью. Так что товарища, одолжившего мне на время свое имя, я этим текстом не подводил, репутацию его не портил. Стало быть, никакого практического смысла в том, чтобы сочинять эту страничку, тащить ее в редакцию, да еще уговаривать редактора вставить ее в уже готовую, принятую и утвержденную передачу – не было. Предприятие это не сулило мне ничего, кроме лишних хлопот, а может быть, даже и каких-нибудь мелких неприятностей: ведь редактор и так сделал мне одолжение, может быть даже не без некоторого риска для своей карьеры, – а я еще буду морочить ему голову этой своей злополучной и никому не нужной вставкой.

В общем, все доводы разума были против этой нелепой затеи. И тем не менее я не смог отказать себе в удовольствии осуществить ее.

Зачем я это делал? Почему?

Наверно, по той же самой причине, по которой старик Бернар стирал с какой-нибудь медной части своего суденышка случайно попавшую туда каплю.

Но могу ли я, как это хотелось Бунину в конце жизни, повторить вслед за стариком Бернаром: «Думаю, что я был хороший моряк»?

Куда там!

Сейчас, подводя, так сказать, итоги, я думаю: «Боже! На что ушла моя жизнь!»

И дело даже не в том, что, как замечательно сформулировал это мой друг Эмка, «годы растрочены на постижение того, что должно быть понятно с рождения». Это – общая наша судьба, судьба поколения. Но сколько лет было растрочено мною впус-
тую в главное дело моей жизни, в моей профессии литератора!

В Малеевке, писательском Доме творчества, куда я ездил постоянно на протяжении многих лет, я познакомился, а потом и подружился с одним крупным ученым – физиком.

Академики и членкоры, надо сказать, любили писательские Дома творчества. С моим приятелем-физиком (тоже, кстати говоря, академиком) я вел долгий, многолетний спор о том,

кого советская власть больше подкупает: писателей или ученых?

Физик, естественно, утверждал, что писателей.

– Конечно, вас! – доказывал он. – В системе Академии наук таких Домов, как ваша Малеевка, нету и в помине. Одно только несчастное Узкое. Но там у меня была бы крохотная комнатеночка, а тут мне дают две комнаты: спальню и кабинет. Не говоря уже о персональном санузле. Недаром же я каждый год запасаясь кучей официальных просьб на разных красивых бланках и иду с ними в Литфонд, заискиваю, чтобы мне, в порядке обмена на какой-нибудь там вшивый Кисловодск, продали путевку в Малеевку. Или в Коктебель...

Этот наш спор, как я уже говорил, длился годами. И, наверно, никогда бы не кончился, если бы в один прекрасный день я не выдвинул формулу, которой, как говорится, закрыл тему.

– Вам, – сказал я, – платят за то, чтобы **вы делали свое дело**. А нам – за то, чтобы мы **не делали своего дела**. Ведь дело писателя состоит в том, чтобы говорить обществу правду.

Убедившись в невозможности реализовать – хоть в малой степени – это свое понимание общественного назначения нормальной литературной деятельности, я старался по крайней мере хотя бы не писать неправду, – не участвовать во всеобщей тотальной лжи, которой занималась вся официозная советская литература.

В конце 60-х я поэтому совсем отошел от занятий литературной критикой и практически перестал печататься.

Но жить-то надо было! И вот я стал заниматься «переводами».

Слово это я взял в кавычки, потому что «переводил» с языков, которые не знал, – кумыкского, чувашского, грузинского. То есть – с подстрочника. Практически это означало, что сплошь и рядом приходилось самому сочинять за авторов «переводимых» мною романов, поскольку сами эти их романы ни к черту не годились: не соответствовали даже тем минимальным требованиям, которые предъявляло к этим книгам издательство. (Всё это были книги для серии «Пламенные революционеры», которую затеял в то время «Политиздат».)

Вспоминаю грубый анекдот времен моего детства. Ввиду отсутствия масла высокое начальство поручает ученым научиться изготавливать сливочное масло из дерьма. Проходит время. Уче-

ных вызывают в высшие сферы, спрашивают, как идет работа. Учёные отвечают, что кое-какие успехи уже достигнуты: полученную ими продукцию уже можно мазать. Но есть еще пельзя.

Вот к этому примерно и сводилась моя «переводческая» деятельность. Надо было добиться, чтобы полученную в ее результате продукцию можно было «мазать». О том, чтобы ее можно было «есть», никто даже и не мечтал.

Владеющая мною уверенность, что, уйдя из критики в эту довольно хорошо оплачиваемую халтуру, я ушел от участия во всеобщем тотальном вранье, была чистойшей воды иллюзией. Хоть и косвенно, я в этом вранье все равно участвовал. А кроме того, эта моя псевдолитературная деятельность и для меня самого была отнюдь не безвредна. Занимаясь ею, я невольно – сам того не замечая – калечил, уродовал, разрушал, растлевал свой... рука не подымается написать «литературный дар», может, никакого такого дара у меня и не было... скажу иначе: разрушал то, что худо-бедно все-таки было мне дано от природы.

Этим, впрочем, я не без успеха занимался и раньше, когда печатал в журналах и газетах свои критические опусы, вытравляя из них все живое, соглашаясь даже уже заранее причесанные свои мысли выражать не на своем, а на их собачьем языке – простое, естественное и такое, в сущности, безобидное: «в сталинские времена» заменять казенной, замызганной формулой: «В период культа личности...»

И так – всю жизнь! Во всяком случае – добрую половину жизни.

Мне как-то рассказали, что Арам Хачатурян, прослушав однажды какую-то раннюю свою вещь, воскликнул:

– Боже мой! Каким композитором я мог бы стать!

Я уже говорил, что не склонен особенно высоко оценивать свои дарования. Но оглядываясь назад, на прожитую жизнь, я думаю – не могу не думать – о том же.

Каким литератором – совсем не тем, какой из меня вышел, – я мог бы стать!

Когда б не пиль, да не тубо,
Да не тю-тю после бо-бо!..

Апрель 2001 – декабрь 2004

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	5
Мои боги, мои педагоги	6
Павел Савлович	71
Бедный лён	127
Квартира Маршака.	236
Огонь с неба	366
Московские кухни, кружки и салоны	486
Душа полна утрат	601
От Сталина до Сталина	675

Сарнов Бенедикт Михайлович

СКУКИ НЕ БЫЛО

ВТОРАЯ КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

*В оформлении форзацев использованы
репродукции картин работы Бориса Биргера
«Семеро» (1972) и «Маскарад» (1974)*

Редактор *О. Булаева*
Компьютерная верстка и дизайн *Г. Егорова*

ИД № 03974 от 12.02.01 г.

Подписано в печать 22.09.04. Формат 60x84/16
Печать офсетная. Гарнитура «NewBaskervilleС»
Усл.-печ. л. 36,96. Тираж 1000 экз. Заказ № 5786.

Издательство «АГРАФ»
129344, Москва,
Енисейская ул., д. 2, стр. 2
e-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>
т./ф. 189-17-35
т. 189-17-22

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-7784-0329-1



9 785778 403291 >



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АГРАФ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ

Для тех, кто знает...

**Философия, литературоведение,
история, психология, культурология,
искусство, энциклопедии, словари,
справочники.**

Художественная литература

Книги издательства «АГРАФ» оптом и в розницу
можно приобрести в издательстве, а также
заказать наложенным платежом по адресу:

**129344, Москва,
Енисейская ул., д. 2, стр. 2**

**E-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>**

**т./ф. 189-17-35
т. 189-17-22**



Бенедикт САРНОВ

Теперь, когда половина книги уже написана, я подумал, что назвать ее, наверно, надо было бы как-нибудь иначе.

Самым лучшим названием было бы, конечно, – «Былое и думы». Но начиная ее, я не предполагал, что будут еще и думы. Собирался лишь ворошить былое.

Но ведь это нам только кажется, что свои книги пишем мы, авторы. На самом деле книга пишет себя сама. И пишет совсем не так, как задумал ее и хотел бы написать автор.

Люблю я совсем другую прозу, не такую многословную и разбросанную. А пишу – вот так, как пишется. Отчетливо сознаю все недостатки этой рождающейся моей книги, но ничего поделать с ней (лучше сказать – с собой) не могу. Книга сама пишет себя так, как хочется ей, а не мне.

